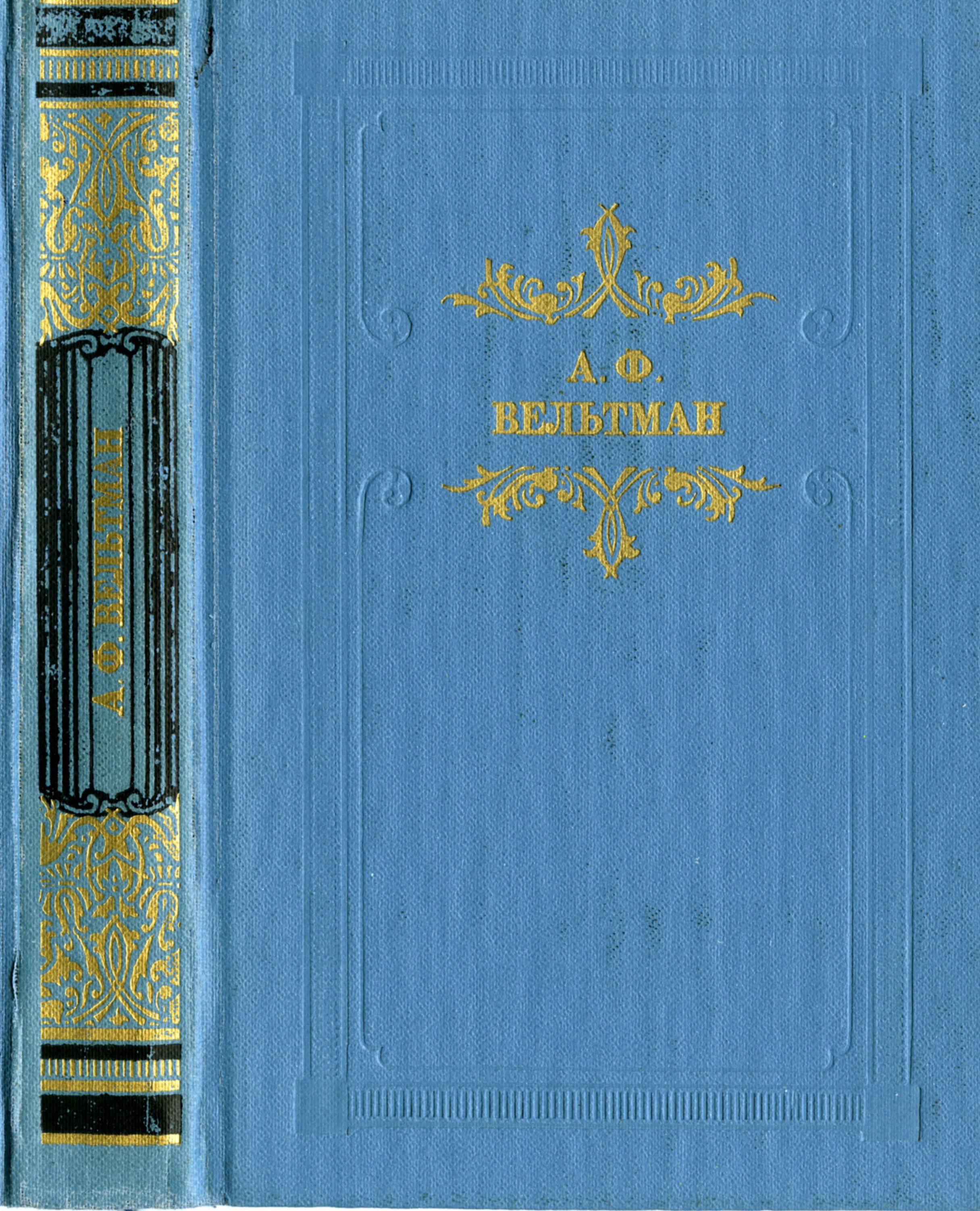
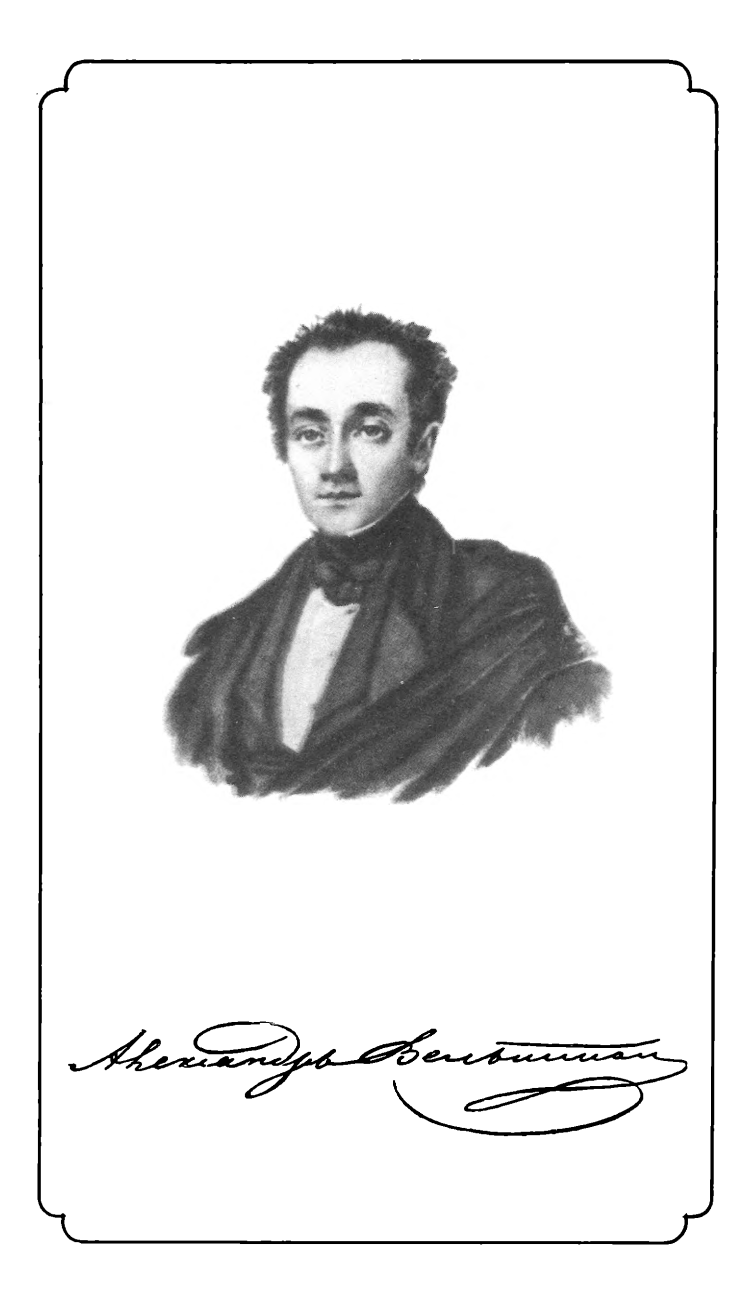

А. Ф. ВЕЛЬТМАН
А. Ф.
ВЕЛЬТМАН

Необъятно богата сокровищница
русской литературы.
Помимо гениев, обозначивших вехи
в духовном развитии человечества,
свой вклад в нее вносили
и многие менее известные писатели,
заслуживающие нашего внимания
и доброй памяти.
Заботу об издании таких писателей
заповедал нам Владимир Ильич Ленин:
«...мы должны вытаскивать из забвения,
собирать их произведения
и обязательно публиковать отдельными томиками.
Ведь это документы той эпохи»

*(Ленин В. И. О литературе и искусстве.
6-е изд. М., 1979, с. 699)*


Александръ Вельтманъ

ИЗ НАСЛЕДИЯ

А. Ф.
ВЕЛЬТМАН

Романы

МОСКВА
«Современник» 1985

Р1
В28

Составление,
вступительная статья
В. И. Калугина

Послесловие и комментарии
канд. ист. наук
А. П. Богданова

Романы Александра Вельтмана

«Теперь Вельтман забыт, но в свое время он был популярнейшим из беллетристов, произведения которого ждали с нетерпением и встречали с шумными приветствиями появление их в печати. Читатели и критика выделяли Вельтмана из толпы беллетристов наряду с Марлинским, Загоскиным, Лажечниковым, видя в них чуть только не классиков русской прозы»,— писал известный советский литературовед В. Ф. Переверзев в 1965 году. Стоит нам ознакомиться с критическими отзывами середины или конца прошлого века, начала или середины нашего, и мы встретим почти те же самые слова о «всеми забытом» Вельтмане. «В истории русской литературы нет другого писателя, который, обладая в свое время такой популярностью, как Вельтман, так быстро достиг бы полного забвения»,— констатировал Б. Я. Бухштаб в 1926 году.

И дело здесь, конечно, не в повторах, а в устоявшихся мнениях, которые действительно переживают века, обладают поразительной жизнеспособностью. Литературная судьба Вельтмана в этом отношении, пожалуй, наиболее характерна. Уже при жизни он попал в число «забытых», и ничто, даже такое значительное произведение, как «Приключения, почерпнутые из моря житейского», созданное в последние годы жизни писателя, не смогло вырвать его из этого небытия. История, казалось, вынесла свой приговор — окончательный, обжалованию не подлежащий. И этот приговор сохранял свою магическую силу более столетия. Только сейчас мы уже поостережемся причислить его к забытым, а если и назовем

таковым, то с неизменной оговоркой, что он принадлежит «к числу писателей, прославившихся при жизни, забытых последующими поколениями и вновь возвращающихся на литературную авансцену, чтобы уже обрести полное признание». Так писал в 1977 году Ю. М. Акутин, благодаря которому во многом и произошло «возвращение на литературную авансцену» Александра Фомича Вельтмана[1] одновременно с подобным же «возвращением» и Марлинского, и Загоскина, и Лажечникова, и многих других писателей, книги которых в 70—80-е годы XX века стали выходить в разных издательствах страны массовыми тиражами. Так что в данном случае мы имеем дело не с единичным фактом, а с одним из характернейших явлений именно нашего времени, нашего постижения и восприятия классического наследия.

Возвращение из небытия писателей, считавшихся навек забытыми, принадлежащими ко второму или третьему ряду,— это результат исторического подхода к литературному наследию, результат осознанной необходимости изучения не только первых, но и всех последующих «рядов», входящих в число неизменных составных русской культуры, без которых не было бы и ее высочайших достижений.

А. Ф. Вельтман уже вошел в число имен, «вытащенных из забвения» нашим временем. Но помимо уже переизданных произведений, в его творческом наследии есть и один из первых в России социально-утопических романов «MMMCDXLVIII год. Рукопись Мартына Задеки», и научно-фантастический роман — тоже один из первых в русской литературе — «Александр Филиппович Македонский. Предки Калимероса»; романы «Лунатик», «Сердце и Думка», «Новый Емеля, или Превращения», драмы, стихи, поэмы. Особое место в его творчестве занимают исторические романы «Кощей бессмертный» и «Светославич, вражий питомец», стоящие у истоков русской исторической романистики, наиболее значимые как в художественном, так и в историко-литературном отношении.

[1] См.: Вельтман А. Ф. Странник. М.: Наука, 1977. (Литературные памятники); Вельтман А. Ф. Повести и рассказы. М.: Советская Россия, 1979. Оба издания подготовлены Ю. М. Акутиным, опубликовавшим в 70-е гг. ряд статей о Вельтмане в научной и массовой печати. Биографический материал также наиболее полно представлен в послесловии Ю. М. Акутина к «Страннику» и в его статьях. См. также: Вельтман А. Ф. Приключения, почерпнутые из моря житейского. Саломея./Предисл. и коммент. В. Ф. Переверзева. Кн. 1—4 М.: Художественная литература, 1957. Вельтман А. Ф. Эротида.— В сб.: Русская романтическая повесть. М., 1980.

«Кощей бессмертный» вышел в 1833 году, «Светославич, вражий питомец» — в 1835-м, в годы появления целой вереницы русских исторических романов, повестей, драм. Ни до, ни после мы уже не встретим такой картины, когда в течение одного десятилетия — с 1826 по 1836 год — появились: «Борис Годунов» и «Капитанская дочка» А. С. Пушкина (1826, 1836), «Юрий Милославский» и «Аскольдова могила» М. Н. Загоскина (1829, 1833), «Клятва при гробе господнем» Н. А. Полевого (1832), «Последний новик» и «Ледяной дом» И. И. Лажечникова (1832, 1835), «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя (1835), исторические произведения Н. В. Кукольника, К. П. Массальского, Р. М. Зотова и многих других, менее известных беллетристов.

Естественно, и раньше русские писатели обращались к отечественной истории: «Марфа Посадница» Н. М. Карамзина создана в 1802 году, а исторические драмы М. М. Хераскова и В. А. Озерова предшествовали пушкинскому «Борису Годунову». Известно, какое значение приобрела история в поэзии и публицистике декабристов, став «вернейшим средством привития народу сильной привязанности к родине» (К. Ф. Рылеев), но историческая романистика появилась именно в 30-е годы — это факт неоспоримый. Появилась одновременно с переводами романов великого шотландского исторического романиста Вальтера Скотта, по праву считающегося родоначальником этого литературного жанра, оказавшего огромное влияние на многих европейских, и в том числе русских, писателей. Это тоже общеизвестно. И все-таки дело не во внешних влияниях, не в прямых или косвенных заимствованиях литературных форм, беллетристических приемов (здесь пальма первенства действительно принадлежит Вальтеру Скотту), а в общих законах развития всемирной литературы, воплощенных в Англии Вальтером Скоттом, в Америке — Фенимором Купером, во Франции — Жорд Санд, Стендалем, Мериме, Виктором Гюго, а в России — Пушкиным, Гоголем, Загоскиным, Полевым, Лажечниковым и даже... Фаддеем Булгариным, поскольку в литературе тоже есть и свои моцарты, и свои сальери.

Литература каждой нации должна была рано или поздно «открыть Америку» своей собственной истории, обрести тем самым необходимую почву для развития национальных форм. В России это сделал Карамзин. Не просто историк, но и крупнейший поэт своего времени. Когда Пушкин говорил: «...история народа принадлежит поэту», он имел в виду и Карамзина, и Рылеева, и себя, и многих других современников-поэтов, пытавшихся осмыслить исторические судьбы России.

В 30-е годы вслед за поэзией настало время исторической прозы, основных журнальных баталий об этом новом литературном жанре, отголоски которых мы ощущаем и поныне всякий раз, когда речь заходит об исторической романистике. И каждый из романистов неизменно клялся своей верности истории. Это делали и Погодин, и Загоскин, и Лажечников, и Нестор Кукольник, вполне убежденный, что в своей пресловутой драме «Рука Всевышнего отечество спасла» (1834) он дает «другое направление литературе», по его убеждению, более «прочное и значительное», чем пушкинское. Да и Фаддей Булгарин в своем «Дмитрии Самозванце», созданном как антитеза пушкинскому «Борису Годунову», уверял читателей: «Все современные главные происшествия изображены мною верно, и я позволил себе вводить вымыслы там только, где история молчит или представляет одни сомнения. Но и в этом случае я руководствовался преданиями и разными повествованиями о сей необыкновенной эпохе. Все исторические лица старался я изобразить точно в таком виде, как их представляет история».

И чем клятвеннее звучали подобные заверения, тем чудовищнее выглядели фальсификации истории. Чудовищнее именно потому, что читатель не подозревал о подмене, а кукольники и булгарины были в достаточной мере мастеровиты, чтобы заставить верить в свои «вымыслы».

Но если рассматривать исторические романы Вельтмана только на этом фоне литературной борьбы за историческую достоверность, они вполне могут попасть в разряд исторически недостоверных. Не потому, что действительно являются таковыми, а потому, что не укладываются в привычные представления об исторической романистике. Как, впрочем, и все его творчество в соотнесении с любым литературным явлением 20—30-х, 40—50-х или же 60-х годов, будь то романтизм, основные черты которого сохранили почти все его произведения, или же реализм, жанр социально-бытового романа в «Приключениях, почерпнутых из моря житейского» в соотнесении с реалистическими и социально-бытовыми романами 50—60-х годов. В этом отношении Белинский, пожалуй, наиболее точно определил и место, и значение Вельтмана в истории русской литературы, и основную причину, почему он «выпал» из нее. «Талант Вельтмана,— писал он в 1836 году,— самобытен и оригинален в высочайшей степени, он никому не подражает, и ему никто не может подражать. Он создал какой-то особый, ни для кого не доступный мир, его взгляд и его слог тоже принадлежат одному ему».

Но любое литературное явление, пусть даже абсолютно оригинальное,

не существует изолированно, само по себе, вне историко-литературного контекста своего — и не только своего — времени. Значит, надо попытаться найти более точные его временные или жанровые координаты, выявить ошибку в их определении.

Иначе даже современному читателю, уже достаточно искушенному в разных стилевых манерах отечественной и зарубежной романистики, тоже будет нелегко «расшифровать» систему образов и языка Вельтмана, поскольку для этого нужны хоть какие-то аналогии. Здесь же поиски аналогий могут любого завести в тупик (на что, собственно, и рассчитывал Вельтман). Тем не менее такие аналогии есть, только не там, где мы их ищем, — не в исторической романистике.

Уже традиционно принято причислять романы «Кощей бессмертный» и «Светославич» к историческим, предъявляя к ним и все соответствующие требования этого литературного жанра. Так было в прошлом столетии, когда Шевырев, Погодин и другие историки указывали Вельтману на исторические несоответствия в его произведениях, и так, по сути, продолжается поныне в постоянных оговорках, что эти романы «далеки от исторической правдивости». Но все дело в том, что подобное жанровое определение не совсем точно. Все встанет на свои места, если мы попытаемся рассмотреть эти произведения как *фольклорно-исторические*, то есть с учетом фольклорной поэтики как своеобразные *романы-сказки*.

А для этого есть все основания, если вспомнить, что 20—30-е годы — это время появления не только исторических романов, но и сказок Ореста Сомова, Пушкина, Жуковского, Владимира Даля и «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя; время создания первого свода русских народных песен П. В. Киреевского, среди «вкладчиков» которого, вместе с Пушкиным, Гоголем, Языковым и Владимиром Далем, был Александр Вельтман.

Интерес к фольклору — одна из важнейших особенностей не только русского, но и европейского романтизма, противопоставившего так называемому «литературному космополитизму», существовавшему в классицизме, идею обращения к народному творчеству, обретения национальных черт и народности литературы через народное творчество. «Мысль о создании самобытных народных литератур почти повсюду и об отыскании для того национальных элементов» (Н. А. Полевой) станет центральной в теории и практике русского романтизма.

Таким «национальным элементом» в произведениях многих русских писателей-романтиков становится история и фольклор, как правило взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга: историческая рома-

нистика почти неизменно включает в себя описания народных обычаев, обрядов, а фольклорная проза нередко обращается к истории. «Вечера на хуторе близ Диканьки» и фольклорно-исторические романы Вельтмана, пожалуй, лучшие тому примеры. Но у Гоголя и Вельтмана есть предшественник — Орест Сомов, трактат которого «О романтической поэзии» (1823) стал литературным знаменем русского романтизма. Однако не меньшая его заслуга заключается еще и в том, что свой знаменитый призыв «*иметь свою народную поэзию, неподражательную и независимую от преданий чуждых*» он осуществил практически. В конце 20-х и начале 30-х годов Орест Сомов создал целый ряд произведений, предвосхитивших и гоголевские «Вечера», и вельтмановские романы. В 1826 году Орест Сомов начал публикацию исторического романа «Гайдамак», в 1827 году появился его рассказ «Юродивый», в 1829 году — фольклорные рассказы и повести «Русалка», «Сказки о кладах», «Оборотень», «Кикимора», в 1830—1833 годах — новые фольклорные повести и рассказы «Купалов вечер», «Исполинские горы», «Бродящий огонь», «Киевские ведьмы», «Недобрый глаз». Оресту Сомову принадлежат также обработки народных сказок «Сказание о храбром витязе Укроме табунщике» (1828), «Сказка о медведе Костоломе и Иване — купецком сыне» (1830), «В поле съезжаются, родом не считаются» (1832), в которых он использует народную сказовую речь и в этом отношении является предшественником Владимира Даля: «Были и небылицы» Казака Луганского вышли в 1833 году, «Малороссийские были и небылицы» Порфирия Байского (под таким псевдонимом выступал О. Сомов) — в 1832-м.

Фольклорную прозу Ореста Сомова обычно сближают с произведениями Гоголя: «Русалку» с «Майской ночью, или Утопленницей», а «Киевскую ведьму» с «Ночью перед Рождеством». Прямых совпадений в этих произведениях действительно немало, что, впрочем, объясняется не столько заимствованием, сколько использованием одних и тех же народных поверий и легенд. Взаимосвязь фольклорно-исторической прозы Вельтмана с рассказами и повестями Ореста Сомова не столь явная, она — в стилевых приемах, в общих тенденциях развития самой романтической литературы. Их фольклорные произведения непосредственно связаны с так называемой «неистовой» школой в романтизме, стремившейся поразить читателя описаниями всевозможных ужасов. Определенную дань «страшным рассказам» отдали не только Орест Сомов и Вельтман, но и Гоголь в раннем «Кровавом бандуристе» и «Страшной

мести», Пушкин — в «Гробовщике», немалой популярностью пользовались у читателей всевозможные переводные и отечественные романы «ужасов», среди которых был, например, «Вампир», приписываемый Байрону (он вышел в 1828 году в Москве в переводе П. В. Киреевского), а также «Искуситель» Загоскина, «Черная женщина» Греча.

Интерес к подобного рода литературе не иссяк и поныне, но в романтизме пушкинского времени он имел одну важную особенность: «страшные» рассказы, повести, романы во многом основывались на фантастике народных преданий и легенд, что, в свою очередь, в немалой степени способствовало пробуждению интереса к самому фольклору, его собиранию и изучению. Многие произведения «неистовой» школы были насыщены фантастическими сюжетами и образами, почерпнутыми из фольклора. Таков цикл повестей Погорельского «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828), таковы же во многом и гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки» (первая часть — 1831, вторая — 1832), за которыми последовал цикл повестей Загоскина «Вечер на Хопре» (1834).

Фольклорно-исторические романы Вельтмана, появившиеся в 1833 — 1835 годах, продолжают традиции фольклорной и исторической прозы, в том числе и «неистового» романтизма. А традиции эти почти неизменно включали в себя элемент пародии. Если в «Страннике» Вельтман пародирует сентиментальную литературу путешествий, то в «Кощее бессмертном», «Светославиче» и в более поздних романах — «Рукопись Мартына Задеки», «Александр Филиппович Македонский» — романтическую фантастику, основанную на фольклорном и историческом материале. В этом отношении он также близок к Оресту Сомову, который, перечисляя в «Оборотне» всех заморских чудовищ и вампиров, совершавших «набеги на читающее поколение», знакомит читателей с русскими оборотнями, которые «до сих пор еще не пугали добрых людей в книжном быту», являются в литературе «чем-то *новым, небывалым*».

Вельтман тоже поведет читателей в мир новый и небывалый, тоже создаст своего оборотня, но этот оборотень окажется у него героем не просто сказочным, мифологическим, а историческим.

В творчестве Вельтмана немаловажна и такая чисто биографическая деталь. Служба в армии, участие в русско-турецкой войне 1827—1828 годов и жизнь в Бессарабии определили тематику многих его произведений, но главное — ознаменовались двумя событиями, имевшими решающее значение во всей его дальнейшей жизни и литературной судьбе,— это знакомство с Пушкиным и дружба с Владимиром Далем.

Потомку шведских дворян Вельдманов, как и потомку датских дворян Далей, суждено было одним из первых в России прикоснуться к сокровищам народного творчества и как собирателям, и как писателям. «Оба они не русские по крови; но тем более причины для нас радоваться той нравственно притягательной силе русской народности, которая умела не только вполне усыновить себе этих иностранцев по происхождению и привлечь их к разработке своих умственных богатств, но и одухотворить их не русское трудолюбие русской мыслью и чувством» — так писал Иван Аксаков в 1873 году о Владимире Ивановиче Дале и прибалтийском немце Александре Федоровиче Гильфердинге. Эти замечательные слова можно с полным правом отнести и к Александру Фомичу Вельтману — тоже собирателю, тоже историку, автору многих исторических работ[1], помощнику директора (с 1842 г.), а затем (1852 по 1870 г.) директору Оружейной палаты, тоже писателю, постоянно обращавшемуся в своем творчестве к темам народного творчества. Да и в литературу они вступили одновременно: Вельтман — сказочным «Кощеем бессмертным», а Владимир Даль, в том же 1833 году,— сказками Казака Луганского, воплощая во многом близкие художественные принципы. Поэтому и хвалить и ругать их будут тоже обычно вместе.

«Признаюсь откровенно,— писал в 1834 году о Вельтмане и Владимире Дале Сенковский,— я не признаю изящности этой кабачной литературы, на которую наши Вальтер-Скотты так падки. И как мы заговорили об этом предмете, то угодно ли послушать автора «Лунатика»:

«— Э, э! что ты тут хозяйничаешь!

— Воду, брат, грею.

— Добре! Засыпь, брат, и на мою долю крупки.

— Изволь, давай.

— Кабы запустить сальца, знаешь, дак оно бы тово!

[1] Среди изданных (многие остались в рукописях) научных работ А. Ф. Вельтмана: «Начертание древней истории Бессарабии» (М., 1828), «О Господине Новгороде Великом» (М., 1834), «Древние славянские собственные имена» (М., 1840), «Достопамятности Московского Кремля» (М., 1843), «Московская Оружейная палата» (М., 1844), «Аттила и Русь IV и V века. Свод исторических и народных преданий» (М., 1858), «Исследование о свевах, гуннах и монголах». Ч. 1—3 (М., 1858). Вельтман — один из первых переводчиков и комментаторов «Слова о полку Игореве», его издания «Слова» вышли в 1833 и 1856 гг.

— И ведомо! Смотри-кось, нет ли на приставце?»

Это называется изящной Словесностью! Нам очень прискорбно, что г. Вельтман, у которого нет недостатка ни в образованности, ни таланте, прибегает к такому засаленному средству остроумия. Нет сомнения, что можно иногда вводить в повесть просторечие; но всему мерою должны быть разборчивый вкус и верное чувство изящного: а в этом грубом, сыромятном каляканье я не вижу даже искусства!»

Ни Вельтман, ни Владимир Даль не прислушались к критике журнального магната, упорно продолжали вводить в свои произведения «сыромятное каляканье», а зачастую и фонетическое воспроизведение устной народной речи задолго до того, как это стало принято в фольклористике и диалектологии.

Использование народной речи — это еще далеко не все, что привнес Вельтман в свои исторические произведения. Они фольклорны не только по стилистике, не меньшее, если не большее, значение имеет фольклорность образов, сюжетостроения.

Любая сказка — это прежде всего условность, так называемая «установка на вымысел», составляющая основу основ сказочной поэтики. Вельтман перенес эту «установку» в свою историческую прозу, хотя действие у него происходит не в некотором царстве, в некотором государстве, при царе Горохе, а в конкретной исторической обстановке. Он специально оговаривает в «Кощее бессмертном», что вполне мог бы начать «правдивую повесть» о своем герое «от походов Славян с Одином, или даже с времени данной Александром Филипповичем, Царем Македонским, грамоты за заслуги на владение всею северною землею», но начинает со времен «чисто Исторических», ибо в иные, «баснословные» времена читатель не поверит, ему нужна «истина неоспоримая, подтвержденная выноскою внизу страницы или примечанием в конце книги». Его романы обильно снабжены как подобными «выносками», так и пространными примечаниями к каждой части. В этом отношении Вельтман соблюдает все правила исторической романистики, используя один из самых известных ее художественных приемов — соприкосновение реальных и вымышленных героев, реальных и вымышленных событий.

Своеобразие жанра подчеркнуто и в названиях романов: «Кощей бессмертный. Былина старого времени», «Светославич, вражий питомец. Диво времен Красного Солнца Владимира». Кстати, именно Вельтман в 1833 году впервые ввел древнерусское слово б ы л и н а из «Слова о полку Игореве» в литературный язык XIX века.

Родоначальник рода Пута-Заревых участвует в исторической битве новгородцев с суздальцами в 1170 году, попадает в плен к новгородцам; его внук Ива Иворович Пута-Зарев приходится крестником историческому же князю новгородскому, киевскому и торопецкому Мстиславу Мстиславовичу, а последний из рода Пута-Заревых — он же и главный герой — Ива Олелькович Пута-Зарев, «названный Ивою в память своего прапрадеда Ивы»,— современник Дмитрия Донского и Олега Рязанского. В романе «Кощей бессмертный» охватываются, таким образом, события двух веков русской истории, на фоне которых автор воссоздает судьбы нескольких поколений рода Пута-Заревых.

Но современников, уже имевших возможность сравнивать «Кощея бессмертного» с другими историческими романами, поразило описание не этих реальных событий, а вымышленных. Роман Вельтмана тем и отличался от «Аскольдовой могилы» Загоскина или же «Клятвы при гробе господнем» Полевого, тоже посвященных событиям древнерусской истории, что действие в нем развивалось сразу в двух планах — реально-историческом и сказочно-фантастическом. Эту особенность романа в первую очередь выделили критики. Николай Полевой, сам будучи романистом совершенно иного плана, писал, что о «Кощее бессмертном» Вельтмана «нельзя говорить, как о явлении обыкновенном. Это явление редкое, чудное, фантастическое и вместе верное истине». В своем отзыве, помещенном в «Московском телеграфе» (1833, № 12), он давал развернутую характеристику романа: «Это уже перестает быть чтением для вас, когда вы переселяетесь в очарованную область *Кощея:* это какое-то видение, которому верите вы, потому что видите его своими глазами. Автор имел право назвать его не романом, хотя сочинение его имеет всю форму романа, не сказкой, хотя все очарование сказки находится в нем, и не былью, потому что не было того происшествия, о котором повествует он, хотя и не могло бы оно быть иначе, если б случилось. В общности этого произведения условия Искусства выполнены превосходно, и, вместе с тем, оно до такой степени оригинально, до того не походит ни на один из всех явившихся доныне романов Русских, что может означать совсем особый род... Русь, истинная древняя Русь, оживлена тут фантазиею Сказки Русской».

Как видим, Николай Полевой тоже пытается найти и не находит четких жанровых определителей, что это — роман, сказка, быль или же «совсем особый род», отмечая главное, что несколько позже выделит и Белинский — «*древняя Русь оживлена тут фантазиею Сказки Русской*», то

есть совершенно непривычную и новую для литературы роль *сказочной* фантастики в *историческом* произведении.

В известном отзыве 1836 года Белинский разовьет, по сути, аналогичные положения, но уже на основе двух романов — «Кощея бессмертного» и «Светославича»: «Кому неизвестен талант г. Вельтмана? Кто не жил с ним в баснословных временах нашей Руси, столь полной сказочными чудесами, столь богатой сильными, могучими богатырями, красными девицами, седыми кудесниками, всею нечистою силою, начиная от дедушки Кощея до лохматого домового и обольстительной русалки старого Днепра? (Домовой и Русалки — персонажи «Светославича».— *В. К.*). Кто не помнит Ивы Олельковича, с его «нетути» и кривыми ногами, кто не помнит Мильцы и Младеня?.. и кто не перечтет все эти фантастические полуобразы, эти пестрые картины русского сказочного мира?..»

Картины сказочного мира соприкасаются с реально-историческим, сказка вводится в историческую обстановку. Отсюда жанровое и стилевое смещение, которое Вельтман еще более подчеркивает смещением языковых стилей, всех норм и привычных пластов литературного языка и устной народной речи, славянизмов, многочисленных цитат из «Слова о полку Игореве» и летописей, диалектизмов и т. п. Да и любой рассказ о реальном событии или действии героя ведется сразу в нескольких планах: реально-историческом (Ива едет сражаться с «погаными Агарянами» и их царем Мамаем), сюжетно-бытовом (Ива ищет свою похищенную невесту) и фантастически-сказочном (те же самые исторические и бытовые события Ива воспринимает сквозь призму сказочной фантастики). А в дополнение ко всему повествование постоянно прерывается вставными новеллами, сказками, легендами, былями, так что порой читатель действительно способен потерять основную нить рассказа, что, в свою очередь, тоже является своеобразным художественным приемом. «...Не думайте же, читатели,— оговаривается автор,— чтоб я поступил с вами, как проводник, который, показывая войску дорогу чрез скрытые пути гор и лесов, сбился сам с дороги и со страха бежал. Нет, не бойтесь, читатели! Клубок, который мне дала Баба-Яга, катится передо мною».

«Двойственность» стиля переходит в «двойственность» героя. «Сквозь смешной облик Ивы Олельковича просвечивает другое — серьезное, полное философского смысла лицо. Образ Ивы двоится, становится лукавым и обманчивым,— не уловишь: смешное тут или серьезное, фантастика или реальность, мистика или мистификация» (В. Ф. Переверзев). Позднее

эти черты Ивы Олельковича перейдут к Емеле (роман «Новый Емеля, или Превращения») — образу еще более усложненному по сочетанию реального и фантастического.

Столь сложная стилевая и сюжетная вязь включает в себя и элементы пародии (рыцарских романов, исторических хроник, лубочной литературы, «страшных» романтических повестей), и гротеска, и сатиры, и мистификации — все это тоже присуще фольклорно-историческим романам Вельтмана.

Но основным, определяющим художественным приемом остается все-таки сказка, ее «установка на вымысел». Причем у Вельтмана сказочны не только отдельные сюжеты или приемы, а образы главных героев, будь то Ива Олелькович или же Светославич, «вражий питомец», который — не кто иной, как персонаж известных народных легенд о младенце, проклятом в чреве матери, ставшем оборотнем. «Писатель мастерски, если не виртуозно, выявляет и обнаруживает в своем повествовании внутренние потенции этого поверья. Отталкиваясь от его общей схемы, широко используя художественный вымысел, Вельтман выстраивает ряд сюжетных линий, связанных воедино замыслом показать древнюю Русь на сломе двух исторических эпох — языческой и христианской (Р. В. Иезуитова).

Этот художественный прием введения сказочных героев в реальную обстановку Вельтман использовал и позднее, в романе «Новый Емеля, или Превращения». В главном герое романа — Емельяне Герасимовиче мы без труда узнаем сказочного Емелю-дурачка, которого Вельтман проводит через события Отечественной войны 1812 года, превращая то во французского генерала, то в шута, то в богатого наследника, то в русского барина-реформатора. Правда, помимо фольклорных параллелей, в этом романе, как, впрочем, и в предыдущих, не менее явственны литературные. Емельян Герасимович и Ива Олелькович со своими верными слугами — это, конечно же, не только сказочные емели, но и русские донкихоты. Вельтман, вне всякого сомнения, соотносил своих героев с известными литературными образами, такое соотнесение тоже являлось распространенным романтическим приемом, рассчитанным на «двойственность» прочтения, на постоянные литературные ассоциации. Сервантес, Стерн, Байрон, Вальтер Скотт, Гофман, Тик — вот далеко не полный перечень имен, составляющих литературный фон произведений Вельтмана, как и других русских романтиков. Но основой для Вельтмана (в отличие, например, от другого крупнейшего русского романтика — Владимира Одоевского) стал все-таки русский фольклор и русская история, поэтому об-

щелитературные параллели остаются лишь фоном, почти обязательным для любого произведения.

Роман «Новый Емеля, или Превращения», изданный в 1845 году, вызвал наиболее резкие отзывы критиков, в том числе и Белинского, писавшего: «Тут ничего не поймете: это не роман, а довольно нескладный сон. Даровитый автор «Кощея бессмертного» в «Емеле» превзошел самого себя в странной прихотливости своей фантазии, прежде эта странная прихотливость выкупалась блестками поэзии, о «Емеле» и этого нельзя сказать».

И этот отрицательный отзыв великого критика не менее характерен для литературной судьбы Вельтмана, чем предыдущие — положительные. Если в 30-е годы странность и прихотливость его фантазии находили объяснение в оригинальности, в «редчайшем, почти психологическом явлении» его таланта, то в 40-е и 50-е годы та же оригинальность из основного достоинства превратилась в основной недостаток.

Правда, и ранее речь заходила о некоторой незаконченности, фрагментарности его произведений, критики требовали «созданий полных, отчетистых». «Прежде,— отмечал в 1836 году критик «Северной пчелы»,— мы извиняли эту несвязность, как умышленное следствие усилий автора. Теперь нам уже кажется несносным этот литературный порок, который беспрерывно растет и развивается. Г. Вельтман кончит тем, что будет писать одно начало страниц, а так пиши сам читатель как угодно». Под прежними произведениями здесь подразумевается «Странник», под новыми — «Кощей бессмертный» и «Светославич», которые критик «Северной пчелы» (а в этом качестве обычно выступал сам издатель — Булгарин) считает уже «несносными».

Подобная точка зрения, укрепившаяся, ставшая общепризнанной, к сожалению, имела далеко идущие последствия не только в судьбе Вельтмана, но и для того нового литературного жанра, контуры которого уже обозначились в его романах. «Консервативная критика 30—40-х годов,— пишет по этому поводу современный исследователь И. П. Щеблыкин,— пользуясь отсутствием в статьях Белинского развернутых анализов исторических романов Вельтмана, охотно повторяла тезис о творческом фиаско Вельтмана после «Кощея бессмертного». Отсюда выводилась и другая неверная мысль о бесперспективности... обращения к фольклору и художественной фантастике в целях исторического повествования. Академическое дореволюционное литературоведение, не вникнув в конкретный смысл отзыва Белинского о «Кощее» как «лучшем» романе Вельтмана,

истолковывало данное суждение критика таким образом, что Вельтман будто бы вообще не предпринимал далее никаких новых шагов в разработке поэтики исторического романа» (Филологические науки, 1975, № 5).

Подобное представление о «писателе-метеоре» (так нередко называли Вельтмана в критических отзывах), однажды промелькнувшем в небосклоне русской литературы и навсегда исчезнувшем, закрепилось довольно прочно. Хотя достаточно хорошо были известны и другие отзывы о том же «Емеле» — например, Добролюбова, Достоевского. Весьма существенные коррективы в восприятии современниками этого романа вносит статья Аполлона Григорьева, писавшего в 1846 году об «Емеле» в «Финском вестнике» (№ 8): «Перед нами является чисто мифологическое лицо русских сказок, русский дурак, только без двух братьев умных, русский дурак, с его простодушным, и потому метким и злым, изумлением от разного рода лжи общественной, для него непонятной — с его глупостью, которая кажется скорее избытком ума, с его бесстрастием ко всему происходящему опять от того же, что его простая природа не понимает, как можно страдать от разного рода наклонных потребностей, приличий и проч. Да — русский дурак, грубое, суздальское, пожалуй, изображение той же мысли, которая создала американского Патфиндера[1], которая воодушевила Руссо!.. Емеля — это эпопея о русском сказочном дураке, эпопея, пожалуй, комическая, но комическая только по форме, как Сервантесов Дон Кихот, сближение которого с русским Емелей вероятно также покажется вопиющим парадоксом»[2].

Статья Аполлона Григорьева давала ключ к пониманию не только «Емели», но и других произведений Вельтмана, раскрывала основной принцип его поэтики, но она не смогла изменить уже устоявшегося мнения, подкрепленного гораздо большими авторитетами. Выход романа совпал со временем наиболее острых споров между западниками и славянофилами, что также далеко не способствовало его пониманию, поскольку ни те, ни другие не могли назвать Вельтмана выразителем своих взглядов. Западники считали его славянофилом, славянофилы — западником, но он

---

[1] Следопыт, Кожаный Чулок — герой романов Фенимора Купера.

[2] Характерно, что в эти же самые годы произошло несколько подобных «вопиющих парадоксов»: когда в 1842 г. Константин Аксаков в брошюре о «Мертвых душах» сблизил Гоголя с Гомером и когда в 1845 г. С. П. Шевырев в одной из лекций о народной поэзии в Московском университете сравнил Илью Муромца с испанским рыцарем Сидом.

не примыкал ни к тем, ни к другим, хотя наиболее часто публиковался в славянофильском «Москвитянине», а в 1849 году даже был «соредактором» Погодина, пытаясь, вместе с Владимиром Далем, спасти журнал от финансового краха[1]. Не принял он и натуральной школы, был далек от принципов зарождавшегося критического реализма, хотя в «приключениях, почерпнутых из моря житейского» и в других произведениях, включая «Емелю», воссоздал вполне реалистическую картину русской действительности, затрагивал весьма острые социальные проблемы.

Все это мало сказалось на его литературной судьбе. А причина все та же: если в 30-е годы творческие поиски Вельтмана совпадали с основными тенденциями развития русской литературы — к фольклору и истории обращались почти все его современники, включая Пушкина и Гоголя,— то в последующие десятилетия он окажется чуть ли не единственным, кто последовательно, из романа в роман, будет развивать принципы фольклорно-исторической поэтики. Но уже как бы вне литературы, вне ее основных течений и направлений. С годами эта дистанция увеличивалась, Вельтман все дальше «уходил» от литературы своего времени, и казалось, что та же участь постигла и его романы. По крайней мере, в конце столетия один из историков литературы (К. Н. Бестужев-Рюмин) искренне сожалел, что Вельтман неизвестен даже «друзьям литературы», способным «оценить неудержимый поток фантазии».

Это уже в XX веке исследователи обратили внимание, что мнения современников не были столь однозначными, что романы Вельтмана оставили ощутимый след в творчестве целого ряда писателей, что в образе его Емели «потенциально таится» князь Мышкин, а в образах героев «Саломеи» — Раскольников, Настасья Филипповна, Грушенька. «Вельтман для Достоевского,— отмечал В. Ф. Переверзев,— то же, что Нарежный для Гоголя — предтеча и необходимая предпосылка. Без «Бурсака» и «Аристиона» не было бы и «Вия» и «Мертвых душ»; без «Саломеи» Вельтмана не было бы «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых» Достоевского».

---

[1] В. И. Даль предлагал в 1848 г. М. Н. Погодину программу обновления «Москвитянина»: «Изящная словесность требуется, повестей хороших давайте, без этого нельзя жить. Обзоров литературных, летопись книг, легкой руки критика — это необходимо... Если вы сладитесь с Вельтманом, если затем будете очень исправно платить всем, то через год, два пойдет дело, и вы разбогатеете. Если нет, то Москвитянин сел, несмотря ни на какие объявления». Вельтману не удалось «сладиться» с Погодиным, и в 1850 г. тот передал журнал «молодой редакции».

Вельтман и Достоевский — далеко не единственное возможное сближение. С не меньшим основанием Вельтмана можно назначить «предтечей» не только Достоевского, но и Лескова, что само по себе тоже немало для писателя, «всеми забытого»,— быть предтечей двух великих художников слова. «По принципу борьбы и смещения семантических элементов,— отмечал Б. Я. Бухштаб,— Вельтман в течение двадцати лет вырабатывал своеобразную языковую систему, которая впоследствии ложится в основу лесковского языка».

Стоит только добавить, что подобное семантическое смещение имело вполне определенную направленность и основу. Как в «Кощее бессмертном», «Светославиче», «Емеле» Вельтмана, так и в сказах, «Очарованном страннике», «Левше» Лескова основа эта — фольклорность образов и фольклорность стиля, в сторону которой и «смещались» все другие «элементы». Поэтому, повторяю, столь важно представлять эту жанровую особенность романов-сказок Вельтмана, чтобы сравнивать ее не с «Юрием Милославским» или любым другим историческим романом того времени, а со сказками Ореста Сомова и Владимира Даля, с «Вечерами на хуторе близ Диканьки» и «Тарасом Бульбой» Гоголя. Только в таком случае произведения Вельтмана не «выпадут», а, наоборот, встанут на свое реальное место в истории русской литературы.

Помимо «Кощея бессмертного» и «Светославича» у Вельтмана есть еще одно произведение, тематически связанное с двумя предыдущими, завершающее своеобразную историческую трилогию писателя из эпохи Древней Руси,— это «Райна, королевна Болгарская».

«Райна» впервые появилась в 1843 году в одном из самых массовых по тому времени изданий — «Библиотеке для чтения», но привлекла внимание лишь через десять лет, и не русской критики, а болгарских революционеров, писателей, художников. В 1852 и 1856 годах «Райна» вышла в Петербурге и Одессе в переводе на болгарский язык Елены Мульевой, в 1866 году ее перевел и издал в Вене известный болгарский писатель Иоаким Груев, и тогда же, в 60-е годы, один из основоположников болгарского национального театра — Добри Войников создал на основе «Райны» драму «Райна-княгиня», которая многие годы с огромным успехом шла в Болгарии на профессиональных и любительских сценах. Но и это еще не все. Классикой болгарского изобразительного искусства стали иллюстрации к «Райне», созданные в 60—80-е годы знаменитым болгарским художником Николаем Павловичем и получившие широкое распространение в народных массах.

Причины столь пристального внимания видных деятелей болгарского Возрождения к этому произведению русского писателя сами по себе тоже заслуживают внимания.

Болгарское, и не только болгарское, но и все славянское Возрождение XIX века, национально-освободительная борьба в славянских странах самым непосредственным образом связаны с русской культурой, наукой, литературой. Известно, например, что граф Румянцев в 20-е годы неоднократно оказывал материальную поддержку выдающемуся сербскому собирателю Вуку Караджичу, а Российская академия в 1828 году направила шесть тысяч рублей выдающимся чешским ученым Шафарику и Генке для издания их научных трудов. Известно также, какую огромную роль в истории болгарского Возрождения сыграла книга русского слависта Юрия Венелина «Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам», вышедшая в Москве в 1829 году.

Вельтман (а одновременно с ним Владимир Даль и Хомяков) побывал в Болгарии еще во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов, когда, как писал Пушкин в стихотворении «Олегов щит», «ко граду Константина... Пришла славянская дружина» и Россия почти освободила Болгарию от османского ига. Поэтому и к легендарному походу древнерусского князя Святослава он тоже обратился далеко не случайно: в 971 году Святослав шел на Царьград тем же путем через Балканы, что и русская армия в 1829-м. «Тень Святослава», воспеть которую призывал Пушкина Николай Гнедич, появляется впервые в вельтмановском «Светославиче», где проклятый сын русского князя отправляется на Дунай за черепом отца.

Сам поход Святослава в Болгарию был достаточно хорошо известен по летописным источникам и Карамзину, но Вельтман писал о том, чего не было ни в летописях, ни в «Истории государства Российского»: о романтической роковой любви Святослава и Райны, дочери болгарского царя Петра, трагически гибнущей в финале вместе с русским князем.

Святослав предстает в «Райне» последним представителем на Руси «поколения земных богов». В рассказе о нем Вельтман следует летописным источникам, дополняя их довольно удачным сравнением Святослава с героями индийского эпоса. «Так велось исстари,— замечает он,— и в царстве индейском, где раджи также не носили бороды и свято исполняли закон, которым воспрещено было каждому *раджану*, воину, употреблять против неприятеля бесчестное оружие, как, например,

палку, заключавшую в себе остроконечный клинок, зубчатые стрелы, стрелы, напитанные ядом, и стрелы огнеметные. Раджаны не нападали ни на спящего, ни на безоружного, ни на удрученного скорбью, ни на раненого, ни на труса, ни на беглеца. Таков был и Святослав, «тако ж и прочии вси вои его бяху вси».

Кодекс богатырской чести действительно существовал в Древней Руси, о чем свидетельствуют и былины, и летописные рассказы о поединках русских воинов с косожскими, печенежскими, половецкими или татарскими воями, а также знаменитое свидетельство летописца о воинской доблести самого Святослава.

Византия уговаривает Святослава обнажить свой меч на «непокорных и насилующих Грецию Болгар». Святослав соглашается, и в начале повествования он отправляется в Болгарию завоевателем, а не освободителем. Но из завоевателя он превращается в освободителя, распутывающего кровавый узел придворных интриг, спасающего Райну. «Народ со всей Болгарии,— описывает Вельтман встречу Святослава,— стекался в Преслав на великий праздник, на благодатную погоду после бури. Взоры всех слезились от радости, и на народе, как на облаке, отражалась радуга мира, знамение завета между Русью и Болгарией».

Нетрудно представить, как воспринималась эта сцена в Болгарии в самый разгар национально-освободительной борьбы. Освобождение Болгарии с помощью России получало, таким образом, историческое предопределение в событиях тысячелетней давности. «Эта история на средневековый сюжет,— отмечает современный болгарский исследователь, академик Николай Райнов,— помимо исторического содержания, близкого каждому болгарину, привлекла внимание еще и трогательным до слез сюжетом. Автор не следовал точно историческим фактам, но и болгарские читатели не были особенно придирчивы, да и сама болгарская история не была достаточно разработана». Привлекала основная идея книги — идея исторической освободительной миссии России, приобретавшая чрезвычайно актуальное значение, находившая горячий отклик в сердцах болгар.

«Райна, королевна Болгарская» выстроена по всем законам исторической романистики и в этом отношении отличается от «Кощея бессмертного» и «Светославича», хотя и здесь Вельтман приводит песенные тексты, создает образ гусляра, удачно использует прямые и косвенные цитаты из «Слова о полку Игореве», летописей и народной поэзии. И тем не менее, несмотря на насыщенность фольклорными мотивами, «Райну, королевну Болгарскую» нельзя причислить к фольклорно-истори-

ческим произведениям Вельтмана. Развитие сюжета подчинено здесь законам исторической романистики, образы лишены сказочности, которая предопределила принципиально иные стилистические и сюжетные приемы в «Кощее бессмертном» и «Светославиче».

Необычная судьба «Райны, королевны Болгарской» (а это тоже немаловажный факт из истории русской литературы), сближение героев романов Вельтмана и Достоевского, стиля Вельтмана и Лескова (а подобные примеры можно продолжить целым рядом имен писателей, для которых Вельтман тоже «необходимая предпосылка»), статья о Вельтмане Аполлона Григорьева — все это свидетельствует, что его произведения никогда не «выпадали» из живого процесса развития русской литературы, имеющего, подобно любой полноводной реке, притоки, ее питающие. Проза Вельтмана — один из таких животворных источников. И глубоко знаменательно, что в наше время эти пересохшие было родники начинают оживать заново...

ВИКТОР КАЛУГИН



Кощей бессмертный

Былина старого времени

Часть первая

I

Слишком за четыре столетия до настоящего времени, в Княжестве Киевском, в селе Облазне, за овинами, на лугу, взрослые ребята играли в *чехорду*[1].

— Матри, матри, Вась! — вскричал один из наездников, рыжий молодец; надулся, размахнул руками, раскачался, бросился вперед, как испуганный теленок, и — скок через восемь перегнутых в дугу спин.

— А! на девятой сел! — вози! — раздался голос из-за забора.

Этот голос был знаком нашим наездникам. Все выправились и сняли шапки перед баричем.

— Ну! ты, Ионка,— колесница, ты, Юрка,— конь! — вскричал он и длинным арапником вытянул коня вдоль спины, а другим ударом смазал колесы у колесницы.

Ион и Юрка зачесали голову, стиснули ясные очи, развесили губы; крупные слезы брызнули как из родника.

Барич не смотрел на их прискорбие.

Юрку взнуздал он длинной тесьмой, которую всегда но-

[1] Татарская игра, называемая Чахорды. Одна часть ребят становятся друг за другом, согнувшись, и составляют таким образом из спин мост; другие, по очереди, разбегаются и должны, перепрыгнув через всех, сесть на спину переднего. Который не перепрыгнет, на том ездят верхом. *(Прим. Вельтмана.)*

Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, подстрочные примечания Вельтмана. Все выделения в тексте курсивом также принадлежат Вельтману; выделенные слова, как правило, объясняются в подстрочных примечаниях или комментариях.— *А. Б.*

сил с собою, на всякий случай, вместо вожжей, вместо своры и вместо узды; выправил ее, вскочил на спину Иона, хлопнул бичом по воздуху, свистнул, гаркнул: «На дыбы! катись!» — и отправился вдоль по селению.

Крестьяне кланялись в землю баричу, будущему своему господину-милостивцу.

Это обстоятельство осталось бы, верно, в забвении, подобно многим, по наружности ничтожным, а в сущности важным обстоятельствам, на которые История не обращает своего заботливого внимания, если б я не последовал исступленной моде писать Романы и не подражал Апулею, Петронию, Клавдию Албинию, Папе Пию 11-му, Гелиодоту и всем, всем древним, средним и новым романистам.

Бедный читатель! Кто не пользовался твоею слабостью, твоей доверчивостью! Кто не водил тебя по терниям слога, по развалинам предмета, по могилам смысла, по пучине несообразностей?

Баричу было уже лет около двадцати от роду. Он был среднего роста, как вообще все великие люди; был здоров и красен лицом.

В настоящее время его родительница положила бы единородного своего сына на картах бубновым королем.

Всех прочих телесных и душевных достоинств его невозможно передать несколькими словами. Время и подвиги, которые отличают героев и гениев от людей обыкновенных, покажут потомству: кто был барич и ка́к его звали, величали.

Но кто бы отказался взглянуть, как барич едет верхом на Юрке, как на коне Актазе Мстислава Мстиславича, *якого же в та лета не бысть;* как склонилась набок его красивая шапочка, *как злат шелом посвечивая;* как распахнулись узорчатые полы татарского халата; как старый Тир, пестун барина, трух, трух, а инде рысью, следовал за дитятем своим.

Кто отказался бы взглянуть, как *сельский Тивоун*[1], заметив издали, что барич *волит* тешиться, встречает его у ворот *медовиком*; и как барич подъезжает, останавливает коня и колесницу, принимает от Тиуна и поклон, и кусок медовика и едет далее.

---

[1] Здесь: староста.— *А. Б.*

Какой бы любопытный путешественник от стран вечерних, смотря на поезд барича, не составил в уме своем какой-нибудь странной идеи о обычаях Руси?

Что не делают превратные понятия?

Пестун Тир был немного туп от природы.

Минерва никогда не решилась бы принять на себя его наружности, если б боги брали такое же участие в героях Русских, как и в Греческих.

Однако же Тир умел постигать все изречения, волю и приказы милостивых господ своих. Смиренно внимал он словам их, стоя почтительно у дверей.

Восклицания: *«Так, государь, родной отец, так, вот-те бог, так! Так, государыня, боярыня, матушка, вестимо так!»* —дали об уме его выгодное мнение, и Тира определили из дворовых сторожей в дядьки к юному баричу.

На нем-то барич выучился ездить верхом; от него-то наслышался о подвигах Русских храбрых витязей и могучих богатырей; и вот первые впечатления души взросли не годами, а часами, как Боба Королевич,— и сделались великанами впоследствии.

II

Хотя барич был плодом более торгового расчета дедушки, нежели взаимной любви его родителей, но в нем было много особенных качеств, по которым отец и мать предвидят в своем сыне великого человека. Боярин Пута-Зарев умер с уверенностью, что его сын есть надежная, добрая отрасль прославленного в Новгороде поколения того *Пидоблянина,* который вез в город *горнцы*[1] и увидел, что сверженный Новгородцами в Волхов Перун приплыл снова к берегу, отринул его шестом и рек: «Ты, Перунище, досыти еси пил и ял; а ныне плыви уже проче».

Правдивую повесть о роде Путы-Заревых можно было бы начать от походов Славян с Одином[2] или даже со времени

[1] Горшки.— *А. Б.*

[2] Во время работы над романом Вельтман активно изучал проблемы этногенеза индоевропеицев и создал, опираясь на сведения исландского автора XIII в. Снорри Стурлусона, концепцию, согласно которой общность славянских и скандинавских народов в языках и мифологии объяснялась переселением из Азии — через Россию — в Северную Европу племен асов и ванов во главе с их вождем Одином (см. мою статью и комментарии.— *А. Б.).*

данной им Александром Филипповичем, Царем Македонским, грамоты за заслуги на владение всею северною землею, даже до границ последних полудня Италийского и до гор Персидских[1]. Но что баснословно, темно, подвержено сомнениям и не основано на сказаниях письмен гиероглифических, символических или рунических, то чистый рассудок отвергает: ему нужна истина — истина неоспоримая, подтвержденная выноскою внизу страницы или примечанием в конце книги.

Начинаю с времен чисто Исторических; даже после того времени, когда Руссы просили помощи у Варягов против нашествия Славян, в исходе IV столетия[2], даже позже призвания Немцев Рюрика, Синава и Труара на стол Новгородский[3].

В 1170 году, когда поднялась вся земля Русская на Новгород и Новгородцы обнесли весь город деревянным тыном, и потом, не усидев в осаде, высыпали из стен, врезались в стан неприятельский, положили часть врагов на месте, другую часть взяли в плен, а третью прогнали — тогда, в числе одного десятка пленных Суздальцев, проданных за одну гривну *Степенному Тысяцкому*[4], Коле-Ораю, был Олег Пута.

Он не горевал, несмотря на то, что половина бороды его была вырвана одним новгородским *вершником*[5], два пальца

---

[1] Такая легенда действительно бытовала в монархической историографии. Еще Н. М. Карамзину приходилось в «Истории государства Российского» опровергать достоверность грамоты русским государям на вечное владение землями «от моря Варяжского до Хвалижского» (от Балтики до Каспия), которая была «златопернатыми буквами» подписана Александром Македонским.— *А. Б.*

[2] Здесь Вельтман понимает под руссами древних балтов.— *А. Б.*

[3] «Призвание» новгородцами варягов в IX в.— легенда, вошедшая в основу официального родословия русских великих князей и царей. Вельтман относится к ней с явной иронией.— *А. Б.*

[4] Степенным назывался действительно исполняющий должность; Старым назывался бывший. Точно так же Степенный Посадник и Старый Посадник. *(Прим. Вельтмана.)*

В древнем Новгороде тысяцкий — помощник посадника, ведавший городским войском и укреплениями, а также судом по торговым делам. Выбирался из бояр на вече, обычно на год. Посадник — высшее государственное лицо в Новгородской феодальной республике — также избирался вечем. — *А. Б.*

[5] Верховой, конный.

на левой руке отрублены другим и из верхней челюсти выбиты два зуба третьим.

«Ничего!» — думал он, ибо был уверен в своей счастливой будущности.

Однажды Тысяцкий Орай воротился с Веча, где *увечали*[1] строить, в честь и память победы, одержанной Новгородцами над соединенными Князьями, храм Знамения Богоматери и положили мир с Андреем Боголюбским.

В светлице стол был уже убран яствами. Жена Орая встретила его в дверях; вся семья собралась; в числе ее заметны были: старушка, помнившая, как Перуна привязали к конскому хвосту и свезли в Волхов, да внучка ее, дочь Тысяцкого, девушка, какой в Новгороде другой не было.

Помолились богу, поклонились низменно образам, а потом друг другу и сели за браный стол молча.

Мир с князем Андреем напомнил Тысяцкому о пленных Суздальцах. Один из них, купленный также за две *ногаты*[2], был не простого рода, не из *смерды*[3].

Тысяцкий велел его привести к себе.

— А то Суждальцю, каково-ти от хлеба Ноугорочькову?

— Чествую, господине Тысячьский, солнце тепло и красно, простре горячую лучю своею и на небозиих,— отвечал весело Суздалец.

— Шо радует ти? Ноугорочьское сердце плакалось бы по воле, яко Израиля при Фаравуне Царю Еюпетстем?

— Вольно мне радоватися горю, и я волен! — отвечал Олег Пута.

Веселый взор внушает доверенность. А так как после увечанья Суздальцы вообще вздорожали, то Тысяцкий Орай посадил Олега с собою за стол.

— Испей Волхови! — сказал хозяин, поднося стопу, на-

---

[1] Решили Вечем, общим голосом вечевого собора.

[2] Древняя Русская монета; в Куне считалось 4 ногаты.

[3] Черный, рабочий народ и кабальные холопы. *(Прим. Вельтмана.)* О точном определении социального положения смердов ведутся споры; большинство историков считают их зависимыми крестьянами, но не холопами: ср. выражение Русской правды «смерд и холоп».— *А. Б.*

полненную Фряжским вином[1]. Даю тебе волю, иди в Суждаль с богом!

Олег Пута встал, поблагодарил Тысяцкого за милость; но, едва поднес он стопу к устам своим, осененным густыми, черными усами, едва закинул голову назад и приподнял очи, что-то блеснуло перед ним; он остановился, взглянул пристально, еще пристальнее, выпил вино и задумался.

Против него сидела Свельда.

III

Дом Тысяцкого Колы-Орая стоял красными окнами на улицу Щитную, находившуюся на Торговой стороне, в Славянском конце[2].

Плавный Волхов подмывал серебряными струями своими корни столетних лип, принадлежавших к саду, в котором Свельда гуляла или пела с подругами, девами Новгородскими, песни, в посидельнике, построенном на самом берегу реки Волхова.

— О! — сказал Олег в тот же еще день, в который объявили ему волю.— Буря занесла сокола в землю чуждую; испил Волхова, взглянул на Навгородскую деву, и уже крылья его не ширяют![3] Не хочет он лететь в родную землю!

Чу, красные воспели на берегу светлого Волхова!

Спустившись с широких сеней, по тесовому крыльцу, на зеленый двор, Олег скользнул в калитку, ведущую в градину[4], между деревьями пробрался он к самому посидельнику.

Притаился за углом в кусте синели и видел сквозь окно ряды дев, занятых рукодельем.

---

[1] Итальянским вином; фрягами в Древней Руси называли итальянцев: например, архитектор Жан Баттисто де ла Воло, а по-русски Иван Фрязин.— *А. Б.*

[2] Древний Новгород разделялся надвое рекой Волховом и состоял из Детинца (кремля) и пяти концов во главе с конечными старостами. На западном берегу Волхова — Софийской стороне — находились Гончарный (Людин), Загорский и Неревский концы; на восточной, Торговой стороне — Плотницкий и Славянский.— *А. Б.*.

[3] Не летают. «Ширять соколом под небеси» — выражение «Слова о полку Игореве».— *А. Б.*

[4] Огород, сад.— *А. Б.*

Они пели.

Олег заучил слова; полюбилась ему песня:

Чему ты мое веселье
По ковылю веешь?
Чему ты на злак излила
Студеную росу?
Веща душа в дружнем теле,
Сглядай мои слезы!
Изрони ты слово злато,
Взлелей мою радость:
Я люблю ти, голубицу,
Жемчужную душу!

Все девы были хороши; а одна лучше всех.

Олег смотрел на Свельду.

Он видел, как жемчужная повязка обняла ее чело; как решетчатая, с вплетенными золотыми тесьмами, широкая коса спускалась до пояса; как *узорочье*[1] из голубой цветной *паволоки*[2] пристало к ней; как *кропиная руба*[3], тонкая, белая, обшитая цветною *бахромою*, прилегла к плечам ее и беспокойно волновалась, когда из белой груди вырывались нежные звуки, а иногда и глубокий вздох; видел, как перловая нить обвивала шею Свельды; а *жуковины*[4] с каменями честными светились на маленьких пальчиках; а златокованый пояс крепко, крепко обвил стан ее; а *япончица червленая*[5], наброшенная на плечи, скатилась с них; а сафьянные торжокские черевички с тесьмами, как змеи, обвились около малюток ног.

Все это он видел, милые читатели! Как не позавидовать глазам, которые так пристально смотрят на существо нежное, в котором все ново, полно, пышно, таинственно, все невинно!

Злодей! он притаился за кустом! он задыхается от чувств, которых наши прародители не называли просто *любовью*,

---

[1] Украшение женское, касающееся до одежды. *(Прим. Вельтмана.)* В русских летописях — драгоценные вещи. «Прииде Олег к Киеву, неся золото, и паволоки, и овощи, и всякое узорочье» (Ипатьевская летопись); в том же значении в «Слове о полку Игореве»: «Орътьмами, и япончицами, и кожухы нача мосты мостити по болотам и грязевым местом, и всякими узорочьи половецкыми».— *А. Б.*

[2] Парча, вообще шелковая материя.

[3] Из полотна, тканного из крапивы.

[4] Перстни.— *А. Б.*

[5] Древняя женская богатая одежда из шелковых золотых тканей, из оксамиту, изарбата, китаи и пр.

а почитали внушением божеским или наваждением дьявольским. Горючее вещество, наполнявшее древние сердца, было неутушимо! Впрочем, грех нам завидовать прошедшему: и в нас есть столько готических, патриархальных чувств! Возьмите в пример хоть откровенность.

Светлые струи Волхова уже померкли; только еще на Ильмене было рассыпано несколько лучей вечернего солнца. Красные девушки скрылись из посидельника; рассыпались по тропинкам сада; *ау* переносилось из куста в куст и вторилось в отдалении.

Олег взобрался на холм и прилег на мягкой мураве. Смотрел он на зеркальное озеро, на каменные палаты и многоверхие храмы, на двор Ярослава, возвышавшийся над строениями, на вечевую башню о четырех витых столбах, коей верх уподоблялся древней Княжеской шапке; на *Перынь*[1], обнесенную зубчатыми стенами, на златоглавый новый Софийский собор о тринадцати верхах.

На все смотрел Олег; но видел повсюду только рассеянные свои мысли.

Олег помнит себя отроком, у которого нет ни отца, ни матери, который живет в глухом лесу, в Божнице, под началом седого, грозного старика, одетого в широкую червленую одежду и покрывающего главу широкою белою поломою.

Помнит он в Божнице, на высоком стояле, огромного истукана, которого называли Световичем; как у Януса было у него четыре лица; на восход обращено было красное, на север белое, на полдень зеленое, на запад желтое. В одной руке держал он лук и стрелы, в другой медный рог. В ногах у него лежали доспехи и вооружение. Подле стояло знамя войны.

Помнит Олег, что приходящим в храм воспрещалось дышать под казнью сожжения на костре за осквернение

---

[1] Холм над озером Ильменем, где стоял идол Перун, а впоследствии монастырь Перынь. *(Прим. Вельтмана.)*

Археологические раскопки советского времени подтвердили это предположение Вельтмана.—*А. Б.*

храма нечистым дыханием; и потому все поклонники идола, вбегая в храм и прикоснувшись устами к подножию истукана, торопились выйти, чтобы не быть жертвою его.

Помнит Олег совершение обрядов, кои состояли в возжении огней в храме, в принятии от поклонников жертв: вина, елея, плодов, рыб, животных и всего, что подавалось идолу от чистого сердца. Помнит, как жрецы пели:

Свете, свете, свете, вековкизный!
Укажи ны правду по закону,
Не розвлай-се тучею по небу,
Не взмути ны струю сребропенну!
Не губи ны лютою угрозою,
Не сотри шеломы гор зеленых,
Не повей на вежи огнь и смагу,
Не остри на ны меча карайча!
Выповедай розмысл нам и правду,
Присени ны ризой златотканой,
Усыти на голод жирне-ествой,
Упои ны жажду млеком сладким,
Вечиною твоею нас управи,
Свет, свет, пламень правдовестный!

Помнит Олег, как приготовлялся заблаговременно пирог из *мусты*[1], величиною с малую келию; как жрец садился в него и, вынесенный Световидовыми *кметами*[2] к богомольцам, вопрошал всех: «Видите ли мене?» — «Не видим»,— отвечали поклонники. «В ново лето узрите!» Кто желал видеть жреца и не удостоился видеть, тот должен был класть в огромную медную чашу не менее *долгеи*[3], и потому мало было охотников наслаждаться лицезрением Световича, сидящего в пироге.

Помнит он, как по окончании обряда празднества жрецы сносили пожертвованную Световичу пищу и вино в подзе-

[1] Виноградный сок; слово, сохранившееся в Молдавском и Сербском языках. И потому жертвенный хлеб у поклонников Световида пекся не на меду, как заключали наши Мифологисты, а на молодом виноградном соке, который заменял и дрожжи и мед.

[2] Род сельских Сошников или Десятских. *(Прим. Вельтмана.)*

Вельтман использует позднее значение этого слова. В Древней Руси к м е т ь — искусный воин, дружинник, витязь. «И рече ему Буй Тур Всеволод: ...а моя ти куряни сведоми кмети: под трубами повиты, под шеломы възлелеяны, конецъ копия въскоръмлени!» («Слово о полку Игореве»).— *А. Б.*

[3] Древняя Русская монета. В грамотах Новгородских 1305—1308 годов к князю Михаилу сказано: «погон имати от князя по пяти кун, а от Тиуна по две долгеи... от воза по векше».

мельную свою палату, и там, пресытясь и упившись до беспамятства, проводили ночи в песнях и плясках с чужими жрецами, которых привозили на Световидовом белом коне из другого соседнего капища Диды.

Помнит он, что грозный жрец воспрещал ему не только разделять с ними ночные пиры, но даже и быть свидетелем. Это было для Олега хуже всего. Тошна ему стала и пища и жизнь. «Как,— думал он,— не только не давать мне вина, но даже не позволять и взглянуть на жрецов Диды, которые хотя под покрывалом, но должны быть так же молоды, как и я, потому что ни у одного из них не заметно на бороде ни одного седого волоса!»

Таким образом, до юношеского возраста Олег рос *как трава блещаная*[1], *в глубине развалин*, где ни солнце ее не осветит, ни дождь не освежит; но когда Олег стал уже юношей, сердце его еще более вспыхнуло досадой, и он решился бежать.

За водою, окружавшею со всех сторон лес и капище, ему казалось, было более света.

В одно утро, когда солнце едва только осветило верхи высоких дерев, окружавших Божницу; когда старый жрец еще покоился после ночных бдений в честь Световича, а два другие привязывали в стояле сватых *комоней*[2], взмыленных и вспаренных, Олег прокрался вон из подземелья, пробежал чащу леса; перед ним открылась зеленая даль, но под стопами его утреннее солнце играло на зыбком лоне воды. Сердце его забилось, страх овладел душою, грозный голос седого жреца послышался ему. Он бросился в воду. Свет утра, зелень, люди исчезли из глаз; все померкло; холод обдал его; восклицание ужаса как будто потухло, подобно брызнувшей искре.

IV

После сего несколько лет жизни были темны для памяти Олега.

---

[1] Светящаяся трава. Выражение летописи. *(Прим. Вельтмана.)*

«И бысть сеча силна, яко посветяше молонья блещашется оружье, и бе гроза велика и сеча силна и страшна» (Лаврентьевская летопись).— *А. Б.*

[2] Святых коней.— *А. Б.*

Новое существование, несвязное с прежним, казалось ему яснее.

Олег-юноша, красный собою, живет Стременным[1] у Суздальского Воеводы Бориса Жидиславича. С ним идет он в землю Половецкую. В покоренной Веже Тунгу воины привели пред Воеводу чаровницу. Когда бросали ее в погреб, чтоб приготовить между тем костер, Олег заметил во взорах старухи мольбу; она хотела что-то сказать ему. Любопытство подстрекает юношу; он находит случай войти к ней в подземелье.

Старуха начинает ему говорить что-то на Половецком языке.

— Не вем,— отвечает Олег, рассматривая чаровницу, для которой попалома из битой черной шерсти служила вместо одежды ниже пояса, а остроконечная кожаная шапка вместо головного убора; седые длинные волосы были разбросаны по плечам и прикрывали наготу груди; обнаженные руки похожи были на выдавшиеся из земли корни засохшего дерева.

— Не ведаешь языка моего, я ведаю твой! — отвечала старуха.— Час мой приспел; но не умру я на костре. У тебя меч, у меня голова; снеси ее! Не алтын дам тебе, дам зелье Эмшан[2], кто не восхочет вершить волю твою, дай ему поухать зелия, и полюбит тебя и волю твою. Береги про день черный, послужит тебе, да на один подвиг, на одну часть[3]. И другому послужит, да не давай ни другу, ни милостивцу, а отдай в наследие сыну, и будет роду твоему часть. Ну, уруби мою голову!

Олег взял у старухи что-то завернутое в кусок толстины[4], вынул меч свой, размахнулся — исполнил последнюю волю чаровницы, и вышел из погреба.

Не верю тому, чтоб люди были лучше в старину; но чувствую, что в нашем поколении нет уже того *харалужного*[5] терпения, коим вооружались наши предки.

---

[1] Чин боярской и княжеской свиты, ближний («у стремени») слуга, телохранитель.— *А. Б.*

[2] «Аже или не восхощет, дай ему поухать зелия, именуема Эмшан. (См. Киевс⟨кую⟩ Летоп⟨ись⟩, лето 1184.).

[3] Счастье.

[4] Холстины.

[5] Вельтман использует известное выражение «Слова о полку Игореве».— *А. Б.*

Кто в наше время отложил бы испытание Эмшана до другого дня? Но Олег, владея сокровищем, похищенным, вероятно, из таинств Сивиллы, не знал, что с ним делать. Довольный судьбою, он не имел таких желаний, для исполнения коих нужна была сверхъестественная сила.

Зашив зелье в ладонку, он повесил ее на шею, и забыл про зелье.

Прошло восемь лет, в которые Суздаль был прославлен княжением мудрого Андрея Георгиевича. Под его покровом были Киев и Новгород. Андрей мог быть обладателем всех Русских княжеств, но не искал соединения их, и судьба влекла Русь к бедственным векам междоусобий и унижения, изглаженных также веками.

В эти восемь лет Олег был свидетелем кровавой войны с Киевским князем Мстиславом Изяславичем. Андрей восстал на него, и соединенные полчища Переяславля, Смоленска, Вышгорода, Овруча, Дорогобужа, земли Северской и Суздаля, под предводительством Мстислава Андреевича, окружили Киев, побили слабых защитников его, подкрепленных союзом с Волынянами, Торками и Берендеями, взяли город, и Мстислав Киевский скрылся в Волынь.

Помнил Олег, как неистовства соединенной рати превзошли всю меру бесчеловечия над жителями покоренного Киева.

Сердце Олега облилось кровью.

Припомнил он и последнее восстание Андрея на Новгород. Судьба отмстила за Киев. Мстислав, испивший шлемом Днепра, не утолил жажды в Волхове.

Воины 72 князей, соратаев его, пали под стенами Новгорода, а Олег Пута, Стременной суздальского воеводы Бориса Жидиславича, взят в плен.

— А за что? — вскричал вдруг Олег.— За то ли, что в Киеве хромому старику я спас костыли? Что малому ребенку выручил два сосца его из рук воев? Что старой бабе отстоял припечку? Что мой меч урубил шею сопелку Половецкой чаровнице?

«Ау!» — раздалось близ Олега.

Он вздрогнул.

Что-то защелкало, зажгло около сердца, как будто залетевший под одежду черный, рогатый жук. Олег схватил рукой, ощупал: это была ладонка.

Сорвал ее.

Слова песни: «Я люблю ти голубицу, жемчужную душу» — повторились в памяти его. Сердце забилось сильнее. Он припомнил слова чаровницы и раскрыл ладонку.

Зеленая травка, как будто только что сорванная, развернулась, запах коснулся обонянию. Олег громко чихнул.

— Во здравие! — раздался подле него приятный голос.

Это была Свельда.

Пробегая мимо, она заметила Олега; разговоры с самим собою показались ей чудными; она остановилась и видела, как он раскрыл ладонку и вынул из оной листок. Любопытства девушки нельзя ни с чем сравнить.

— Что то, Суздальцу? — спросила она.

— Поухай, Свельда, люби Олега! — отвечал он и приблизил зеленый листок Эмшана к устам ее. Запах коснулся до чувств девы; взор ее быстро поднялся на Олега; она чихнула, румянец вспыхнул на щеках; она хотела что-то сердито сказать — не могла; хотела побежать — не могла.

— Полюби Олега, Свельда, будь ему женою!

Свельда опустила очи в землю и молчала.

— Изрони же слово злато, взлелей мою радость!

Свельда опять подняла очи.

Олег взял ее за руку.

Обнял.

Свельда как глыба пламени оторвалась от пожара и исчезла в кустах.

Олег глубоко вздохнул. Взор его остановился на том месте, где не стало видно Свельды.

Громкие приближающиеся *ау* подруг ее вывели Олега из забвения.

День потух.

V

Как провел Олег время от захождения до восхождения солнца, после подобных неожиданных происшествий? Спал он или нет? Это трудно решить в том веке, в котором в чувствах нет счастливой умеренности, в котором или *нет*

ничего, или *через чур* губят взаимные радости и довольствие участью.

— Он не должен был спать,— скажут мне юноши и девы.

— Первый миг блаженства слишком полон, чтоб не волновать души и крови!..

— Слишком пламенен, чтоб не сжечь собою спокойствия!..

— Слишком сладок, чтоб забыть его для бесчувствия!..

Может быть.

В том климате, где воздух не может быть чистым без грома и молнии, нужны бури.

Но есть сердца, похожие на вечную весну Квито.

Улыбка их не есть дитя порывистых чувств; в них она есть постоянно голубое небо.

Питательная роса заменяет *ливень*.

Эта роса есть слезы умиления.

Бесчувствует ли сон? — Я не знаю.

Но мне памятно, как в счастливые минуты жизни сон носил меня по будущему блаженству и довременно лил в меня наслаждение.

Помню, как в скорбные минуты жизни сон бросал меня с утесов, топил в море, давил мою грудь скалою, водил меня по развалинам и кладбищам и поил ядом.

Это помню я и не знаю, бесчувствие ли сон или невещественная жизнь, основанная на радостях и печалях сердца, на ясности и мраке души?

Впрочем, как не назвать Олега бесчувственным?

В течение нескольких мгновений, влюбленный и уверенный во взаимной любви, он спит, полагаясь на весь мир, как на каменное свое сердце.

Настало утро; первое светлое утро после пленения Олега Путы.

Он проснулся.

Выглянул весело в оконце; на золотом кресте Софийского собора, видного из-за домов, солнце уже играло. Перекрестился, начал день с богом, и пошел к хозяину поблагодарить за спокойную ночь; ибо добрый Тысяцкий, полюбив Олега и узнав, что он был Стременным Суздаль-

ского Воеводы Бориса Жидиславича, обходился с ним ласково и уложил спать как гостя.

— Ну, радуйся со мною *праздному* дню моему! — сказал Тысяцкий, когда Олег вошел к нему.— По вечери дочь моя, Свельда, размыкала девичью волю; на утрие снимет крылия и наденет злато ожерелье.

Не кори меня, господине богу милый читатель, за то, что я не везде буду говорить с тобой языком наших прадедов.

И ты, цвете прекрасный читательница, дчь[1] Леля, тресветлое солнце словотцюю! Взлелеял бы тебя словесы Брояновы, пустил бы вещие персты по живым струнам и начал бы старую повесть старыми словесы[2]; да боюся, *уноест твое сердце жалобою на меня,* и ты пошлешь меня черным вранам на *уедие*[3].

В продолжение сих добрых повестей моих к читателю и читательнице Олег молчал.

Тысяцкий Орай продолжал:

— Дело слажено, люди отслушают заутреню, придет красивый сын Частного Старосты[4] Яний, покажу ему невесту, не откажется!

Олег молчал.

— Повидишь жениха Свельды, похвалишь!

Олег смотрел на тесовый резной потолок и молчал.

— Видел дочь мою Свельду? а? милость!

Олег опустил взоры на полицу, потом на оконце, потом в землю и молчал.

— Суждальцю?

Олег поднял взоры на Тысяцкого и молчал.

---

[1] В древнерусском языке «дъчь» — дочь; позже писали «дчь» под титлом, обозначавшим сокращение слова.— *А. Б.*

[2] Вельтман перефразирует обращение к Бояну в «Слове о полку Игореве».— *А. Б.*

[3] Покормка. *(Прим. Вельтмана).*

Употреблено в «Слове о полку Игореве»: «А галици свою речь говоряхуть, хотять полетети на уедие».— *А. Б.*

[4] Здесь: кончанский, или уличанский, староста, возглавлявший горожан новгородского конца, или улицы.— *А. Б.*

— Чему не вечаешь? не смиляешься радованию моему?

— Господине мой, помилуюся ли повести о сетовании и скорби моей! — произнес Олег печально.

— Желаешь нелюбия? — сказал сердито Тысяцкий.

— Желаю веселия,— отвечал Олег.— Да не то замыслило сердце мое... Свельда...

— Ну! — громко произнес Орай и встал с места.

— Невеста моя!

Тысяцкий разгладил уже с досады бороду, опустил обе руки за шитый сухим златом кушак, что-то хотел говорить, но взглянул на Олега и захохотал.

Олег, протянув руку, подносил к носу Тысяцкого зеленый листок.

— Нет веры! поухай! — произнес Олег.

Запах цветка коснулся обоняния Тысяцкого.

Он чихнул.

— Свельда моя? — спросил Олег.

— Правда! — отвечал Орай, запинаясь и смотря с удивлением на Олега.

— Свельда моя? — повторил Олег.

— Твоя! — отвечал Орай задумчиво, как будто припоминая странный сон, в котором он видел дочь свою Свельду, сосватанную за Яна, сына Частного Новгородского Старосты.

Олег обнял будущего своего тестя. Потом будущий тесть обнял нареченного своего зятя и повел его в *мовню*[1]; из мовни в свою ризницу. «*Слюбное емли*!»[2] — сказал ему и дал шитый сухим златом кожух и соболью шапку с золотою *ужицей*[3].

Когда Олег кончил свой наряд, Орай любо взглянул на него, обнял еще раз и сказал:

— Заутра *смильный* день![4]

И Олег еще раз обнял будущего тестя своего и поклонился ему в землю.

---

[1] Баня.

[2] Любое. *(Прим. Вельтмана).*

Слюбно — полюбовно, мирно.— *А. Б.*

[3] Веревка; ужище корабельное — канат. (Лекс<икон> Трезычн<ый>.)

[4] Брачный день. *(Прим. Вельтмана.)*

В древнерусских источниках отмечено также «смильное заставание» — обличение в прелюбодеянии; «смило» — приданое.— *А. Б.*

VI

Рассмотрев все летописи, простые и *харатейные*[1], все древние сказания и *ржавые Ядра Истории*[2], я не нашел в них ни слова о событии, которое предаю потомству.

Это упущение особенно должно лежать на душе Новгородского летописца.

Верно, какая-нибудь личность с кем-нибудь из рода Пута-Заревых!

Но оставим изыскания. Читатель не может сомневаться в справедливости предания и слов моих.

Покуда Олег был в мовне и наряжался, жена Тысяцкого с дочерью возвращались из церкви. По обыкновению, они чинно сели в светлице и, в ожидании пришествия хозяина и завтрака, кушали сватый хлеб.

Вдруг дверь отворилась. Вошел Тысяцкий с гостем.

Этот гость был Олег; но его узнала только Свельда; и то не глазами: сердце сказало ей, что это он.

Тысяцкий, забывчивый и всегда потерянный в обстоятельствах, которые хотя немного отступали от вседневных его обычаев, не исполнил своей обязанности представить избранного зятя жене и милой дочери.

А Олег любил порядок.

Сняв шапочку, он помолился богу, поклонился всем молча, потом, отбросив темные кудри свои назад, подошел к будущей теще, преклонил колено, поцеловал ей руку; и потом то же самое сделал и с рукою Свельды.

Когда я скажу читателю, что в Древней Руси подобные вещи мог делать только нареченный жених, то всякий легко представит себе то ужасное положение, в котором была жена Тысяцкого, женщина полная собою, полная хозяйка дому.

---

[1] Название «харатейные» (т. е. пергаменные) летописи часто употребляется в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина Заимствовано из летописцев XVII в. *А. Б*

[2] Имеется в виду «Ядро Российской истории», сочинение А. И. Манкиева, ходившее в XVIII в. во множестве списков и опубликованное в 1784 г в Москве под именем князя А. Я Хилкова *А. Б*

— Кто ты! Кого тебе, господине? Чего правишь?..

Она не успела еще кончить всего, что собралась высказать, как вдруг челядь прибежала сказать, что едет Частный Староста с сыном.

Большой поезд вершников проскакал мимо окон, по улице и остановился у крыльца. Тысяцкий и жена его бросились принимать гостей. Двери растворились настежь. Вошли. Сотворили молитву, поздоровались.

— Всеволод Всеволодович! Яний Всеволодович! — произнесла хозяйка, заходив около гостей с поклонами и указывая им на первые места под образами, близ стола, на котором уже стоял круглый, огромный пирог.

Всеволод Всеволодович не долго заставил просить себя; а Яний Всеволодович обратил свое внимание на незнакомого ему Олега, который не сводил глаз с Свельды, опустившей голубые свои очи в землю.

Вскоре и Частный Староста, отклонив свой слух от многоречивой хозяйки, посмотрел косо на гостя, роскошно одетого, который не только не отдал ему должного поклона в пояс, но даже не слушал речей его о порядке, им устроенном в *Гончарском конце*.

Он осмотрел Олега с ног до головы и обратно; сердито погладил бороду и обратился к Тысяцкому, который, по обыкновению, сложив руки *знаком дружбы*, сидел, молчал и всегда более думал, нежели слушал и говорил.

— Семьянин? Господине Тысяцкий! — спросил его Всеволод Всеволодович, показывая глазами на Олега. Тысяцкий смутился.

Олег понял вопрос и заметил, что тесть его молчал, не зная, как и что отвечать Частному Старосте.

— Семьянин! — отвечал он громко Всеволоду Всеволодовичу.

— Царь царем! — вскричала жена Тысяцкого, прикрыв пухлую щеку свою ладонью.

— Какого колена и племени? — продолжал Частный Староста, вставая.— Али родной брат Свельды, что вперил в нее очи?

— Нареченный, господине! — отвечал Олег.

— Как! — раздалось со всех сторон.

— Как! — повторил Частный Староста, приступив к Коле-Ораю.

— Как! — повторил Яний Всеволодович, приступив к Олегу Путе.

— Спокойтесь, родные мои! Это полуумный! Кто, кроме Яния Всеволодовича, суженный Свельде! — возопила жена Тысяцкого, отвлекая то Частного Старосту, то сына его от мужа и от Олега.

Ничто не помогало.

— Не колокольным языком мотают мою!..

— Нет, голова, здесь на твои плеча!..— твердили отец и сын.

Тысяцкий не отвечал бы на слова Частного Старосты, если б у него был ум целого Веча. Ему казалось чудным, что Всеволод Всеволодович и Яний Всеволодович не верят словам Олега, что он суженый его дочери. Исполненный сими мыслями, Орай отступил от наступающего на него Частного Старосты, и между тем как он уже был приперт к стене, Олег, на слова Яния: «Не весть кто и отколе! Не выгонец ли какой земли!» — отвечал словом «Поухай!» и толчком в нос.

Зашипел Яний как разъяренный кречет.

Чихнул. И как будто пораженный светлою мыслью, он вдруг приложил палец к челу и громко вскрикнул:

— Правда! ты суженый Свельды!

— Как! — вскричал снова Частный Староста, обратившись к Олегу.

— Поухай, поверишь! — отвечал Суздалец, приблизив Эмшан к носу Всеволода Всеволодовича.

— Правда! — сказал и он, чихнув и обратясь ко всем, как будто ожидая только привета.— Во здравие!

Между тем хозяйка дома успела уже выйти из себя:

— Вон, нечистая, демонская сила! — произнесла она грозно на Олега.— Выживу! — С этими словами схватила она из божницы Образ и бросилась на бедного Суздальца.

— Родная моя! — вскричала Свельда и очутилась между матерью и Олегом.

— И дочь за Бесермена![1] — возопила жена Тысяцкого.

Если б знал Олег, что дойдет до такого горя с будущей его тещей, ей бы первой дал он понюхать Эмшану.

Как гибельна поздняя обдуманность!

---

[1] Поклонника Магомета, мусульманина.— *А. Б*

Уже жена Тысяцкого оттолкнула дочь, занесла обе руки, вооруженная против нечистой силы, и двинулась на Олега. Что было ему делать? Прикрыв левою ладонью, ненадежным щитом, широкий, белый лоб свой, на который падала уже сила исступленной женщины, он вытянул правую донельзя и — прикоснулся Эмшаном к носу будущей доброй тещи своей.

Какая торжественная минута для всего потомства Олега Путы!

Чудная трава действует!

Вот уже чихнула жена Тысяцкого. «Во здравие!» — отвечали все, еще раз чихнула. «И паки!» — отвечали ей все; в третий раз чихнула, и слово: «Правда!» — отозвалось в сердце Свельды.

— Господине суженый! дочь моя милая! Благослови вас господь!

Олег взял Свельду за руку; они стали на колена перед матерью, которая стояла уже с Образом мирно и радостно, приготовляясь благословить их и высказать обычные пожелания на жизнь ладную, супружнюю, на добро и на племя, на злато и радости — и все *на веки вешные*.

— Как величают по имени, по отчеству и по прозванью суженого дочери твоей? — спросил Всеволод Всеволодович у Тысяцкого.

— Не ведаю,— отвечал он.

— Как имя, отчество и прозванье? — повторил Частный Староста вопрос свой к Олегу.

— Олег Сбыславич Пута,— отвечал он.

— Величаем тебя, Олег Сбыславич Пута! — воскликнули все.

Олег в это время смотрел на свою Свельду. А Свельда смотрела на своего Олега. Им не были слышны громогласные поздравления. Какое невнимание! Как будто слух их также обратился в глаза!

— Величаем тебя, Олег Сбыславич и с милой четою! — повторили все.

— Просим на сговор и свадьбу! — отвечал Олег, кланяясь и отцу, и матери, и Всеволоду Всеволодовичу, и Янию Всеволодовичу.

Но отец и мать приглашения на свой счет не приняли; а важный Частный Староста и сын его, по обыкновению, поклонились и сказали: «Не минуем быти!»

Таким образом вскоре совершилась и свадьба Олега и Свельды.

Не стану описывать венчальный день, а особенно те три дня, в которые длились посидельники, где Свельду, скрытую между толпами подруг ее, одетых так же, как она, и так же покрытых покрывалами, Олег должен был угадывать.

Как ни чутко сердце влюбленных, как ни проницательны глаза их, как ни тонко обоняние, однако ж многие из красных девушек Новгородских, на зло его сердцу, сорвали с него поцелуи, принадлежащие одной Свельде.

К чему знать читателю, как хороша была Свельда, когда перед поездом в храм она сидела на черных соболях, когда ей расчесывали длинную русую косу, обмакивая гребень в заморское вино, и когда бросали на нее *осыпало*[1], и когда венчанную водили ее рука об руку с Олегом вкруг налоя, и когда укладывали ее спать на тучных ржаных снопах, и как она заснула, и как пробудилась.

Весь Новгород поднялся на ноги смотреть свадьбу Олегову. Кто не верил событию, что Новгородский Степенный Тысяцкий Кола-Орай отдал красную дочь свою за пленного Суздальца, тому Олег подносил вместо Фряжского вина Эмшан и говорил: «Поухай!» Чихнув, неверующий убеждался в истине и говорил: «Правда!»

Вероятно, с тех-то пор и вошло в обыкновение верить словам, которые подтверждаются чиханием.

VII

Почти так же громко раздался звон вечевого колокола в 1207 году, как и в 1471, когда Марфа Борецкая пировала в чудном своем доме и вечевала о делах важнейших, а Владыка, Посадники, Тысяцкие, люди житые[2], купцы и со всем Великим Новым-городом, писали с ее сказаний к честному Королю Польскому крестную грамоту, прося ведать Новгород, не хотевший быть отчиной Московского Государя.

[1] Хмель, смешанный с мелкими деньгами; в старинных обрядах свадеб осыпали невест: ходи в золоте, упивайся жизнью.

[2] Житыми или житейскими людьми разумелись зажиточные или старожилы. Из них жаловались и в бояре. *(Прим. Вельтмана).*

В источниках известны старожильцы — свидетели (из крестьян) и «жильцы. Чин их таков: для походу и для всякого дела, спят в царском дворе» (Г. Катошихин. XVII в.). В бояре те и другие не жаловались.— *А. Б.*

Итак, в 1207 году вечевой колокол загудел.

Со всех концов стеклись Новгородцы.

На поляне, против Двора Ярославова[1], толпы народа сгустились около каменного круглого стола, с которого обыкновенно Посадники и мужи старейшины изрекали волю Веча.

На нем уже стояли Послы, Бояре Всеволода Георгиевича, окруженные дружиной Владимирской.

Народ ожидал слов их.

Они молчали, ибо колокол Веча, огласив Новгороду трижды три удара, гудел еще и заглушал собою голос человеческий.

Посадник Новгородский Дмитрий Мирошкин был в отсутствии, во Владимире.

Ненавидимый всеми брат его Борис правил Вечем.

Колокол умолк.

Борис объявил, что Великий Князь Всеволод прислал указ и опалу Новгороду за восстание против сына его Константина и казнь велел взять по *долгее* с уха.

— Убеднился Новгород от неправды! — вскричал старый Боярин Новгородский Олег Сбыславич, занимавший почетное место у стола.— Удели, Посадник Димитрий, с братьями, от своего золота милостыню Новгороду, тогда он будет платить неправедную виру!

— Смуту творишь, Олег Сбыславич! Пойдешь на суд княжий! — сказал грозно Борис.

— На суд княжий, да не на твой, тля Новгородская! — произнес гордо Олег Сбыславич, встал с места, хотел продолжать... но Борис обратился к Владимирцам.

Они поняли его знак и окружили Олега.

Народ взволновался, зашумел.

— Не дадим Сбыславича, не дадим! он наш! — загрохотали тысячи голосов.

— Бей душегубца Бориса! Поднимай его!

Стража Владимирская обнажила мечи и окружила стол.

Народ ломится.

---

[1] Двор Ярослава Владимировича При сем дворе было вече и *торг (Прим. Вельтмана.)*

Слово «двор» в значении «хозяйство», «усадьба» встречается в «Слове о полку Игореве», но тогда же оно означало и дворню, вассалов. За комплексом архитектурных памятников в Новгороде закрепилось название «Ярославово дворище» *А Б*

Борис видит свою гибель. Выхватывает меч из ножен, поражает им Олега и кричит к народу:

— Возьмите Сбыславича! возьмите! Над ним совершен уже суд Всеволода и Константина! Он ваш!

Когда Новгородцы увидели кровь любимого своего Старшины, ужас и горесть потушили ожесточение, а слезы затмили очи. Никто не видел, как скрылись Послы и Борис Мирошкин.

Олега принесли в дом его. В нем уже гасла жизнь.

Жена и дочь упали на него без памяти.

— Тому есть рад, оже вины моей нету,— сказал он; взглянул на свою добрую Свельду, взглянул на свою милую дочь; в померкших очах показались светлые слезы; из охладевшего тела выкатились горячие слезы!

Он пожелал говорить с своею дочерью.

Всеслава осталась с ним.

— Всеслава! Вот уже несколько лет, как Тысяцкий Ивор Зарев любит тебя постоянно. Будь ему женою, Всеслава! Умирающий отец просит тебя!

— Хотела быть всю жизнь одинокою,— отвечала Всеслава, заливаясь слезами,— но воля твоя, родитель: буду женою Ивора.

— Благо тебе от бога! Позови ко мне Ивора.

Когда Ивор пришел, Олег отдал ему руку Всеславы. Давно он любил безнадежно холодную деву.

Неожиданность поразила его. Он схватил бы Олега Сбыславича с одра и сжал бы его в своих объятиях, если б не боялся отнять у всех несколько драгоценных минут жизни отца и друга.

Просто, положив голову свою на ладонь умирающего старца, он облил ее слезами, и Олег понял, что это благодарность.

— Твоя Всеслава,— сказал он слабым голосом,— но прежде сослужи службу Новгороду.— Идите, кроме Ивора,— продолжал он.

Все вышли. Но вскоре опять были призваны проститься с Олегом Сбыславичем навеки.

— Прощай, Всеслава! — сказал Ивор, удаляясь от печального зрелища.— Не имею времени проводить моего благодетеля и отца. Ему далеко, но жди меня скоро.

Не прошло одного часа, как Ивор Зарев скакал уже по улице верхом, одетый и вооруженный по-дорожному.

Между тем в Новгороде поднялся голк и мятеж.

Трудно было Ивору пробираться сквозь толпы народа. Приблизившись к Неревскому концу, он ужаснулся злобы народной.

Дом Посадника Дмитрия Мирошкина в несколько мгновений разнесен был по бревну. Место, где стоял он, было выжжено и дымилось. Богатство и пожитки Дмитрия и братьев его несли к Вечу делить. Громкие проклятия изменнику Мирошке и Борису, убийце Олега Сбыславича, раздавались по улицам.

Избегая встреч и удаляясь от ужасного позорища неистовства, Ивор выбрался из Новгорода и поскакал по дороге Владимирской.

VIII

Оставив позади себя Великий Новгород со всеми его длинными концами, высоким Вечем, чудными палатами, многоверхими храмами, Двором Ярослава, струями Волхова, картинами Ильменя, Ивор *теребил путь*[1] к отнему златому Престолу Всеволода Георгиевича.

На дороге между Новгородом и Владимиром, извилистой и неровной, как жизнь человеческая, с ним ничего особенного не случилось.

Ничего не встретил Ивор на пути: ни рати разбитой, ни войска неприятельского, ни ставки храбра и млада витязя, ищущего *себе* чести и *своей милой* славы; не с кем было Ивору померять сил своих, переломить копья и потручать саблею.

Ни в одном городе, чрез который проезжал он, не удалось ему видеть стен со струнами, чтоб испытать коня своего, перескочить чрез них, не задев ни за одну струну.

Иногда только встречал он на пути своем черные избушки на курьих ножках, но в них жила не Баба-Яга, а *отчинные* люди[2] Князей и Бояр.

Надежный конь его ни разу не споткнулся; но, проехав Тверь и песчаный путь по правому берегу Волги, иноходь его сбилась на рысь, а рысь на мелкий скок. Однако же на

[1] Прокладывал дорогу.

[2] Закабаленные крестьяне, жившие в феодальных наследственных владениях — вотчинах, отчинах.— *А. Б.*

десятый день, рано по утру, показались верхи церквей и зубчатых башен города Владимира. Ивор помолился мысленно и понудил коня своего идти живее. Княжеские палаты и златоверхий храм Успения осветились на возвышении холма, над крутым берегом плавной Клязьмы, и были ограждены высоким валом и крашеным дубовым тыном.

Новгородец Ивор привык везде иметь свободный доступ.

Он промчался стрелой чрез *Золотые ворота* и подскакал к воротам Двора Княжеского; хотел пронестись мимо двух воинов охранной Княжеской стражи, стоявших пред въездом, но они ему заградили дорогу копьями.

Ребры коня затрещали от крепких колен Ивора; конь вскинул передние копыта, двинулся порывистым скочком вперед, очутился на широком дворе Княжеском, а два храбрые витязя на земле. Покрытые с ног до головы ворончеными бронями, в остроконечных шлемах и в кольчугах, лежали они на спине как черные жуки; но, горя местью и желанием приподняться на ноги, преследовать неизвестного дерзкого витязя, они тщетно двигали руками и ногами, гремели доспехами и кричали: «К бою!»

Червленые щиты, золоченые бердыши, булатные мечи, каленые стрелы были разбросаны вкруг них и лежали, как на поле битвы, отслужив службу и упившись кровавого вина.

Посвечивая своим золотым шлемом, Ивор подскочил к Княжескому крыльцу; но повторенное павшими воинами слово: «К бою!» вызвало отвсюду дворовую челядь. Покуда поток сей стремился с гор, чтоб потопить собою Ивора, он успел уже привязать вороного своего коня к кольцу столба, подле крыльца Княжеского, пересчитал все дубовые ступени и очутился в гриднице.

— Чего волишь? — спросил его удивленный Староста Гридней[1], когда Ивор, не обращая ни на кого внимания, раздвигал толпу Гридней и слуг Княжеских.

— Князя Всеволода! — отвечал он, не останавливаясь.

— Нет допуска без ведома! — сказал Староста и загородил собою дорогу.

— Поухай и пустишь! — вскричал не терпящий остановок Ивор.

Неосторожный удар сгоряча пришелся прямо в безза-

[1] Княжеских дружинников.—*А. Б.*

щитный нос Старосты. Удар заключал в себе всю силу мышц руки Ивора, вооруженной чудной травою, и потому серебряный, с золотой нарезкой шишак выскочил с места и, не сохранив на затылке равновесия, грохнулся на пол, вместе с Старостою Гридней. Падая, чихнул он, а лежа уже на полу, произнес: «Правда!»

Кто после этого мог остановить Ивора?

Не буду описывать дальнейшего движения вперед Ивора по дворцу Княжескому, встречи его со Всеволодом, переговоров и действия Эмшана.

Скажу только, что следствием всего было то, что Князь Всеволод Георгиевич чихнул, произнес: «*Воистину так!*» — а Ивор, пожелав ему здравствовать, отправился обратно в Новгород с Послами Княжескими и с объявлением, что Великий Князь: «*вда Ноугороду волю всю, и уставы старых Князь, его же хотеху Ноугородцы*».

Приезд Ивора в Новгород был торжествен, как светлый день Воскресения.

IX

Ивор приехал прямо к Двору Ярослава и велел ударить в вечевой колокол. Частые удары повестили радость. Бегом стекался народ.

Когда объявил Ивор Новгородцам, что по завещанию Олега Сбыславича он сослужил им службу и привез от Великого Князя волю избрать себе Князя, они, в благодарность, провозгласили его Воеводою Дружин Новгородских и назначили праздновать честь и славу Новгорода.

Новгородцы хотели повеличаться пред бывшими у них в гостях купцами Любскими и Бременскими[1] и в то же время помириться с ними за схваченных нескольких иностранных купцов во время мятежа за возвышение цен на товары и повешенных на воротах Гостиного двора.

Скучно всякое описание торжеств и празднеств; но я не решился выкинуть скучной страницы из книги преданий о роде Пута-Заревых.

С заустрия, Радуницею раздался голос вечевого колокола, а за ним звон по всем концам Новгородским.

---

[1] Любек и Бремен — города Ганзейского торгового союза, имевшие обширные связи с Новгородом.— *А. Б.*

Начиналось торжество.

Праздник рядит иногда и душу в роскошные узорочья, в жемчуг, в светлые камни, в шитый сухим золотом кожух[1], в соболи, и эта барыня, часто отжившая свою молодость и радость, еще хочет обратить на себя общие взгляды, еще жеманится, еще спесивится, еще воображает быть целью внимания и краснеет на старости лет от скромности.

Праздник пройдет, и опять надевает она старую, изношенную одежду свою. Эта одежда подбита привычками, выложена трудами, обшита горем, унизана слезами; но она впору ей, сидит на ней ловко!

Вот молодость уже расчесала кудри свои, зашумела паволокою, заскрыпела сафьяном; степенность и старость пригладили бороды, развернули силы, встрепенули кости; женщины богатство природное дополнили искусственным; старушки погрузились в глубокие сундуки, где лежали япончицы, повязки, узорочья, ширинки, как преданья дней бывших, как современницы давно прошедшей их молодости, но еще крепкие, не потерявшие цвета, не изношенные, заветные, сберегаемые для детей, внуков и правнуков, как памятник снов, виденных отжившими поколениями.

Должно сказать, что это был первый праздник, в котором все красные девушки Новгородские должны были участвовать; ибо Новгород хотел показать себя во всей красе, во всем величии.

В *увечании* сказано было: *быти торжеству велию и пиру на веси Ноугородские люди.*

Вот, согласно сему *увечанию,* собрались все на поляну к Святой Софии. А оттуда, *слышавшу молебие,* двинулся весь поезд следующим порядком ко Двору Ярославову.

Открывал шествие Владыка: за ним несли священнослужители хоругви, святые лики всех храмов Новгородских и несудимые грамоты монастырские[2].

Следовал пото́м *Стяг Владычен,* пото́м Частные Старосты пяти концов Новгородских и стража, вооруженная колонтарями и секирами, сотнями, *в цветном добром платье.*

---

[1] Древняя Русская одежда; у знатных: кожух, сухим златом шитый.

[2] Несудимые грамоты — право, даваемое Князьями монастырям, не быть под ведением властей по управлениям вотчин их.

Пото́м два Степенные Боярина несли грамоту, данную Новгородцам на права и преимущества их Ярославом I, и Русскую его Правду[1] на двух оксамитных подушках.

За ними следовал Степенный Посадник, с Боярами, *Думцами*[2] и *начальными людьми*[3], и пото́м Воевода с вершниками пятины *Древенской*[4], которые одеты были в красные кожухи, покрытые кольчугами, в остроконечных шлемах с кольчужными забралами и в стальных оплечьях, а вооружены саблями и стрелами, *на конех добрых, а конские наряды: чепи гремячия и поводныя и иные наряды большие.*

Вслед за ними везли устроенные на колесах торжественные кружалы — унизанные сайгатами Бесерменскими, коваными доспехами Немецких мечников, Шляхты Ляцкой и вообще неприятельским оружием, приобретенным на великих пошибаньях.

Поезд победный заключали вершники пятины Шеломенской — в синей одежде.

За ними шли Бояре и Житые люди Новгородские в богатой, шитой золотом и серебром одежде.

Следовал пото́м новгородец *Оратай*: он нес мешок с пшеницею и бросал оную пред собою, как сеятель насущного хлеба и богатства.

За ним шли ряды жнецов, юноши в белых сорочках, в венках из тучных колосьев, вооруженные серпами. Они пели:

Слава *Миру* ти, *Миру* ти слава!
Мы посеем те ржи,
Да взростим до небес,
Да серпами пожнем,
Да увяжем в снопы,
Умолотим ее;
Да отвеем зерно,
Да намелем муки,

---

[1] Важнейший свод законов Древней Руси, Русская Правда, создававшийся с XI по начало XIII в. в Киеве и Новгороде.— *А. Б.*

[2] Думец — советник (древн⟨ий⟩ чин). «С добрым *думцею* Князь высока стола додумается, а с лихим *думцею* и малого стола лишен будет».

[3] Военные и гражданские чиновники, выполнявшие определенные задания («приказы») князя или посадника.— *А. Б.*

[4] Деление новгородских земель на пятины (Водскую, Шелоньскую, Деревскую, Обонежскую и Бежецкую) известно с конца XV в. По пятинам велся учет населения и земель, раскладка налогов и организация военной службы. Возможно, пятины существовали и в Новгородской феодальной республике, соответствуя делению города на концы и подчиняясь конечным старостам.— *А.Б.*

Испечем тебе хлеб,
Пьяный мед наварим,
Да накормим тебя,
Да напóим тебя,
Да уложим на сон!
А нишкни твой злодей!
Кто ж убудит тебя,
Кто посеет нам *лжу*,
Мы взрастим свою рать,
Да пожнем мы врагов,
И увяжем в снопы;
Размолотим мы их,
Да отвеем врагам
Мы от тела злой дух;
Да на их-то костях
Мы кровавым вином
К ним нелюбье запьем!

Вслед за юношами жнецами везли колесницу, на которой стояла ветряная ручная мельница, хитрости Немецкого мастера Готлиба Стейнига; несколько детей хлопотали около нее: одни, представляя ветры, вертели крылья; другие, собирая лившуюся из-под жернова муку, обсыпали ею друг друга и скоморохов, одетых в пеструю одежду и вооруженных гуслями, бубнами, трубами и жилейками, Половецкими *цанами* и *кынгырчами*. Скоморохи несли на спинах своих бочонки, куфы с вином, с медом и брагой, припевали, подыгрывали песни жнецов и строили руками и ногами хитрости и узоры.

За ними следовали хлебники и пирожники; одни несли на носилках хлеб, величиной с главу Софийского Собора, и знаменье Новгорода, выпеченное из пряного теста; другие несли пирог, кулебяку с осетриной, длиною в семь ступней.

Везлось потóм кружало, увешанное целыми шкурами соболей, черных лисиц, медведей, белых волков, куниц, горностаев, белок. В лобках вместо глаз вставлены были честные, разноцветные камни[1] и животные сии смотрели как живые.

Другое кружало уставлено было златою и серебряною утварью, кнеями, лукнами, куфами, стопами, раковинами, обделанными в золото, конобами и проч.

Третье кружало украшено было тканями и разными художественными произведениями Новгорода, дела Русского.

[1] Честный камень — значит драгоценный.

За сими кружалами шли купцы Новгородские, торгаши и ремесленники, по степеням, рядами.

За ними шли толпы Новгородских дев, славящихся своею красотою, где только было известно имя Новгорода Великого; а Новгород славился и за морями, и у Немцев, и у Хинцев, и в землях Султанских, и в Индии далекой.

Только жемчужные повязки прикрывали волоса дев; только нитки бурмицких зерен извивались вкруг белой шеи; а золото, а честные каменья, а жуковины, все это светилось на узорочьях, на руках, на ногах.

Девы пели, перебивая голоса юношей, шедших впереди, и уступая по окончании своей песни опять право им запевать.

Уж как свилось гнездо, да у Мойской волны,
Уж как свилось гнездо соколиное,
А свивал-то его храбрый Славен Князь,
И прозвал он гнездо то Городищем.
Высоко, далеко взбивал сокол всех птиц,
И добыл сокольцам имя честное,
Только храбрым вечал отне имя носить;
Храбры все сокольцы, все един во един,
Величались они все Славенами;
Гнездо новое свили по Волхову,
И назвали гнездо Новым-градом они,
Уж как славится Новгород, славится
Хлебом-солью, да чудною храбростью.

Так пели девы.

Следовавшие за ними *житые люди* подтягивали песни в честь Новгорода.

Полк Новгородских ратников заключал торжественный ход.

Народ как поток стремился по Славенской улице.

Когда все приблизились к Ярославову Двору, колокол Веча раздался. Стол Веча и места́ вкруг него заняты уже были послами Всеволода и гостями Новгородскими.

Когда на столы, поставленные на площади и покрытые цветными паволоками, положили хлеб и соль и весь поезд кончил обход и оградил собою площадь, Воевода Ивор прочел грамоту Всеволода.

Воззвание народа загремело.

Владыка благословил хлеб-соль и вино.

Пир начался.

X

Таким образом, читатели, вы видели, что до сего времени дела шли очень хорошо; должно было бы от умных начал рода Путы и Зарева ожидать и умных последствий; но в этом случае природа сделала отступление.

Вы заметили уже, что Всеслава, по неизвестным душевным наклонностям, не расположена была выходить замуж. Следствия противожеланий почти всегда неудачны.

Не́хотя Всеслава вышла замуж за славного Воеводу Ивора; не́хотя произошел Ива Иворович Пута-Заревич на белый свет.

Это много повредило всему телесному его составу и всем душевным способностям.

Мстислав Мстиславович Удатный, сын Мстислава Храброго, Князя милостивца и любимца Новгородского, как молодой орел, почувствовав силу духа, взлетел над Торопецким уделом своим; крылья его покрыли всю Русь.

В 1209 году, призванный с великой честию, приехал он в Новгород и явился на Дворе Ярослава.

В самый день приезда его Ивору, Воеводе Новгородскому, бог дал сына, об котором было уже сказано несколько слов.

Князь Мстислав полюбил Ивора за честь и прямую душу и пожелал быть крестным отцом его.

Исполнив обряд, он обнял ребенка и обещал, когда свершится Иве десять лет, взять его к себе и держать за родного сына, ибо у Князя Мстислава много было дочерей, но не было наследника, которому он мог бы передать свою великую душу и мужество.

Прошли десять лет, в которые Мстислав был необходим для Новгорода, как солнце для земного шара.

Любили его Новгородцы. «Где Князь остановит взоры, там мы положим свои головы»,— говорили они ему[1].

Упрочив спокойствие великого народа, в 1218 году он простился с Святой Софией, с гробом отца своего и с Новгородцами и отправился светить на потемневший Юг России.

Он не забыл взять с собою десятилетнего Иву Иворовича, своего крестника.

Ива был уже чудным ребенком. Оспа и золотуха состави-

---

[1] Вржем — повергнемся. «Камо Княже очима позриши ты, тамо мы главами своими *вржем!*»

ли из головы его изображение неровной поверхности земного шара, а из ног великую истину, что две кривые линии не могут быть параллельны друг к другу.

Голос его был так звонок, что часто заглушал собою вечевой колокол, и отец его опаздывал на Вече.

Почти от самой колыбели Ива не возлюбил противоречий. На брань, на увещания, на уговоры, на наказания он отвечал криком, от которого и отец, и мать, и пестун, и няня уходили как добрые люди от греха, когда загремит в них совесть.

Не знаю, есть ли изображение своенравного ребенка, когда он, как будто отмщая самому себе за бессилие, разрывает резким голосом всю внутренность и, наливаясь кровью, брызжет слезами и пеной.

Таков был крестник Мстислава. Отец не знал, что с ним делать, и рад, рад был, когда Мстислав, уезжая, прислал за своим крестником.

Расставаясь с сыном своим, Ивор отдал Князю на руки небольшой серебряный ковчежец и сказал ему: «Отнее благословение племени нашего в род и род, даси, Княже, сыну моему, еже свершится ему средовечие».

Всякий книгочей может видеть на страницах, описывающих жизнь Мстислава Мстиславича, что главною целью его помышлений и дел было: примирить Русские Княжества и соединить их под единую волю.

Мудрым правлением своим, победами, а следовательно и любящею душою, прославился он по целой России. Кончив дело на Севере, он отправился в Киев.

Верный и заслуженный его раб Юрга явился в дом Ивора за крестником Князя.

Богатая, крашеная и обитая кожею повозка остановилась перед крыльцом Воеводы Новгородского. На красной дуге колокольчик, знак Княжеской упряжи, звенел под острыми ушами вороного коня. Пристяжные, под масть ему, свернулись в кольцо и взрывали землю, покуда седой Юрга ожидал сборов Ивы Иворовича.

Никакая бы сила великая не выжила его из отеческого дома, если бы собственная же его *любовь кататься* не предала его вероломно в чужие руки. Всеслава надела на сына нарядный кожучек, подпоясала шелковым пояском, накрыла светлые как лен кудри красною шапочкою и всунула в руки Иве медовую ковригу.

Исподлобья смотрел Ива на старого Юргу и молчал. Его занимали кони, которых он видел в окно, и колокольчик, привязанный к красной дуге.

Каков бы ни был сын, но любовь к нему просит материнских слез при расставанье. Однако же Всеслава не смела плакать. Ива наделал бы хлопот.

Наконец Ива мысленно благословлен отцом и матерью и посажен в крытую повозку.

Засмотревшись на коней, которые взвились и помчались, Ива не обратил внимания на отца и мать, с которыми, может быть, не встретится уже под голубым небом.

Потери боится тот, кто испытал потерю.

Вот Новгород скрылся из глаз молодого ямщика, который, сидя на облучке, распевал унылую песню про разлуку с милой, про кручину сердца и часто оглядывался назад.

Когда высокое Вече, верхи церквей Новгородских, а наконец и Гостомыслов холм на Волотовом поле исчезли за густою рощею, чрез которую шла дорога берегом озера Ильменя, ямщик вздохнул, провел кнутом волшебный круг по воздуху... кони пустились быстрее, Юрга захрапел.

Ива, сидевший до сего времени в повозке смирно, вдруг вскрикнул: *дааа!*

Юрга очнулся, ямщик оглянулся, Ива хватался за кнут и за вожжи.

Он привык во время катаний иногда сам править, погонять жирного коня и, замахиваясь на него, бить по голове и по лицу отца, мать, пестуна, няньку и всех, кто сопровождал маленького воеводу в загородье.

Но ни Юрга, ни ямщик не знали его привычек и, следовательно, не понимали его требований и слова: *дааа!*

Это слово, сопровождаемое неумолкающим криком, раздавалось по лесу, чрез который они ехали.

Повозка крестника Княжеского догнала уже золоченый возок Мстислава, в котором он ехал с дочерьми своими: Мизиславою, женою Князя Ярослава, и юною Анною, сопровождаемый Новгородскими вершниками.

Юрга боялся, чтоб крик Ивы не дошел до слуха Княжеского. Он уговаривал его, грозил ему, но Ива не понял его языка, покуда догадливый ямщик не дал ему в руки бича.

Казалось, что бесконечная нить звонкого голоса Ивы вдруг оборвалась без малейшего отзвучия, когда рука Ивы прикоснулась к бичу.

Долго, сердито примеривался он, как лучше взять его и в которую руку, наконец обхватил обеими, взмахнул... пыль взвилась столбом... Тройка вороных была не из тех, которые привыкли, чтоб подстрекали их рвенье.

Повозка пронеслась стрелой мимо Княжеского поезда. Покуда ямщик успел стянуть и завернуть вожжи около рукавиц, кони промчались уже лес и поле, слетели с горы, взнеслись на гору и, вскинув головы от затянутых лихим ямщиком вожжей, стали как вкопанные.

Ямщик оглянулся, Ива без памяти вцепился в кафтан его и висел, а Юрги — не было. Старик не усидел от толчка, огромный камень, лежавший на дороге, встряхнул повозку, выкинул его и уложил под горою.

Причиною падения Юрги был камень, лежавший на дороге, за что ж проклинал он Княжеского крестника?

— Уродье поганое! — говорил он, подходя к повозке и прихрамывая.— Самого бы тебя черным вранам на уедие! Восстонал бы тебя тугою!

— Ма! — возопил пришедший в себя Ива.

— Что прилучилось? — раздался женский голос из возка Княжеского, проезжавшего мимо.

— Не кони ли взыграли? — спросил Мстислав.

— Взыграли,— отвечал Юрга, зажав рот Иве.

Князь проехал.

Строгость ли посторонних действительнее строгости отеческой, или Юрга умел заговаривать от криков, слез и воплей, только Ива умолк.

Иногда только, *про себя*, он еще горько всхлипывал, крупные слезы падали из глаз, как тяжелая роса с пестрых листков макового цветка. Иногда только тихий звук: «*Мáа!*» — прерывался грозным: «Тс, кречет!»

Приехали на ночлег в Русу.

Мстислав остановился у Воеводы. Иву внесли также в светлицу, где хозяева, усадив дорогих гостей с честью, подносили им малинового меду и ягодников.

Если б кого-нибудь из нас перенести в гости к пращуру, не знаю, какая бы тоска одолела гостем.

Вообразите себе, что вы должны сидеть на месте как прикованные. Встаньте вы, и хозяин встает, и хозяйка встает, подбегают к вам, берут за белые руки и усаживают снова: «Да сидите, прошаем, сидите!»

Съесть в меру, выпить в меру невозможно. «Мерой, радушная, бог с ней! воля хозяина». Гость, как бездонный сосуд, принимает все, что кладут и льют в него.

Слава обычаям предков! слава их гостеприимству!

Едва только Юрга поставил Иву на пол и хотел подвести к Князю Мстиславу и к дочерям его, Ива вырвался из рук его с криком *ма́а*, бросился к Княжне Мизиславе и вцепился в ее японлицу.

Она вскрикнула, все испугались, увидев безобразного мальчика.

— Див, див! родной мой! — едва проговорила Мизислава.

— Не див, а крестник мой,— отвечал Мстислав, нисколько не смутясь от безобразия Ивы.

«Великая душа часто скрывается под дурною оболочкою, как вкусное ядро под уродливой скорлупкою»,— думал он и хотел отвести Иву от испуганной дочери, но тщетно. Руки и зубы Ивы закалились в японлице.

Догадались, сняли с Княжны японлицу, Юрга подхватил Иву и понес в другую половину дома.

Как храбрый воин, отняв хоругвь неприятельскую, но падая от ран и взятый в плен, не выпускает из окостеневших рук своих купленного кровью трофея, так Ива держит в руках своих японлицу Мизиславы.

Княжны не полюбили его, они просили отца своего не пугать их страшным мальчиком, и вот Ива отдан в полное попечение пестуну его Юрге.

Трудна была дорога до столицы Мономаховичей и для Юрги и для Ивы. Крестник Княжеский несколько раз умышлял избавить себя от попечений старика, несколько раз, во время дремоты его, он прыг из повозки, да и в лес, а заботливый пестун очнется, да за ним, за хохол, да и тянет из-под куста за ухо, да и ведет беглеца назад к повозке.

Таким образом, с растрепанными кудрями и с разгоревшимся ухом, Ива привезен в Киев.

XI

Прибыв в Киев, Русское солнце Мстислав собрал всех князей на Совет.

— Князи! — сказал он. — Вы призвали меня на суд и правду, призвали умирить вас с своевольным Галичем, Унгрею и Ляхами.

— И побить поганых Половцев, княже! — отвечали многие из Князей.

— Мир покупается или силой, или искренней дружбой, — сказал Мстислав.

— Не ведаем дружбы с Бессерменами и нехристями, — сказал Князь Черниговский.

— Соберите рати свои, — продолжал Князь Мстислав, — отнимем Русский Галич! Он стал областию Унгрии![1] Там Латинцы, Католики насилуют Совет и хотят изгнать православную веру и покорить Русских Папе! Епископы и священники наши изгнаны, монастыри и церкви обращаются в костелы! Попустим ли насилие?

— Галич не братствует нам, что нам до него! — прервал речь Мстислава Ольгович.

— Сами Галичане откоснулись от Русской земли! — вскричали все прочие Князья.

— Знаете вы себя, Князи! а не Русь, — продолжал веледушный Мстислав, — один спасу Галич!

— Ни! — вскричал Мстислав Немой, Князь Пересопницкий. — Не подниму руки за Галич!

Эти слова проговорила в нем желчь. Он еще помнил неудачную свою поездку *сидеть*[2] в Галиче. Там злые Бояре приняли его с честью и посадили вместо златого стола на *могилу Галичину* и потом сказали: «*Ступай с богом! Ты можешь теперь похвалиться, что сидел на Галичи!*»

Гнев Мстислава Немого был справедлив.

— Ни! — повторил он.

Но едва только поднял он одну руку, чтоб склонить набок Княжескую шапку, в подтверждение отрицания, а другую, чтоб разгладить черную свою бороду по горностаям одежды, вдруг раздался звонкий вопль, двери отворились, влетел Ива и... ужасное событие! повис на черной бороде Мстислава Немого.

Поздно явился вслед за Ивой пестун Юрга.

---

[1] Унгрия, Угрия — Венгерское королевство. — *А. Б.*

[2] «Сидеть» в каком-либо городе означало по-древнерусски княжить, занимать княжеский *стол*. — *А. Б.*

Важность Княжеского Совета рушилась громким, общим смехом.

Ива прирос к бороде.

Когда коршун вопьется когтями в шубу овцы, это ничего, но если бесчестная оплеуха, как летучая мышь, врежется в ланиту, то нет спасения.

Каким образом Ива был отделен от густой бороды Мстислава Немого, не сохранилось в памяти Истории; вероятно, и борода, как японча Мизиславы, осталась у него в руках; известно только, что Мстислав Мстиславич повторил всем Князьям: «*Один спасу Галич!*»

А Мстислав Немой, удаляясь с Совета Мстислава Мстиславича, произнес на крыльце громко: «*Чтоб тебе пить синее вино с трудом смешано!*»[1]

Для успокоения обиженной гордости своей он отправился к *Тимофею, премудрому Киевскому книжнику*, побеседовать с ним о судьбе своей, и спросил его:

— Каким образом получилось, что злобный Венедикт, Угорский правитель Галича, по выводу Тимофея Антихрист, вместо того чтоб триста лет царствовать по всей земле, брошен в тюрьму и умер в ней? Каким образом не сбылось предсказание, что он, Мстислав Немой, будет Князем Галицким, *аще приидет сести на Княжение*? И наконец почему не сбылось сказание Тимофея, что Князю Мстиславу Немому в Совете Князей будет честь и слава?

Премудрый книжник Тимофей отвечал ему:

— Далечи пути! да аз худый не безлепицю ти молвил. Зло время злу игу сыгра. Не сему ся подивуй, Княже, что суть людие? Слепые, хромые, глухие и трудоватые!

Мстислав Немой радостно взглянул на Тимофея, когда он всех людей назвал слепыми, хромыми, глухими и трудоватыми, ибо он сам немного был глух и заикался.

Тимофей продолжал:

— Падавшу тебе, разбился ли еси? Вскую печалуеши? Взыщешь славу и пожнешь, и руце своя умыеши в беде врагов своих, и посмеешься им.

Мстислав Немой удалился от Тимофея, вполне утешенный его словами.

А Мстислав Мстиславович между тем сдержал свое слово.

[1] Выражение заимствовано из «Слова о полку Игореве».— *А. Б.*

Он выехал из Киева не ратью, а своим семейством.

Прибыв в пригород Каменец, он оставил там дочерей своих, Княжну Мизиславу, или Марию, и юную Анну, а сам пустился в Галич, послав вперед гонца сказать: «*Идет в Галич Русский Князь Мстислав Мстиславич спасти веру и народ от насилия чужеземного*».

Неожиданное прибытие Мстислава возрадовало народ и возмутило Галичан против власти Угорской. Слава его была порукою общей любви, его приняли с честью.

Ребенок Коломан, Король Галицкий, сын Угорского Короля, и малютка Саломея, Королева Галицкая, дочь Короля Польского, испуганные, бежали с вельможами и войском в Унгрию.

Сев на золотом престоле Галича, хитрый Мстислав занялся тайным приготовлением к ограде себя от Унгрии и Ляхов. Но соединенных соседей он не надеялся покорить, ему нужен был каждый порознь, и потому Мстислав объявил себя другом Лешки Белого, Герцога Польского, а между тем отправил послов к Котяну, Хану Половецкому, приглашая его на союз и против Унгров, и против Ляхов.

Даниилу Романовичу, наследнику Княжения Галицкого, юноше храброму и прекрасному, Мстислав поручил собрать дружину.

Пылкий Даниил, не внимая словам и опытности воевод Мстиславовых Димитрия, Глеба и Мирослава, приставленных к нему для совета, неосторожными движениями обнаружил замыслы Мстислава.

Лешко Белый понял мысль его *разделить Унгрию и Под-Ляхию*[1] *и покорить порознь,* подтвердил союз с Королем Андреем против Мстислава и собрал свои силы.

Нетерпение Даниила сразиться с врагами Галича завело его далее.

Не ожидая помощи от Мстислава, который между тем собирал Русские дружины на Днепре, утверждал союз с Ханом Котяном и заключал мир с Литовцами, убедив их восстать на Польшу, Даниил двинулся навстречу шедшим к Галичу войскам Лешки.

---

[1] Под-Ляхия, Подляшье историческая область Польши по берегам Среднего Буга, в древности заселенная славянскими племенами и ятвягами Входила в состав Киевской Руси. За Подляшье шла длительная борьба между Польшей, Литвой и Тевтонским орденом. В XIV в. оно входило в состав Литвы, а с 1569-го Польши. *А. Б*

Мстислав, кончив счастливо все договоры, с сильным войском приближался уже к реке Зубрье, вдруг известие о разбитии Даниила дошло до него и расстроило лучшие предположения.

Необыкновенная только храбрость Даниила предохранила войска его от совершенного поражения. Он остановил порыв соединенных против него Унгров и Ляхов и явился к Мстиславу с повинной головой.

— Неудача юноши есть урок ему верить старцам,— сказал Мстислав Даниилу, обнимая его.— Но я знаю теперь зятя своего: иди же снова в бой, я с тобою! Возьми коня моего Актаза в дар; его быстрота равна твоей храбрости!

XII

Между тем Угры заняли Галич; маленького Коломана и супругу его малютку Саломею опять посадили на стол Галицкий. Короля нарядили в панцирь, дали ему в распоряжение толпу *Пажолеко́в*[1], заняли его деревянною ратью; Королеву обложили игрушками; и дело пошло своим чередом.

Однако же Лешко Белый выступил со стороны Волыни с Ляхами; испытав Данииловой храбрости и зная, что власть Угров в Галиче по ненависти к ним народной не тверда, а Мстислав с великою Русскою силою, подкрепленною Половцами, идет вперед,— предложил переговоры; но их отвергли.

Нужно ли говорить или писать, что удар Мстислава решил участь новой битвы? Быстрым соколом явился он в Галич и взял Коломана, со всею его деревянною ратью, с Саломеею и с множеством Угорских вельмож, в плен.

Мстислав стоил имени Великого...

— Положим, что стоил, да что нам до этого? Где Кощей бессмертный? Где Ива?

Все, любезные читатели, было, есть и будет в своем времени и в своем месте!

Словом своим вы не поторопите ни своеобычливое солн-

[1] Паж (по-Венгерски).

це, ни своевольную судьбу, ни своенравные персты Бояна[1], *иже воскладаше на живые струны, еще кому хотяше песнь творити.*

Итак... Мстислав стоил имени Великого до несчастной битвы при Калке, где Провидение, кажется, отклонило взоры свои от земли Русской, а счастие изменило миротворцу Русских Княжеств.

Незнаемые премудрыми мужами, *неведомые* разумеющими книги, *един бог весть, кто такие, какого племени и веры, Татара, Таурмени* или *Печенеги*, появились со стороны *Волги, Дона* и *Хволынского моря*, побили *Ясов, Косогов, Обезов* и безбожных *Половцев* и взволновали страхом Русскую землю.

На общем Совете всех Князей положено было взяться за оружие.

Воины всех Князей, кроме Велико-Княжеских и Новгородских, встали под хоругвь Мстислава, подкрепляемого тестем его, Половецким Ханом Котяном.

Ополчение двинулось к Днепру.

Татарские послы (миролюбиво) явились в стан Русский, но их лишили жизни! Отвергнутая и обагренная кровью ветвь мира обратилась в чудовище, которое налегло на Русскую землю и стеснило свободное дыхание ее на несколько веков!

Первая удача породила презрение к неприятелю; несогласие соединенных ополчений разрушило единство силы к восстанию на возрождающиеся полчища Монголов, и черный день, Мая 31 дня 1224 года, настал[2].

Умолк Мстислав и пожелал могилы; не хотел он управлять Галицким княжеством и отдал его зятю своему, Угорскому Королевичу Андрею, ибо народ не любил Даниила, сына *Романа Галицкого.* Мстислав и отправился в Понизовскую землю, в город Каменец.

Положение этого города на пространной высокой скале,

[1] Древнее Славянское имя, коим назывался Певец подвигов Святослава. О нем упоминает только певец Игоря Новгород-Северского.

[2] Речь идет о событиях, связанных с битвой на реке Калке.— *А. Б.*

окруженной в виде острова струями Смотрига, ему нравилось.

Тут, утомясь от трудов жизни и желая привести все земные дела свои к отчету вечному и расплатиться с долгами, Мстислав вспомнил о крестнике своем.

Призвав к себе Юргу, едва только произнес он имя Ивы, седой пестун повалился в ноги Князю и просил пощады и помилования.

С трудом добился Мстислав от старика, что уже около восьми лет, как Ива Иворович вдруг, неизвестно куда, скрылся.

— Дорого поплатишься ты за голову крестного моего сына, если я не найду ее! — грозно сказал Мстислав Юрге и послал по всем путям и дорогам, во все концы и во все стороны гонцов с повещанием: искать Княжеского крестника Иву Иворовича Путу-Зарева, ему же от роду лет двадесять, волосом бел, очима серы, образ рябый, росту мала, чермная ягодина на челе, другая большая у левого ока. И кто укажет его или приведет к Князю Мстиславичу, тому дастся во владение деревня Княжеская и златых гривен десять[1].

Читатель ясно теперь видит, что не только я, но и никто из нас не знает, где Ива. И потому, если на чье-нибудь счастье, по Княжескому объявлению, он отыщется, тем лучше; тогда я буду продолжать древнее сказание

Но что ж будем мы делать, любезные читатели, до тех пор, покуда не отыщется герой наш? Чем наполню я время неизвестности о судьбе его? Где найду я для вас рассеяние? Если б я был Шахеразада, начал бы бесконечную сказку, продолжалась бы она не несколько дней и ночей, не несколько недель, не несколько месяцев, не несколько лет, но продолжалась бы до той самой минуты, в которую какой-нибудь добрый человек сказал бы мне, хоть за тайну, куда скрылся сын Ивора, Новгородского Воеводы, крестник Князя Мстислава Мстиславича.

Но не думайте же, читатели, чтоб я поступил с вами, как проводник, который, показывая войску дорогу чрез скрытые пути гор и лесов, сбился сам с дороги и со страха бежал.

[1] В описании примет Ивы Иворовича Вельтман использовал тексты грамот о Григории Отрепьеве, авантюристе, захватившем русский престол в начале XVII в.— *А. Б.*

Нет, не бойтесь, читатели! Клубок, который мне дала Баба-Яга, катится передо мною. Он приведет нас к Иве Иворовичу. Вот вам рука моя. Пусть каждое перо, которое я возьму в руки, прирастет снова к крылу гуся, из которого вырвано, если это неправда.

XIII

В селе Заборовье, во дворе Боярина Любы, столпилась челядь и смерды. На крыльце стоял сам Боярин, стояла и жена его, стояла и дочь их.

Все они стояли и смотрели, как *день бяше паче ночи, и бяше столпови червлении, зелении, синии, обаполы солнца*[1].

Вы можете теперь представить себе, в каком положении стояли Боярин, жена его, дочь их, челядь и смерды.

Как тени были они от страха; *ибо день бяше паче ночи.*

Этого мало. От ужасной темноты нельзя было вдруг заметить, что за Боярином были еще люди.

Один, бритый, *в тюбетае*[2], в полосатой шелковой *ортме*[3], *с тамбурою*[4] в руках; другой, малорослый, безобразный, дворовый дурень.

Последний не обращал внимания на *столпове обаполы солнца*, а возился с огромным псом, по прозванию *черный Жук.*

Когда знамение на небе кончилось, солнце пришло в обыкновенное свое положение, а Боярин, жена его, дочь их, челядь и смерды пришли в себя, вдруг раздались звуки звонкой тамбуры и звонкий голос Татарской песни: *Сэн бинь экши!..*

Бритый человек, в тюбетае и ортме, был Татарин Караюли, большой руки *гюрлай*[5] и рассказчик. В последнюю войну с Бату-Ханом, плененный Русскими, он полюбил Русскую землю и остался жить у Боярина Родислава Глебовича Любы, который любил окружать себя смысленным и за-

[1] Здесь и далее Вельтман использует описание затмения солнца в различных летописях.— *А. Б.*

[2] Ермолка, шапочка, которую носят Татары.

[3] Халат.

[4] Древнейший Арабский музыкальный инструмент, род гитары о 3—4 струнах, по-Гречески называвшийся Игитали.

[5] Певец.

бавным народом. Всем полюбился Кара-юли, только не полюбился *божливой* Боярыне.

— Не будет нам добра от поганого Бесермена; недаром солнце уподобилось месяцу и пошло вспять от полудня! Не будет добра, Родислав Глебович! Нажил ты себе окаянного в любовные приятели! Люди отчаялись в животе своем, а он поет песни нечестивые! Облечешь ты всю Русь божиим гневом, Родислав Глебович, за грехи свои! — говорила жена Боярина Любы.

Родислав Глебович задумался было; но так как солнце загорелось светлее прежнего, то и он сбросил с себя страх, забыл затмение и предвещание жены и, сопровождаемый в светлую *камару*[1] свою семейством и потешниками, уселся на лавке, покрытой попаломою, и стал говорить следующее:

— Ну, Татара́! садись на пол, сверни под себя ноги и играй на тамбуре.

Кара-юли не заставил себя долго просить: в одно мгновение сел он на полу Монгольским идолом и ударил уже указательным пальцем правой руки по трем бараньим жилам, обращенным в звонкие струны тамбуры...

— Стой, Татара́! — вскричал Боярин Люба, ибо он не кончил еще всех своих распоряжений. — Ты, рябая зегзица! — сказал он уродливому существу, одетому в красную камку, в красной шапке и в красных чеботах, — ты садись с Жуком у меня в ногах, да молчать! а не то Жук потянет за ухо!

Татарин опять приударил в струны.

— Стой, Татара́! Глебовна, садись подле меня.

Юная Глебовна повиновалась отцу и стала продолжать свою работу. Она вышивала золотом и *дробницами*[2] платци *оксамитные*[3].

Кара-юли еще раз кашлянул, сжал уже левой рукою струны на ладах тамбуры, выправил указательный палец правой руки и согнул большой, средний, безымянный и мизинец, но Боярин Люба еще раз остановил его.

— Стой, Татара́! не хочу слушать песню, ты хотел рассказать, как Русские и Татары произошли от одного племе-

---

[1] Горница. *(Прим. Вельтмана.)* Помещение под сводами, комната на верхних этажах. — *А. Б.*

[2] Блестки.

[3] Бархатные платочки.

ни. Брешешь, степная лисица! да так тому и быть, послушаю.

— Есть так, так, бачка! — отвечал Татарин, положив подле себя на пол тамбуру.

— Слушай! так пить в великий Ганжур: Аллах хоща, творил Бир-Адам, аркучь к Забраил: неси ковалка[1] зéмля! Приди Забраил на земля, берут ковалка от земля. «Ние! — плакаху земля.— Чему тебе ковалка от земля?» — «Аллах творил Бир-Адам, аркучь Забраил».— «Не бирай от мене, аркучь зéмля, Аллах творил Бир-Адам, Бир-Адам творил сынá, девойка, многа; сынá и девойка творил поган грех, Аллах послай гром, гроза, огня! возмутай вода на моря и сломай вся земля! а чему моя вина?» Забраил послухай земля, не бирал ковалка от земля, не несла на Аллах. Аллах повели на Мохаил: принесе ковалка земля. И Мохаил послуха земля и не несла на Аллах ковалка от земля. Аллах повели на Азрафиль. Азрафиль не послухай земля, берил ковалка от земля, аркучь: брешит земля! и несла ковалка от земля на Аллах. Аллах берут ковалка земля, твори Бир-Адам и постави его на земля, а Эдем, средина на Мэхка и града Туюфь. А Мэхка там иде-же Азрафиль берил от земля ковалка...

Не знаю, какое нечеловеческое терпение было у Боярина Любы слушать вздор, который рассказывал Татарин, однако же он слушал.

Из сожаления к читателям я заставлю молчать Татарина и передам в коротких словах рассказ Кара-юли.

«Бир-Адам жил 1000 лет,— продолжал он,— настоящее ему имя *Сафи-юла*. Он оставил по себе 40 000 потомков, а наследником власти *Шиса*, по-Арабски *Е-зба-зуллу*. По смерти *Шиса* душа его перенесена Азрафилом в *Араи*. После него следовали патриархи *Анус, Хэнан, Мелахил, Бердэ, Ахнух, Матузлах, Замэх* и потом *Нуи*.

При Нуи люди отклонились от правды, и Аллах в наказание послал на землю потоп, но сохранил праведного Нуи с его семейством и восьмьюдесятью правоверными.

---

[1] Кусок.

По окончании потопа ковчег, построенный Нуи на горе *Дзуди*, между городами *Мюзель* и *Шам* и плывший с первого дня луны Редзеба по 10-й день *Махарэма*, то есть шесть месяцев и десять дней, остановился.

От Нуи произошли: *Хам, Зам* и *Яфис*. Яфис поселился у реки *Атэль* и *Яика* и, прожив 250 лет, оставил восемь сынов: *Тюрк, Харз, Закиэб, Русь, Менанэк, Цвин, Камари, Таташь...*

— *Русь, Татаришь!* — повторил Кара-юли торжественно, когда кончил родословную земного шара, почерпнутую, вероятно, из прозрачного источника Христианских преданий, но смешанную с нечистым кумысом Монгольских грубых понятий.

Родислав Глебович захохотал над родственным происхождением Русских и Татар, которым его забавлял Кара-юли, но жена Боярина не вынесла такого унижения.

— Радостно огню, что добивается ему вода в родню! — произнесла она громко.— Смейся! — продолжала она, уходя из светлицы в свою камару.— Залетела одна тльковина[1], прилетит и стадо!

Как вещунья произнесла она эти слова, и никто не отвечал ей: «Чтоб тебе типун на язык!»

— Ни, Татара! не слюбна мне твоя повесть о Бир-Адаме, расскажи другую, былину сего времени!

Татарин поправил *тюбетай* и начал.

XIV

Гюльбухара

Татарская быль XIII столетия

Есть один Аллах, и не был другой Аллах, и нет другой Аллах, не будет другой Аллах; создал Аллах семь небес, семь земель и семь раз семью семь по семь семериц разна зверя, птица, рыба, велика, мала...

— Тс! — вскричал Ростислав Глебович.

— Хэ! господин бачка! я не сказка буду говорил, а всякой былина, начинаесе по нашему богом,— отвечал Татарин своим наречием.

— Ну! — возвгласил Боярин.

— Я, господин бачка, родом из Орды *Урги*, далеко, да-

[1] Моль, правильнее — тля.— *А. Б.*

леко отсюда *Урга,* в Монгольской стороне, на светлой *Толе.* Был я в светлом Сарае Хана *Мынгэ Турганом*[1] при главных Золотых воротах. Мынгэ-Хан умер, Орду наследовал сын его Харазанли-Хан. Мне наскучило быть Турганом, я оставил Золотые ворота и жил у молодого Мирзы Эмина, сына первого Ханского Мирзы Хамида.

— Давай сюда всех *Ханым* отца моего! — сказал Харазанли Сарай-Ага на другой же день после смерти отца.

Цветы Харэма Мынгэ-Хана явились перед ним.

Ни один не понравился.

Мак-Фируз была слишком нескромна, *Гюль-Беаз* холодна, *Хадича* уныла, *Мыслимя* неловка, *Олынь* дородна, *Сабирá* бездушна, *Айну-Хаят* проста, *Алха*[2] худощава — словом, не было ни одной, которой бы *Харазанли* решился сказать: *Джаным! Кузымь!*[3]

— *Хамид*! — сказал Хан первому своему Мирзе.— В Харэме нет для меня Хадыни. Хочу иметь женщину, которая нравилась бы мне, как узнику луч светлого солнца, промелькнувший в темницу, как роскошный отдых усталому страннику, как жаждущему Измаилу показанный Ангелом родник среди песков Фарана.

— Прикажи, великий Харазанли, собрать всех красивых дев Орды своей и всех привезенных невольниц и выбери из них себе полный Харэм: семь Хадынь, триста жен и пятьсот невольниц.

— Этого много, это долго! — отвечал Харазанли.— Мне нужна одна. Много светлых звезд среди ночи, а ночь темна; одно только солнце во время дня, а день ясен. Мне нужно солнце!

— Долго Хан будет искать это солнце; оно, может быть, за горами, за морями.

— Не буду я искать того за горами, что под рукой. У тебя, Хамид, я слышал, есть дочь; мне про нее говорят; говорят, что нет другой под небом; я хочу видеть ее!

Слова Харазанли поразили Хамида; он затрепетал от мысли, что его любимая, единственная дочь, *Мыслимя*, будет невольницею какой-нибудь Хадыни, если не понравится Хану или он разлюбит ее. Но Хамид не смел показать

[1] Сторожем.

[2] Мак-Фируз, Гюль-Беаз, Хадича, Мыслимя, Олынь, Сабира, Айну-Хаят, Алха — татарские женские имена.

[3] Душа моя, любовь моя!

неудовольствия своего, он приложил руку к сердцу, потом к челу и вышел.

— Эмин! — сказал он сыну своему, который заметил черную печаль на лице отца своего.— Хан желает иметь сестру твою, Мыслимя, Хадынею. Не потому тяжела мне эта воля Хана, что Орда не любит видеть дочь первого Мирзы Хадынею Хана, но потому, что я люблю дочь свою и не хочу никому отдавать ее при жизни своей.

— Бабá Хамид! — сказáл Эмин отцу своему.— Есть у меня колпак, да не знаю, будет ли он тебе по голове.

— Говори! — отвечал нетерпеливо Хамид.

— Слушай: купи невольницу дорого, на вес золота. Хан не знает моей сестры; приведи невольницу вместо сестры.

Хамид рад был доброму совету сына и обнял его.

Призвали купца, торговавшего невольницами. Многих пересмотрели Хамид и Эмин; ни одна не подходила красотой к Мыслимя.

— Есть у меня невольница,— сказал наконец купец,— да не смею продать тебе светлый камень, которому место только на чалме Ханской.

— Продай мне этот светлый камень; что запросишь, вдвое заплачу! — сказал Хамид.

— Хорошо, за десять *Эйгэров*[1] из твоего табуна на выбор и за тридцать верблюдов отдам тебе *Гюльбухару*, да на придачу сто баранов, пятьдесят шкур лисьих и десять кусков Индийской золотой ткани.

Хамид согласился.

— Идите же смотреть невольницу ко мне в дом. Понравится, дайте мне десять *Эйгэров*, тридцать верблюдов, сто баранов, пятьдесят шкур лисьих, десять кусков Индийской золотой ткани; возьмите ее тайно и не забудьте, что меня зовут *Каф-Идыль!*

Когда смерклось, Хамид с сыном пошли к купцу.

Затрепетал Эмин, когда вошли они в калитку дома, перед которым только за день, проходя мимо и заметив сквозь деревянную решетку женское лицо, он остановился и поклялся овладеть чудною красавицею, которая так печально и ласково на него смотрела и как будто умоляла спасти ее.

Когда они вошли в дом, купец уже ожидал их; невольница стояла под покрывалом.

[1] Жеребцов.

— Подними покрывало свое, Гюльбухара! — сказал ей Каф-Идыль.

— Она моя! — вскричал Хамид и хлопнул Каф-Идыля по руке в знак заключения торга.

Вспыхнул Эмин, когда увидел знакомое уже ему лицо Гюльбухары; едва удержался он, чтоб не вскрикнуть: «Нет, она моя!»

Когда робкий взор невольницы встретился со взором Эмина, очи ее опустились... и покрывало также. Эмин слышал глубокий вздох.

«Любит она меня! Она должна быть моею!» — думал Эмин.

Взяв с собою Гюльбухару, Хамид пробирался к дому; мысли его были исполнены то жалостью к стадам и табунам своим, то жалостью к дочери.

Эмин следовал за ним и не знал, о чем думать; все противоречило его желанию и надеждам.

Моя звезда светлая, моя!
Сорву ее с неба я, сорву! —

пропел он печальным голосом, входя вслед за отцом и Гюльбухарой в калитку своего дома и сжав крепко ее руку.

Покуда Хамид был в Харэме своей дочери, где Гюльбухара надевала роскошный *карсит*[1], из Дамасской материи, шитый золотом, бархатный *колпак*, осыпанный жемчугом, *такью* и *тушлык*[2], унизанные Юнанскими златницами, и *блязык*[3], кованный из золота и осыпанный драгоценными камнями, Эмин торопливо ищет в голове своей средств овладеть Гюльбухарой и не находит ни одного.

«Еще несколько раз вздохну я,— думает он,— и она уже будет в Харэме Хана! Оттуда нет ей исхода, как из могилы! Просить отца уступить мне невольницу? Хамид не согласится пожертвовать дочерью для прихоти сына. Насильно вырвать счастье свое из рук его?.. Эмин не решится: он любит Бабу Хамида!»

Как раненный ядовитою стрелою падает Эмин без сил на землю.

---

[1] Род тюники; женская татарская одежда.

[2] Отвес сзади и нагрудник, унизанные различными золотыми монетами.

[3] Нарукавье.

Слышит тяжелые шаги отца своего и за ним шорох шелковой ткани, слышит слова: «Помни, что отныне ты не Гюльбухара, а Мыслимя, дочь первого Мирзы, Хадыня Харазанли Хана! Этого хочет Аллах!.. Но он запирает уста твои молчанием!»

Эмин слышит глубокий вздох и не может отвечать на него вздохом.

Нетерпеливо ждет Харазанли Хамида.

Он является перед ним.

— Долго ждал я тебя; долго снаряжал ты дочь свою; не украшения мне нужны! где она?

— Люби дочь мою Мыслимя, великий Хан; не полюбишь, отдай мне ее назад; она была утешением моей старости.

Харазанли не внимал словам Мирзы; его занимала дочь его; он подал ей знак приблизиться к софе своей и сбросить покрывало.

Когда Харазанли взглянул на Гюльбухару, глаза его наполнились огнем.

— Иди с Аллахом и Пророком его,— сказал он Хамиду.

Хамид повиновался.

— Мыслямя! — продолжал Харазанли.— В глазах твоих блестят слезы!.. Солнце, которого я искал!.. печаль затмила свет твой!

Слезы брызнули из очей Гюльбухары.

— Скажи мне причину горя твоего! Я не прикоснусь к тебе дыханием до тех пор, покуда не увижу рассвета на лице твоем! Мыслимя, говори истину, я исполню желание твое! Если ты боишься равной себе в Харэме... не бойся! тебе нет в нем равных!.. Все будут рабынями твоими; я сам покорюсь тебе! Требуй от меня всего!

— Одного только прошу у тебя, Хан: прости одного виновного пред тобою, моего благодетеля! — произнесла Гюльбухара, упав на колена перед Ханом.

— Кто сделал тебе добро, тому все прощаю! Порукою слов моих твои светлые слезы! Но кто, кроме Мирзы Хамида, мог иметь влияние на дочь его? — произнес Хан голосом, который изменял рождающемуся в нем подозрению.

— Мирза Хамид,— отвечала Гюльбухара.

— Отец твой?

— Не отец, а благодетель мой. Он дал мне средство

повергнуться перед великим Ханом и просить защитить отца и мать мою от злобы Мирзы Мазар-Ульмука!

— Хамид не отец твой? — вскричал Харазанли, затрепетав от гнева.

— Ты дал слово простить Хамида,— едва произнесла устрашенная Гюльбухара и припала к поле Ханского облитого золотом *джилена*[1].

— Дал слово и не отступлю от него. Но Хамид не исполнил воли моей, я сам ее исполню!

На удар саблей по полу явился Сарай-Ага.

— Призвать ко мне Мирзу Хамида,— сказал ему Хан,— и, когда он будет здесь, ты пойдешь в его дом. У него есть дочь *Мыслимя*, именем моим возьмешь ее и приведешь ко мне под покрывалом.

Сарай-Ага удалился исполнять волю Хана.

Харазанли обратился к Гюльбухаре.

— Кто ты такая? Кто твой отец?

— Зовут меня Гюльбухара. Я дочь торговца Мусабэ из Ак-Орды, города Криминды. Правитель города Мирза Мазар-Ульмук полюбил мать мою. Отец не уступил ему ее. Мирза нашел случай обвинить отца моего. Чауши[2] пришли в дом наш и, несмотря на слезы и мольбы, разлучили нас. Не знаю, что сделали они с отцом и с матерью моею!.. Меня продали в неволю Загатайскому купцу!..

Гюльбухара не могла продолжать, залилась слезами

— Продолжай, Гюльбухара,— сказал нежно Харазанли, взяв ее за руку,— продолжай, я все для тебя сделаю, светлая дева!

— Загатайский купец привез меня в Угру... чрез несколько дней...— Гюльбухара опять остановилась, опять слезы покатились из глаз, вздох вылетел из груди, лицо оделось румянцем...

Харазанли смотрел на нее и молчал: так хороша была она в этом положении. Он не смел утешать ее ласками, не хотел принудить забыть горе и продолжать рассказ, давал ей волю управлять и чувствами своими, и словами.

— Меня купил Мирза Хамид,— наконец произнесла она отрывисто.— Не знаю цели, с которою он представил меня к тебе, великий Хан, и назвал своею дочерью... Я недостой-

[1] Здесь: род халата.— *А. Б.*
[2] Воины.— *А. Б.*

на была бы дышать тем воздухом, которым Аллах наполнил мир для человека, если б решилась воспользоваться чужим именем и чужими правами на счастье принадлежать великому Хану...

— Гюльбухара! — прервал ее Хан, положив руку на ее плечо и смотря пламенно на потупленные очи девы.

Более ничего не сказал Харазанли, а Гюльбухара продолжала:

— Могла ли я забыть отца и мать и отказаться от них, приняв на себя имя прекрасной Мыслимя?..

В это время вошел Чауш и повестил Хамида.

— Пусть войдет. Гюльбухара! набрось покрывало твое и молчи.

Хамид вошел.

— Благодарю тебя, Мирза! — сказал ему Харазанли.— Ты услужил твоему Хану, и он будет уметь быть благодарным. Ничего лучше твоей дочери не видал я, ничего лучше не желал!.. Она будет моей Хадыней!.. Для нее хочу избрать я и достойную невольницу! Где Сарай-Ага... Исполнил ли он мою волю?

Сарай-Ага вошел с женщиною, покрытою покрывалом.

— Мыслимя! вот твоя *Джари*[1]. Сними с нее покрывало! Хамид, смотри сам, достойную ли рабыню избрал я для Хадыни моей?

Сарай-Ага исполнил волю Хана, сдернул покрывало с приведенной им женщины.

Хамид затрепетал, взглянув в лицо Джари.

Глухое восклицание раздалось из уст Гюльбухары.

— Нравится ли тебе, Хамид, Джари твоей дочери? — продолжал, злобно улыбаясь, Харазанли.— С этой минуты мы как кровные будем жить под одной крышею! Отведите его в каланчу[2] Сарая!

Хамида почти бесчувственного вывели.

— А ты, звезда моя,— продолжал Хан, обращаясь к Гюльбухаре,— иди в назначенный тебе Харэм, возьми и свою Джари, будь ей повелительницей.

Гюльбухара встала с софы, наклонила голову свою пред Ханом; снежная рука ее прикоснулась к покрытому челу, и

---

[1] Прислужница Харэма.

[2] Башня, Татарское слово. *(Прим. Вельтмана.)*

От татарского «кала» — крепость. На Руси слово появилось в XVII в.— *А. Б.*

она пошла в глубину покоев. Назначенная для ее услуг невольница последовала за ней.

Старая Ага и Две *Усты* встретили ее и проводили в богатый отдел Харэма. В хрустальных стенах отражался светильник, стоявший посредине на кованом серебряном подножии; по углам кипели каскады; капли воды также светились как искры; резной из слоновой кости потолок усеян был продушинами, сквозь которые дымился проведенный из другого покоя аромат. Из Харэма был выход под навес, осененный слезистыми ивами, которые росли на высокой скале, над светлою Толою; на этой скале построен был весь Сарай Хана. Как волшебное здание висел он над рекою, имея подножием неприступный утес, подмываемый Толою.

Вечер давно уже настал; полная луна неслась по чистому небу и сыпала лучи свои на мраморный пол сквозь отворенные двери.

— Вот обитель Хадыни,— сказала старая Ага Харэма.— *Араи* не лучше ее, отсюда видна вся Орда-Урга, с золотыми капищами и высокими мечетями; там, влево, под луною, высокая гора Хан-Олу, с ее священными дебрями; на восток луга и опять горы, в глубине *черной долины* есть красная гора; там есть пропасть, где скрыты несметные сокровища Огус-Хана. Никто не смеет приблизиться туда; дух-хранитель всех пожирает и унизывает костями человеческими вход в пропасть...

— Ступай,— сказала Гюльбухара старой Аге, не дав ей кончить рассказа.— Я одна останусь с моей невольницей.

Когда старая Ага вышла, Джари бросилась к ногам Гюльбухары.

— Эмин! Я узнала тебя! Зачем ты погубил себя и меня! Что хочешь ты делать? Зачем явился ты здесь в одежде сестры своей?

— Увидеть тебя еще раз и умереть! Гюльбухара! Скажи: моя ли ты по сердцу, по воле твоей?

— Твоя! твоя звезда, Эмин, но не сорвать тебе ее с неба!

— Воля Аллаха! но я с тобой! Как было мне не воспользоваться случаем взглянуть на тебя? Когда отец мой пошел в Эи-Сарай по требованию Хана, я хотел идти к волнам Толы!.. Вдруг приходит Сарай-Ага с Чаушами и име-

нем Хана требует сестры моей... Как из-за тучи в уме моей блеснула звезда! «Сейчас,— сказал я Сарай-Аге,— Мыслимя накинет покрывало и готова будет исполнить волю Хана». Потом оделся я в платье сестры моей, взял на всякий случай шелковую лестницу и *ханджар*[1], велел верному Кара-юли стеречь меня в легкой ладье на Толе, под скалою Эи-Сарайской, и — Гюльбухара! я перед тобою!.. Гюльбухара! — продолжал Эмин.— Недаром луна так ясно светит на нас; может быть, небо благоприятствует нам. Отсюда короток путь до Толы, а там, за Толой, за степями, есть другие высокие горы, есть другие дремучие леса, есть другие люди, которым до нас нет никакого дела; есть вода, звери, птицы. Кара-юли ждет меня.

Эмин свистнул; из-под скалы послышался ответ.

Читатели должны знать, что в этом месте Боярин Люба остановил рассказ Татарина и спросил его:

— Какой Кара-юли? ты или другой?

— Я! — отвечал Татарин, очень довольный собою, показав большим пальцем правой руки на себя и поправив свой тюбетай.

Но вот Кара-юли продолжает рассказ, а я, внимательный слушатель его, привожу в порядок слова, смысл, украшаю их воображением настоящего века и передаю своим читателям.

— Гюльбухара! — сказал Эмин.— Решаешься ли ты идти по дороге, которую я тебе покажу?

— Иду с тобой, Эмин! Готова быть твоей невольницей!

Эмин прикрепил шелковую лестницу к перилам навеса.

— Гюльбухара, спускайся, я последую за тобою,— сказал Эмин и, подхватив ее, хотел пересадить через перилы.

— Постой, Эмин, есть средство избавить себя от поисков и преследования. Возьми ханджар свой и начерти на этом почерневшем камне знаки: Бухарскую розу, изломанную черту, женщину на Ханской софе, одну руку ее протяни к сердцу, подле начерти мужчину, которого держит она другою рукою... Теперь начерти еще женщину в колпаке

[1] Здесь: кинжал.— *А. Б.*

Мирзы... еще изломанную черту... начерти рабыню, начерти струи реки и два круга посредине. Довольно, Хан поймет это!

— Я не понимаю,— отвечал Эмин,— но не хочу терять времени на расспросы. Теперь, Гюльбухара! ты моя!

— Твоя!

Как пушистый, легкий горностай перепрыгнула Гюльбухара через перилы, вцепилась в шелковую лестницу; Эмин еще раз свистнул, потом бросился вслед за ней, ниже, ниже... Месяц закатился за облако. Темнота налегла на горы, на утесы и на волны Толы, на Эи-Сарай. Все исчезло во мраке...

Настал новый день.

Харазанли стал весел, как солнце на утреннем безоблачном небе. Мщение Мирзе Хамиду его утешило. Он велел позвать к себе Гюльбухару.

Старая Ага Харэма кинулась в покой новой Хадыни. «Хадыни нет!» — с ужасом объявила она эту новость Сарай-Аге. Он не верил ни словам старухи, ни собственным глазам, когда нашел в покое Хадыни на полу только кинжал. Мрамор был исчерчен непонятными ему знаками.

— Где Гюльбухара? — спросил его Хан, заметив испуганное его лицо и нерешительность, что сказать.

— Ее нет, Хан, и невольницы ее нет!.. Они исчезли, как духи, оставив в память какие-то знаки на мраморе!..

Глаза Харазанли покрылись грозою; он вскочил с софы и бросился сам в Харэм. Окинув взорами хрустальные стены, фонтаны, выход под навес, он остановился над знаками, начерченными на полу.

— Роза! — вскричал он.— Гюльбухара... не... Хадыня!.. дочь Мирзы... не... раба!.. Два круга на Толе... Погибли! И память об них погибнет, и род их погибнет!

Гнев Харазанли был ужасен.

— Черный! — вскричал он.— Зажги гнездо Хамида и брось в огонь этого филина!

Исступленный Харазанли уподобился Гесер-Хану, когда этот монгольский Геркулес, избавленный от очарования, злобно воскликнул, и голос его раздался как гром, производимый в небе синим драконом: земля поколебалась и златые чертоги его в сильном вихре повернулись 88 раз, а стены градские трижды.

Сарай-Ага с толпою Чаушей бросился исполнять волю Хана.

Они вошли в дом Хамида, чтоб забрать богатство его, которое в подобных случаях снисходительный и жалостливый обычай сохранял в пользу Хана и исполнителей воли его.

Сам Сарай-Ага, растолкав толпы удивленных рабов Хамида, пробрался в отдел Харэма, отбросил двери и вдруг остановился, казалось, что башмаки его приросли к порогу.

На софе лежала молодая Татарка; шум разбудил ее, из-под шелкового покрывала показался образ, похожий на Цаганзару, прекрасную деву древних преданий.

— Кто ты? — вскричала она.

— Кто ты? — повторил невольно черный Сарай-Ага. Голос черного Сарай-Аги походил на грубый звук *Кангырчи*[1].

Испуганная дева скрылась под покрывалом.

— Это Мыслимя, дочь Мирзы Хамида,— отвечали со страхом столпившиеся ее невольницы.

— Мыслимя? дочь Хамида? — вскричал черный Сарай-Ага.— Что говорите вы мне. Дочь Хамида вчера еще отвел я к Хану, и теперь она уже в Толе!

— Это Мыслимя! — повторили невольницы.

— Недобрые духи живут в доме Хамида! — вскричал Сарай-Ага.— Чауши! останьтесь здесь; не выпускайте никого из дома!.. а я пойду к Хану, сказать ему про чудо!

Запыхавшись, прибежал он в Эи-Сарай.

— Что тебе, копоть солнца? — сказал Харазанли, еще не успокоившись от гнева.

— Великий Хан, Мыслимя, дочь Мирзы Хамида, жива!.. Та ли Мыслимя, которую я привел к тебе и которая исчезла из Харэма, или другая Мыслимя, только Мыслимя, светлая, как дух Араи, теперь в доме отца своего.

— Привести этого светлого духа Араи ко мне!

Черный исчез.

Беспокойно ожидал Харазанли новую Мыслимя. Какое-то доброе предчувствие заменило его исступление и гнев. Взор его прояснился.

— Здесь она,— наконец раздался голос воротившегося Сарай-Аги.

[1] Труба.

Хан подал нетерпеливый знак раскрыть скорее двери и ввести дочь Хамида.

— Ты ли, Мыслимя? — сказал он вошедшей Татарке.

Она упала к его ногам.

— Прости отца моего! — произнес нежный, очаровательный голос.

Эти слова проникли в душу Харазанли.

Он вскочил с дивана, поднял Татарку и сорвал с нее покрывало.

— Твой отец прощен! — произнес Хан трепещущим голосом и не дал дочери Хамида упасть снова перед ним на колени.

— Идите,— сказал он Сарай-Аге и Чаушам,— приведите ко мне Хамида.

Мыслимя объяснила Хану всю тайну происшествия, призванный Хамид дополнил догадки.

Хан простил его, назвал отцом своим и вместе с Хамидом и своей Хадыней Мыслимя оплакал судьбу Эмина и Гюльбухары.

XV

— Что ж сталось с Эмином и Гюльбухарой? — спросил Боярин Татарина, который взялся уже за свою тамбуру.

— Что? живут добра́ на Урга! А Кара-юли хадит с Бату-Хан на Русь и живи теперь добра́ на Боярина господина Ростислав Глеба!

— Ах ты *саламалык*! — сказал Боярин, встав с места и столкнув палкой своей с головы Татарина шитый золотом тюбетай.

— Да я тебе не дам ни *экмэка*[1], ни *браги*[2], покуда не отрастишь себе бороду ниже колена!

— Иок, баба́! господина! козла борода, Кара-юли Татара́, не козла!

Боярин Люба не слыхал Татарского ответа: он был уже занят огромным своим Жуком и травил им *рябую зегзицу*, который — бедный! — подвернув под себя голову, катался по полу, спасая лицо и уши от острых зубов собаки.

---

[1] Хлеб.

[2] Татарское сладкое питье, из хлеба или из овса сделанное.

Жук заговорил как на травле; вцепился в *черные мяса* несчастному дурню Боярскому. Сам Боярин, вообразив, что он на охоте, собирался уже *соструни́ть*[1] зверя, а Татарин с тамбурой стоял над ним как с *чеканом*[2].

Только Глебовна, взглянув с сожалением на жертву забавы отцовской, торопилась выйти из светлицы.

До какой степени бывает иногда человек унижен! Но часто это же унижение служит к возвышению его. Представьте себе, что судьба, схватив его как мяч, хочет бросить под облака,— не правда ли, что для исполнения этой воли своей она должна размахнуться, опустить руку свою почти до земли и пото́м уже вскинуть — и вот человек, коснувшись лицом до праха, быстро летит в вышину, летит... разумеется, с тем, чтоб возвратиться на землю, в землю и т. д., но если кто тяжел и у кого в голове нет парашюта, то возвращение его к земле еще быстрее, еще скорее, нежели полет под облака. Вообще падать скучно.

Травля еще не совсем кончилась, когда пришли сказать Боярину, что в село приехал Княжеский гонец с письмом.

Гонца призвали к Боярину.

И стал читать гонец:

—«Князь Мстислав Мстиславич, старый, Галицкий, посылает ко всем отчинам Князей, Бояром их и Дворяном, и нищим, и сильным, и худым, и простьцем, и ко всем людям, наряд и весть: не держати у собе отроча, сына Воеводы Ноуго́рочького Ивора, Иву, иже есть взрастом малый, плечами велики, лицом рябый, нелепый, очима малы, точию бо слепы, чермная ягодина на челе, другая большая у левого ока. И кто укажет или приведет крестного сына Княжеского, тому дастся во отчину село Княжеское и златых гривен десять».

— Не ведаю такого ни в дому моем, ни в деревне моей,—

[1] Черные мяса, соструни́ть — охотничьи термины.— *А. Б.*

[2] Пряжка. «Обязы (поясы) златые, чекан золот», с вставными драгоценными камнями, бирюзою и жемчугом. *(Прим. Вельтмана.)* В контексте приведенной цитаты чекан может быть и топориком с обухом-молоточком, на длинной рукояти.— *А. Б.*

отвечал Боярин гонцу, загородив собою дурня *рябую зегзицу*.

Гонец отправился далее, объявлять Княжеский наряд отчинам Князей, Боярам, Дворянам, нищим, сильным и худым...

Между тем Боярин Люба подошел к рябой зегзице, осмотрел его с ног до головы, повернул к свету безобразный оттиск лица его, на котором излишества и недостатки противоречили подобию человеческому, и казалось, что считал рябины, вымерял ширину глаз, расстояние их одного от другого, величину рта, ноздрей и носа, толстоту губ и объем лица, как живописец, который сходство хочет похитить циркулем, а не постижением таинственного отражения души в чертах человека.

Осмотрев все бесчисленные приметы своего дурня, по которым можно было бы его отыскать в толпе уродов, которыми исполнен земной шар, Ростислав Глебович, без стуку и шуму своими чеботами, пробрался на половину своей жены.

— Касьяновна! — сказал он ей.— У нас в доме клад!

Касьяновна любила золото, а муж ее истощил его, как молодость и силы свои, и не только на приданое дочери Глебовне, но и на наряды ей самой недоставало уже десятины от бедной, погоревшей смерды села Заборовья, принадлежавшего Ростиславу Глебовичу.

Никто не слыхал, что говорил Боярин жене своей, а потом призванной Глебовне, в которой доброта сердечная заменяла все женские недостатки и достоинства, и даже доброту душевную.

— Итак, ты согласна,— сказал наконец вслух отец ее.

— Согласна,— отвечала Глебовна.

— Сегодня же свадьба, завтра еду я в Каменец к Князю Мстиславу, и он даст мне обещанную награду, а тебе приданое.

Представьте же себе, читатели и читательницы, что Боярского дурня, прозванного *рябой зигзицею*, ведут в мовню, снимают с него красный кармазинный кожух и пестную сорочку, *негуют* его душистым березовым веником и наконец, одев в шитый серебром кожух, ведут в храм рука об руку с Боярской дочерью Глебовной.

Он молчит; ему хорошо, тем более что сам Ростислав Глебович отгоняет от него ненавистного ему Жука.

Что Боярин Люба пожелал выдать единственную дочь свою за дурня, это понятно всякому, ибо дурень носил в себе все приметы Ивы Иворовича Путы-Зарева, Княжеского крестника; но почему Глебовна согласилась без малейшего противоречия выйти замуж за дворового дурня, за рябую зегзицу, за безобразного Иву и т. д., это неизвестно: причины она носила под сердцем. Кто ж, кроме времени, мог объяснить, какого рода были эти причины?

Историки говорят, что это было просто внушение судьбы, заботящейся о продолжении рода Пута-Заревых.

XVI

Великий человек не удивляется ничему, что судьба дает ему; как законный наследник принимает он от нее и золотые горы, и жемчужные поля, и алмазные реки, и двор, построенный из мелкого, разноцветного бисера.

Ива был великий человек. Он не дивился тому, что с ним делалось. Точно так же, как и прежде, смотрел он любовным взором на дворовую челядь, на Татарина и на побратима своего черного Жука.

Но челядь, Татарин и черный Жук изменились к нему; строгим взором Боярин Люба внушил в них понятие, что Ива Иворович Пута-Зарев уже не дворовый дурень, не рябая зегзица; что Князь ему крестовый отец, а Боярин *цтя*[1].

— Ива Иворович! — сказали Ростислав Глебович и жена его, возвращаясь из церкви в двор свой.— Поздравляем тебя с милою женою Глебовною!

— Милою женою Глебовной? — отвечал Ивор, посмотрев на Глебовну, у которой в глазах светились слезы.

— Баба Глебовна! — продолжал он, подражая обычаю тестя своего.— Сними с головы моей шапочку, а я утру тебе слезы!

С добрым намерением уже поднял он полу кожуха своего, но Глебовна отвернулась, оттолкнула его руку.

— Грозная, как мáа!— сказал Ива.

И посадили его с Глебовной за браный дубовый стол с

[1] Тесть.

разными ествами сахарными и питьем *медвяным*. И пришли к нему на поклон и дворовая служба, и челядь, и деревенская смерда, и Бохмит Кара-юли; только черный Жук, лежа посреди *середы*[1] светлицы, распустив *брыле* и развесив уши, гордо на все смотрел и иногда только изъявлял свое негодование и презрение к поклонникам Ивы глухим лаем.

Нужно ли говорить, что Боярин Люба торопился ехать с милым зятем своим к Князю Мстиславу.

На другой же день...

— На другой же день! Но как же прошел первый день? — спросит привязчивый читатель, который любит все мелочные подробности до безумия.

Я в подробности не вхожу. Но скажу только, что и сей день, так же как и прочие, кончился захождением солнца. Глебовна же, оставшись наедине с Ивой, сказала ему наотрез, что до тех пор, покуда не сходит он помолиться богу в Иерусалим, она не поделится с ним ни душой, ни телом.

Итак, на другой день Боярин Ростислав Глебович отправился с зятем своим в город Каменец, к Князю Мстиславу Мстиславичу.

Не буду описывать радость Мстислава, когда он увидел крестника своего пристроенным и счастливым.

«Теперь я спокоен и могу исполнить данное слово покойным родителям Ивы»,— думал он.

Боярин Ростислав Глебович рассказал Князю подробнейшим образом, с каким радушием принял он ограбленного Гайдамаками крестника его Иву Иворовича, полюбил его как сына и женил, по доброй воле, на своей дочери, прекрасной Глебовне.

Мстислав Мстиславович дал рядную запись Боярину Любе на обещанную деревню в 50 дворов, на реке Луче, и десять золотых гривен. Крестнику же своему и его молодой жене дал в отчину большое село Студеницу на реке Стры.

Благословляя же Иву и прощаясь с ним, он вручил ему серебряный ковчежец, наследство отца и матери.

Таким образом, раззолоченный Ива Иворович прибыл на

[1] Пол.

новоселье в Студеницу, куда во время *гостьбы*[1] Боярина Любы все семейство его, извещенное о дарах Князя, успело уже переселиться из бедного Заборовья.

XVII

— Видь! — вскричал Ива, вбежав в покой Глебовны и показывая ей серебряный ковчежец.

Глебовна не обратила внимания на слова Ивы, но чеканный ларчик с печатью тронул женское любопытство, а женское любопытство восторжествовало над равнодушием. Глебовна протянула руку.

— Слюбен я тебе? — сказал Ива, спрятав за пазуху руку, в которой держал ковчежец, и украсив безобразие свое сладкою улыбкой.

Глебовна могла пересчитать все перловые его зубы, могла слышать, как билось его сердце, и видеть, как прищурились от душевного восторга его глаза.

Но она, холодное существо, не поняла этих мгновенных красот, которые показались на лице Ивы; она даже — злодейство! — тяжелою рукою своею смахнула с него счастливую улыбку!

— Вот тебе мое слюбленье! — вскричала она и с этими словами выхватила из рук Ивы ковчежец, и, прежде нежели он успел откинуть густые волосы свои, которые накатились от удара на очи, разорвала печать на ковчежце, отперла, взглянула в него, бросила его назад прямо в лицо Иве, и — ушла.

Ковчежец ударился в широкое чело бедного Ивы; с криком ухватился он обеими руками за голову. Ковчежец покатился по полу, и зеленая травка, как будто только что сорванная с заветных лугов великокняжеских, выпала из него.

Черный Жук, смиренно лежавший во все время в углу, подле муравленой печки, вскочил, бросился на травку, обнюхал ее, съел и — стал извиваться около Ивы.

---

[1] В выражении: ни в куплю, ни в гостьбу значит: ни в продажу, ни в займы. (См. Русскую Правду). *(Прим. Вельтмана.)*

В Правде читаем: «Оже кто купец купцю даст в куплю куны или в гостьбу»,— то есть на *проезжий торг.— А. Б.*

Ива думал, что это жена его.

— Идь в сором, бесова внучка! — вскричал он.— Чтоб тебе ни доли, ни воли, ни радости, ни угодья, ни лагоды, ни усыпу! Чтоб тебя черный вран крылом притрепал! Чтоб тебя черный Див умолвил!

Ласки черного Жука более и более увеличивались; как любовный приятель ходил он около Ивы; пушистый, огромный хвост его то поднимался вверх и расстилался по хребту, то описывал круги, то прятался между ногами — казалось, что, виноватый перед Ивою, Жук умолял его о прощении.

Ива не принимал ласк; закрыв лицо руками, он продолжал проклятия: «Идь проче! не емлю *Чагу* гнезда бесова за жену!.. проче!..»

Жук не вытерпел, приподнялся на задние ноги и облапил Иву.

— Идь проче! худая! нелепая! чермная! *ко́тора*![1] кудесница, хвост имуща!..

Жук завыл... и, как будто желая привести Иву в чувство, ударил его лапою по голове.

— Ууу! — возопил Ива.

— Ууу! — завыл черный Жук... покрыв собою Иву.

Чудное действие Эмшана! И не удивительно: довольно было понюхать, чтоб полюбить кого бы то ни было, а Жук не только понюхал, но и съел дивную траву.

На крик и вой сбежались все домашние. Боярин, воображая, что Жук по старой привычке травит *рябую зигзицу*, насладившись несколько минут картиною, которая была для него всегда так приятна, наконец отвлек Жука от Ивы.

Ива очнулся. Сердито окинул он всех мрачным взглядом исподлобья и молчал.

Так прошел день; к вечеру, добрая душа, он все забыл и стал ласкаться к Глебовне.

А Глебовна повторила ему: что не поделится с ним ни лаской, ни добрым словом, покуда не принесет ей монисто из Иерусалима.

— С заранья иду! — отвечал ей Ива и смиренно, сотворив молитву, опочил до заранья.

[1] Вражда.

XVIII

На другой день, чем свет, поднялся Ива на ноги. Все еще спали. Надев богатый кожух свой *оловира грецкого,* сапози *червленого хъза*[1] и соболью шапку, он отправился прямо в конюшню; оседлав борзого *комоня,* перекрестился, подвел его к высокому камню, влез на камень, взобрался на коня и пустился стрелой со двора.

— Куда? — раздался позади его голос.

— В Русалем! — отвечал Ива не оглядываясь.

«Где ж научился Ива ездить верхом?» — спросят меня.

Гений все постигает без учения.

Вероятно, теперь всякий читатель ожидает подробного описания путешествия Ивы Иворовича в дальний Иерусалим; путешествия, столь же любопытного, как трудная повесть «о том, как Василий Буслаевич, любимый сын матерой вдовы Амельфы Тимофеевны, взяв от нее великое благословение идти в Иерусалим-град, богу помолитися, святой святыни приложитися и во Иордане реке искупатися, бежит в червленом корабле, со всею хороброю дружиною, прямым путем: по озеру Ильменю, по Каспийскому морю, мимо острова Куминского, по Иордану по реке; кидает якори крепкие под стенами Иерусалимскими, служит обедню с молебнами, расплачивается с попами и с дьяконами, поднимает снова паруса полотняные, едет назад по реке Иордану, по морю Каспийскому, мимо славного острова Куминского, по Ильменю озеру до той горы Сарачинской, где стоит высокий камень в три сажени печатные и где ему сказано *бабою залесною* положить свою буйную голову»[2].

Подобная трудная повесть поучительна и занимательна; но, сколько известно мне, Ива совершил хождение свое из *Понизовской земли во Иерусалим* сухим путем; и потому его путешествие еще более должно быть поучительно и занимательно.

«В лето 6728-е, говорит неизвестный летописец, Ива Иворович иде Славенскою землею во Иерусалим и негде у *торга Чернавца* пленен бысть Айдамаками Угорскими и обь-

[1] Сафьяна.

[2] Вельтман приводит цитату из новгородской былины «Василий Буслаев молиться ездил», известной по «Сборнику Кирши Данилова».— *А. Б.*

щьствован и вмале не убиен, и убежа, и вбежа *в торг Роман,* идеже, жалости ради, взят бысть Урменским купцом и везен в Дичин (вер. Диногетия, Галиц) и далее...»

А далее в летописи ничего нет...

XIX

В 1262 году — когда уже Русская земля была данницею Татар и только смелый Даниил Галицкий не оставлял любимой думы о средствах избавиться от ига поганых Таурменов, Бессерменов, Бахмитов — около исхода Червеня[1] или вернее около начала Зарева[2] в Понизовской области, Боярин одного села при реке Дана-Стры был имянинник и в ожидании гостей распоряжался в своем красном Боярском дворе.

Главное внимание обратил он на свою псарню. Любимец его, Стременной, встретил господина своего поздравлениями:

— Даруй тебе бог, Боярин, обнести серебряным тыном красный двор твой, а на полях твоих Боярских уродись бурмицкое зерно, а возьми за себя Боярин Княжескую дочь, а надели она тебя дочкой в сорочке, сынком в шапочке, а принеси тебе Усюсю девять выжлят, один в один...

— А что Усюсю? грех молвить,— спросил заботливый господин.

— На износе, государь, на износе, да не печалуйся!

— То-то будет в сей день у меня гощенье, подивить хочу, грех молвить, всех гостей своею охотою!

— Да и где ж диво, как не на твоей Боярской своре, Усюсю не в час осела, ну, заголосит Ставра, подымется Юлка, повалит Зуб! Брза впустит клыки!.. А Олей? — Диво!.. Покойная, Боярин, родная твоя Глебовна, подала мне стопу зелена вина, как взвидела, как Олей сорвал с быстрых ног зайца!..

— У, тучный! — молвил Боярин, осматривая собак своих и разглаживая круглый живот развалившейся Усюсю.

— А что, боярин,— продолжал Стремянной,— и Немчин будет в гости?

— Какой Немчин? Вельможа, грех молвить, Угорского Короля? будет.

[1] Июля.

[2] Августа.

— Немчину, Угру, одна вера! В одну оглоблю ездят! Бесово гнездо! да и того не ведают, что бог дал голову, чтоб носить бороду! Чай, в мовню с женами не ходят?

Не отвечая на слова Стременного, Боярин отправился в свои хоромы, там встретил его верный ключник и ларечник домовый Ян. Покуда Ян кланялся господину своему, ласточка, летний добрый сосед зажиточных людей, влетела в окно.

— Доброе знамение, ластовица! Боярин! будет гость нежданный,— сказал Ян и стал выгонять доброго вестника из светлицы.

— Сегодня последний день ластовицам погостить на земле,— продолжал многоречивый Ян,— наутро вдруг згинут. Иона Белый, мельник, говорит, что ластовицы улетают зимовать на луну.

— Иона Белый, что принес мне на поклон маковник воутрие?

— Маковник? — сказал с удивлением Ян.— И Боярин снедал?

— Не весь, а уломил, грех молвить,— отвечал Боярин.

— Ой? И невесть какая молва идет про Иону Белого: он чаровник!

— Ой! — в свою очередь вскрикнул со страхом Боярин.

— А чем дарил его, Боярин?

— Ничем.

— Придется откупаться! Недаром нечистый дух принес сластей! Того и гляди, что поведет тугою!.. А откупаться, Боярин, дорого, снести бы маковник к вещунье Секлекетикии, да поклониться ей гривнами, чтоб отговорила.

— Идь, Ян, идь! — вскричал напуганный Боярин.

— Сегодня Пяток, Боярин: вишь, говорит, в Пяток прикинется волосатик либо ногтоедица... Да терпеть-то нет часу!

— Идь, Ян, идь! за волосатик заплачу три серебряных гривны, а за ногтоедицу, грех молвить, что хочешь!

— Счетом, Боярин, да четом. Ворожеи любят чет. За все про все десять гривен вдоволь.

— Ой! — сказал Боярин и вслед за сим словом отправился в кладовую.

Ян получил десять серебряных гривен, которыми должно было откупить спокойствие и благоденствие его господина, отправился в соседнюю деревню Яры, которая славилась хмельной брагою и где водилось у него много любовных

приятелей. К ним-то являлся он часто делить время, брагу и добычи заслуг, хитростей, плутовства и нечистой руки своей.

Чтоб пояснить хоть несколько все предыдущее, мы должны сказать читателям, что вышеписанный Боярин. нисколько не постороннее лицо тому поколению, об котором идет моя длинная речь, слово, песнь, повесть, сказание, история, быль, вымысел, поэма, ядро, роман.

Его величали: Боярин Савва Ивич Пута-Зарев.

Ему было от роду около 40 лет, но он был еще моложав и свеж, ибо до 39 лет с месяцами жил он в руках строгой родительницы своей Глебовны.

Пестун Ян был давний его угодник; надеясь более на грядущее утро, нежели на потухающий вечер, он всеми силами способствовал баричу Савве преступить заповеди государыни, родной матушки: не лазить по деревьям за гнездами, не ходить тайком в оградину и в посиделки, не водиться со смердами и т. д.

Савва Ивич любил Яна.

Но вот настало для него время плача и рыдания. Глебовна, как не вековечная, опочила сном могильным. Дедушки уже не было, бабушки уже не было, родной матушки не стало.

И вот Савва, сказав сам себе: «Все мое!» — вступил во владение отчины и стал управлять двором, имуществом и богатством, людьми и скотами, и в особенности наследственною псарнею.

Ян, как надежный и верный слуга, принял от него ключи и назвался Боярским ключником и ларечником; однако же ларец с золотом, серебром и честными каменьями избежал от его охранения; ибо в старину водилось обыкновение: никому не доверять ключа от денег.

Ян, как мудрый *Думец,* добрыми советами и наставлениями поселил в своего Боярина все необходимые причуды и веру в приметы, сны, чары и во все затмения ума и разума.

Кто умеет толковать сны, кто знает, как оберегать от дурных примет, знает, как предупреждать беду от просыпанной соли, от глаза, от заговоров, знает, что должно брать левой рукой, что правой, знает, где плюнуть, где перекреститься, которой ногой встать с постели, в который день начинать дело, кто все это умеет и знает, у того в руках

узда на суеверных: от его воли зависит оседлать глупца и проехать на нем верхом от угла до угла в предупреждение, чтоб он в числе *тринадцати* не был *тринадцатым.*

Ян владел этой чудной уздечкой и правил господином, как своенравный кормчий послушным кораблем; носил его мысли и желания по своему произволу, как степной ветер носит *перекати-поле.*

Ян воображал, что это продолжится до скончания века, и потому, насвистывая любимую свою песню, пробирался он чрез гору в соседнюю деревню Яры, ни мало не предчувствуя того, что судьба строит против него ковы и кует крамолы.

XX

На дороге, которая шла за загородой села Студеницы, по скату горы, сидел на камне старик в сером кармазинном кожухе. Татарский малахай прикрывал седые его волосы; щетинистые ресницы прикрывали глаза, а длинная борода прикрывала всю грудь его. Время, а может быть, труды, или тяжелые ноши, или добрые люди, согнули его в три дуги, если не более, и безжалостно изрыли чело и все пространство, ограничивающееся волосами, бородой и ушами; потому нельзя было узнать ни настоящего его роста, ни настоящего выражения лица.

Обняв обеими руками посох свой, он преклонил к нему широкое чело свое и, уставив очи в землю, поведывал что-то самому себе вслух:

— Уже и в Иеросолиме сподобился быти! Уже иду ко двору! а Глебовна!.. Глебовна, сердитуя, молвит: «Чему долго был?» — Идь сама святой святыне помолитися, господню гробу приложитися, во Иордане реке искупатися, чтоб бог даровал тебе сына!.. Окаянные Обры!.. Комоня, кожух, шитый сухим златом, сорочицу, порты, все полонили, да еще в *колу*[1] впрягли, да еще травою кормили!.. притоптать бы вас горою!.. туга вам и тоска!.. Утёк! Здравие честному *Урмену, в торге Ро́манском*! дал мне путь и дорогу!.. Ну, а уж Бессермены, поганые Бахмиты!.. добра́ еще,

[1] Колесница, воз. *(Прим. Вельтмана.)*
Также небесная сфера: в «Хождении Афанасия Никитина» так названо созвездие Ориона.— *А. Б.*

не урубили ухо ли, нос ли!.. резали, резали, ой, великая, небесная сила!.. да в *Гарам*[1] заперли, с черными!.. А Русалки-то, Русалки!.. в пуху ныряют! Снег да красная заря! очи — жар! певицы, плясавицы, пыль столбом!..

Ян прервал мысли старика.

— Что ты бормочешь, Чаган?[2]

Старик посмотрел на Яна.

— Не Чаган, а Крестьянин, Ходжа[3].

— Какая Ходжа?

— Иеросолимской.

— Ой? Не вынес ли малую часть от гроба господня?

— Зуб уломил! — отвечал старик.— Монисты вымолил у мниха! от туги ли, от неплодицы ли... Жене несу.

— Ай дед! кое тебе лето? — спросил, захохотав, Ян.

— Лето? Бог весть; за поморьем все лето, нет веремя.

— Али и конца животу там нет?

— Да нет; живи себе, покуда Магомет-Султан не укажет снести голову да на кол усадить. «Салмалык, салмалык, анафема!» — только и речи.

— Страсти!

— А что, Студеница се?

— Студеница.

— Ту двор мой! — сказал старик, встал и пошел с горы, к селу.

Ян осмотрел его с ног до головы; произнес с досадою: «Брешешь! Чаган окаянный!» — и также пошел своею дорогою в деревню Яры.

Между тем на Боярский двор селения Студеницы прикатили гости в колах, телегах и верхом.

Толпы Доезжачих, Стременных, Ловчих, Псарей с заводными конями и со сворами собак охотничьих вслед за ними.

Полевая рать выстроилась в ограде, и прозвучала в берестовые рога и кованые трубы весть о прибытии на *Стан.*

— Тобе ся кланяем! — сказали гости Боярину Савве, поднимаясь на крыльцо, складывая арапники и затыкая их за шелковый пояс.

Отвесив гостям своим торопливый поклон, Савва Ивич бросился к сворам псов и приветствовал их как родных,

[1] Гарем.
[2] Цыган.
[3] Богомолец.

как верных друзей своих, объятиями, ласками, нежными словами, душой, сердцем, радостию и всею искренностию приязни.

Не буду описывать всех тех ласк, которыми Савва Ивич осыпал гончих и борзых псов. Восторг охотника непонятен для человека, который равнодушно думает о благородном занятии своих предков. Борзая Стрелка на тоненьких ножках, с сжатыми *зацепами,* хорт Ласточка *с перехватом,* звонкая Юла *с волнистою степью,* Зарница с острой стерляжьей головкой и *с правилом*[1], свернувшимся в кольцо... Это такие существа, которых не заменит ни любовь, ни дружба.

Воевода, уверенный в победе, не едет так гордо на коне своем и не смотрит так доверчиво на рать свою, как лихой охотник на скачку псов, бегущих вслед за ним.

Перегнув набок шапку, избоченясь на Угорском седле и на коне Татарском, он смотрит вдаль и охотничьим глазомером предугадывает, где зверь красный, где мелкий и где нет ничего.

Какая дисциплина во всех движениях! *Мин* проглядел серого, заяц прокрался между двух зорких глаз его, бич выправляет спину Мина, вставляет ему новые глаза, дает верный прицел, снабжает его надежным вниманием, обновляет, молодит старого Мина, который несколько уже десятков лет как ходит с верою и правдою за любимыми псами своего Боярина: кормит их, голодая сам, укладывает на мягкие подстилки, страдая сам бессонницею от изломанных боков, рук и ног; скачет по рвам и пущам за зверем и, не в свою голову, бережет Боярского коня.

Великое дело были в старину война и охота!

«А се труждахся ловы дея,— говорит Владимир Мономах в своей духовной,— конь диких своима рукама связал есмь в пущах 10 и 20 живы конь. Тура мя два, метала на розех и с конем, олень мя один бол, а две лоси один ногами топтал, а другый рогами бол; вепрь ми на бедре меч оттял; медведь ми оу колена подклада оукусил, лютый зверь ко мне скочил на бедры и конь со мною поверже, и Бог невржена мя сблюде; и с коня много падах, голову си розбих дважды, и руце и нози свои вередих, в оуности своей вередих, не блюдя живота своего, не щадя головы своея».

[1] Охотничье слово; значит — хвост пса.

Золотые, богатырские времена! Что мне в этой пуховой неге, которая вас заменила!

Утерев бобряным рукавом слезы на очах своих, я обращаюсь к Савве Ивичу.

Осмотрев чужих хортов и показав своих, променяв ядро на скорлупу, он велел убирать белодубовый стол скатертями браными и подавать ествы мясные, рыбные, ковриги[1] и *погачи*[2], и питья медвяные.

Вот Савва берет уже куфу[3] с слибовицей и сам подносит гостям: сперва новому знакомцу своему, Младеню Черногорскому, у которого два хорта ценой на вес золота, два Стременных ясных сокола, конь Арабский, покрыт червленою паволокою, а седло и узда золотом кованы.

Потом подносит он любовным приятелям своим Радану от леса, Клюдовичу с Веселого Хлёмка, Риву с Черного бора и Ляху Мниславу.

Все готовы уже садиться за стол... вдруг на дворе раздается шум и крик. Бегут к окну.

XXI

Посреди двора седой старик, окруженный челядью и холопами, отбивается длинным своим дубовым посохом, отбивается удачно.

Дубинка, как будто по щучьему веленью, а по его прошенью, работает сама, ходит вдоль и поперек по головам, по бокам, по рукам, по ногам и считает ребры.

С воплем удаляется челядь один за одним. Около старика поле чисто, и вот, очертив воздух еще несколькими

---

[1] Хлеб пряный. Коврига, вероятно, имела вид треугольника: *«всходящи солнцю на три углы, яко коврига». (Прим. Вельтмана.)*

В Лаврентьевской летописи под 1230 г. читаем: «Неции видеша рано въсходящю солнцю бысть на 3 углы, яко и *коврига,* потом мнеи бысть, аки звезда».— *А. Б.*

[2] Пресное хлебное: «В жертву приношены сему божку (Световиду) вино и погачи». По-Сербски — *погача.*

[3] Купа — куфа, сосуд. *(Прим. Вельтмана.)*

Куфа — действительно бочка, а произведенное от него Вельтманом слово «купа» в древнерусском языке значило: куча, кипа, группа, собрание и т. д. (ср. совокупность и др.).— *А. Б.*

волшебными кругами, он опускает свой посох, подпирается им и продолжает свой путь к хоромам Боярским.

— Радуйтеся, что на пути из Иеросолима покрали мой ятаган! Снес бы вам, поганые холопы, по голове, узнали бы вы своего Боярина! — говорил он, поднимаясь на крыльцо, на котором уже стояли Савва Ивич и гости.

— Чего тебе, старая клюка! — вскричал Боярин грозно.

— Требен мне не ты, дубовина, а требен Боярин Родислав Глебович, да моя Глебовна!

— Чу! Боярин Савва, подавай ему Глебовну! Не сродни ли он тебе? — произнес насмешливо Клюдович с Веселого Хлёмка.

Все гости захохотали, кроме смущенного Саввы и Младеня Черногорского, который, кажется, никогда не унижал прекрасной и гордой своей наружности смехом. Иногда показывалась на лице его презрительная улыбка, и то тогда только, когда малодушие людей трогало его чувства.

Старик, не обращая ни на кого внимания, пробрался сквозь толпу гостей в светлицу.

— О,— говорил он,— будут Глебовне добрые повести от Ивы Иворовича Путы-Зарева! Где же Глебовна? И обед на столе!..

— Не с погоста ли, старень? Пре́ди поклонись хозяину, пото́м проси гощенья! — сказал Лях Мнислав, показывая старику на Савву Ивича и заливаясь смехом.

Старик посмотрел на него, потом на Савву и пошел далее.

Есть предчувствие или нет? Что такое предчувствие? Не есть ли оно тайный вожатый преступника к казни, а доброго к награде?

Но по предчувствию или просто случайно, только Савва Ивич ходил за стариком, как Гридень за Князем. Все гости, кроме Младеня Черногорского, также шли вслед за ним, забавляясь и смущением хозяина, и чудным стариком, который торопливо пробегал светлицу, сени, камару, терем, внимательно все рассматривал и чего-то отыскивал взорами. Казалось, что он удивлялся какому-то беспорядку, который вынес вон все знакомые ему вещи и заменил другими.

Собралась и любопытная челядь, собрались холопы и слуги. Все толпилось вслед за ним.

Наконец старик остановился. Обратился к толпе, стукнул об пол посохом.

— Где же Боярин Люба, где Касьяновна, где Глебовна, где Татара́ Кара-юли, черный пес Жук, пристав Яслина, сокольничий Яруга, ловчий Мазур и вси, вси, вси? — возопил богомолец Иерусалимский.

Громкий общий смех преследовал слова его.

— Отъиде вси на суд божий, старень! — отвечал ему Клюдович.— По вечери пожелал ты утра! Утро на погосте, и Родислав Глебович на погосте, и Глебовна там, и Татара́, и вси, вси, вси! Поклонись же, прославь сына Глебовны, Савву Ивича, дасть тебе, мимоходячему, и братна и питья.

— Сына? — вскричал старик.— Рода Пута-Зарева, ветви Ивиной, плоду Глебовны?

— Правдиво, правдиво! — вскричали все гости.

Старик приблизился к Савве Ивичу, осматривает его с ног до головы.

— Глебовны? — вскрикивает он наконец.— Глебовна дитя ми роди?

— Дитя ти роди? — вскричали гости.— Савва Ивич, тобе ся кланяем!

Боярин Савва Ивич стоял ни жив ни мертв, он считал старика дивом, принесенным Белым Ионом в маковнице, считал жильцом того света, пришедшим от деда и матери за ним.

К счастью его и к удивлению общему, слух о чудном старике, который, как *домовин*[1], распоряжается в доме Боярском, поднял с печи старую Голку, няню покойной Боярыни Глебовны. Она пробралась сквозь толпу до старика, взглянула на него и вдруг повалилась ему в ноги.

— Родной ты мой! Боярин Ива Иворович! — вскричала она.— Сподобил тебя векожизные приидти с Русалима на родину... да не узреть уж тебе Боярыни своей, кормилицы нашей Глебовны! У Бога душа!.. а дал тебе Бог красное детище, Савву Ивича!..

— Красное детище Савву Ивича? — повторил старик, обратив взоры свои на Савву Ивича, который был вдвое его выше и вдвое толще.

Но вот догадливый Савва Ивич становится пред отцом своим на колени.

И прия его Ива Иворович любовно, говорит летопись.

---

[1] Владетель дома, правильнее — домовит.— *А. Б.*

XXII

Таким-то образом, любезные читатели, заботилась судьба о сохранении рода Пута-Заревых в минуты самой отчаянной безнадежности на продолжение его. О, кого бережет судьба, тот не тонет и не горит, в том неистощимы силы, как золото в недрах земли, тому везде путь, дорога и добрые попутчики, везде красная погода, приют и пристань. Он оступится, летит с утеса и падает не на твердую землю, не на камень, а на пух, в объятия! Хочет любви — его любят, хочет жены — завидная невеста готова; желает иметь дитя... И во всем, во всем он предупрежден и судьбой, и добрыми людьми.

Так был охраняем судьбою Ива, так будет охранен и сын его, и внук его, и правнук, и праправнук, и прапраправнук его.

Однако же Савве Ивичу около сорока лет; пора жениться. Он не заботится об этом.

XXIII

Высокий, правый берег Дана-Стры[1] озирал отлогий скат Понизовской земли. По реке и в протяжных долинах, впадающих в оную, лежали городища, селы и деревни; между ними расстилались бархатные луга; за лугами, по возвышенности, черный лес, за черным лесом непостоянное небо, то голубое, то синее, то ясное, то пасмурное, то грозное, со всеми причудливыми образами туч и облаков.

В одном месте, где Дана-Стры пробил себе дорогу под самым утесом крутой стороны, огромная скала, одетая по бокам частым кустарником, выдалась вперед и стояла под рекою как задумчивый паломник в темной ризе, с открытою седою головой.

[1] Одна из вершин реки Днестра, в Галиции, до сего времени носит имя *Стры;* там есть и город сего же имени. Не было ли первое название Днестра — *Стры* или *Стрый,* т. е. быстрый; ибо прилагательное *Дана* у древних народов значило *река, вода.* Точно так же Днепр — *Дана-Пры* или *Дана-Прый,* не значит ли — первая река; ибо *прый* по древнему наречию — *первый.*

За спиною этого старца лежал глубокий яр, в котором тоненькая струйка, вытекавшая из родника, пробиралась между толпами мелких камешков, переговаривала с ними, обещала им золотое дно и увлекала доверчивых на темное дно Дана-Стры.

Тропинка от самой реки обвивалась около скалы, как змея около Первосвященника Аполлонова, и выносила голову свою к самому челу ее. Тут, под гранитным навесом, была площадка, обведенная перилами. В камне были вырублены несколько келий, высоко занесенных, как гнезды хищных птиц.

Близ одной из них, на очаге, также вырубленном в камне, трещал огонек, перебираясь с ветви на ветвь сухого дерева, брошенного ему в жертву.

Подле очага сидела молодая женщина.

Вечернее солнце тихо катилось за черный лес в ожидании лучей своих, кои прокрались сквозь облака и не могли насветиться на ее красоту.

Только по слезам в очах, по белизне лица, по тихому, нежному голосу и по волнению груди можно было скоро догадаться, что это сидел не юноша, ибо мужская одежда обманула бы неопытный взгляд прохожего. *Червленая капа*[1], разузоренная золотою тесьмою, прикрывала темнорусые локоны; красная бархатная *ячермица*[2] обнимала стан ее, снежная риза, с длинными широкими рукавами от самой шеи, где светилась запонка, скрывала пышную грудь и, перетягиваясь широким шелковым поясом, струилась в бесчисленных складках, до колен; синие *шалвары* и красные на ногах *опанки*[3] заключали простой ее наряд.

Задумчива сидела молодая женщина; низала на железный прут нарезанные куски серны и пела:

Бедуе, бедуе мое сердце,
Нарекае мутно злую вестьбу!
Чи ся растомила моя Мильцу?
Солнце ли на небе темно свете;
То же солнце свете мне в оконце,
Да не та уж ласка в дружнем взоре!
Помутися, глубокая память,

---

[1] Круглая шапочка, род скуфейки.

[2] Дочерма, или ячерма, или ячермица — род туники без рукавов.

[3] Полусапожки.

Не шепчи мне про старую песню:
То не снеги ль холмы убелили?
То не стадо ль лебедей усело?
Кабы снеги, стаяли бы снеги,
Лебеди давно бы улетели;
То не снеги холмы убелили,
То не стадо лебедей усело:
Черногорский *юнáк*[1], храбрый Младень,
Холм уставил белыми шатрами!
. . . .

Еще не успела она кончить песни своей, как вдруг в яру раздались голоса, под горою, в густоте леса показались несколько всадников. Быстро взнеслись они, один за другим, на полугорье, соскочили с коней; кони бросились под навес, устроенный под высокими деревьями, а они поднялись по тропинке до того места, где сидела женщина.

Их было семь человек, главный из них приблизился к молодой женщине.

— Мильца![2]

— Младень![3] — отвечала она и протянула к нему руку, которую он сжал в своей руке.— Была ли часть на лове?

— Властовицы не встречали!.. с горя только двух орлов снял с поднебесья!.. Утомился!.. Дай хмелю, Мильца! пищи не хочу!.. Побратими, седите!

Мильца поставила в куфах брагу и вино и на блюде жареную серну на постланный ковер на площадке.

Сбросив с себя сабли и стрелы, все уселись вкруг огромного блюда и куф, отирая с лица пот, Младень раскинулся в стороне, около перил, столкнул набок свою шапку и подставил под голову ладонь.

Он был в перепоясанном шелковом *капоране*[4], сверх коего была на нем обшитая шнурками *ячерма.* Все прочие так же были одеты, но гораздо проще.

Младень был прекрасен собою и молод; черные волосы клубились из-под шапки, черные глаза пылали, смуглое лицо было мрачно. Товарищи его как родные походили друг на друга: те же черные волосы, одинакий быстрый взгляд, который не знался ни с страхом, ни с нежностью, то же выражение лица, не понимавшее ни смущения, ни при-

---

[1] Герой, витязь.
[2] Женское имя.
[3] Славянское мужское имя, употребляющееся у Сербов.
[4] Род кафтана с рукавами.

творства, один голос, громкий и решительный, как приговор.

Согласуясь с мрачным расположением духа Младеня, все молчали, заботясь только о том, что стояло и лежало на столе, но Младень прервал молчание:

— Служил я службу отчине родной, Сервлии; владыки не решили правду, не размыслили моего разуму и храбрости. Пусть же им *зле* розлива по утробе! На поганенье не дам се!.. Далече от отчины родной служу службу ей! Из темного леса, с крутой горы, из глубокой воды, из-за черной тучи крадусь на вражьи нехристные силы и бью Хинских Татар и жадных купцов морских!.. Слушайте же, побратими!.. Внимай, Мильца! Видел я в *Торговой Веже* Грека, а у него дочь, девойку юну!

Мильца побледнела.

— Видел я ее! чего же вам еще, побратими?.. Слышала ли, Мильца?.. Душа добудет славу, хочет другой... так и сердце, Мильца!.. Да что же мне в том, что видел я девойку юну! Я хочу купить ее золотом или кровью!.. У Грека я купил бы дочь его, да *Торговую Вежу* взяли бусурманы! Прозвали Хатынью, в честь Гречанки юной; а Гречанку юну взял к себе богатырь Султанли! и любит ее!.. Побратими! отбейте ее, отдайте мне!

— Ха! — вскричали все.— Хайдуки в твоей воле, и девойка твоя!

— Твоя! — отозвалось в яру, в горах и в извилинах Дана-Стры.

Быстрою тенью пронеслась Мильца мимо всех к перилам и вдруг исчезла с площадки. Под скалою раздался шум, похожий на бег лани сквозь чащу леса, этот шум краток: рога скоро сцепятся с ветвями и остановят порыв ее.

— Мильца! — вскричал Младень.

— Мильца! — повторили все прочие Гайдуки и бросились к перилам.

— Где она?

— Под скалою!

— Под скалою! — вскричал Младень исступленным голосом.— Принесите же разбитый череп Мильцы! Я напьюсь из него!

— Любила она! — сказал один из Гайдуков.

— Не видно под скалой, верно, разбилась о деревья и скатилась в яр,— сказал другой.

— Жажда! жажда! принесите мне хоть каплю крови ее! — вскричал Младень.

Все Гайдуки бросились по тропинке вниз под скалу, обошли ее, приблизились к тому месту, где думали найти труп Мильцы.

На земле ни Мильцы, ни следов крови.

— Где ж она?

— Чи ли черный змей уел красную Мильцу?

Глухой звук стона раздался над ними. Все обратили глаза на пространный бук, стоящий над самою вершиной скалы и окруженный частым ивняком.

— А, птаха! на чужое гнездо села!

С трудом взобрались Гайдуки на крутизну.

— Тихо, братие: слетит!

— Вот она!

Дикий виноградник, как сеть зверолова, растянулся по ветвям бука, как паутина, переплел длинные свои нити, унизанные огромными листьями.

В эту-то висевшую над пропастью колыбель, как будто устроенную нарочно для принятия новорожденного, упала Мильца и лежала без памяти, как сонное дитя, опутанное пеленою.

Осторожно разорвали Гайдуки зеленые оковы ее, осторожно спустились вниз, и вскоре беспамятная Мильца лежала на ковре, перед Младенем.

— Вот она! — вскричал Младень и взял беспамятную Мильцу за руку.

Тяжкий вздох вырвался из груди Мильцы, она очнулась, взор ее остановился на Младене.

— Жива! жива Мильца! — вскричал снова Младень и обнял ее.

Радостно или тяжело это возвращение к жизни? Та же душа, обремененная горестями, остается в человеке или душа обновленная, готовая опять предаться обманчивым надеждам и снам, любви и ненависти, улыбке и горю, мелочным блаженствам и воображаемым мучениям? Та же в нем остается душа или очищенная от бремени суетных мыслей и сохранившая в себе только бессмертие?

— Мильца! — сказал Младень, успокоясь. — Мы были свободны, будем же и всегда свободны!.. Своими черными очами ты подрезала крылья мои, Мильца! но они снова оперились. хочу воли.

— Богу-милый!.. не хочу с тобою розмирья!.. Люби другую!.. но дай и мне волю! — произнесла жалобным голосом Мильца.

— Мильца!.. волю тебе?.. Чи ли хочешь в темном лесе заглохнуть? Чи ли на дно воды кануть? Чи ли на шеломяне[1] вспеть себе конечную песню?.. Нет!.. любица моя! не дам обвить тебя змею... не увидишь разлучницы своей... горе не отвеет души твоей от тела... будешь спать на мягких постелях, под собольими покровами!.. Слышишь, Мильца?

Как жалобный голос свирели, заплакала Мильца слезами огненными.

---

[1] Вершина горы.

Часть вторая

I

Слишком за четыре столетия до настоящего времени, в Княжестве Киевском, в селе Облазне, пастух Мина собирал стадо. Его берестяной рожок будил всех, начиная с сельского Тиуна до последнего ощипанного на побоищах сельского петуха.

Ба́ушки, старушки, молодушки красные девушки и малые ребятушки зевали, протирали глаза, накидывали на себя какую-нибудь *лопоть*[1], *зипун*[2] или *шугай*[3], отворяли косящатые ворота, брали в руки длинную хворостинку и выгоняли скотину на широкую долину. Там принимали ее в свое попечение добрый пастух Мина и два верные его сподвижника: *Рудо́,* волчий враг, да *Сур,* хвост улиткой.

Сельское утро всегда и везде одинаково. Как заметно пробуждение всей природы, пробуждение радостное, живое! Мычанье стад, перекличка петухов, го-го гусей, ква-ква

Простонародное старое слово, означающее вообще одежду *(Прим. Вельтмана.)* В основном рабочую. *А Б.*

[2] З и п у н, з у б у н, ж у п а н полукафтанье с частыми сборами, у молодых людей со *схватцами* (пуговицами) В употреблении и у Чер кесов

[3] Домашняя русская женская одежда до колен, без рукавов. *(Прим. Вельтмана.)* Точнее, шугаем называлась короткополая женская кофта с ру кавами, круглым отложным воротником, перехватом, отороченная лентами, телогрея, душегрейка *А Б*

уток, лай собак, шебетанье ласточки, порханье голубя, вдали свист соловья, в высоте песнь жаворонка и тут же хлопанье бича, крик, говор, шепот, здравствованье, все слито в слово: жизнь.

Но вот в селе опять все утихло; только столпившиеся гуси и утки, кажется, советуются: с чего начать новый день.

Вот добрый пастух Мина выгнал стадо за село.

Вот взобралось оно на гору, остановилось, всматривается в отдаление, покрытое туманом, мычит друг другу вопросы: где же Днепр?.. где наш водопой?..

Мина взбирается на высокую *могилу*[1]. Близ могилы тянется проезжая дорожка. Это любимое его место. Здесь разнообразие проезжающих и проходящих разнообразит его жизнь впечатлениями неясными, как все его понятие о жизни.

Мина не молод, но свеж и здоров, он не из числа тех пастухов, в которых влюблялись богини или которые влюблялись сами в себя, но Днепровская Вила[2] любит его, как Нимфа Эхо любила Нарцисса. Она любит его рожок, его песни, уносит звуки в ущелья, в волны, в глубину рощей и играет ими как дитя.

Мина равнодушен: он не для нее поет и играет; он прост; он не имеет понятия о восторгах.

Почти с младенчества обреченный пастушеской жизни, Мина вместе с утром является посреди стада, в полянах, на лугах, на горах, на берегу Днепра, окрест села своего и занят только своим стадом, своим рожком, своими двумя сподвижниками, своей котомкой с хлебом и с солью, своей *костыгой*, которою он ковыряет лапти, и — более ничем.

Молча проводит он дни свои.

Иногда только говорит он сам с собою, с Рудом и с Суром или делает строгие выговоры отстающим от стада *буйным кравицам*[3].

Небо для него то же, что потолок избы, в которой проводит в глубоком сне ночь.

Солнце для него то же, что паровая лучина, освещающая его скудный ужин.

---

[1] Курган, насыпанный холм.
[2] Почти то же, что Русалка.
[3] Коровам.— *А. Б.*

На луну смотрит он как на ясную лысину сельского Тиуна.

А на звездное небо он никогда не смотрит, потому что с захождением солнца кончаются его ежедневные жизненные заботы, и он спит крепко, спокойно, тогда как сердце или страсти заставляют других считать звезды, вопрошать их о судьбе своей и бледнеть как луна от страха и неудач.

Не участвуя ни в чем, что происходит между односельцами и соотчичами, не разделяя ни с кем ни печалей, ни радостей, ни страха, ни надежды, Мина не ведает, что́ круго́м его происходит.

Рожденный между язычниками, поклонявшийся Пану, он не приметил даже и того, как в селе стали поклоняться истинному Богу, а кланяться Паном.

Вот однажды, раным-рано, пастух Мина засел на высокую, любимую могилу и стал пробовать свой новый рожок.

Налюбовавшись наружностью его, чисто обтянутою берестяными ленточками, он должным порядком продувает его и, отделив по три пальца с правой и с левой руки, накладывает их на продушины и играет любимую свою песню.

Далеко раздается рожок и слова. Днепровская Вила прислушивается:

I

Ох да гой-есте вы, добрые-ста люди!
Не знавали-ль-ста вы пастуха *Неволю*?
Ась? что? не тово?
Туру-ру, туру-ру!.. пастуха Неволю?

II

Стережет-ста, бережет свою скотину,
Выгоняет ее в поле на покормку.
Ась? что? не тово?
Туру-ру, туру-ру, в поле на покормку.

III

Без нево-ста разбрелось бы стадо
По лесу, по степи, по трясине.

Ась? что? не тово?
Туру-ру, туру-ру, по трясине.

IV

Уж как бросится хозяин-ста за стадом,
А у стада обглоданы кости!
Ась? что? не тово?
Туру-ру, туру-ру, обглоданы кости!

«О го-го-го-го!» — раздалось вдруг за спиною пастуха. Он оглянулся. Два всадника неслись по дороге во весь опор. Испуганное стадо разметалось в стороны.

Мина еще в младенчестве слыхал Сказку от старого пастуха Урила про древнего пастуха Мокоша.

А у того чудного пастуха Мокоша была жена Яга, и были у них двое детей, сильных и могучих богатырей, и были те богатыри, *Сила* да *Ледь,* под трубами повиты, под шлемом взлелеяны, концом копья вскормлены.

На них-то походили во всем скакавшие два всадника.

Не успел еще пастух Мина разглядеть их надлежащим образом, вдруг старшóй из них наскочил на него, приставил к груди его копье булатное и заревел громким богатырским голосом:

— У у у у у!

— Помилуй, государь богатырь! — возопил Мина, упав на колени пред неизвестным храбрым и могучим богатырем.

— Помилуй его, государь Ива Олелькович! Се Мина, пастырь Боярской говяды,— проговорил приспешник богатырский.

— Ой? — произнес богатырь, умерив свой гнев, и пустился во весь опор по дороге. За ним поскакал и оруженосец.

— Злобесный волк! абы возложить ти на главу шелом берестень с еловцы[1] мочальны! — сказал Мина, смотря вслед за ними.

После сего обстоятельства жизнь пастуха Мины приняла опять обыкновенное свое течение, ничем не нарушаемое.

[1] Султан, флажок на русском остроконечном шлеме.— *А. Б.*

II

Обратимся же к тому любопытному времени, над которым вымысел тешится как ему угодно: рядит его в пеструю одежду, в кожух, в *саадак*, в доспехи, в латы, нахлобучивает на голову ему красный колпак и шапку железную, осыпает его золотом, серебром, жемчугом, цветными, честными, самоцветными камнями и унизывает бисером, сажает его на *комоня*, или на коня, вооружает сулицами, мечами, *колантырями*[1], *кордами, бойданами*, секирами, саблями, *шерепширами*[2], стрелами, дубинами, булавами, палицами, кистенями и т. д., и всем, всем железным, кованым, каленым, булатным, *харалужным*.

Предание есть свиток писания, истлевший от времени, разорванный на части, выброшенный невежеством из того высокого терема, в котором пирует настоящее поколение, и разнесенный ветрами по целому миру.

Соберите эти клочки истинны, сложите их, доберитесь до смысла, составьте что-нибудь целое, понятное... Друзья мои! это мозаическая работа, это новое здание из развалин прошедшего, но не прошедшее.

Вот вам груды камней, рассыпанных по пространству, некогда составляли они великий храм, диво разума и силы человеческой, снесите их, сложите, узнайте: который был подножием и который был кровом, оградой?..

Вы откажетесь от этой работы, вы скажете: лучше создать из этих остатков что-нибудь подобное бывшему храму, а не губить время на тщетные догадки, на напрасные изыскания, на вечные исследования.

Однако же, милые читатели, я пишу с тем, чтоб вы верили словам моим Нелегко отыскать прошедшее в настоящем, но я нашел его и имею на то убедительные доказательства

---

[1] Безрукавный панцирь из металлических дощечек, упоминается в «Повести о Мамаевом побоище» «Русские удальцы доспехи имеют велми тверды, злаченые колантыри» *А Б*

[2] Перечисляя виды древнерусского вооружения, Вельтман называет и *шереширы*, упомянутые в качестве аллегории в «Слове о полку Игореве» «Ты бо можеши по суху живыми шереширы стреляти, удалыми сыны Глебовы» Значение этого слова до сих пор не расшифровано исследователями *А Б*

Недавно еще видели вы прелестную Мильцу на правом береге реки Дана-Стры, приходящую в чувства в объятиях Младеня.

Теперь она не в том уже положении.

Мильца сидит подле красного оконца в своем тереме. Она уже на левом берегу реки Дана-Стры.

Как ластовка рано шепчущая, поет она про себя что-то печальное.

Верно, время было худой *лечец* ее горю.

На руках у нее дитя. Она баюкает, лелеет его, нежит, смотрит, влюбляется в него.

Как ластовка рано шепчущая, напевает она печальную песню:

Уродилось в отца мое милое чадо!
Уродилось в сердечного, слюбного друга!
Будь же ты ему, чадо, во всем и подобно:
Он так красен собою, он силен, бесстрашен.
Будь подобно красой и душой, да не сердцем
В буйной груди его перелетная пташка.
Для чего тебе сердце без веры и правды?
Я отдам тебе сердце, материнское сердце,
Твой отец это сердце забыл и покинул!

— Хэ! Радовановна! — раздалось во дворе.

Мильца вздрогнула.

— Приехал! — произнесла она со вздохом.

— Радовановна! — повторил тот же голос.

— Расступися, сыра земля! повидь дива!

Непроходимый ловец Савва Ивич вошел в светлицу, за ним ввалили *смурогая Иглица* и *ищейный, полазчивый Луч;* а ловчий и доезжие втащили огромного волка.

— Видь, Мильца! серый, босой волк! усел в *тайник.* долбень в голову! — а Иглица так в ухо и вцепилась! Иглица! идь сюда, идь в *закуту*![1]

Должно сказать, хоть между прочим, что Ива Иворович, отец Саввы Ивича, как говорит предание, *тоя же яры, про межу говенья, в Пяток, в заутреннюю годину, в старости*

---

[1] Закута псарная жилье охотничьих собак

честне и глубоце, преставися с миром, увечав сыновче своему, единородному Савве Ивичу, душу блюсти, а жене его Мильце Радовановне тружатися рукоделием.

По завещанию Савва Ивич блюл душу свою на полеванье и в псарной закуте; а Мильца тружалась рукодельем или, сидя подле оконца с младенцем, пела, проливала слезы и смотрела на вьющуюся из села дорогу на гору, как будто кого-то ожидая.

Между тем как Савва Ивич показывал Мильце босого, затравленного им волка и отправился в закуту...

Вдруг послышался во дворе звук рога, возвещавшего приезд гостя.

Мильца торопливо выкинула голову из оконца, громко вскрикнула, бросилась к дверям... и гость был уже в ее объятьях.

По лицу ее разлился румянец, очи, как небо ясные, закрылись; по ее белой шее покатились витые, как перстни, кудри.

— Мильца!

— Младень!

— Крепко, крепко, Мильца! под сердцем у меня бьет кровавый ключ!.. жми меня, крепко!

— Младень! Смотри, смотри! — вскричала очувствовавшаяся Мильца и повела Младеня к подушке, на которой лежал младенец.

Младень, шатаясь, подошел к младенцу, взял на руки... но кровь хлынула из груди Младеня, он зашатался, положил ребенка на ложе, схватил опять Мильцу в объятия, прижал ее к сердцу.

— Мильца, Мильца!.. крепче!.. бьет кровавый ключ из сердца моего!.. Она не любит меня!.. не любит; не люблю и я ее!.. Смотри, Мильца, как ядовитая Зоя, Грекиня, ужалила меня своим железом, да не спасла себя, злая Грекиня, ножом от сердца огненного, от уст распаленных!.. Кровью за кровь!.. отмстил я... и бросил в Дана-Стры!.. Пусть обмоет в реке окровавленную, белую ризу!.. Мильца!.. Любишь ли ты еще меня?.. Я с тобой хочу умереть!..

Руки беспамятной Мильцы замерли, обвившись около Младеня.

— Мильца! ты любишь меня! — вскричал Младень.

Мильца не отвечала.

Кровь из раны Младеня струилась потоком. «Мильца!» — повторил он, сжав ее в объятьях; «Мильца!» — повторил еще слабым голосом и рухнулся с нею мертвый на землю.

— Гость? — раздался голос Саввы Ивича.— Милости прошаем!

Савва Ивич вошел в светлицу.

Видит поток крови, видит Мильцу, видит гостя; никто не отвечает на его вопросы, ни Мильца, ни гость, только вопль младенца, скатившегося с изголовья на ложе, зво́нок и жалок.

Ищейный пес лижет теплую кровь.

III

Новый предок Барича, героя повести, как говорит Летописец, родился в самое неблагодарное время для повествования. Время чародеев, ворожей, вещунов, звездочетов и кудесников рушилось с проявлением святой веры. А время богатырей и витязей также прошло в вечность с появлением Татар. Последние: Александр Попович и слуга его Тороп, Добрыня Рязаныч Златой Пояс и семьдесять других богатырей утонули в истоке кровавой реки, потопившей всю Русскую землю[1], но это не помешает пройти нам чрез тьму, которая лежала над тем пространством, где была колыбель наших добрых праотцев Скифов.

Все возобновится!

В начале XIV столетия Русь не только бедствовала под игом злобных *Тохар*[2], как говорит Летописец, но и была омрачена облаком Еллинской мудрости. Едва только посаженное древо веры начинало увядать.

Презрение, оказываемое Татарами к обрядам св⟨ятой⟩ веры, уничтожало уважение к оным и в самих Христианах. Различные толкования Священного Писания раздробили единство Церкви, явились ереси, явились совершенные вероотступничества, явились новые поклонники идолов. Одни только церковные праздники соблюдались, ибо они давали право на бездействие; но празднества и игрища приняли снова вид времен языческих.

[1] Вельтман использует сведения «Повести о битве на Калке, и о князьях русских, и о семидесяти богатырях» из Тверской летописи.— *А. Б.*

[2] Татары.

Священники не знали над собой никакой власти; они торговали обрядами веры; крестины отлагались до свободного иерейского часа; церковные обряды свадьбы также отлагались; жених и невеста, довольствуясь согласием отца и матери, вступали в брачный союз, и очень часто иерею случалось в один и тот же день венчать жениха и невесту и крестить у них сына или дочь; одни только покойники, не дожидаясь иерейского отпущения на тот свет, отправлялись в землю без благословения, сопровождаемые только воплями и рыданием родных и наемных плакуш. Съедаемая на могиле кутья и распиваемая Ракия[1] были часто единственным обрядом погребения.

Но обратимся к нашей повести.

Уже месяц был на закате, а *звезда денница* на востоке — Савва Ивич не собирается на ловлю. Это худой знак; и очень худой, если читатель помнит, что, возвратившись с *лова*, он нашел Мильцу испустившую дыхание в объятиях Младеня Черногорского, плавающего в крови, а безвременный плод своего союза и любви к Мильце испускающим звонкий плач.

Савва ударился в слезы — и весь двор его плакал; потому что сроду никто не видал такой доброй боярыни, какова была Мильца: она никого не жаловала недобрым словом; при ней было вдоволь и хлеба и соли, а по праздникам пирогов с липником и с маком. Она часто плакала и плакалась за других, а нищим и *небогим* подавала милостыню, а детям давала сладких ковриг, а болящим доброе зелье; при ней все пело веселые песни и плясало под бубны, рожки и сопелки.

Савва Ивич, очнувшись от горя, вспомнил, что Мильцу и Младеня должно предать земле; он послал в *Зимницкий погост* за иереем; но иерей праздновал Пасху и до Троицына дня положил никого не хоронить. Что́ было делать? *Спеленали*[2] тела Младеня и Мильцы, уложили в дубовые *корсты*[3], отнесли на могилу, совершили тризну брашною и вином и тем кончили обряд погребения.

[1] Вино из плодов и хлеба.

[2] И древние Славяне имели обыкновение пеленать покойников, как младенцев, что и ныне сохранилось еще между раскольниками.

[3] Гробница, рака.

IV

Под надзором не отца, но дряхлой Иловны, Лавр рос не по годам, по часам. Он пошел не в отца. Когда русые волосы Саввы Ивича уже поседели и он, отягченный летами, покинул уже ловлю, перевел собак из закуты в свою светлицу — у Лавра вились уже на плечах черные как смоль кудри, в очах светилось удальство, в сердце шумела буря юношеских страстей, в голове толпились желания, в душе жажда воли и славы.

Он любил старую Иловну; она одна заботилась об нем, ибо отец его заботился только о своих собаках. Но Иловна была не *векожизна*[1], она отдала богу душу.

После смерти её Лавра ничто уже не приковывало к дому.

Узнав, что все Князья Русские идут войною в горы Черкасские по Ханской воле на Ясов и Оуланов[2], Лавр сдружился с Мирзой *Якши*, Темником Понизовской земли, отправляющимся в *Аш-Тарханы*, где было сборное место Князей. Зная, что отец не согласится на отъезд его, он скрылся тайно из отцовского дома и пустился с Татарином по реке Бугу, от Буга большим окопом[3] чрез степи, заселенные Ордами Татарскими, и чрез реки: *Куфис, Алматай, Сингуль, Данапр* и проч. вплоть до *Саркела* на *Танаше*[4], и потом степью же до *Аш-Тарханы.*

Стан Князей Русских был расположен между рекою Атель и Ахтубой.

Лавр поклонился Князьям: Великому Князю Димитрию, Андрею Александровичу Городецкому, Князю Ростовскому, Князю Ярославскому и Князю Глебу Белозерскому, потом явился к Хану Мангу-Тимуру, ибо желал служить вольным воином.

В Просинец[5] войско Татар и Русских двинулось от Ателя к Терку, прошло реку Соану, перешло Терк и обложило город Тиауко, близ ворот железных, в городах Ясских и Черкасских.

---

[1] Векожизный вечный. *(Прим. Вельтмана.)* По-видимому, слово составлено Вельтманом. *А Б*

[2] Аланов

[3] Валом

[4] Танаисе

[5] Январе

Когда уже Тиауко был взят, Аланы и Ясы покорились снова игу Татарскому.

Лавр невзлюбил губительной войны, размышляя, что под игом Татар есть только одна слава: свергнуть иго их — он отстал от рати, переходившей Аланскую землю, и ехал задумчиво боком юдоли. Конь его, управляемый собственною волею, забрел в ущелья и вывез Лавра на поляну, окруженную роскошной природой; Лавр очнулся, увидев хижину, подле которой сидел на толстом пне дерева старец в волосяной одежде — и плакал как младенец.

Жалко стало Лавру старика; он спросил его о причине горя.

— Здесь стояло великое древо! — отвечал старик наречием, похожим на Русское.— Насадил его дед мой, тому назад двести лет; под тенью его часто сидел отец мой, жена и дочь моя; к нему сходились соседи плясать и петь песни; под ним привык отдыхать и я; оно было лучше людей: оно не требовало платы за тень свою!.. Оно было памятником, осенявшим могилу любимых мною... Пришли враги и срубили мое дерево!

Плачевный голос старика был звучен.

С испугом выбежала из хижины девушка в белом *карсите*[1], с повязкою, усеянной серебряными кружка́ми. Она бросилась к старцу, обняла его, что-то сказала ему нежно и обратила смущенный, недоверчивый взгляд на Лавра.

— Добрый старик! — вскричал Лавр.— Я заменю тебе твое любимое древо, я осеню твою старость!

Старик посмотрел с сожалением на Лавра.

— Внимай, юный брат, словам времени! — сказал он.— Если б рука моя опиралась на костыль, а не на это доброе существо, ты не давал бы необдуманного обета, ты не с той волею шел к нам, чтоб поселиться здесь. Есть у нас довольствие и мир, но у нас нет славы, которую вы ищете. Иди же, юноша, вперед, но не забудь, что есть две славы: есть слава, сеющая благо, насаждающая на земле древо мира, и другая, ложное солнце, изливающее не благодетельный свет, а жадный пламень. Иди, юноша, далее! Зачем хочешь ты обратить дочь мою в преграду, остановившую добрый порыв твой? Иди под кровом неба!

— Не отгоняй меня от себя, добрый старец! — вскричал

[1] Род туники, женская Татарская одежда.

Лавр.— Я проклял уже ту славу, у которой в руках только меч и огнь, а для всякой другой славы дочь твоя не преграда. Край ваш разорен, кроме неба и земли, в нем ничего не осталось, я поведу тебя на свою родину.

— Кроме неба и земли? — сказал старец.— Что ж нужно более для человека? Или не с кем бы было беседовать ему в уединении? Или не на что смотреть ему и нечему дивиться? А светила небесные? А голос всей природы, к которому так внимательно доброе сердце?.. А песни птиц, которые трогают, веселят, но не печалят души, как люди, своими жалобными звуками?.. А жаркие объятия солнца, а ласки прохлады, а труд, доставляющий сладость отдохновения?..

— Дивны слова твои, старец; я хочу остаться с тобою! Между тобой и дочерью твоею я буду жить как между небом и землею.

— Ты один в мире или есть на земле человек, которого ты можешь назвать отцом?

— Отец?.. есть.

— Благословил ли он твою волю?

— Волю?.. Нет, он говорил, что у сына нет воли.

— Ты один у отца своего или есть и другие, которые имеют право на его ласки и попечения?

Лавр задумался.

— Ласки и попечения? — сказал он наконец.— Меня ласкал не отец, а старая добрая женщина, рабыня моего отца... Но она уже умерла.

Старик в свою очередь задумался.

— И ты хочешь непременно остаться здесь?

— Хочу, я ни от кого не слыхал таких речей, как от тебя, никого не видел лучше твоей дочери!.. Говорят: если кого полюбишь, без того нельзя жить, тот есть лучший друг в свете.

— Если не обманываешься ни в себе, ни в нем,— прибавил старик.

Лавр сел подле старика; солнце разожгло железный шлем его; он отер пот с лица и вздохнул.

Когда девушка взглянула ему в лицо, услышала вздох его, увидела, что он дружески сел подле отца ее, она вспыхнула радостью; недоверчивость и боязнь исчезли с лица ее; она кинулась быстро в хижину, вынесла оттуда сладкое питье, сделанное из сока плодов, и поднесла гостю.

Старик всматривался в лицо Лавра.

— Если ты волен оставаться с нами,— сказал он наконец,— то оставайся, ты так похож на дочь мою, увезенную *юнаком* Черногорским... Твой голос и твои очи будут припоминать мне то время, когда еще была у меня Зорана, и сын и дочь, которых похитили у меня смерть, меч и люди. Была мне память по них дедовское дерево... и то сгубили! Одна *Стáно* осталась мне утешение! — *Старик залился слезами* и обнял девушку.

Из очей Лавра также покатились слезы.

Опечаленная *Стáно* видела их.

Лавр остался у старика.

С каким радостным чувством встречал он и утро и Стáно!

— Лáур,— сказал однажды старик,— ты любишь внуку мою, и Стáно любит тебя, я отдам ее тебе... будешь ли ты беречь ее, как свою голову?

Лавр приложил руку к сердцу и к челу своему.

Старик призвал Стáно, сложил руки юноши и девы, накрыл их головы полой своей одежды и обвел вкруг пня любимого своего дерева.

— Пройдите так весь круг жизни; да будет вам простор и на земле, и в одной могиле!

Для каждого понятна эта минута слияния двух жизней, двух душ в одну жизнь, в одну душу!

Проходят годы.

Лавр печален; часто Лавра нет дома; он уходит в горы. После долгих ожиданий Стáно ищет его и видит, что он сидит на вершине горы и глядит в ту сторону, где садится солнце. Даль необозрима.

— О чем твое горе? — спрашивает Стáно Лавра.

Он не отвечает.

— О чем твое горе? — повторяет она со слезами.

Лавр не отвечает.

— О чем твое горе?.. Лавр! — молится Стáно печальному Лавру.

— Не ведаю,— отвечает он.— Мне все постыло, не разлюбил я тебя, не разлюбил я отца твоего; но что-то манит меня туда... Когда взойду на эту высокую гору, меня так и тянет броситься с нее в реку, которая течет в Дон... Я бы взял тебя и отца твоего на плечи свои и бегом, стрелою пус-

тился бы вон по тому пути, который теперь порос густой травою!

Ста́но заплакала.

— Иди домой, скажи это дедушке,— произнесла она сквозь слезы и повлекла Лавра за собою.

— Отец мой! — вскричала она еще издали, подходя к деду своему.— Слушай, что говорит Лавр; ему грустно, горько в наших краях!

— Знаю,— сказал старик, посадив Лавра подле себя.— И птица помнит небо, под которым оставила скорлупу, и она летит вить гнездо свое там же, где была вскормлена и вспоена отцом и матерью... Иди, Лавр, на родину! Возьми и свою Ста́но: без тебя ей не жить; а мне недолго смотреть на день; я и без вас прилягу головой к этому пню и усну крепко.

— Нет, отец! — сказал Лавр.— Не пойду! Не шути над моей душой!.. Ты мне дал Ста́но... да я не отниму ее у тебя!.. я останусь с тобой!

— Иди, Лавр, здесь нет для тебя спасенья от злой болезни, только родной воздух излечит тебя. Иди, не губи ни себя, ни Ста́но. Ты не видишь побледневшего лица своего и потухших очей; а я вижу их, и Ста́но видит их.

— Не иду, отец!

— Лавр, и я пойду с тобой; я хочу еще раз взглянуть на светлый мир.

Очи Лавра вспыхнули; он, казалось, ожил.

— Ты хочешь идти на мою родину?.. Она далеко! — произнес он опять печальным голосом.— Нет! мы останемся здесь!

— Лавр! за этой горой есть река: сруби на ней *насад*[1]; когда будет готов, ты и Ста́но посо́бите мне перейти гору; там сядем мы в *насад* и поедем вниз по реке до Дона, а там до моря и в твою землю.

Лавр обнял отца и Ста́но.

Чрез несколько дней *насад* был готов и наполнен припасами.

Старик упал подле дуба на колени, взглянул на небо и залился слезами.

— Прости, юдоль счастливая, моя родная юдоль! прости, прах отцов и друзей моих!

— Нет, отец, мы не пойдем отсюда! — вскричал Лавр,

[1] Древнерусское речное и мореходное судно.— *А. Б.*

тронутый слезами старика.— Я не разлучу тебя с родной землею!

— Идем,— сказал старик решительно, облокотясь на Лавра и Стáно,— не бойся, я не умру на чужой земле. Лавр! помоги мне идти.

Старик пошел; Лавр должен был исполнять волю его.

Они перешли чрез гору молча; спустились с утеса. Приблизились к насаду.

— Постойте, дети,— сказал старик, припав на колени и облобызав землю.— Лавр, возьми с собой моей родной земли, насыпь у кормы.

Лавр исполнил желание его, наносил в ладью земли. Старик, довольный, сел на насыпь. Стáно села подле него; Лавр отчалил от берега, и по течению реки ладья потекла догонять волны, которые стремились в *Тана*[1]. Река извивалась между крутыми берегами в горах Аланской земли.

— Уж во второй раз еду я по этой реке,— сказал старик.— С купцом Венедским Эсафатом ездил я рекою *Тана,* в озеро *Азак,* потом чрез *гирло Таманское* в море *Туманное,* что Греки зовут *Понт-Киммерион,* а Татары *Олу-Денгис,* то есть великое море. Был я и на твоей родине, Лавр; знаю я дорогу на Запад. Прежние отцы мои жили на берегах Дуная, прославленных Царем *Аттилою,* прадед мой *Славий,* роду Гунского, ходил к Латынскому Воеводе Вельзару с Славянами да Антами на помощь против народов, живущих на полночь.

Так рассказывал старик Лавру повесть старых времен.

Чрез несколько дней открылись, в синеве, берега *реки Тана* и потом Греческий город *Танаис,* при устье реки. От сего города пустились они восточным берегом озера Азака, или Меотического, который усеян был Торговыми Вежами Греков.

При входе в *гирло Таманское* открылся им город Синда, а вскоре и Таматархан[2], покоренный Мстиславом, которому за *удальство* отец не дал наследства на Руси и сказал: *«Ты удатный, даю я тебе рать в наследство, иди в Тмутаракань, отними Русское Княжество у Ясов и княжи там!»*

Потом ехали они близ берегов Хазарии, коею овладели Венециане. Минули богатую Кафу, Алушту, дивились на гору *Шатер*[3], проехали Греческие города: Херонез и Помпею. Ког-

---

[1] Дон.
[2] Настоящее название Тмутаракани.
[3] Чадырь.

да же приблизились они к большому заливу и *Тендре,* назван ной Греками *Ахиллесово поприще,* старик сказал: «Здесь отдалимся от берега, здесь в *отоке*[1], называемом *Озу-Кыры,* то есть *Язское поле,* живут еще до сего времени разбойники *Печенеги*».

Вскоре приехали они к *Лиману Дана-Стры,* вступили в оный и приблизились к *Монкастру*[2], *Венецейскому* купеческому городу, и потом пустились Лиманом вверх по течению реки, проехали город *Паланку*[3], находившийся при впадении в Лиман Дана-Стры и принадлежавший Генуезцам. Выше города Паланки роскошные берега Дана-Стры были уже во владении Татар. Старик знал Татарский язык, а маститая старость была верной порукой за спокойный проезд повсюду. С трудом рассекая быстрые волны, они проехали под каменными стенами *Тигина*[4], принадлежавшего Хану *Орды Буджаксой,* имевшему свое местопребывание в одном переезде от Вежи Тигинской, в городе *Каушане*[5]. Выше Тигина жило поколение *Бассаринов,* выходцев из земли *Румынской,* говоривших испорченным *Славянским* наречием. Проехав мимо многих селений и мимо бойниц *Олхионии, Ушицы*[6] и еще одного разоренного города, Лавр заметил издали знакомый ему берег реки Дана-Стры, лежащий против отцов ского селения Студеницы. Сердце его забилось от радости. Нетерпеливо возмутил он реку веслами. Четыре раза луна обновилась на небе со времени отъезда их из Аланской земли; наконец *насад* ударился о родной берег.

— Стáно, вот моя родина, вот дом мой! посмотри на будущий счастливый приют наш!

Лавр обнял Стáно, выскочил из *насада,* подбежал к дому. Незнакомые люди встретили его.

— Где отец мой? — вскричал он.

Толпа дворовых людей окружила его и, удивляясь стран-

---

[1] Мыс.

[2] Гор⟨од⟩ Аккерман, при Лимане Днестровском, в Бессарабии; название, данное Генуэзцами.

[3] Бывшая Генуэзская крепосца, в Бессарабии, близ Лимана Днестровского.

[4] Ныне Бендеры.

[5] Древняя столица Татар, живших в Бессарабии.

[6] Смотри Нестора. Кенигс⟨бергский⟩ сп⟨исок⟩, 197 стр. *(Прим. Вельтмана.)*

То есть об этих крепостях сообщает «Повесть временных лет».— *А. Б.*

ной одежде Лавра, сшитой из звериных кож, вдруг захохотала.

— Твой о́йтец, сынку? — отвечали ему в один голос несколько человек.— Твой о́йтец? Дал-Буг не веми... про то твоя ма́йка знает. Ты, чуем, ло́вец блудный?

— Мой отец Боярин отчины, Савва Ивич Пута-Зарев,— сказал гордо Лавр.

Толпа еще громче захохотала.

— Дал-Буг не веми! оже чварты рок сидит здесь Пан Погорнин Вельмужный!

Лавр всплеснул руками от ужаса.

— Друзья! — вскричал он.— Скажите, где отец мой? Прекрасная наружность и печаль, изобразившаяся на его челе, тронули всех. Один старик подошел к нему и сказал:

— В сей дедине юж нима твоего о́йтца, Русский Князь Лев, с Галича, побит Крулем Лешкою з Кракова, и ся зе́ме юж нале́же до Круле́вства и Па́нства. А тутешни господа́ржи поздвиже-се до Киева-града.

Слезы хлынули из глаз юноши, он воротился к ладье своей медленными шагами.

— Отец! Ста́но! — произнес он.— Я обманул вас, погубил вас, нам нет здесь приюта! Здесь нет моего отца!

— Он умер? — спросил старик, глубоко вздохнув.

— Нет, Ляхи овладели землею, все удалились отсюда бог ведает куда, говорят, к Киеву!

Ста́но обняла Лавра, отерла слезы его, но слезы катились и из ее глаз.

— Дети,— сказал старик,— не печальтесь, кто живет под небом, у того есть надежный кров!.. Солнце уже село, дети... ему уже не встать с запада... так и жизнь!.. Завтра, Лавр, ты пойдешь с своею Ста́но в родную землю, не оставаться же вам в чужой земле... моя со мною!..

А ты, отец мой? — вскричала Ста́но.

Я? — отвечал старец.— Мне пора отдохнуть!.. Дети, когда я усну, постелите мне ложе вот под этим деревом, на холме, оденьте меня этим покровом..

Старик показал на землю, насыпанную в *насаде*

Отец мой! – вскричала Ста́но, убитая горестным чувством.– Что говоришь ты?

У Лавра из очей брызнули слезы

— Солнце за горою, пора спокоиться, дети пусти, Ста́но... дай мне прочитать молитву на сон грядущий

Старик обратился к востоку, стал на колени и про себя читал молитву: он просил у бога сна... вечного.

Кончив моление, он благословил Лавра и Стáно и прилег на землю, настланную на *насаде*.

Лавр преклонил голову на руку; Стáно преклонила голову свою на грудь Лавра и молчали — лаская усыпление старца. Долго сон бежал от них; но утомленные от слез очи смежились... и утреннее солнце осветило их сонных.

Наутро Лавр очнулся, вслед за ним очнулась и Стáно. Старик спал еще, против обыкновения. В первый раз еще не встретил он восхода солнечного и не помолился. В первый раз не отвечал он благословением на утренний поцелуй Стáно, в первый раз сердце его было холодно ко всему!

V

На левой стороне реки Дана-Стры, близ Студеницы, на скате берега, есть холм, на этом холме Стáно на коленях склонила голову на насыпь свежей земли и обливала ее слезами.

Над ней стоял Лавр, как обессилевший старец, опустив руки и голову.

Казалось, что Стáно и Лавр окаменели в этом положении.

На правом берегу реки Дана-Пры, близ *Вольного-Прага,* на скате, есть высокая могила. На этой могиле стоял иссеченный из дикого камня крест; облокотясь на этот крест, стоял Лавр, один, мрачный, бледный; сердце его было полно слез, очи сухи.

Настал 1320 год. В Галиче сидел на престоле Князь Андрей Юрьевич, во Владимире Волынском Лев, брат его. В Киеве, совершенно разоренном набегами Татар и зависевшем от Князя Галицкого, властвовал Станислав.

Русские князья, бывши в зависимости от Татар, сносили иго их терпеливо; но не равнодушно смотрели на замыслы и на распространявшееся могущество Гедимина Литовского. Во время войны его с Немцами Русские Князья, Андрей и Лев, напали на области Литовские, опустошили берега Ви-

лии. Но Гедимин отмстил; помощь Татарская не помогла. Владимир и Луцк взяты. Позднее время остановило Гедимина. На следующий год он приблизился к Киеву, и Станислав, не участвовавший в восстании Льва и Андрея и подкрепляемый единственно Татарами, вздумал обороняться; но, бессильный, он принужден был бежать и предать Киев Литовцам.

Во время сей войны, несчастной по несогласиям Князей Русских для Южной России, Лавр служил под знаменами Князя Льва Владимирского.

Искупив Княжество свое почти порабощением Гедимину, Лев умер в 1324 году, оставив наследником сына своего, мудрого *Георгия,* под власть коего поступило и Княжение Галицкое, после дяди его, Князя Андрея Юрьевича, и область Киевская. Он был последнею отраслью власти Русской над Южною Россиею. С ним кончилась и повесть о славе ее.

Устарелый Лавр в награду за службу свою одарен был от Георгия богатою отчиной на берегах Днепра. *Погост Облазна* с деревнями заменил ему наследственную Днестровскую отчину.

На шестидесятом году от роду, невзлюбив одиночества и желая иметь наследника, Лавр обрек себя в стражи непорочности прекрасной пятнадцатилетней девушки. Принятый им на себя труд вознаградился в скором времени рождением сына Олеля Лавровича.

Олелю Лавровичу было уже двадцать пять лет от роду, когда дряхлый отец его, желая купить чресполосную землю у соседа, никак не сходился с ним в цене и потому женил своего сына на соседской дочери Мине Ольговне с тем, чтоб кусок чресполосной земли поступил в приданое.

После сего важного приобретения Лавр успокоился, а у Олеля Лавровича родился через три года сын Ива Олелькович, названный Ивою в память своего прапрадеда Ивы, совершившего в 40 лет хождение во Иерусалим.

Этот-то Ива Олелькович *есть тот* барич, о котором мы ведем речь; *он-то тот* Русский витязь и сильный могучий богатырь, которого подвиги до сего времени гибли в безвестности.

VI

Итак, читатель, верно, помнит, как наш барич Ива Олелькович ехал по селу *Облазне* верхом на крестьянине Юрке с сукроем медовика в одной руке, с вожжами и бичом в другой.

Все село дивилось ему и кланялось; деревенские ребятишки высыпали на улицу и в подражанье баричу также взнуздывали и седлали друг друга; работники забывали свои костыги, топоры, жигала, струги, скобели; женщины бросали сечки, ухваты, сковороды и горшки; красные девушки свои веретены и прялки; старики и старухи оставляли обыкновенный свой приют: печь, палати и голбец[1]; все торопились смотреть на барича; кокошники и гладенькие головки красных девушек то высовывались, то прятались в волоковых окнах[2], смотря по приближению и отдалению предмета их любопытства и страха.

Для всех весел был поезд Ивы, кроме отцов и матерей коня Юрки и колесницы Ионки: склонив свои головы на ладонь, они стояли пригорюнясь и сквозь слезы голосили:

Ох ты, наш батюшка, наше детище!
Наше детище Юрка Янович!
Ох недаром ты, словно резвый конь, вскинул голову!
Бьешь копытами о сыру землю!
Загоняет тебя, позамучает лихой барчинок!
Вот уж три конца дал по улице,
Надорвет тебя, перебьет крестец:
Ох ты, батюшка, наш родной сынок!

Читатели не удивятся подобными материнскими чувствами, если узнают, что Ива имел все свойства древних богатырей. Он недаром слышал от Лазаря-конюха сказку про богатыря Усму, который одним ударом палицы губил по сту тысяч душ, ломал руки и ноги всем, кто с ним в бой вступал, бил наповал встречных и поперечных.

Ива был грозным подражателем богатыря Усмы. От него никому не было прохода; с словами: «О о о о о! нечистого духа слыхом не слыхать, видом не видать, вдруг нечистый дух проявился на родной Руси!» — Ива внезапно наскакивал из-

---

[1] Деревянная лежанка перед печью, под ним (голбцом) лестница для прохода в *подполье*.

[2] Рубленные в бревнах окна под потолком, заволакивавшиеся деревянными заслонками,— в отличие от *красных, косящатых* окон с бычьим пузырем, слюдой или стеклом,— *А. Б.*

за угла на прохожих слуг, на челядь и поселян, на телят, на гусей, на свиней, на овец и, по его выражению, гвоздил здоровым кулаком.

Не было суда на Иву, родная его матушка восставала против жалобников словами: «Позабавиться детищу нельзя! Великое горе — желвак под глазом! Лихая беда — нога свихнулась!..»

Таким образом проходил день за днем, а Ива час от часу становился заносчивее, задорнее, сильнее, вольнее, смелее. Последнюю материнскую власть над собою он сбросил реши тельностью своею - идти за тридевять земель, в тридесятое царство, искать себе жену Царевну, у которой во лбу светлый месяц, в косе вплетены ясные звезды, вместо глаз многоцветные камни, на ланитах румяная заря, у которой тело как пух лебединый, душа жемчужная, в жилках переливается разноцветный бисер, а одежда вся из золота. Напрасно уверяла его родительница, что это небылица в лицах; пестуну своему Тиру, и конюху Лазарю-сказочнику, и мамке Иловне верил он больше всех; а они сказали ему, что это *правда крещеная.*

С трудом удержала матушка стремление его к подвигам богатырским и к славе обещанием не мешать ему вести жизнь богатырскую хоть в своем родном селении. С этих пор Ива стал для всего села как немилость божия: кого за руку — руку выломит, кого за ногу — ногу вывернет, кого за голову — голова на сторону, и стало все село сухоруких, хромоногих, кривошеих думу думать и решили: поведать горе своему честному отцу иерею мниху Симону Афонских гор и просить у него молитвы, помощи и совета: как сбыть с себя лихую беду неминучую.

Несут они ему на поклон бочку пива ячного, *стопу* меду, 3 меры жита, десять без двух калачей, два *погача* на маковом масле, без двух два девяносто *долгей,* гонят к нему яловицу, двух овнов, тащат пшена 5 *уборков,* соли 5 *голжажн,* 2 ведра солоду, 2 *полоти*[1]

Честный иерей Симон благословил прихожан своих, принял поклоны, выслушал речи их, погладил себе бороду и задумался. Трудно было ему давать совет против сельского Боярина, на чьей земле он сам жил и за кого бога молил,

[1] Кусок, пласт мяса, слово «полоть» встречается уже в Русской Правде *А Б*

хотя событие было в то время, когда еще *правда утверждала мир, а разлюбье на сторону отвергала* и когда установила она платить *за увечье по 5 гривен серебра пенязями, за вышибенный зуб 3 гривны, за удар палицею, батогом или чем попало полгривны,* а иногда и пол-полгривны, *за рубеж*[1] *пол-полгривны; а еще будут битися межи собою меци или сулицами, Князю то ненадобе и правят сами по своему суду.*

Но надумался наконец честный иерей мних Симон из Афонских гор.

— Идите с богом в сени свои,— сказал он им,— молитесь святым угодникам за святую Русь, за всех православных крестьян, за Боярыню свою и за барича Иву Олельковича, да внушит ему господь бог благий разум, кротость душевную и сердолюбие, а я помолюсь за вас, наложу на себя эпитимию, уйму наваждение бесовской силы на родного сына госпожи нашея.

Селяне ушли в надежде на бога и на честного иерея мниха Симона; а Симон призадумался.

Это все происходило в то время, когда *Восточной Агарянской страны безбожный Царь именем Мамай, Еллин родом, верою Идолжец, начал быти палим дьяволом, ратовать на Христианство и поднимать на святую Русь своих Упатов*[2], *Князей, Алпаутов и Уланов.*

Вся Русь становилась под знамена Великого Князя Димитрия Московского; только Олег Рязанский, ненавистник его, *сорёкся*[3] с Ягайлом Литовским и послал навстречу Мамаю *дары многочестные и книги писаны*[4].

Покуда Князь Димитрий Иоаннович с братом своим Князем Владимиром и со всеми Русскими Князьями и Воеводами уставляли твердую стражу и посылали на сторожу юношей Родиона Ржевского, Якова Усатова[5] и Василия Тупика, с тем чтобы они ехали близ Орды до быстрой Сосны

[1] За урубление мечом.

[2] Греческое испорченное слово «ипатос» верховный совещатель. *(Прим. Вельтмана.)*

В «Повести о Мамаевом побоище» говорится, что Мамай «нача глаголати ко своим упатом, и князем, и уланом» *А Б.*

[3] Сговорился

[4] Книги писаны значило письма, послания письменные *(Прим. Вельтмана.)*

Встречается в летописях основное же значение слова рукописные книги *А Б*

[5] Андреева сына

и добыли *языка Агарянского,* покуда Мамай ждал осени, чтоб прийти на Русские хлебы, разосланные Великим Князем грамоты по всем городам, *«да будут готовы на брань, и да собираются на Коломну биться с безбожными Агарянами»,* дошли и до Киева.

Сия весть дошла посредством церковного служителя, ходившего в Киев за миром, и до отца мниха Симона; он хотел воспользоваться ею. Зная воинственный дух барича Ивы, он хотел внушить ему мысль: идти изведать свои силы молодецкия с Мамаем, напиться из Дона или положить свою голову в битве, ибо Симон знал, что самая худая часть человека, похожего на Иву, есть голова.

Он знал, что Ива никаких речей не внимал, кроме Сказок, до которых был неутомимый охотник, и потому пестун Тир, хмельный мед и сладкий *погач* были употреблены в дело. И вот, в одно красное утро, барич Ива садится за браным столом у иерея Симона из Афонских гор, ломает ковригу на части и, выкраивая из нее острыми своими зубами полукружия величиной в полумесяц, внимательно смотрит на огромную книгу, коею вооружается отец Симон.

— Ага? — говорит он, показывая на книгу.

— От, се она, госуда́рь барич,— отвечает ему Тир,— Сказка письменная.

— Письменная? говори богатырскую! — вскричал Ива, уложив в рот последний кусок *погача* и вставая с места.

— Богатырская, богатырская! — подхватил отец Симон.— Про Самсона.

— Ведаю! — вскричал Ива нетерпеливо.

— Выбирай сам, господин барич: в книге сей, глаголемой *Хроно́графос о временах и людех,* много есть сказаний про богатырей и витязей, про Царей, Князей и великих мужей, про Царя Македонского, про Кощея бессмертного, про Нелюбу-Царевну и Жар-птицу...

— Про Царевну ведаю, про Жар-птицу ведаю, про Кощея бессмертного не ведаю, говори!

Раскрывает честный иерей огромную книгу, глаголемую Хронограф, кашляет и произносит громогласно:

КОЩЕЙ...

— Ну! — говорит Ива Олелькович.

Иерей Симон читает:

— «Чему братие смута и хмара, чему обурилисе Князи, владыки и друзи и вси осудари?

Аль в недро запала недобрая дума? своя то печаль аль чужая кручина?

Покинем печаловать, братие; жизнь есть поток, источающий сладость и горькость! древо, дающее смоквы и грозди волчицы.

Велик есть корабль; жестоки суть ветры; а малый кормилец справляет на путь благодейный.

Ведаю я: прыснет море, расходится буря и долго не тихнет.

Восплачет мал детеек и долго не молкнет.

Поборем терпеньем своим искушение злое.

Под Буговым небом краснó и любовно!

Свет светов дал малым малютам калач да ковригу, да пряные хлебцы.

А *юношам* красным и девам дал сердца потеху — *смиленье* да песни.

А *старым, худым* и *небогим* дал хмелю, да розмысл, да добрую память, да красное слово на радость.

Внемлите же, братие! Раструшу речами с души вам студеное горе!

Почну вам былину, поведаю повесть смысленую, хвальную, древнюю правду».

— Сумбур Татарский! — сказал сердито Ива.

— Напереди растут богатыри! — отвечал ему тихо Тир.

Ива умолк.

Отец Симон продолжал:

— «В лето 5953-е от создания мира, жило на земли племя Руса, Яфетова внука, по Теплому морю, и были соседи его: от Востока поганые Агаряне, Ахазыры; с полночи и с вечера различные Немцы, именуемые Готфы; от Запада Войники Ромыне; от Юга хитрые мудрецы Греки, в земли Еллинской.

И были ветви племени Руса: Геты, Анты, Бессарины, Росланы, Сербы, Хорваты, Невры, а от сих: Чехи, Северяне, Кривичи, Поляне, Бужане, Тиверцы и иные многие...»

— То все богатыри? — спросил Ива.

— Богатыри, — отвечал честный иерей Симон и продолжал: — «И были между Росланами четыре юноши красного владычного рода: Словен, Волх, Кощей и Хорев. Жили они у Князя Осмомысла жильцами. Горьки стали им чужие хле-

бы и жизнь без воли, без битвы. Задумали они повоевать славы, погулять, походить по земным краинам и поискать себе чести и власти и места по сердцу.

— Что деем здесь? — сказал старший из них, Волх.— Или жильцами нам век вековать? или без милости нам не житье в белом свете? или на земле только и места, что наши станы, торги и вежи?

— На то ль говорили нам добрые люди про дальние страны, чтоб мы подивились речам их как сидни?

Про дальние страны, где все дышит воздухом сладким, где молятся небу, где чудны древа, где дивные зелья растут без посева, где звери велики, а в рыбах течет кровь златая? И есть там рогатые люди Сатиры и витязи с конским хребтом и ногами...

— Едем, братья, за Окиян! — вскричали прочие.— Позрим на чужое злато и сребро, на столы и одры!.. Отведаем братны заморской, добудем коней иноземных!

Закрутив торченые усы, Волх продолжал:

— Всему есть время: мудрости умаление, мужеству неможение, существу тление, свету тьма! Погинем ли жизнью в пустыне? утратим ли младость в бесславье? или дождемся, покуда *безвременье*[1] всех нас потопит в глубокую полночь? *Раднее*[2] мне прахом носиться по белому свету, чем жить как *невеголось* сидень! Раднее питаться *младичием дубным*[3], чем сладким куском и медвяным питьем в чужой сени!

— Едем, братья, за Окиян! — вскричали все.— Едем себя показать и людей посмотреть!

И вот добрые молодцы, четыре удатные *по-брата*[4], в знак любовного братства и вечной приязни поклявшись жить неразлучно и нераздельно, тайно оставили двор Княжеский, взвалили на плеча первого быка, который попался навстречу, и понесли его в *Даждьбугов* лес, находившийся близ *Рени* на мысе, между впадением в *Теплое море*[5] святых рек *Буга* и *Дана-Пра*.

---

[1] Несчастье.

[2] Лучше.

[3] Желуди.

[4] Названый брат; у древних Славян сей обет дружбы подтверждался обрядами. Поныне говорится: он побратался с ним. У Сербов: побратими, посестрими.

[5] Черное море.

Там было великое капище Даждьбуга, изгнавшего из сих мест Ионийскую Цереру и завладевшего ее храмом.

Взбросив на *обет*[1] вола, они вонзили мечи свои в землю, а жрец, в белой власянице, обратился к ним и произнес:

— Речите слово, духов завет, целым умом, живите за один, держите друг друга в братстве, и любви, и во чти и держите общину: и ты, старый Волх, и ты, постарший Словен, и ты, младший Хорев, и ты, помладший Кощей, везде и во всем до живота...

После сих слов жрец Даждьбуга взял с них *роту*[2] жить без раздела и держать слово твердо.

После сего каждый порубил свою руку мечом, истекшую кровь жрец влил в чашу вина, и они испили из оной, потóм посыпали на глаза себе земли, и, кончив обет мечным целованием, Волх, Словен, Хорев и Кощей искупались в священном Буге, пошли в Княжеский табун, накинули петли на четырех коней, вскочили на них и пустились оленьим скоком, как тать от погони.

Им нужна дорога за море Окиян, да спросить некого.

Потряссл сырой бор. Как орлы, распустив долгие крылья, летят в высоту, так Словен, Волх, Кощей и Хорев несутся от моря в пространные степи, скачут чрез *Русские власти*[3], скачут полем, высокой травою, рассыпными песками, скачут от дола к долу, от горы к горе, от леса к лесу.

Вот закурилась даль ранним туманом, благодейное утро разлилось по небу.

Вот солнце пробежало полудень и от полудня склонилось на вечер; удатные молодцы скачут.

Таким образом ехали они скоро ли, долго ли, а приехали в великую дебрь, на *росстань*[4]. Дорога разделилась на три пути.

При начале каждого пути были три высокие могилы, и на каждой могиле стоял камень, и были вырезаны на камнях слова; но братаничи не умели читать.

Куда путь держать? направо ли, налево ли, прямо ли?

Пораздумались добрые молодцы, стали совет держать и решили: трем ехать врозь, проведать дорогу, а четвертому ждать возврата прочих на *росстани.*

---

[1] Жертвенник. «Воспылал обет»
[2] Клятву
[3] В старом языке значило волость, область.
[4] Место, где разделяются дороги

Бросили жеребьи, и досталось сидеть на росстани. Волху, Кощею ехать по левому пути на вечер, Словену по среднему на полдень, а Хореву на солнечный восход. И условились они воротиться на другой день к вечеру. А сроку положили ждать каждого три дни и три ночи.

— Чур, братья, не медлить: на три дни есть у меня запасу, а терпенья на три лета. Долее ждать не буду, а мстить до конечного дня!

Словен, Хорев и Кощей поклялись ему воротиться к *дореченому*[1] дню, приехать на третье солнце на *чек*.

Условились, простились, разъехались.

Проходит день, другой, настает третье солнце; сидит Волх на *росстани*, ждет возврата братьев своих; да братья не едут. Вот свет уж подернулся тьмою, и ветры, Стрибоговы внуки, взбурились, печальную песню гудят по дуплам. В чистом поле не видно ни птицы пролетной, ни зверя прыскучего; ждет, подождет Волх побратьев своих — не едут.

Вот и тьма на свет налегла и *тихость* настала; соловей прощелкал последнюю песню; ласточка прощебетала привет темной ночи; проворковала горлица, и вот уже только вдали, и то изредка, кукует о детях одинокая, горемычная, бездомная кукушка.

Не едут.

— Чтоб вы горькой и бедной смерти предали души свои! — сказал Волх с досады, зевнул, преклонил голову свою на кочку и заснул крепким сном.

Наутро вдали раздался конский топот: конь Волха почуял, верно, знакомых, приподнял голову, оглянулся направо и заржал.

Вскочил Волх, очнулся, протирает глаза.

— Ну, друг, заждался! — сказал он проезжему мимо всаднику. Но вместо ответа коснулись до чуткого его слуха дикие звуки песни:

Маштанэ кюбэнь уласшыгэ,
Малшыгэ джыгэ...

— Э, гэ, гэ! да это не Хорев, и не Кощей, и не Словен! в ушатой шапке, в волчьем кожухе!..

Не успел Волх разглядеть всадника, как тот, увидев ли-

[1] Условленному.

хого коня, который пасся в стороне на лугу, подскакал к нему, накинул на него петлю и понесся по *правому пути!*

Вздрогнуло сердце у Волха; пеший за конным не погоня. Но Волх догадлив: скоро схватил он лук и тул свой, тетива звякнула, стрела взвизгнула и понеслась в погоню.

Другая, третья, четвертая зашипели вслед за первой, и вот одна из них перерезала волосяной аркан, на котором всадник влек за собой Волхова коня, а прочие три впились в спину дневного вора, как осы, и прососали ее до крови; но он скакал без оглядки; оставшийся на месте конь огляделся, заржал и понесся к своему господину. Волх гладит, нежит, целует своего коня.

— Сова! неясыть! поганый Комань! тать оли бес, отколе взялся! Лечь бы тебе, абы не дрогнуло сердце от жалости, что конь в чужих руках!

Конь как будто понял слова Волха, заржал снова, затоптал ногами.

Волх успокоился. Но утоление одного горя напоминает о другом.

Братаны не едут, и пищи мало.

Проходит третий день, терпение обращается в досаду; проходит еще день, еще день и еще день, досада обращается в тоску; проходит еще день, другой, третий, четвертый, тоска обращается в исступление, потом в ярость, потом в проклятия, потом в жажду мщения. И вот Волх дает себе клятву ждать братьев на *росстани* три года и три дни, а мстить им по конечный день.

Голод погубил бы его в продолжение столь долгого времени ожидания; но судьба помогает Волху, хоть с горем пополам.

Натягивает Волх с досады тугой лук свой, накладывает на шелковую тетиву заветную отцовскую стрелу; прогудела тетива, стрела запела и понеслась под небо.

Летит под облаками как зелень зеленая птица.

Стрела вонзилась в крыло ей и упала с добычею к ногам Волха.

— Здорово-ста, дурень, бестолковый бабень! — говорит птица человечьим голосом.— Не щипли мне перьев, не гожусь я в пищу,— продолжает она,— отпусти на волю, дам богатый выкуп!

— Хорошо,— отвечает Волх.

— Возьми хвост мой длинный, возьми в обе руки, я взмахну крылами, а ты вдруг зажмурься и тяни смелее.

— Ну!

— Ну, прощай же, дурень, бестолковый бабень, береги хвост птичий ты себе на память!

Волх оглянулся: в руках его остались зеленые перья из хвоста как зелень зеленой птицы, а ее уж и духу не стало.

— Добро! — сказал Волх.— Два раза обманут, в третий не проведут!

На осьмой день показался на пути обоз торговецкий.

Взмолился Волх барышникам о милостыне.

— Стыдно тебе, доброму молодцу, просить милостыню!— отвечали они.— Есть у тебя добрый конь, в налучине лук разрывчатый, в туле каленые стрелы, на плечах кованые доспехи, при бедре булатный меч, на голове железный шлем, было бы у тебя все, чем добывают почести и богатство, да, верно, нет у тебя богатырской силы да Русского духа! Нет же тебе ничего! Если хочешь пить и есть, продавай коня!

Горьки были упреки Волху, вздохнул он и расстался с конем, променяв его на хлеб и соль.

Поехали купцы своим путем-дорогою, а Волх опять сидит на *росстани.* «Что ж,— думает он,— сидеть бездомным хозяином! Выстрою себе балаган из хворосту». И выстроил на средней могиле балаган из хворосту.

Проходят новые дни, проходят недели, месяцы. Братья не едут. И стал Волх от скуки приманивать птиц перелетных, черных вбронов и сорок-трещоток.

Слетаются к нему в гости, на покормку, *черные вброны,* сизые галицы, трескучие сороки и *простокрыльные,* и *великокрыльные,* и *аэропарные, борзые* на *летание в ширинах воздушных,* и *сыроядцы,* и *птицы певчие малы перием* и *худы телесы, различно возглашающие* соловьи, *брегории,* синицы, и дрозды, и коростели.

«Говорят же птицы по-людскому, для чего ж не учиться мне языку птичьему?» — думает Волх; садится у входа балагана и вслушивается в свист, в треск, в карканье.

Всех больше нравится ему наречие воронов: гордо, важно, как Арабский язык, сильно, разумно, как людская речь, и вот разлагает Волх тонические, основные звуки: *кры, кру, кра, кре, кро*! и сокращенные *кге, кгу, кго*! и слияние и смещение звуков *кыр-у-у-у*! *кга, крр*! и начинает понимать

птичьи речи, рассказы про полет туда-сюда, похвальбу про острые когти, про быстрые крылья, про крепкие клювы.

Только и радости у Волха, что послушать птичьих рассказов; любопытнее они речей людских.

Вот чего однажды наслушался Волх.

— Здорово, приятели! — сказал старый тутошный во́рон. — Давно не видались! Чай, солнце раз триста слетало в краины мирские, с тех пор как расстались?

— Здорово! — ему отвечали все прочие. — Стар стал, приятель! из черного сделался бел, словно лунь![1]

— Что делать, и житье от людей, и житья нет! Верите ли, сизые братцы, в них, верно, злой дух поселился: ходят стадами да бьются на кровь, гоняют друг друга по свету! Оно бы для нас и раздолье, да и нам не дают они спуску лишь только присядешь на труп да нос порасчистишь, чтоб череп проклюнуть да сладкого мозгу отведать, глядишь, а стрела и шипит над тобою! Хуже всех белые! От черных житья нет зверям, а от белых ни зверю, ни нашему брату, ни тле поганой, все бьют наповал! Зато уж теперь и на них черный день!

— *Корру*! послушаем! — сказали все прочие во́роны.

— Между ними завелся Аттила; кажись, невелика птица, да ноготь востер. И прозвал он себя посланником бога, Создателя мира, и казнью неверных, поклонников земли, а не небу. Каркает он всех, кто молится людям, дереву камням, скотам или нашему брату...

— Злодей! — вскричала вся стая воронов. — Ядовитое жало стрелы! нож-губитель! он поселит в людях неуважение и к орлам, и к белым во́ронам!

— То же говорят и люди, которые не знают его, и они называют его *бичом* и *молотом* небесным, да он мало об этом заботится; говорит: кто узнает меня, тот полюбит. Мне, говорит он, не нужно мирского богатства; мой *стол* там, где сяду, дворец мой пространен: вход в него там, где солнце восходит; из полуночного окна видно *Студеное море;* с вечерней стороны Океан; с восточной Тавр; с полуденной Эмос; но я пристрою его, говорит, чтоб видеть со всех четырех сторон конец мира!

Все во́роны захлопали от удивления крыльями.

Белый во́рон продолжал:

---

[1] Белая лунь — птица.

— Я летел вслед за ним и устал... Шутка ли облететь всю землю!.. Передовые его уже близко отсюда; ведет их Хорев, полководец Аттилы...

«Хорев!» — сказал про себя Волх и слушал, что дальше.

Но вбороны заговорили все вдруг; Волх не понял; скоро утихли, черед пришел рассказывать свои похождения другому.

— А я,— сказал вброн с отбитой ногой,— до сей поры жил я в *Дербень-Урюте*, на горе *Богде*, где жили и два святые мужа: Анук и Казый. Когда *Элеты*, разбитые *Хинами*, принуждены были оставить свою землю, два святые мужа также оставили Богду и пустились в отдаленную *Кокнюр;* но на дороге стало жаль им горы, в которой прожили они более ста лет; воротясь ночью, они похитили ее, взвалили на плеча и бежали, но Хины скоро хватились горы, послали погоню. Анук и Казый, устав бежать с огромной громадой, принуждены были бросить ее посреди Рифейской степи. Во время похищения я спал на гнезде своем: вместе с горой они унесли и меня; я очнулся в то время, как брошенная гора грохнулась о степь. Тут-то я лишился правой ноги, и теперь, с горя, друзья, я мечусь по белому свету, ищу костыля, да не знаю, найду ли?

Вброны закаркали в изъявление сожаления о товарище, лишенном ноги.

По очереди начал рассказывать свои похождения третий вброн!

— Чудные вещи делают люди! Я жил у озера Мойска[1], на высоком холме, на столетнем дубу, при мне он и вырос. Вздумалось мне, на беду, прошлою *ярой* пролететься в Рифейские горы, поклониться белому *бёркуту*. Вот и исполнил свой долг и принес ему три колоса пшенных на поклон; потом пустился назад. Прилетаю на холм свой... что ж, братцы! вот правду поют наши птицы: *оставишь гнездо, не пожалуйся после!* Как я посмотрел на мой дуб, так крылья мои и опали! Какой-то Словен пришел к Мойску от *Теплого моря* да вздумал мудрить и срубил там город, а на холме моем строит *сень;* моему родному дубу обрубил все ветви без двух, да и сделал из него истукана Перуна, какого случалось вам видеть не раз по лесам и по холмам высоким. На вершину наткнули кованную из серебра голову,

[1] Ильмень.

золотую бороду и Ус-злат; в две необрубленные ветви натыкали стрел да копий; вместо глаз вставили два красные камня; обвесили всего чешуею железной и завесами из *синеты, червленицы* и *багра*[1]. Теперь над ним капище строят, ставят *запону* дверную[2] из литого серебра; а стены, затворы, столбы из черного древа, и жертвенник медью обложен; *стоялы*[3] из пестрого камня.

Теперь я, друзья, лечу поискать себе нового дуба по сердцу, с сенью густою, чтоб свить мне гнездо да своей завестися вороной. Посоветуйте, где бы найти мне местечко получше?

— Бог весть,— сказал один во́рон.— Есть чудное дерево близ Днепра; да в страшном месте растет, близ жилья людской пугалы Бабы-Яги...

— Э, ничего! я пугал не слишком боюсь! Скажи же, друг, где это место?

— Да, вот уж я кстати про диво вам всем расскажу. Видали ли вы, встречали ли, братцы, вы Чудо-Юду, который скитается по свету вот уже ровно теперь четыре столетья с десятками лет и смерть все ищет себе? Ну, подлинно бедный! Хоть он и породы людской, но жалок ужасно! Однажды сижу я на дереве, во сто размахов крыла от земли, подле Днепра, близ *Неясыти* порога, где на каменном острове, под скалою подводной, есть ходы в подземное царство, откуда выходит Баба-Яга. Вот сижу я, вдруг вижу, идет что-то страшное, точно как пугало в Княжеском саду! длинный шест с перекладиной, на перекладине развешена иссохшая кожа! Я было тронулся с места, да вижу, что пугало очень смиренно завело такую речь:

— Истлел я! иссох я! устал я скитаться и жить утомился! Присел бы, прилег бы, да нет на земле мне ни отдыха, нет мне ни сна, ни могилы! В чужую могилу забрался бы я — не пускают! сесть — ноги не гнутся, иссохли составы и жилы! прилечь — не могу; словно дуб остаревший, не гнусь я к земле!

Проходят столетия, ищу себе гроба, прошу я у добрых людей себе смерти... Так жаль, не дают! У хищных зверей и у птиц — и те не дают мне, а сами летят и бегут от меня как от смерти!

---

[1] Синей, красной и багряной материи.— *А. Б.*
[2] Замок.
[3] Здесь: столбы, ножки жертвенника.— *А. Б.*

Чувствую голод, и холод, и жажду... что ж? мне ни поесть, ни испить, ни погреться порядком!

В огромном моем кошеле один только сребреник вечный, а что в нем!.. Вот двести уже лет, как не ходит нигде: не берут за *динарий* у Римлян, а здесь не берут за *долгею*, что в том, что в кошель он обратно приходит!.. О! скоро ль настанет то время, когда пришлется на смену мне новый проклятый? Я слышал, что здесь, на Днепровских порогах, живет Баба-Яга, колдунья! Погадаю у ней! Вот и пороги! Кого бы спросить про нее?

Так говорил Чудо-Юда. Лишь кончил он речь, вдруг из *Неясытской* скалы показалася Баба-Яга, в ступе огромной, с пестом, с помелом, вся в лохмотьях!

— Фу! — закричала она.— Не русским здесь духом запахло! — и прямо к нему. — Эй! кто ты, скиталец! отколе? зачем, где твой конь? Не хочешь ли сесть в мою ступу, со мной прокатиться?

— Эх, баушка, я богатырь Чудо-Юда,— отвечал он ей.— К тебе я пришел на поклон, хочу погадать да проведать судьбину, вот баушка, *пенязь* вперед.

— Голубчик, у нас этой дряни довольно; давай, если хочешь, мне золота — даром гадать не умею!

— Старая ведьма! гадай, или голову к черту!

— Эгэ, расхрабрился! — вскричала Яга, и давай Юду бить железным пестом.

А Юда выхватил меч да и рубит старуху.

Что ж, братцы! ни тот, ни другая не охнут! лишь кости об кости стучат да оружье звучит!

— Тьфу ты, проклятый! я, верно, хмельная! дерусь с сновиденьем! — вскричала Яга и пустилася в ступе чрез поле и горы!

— Увы мне! — возопил Чудо-Юда и бросился в Дана-Пры, а вихрь, откуда ни взялся, вынес его из реки и поставил на берег!

А я со страху лететь да лететь! лишь в Киеве-граде едва отдохнул.

— Чудо! — вскричали все вóроны в голос.— А Киев-то где?

— Да вы, чай, слыхали про город *Самват*[1], ну, он же

[1] Константин Багрянородный. *(Прим Вельтмана.)* Город Самват упоминается в его сочинениях.— *А. Б.*

и Киев! Какой-то сидит там Кощей... раздолье! люди у него ни по чем! то-то крови!

— Кощей! — вскричал Волх.

Вóроны испугались, вспорхнули и разлетелись по деревьям.

Волх рад был, что узнал о своих братьях; нетерпеливо ждал он времени, в которое можно ему будет отправиться к ним и напомнить о Волхе, забытом на *росстани.*

Немного уже остается ему ждать; но запас его опять выходит. Уж он променял на хлеб меч-кладенец, *засапожник*[1], кованный златом, молот железный, топор двухлезвейный и палицу с набивными кремнями; остались у него только лук и стрелы; а сидеть только семь дней до срока.

Вот, решившись отдать за хлеб и последнее оружие, он с горя приманил последними крохами стаю вóронов, пролетавшую мимо.

Уселись около него черные вóроны, клюют да похваливают сладкие остатки хлеба. Наелись, насытились, разгулялись, и начали они между собою такую речь вести.

— Эх, кабы мне его руки! — сказал один седой вóрон, взмахнув крылами.— Отдал бы я за них и крылья свои!

— Что ж бы ты делал руками? — спросила седого вóрона вся стая!

— А вот что стал бы я делать: есть у него в туле заветная стрела, узнал я ее по перьям да по полету тому три года назад, когда пустил он ее под небо за птицей как зелень зеленой, которая улетела из терема Княгини Желаны, Словеновой жены...

— Кр! — вскричала вся стая вóронов и обступила седого.

«Ну, ну!» — произнес Волх про себя.

— Пустить бы ему эту стрелу в румяное облачко, что часто в заутрие видно на самом восходе, да сказать: «Полети-тко, стрела, подстрели-тко ее, принеси-тко ко мне!» — и пала бы к его ногам птица морская белая баба.

— Кр! — вскричали удивленные вóроны.

— Вот взял бы он ее за пуховые крылья да потребовал бы от нее: *силы сильной, воли вольной, чести честной да перо-невидимку...*

— Ну, ну! — вскричал Волх.

---

[1] Нож.— *А. Б.*

Черные вóроны испугались его восклицания и улетели. Только он их и видел; но Волх воспользовался советами седого вóрона.

Приложил он заветную усовую стрелу с орлиными перьями, с золотым копьецом к тетиве, произнес: «Полети-тко, стрела, подстрели-тко ее, принеси-тко ко мне!» Стрела взвизгнула. Дело было на рассвете; огненная струйка, след полета, протянулась по воздуху до самого румяного облачка на восходе.

Птица баба морская с пробитым стрелою крылом упала к ногам Волха.

— Не погуби души! — раздался охриплый голос из зоба.— Что хочешь требуй, только отпусти меня к морю!

— Дай мне силу сильную, волю вольную, да честь честную, да перо-невидимку! — сказал Волх.

— Перо-невидимку возьми; оно у меня в хохолке, стоит яловцом, а всего прочего у меня нет с собою.

— Где хочешь возьми! — отвечал Волх.— А не то выщиплю все перья, изжарю и съем: я голоден!

— Силу сильную соберу кое-как, составлю хоть из солнечного света; волю вольную из лунного, а честь честная в вихре Океан-моря — пустишь меня, принесу; не пустишь, что хочешь твори со мной: не исполнится воля твоя!

Волх согласился, выдернул из хохолка птицы бабы перышко-невидимку и потом ждал, покуда стало садиться солнце и показалась луна. Птица баба, обернувшись старухой, отделила один солнечный луч и один лунный; начала мотать их на руку; потом сняла с руки моток светлых ниток и давай вязать из них пояс.

Через несколько минут пояс был готов.

— Вот возьми, подпояшься им, будешь могущ, что пожелаешь, все будет по-твоему, только стоит тебе подтянуться покрепче да завязать концы крест-на-крест.

— Когда же доставишь мне честь честную? — спросил Волх.

— Хоть сей час же, только выпусти меня из рук. Не веришь, возьми в залог золотое яичко — прокатишь, приют и прислуга и угощенье, все будет без платы.

Волх посмотрел на золотое яичко, которое птица баба снесла ему на руку, подумал, поверил, пустил. Птица баба взмахнула крылами, схватила клювом стрелу заветную, лежавшую на земле, вспорхнула и понеслась.

— Прощай, Волх! Вперед не верь птицам бабам! Довольно с тебя, друг, и силы и воли с придачей. Только чести недостает, может, и без нее обойдешься: не хлеб!

Волх заскрежетал зубами с досады; но скоро успокоился.

— Увы вам! — говорил он про себя.— Примирюсь, братаны, с вами, когда камень всплывет, а хмель потонет! Прежде всего отправлюсь по правому пути, найду Хорева, потом отправлюсь по среднему, посмотрю на Словена; потом пущусь по левому пути, узнать, подобру ли, поздорову живет Кощей. Всем вам будет спасибо за добрую память!

С этими словами Волх пускается скорыми шагами по правой дороге; он забыл голод и жажду; у него в голове одно мщенье.

Торопится он. Знойное солнце палит его; с сердцем отирает он пот с лица; усталость давит его скалою; он проклинает усталость; ноги его подкосились.

— Ух! — восклицает наконец Волх и падает под развесистой липой.— Ну, добрые люди, названые братья! утомили вы мою душу!

Когда уже прохлада вечерняя навеяла на Волха новые силы и первый порыв мщенья утих, когда уже голод и жажда стали в свою очередь напоминать ему о своих потребностях, тогда только Волх вспомнил, что он может держать путь, ходить и ездить без усталости, может не ведать нужды, не знать голода и жажды, не гореть от жара, не зябнуть от холода.

Вот вынул он из-за пазухи яйцо птицы бабы и покатил по полю, приговаривая: «Прокатись по полю, развернись высоким теремом с красными углами, с доброй хозяйкой, с верной прислугой, с богатым гощеньем!»

Яйцо прокатилось по широкому лугу и развернулось богатыми палатами; на крыльце стояла красная девица, манила к себе Волха.

Утомленный, он едва приподнимается с места; но слуги бегут во всех сторон, берут его за белые руки, ведут на крыльцо, ведут в *мовню;* пáрят, нежат, обливают благовонной водою, расправляют усталые члены.

Наслаждается Волх новою жизнью; негует его сердце.

Богатая одежда готова; вместо пояса повязывается он волшебною ужицей, связанной из лучей солнца и луны; прикалывает хохолок птицы бабы на шапке и идет в терем. Красная девица молча встречает гостя, ведет в светлицу.

Там накрыт белодубовый стол; уставлен яствами и питьем медвяным.

Волх садится за стол, сажает красную девицу подле себя.

Забывает о пище; говорит ей; но девица молчит.

Он ласкает ее. Взаимные ласки бездушны.

Он целует ее. Уста ее румяны, но холодны.

Посмотрел Волх на девицу, вздохнул и стал удовлетворять голод и жажду.

Тихо около него. Шаги и движения слуг не слышны; золотая посуда не стукнет, как во сне; струя медовая пенится, но не шипит.

Все слова и приказания Волха исполняются, но безответно.

Досадует Волх, что нет ему собеседника. Встает из-за стола сыт и пьян; и девица встает, берет его за руку, ведет в ложницу.

— Красная девица! — говорит он.— Возгорись любовью, обними меня!

Девица падает к нему в объятья.

Волх обнимает ее; но, как будто прорезав облако или тень, руки его прижимаются к собственному сердцу, а красная девица стоит перед ним молчалива, неподвижна.

Волх бросается на ложе и засыпает.

Долог и крепок его сон. Наконец он пробуждается: ни терема, ни девицы, ни мягкого ложа; он лежит на том же месте, где упал усталый; но уже сыт и силен; чувство мщенья пробуждается вместе с ним; он встает; но уже не хочет идти пешком. Снова берет Волх яйцо, катит его перед собою, желает крылатых коней, запряженных в колесницу. Колесница является, Волх садится в нее.

Ударив копытами в широкое поле, кони вспорхнули, быстро понеслись по воздуху, над путем, лежавшим на Восток. Наскучив долго лететь, не зная настоящего местопребывания Хорева, Волх, остановясь, покатил опять яйцо птицы бабы под развесистым деревом, близ истока реки: явился стол с различными яствами.

Утолив голод, Волх лег на мягкий шелковый ковер с изголовьем, готовый к его услугам под тенью дерева.

Сон не смежил очей его, он перетянул себя светлым поясом и пожелал иметь подле себя рассказчика былей и небылиц.

— Что прикажешь поведать тебе? — произнес почтительно голос невидимого.

— Усыпи меня рассказом: как побрат мой Хорев поехал с *росстани* и не возвратился? где он был и где теперь? что он делал и что делает?

— Изволь слущать,— отвечал голос и начал говорить как по книге:

«Только что отъехал Хорев с *росстани*, напали на него мурые[1] Печенеги, пленили и продали в рабство Скотану, Гуннскому мужу, Царскому Думцу.

Скотан полюбил его и повел в дар своему Царю Аттиле, который шел тогда из Греции, в столицу свою.

Когда пришел Хорев в Царскую палату, Царь сидел на резном пристольце[2], в простом кожухе, с непокрытою головою, с длинным посохом в руках; перед ним стояли великие мужи; он судил с ними про посольство Греческого Царя Феодосия.

— Еже глаголять мъ[3],— говорил он,— гора пременит место, вольном веру имать тому, еже глаголят мъ: человек нрав пременил, не имам веры!

— Феодосий пише книгу к тэ и тъ[4] здравить и тъ хвалить! — отвечали ему мужи.

— Хвала их не требна мъ; требна правда и дань; не подадут, *ускорю*, нападу на них, поиму Фракию!

Увидев Хорева, Царь обратился к нему и спросил:

— Откуда отрок сей?

— От Теплого моря,— отвечал ему Скотан,— приехал служить тебе верой и правдою! Он храбр и умен.

— Удатность поведа се в сече, разум в гневе, *другованье* в нужде. Дайте ему моего хлеба. Нравен будет хлеб, будет верен.

Хорева повели вон из Царских палат; дали ему хлеба, жареного творогу, баранины, меду и квасу.

На другой день Хорев назначен был ехать с посольством Греческим, с сановником *Максимином*, писцом его *Приском* и иными людьми.

---

[1] Мурин — Арап, Негр, черный человек, Мавр. *(Прим. Вельтмана.)* Слово, видимо, найдено Вельтманом в «Изборнике Святослава» 1076 г. «Аште пременит мурин кожу своу».— *А. Б.*

[2] Стул, т. е. лавка при столе.

[3] Мъ значит: *ми*, т. е. мне; произносится же как *мы*.

[4] Тъ — тя, тебя.

За Дунаем посольство назначено было идти левою дорогою, шедшею чрез владения брата Аттилы, *Влада,* с тем чтоб послы Греческие принесли дары жене его, которая там жила.

От Дуная переправились чрез реки *Дрикон* и *Тишь* и потом поворотили влево и чрез несколько дней прибыли к большому *месту* на озере.

Расположившись лагерем при селении, на другой день послы и Хорев получили позволение представиться *Стояне* и поднесли ей серебряные сосуды, *багр* и Греческие сухие плоды.

После сего отправился Хорев с послами прямым путем к *Граду* стольному на горячих водах. На дороге, встретив послов к Царю Аттиле от Западного Императора, он ехал вместе с ними. Послами были вящшие мужи: *Ромул, Примут, Роман* и иные, и с ним Костан, Думец Аттилы.

На двенадцатый день прибыл Хорев с послами в стольный град.

На возвышенном холме стоял Дворец Аттилы в 30 венцов вышины, строенный на камнях и обнесенный оградою с стрельницами, подле него *белая теплица,* строенная из Задунайских белых камней.

Послам отвели красные палаты Вельможи Царского, на третий день рано поутру забили в *варганы*[1] и в *бубны,* повещая приход Царя.

Вельможи и послы Императорские и весь народ встретили его у городских ворот; подле ворот двора его вышли навстречу девы в белых одеждах под навесами полотняными и провожали его песнями в честь Царю-Отцу. На крыльце встретила его Царица *Гримхильда*[2], сопровождаемая своими сенными девушками, и, поклонившись, поднесла ему хлеб-соль и вино. Царь Аттила принял чарку с серебряного подноса, выпил, слез с коня и пошел во Дворец.

Испытав храбрость и великий ум Хорева, Царь Аттила послал его теперь с войском воевать Кавказ...

Теперь он...»

---

[1] В а р г а н ы, б у б н ы, т р у б ы и к о т л ы — древние военные музыкальные инструменты.

[2] Этот мотив заимствован из «Песни о Нибелунгах».— *А. В.*

Невидимый не успел еще кончить рассказа, как Волх захрапел. Голос утих.

Спит Волх крепким, но не спокойным сном; мечты кипят в нем; то Хорев, то Кощей, то Словен являются перед ним; дразнят его: Волх бросится за Хоревом — Хорева уже нет, а Словен тянет его сзади за полу; он к Словену — Словен исчез, а Кощеева рука теребит его сбоку за вихор. Мечется Волх во все стороны; враги, побраты его, являются перед ним, как блудящие огни, и мгновенно тухнут. Но мщенье придает быстроты и силы Волху. Вот над синим морем догоняет он Хорева; схватил его, давит крепкими мышцами, но это волна; она уже выхлынула из его мстительных объятий. Он гонится за Словеном, схватывает его за во́рот, Словен жжется, пламень пышет Волху в лицо. Гонится за Кощеем, схватил его могучими руками, хочет сдавить, и от усилия трещит у Волха грудь: он давит камень. Мщенье учит Волха хитрости. Вот спрятался он за черную тучу. Крадутся по воздуху Кощей, Хорев и Словен, не видят Волха, ведут между собой совет; а Волх хвать — и обнял всех трех, как железный обруч три огромные сваи, и не знает, что ему с ними делать? Всех трех не сломить и порознь нельзя: разбегутся.

Между тем как Волх бредит во сне мщением, взыгралася *буря зельная*[1], исторгает великие древеса, яростно рушит в основаниях храмы и *забрала*[2] крепкие; взметает, вьет на высоту *бремены* и горы великие как плевелы; носится тучными облаками и льется на все как море пламени.

Просыпается Волх; ужас обдает его. Громовые струи бьют в верхний конец его пояса, перекатываются по лучам, из которых он сплетен, и из другого конца текут в землю. Мгновенный страх исчезает в Волхе при уверенности, что он невредим. Чтоб избавиться скорее от бури, втыкает он хохолок птицы бабы в шапку и, обратясь в невидимку, мчится между крупными каплями дождя на *Кафказ;* вот выбрался он уже из-под тучи. День светел, небо ясно. Повсюду тишина; только раздается, близ берегов *Ры,* военный *гром труб и котлов.* Видит Волх — идет рать великая Царя Аттилы под предводительством Хорева.

— Увы тебе, побрат мой! — кричит Волх, взвившись над Хоревом как вихрь.— Прирасти ж ты к коню своему, ска-

[1] Сильная.— *А. Б.*

[2] Забор, городская стена; наличник шлема.

чи ты до конца дней своих, как от погони, не оглядываясь, не останавливаясь!..

Скачет Хорев и чувствует, ноги врастают в коня, и ужас течет по всем жилам, и очи налилися кровью, и что-то его подгоняет, торопит!

Он мчится; за ним мчится рать.

Мчится Хорев через горы и долы, через лес, через воды и топи, как воин от раны бесславной; мчится за ним и вся рать, как будто гонимая страхом и вражеской силой.

Мчится Хорев без пути, без дороги, без причины, без цели.

Мчатся и воины за ним, но весь след их уже устлан как будто побитою ратью.

Мчится Хорев, как от лука стрела, и никто уж его не следит; он летит, как страстное желание к недостижимой цели, быстро, как жизнь к концу, и исчезает в синеве дали.

А Волх, довольный своим мщением, отправляется на север к озеру *Мойску*, где живет его побрат Словен.

Наскучив идти, лететь и ехать, Волх катит яйцо птицы бабы по воде близ холма и *потока Ярусланова*; является ладья; он сел в нее, и два сома понесли его вверх по большой реке.

Чтоб не чувствовать голода, жажды, усталости и прочих телесных недугов, Волх воткнул в шапку свою хохолок птицы бабы — и стал невидимкой.

Все изменилось в глазах его.

Тьмы невидимых простым глазом, подобных ему, летали в воздухе, плыли на водах, носились повсюду, заботливо, торопливо, как люди, то с чувством добра, то с чувством зла, ласки, дружбы, раздора и войны, все было между ними, только не было в устах их глагола, не было шума от движения и звука от битв.

И в воздухе все делилось на две силы нераздельные, но вечно враждующие между собою. Смешиваясь от неусыпного общего волнения, они старались оторваться друг от друга и слиться друг с другом. Но мерцание духов светлых, темных и разноцветных утомило очи Волха, он снял хохолок с шапки; а между тем ладья его неслась быстро. Крылатые сомы рассекали волны *Ры*, как луч солнца ночную тьму, и вот скоро ли, долго ли примчали его в пространное озеро, откуда река истекала, и остановились.

— Добрый человек! — молвил Волх к идущему по бе-

регу жителю.— *Ведаешь ли, онде путь* к городу Словенску?

Но добрый человек, рыжий, как огненная лисица, скулистый, как *Обр*, одетый в смурый кафтан по колено, перепоясанный ремнем, обутый в плетенную из коры древесной обувь, со страхом бросился от Волха.

Волх ухватил его за ворот:

— Стой, лиса! без ответа не пойдешь!

Рыжий забормотал что-то не по-людски.

— Немой проклятый! — вскричал Волх, поворотил рыжего лицом на вечер, дал ему толчок в шею и отправился сам на полуночь.

Вот уж приблизился он к какому-то великому озеру; видит на другом конце его светлый град; белокаменные строения, осененные рощами, отсвечиваются в озере.

— Это Словенск! — сказала Волху недобрая мысль. Он остановился, чтоб подумать, как отмстить Словену; вдруг позади его из-за рощи лай псов... Несутся на Волха; за ними скачут охотники.

Псы накинулись уже на него с разинутой пастью.

Волх оробел, схватился за светлый пояс; псы впились в него; но зубы их уже напрасно ищут места, где бы вцепиться, прогрызть: железная чешуя огромного змея непроницаема.

Чудовище свивается, развертывается, давит, терзает их; визг и вой раздаются по лесу.

Наскакали охотники. Передовые стали жертвою чудовища; остальные со страхом скрылись.

Окровавленное чудовище опустилось в озеро омыть себя.

Это был Волх. Ему понравилось быть змеем; он сохранил в себе только лик человеческий и поплыл вверх по озеру; при впадении в него *реки Мутной* лежал прекрасный город.

Поселился Волх при устье, как на сторо́же.

Кто ни подойдет к берегу, всех хватает он и топит в реке.

Ужас распространился по Словенску.

Сбирается народ, сбираются жрецы, приближаются к реке, молятся змею, да помилует их. «Будь нашим богом!» — говорят они ему.

Он не внимает, ловит, давит и топит людей Словенских, требуя Князя Слове́на.

— Нет тебе нашего Князя! губи лучше нас! — кричит ему народ.

Ловит, давит, топит змей людей Словенских, требует Князя Словена.

Доходит горькая весть до Князя.

Приходит Словен, с ужасом узнает в образе змея лик Волха, старшего брата своего.

— Что требуешь ты от меня, злой Волх? — говорит он ему.

— Тебя! — отвечает ему чудовище.

— Возьми! — кричит Словен; бросается к чудовищу и вместе с ним исчезает под волнами.

Стоит народ в оцепенении; все плачут о Князе своем.

— Нет у нас отца, пойдем к матери нашей! — кричат все; приходят к Княгине *Желане,* которая жила в загородном тереме, падают пред нею на колени и молят ее *царить* над ними.

Убила ее весть о бедственной смерти Словена. Вместо ответа народу, она бросается к реке, протекавшей под самым златоверхим теремом, произносит с слезами: «Несите меня волны к Ладу моему!» — бросается в воду и исчезает под волнами; никто не успевает спасти ее.

Плачет народ, проклинает реку *Мутную* за то, что допустила к себе чудовище, и называет ее Волховом.

Плачет народ на реку *Чистую,* зачем она унесла Княгиню его, и называет реку в память Княгини Желанocc.

По *Ильменю-Мойску* плач и стон, по всей земле Словеновой горе.

«Кончил два дела, остается третье, конечное»,— думает Волх, отправляясь на падучей звезде, которая возгорелась на севере и неслась к югу, оставляя за собой огненную струю. Не успел еще Волх обдумать род мщенья, которое он совершит над преступным Кощеем, звезда рассыпалась над высоким берегом Днепра, и Волх на одной из ее искр спустился на землю близ неизвестного города.

Время уже около полуночи; огонь в высоких теремах тухнет; на стогнах ни души; только крик ночной стражи еще нарушает тишину ночи.

Довечается Волх у сторожей: где живет Кощей.

— Не ведаем, дедушка,— отвечают ему.— Нет в городе сего имени. А есть у нас *Кый*, зять владыки, *размирник*[1], недоброе сердце, черная душа! Живет он на холме, в своих тесовых палатах; поди постучись у ворот его, коли нужно тебе недоброе слово, а милостыню подаст разве только жена его Лыбедь. Если б не она, горе бы целому городу!

— Его-то мне и нужно,— сказал Волх, поблагодарил сторожа и отправился на высокий холм, где стояли резные палаты Кыя.

Кый уже покоится в ложнице, но сон его чуток.

Кто-то стучится в косящатые ворота.

Кый вскакивает, прислушивается.

— Пусти, добрый человек, на ночь! — слышит он и проклинает сторожа.

Просьба повторяется.

Кый выходит сам, бранит сторожей, что позволяют бродягам стучать в его ворота.

Сторожа не слышали ничьего голоса.

Кый возвращается, ложится, но едва только сдавил он собою пуховую постель, кто-то постучался в красное окно, тот же голос повторяет: «Пусти, добрый человек, на ночь!»

Сердится Кый, проклинает сторожей, выходит на двор — никого нет.

«Это сон»,— думает он, осматривает, заперты ли ворота, возвращается, припирает сени, двери и ложится.

Кто-то стучит в сенях: «Пусти, добрый человек, на ночь!»

Кый вздрагивает, встает, идет в сени — сени заперты, в сенях никого нет.

«Это сон!» — думает он, возвращается в ложницу; беспокойство волнует его; но все тихо, глаза его слипаются, и едва только мысли свернулись шаром и прокатились в темную глубь, а память канула на дно...

— Пусти, добрый человек, на ночь! — раздается над его ухом. Со страхом вскакивает он, слышит в доме шум, беготню.

— Что такое? — спрашивает он заботливую жену свою,

— Гость! — отвечает она запыхавшись.— Что́ есть в

[1] Розмирье — раздор. *(Прим. Вельтмана.)*

В «Древнем летописце», изданном в Москве в 1774—1775 гг., Вельтман мог прочесть: «Того же лета в татарех бысть розмирие, и великая брань, и убийство, а на Руси тишина».— *А. Б.*

печи, все выложила ему, не принимает нашего, говорит: *свое есть!* а у самого и кошеля нищенского нет! Проси сам!

— Какой проклятый Татарин зашел ко мне незваный! — вскричал Кый и бросился к светлице; слышит знакомый громкий голос; страх останавливает его в дверях; сквозь щель видит он, что горница освещена как будто пожаром; слышит слова:

— Отколе?

— От поморья,— отвечает чей-то голос.— Неведомые прислали к тебе посоветоваться, что делать с душою Аттилы, когда наступит ей выход из тела. По уму и разуму он прав; хотел покорить землю и небо и для того возвеличился бичом и молотом божиим; но люди не поверили ему, и тьмы отшедших душ вопиют на него за безвременную смерть.

— Да будет он словом и делом чистилища,— говорит опять знакомый Кыю голос.— Отдать в его распоряжение огонь, воду, котлы и все снадобья, служащие к очищению душ. Ну, а ты отколе?

— С *Боричева* холма: уродилась новая душа у рыбаря; неведомые прислали спросить тебя, что пожаловать ей на пропитанье?

— Воскормится, взрастет и наследует богатство Кощея! — отвечал грозный голос.

— Кощея! — вскричал Кый и бросился в двери.

Нет никого.

Светлица пуста; только угасающий свет меркает, исчезает медленно, как вечереющий день, и слышатся грозные слова:

«Будь ты проклят, побрат Кощей, отныне до века! обратись кровь твоя в пламень! иссохни в собственном огне зависти и злобы! не покорствуй тело твое душе твоей! воспротивься душа твоя похотям тела! Жажди идти на Восток, а стопы твои да несут тебя на Запад!

Богатей желаниями; нищай волею!

Желай смерти и будь бессмертен! Желай жизни и умирай каждое мгновение!

Будь в глазах твоих добро злом, а зло добром, хлад пламенем, а пламень хладом, любовь ненавистью, а твердая опора пропастью!

Будь пленником и рабом самого себя, рабом людей,

рабом жизни, рабом природы, рабом тварей, птиц, рыб, насекомых, рабом всего дышащего и неодушевленного, рабом движения и недвижности, рабом света и тьмы, рабом звука и тишины; да заключится смерть твоя в яйцо птицы Мувы, и да потонет в волнах Ливийского моря!

Пусть найдется земнородный, для которого небо иссушит целое море и обратит каждую каплю воды в песчинку! Пусть зоркими очами своими найдет он в песчаном море яйцо Мувы! Тогда избавится он от муки и жизни; но будь же врагом своего избавителя! Препятствуй ему быть твоим искупителем, ищи его смерти, а вместе с нею и вечности собственных мук!»

Невидимый голос утих.

Кощей стоит неподвижен. Ужас сжигает его внутренность; жена и дочь говорят ему — он не слышит; наступает день — он не видит света.

Взволнованный воздух грозным проклятием, как взволнованное море, еще не успокоился; еще все слова носятся по светлице, как незримые существа, и касаются до слуха его. Но вот мысль, что народившийся сын рыбаря погубит его, приводит Кощея в память, он обдумывает средства: как бы извести ребенка...»

— Ведомо ли тебе, государь Ива Олелькович,— сказал иерей Симон, прервав чтение,— что вси Князи, и сыни Русстии, и богатыри ополчаются на поганого *Мамая?*

— Нетуть,— отвечал Ива.

— Слава бы и тебе, Боярич, в борзе готовитися идти на погубление злых Агарян; возложить бы тебе кольчуги, и препоясать чресла мечом, и просить благословения у родной матери подвизатися на противные враги.

Там-бо трескут копия харалужные, звенят доспехи злаченые, стучат щиты червленые, гремлят мечи обоюду острые и блистают сабли булатные.

Там-бо предо всеми мужествова, похваляясь и хоробруя и избивая поганых, ты бы, Ива Олелькович, венец славы и честь и почесть от Князя принял.

Там-бо смерть не смерть, но живот вечный!

Там-бо стяги ревут, аки облацы тихо трепещущие, а вои, аки воды, во вси ветры колыблются, шеломы на главах аки

заря во время ведряна солнца светящиеся, яловцы, аки пламя, огненно пашется...

— Ой? — вскричал Ива.

— Разумлив еси и храбр, подобает тебе быти Воеводою...

Еще не успел кончить речи иерей Симон, вдруг прибежал от Мины Ольговны конюх Лазарь, запыхавшись. По всему селу искал он Иву Олельковича: его давно ждет матушка.

Иву Олельковича с трудом убедили идти домой, не дослушав повести.

VII

Теперь должно, по обыкновению, сказать несколько слов о наружности и нраве героя *былины*.

Не Английским пером с длинным раскепом изображу я черты его; не скажу, что ясно отражается на лице его; не употреблю ни *Соломоновских* уподоблений, ни *Байроновских* отречений. Не сравню носа его с Ливаном горою, кудрей с морскими волнами, роста с *Гехским исполином*, руки с рукою времени, чистоты и ясности души его с прозрачностью света и воды, крепости сердца с железом.

Просто скажу я, что Ива Олелькович был росту с своего родителя, Олеля Лавровича; лицем бел и вылит в свою родительницу Мину Ольговну, глаза у него были, как две капли воды, бабушкины, только волосы были у него ничьи; витые кудри как лен сыпались на плечи и лицо.

Пылок как пламя, молчалив как немой, душою ребенок, он не любил ни кланяться, ни просить, и потому даже гости не видали от него поклона; а Мина Ольговна, мамки, и няньки, и пестун Тир не знали, что значит не дать Иве Олельковичу того, к чему он руку протянет.

Речи его, кроме небольших исключений, состояли из слов: вопросительного и удивительного «ой?!» и отрицательного «нетуть!».

Вот каков был Ива Олелькович. Этого-то Иву Олельковича иерей Симон хотел послать в битву за Русское царство против злобного Мамая. Хитро хотел он привлечь его к себе, воспалить в нем страсть к великим побоищам и дать понятие о чести и славе.

Цель была прекрасна, истинно пастырская, она восстановляла мир в селе Облазне и доставляла героя отечеству.

Но судьба воспротивилась мудрому замыслу. Невидимо подкопалась она под здание иерея Симона, и оно рушилось.

Мина Ольговна давно имела на примете дочь соседа своего Бояриня Боиборза Радовановича; она *ладила* ее за своего возлюбленного сына. Дело пошло должным порядком; свахи зашли с заднего крыльца; старое знакомство помогло, и вот прислали звать Мину Ольговну пожаловать с сыном на гощение в Весь Новосельскую.

В это-то время Ива Олелькович слушал чтение книги, глаголемой Гронограф, про Кощея, и начинал воспламеняться словами иерея Симона к славе; но посланный от Мины Ольговны помешал ему; с досадою согласился он идти к матери.

Призвав к себе Иву Олельковича и зная все скрытые в нем нити, которыми можно было иногда управлять им, Мина Ольговна прежде всего дала ему пряную коврижку, напоила медом и потом стала к нему вести речь о женитьбе.

— Нетуть! — отвечал он ей.— Пойду на войну, поганых бить!

Мина Ольговна не смела противоречить.

— И на войну пойдешь, мое дитятко, сперва оженись; мое дело тебя благословить на женитьбу, а на войну тебя сама жена отпустит, сама снарядит тебя, сама подведет тебе коня богатырского.

— Ой? — отвечал Ива.

— Да, да,— продолжала Мина Ольговна.

— Ну! — вскричал Ива.

Мина Ольговна поняла значение этого отрывистого звука. Должно было торопиться.

Начались сборы.

VIII

Таким образом, Ива Олелькович соглашается соединить свою участь с прекрасной Мирианой; родительница его Мина Ольговна уже расчесывает ему густые *космы*, ведет в кладовую отцовскую, предлагает ему выбрать одежду по сердцу. *Терлик* — Венедецкой ли парчи, из *Перского* ли *изарбата;* или оксамитный *зипун со схватками* алмазными;

кожух ли *оловира Гречкого, кружевы златыми* и *роеными ошитый,* златом украшен и иными хитростями; или кафтан покрою Ляхского; пояс — шелковый ли с златыми *дробницами* или шитый жемчугом; *обяз*[1] златой с *калитою*[2] и *тузлуками*[3], шапку *морховую* или *мухояровою*[4] с гарлатным околышем или соболью *душчатого соболя.*

Все *отнее* наследство разложила Мина Ольговна перед сыном своим, выставила перед ним бархатные *сапози,* шитые *волоченым золотом,* и *сапози зеленого хъза*[5]. Но Ива не глядит на одежду шитую; удатное сердце его вскипело, когда он увидел на стенах развешанное *деднее стружие!*

Богатырские подвиги Полкана, Бовы, Добрыни Рязаныча приходят ему в голову; перед ним на стене лук-самострел, броня кованая и броня кольчатая: тут Татарский куяк[6], тут щит, выложенный тремя буйволовыми кожами; там лук разрывчатый с тетивою из оленьих жил и стрелы из трости дерева, перенные орлиным крылом, перевитые шелком и златом, с кованым копьецом; в одном углу: доспехи, оплечи; в другом: парчовая налушня[7], щиты червленые кованые, *колонтыри* злаченые, сулицы, *корды, байданы,* сабли булатные, мечи каленые, седла кованые, пращи златом украшены и иными хитростями; шеломы златы, узды с серебряными червчатыми кольцами; панцири Немецкие, шапки железные, яловци власяные и переные. Чудная оружница! Из глубокого сундука вынимает Мина Ольговна одежду богатую. Зовет к себе Иву.

Не внимает Ива словам матери, чтоб примерять одежду нарядную; он вооружается. На нем уже шапка кованая с переным яловцем, огромный меч привешен к правому боку; он натягивает уже *кощатый лук,* приставляет каленую стрелу и метит прямо в глаз своей матери. Убил бы он ее в своем воинственном исступлении; но *бог не дал радости*

---

[1] Пояс.— *А. Б.*

[2] Кошельком.— *А. Б.*

[3] Кожаный мешок. Делается из коневьей и бараньей кожи, в нем кочевые Монголы квасят молоко, держат воду и другие жидкости.

[4] Шелковая разных цветов материя.

[5] Сафьян, тонко выделанная крашеная кожа.— *А. Б.*

[6] Латы, по-Татарски. *(Прим. Вельтмана.)*

Татарский куяк — броня из наборных металлических пластин, нашитых на ткань,— был весьма распространенным в русском войске XV—XVII вв.— *А. Б.*

[7] Кожаный футляр для лука.

дьяволу: Мина Ольговна вскрикивает, закрывает лицо руками, бежит вон из ризницы. Преследуя ее, молча, Ива выходит на высокое крыльцо, спускает стрелу. Шипит стрела и вонзается в дорогую самоцветную птицу, рекомую *паву*, пава вскакивает, взмахивает крыльями, испускает пронзительный крик и клубится по земле. Ива подходит к ней и одним махом меча сносит паве голову.

Первая удача есть добрый вещун сердцу.

Вооруженный Ива ходит вкруг двора своего, все рубит и по́лет.

Устрашенная Мина Ольговна высылает к нему посла, дядьку Тира. Идет посол на широкий двор, кланяется в пояс удалому доброму молодцу Иве:

— Ох ты гой еси, чадо мое милое, удатный наш барич, милостивец. Прислала меня к тебе твоя матушка править челобитье великое: не бей ты, не губи птицу дворовую, иди де к своей матушке, сотвори ей поклон низменный, упокой ее сердце материнское!

— У-у-у! — закричал Ива. — Снесу я колечище буйную голову! разрублю тебя наполы[1]!

— Ох, не ты, государь, снесешь мне голову, а родная твоя матушка перебьет мне хребет, разнесет буйную голову наполы, сошлет меня по свету белому. Тебе, государь, матушка приказывает, а ты, свет, не послушаешься, а на холопство падет вина, и казна, и пагуба; бьет без вины не про дело! Молюся ти, сотвори милость, покорствуй родительнице, свет Олелькович! Не видал я от тебя до сей поры *притки* и скорби!.. Умилися, государь!

Ива Олелькович выслушал молитву пестуна Тира, сжалился над его слезами, идет к своей родительнице.

Смотрит он с умилением на слезы материнские, расстегивает обязь мечную, вешает лук и стрелы в ложнице своей и наряжается, как долг велит.

Собирается и родительница его, надевает *поняву*[2] с частыми сборами, надевает *телогрею* изарбатную, надевает *кику*[3], а сверх нее *убрус*[4], шитый жемчугом; надевает

[1] На части, пополам.

[2] Нижнее женское белье, род юбки.

[3] Род шапочки, женский головной убор, который носят под фатою или под повязкою.

[4] Женский головной платок.

тюфни[1] с каблуками высокими, шитые по сафьяну золотом; на шею *ожерелок*[2] из беличьих хвостов; берет ширинку златотканую. Садится на лавку, сажает и Иву. Молча Ива Олелькович исполняет ее приказание; но он занят богатой своею одеждой.

Кончив сборы, Мина Ольговна говорит своему сыну наставления, как кланяться невесте в пояс, а отцу ее и матери земно; как сидеть и молчать, покуда не поведут к нему речей; как не брать помногу гощенья и снеди; как смотреть на невесту не спуская глаз.

Кончив наставления, Мина Ольговна встает с места, приказывает встать с места и сыну своему; приближается к образам, заносит руку ко лбу, останавливается и приказывает Иве Олельковичу молиться богу *на добрый час* и делать то, что она будет делать.

Ива Олелькович исполняет беспрекословно ее приказание; но смотрит не на образа, а на шитые золотом полы зипуна.

К крыльцу подвозят крытую сафьяном повозку. Пестун Тир, старая мамка, все холопы домовые стоят на крыльце, провожают Боярыню и барича благословениями; вся челядь высыпала на двор. *Возница* приподнял бич, колеса заскрыпели. Провожающие, вооруженные вершники, несутся вслед за повозкой.

По торной дороге кони быстро взлетели на гору; открылся широкий Днепр, остров, покрытый скалами, и тенистые, шумные пороги. Выше порога *Струбуна* дорога сворачивает влево, идет яром в Новоселье.

Ива Олелькович, как предок его Ива Иворович в молодости, любит погонять сам; он не жалеет ни коней, ни матери своей, которая во время всей дороги тщетно умоляет его ехать тише.

Под самым Новосельем кони несутся с горы заячьим скоком; у Мины Ольговны занимает дух.

Но вот село, вот и Боярский двор. Возница прикрикнул на коней: стянул левую вожжу, головы их завернулись;

---

[1] Вышитые золотом сафьянные на каблуках черевики.

[2] Род нынешнего боа, ошейник из пушных мехов; носили только во время дороги, в холод. *(Прим. Вельтмана.)*

В основе домысла — «Слово о полку Игореве». «Един же изрони жемчюжину душу из храбры тела чрес злато *ожерелия*». Значило — ворот, нашейное украшение.— *А. Б.*

очертив полукружие перед косящатыми воротами Боярского двора, повозка проносится по широкому двору, и подле крыльца скрып умолкает.

Жданых гостей встречают.

Сам Боярин Бойборз Радованович выходит, сопровождаемый дворецким, ларечником, ключником, однодворцами, знакомцами, слугами, холопами и вообще всеми домовинами и дворовою челядью.

Он высадил Мину Ольговну из повозки и повел на крыльцо, повторяя: «Прошаем, прошаем!»

Ива следовал за своею матерью; расправив на голове космы в дверях горницы, он, по привычке, надевает опять свою шапку мухояровую, с околышем соболиным; но попечительная родительница не спускает с него глаз, и потому, при сотворении молитвы, он снова обнажает голову свою, а Мина Ольговна берет его за руку и с радостною улыбкою обводит кругом лавок, на которых сидят хозяева и гости. По очереди все встают, кланяются, целуются с Миной Ольговной и поклоняются сыну ее. Все это делается чинно, молча; иногда только слышно: « В честном ли здравии, государыня матушка?» — «Слава богу!» — «Слава богу!» — «Слава богу! лучше всего, государыня!»

Ива двигается боком за матерью; но поклоны его низки и медленны. Мина Ольговна должна часто ждать, покуда он выпрямится, чтоб продолжать обход и здравствование.

Мину Ольговну с сыном сажают за почетные места.

Начинается *гощенье* и заздравное питье. На великих подносах, уставленных налитыми полными рюмками, разносят пекмез[1], разносят гроздие смарагдовое Цареградское; потом пиво ячное в златых кнеях[2], потом сукрои ковриг злаченых, сыпанных кимином, потом черницу, брусницу, подслащенную сырцем, костяницу, клубницу, ежевицу и княженицу.

Потом кисель калиновый, сыпанный сахаром.

Потом черемешники, потом сливовицу, потом пьяный мед...

Потом *гибаницы*...[3]

---

[1] Сироп из груш или яблок.
[2] Кувшинах.
[3] Крендели.

Потом черешенье, вишенье и орешенье; в узорочных *плетеницах пряженицы*[1], дивный мед...

Но вот — отворяются двери, несут чарки с Гречким вином; вслед за подносом выходит красная дочь Боярина Мириана.

Она *в япончице на отборном сороке соболей;* повязка из *объяри*[2] *серебряной* с кистями, низанная зерном[3] восточным; на шее у нее *скатный жемчуг* и гривна[4] золотая *крещатая,* запон шелковый с *дробницами,* на ногах *чарки*[5] сафьянные шитые, пояс шит бисером *скатным* и самоцветными камнями; *обручи*[6] кованые, саженные яхонтом лазоревым.

Прекрасна собою Мириана; из-под *обнизи*[7] белокурые волосы заплетены в широкую решетчатую косу, со вплетенными нитками золотыми и жемчужными; глаза Мирианы черны, взгляды не робки, лицо нежно, бело и румяно. Она обошла гостей, поцеловалась с женщинами, поклонилась, опустив очи, мужчинам... и между тем как приближалась она к Мине Ольговне, Ива Олелькович был уже предупрежден, что это его суженая; он встал, и, когда подошла она к матери его, он протянул голову и ожидал, что и к нему подойдет красная Мириана, и его поцелует три раза; но Мириана взглянула на него *глумно*[8], как *на Мурина,* и отошла прочь.

Уста Ивы пришли в обыкновенное положение, но очи перестали разбегаться на все стороны; он забыл про сладкий кусок ковриги, который держал в руках, долго бы не сел на место, если б заботливая Мина Ольговна не дернула его за полу зипуна и не усадила.

Когда первый ряд угощения заключился выходом Мирианы и у гостей развязался язык от сливовицы, пьяного меда и Гречкаго вина, общее молчание и шептанье соседок прервалось беседой:

---

[1] Вообще пирожное, от слова *прягу* — жарю.
[2] Драгоценная бархатная материя.— *А. Б.*
[3] Бисером.
[4] Здесь: шейное украшение.— *А. Б.*
[5] Род черевиков из сафьяна или кожи.
[6] Кольца на сгибе кистей из меди, из серебра или из золота; древние браслеты.
[7] Повязки.
[8] Насмешливо.

— Издетска не терплю кимину, родная! чему глумно глаголати!

— Ой, осударыня? Я Гречкаго ливана не улюблю, душу томит.

— Ведут речь, что у Кыеве новый *святец* явился, да поганые Тохары не пускают людей приложитися к мраморной *корсте*[1] и принести требу!

— Мурины нечестивии! пошли на них, господи, огневицу велию!

— От онуду же недобрая сия повесть?

— Посылала, осударыня, вершника, посланца ко огумну, в стольный град, привести миру, да поставить светец перед угодником... не пустила Тохара проклятая!

— Ох, поганые Тохары! — произнесла, воздыхая, одна из кумушек хозяйки.— Я жила в Киове в динь, когда Князь избеже из града и вси Бояре, и внидоша во град поганые! Внидоша в домы и в церкви, и одраша двери и разсекоша, и трапезу чюдную одраша, драгый камень и велий жемчюг! и поимаше хрести честные и иконы бесценные одраша! и найдоша кадии злата и сребра на полетех и в стенах; и многи церкви и монастыри пограбиша; чернче же в чернице облупиша и неколико избиша!..

— Ляхи да Литва, осударыня,— вскричал один Боярин,— нелепее уже Татар! Бирючь, Татара́, взял свою *виру* по обычаю, да и седи в упокое; коли, коли Мурзе на поклон ити; а Литвины *скору* сняли! Что *Весь*[2], то полк Ляхский, что изба, то шляхта!

— Тс,— сказал хозяин разгорячившемуся гостю своему, показывая на Литовского Хоронжаго, который был на другом краю горницы.

Но Пан Хоронжий, Воймир, слышал нечестные слова; он подошел к гостю, который поносил Литву, и, закрутив усы, произнес гордо:

— Пане, Татары поплениху стары Кыев и вся власти Руси; как черны мрак гро́зе все зе́мли; для че́го взмолиху се жалостиво до Гедимина, би спа́сал от Та́тар злостивых и крутых? Для чего пришел Гедимин и мечом Кублаева сына захва́ти, и опростал Русеку зе́ме от вргов лютых?

— Не Кублаева сына мечом захватил Гедимин, а Киевские власти! Чи ли побиты Татары? Чи ли упразднилась

[1] Мраморной гробнице.— *А. Б.*

[2] Селение.

Русь и вся земля от нечестивых, коли Гедимин нашими пенязи дань уплатил Татарскому Хану и искупил главу свою за Кублая?

Хозяин видел, что слова поселят размирье между гостями; перервал разговор.

Воймир закрутил усы, тряхнул мечом, перепоясанным на *кунтуше* с откладными рукавами, стукнул кованым каблуком о каблук своих желто-сафьянных сапогов и вышел.

Воймир с отрядом легких всадников давно уже стоял в Веси Новоселье. Часто бывал в доме Боярина и терпеливо слушал рассказы старика о подвигах его собственных и о подвигах его предков, служивших Князю Юрию.

Воймир видел не в первый раз дочь Боярина, и Мириана знала Воймира.

Ей нравились его быстрые глаза, его красивый стан, его шитая одежда, его борзый конь, его меч, его *капе́люш*[1] с перьями.

А ему нравилась она — вся без исключения.

IX

Между тем как в светлой горнице Боярина гости занялись шумной беседой и начинался второй разнос угощенья, Мириана возвратилась в свой терем и села подле оконца. Ее няни засмотрелись на гостей; она была одна.

Солнце скрылось уже за Днепром, вечер был тих.

Мириана задумалась: ее хотят выдать замуж, не спросясь у ее сердца. Может быть, ему уже мил кто-нибудь?

Вот Мириана слышит тихие звуки голоса; кто-то под окном ее, в тени развесистых вязов, напевает песню; не на родном ей языке, но понятном ее сердцу:

Вздую ве́тржи, буйны ветржи вздую!
Взбурилем-се дух и сердце,
Радость как слуне́чко за́йде!
В нядре, ту, стена́нье жалостиво,
Те́пла крев оле̂дила, ома́рзла!
Мо́е мила, ма милишка диева,
Юж отда́е сердце й веру другому!
Не! не мо́ге де́ле жизню тра́ти;
Душа мо́я душица, отлети!

[1] Шапка.

Сыра, хладна земе, пий кревь теплу мою!
Дьева, дьева, богзмилена дьева!
Розе́ну и стройну кра́су сьейсе![1]
Вла́сы златоствуйчи вьёвье, вьевье[2],
Зира як слуне́чко, очи небе ясне,
Лице беле, на лице же румянцы!
Дьева на́-дивь сличнa, мила ве́ле!
Дай ми, дай ми верну свою руку!
Объял бы ти, девче, пръжал бы ти к сердцу!
Вступи на ножицу, вступи на белитку!
Ко́нечик-се в густей трави па́се;
Седим на конику, прытко: сердце к сердцу,
Отъедем с тобою во краины да́льни!

Песнь утихла.

— Мириана!

— Воймир!

Воймир что-то говорит тихо, тихо.

Ответ Мирианы еще тише.

Высокий терем, разжелезенное[3] оконце стерегут Мириану.

X

Во время второго разноса угощенья Боярин и жена его занялись Миной Ольговной, увели ее в одриную горницу, и между ними начались разговоры.

Так как молодыми людьми в старину занимались менее, нежели теперь, то и на Иву Олельковича, кроме его родимой, никто не обращал особенного внимания.

Во все время он вел себя по заповеди своей родительницы; сидел смирно и молчал; только одна соседка старушка побеспокоила его нескромным вопросом: не из-под Кыева ли он?

— Нетуть! — отвечал Ива и продолжал осматривать всех с ног до головы и сравнивать свою одежду с одеждою прочих гостей. В подобном рассеянном состоянии чувств у него вышла из памяти и невеста; он еще не был побежден ее красотою.

Когда хозяева, а вслед за ними и Мина Ольговна, кон-

---

[1] Розовой и стройной красотой сияет.
[2] Вьются.
[3] Оконце с железною решеткой.

чив переговоры, показались в светлице, на дворе уже смерклось. Гости заторопились домой.

Мина Ольговна также оправила на себе *ожерелок,* накинула японьчицу, подняла сына со скамьи, вложила ему в руку шапку и стала прощаться.

С особенным вниманием провожали ее: хозяйка до дверей сенных, а хозяин до крыльца. На слова:

— В неделю прошаем на красный калач[1].

— Ваши гости! — отвечала Мина Ольговна и села в повозку.

— С Ивой Олельковичем! — продолжал Боярин, обнимая будущего своего зятя, который уже надел свою шапку.

— Ваши гости, — повторила Мина Ольговна.

Уселись; поехали; заскрыпели опять *колы*[2] у повозки.

Скоро скрылась из глаз едва уже видная звонница Новосельская, слились с темнотою ночи и дом Боярина, и Весь его.

Мина Ольговна, занятая размышлением о судьбе сына, молчала; Ива дремал; повозка скрыпела; кони провожатых топотали ногами. В отдалении, влево, шумел Днепр; вправо шумела дебрь.

Дорога была не дальняя, и потому скоро приехали они домой. Домовины, по обыкновению, встречали их у крыльца, высадили Боярыню и на руках понесли барича. Он спал богатырским сном.

XI

Нужно ли говорить догадливому читателю, что дела с той и с другой стороны ладились как нельзя лучше.

Явились к Боярину Боиборзу Радовановичу сваты с скоморохами, с бубнами и сопелками. И начали они петь:

Как ходил ловец, сударь Ива Олелькович,
По долам, по лесам, по высоким по горам;

---

[1] У древних Славян ходили в гости на красный калач в Ильин день или в день *имянин.* Богатые праздновали три дня. Гости сходятся, пьют, едят и поют, потом разламывают на части красный калач, испеченный из пшеничного теста на дрожжах и осыпанный *проскурником.*

[2] Колеса.

Увидал ловец молодую лань,
Златорогую, среброрунную,
Молодую Мириану Боиборзовну!
Как пускал во нее калену стрелу!
Златоперая стрела зашипела, загула́,
И попала ей во белую грудь.
Молодая лань златорогая,
Молодая лань среброрунная
Ускочила со стрелой на широк Боярский двор;
По следу ее пришли мы ко тебе, сударь Боярин,
В златоверхий во терем.
Ты, Боярин, наш честной...
Будь ты к нам, осударь, члив и милослив;
Ты отдай младую лань осударю Иве Олельковичу.

— Есть у меня зверь, не знаю, будет ли вам по нраву,— отвечал Боярин сватам...

И точно: вывели к сватам на показ какого-то зверя, закутанного в нескольких шубах навыворот, обвешанного пеленами и покрывалами.

Сваты подходят к нему и поют:

Встрепенись ты, младая лань,
Златорогая, среброрунная!
Ты, младая Мириана Боиборзовна!

— Их!..— вскричала младая лань и сбросила с себя все шубы и покровы.

— Ух! — вскричали все сваты и разбежались во все стороны.

Вместо младой лани Мирианы Боиборзовны стоит перед ними старая мамка боярышни.

Боярин хохочет.

Заговорила мамка нараспев:

— Что ж вы, добрые сваты, испугалися, и от лани молодой вы во все концы пометалися? Есть под крылышком моим мило дитятко; а то дитятко заветное, не отдам его я вам за земной поклон. Принесите-тко на блюде сребро, золото; на подносе принесите зелено вино! Да вы спойте песнь хвалебную ловцу-молодцу!

У мамки в запасе было в руках серебряное блюдо, каждый из сватов положил по нескольку сребреников. Она успокоилась; вынесла сватам на подносе питья медвяного; просила их садиться и ждать *доброго часа.*

Вошла хозяйка. Начались переговоры.

Никто не слыхал, что за речи вели между собою Боярин, Боярыня и сваты. Разрумяненные от хмельного меду, который несколько раз им выносили, они наконец встали, поклонились земно и на слова Боярина:

— Прошаем в Воскресный день в неделю на красный калач! низменный поклон государыне Мине Ольговне! — поклонились еще несколько раз.

В Воскресный день, в неделю, Мина Ольговна была с сыном своим на обеде в Новоселье. Дело было решено несмотря на то, что будущий зять Ива Олелькович показался Боярину немного прост; но за богатство он полюбил его, а за страсть Ивы к оружию и за воинственный дух прозвал богатырем.

И нельзя было не дать ему этого прозвания: Боярин хвалился Мине Ольговне своим бытьем, возил казать свои Боярские палаты. Когда вошли в камору оружейную, Ива, не говоря ни слова, снял со стены шлем, надел на голову; снял меч, прицепил к поясу, протянул уже руку к налушне, но Мина Ольговна шепотом усовестила его и разлучила со шлемом и мечом. Когда появилась Мириана, чем-то опечаленная, Ива Олелькович замолк и не сводил с нее глаз, не по одному только завещанию матери, но и по какому-то чувству, которое одинаково жжет ум и глупость, сердце нежное и сердце каменное, цветущую молодость и преклонную старость, голову, украшенную светлыми кудрями и покрытую снежными охлопьями.

Мириана не смотрела на жениха своего; иногда выкатывались из глаз ее слезы; но она скрывала их от отца и матери, потому что предание говорит:

«Аще ли отец женити сына восхощет, сваты испросят девицу у отца и матери; елико же отец ожени сына, то не гляди толико на девицу, колико на люди, от коих она; ниже дщерь не смеет сказати: не пойду за того, за кому дают ее в замужество».

«Горько расстаться с девичьей волей!» — думала Мина Ольговна и ласкала будущую свою дочь.

После трапезы благословили и помолвили Иву Олельковича и Мириану Боиборзовну; но, когда хотели ей надеть золотое кольцо на палец, чувства ее оставили; кольцо и Мириана покатились на пол.

Мириану вынесли в терем, а Мина Ольговна с сыном

поехали домой, приготовляться к свадьбе, варить канун и яичные пива.

Солнце не прокатилось семь раз вокруг неба, свадьба была уже сыграна, несмотря на слезы Мирианы Боиборзовны; но свадьба была сыграна по древнему обычаю; Боярин не любил нововведений и простоты.

Еще в день обрученья выбраны были из знакомых соседей, Бояр и Боярынь, и назначены в должности: кум, венчанный ручной деверь, старый сват, прикумок, Воевода и Тысяцкий — никто не имел права отказаться от сих должностей. Это был святой закон, строго исполняемый.

В день свадьбы Иву Олельковича нарядили в богатую одежду; швецы сшили ему новый, богатый, червонный оксамитный зипун с частыми борами, со схватами изумрудными в золоте, с петлями, обнизанными жемчугом бурмицким, околыш и обложки по *воскрылиям* и кругом зипуна, шитые золотом, с камениями самоцветными; надели на него шапку парчовую зеленую с кистью жемчужной.

Когда наряд его был кончен, кум, прикумок, ручной деверь *в колах,* Тысяцкий с пустосватами и гусляр верхами отправились к невесте; а Ива Олелькович, разряженный, несмотря на увещания матери, отправился вдоль по селу; любопытство дослушать сказание про Кощея завлекло его к иерею Симону.

Кум, прикумок и Тысяцкий с пустосватами, приехав в дом невесты, уселись в светлице, где стол уставлен был снедью, почагами, яблоками, грушами, вареньем, калинником, орешеньем, вишеньем и прочими ягодами. *В купах*[1] и в серебряных кнеях: мед, сусло, пекмес и разные ягодницы.

Стол был украшен золотою и серебряной посудой: брашинами, стопами... В углу на лавке стояла серебряная лохань для умовения рук и шелковое, шитое невестой полотенце.

Ручной деверь вошел в горницу невесты. Она уже была готова; только оставалось убрать ей голову. Мириана сидела перед небольшим зеркалом, которое перед нею держала ее подружка. На ней была сорочка, шитая узорами, разноцветными шелками, с рукавами широкими и длинными, но собранными около зарукавья; риза из объяри белой сереб-

---

[1] Кружках.

ряной, с кистьми и кружевами; запоны изумрудные; пети жемчуга бурмицкого; пояс, низанный камнями самоцветными; на руках обручи *чекан золот*, алмазами саженный и яхонтами червчатыми; на шее ожерелье жемчуга скатного; на груди *гривна* златая, крещатая, с крестом алмазным; на пальцах перстни многоценные.

Вот уж расплели Мириане косу, расчесали голову, наложили кику, шитую золотом и жемчугом, накрыли златотканою фатою, осыпали голову хмелем, накинули на плеча парчи Венедицкой на отборном сороке соболей.

Мириана сидела почти без памяти, но ее подняли, она очувствовалась; ручной деверь взял ее за руку и повел в светлицу; отец и мать ожидали ее с иконою и с хлебом-солью.

Благословили Мириану. Поклонилась она в ноги отцу и матери.

Деверь сдал ее на руки куму и принял образ золоченый с *чепью*.

Кум с прикумком посадили ее *в воз, оболоченный червленою кожею и подложенный оксамитом зеленым; в возу* четыре *сголовья* оксамитных; впряжены были в воз шесть жеребцов вороных, а на жеребцах шлеи бархат багрец, а *пряжи* и *кольца* и *пупуши* на шлеях и на уздах золоченые. Сели с нею две Боярыни, да сваха, да деверь с иконой; а кум с покумком в другой воз; а Тысяцкий с пустосватами, *яко войницы*, во всеоружии, верхом.

А с ними стяговщики верхом, да гусляр, да скоморох со скомонями в пестряди, да знахарь в белом хитоне, с красною перевязью писаною, в ушатой шапке с волчьей обложкою, на поясе хитрости.

Покуда все усаживались, приятельницы, домовые девицы пели прощальные песни.

Когда все уселись, как долг велит, поезд двинулся по дороге к селу Облазне. Гусляр ударил в гусли, песельники запели.

Между тем в селе Облазне хлопоты: пора отворять церковь; пора жениху принимать благословение родительницы; а жених и не думает о том: он слушает чтение *Гронографа*.

Прибегает Тир и Лазарь; зовут отца Симона в церковь, зовут барича к Мине Ольговне; а барич и слышать ничего не хочет, кроме сказания о Кощее бессмертном.

И кто бы не любопытствовал знать: как приемыш Лы-

беди, сын рыбаря с Боричева холма, растет не по годам, а по часам; как Лыбедь, полюбив его как родного, женит на своей дочери, и сын рыбаря наследует богатство Кощея; как Кощей с досады сохнет, сохнет, сохнет, как паровая лучина и наконец, обратившись в *злую силу,* покрытую морщинами, с огромной всклокоченной головой, с впалыми очами, носится по миру, похищает красных невест и жен и уносит их за тридевять земель в тридесятое царство...

— Ой?.. в тридесятое царство? — вскричал Ива Олелькович, разинув рот.

— Невеста, невеста едет! — вскричали прибежавшие новые посланцы от Мины Ольговны.

Ива не внимает призваниям; он непременно хочет дослушать сказание; а сказания еще и половина не кончена.

Хитрый иерей Симон видит, что добром Иву не выживешь; пришлось выживать обманом.

— Государь Ива Олелькович, невеста твоя едет, иди навстречу, абы хищник Кощей не исхитил ее!

— Ой? — вскричал Ива; подумал и пошел скорыми шагами домой.

В это время невеста подъезжала уже к селу Облазне. Сваты Ивы Олельковича и Бояре верхами, с знаменами и песнями встречали невесту при въезде в село и проводили до церкви, где Ива стоял уже в дверях.

Обряд венчания довольно известен всякому: к чему описывать его?

Когда жениху надели на руку кольцо золотое, а невесте железное; когда иерей поднес им испить вина, а Ива хлопнул о землю стопу золоченую и растоптал ее ногами; когда певцы запели *Исаия ликуй* по-Гречески, ибо большая часть служения и слов еще не были вполне переведены или считались столь же непреложными, как Аксиос, Аксиос! обряд кончился.

Здесь должно заметить, что венцы, возлагаемые на венчаемых, прежде были кованые железные, а не листовые серебряные, как ныне, и потому их по необходимости держали девери над головою, а не надевали на голову.

Кум, старый сват и все присутствующие поздравили жениха и невесту; долго длилось целованье, наконец невесту повели из церкви; за ней следовал весь ее причет; потом шел Ива с своим причетом. *Встрешники* приняли невесту на крыльце и повели под руки чрез сени.

Вошли в избу, на *стану*[1] *молодые* ударили челом в землю.

Посаженый отец и посаженая мать встретили их хлебом и солью, благословили иконами и посадили перед поставцем, на котором стояли *суды* и *овощники*.

Едва только они сели, *знахарь* поднес невесте *поминку*, приговаривая: «Не внидь сюдо, стайник бесови, скверное сердце, седьми лукавых жилище, вепрь диавола, велик сосуд злобе, главня содомского огня, пес неведомый, змий тмоглавый, огню геенскому пища, сатанин провенец! не внидь сюдо!»

После него все прочие гости также стали подносить поминки.

Иной на серебряном блюде *копу златниц*, иной икону в ризе кованой, иной икону в ризе, шитой зерном бурмицким, иной камку с золотом, иной *барилку* вина Фряжского, иной полутретьядцать сребреников, иной укрой хлеба пряного, иной разных овощей и плодов, иной *сгибней*[2] печеных...

Таким образом стол перед ними уставился подарками, сосуды и овощницы наполнились золотом, калачами, пирогами, печеницами, караваями и овощами; гости сели в круг стен светлицы на лавках, покрытых оксамитными полавочниками.

Гусляр заиграл, хоровод девиц запел, начались пляски, свадебные красавицы плясовицы по очереди выходят на *середу* и, смотря себе на ноги, выделывают разные узоры и плетеницы ногами.

Потом свахи обнесли всех гостей заздравным питьем.

Потом все гости стали прощаться с молодыми, а должностные свадебные люди принялись опять за дело.

В новой избе, на клети, под пологом, настлали они житных снопов, а на них постлали сорок соболей да изголовье; в головах у постели поставили кадь, наполненную пшеницею, житом и просом, а в нее каравай и венчальные свечи. Потом повели молодую в *одрину*[3]; потом свахи сняли с Мирианы и фату золоченую с бахромою, и ферязь шитую с ужицами и кистями, и кику, и подвески с бурмицкими зернами и камнями честными...

---

[1] Место при входе, у порога. «Челом ударили на стану в избе»

[2] Крендели.

[3] Спальня.

Надели на нее свиту белую, шитую лентами, обвязали крепко-накрепко девичьим поясом, уложили и накрыли шелковым одеялом.

Тут начался приступ Ивы *с своими* к дверям одрины, которую защищала сторона молодой; Ива не шутя отметал всех от двери, отломал замок, и за ним закрылись двери.

Тысяцкий с пустосватами, вооруженные с ног до головы, расположились на стороже вокруг новой избы.

По обыкновению, они должны были провести таким образом ночь, до белого света; Тысяцкий похаживал с мечом в руках около красного оконца и прислушивался...

Прочие свадебные стражи сквозь дремоту думали уже о *пирожном столе* и *хлебинах*[1].

Едва только в доме все утихло... небо, как нарочно, заволоклось облачками; одно из них, потемнее прочих, налетело на луну и окутало ее плащом своим. Вдруг из-за ограды показалось что-то.

— Кто-сь? — вскричал один из сторожей. Без ответа, как будто толпа теней, накинулись на Тысяцкого и всех его воинов и, подобно облаку, окутавшему луну, без шуму, без крику, окутали их и исчезли с ними в темноте.

Вслед за ними другая толпа, как будто на крыльях, поднялась к самому красному оконцу; оно растворилось; что-то черное провалилось в избу. Вдруг осветило ее, потухло. В избе кто-то вскрикнул, умолк.

Из окна потянулись тени назад; окно захлопнулось.

Толпа свернулась; все утихло; вдали послышался топот коней.

«О!» — раздалось в новой избе. «Ох!» — раздалось со всех сторон, около новой избы.

XII

Еще не рассветало, а все уже верх дном в доме Мины Ольговны: взбурился Ива, ходит исступленным по хоромам и по двору, грозит смертью всем и каждому, кто попадет под руку; следит его Мина Ольговна, ломая себе руки; пробирается за ним по стенкам пестун Тир, протирая глаза,

[1] У древних Славян после свадьбы было обыкновение давать *пирожный стол* в доме жениха, после чего тесть угощал зятя, что и называлось *хлебником*.

отяжелевшие от хмеля и сна; стучит костылем старая мама барича, творит молитву и ограждает крестом каждый шаг свой вперед; во всех дверях стоят толпами домовины и слуги, прикрыв левую ланиту левой ладонью в знак ужаса, удивления, горя и участия, и держат правую руку на готове к крестному знамению.

— Нечистые духи в образе медведей облапили Тысяцкого и всю охранную стражу, носили, носили по воздуху и потом разметали, еле живых, по всему двору! — говорили друг другу устрашенные домовины.

— Нечистый дух в образе крылатого змея похитил невесту барича! — шептали сенные боярские девушки.

— Государь ты мой, Ива Олелькович! Чадо мое милое, Ива Олелькович! — вопила Мина Ольговна, преследуя своего сына.

— Коня! — вскричал вдруг Ива, как будто внушенный сверхъестественною силою, сопутницею великих богатырей и храбрых витязей.— Благослови! — вскричал он опять, обратившись к Мине Ольговне.

— Ох нет, нет! Государь ты мой, Ива Олелькович, чадо мое милое! Нет! куда тебя бог понесет!.. Не покинь ты меня, родную свою матушку!.. где искать тебе жену милую? Похитил ее пес неведомый, змий тмоглавый! Унес ее вепрь дьявола! Слышала я заклинания знахаря, да не помогла свеча воску ярого от силы бесовой!

— Коня! — вскричал опять Ива, не внимая молитвам и слезам матери, и бросился бегом прямо в ризницу.

Часть третья

I

С лишком за четыре столетия до настоящего времени в Княжестве Киевском, в селе Облазне, на дворе Боярском столпились домовины, селяне, слуги и иная *простая чадь*[1]. В руках у Тиуна и у старост сельских была хлеб-соль, у иерея Симона четки, у дьяка ларец с крестом и кувшин с святою водою, у звонаря эпитрахиль, а у всех прочих шапки.

Все они пришли поздравить свою Боярыню Мину Ольговну с благополучным возвратом единородного ее сына, Ивы Олельковича, вместе с милою своею четой Мирианой Боиборзовной.

В ожидании дозволения войти в Боярские хоромы они слушали рассказы конюшего Лазаря про вещи чудные, дивные, про великого и могучего богатыря, про своего барича Иву Олельковича.

Обступив его со всех сторон, они, покачивая головами, в один голос вскрикивали: «Ахти диво-сь! эээ! сила хрёстная!» — и иногда даже крестились. Только иерей Симон, мних из Афонских гор, гладил бороду недоверчиво.

И кто ж бы поверил Лазарю, конюху барича и сказочнику? Впрочем, кто ж бы и не поверил?

Вот что рассказывал он:

---

[1] Чернь (Новгородская Летопись, 145 стр.)

— Скоро летел окаянный Кощей с Мирианой Боиборзовной, да и мы за них хоботом[1].

Вот проскакали мы в девять дней девять земель, девять царств; вот догоняем Кощея; а он, нечистая сила! видит погоню быструю, беду неминучую, бросает нам под ноги море глубокое; мы туда-сюда, вдоль по крутому берегу, нет конца! Не на чем переплыть моря великого!

Видим, летит туча синяя по *шире* неба. Взговорил к ней мой барич, сильный и могучий богатырь Ива Олелькович: «Ох ты, туча синяя, громовая, буря бурная! не ходи, не гуляй ты в безделье по поднебесью! Сотвори дело доброе, благодейное! перенеси нас, храбрых молодцев, сильного, могучего богатыря Иву Олельковича и верного его конюха Лазаря-сказочника, через море широкое! Подарю я тебе, туча синяя, за то калену стрелу».

Туча синяя послуша́ется и с великою тихостью на землю опускается. И становится на нее и с конем своим барич Ива Олелькович и верный слуга и конюх его Лазарь-сказочник.

Несет она нас чрез море широкое, шумит и гудит, гонит ветры буйные во все стороны, опускается на восточный брег.

Платит ей Ива Олелькович калену стрелу златоперую; отпускает с честью на поднебесье и скачет лисьим скоком через поля раздольные, через леса непроходимые, через горы высокие, вслед за Кощеем, не крёстною силой, а я за ним хоботом.

Вот проскакали мы еще девять земель, девять царств, догоняя Кощея поганого, слышим плач и стон Мирианы Боиборзовны.

Видит Кощей беду неминучую, слышит погоню близкую, вот уж барич напряг лук разрывчатый, метит в Кощея каленою стрелой, а Кощей, окаянная сила! вдруг заслонил нам свет божий кромешною ночью, мрак-полунощник облек *ширу* неба: ни ясного месяца нет, ни звезды, а в глазах все мерещатся со всех сторон Кощеи, со всех сторон слышен плач и стон Мирианы Боиборзовны! Куда гнать погоню?

Летит по поднебесью ночная птица филин ушатый, хлопает очами, а очи как две печи топятся!

Взмолился к нему господин мой: «Ох ты гой еси, филин

Хвостом *(Прим. Вельтмана.)*

Например, летописная «звезда с хоботом» комета *А Б*

ушастый, косматая птица! просвети ты ясными очами кромешный мрак, покажи, куда лежит путь-дороженька за тридевять земель в тридесятое царство! Отдарю тебя, филин, богато: поставлю тебе между глаз словно солнце алмаз».

Захлопал филин очами, захлопал крылами, прокричал диким голосом, выпучил очи, как две головни, летит и светит вперед, как светец. Вот скачем мы вслед за ним девять дней, проскакали мы оленьим скоком девять земель, девять царств, догоняем Кощея бессмертного, слышим стон и плач Марианы Боиборзовны.

Видит Кощей беду неминучую, слышит погоню быструю, близкую; проливает поперек пути реку огненную!

Едем мы, горюем мы вдоль берега реки огненной; ни переплыть, ни перелететь; сожжет, опалит, как лесной пожар!

Летит по чистому полю, по широкому раздолью вьюга-метелица. Взмолился Ива Олелькович: «Ох ты гой еси, вьюга-метелица, вихорь крученый! взвейся, закрутись, промети мне путь через реку огненную! Заплачу я тебе за службу богатым добром, золотым песком!»

Послуша́ется вьюга-метелица моленья Боярского, крутится, мечется во все стороны и идет столбом поперек реки; раздается огонь в обе стороны, разметает вихрь дно реки, словно улицу.

Вот мы едем вслед за вьюгою за метелицей вихрем крученым, выезжаем на правый берег, отпускаем вихрь в поле чистое, сами скачем вслед за Кощеем, не крёстною силой.

Догоняем мы Кощея в царстве тридесятом, близ великого города с девятью заборами, с крепкими бойницами и стрельницами.

Видит Кощей погоню близкую, чует свою беду неминучую! залетает скоро в город свой. Вот мы за ним в ворота — ан весь город, словно жернов, заходил ходуном!

Ездим мы, горюем мы вокруг города; стены вертятся, стены кружатся в обе стороны; а высокий хрустальный терем среди города, как смерч, стоит; а из терема слышен стон и плач Марианы Боиборзовны.

Тут-то, православные крестьяне, прилучилося нам горе великое! Ездим мы вокруг города, смотрим на него, горе мыкаем.

Вот подъехали мы к восточной стороне; увидели там гору великую, а в той горе пещеру глубокую, а близ пещеры

той сидит старец. Сидит он, горько плачет, слезы проливает; текут слезы двумя потоками, клубятся слезы по седой бороде, льются на землю рекой кипучею, крутят волною песок, ворочают камни, несутся прямо к городу.

— Бог помочь, дедушка! О чем плачешь, слезы проливаешь? — возговорил Ива Олелькович к старому дедушке.

— Как не плакать-ста, как слез не лить, осударь богатырь честной, не ведаю ни имени ни отчества!.. Живу я здесь безвыходно вот уже три сорока; была радостью и помогой мне клюка с корвою надолбою; была та клюка лавровая Ливанская; сам ходил за ней, проходил тридцать лет; сам рубил ее, прорубил семь годов; а Кощей, злодей, уморил меня, взял мою клюку, подпору крепкую! Недостало ему речной воды, чтоб пустить в ход шестерню городскую и вскружить весь город жерновом; дай, говорит, старень, слез твоих; а не дашь, отниму я у тебя подпору крепкую. Не поверил ему; о чем, думал-ста, плакать мне, горючие слезы лить, когда под ясным небом все красно и радостно, а в сердце тепло и на старости. Не дал ему я слез ни *в куплю* ни *в гостьбу*. Распалился злодей; хвать клюку мою, да и след простыл!

Еще горючее залился слезами седой дедушка, заклубилися слезы к городу; заходил, застучал город жерновом.

Возрадовался Ива Олелькович речи старика, догадлив был.

— Ты не плачь, не рыдай, старичок, не точи горьких слез, подопрись ты моею дубовою палицей; к уденью добуду тебе я клюку, добуду и свою Мириану Боиборзовну.

— Ой? — сказал старик радостно и перестал слезы потоком лить.

Вот не стало реки, перестал город ходуном ходить, молоть жерновом.

Понеслись мы стрелой к городским воротам. А там, на стороже, лежит красный рак с каленою клешней, вытулил на нас очи, ждет добычи.

Не долго думал, снаряжался Ива Олелькович: напряг тугой лук, пустил по каленой стреле в дутые очи красного рака; рак захлопал хвостом, ухватился клешнями за стрелы; а мы на пролет в ворота и городом скачем. Нет ни души; а слышим, вокруг нас шумят, говорят и под нос смеются; толкают коней и толпятся, припустишь коня — с криком прочь бегут, диво, и только! Весь город серебряной вы-

ложен плитой, а домы из цельных самоцветных камней; а на холме высоком середь города стоят алмазные палаты, сквозят, как вода, а пусты; лишь слышны там стоны и плач Мирианы Боиборзовны.

Подъезжаем к крыльцу; привязываем коней к хрустальному столбу; а голос из красного оконца: «Не ходи, Ива Олелькович, не губи ты жизнь молодецкую, не буди ты Кощея бессмертного; проснется, разломает шестерней твои косточки, смелет жерновом в мелкий прах и развеет по полю!»

Не слушает Ива Олелькович слезных речей Мирианы Боиборзовны, ступает на ступени высокой лестницы; я за ним хоботом. «Тьфу, сила нечистая! нога так и тонет и вязнет в алмазных ступенях!..

— К Боярину, к Боярину! честный иерей, сельский Тиун и весь крещеный люд! — вскричал вдруг, выбежавший из Боярских хоро́м, пестун Тир.

Лазарь умолк; толпа двинулась за мнихом и Тиуном на высокое крыльцо; застучали деревянные ступени, отворилась дверь в светлицу Боярскую.

Покуда вящшие люди села Облазны теснятся в дверях, проталкивая друг друга вперед, мы обратимся к прошедшему.

II

Вы слышали, богу милые читатели, рассказы Лазаря про его богатыря и храброго витязя Иву Олельковича; кажется, рассказывал он все вещи сбыточные, рассказывал красно, ни на одном слове язык его не споткнулся, подобно коню, на котором он следовал за своим баричем; но Лазарь, *покой бог душу его в царстве небесном!* был хвастун. Он взвел и взнес на своего барича небылицу в лицах. Жаль только, что перервали рассказ его: наслушались бы вы не такой небывальщины; поведал бы он вам то, что видел и слышал, и то, чего *видом не видал, слыхом не слыхал.* Срубил бы он вам красную избу у заморского зверя во лбу. Светла изба, словно день-деньской, велика изба, словно божий мир; в одном углу венчают, а в другом углу хоронят, в третьем пир идет горой. А как высока изба! куры по кровле ходят, с неба звезды клюют; да и лес-то какой! везут дерево, об Рождестве пройдет комель, а вершина на другой год об Масленице...

Много хитрых и чудных вещей знает Лазарь, да не со сказки Лазаря моя былина писана.

По-книжному вот как было:

Кто не помнит, как проскакали мимо пастуха Мины два храбрые витязя. Это были: Ива Олелькович и верный конюший его, Лазарь-сказочник.

Вот едут они путем широкою дорогою, скачут без отдыха, без усталости, не спуская глаз с синей дали. Давит Ива Олелькович своего серо-пегого коня железными коленями, погоняет его широким мечом по левому бедру. Пронесется по небу темное облачко, Ива Олелькович, осадив коня, осматривает, не закутался ли в него поганый Кощей с Мирианой Боиборзовной; летит птица пролетная, бежит зверь прыскучий: всматривается богатырь, не сидит ли на них нечистая сила.

Мчатся мои витязи, бегут мимо них поля, горы, леса, долины, болота, ручьи, катится солнце, летит время. Вот уже вечер.

Вот кони моих витязей едва идут. Пора на ночлег. Они не позаботились о пище; а голод говорит: если уже не время обедать и полдничать, то пора хоть повечерять.

Вот, проезжая подле леса, вдруг Ива слышит: вправо раздается плач младенца; остановился Ива; прислушивается; Лазарь также поворотил левое ухо — которым он лучше слышит — к лесу.

Плачет!

— Жилье, боярин! — говорит Лазарь.— Вот и тропинка в лес.

Скачут тропинкой. Вьется тропинка, извивается в чаще дерев.

Младенец все плачет впереди.

Приударил Ива коня.

Солнце закатилось. Ложатся потемки по лесу.

Младенец плачет вправо.

Дорожка тянется влево.

Задумался Ива: куда ехать?

Своротил с дороги на голос... Младенец плачет влево.

— Ох ты окаянный! — вскрикивает Лазарь, которому сучья обили глаза.

Пробирается Ива Олелькович сквозь трущобу. Он влево, а плач младенца вправо; он вправо, а вопли влево.

Ломает с досады Ива сучья; но вот один натянулся и

так ударил его по лицу, что он выхватил меч и начал рубить и вправо и влево, и виноватых и невиноватых.

Вдруг раздается над ним хохот... Ива давит коня, торопит мечом, ломится чрез чащу, хочет догнать насмешника; а насмешник опять хохочет ему под нос.

А младенец кричит назади, в нескольких шагах от наших витязей; а ночь затопила мраком весь лес.

— Господин барич! то Леший нас водит! — сказал Лазарь, крестясь.— Подождем свету божьего.

Ива подумал, послушался своего конюха; и вот наши герои слезли с коней, пустили их щипать листья густых кустарников, а сами залегли.

Лазарь чувствует жестокий голод; он не может спать, он бредит пищей и питьем. Только что задремлет... кусок под носом; хочет укусить... и очнется; только что глаза закроет... мед по усам так и течет, а в рот не попадает; рассердится Лазарь, отскочит и очнется.

У Ивы Олельковича только Кощей и Мириана Боиборзовна в мыслях; он храпит уже, и ему все кажется, что скачет вперед.

Читатели могут подумать, что легко выбраться на прямой путь, когда за нос водит Леший? Напротив, человек не Леший, а если чей-нибудь нос попадает ему в руку, то прощай, прямая дорога! кружит, кружит... не несколько дней, а годы! Однако же моим витязям покровительствовала судьба: они прокружили и проблудили в лесу только дважды семь дней.

Народился новый месяц; Леший пошел поклониться ему; а между тем Ива Олелькович и верный его конюший выбрались в чистое поле. Во все время питались они только младичием дубным; но Ива бодр, как будто тяжелые латы жмут не его плеча, как будто железная шапка трет не его чело, как будто голод безгласен, а жажда нема; только Лазарь устал, проголодался, *жалится* на судьбу.

— Ух! — наконец восклицает он и думает про себя: «Хоть бы избушка на курьих ножках навстречу!»

А избушка тут как тут, направо близ лесу.

Лазарь испугался; Баба-Яга представилась ему на мысль; а богатырю Иве Олельковичу ее-то и надобно.

Осадив коня, он произнес громким голосом:

— Избушка, избушка! стань к лесу задóм, а ко мне передóм!

Не тут-то было! Избушка не слушает, стоит себе и к лесу, и к нашему храброму витязю боком.

— Иду! — воскликнул Ива, выхватил меч, соскочил с коня и прямо в избу.

На Лазаре от страха застукала броня, и неудивительно: он любил рассказывать про подвиги богатырей, про чародейства кудесников и ведьм; но он, как и всякий просвещенный Историк, верил преданиям о чудесах, без которых нельзя было бы связать двух истин.

Преодолев, однако же, страх, Лазарь осмотрел со всех сторон избушку; видит, что она похожа на обыкновенную избу; есть волоковое окно, есть и красное окно; и двери ходят на вереях, и крыша крыта соломой, и на *князьке* вырезан петух, и сидит на перекладине голубка, и сизой голубь около нее ходит, дуется, воркует, и подле избы переваливаются с боку на бок утка и селезень. Лазарь перекрестился, прочитал молитву, привязал к плетню коней, прислушался в дверях, полуотворил, взглянул и отступил с новым страхом: Ива Олелькович заносил на кого-то меч.

— Эй! — раздалось в избе.

Лазарь, едва переводя дух, вошел в избу.

Ива Олелькович с окровавленным мечом стоял над каким-то чудовищем.

Лазарь первый догадался, что это молокосос теленок.

Убедившись в истине, Ива Олелькович стал снова все осматривать, шарить по углам. Лазарь также.

Изба как изба, все в добром порядке, а нет ни души.

Влево печь, близ печи голбец, под голбцом подполье, на пересовце висит лапоть. На воронце и грядке сохнут дрова, лежат связки паровой лучины, лежат ощепки, лежат наговки и сеяльница.

На полицах стоят горшки и дуплянки.

На заволоке стоит деревянная посуда, стоят чашки, ложки.

В сени проведен дымволок.

Ива Олелькович подумал бы, что Бабы-Яги дома нет, да огромная ступа в углу стоит, и пест, которым она ступу погоняет, тут же, и клубок, который прокладывает ей дорогу, тут же.

— Дома! — говорит наш богатырь.

Вдруг под лавкой с подзорами заклохтала курица. «А! наседкой сидит на яйцах!» — подумал Ива и пота-

щил из-под лавки лукошко, но испуганная курица спаслась от гибели: вспорхнула из лукошка, распустила крылья и с звонким криком бросилась в угол, где стояла ступа. Ива предупредил ее, ухватил пест, заслонил ступу. Курица порхнула в отворенные двери.

Ива не заметил.

— Ма! — раздалось на печи.

— А! — вскричал богатырь и бросился к печи.

Лезет; но пот уже катится по челу его; а кованые доспехи не гнутся: это не шитый из рыта и бархата кожух.

— Ма! — раздалось опять на печи.

— Эй! — загремел Ива.

Лазарь понимал это Русское восклицание, которое Ива Олелькович произносил всегда и вместо имени, и вместо местоимения.

Поиски Лазаря простирались не далее шестка, печи и печурки; на шестке нашел он выставленный горшок каши, в печи котелок щей, а близ подпыльника в печурке черепок сала.

Во время сильных впечатлений хотя и забываются голод и жажда, но Лазарь был памятен от природы и, сверх того, не был мнителен; ему и в мысль не пришло, что голова Бабы-Яги может обратиться в горшок каши, туловище в котел со щами, ноги в ложки, а руки в уполовник.

Очень довольный своей находкою, он уже читает молитву перед трапезой, солит щи и уломил уже сукрой хлеба, найденного в заволоке, как вдруг раздается опять *«Ма!»*, а потом вскоре опять *«Эй!»*.

Очнувшись, как будто от усыпления, Лазарь бросает ложку и вскакивает.

— Эй! — повторяет Ива, и Лазарь догадывается, чтó угодно баричу.

Сбросив с себя кожух с накладной чешуей, Лазарь лезет на печь.

— Ма! — раздается снова на печи.

Первый порыв Лазаря был новый испуг, но он видит, что мальчик лет пяти сидит на печи и, протирая глаза, голосит на весь мир.

Ива знал, что иногда Леший кричит, как младенец; но ни один нечистый дух не смеет являться в ангельском образе; и Лазарь знал это поверье и потому, по знаку своего барича, стащил мальчика с печи, несмотря на вопли и слезы.

«А, старая ведьма! — думал Ива, смотря на румяного и кормного мальчика.— Верно, готовила его на обед себе! Не дам души погубить!»

Довольный своими поисками, Ива Олелькович обратил внимание на пар, который столбом стоял над огромной чашей; он присел к ней, отломил ломоть хлеба, обмакнул во щи, всунул в руки мальчику и стал удовлетворять голод свой.

Мальчик умолк, увидев хлеб в руках своих; Лазарь также, уломив хлеба, стал протягивать руку за горячими щами и подувать на ложку.

Когда котел можно было уже надеть вместо шлема, когда в горшке не осталось уже и поскребышков каши, когда огромный каравай хлеба прошел сквозь тын зубов Ивы Олельковича и его конюха, приспешника Лазаря-сказочника, и голод и жажда были уже отчасти удовлетворены, барич-богатырь встал с места, помолился богу, показал рукою на ступу и на мальчика, произнес *«во!»*, и Лазарь понял, что ступу-возницу Бабы-Яги должно привязать в торока, к задней *слуке* седла богатырского, а мальчика взять с собою.

Отдав таким образом приказания свои кратко и ясно, Ива Олелькович взял пест и клубок-дорожник, вышел из избы, сел на своего коня, поглядывая с удовольствием на ступу, которая заняла весь хребет конский, и пустился вдоль по дороге.

Мальчик, как лихая беда, навязался на шею Лазарю, с трудом усадил он его, надорвавшегося от крику, перед собою на седло и пустился вслед за баричем, проклиная нечистую силу.

Он уже почти догонял его; ибо Ива Олелькович ехал тише против обыкновенного: ступа колотила его в спину, выбивала из седла; вдруг слышит Лазарь позади себя шум, крик, погоню скорую.

Бог знает, что подумал испуганный Лазарь, приударив коня пятами, но понесся во весь опор, волосы у него стали дыбом, руки опустились, мальчик взвизгнул, конь спотыкнулся, седок полетел в сторону, лихая беда — в другую, и лежат без памяти.

Близкий конский топот и крик вывели Лазаря из беспамятства; он вскакивает, бежит к своему коню, который спокойно щипал густую траву близ дороги, перекидывается через седло и несется оленьим скоком.

— Добро, добро! денная тать, Тата́ра поганая! — раздаются за ним голоса.

Лазарь не оборачивается, скачет от погони, догоняет Иву Олельковича, который, подъехав к реке, искал между тем брода.

III

Чья душа не забудет боязни подле такого витязя, как Ива Олелькович? Бесстрастие, самонадеянность, доспехи и оружие, все приметы и свойства богатырские в нем и на нем.

Лазарь, подъехав к нему, перевел дух, оглянулся назад — погони нет, — успокоился и, видя, что барич готов уже спросить его: где мальчик? он утирает пот с лица и начинает ему рассказывать ужасное событие следующим образом:

— Ах ты, сила окаянная! чтоб согнуло его корчагою! Только что я уселся в седло и взвалил его, как мешок с пшеницею, перед собой, на переднюю слуку; только что пустился заячьим скоком — глядь — а он, кикимора! оборотился в красную девицу да и заговорил не своим голосом: «Отпустите-де, Лазарь Зуевич! отпусти меня в дом родительский! отпустишь...» Ах он, проклятое в утробе детище! срамно и говорить!.. так и обнимает, так и целует, так и стужает, мутит сердце молодецкое! А я: «Нетуть, сударыня!» — да и обхватил ее поперек, а она: «Не пустишь?» — да и заметалась, да и давай щекотать под ребры; я так и закатился! да догадлив был: «Господи Иисусе Христе!..» — она и посыпалась, словно песчаная; я скачу, а она сыплется, я скачу, а она обсыпается! Ах ты, сила небесная! Смотрю: ни ног, ни рук, лежит словно ком крупичатой муки, да трусится по дороге, а нечистая сила гонится следом да ревет зычным голосом! Я понуждать коня, да и прискакал к тебе, боярин; глядь — уж нет ни пороха; только и осталось, что есть на руках да на одежде.

Ива Олелькович, слушавший со вниманием рассказ Лазаря, подходит к нему и уверяется, что действительно на руках, на платье и даже на лице есть большие следы прилипнувшего песку; он дивится чудному событию и потом обращается опять к реке, думает: как бы переправиться? Решился пуститься вплавь; но вспомнил о клубке Бабы-Яги.

Отвязывает клубок от седла, берет шерстяную нитку за конец, бросает клубок в реку; плывет глубок вдоль по реке; Ива и Лазарь следуют за ним по течению; тонет клубок, катится по дну реки; нитка зацепляется за подводный сучок, не тянет за собой богатыря; Ива останавливается, ждет, покуда клубок выплывет, стоит на одном месте, как будто рыбу удит. Между тем *всем планетам планета* беспечно закатывается за темный лес и оставляет наших героев и в темноте и в недоумении: отчего клубок остановился посреди реки?

Ива Олелькович дергает за нитку; нитка обрывается. «Кощей окаянный!» — думает он и с досады, что остановлен нечистою силой, продолжает погоню, сбрасывает с себя шлем и распростирается на земле, под сень густого дуба.

Лазарь доволен, рад, что после сытного обеда в избушке на курьих ножках и после страха он может успокоить и члены и душу. Путает коней, пускает их на тучный луг, склоняется на отдых под ракитовый куст и храпит как зарезанный.

До усыпления Ива Олелькович перебирает в мыслях все препятствия, которые ему еще должно будет преодолеть; всех богатырей, с которыми нужно будет измерять свои силы; всех чудовищ, которых меч его разрубит напополы, покуда доедет он до тридесятого царства и исхитит из рук Кощея Мириану Боиборзовну. Вот ему кажется, что он уже все преодолел, что Мириана Боиборзовна уже близка от него. Мечта превращается в летучий сон, как куколка в мотылька.

Ива спит.

IV

Ива спит. Ничто не нарушает его спокойствия; он видит, что отдыхает на берегу реки, за которой светится терем Мирианы Боиборзовны; но вот...

В темном бору не ветер шумит, по вечернему небу не туча плывет, во чистом поле не *Посвист* воет, не град стучит; скачет путем-дорогою богатырь *Полкóнь*[1]. На плечах у него

---

[1] Славянский Кентавр. Известный в Русских Сказках Полкан-богатырь.

броня чешуйчатая, на голове шлем с ночной птицею, хребет покрыт шерстью златобахромчатою, под копытами подковы серебряные, подбиты гвоздями алмазными. Скачет он, словно сорвался с привязи, словно седока с седла сбил, словно богатырская пята бьет в широкие бока. Кипит у него ярость в буйном сердце, держит он калену стрелу на изготовье, и возговорил он трубным голосом всем окрестным местам во услышанье:

«Заехал в мой притон крещеный люд, небитый сын, незваный гость; залетел сокол нещипаный; забежал красный зверь с цельной шкурою!

Незваному гостю снесу голову, обрублю крылья *дикомыту соколу*[1], красного зверя разнесу мечом наполы!»

Слышит Ива Олелькович, как Полконь-богатырь похваляется; видит Ива Олелькович, как из-под копыт его бьет пыль столбом, по обе стороны пути трава стелется, высокие деревья с треском ломятся. Возгорелось у Ивы сердце молодецкое, поднимается он с мягкой зеленой муравы на ноги; зовет верного своего конюшего и приспешника по имени; собирается Ива Олелькович, наряжается в доспехи ратные; смотрит — вместо шлема на суку висит красный шлык с побрякушками, вместо лат халат мухояровый, вместо меча бич с нахвостником, а вместо коня Юрка на четвереньках по лугу ходит да щиплет траву.

Рвет на себе Ива Олелькович светлые кудри, бьет себя в молодецкую грудь, стучит ногами о сыру землю и сыплет нечестные слова на свет божий.

Втапоры Полконь-богатырь приближается, называет Иву Олельковича бабой Бабарихою, зовет его на бой помериться силой, изведать молодечество да посчитаться с хозяином за ночлег на муравленом ложе, за корм коню, за водопой, да, сверх того, за три шлема воды ключевой, да за воздух, здоровый и свежий, которым он вдоволь под чужим небом надышался, да за дневный свет, да за ясную ночь и *маленький ветрец прохладный.*

— Ох ты гой еси, нечистая сила, оборотень окаянный! — выговорил Ива Олелькович.— Не серебром, не золотом расплачусь я с тобою! Отсчитаю я тебе за все три удара дубовой свинчаткой, не пожалею ни руки, ни силы, расщедрюсь, куплю у плеч твоих буйную голову! Становись

---

[1] Выведенный на воле.

на побоище! рой копытом просторную яму себе в упокой!..

Кипит Полконь яростью, вынимает широкий меч, разъезжает по чистому полю; а Ива Олелькович надевает на голову красный шлык с погремушками, набрасывает на плеча халат мухояровый, вооружается бичом с долгим нахвостником, гладит Юрку по косматой голове, ударяет по плечам богатырской рукою, вскакивает ему на спину... Юрка взвивается, становится на дыбы и несет своего барича, сильного и могучего богатыря Иву Олельковича, на побоище с Полкóнем.

Разъезжаются добрые молодцы по чистому полю, кидают хоботы по темным лесам; разъезжаются, своей силой похваляются, друг другу нечестные речи говорят.

Не две горы высокие сходятся, друг об друга ударяются грудью каменной, ломят промежду себя строевые леса; съезжаются два великие витязя: Полконь-богатырь да Ива Олелькович; стонет вся земля, прах вздымается, меркнет светлый день, горы вторят гул, лес колеблется.

Размахнул Полконь свой булатный меч. Закрутил Ива долгохвостый бич, Полконь мерит рубить наполы. Ива метит очи выстрекнуть.

Засверкал меч в долу молнией, увернулся Юрка в сторону, меч Полконев ушел в землю с рукояткою и с рукой до плеч исполинскою.

Полконь жилится, сильно тужится, хочет руку свою вытащить, да не стало сил могучих в нем: глубоко рука в землю врезалась.

Усмехается Ива Олелькович, потешается; на резвом Юрке вкруг Полконя проезжается да сечет его вдоль спины бичом шелковым долгохвостником.

Взмолился Полконь, возговорил не своим голосом:

— Государь ты мой сударь, Ива Олелькович! не сбивай ты меня с бела света долой; ты помилуй свою Мириану Боиборзовну, не щепи, не ломай ты ей косточки, ты не рви, не терзай тело белое, не жури ты меня, не серчай на меня, не пойду я вперед со двора долой, не сведусь я вперед с ясным соколом!

Чудится, мерещится или наяву видится Иве Олельковичу. В Полконевой коже в лицо узнает он свою Мириану Боиборзовну.

Бросает Ива Олелькович бич-долгохвостник, соскакивает с Юрки, кидается к Мириане Боиборзовне, обнимает

ее, прижимает к богатырской груди; заголосила Мириана Боиборзовна не своим голосом.

Очнулся Ива, смотрит: не Полконь, не Мириана Боиборзовна, а лежит под ним верный конюх его и приспешник Лазарь-сказочник, посинел от крику.

Вскакивает Ива, вскакивает Лазарь, смотрят друг на друга и не верят очам своим; Ива дуется, Лазарь рад, что его сдавил государь барич, а не нечистая сила, которая преследовала его и наяву, и во сне.

V

Долго ли стояли Ива Олелькович и его верный конюший Лазарь-сказочник, между *тем*, что видели они во сне, и *тем*, что чудилось им наяву, если б до слуха их не коснулся конский скок и вскоре плесканье воды.

Невдалеке от себя заметили они, сквозь деревья, всадника, который ехал вброд через реку. Он был в шелковом кафтане, с меховой опушкою, перепоясан туго кушаком, на голове обыкновенная шапка, на ногах сапоги с оторочкою; перед ним на седле сидела красная девица в малиновой ферязи, на голове накинуто покрывало; припав к груди всадника, она склонилась на левую его руку; ее ножки в желтых шитых сафьянных сапожках обнажились немного и свесились как будто на показ.

Ива, еще полный мыслей о злодее Полконе и об Мириане Боиборзовне, бросился к своему коню, догадливый Лазарь распутал, взнуздал его.

— Скоро, скоро, Юрий! — проговорила девица.— Юрий, Юрий, люди! — вскрикнула она опять, прижавшись еще более к всаднику.

Незнакомец оглянулся, увидел наших витязей и пустился стрелою в сторону.

— А! — закричал Ива Олелькович, вскочив на седло и — вместе с седлом перевалился на другую сторону. Злодей Лазарь позабыл подтянуть подпруги.

Ива Олелькович с помощью Лазаря встал на ноги и, озлобленный неудачею, догонял всадника быстрыми своими очами — но...

Всадник с добычей скрылся за лесом — и след простыл.

Когда конь был готов, богатырь сел, подобрал поводья,

приударил пятами; но вдруг, задумавшись, остановился и опустил поводья.

«Кощей ли это? — думал он. — Может быть, опять наваждение Кощеевой нечистой силы, конь чутьем покажет правый путь».

Конь, досыта наевшись тучной, вкусной травы, хотел пить и потому, не затрудняясь в выборе пути, подобно своему храброму всаднику, поворотил прямо к реке. Река была широка, да не глубока; конь прошел до середины, остановился и опустил морду в воду...

«Чует путь», — думал Ива.

Напился богатырский конь, начал бить по воде копытом.

«Путь кажет прямо», — думал Ива и вздернул повод, приударил своего коня, который, обрызгав его с ног до головы, готов уже был склонить колена, прилечь и перевернуться на мелких струях с боку на бок.

Переехав реку, Ива Олелькович пустился тропинкой, по которой проехал незнакомец с девицею; Лазарь не отставал.

На расстоянии двух выстрелов из лука от реки дорожка, пробиравшаяся чрез небольшой лес, вышла в открытую долину. Направо, около густой рощи, стояли Боярские палаты, обнесенные частым тыном; налево тянулось огромное село.

Дорожка шла около палаты; едва только Ива поравнялся с воротами, вдруг раздавшийся необычайный крик в доме обратил на себя его внимание.

Ива остановился.

Крик увеличился; из дому высыпали люди; все вопили, все крестились, все бегали.

— Верно, покойник, — сказал Лазарь Иве Олельковичу, — грех проехать, Боярин, не поклониться, не вкусить и не испить за упокой души.

Ива Олелькович поворотил коня на Боярский двор. Подъехав к крыльцу, соскочил с седла, отдал коня Лазарю. Лазарь привязал и своего, и Боярского к железному кольцу — и вот богатырь и его конюх идут на широкое крыльцо.

Хозяева и все домашние умолкли от удивления и страха, когда увидели нежданных вооруженных гостей.

Боярин дома, человек уже пожилой, в утренней одежде без пояса, с недоумением и со слезами на глазах смот

рел, как Ива Олелькович проходил сени, ни на кого не обращая внимания.

— То богатырь, могучий и храбрый витязь Ива Олелькович, принимайте его за белые руки да сажайте за браный стол на поминки! — сказал Лазарь Боярину.

— Родные мои, храбрые витязи, воители, дорогие гости! рады мы вам, хоть не в добрый час пожаловали! — проговорил Боярин и пошел вслед за Ивою Олельковичем, который между тем пробрался чрез толпу челяди в светлице, в другую *ка̃ма́ру*.

Там стояла в углу тесовая кровать; две женщины рвались и рыдали подле кровати; одна средних лет, тучная, румяная, в сарафане и в богатой шубейке; другая старая, в простом балахоне.

Нараспев голосили они жалобы и обнимали по очереди что-то неподвижное, лежавшее под шелковым покрывалом.

«Так и есть, покойник!» — думал Лазарь, пробравшись вслед за баричем и просунув голову между толпой рыдающих девушек.

— Дочь ты моя милая!.. Ненилушка Алмазовна! погубила тебя нечистая сила,— вопила тучная женщина, стоявшая подле кровати.

— Дитятко ты мое красное, вспоенное мною и вскормленное! что с тобой подеялось, что сталося? — вопила другая.

— Ох вы, девушки, голубушки! бегите, ведите скорее попа с крещенской водой, да с крестным распятием!

— Ох ты, голубица моя сирая! не стало на тебе ни личика, ни образа!..

— Ох, за что осерчала на нас! мое детище? зачем стала ты камнем могильным?

— Что скажет твой красный жених, суженый, ряженый Якун Гюргович?..

Вот приходит иерей с крестом и водою крещенской, ему дают дорогу к кровати. Ива и Лазарь приближаются вместе с ним и видят на кровати, под покровом, в ночной повязке лежит безобразная личина, белая, как лик покойника, освещенный луною.

Удивленный иерей вопросил всех взорами: что такое сталось? Все вдруг заголосили еще более.

Боярин приблизился к попу и начал было говорить:

— Отец иерей! Ты ведаешь мою Ненилу...

— Ведаю, Боярин...

— Ох! кpести, мой батюшка, кpести! кропи святой водою! — вскричала Боярыня, увидев попа, сорвав покрывало с постели.

Священник, богатырь Ива и конюх его Лазарь, не знавшие до сего времени, что́ значит суматоха около кровати, отступили от удивления.

В постели лежал продолговатый обтесанный камень с изображением лика; на голове истукана была спальная девичья повязка.

— Кpести, мой батюшка, окропи водосвятием! — продолжала кричать Боярыня.

— Вот что сталось с Ненилушкой,— продолжал Боярин заливаясь слезами.— Смотри, отец иерей!..

— И душечка в оконце вылетела в одной только белой сорочке с шитой бахромочкой, да в ферязи, да в сапожках желтых!.. Родная моя! остался только на нашем святом месте *камык*[1], болван тесаный!

— То истукан идольский,— прибавил иерей и, отдав назад дьяку кадило и кропило, отступил от кровати.

— Кади, кади, батюшка! — приговаривала Боярыня.

— Кропи, кропи, отец! — приговаривала мама, кладя земные поклоны.— Ох, шевелится, святой, шевелится...

Ошибалась она: окаменевшая Ненила не принимала прежнего своего образа.

Потеряв всю надежду на возвращение красного образа Ненилы Алмазовны, Боярыня и мама завопили горче прежнего; сенные девушки и все домовины, подставив левую руку к левой щеке, а правою рукою придерживая локоть левой руки, также точили слезы и всхлипывали в подражание горести Боярской.

Богатырь Ива, стоя подле кровати, задумался: не разрубить ли камень наполы? А Лазарь, не поняв еще ничего из всего им виденного, в сторонке расспрашивал у одной сенной девушки: зачем одели камень в одежду девичью и выгоняют из него нечистую силу?

Вот что рассказывала сенная девушка:

«У Боярина и Боярыни было одно детище, родная дочь Ненила Алмазовна; весела она была всегда и радостна; послал ей бог суженого-ряженого, Княжеского гридня, Яку-

[1] Название вообще драгоценного камня.

на Гюрговича; уж готовили свадьбу, яства сахарные, варили пива ячные и канун. После Троицына дня быть бы свадьбе; вдруг опечалилась Ненила Алмазовна, зачала лить слезы и метаться во все стороны; призвали вещунью; пропустила она сквозь решето воду, вылила в стеклянницу, разбила надвое яйцо, перелила его три раза из скорлупки в скорлупку; одну выпила, другую вылила в стеклянницу; поставила на окно, накрыла его шелковым платком да примолвила: утро мудренее вечера, утро скажет праведное слово. Наутро пришли раным-ранехонько; открыли стакан — в стакане храм божий. Венчайте, говорит, не отлагайте, а то быть худу; поверили ворожее, назначили на другой день свадьбу; *в уденье* был сговор; замертво вынесли из светлицы Ненилу Алмазовну после сговора, уложили в постель; Боярыня родительница и мамушка благословили ее, пошли спать; а в ночь совершилось диво дивное: красная Ненила обратилась в камень...

— Э!..— сказал Лазарь, приложив палец ко рту.— Кощей бессмертный боярышню Ниниловну вашу унес так же, как и Мириану Боиборзовну; только Мириану Боиборзовну увез и с душой и с телом в одной сорочке. И... да мы видели, как он и скакал с Ненилой Алмазовной на черном коне.

Пораженный сей мыслию, Лазарь бежит к Иве Олельковичу.

— Государь ба̀рич! что попался нам встречный, на коне, то́ Кощей скакал с душою Ненилы Алмазовны. Не тужи, Боярыня! барич мой не даст погибнуть Нениле Алмазовне; он едет погубить Кощея, отнять у него Мириану Боиборзовну и всех красных девиц и молодиц, что он похитил.

— Ой? — вскричал Ива, поправив шлем.

— Ой? — вскричала Боярыня.— Помоги, отец родной, господин богатырь честной, не дай погибнуть Ненилушке!

— Помоги, господин воитель,— возопила и мамушка.

Сам Боярин, старик, также поклонился до земли Иве Олельковичу.

Ива Олелькович пошевелил широкими плечами и, не говоря ни слова, пошел вон из терема.

Все провожали его; но Боярыня привыкла не отпускать никого в путь без хлеба и соли...

— Погоди, постой, господин богатырь! — вскричала она

и сама бросилась к поставцу, вынула поднос с ягодником, налила в чашу и поднесла Иве, который был уже на крыльце. Томимый жаждою, он выпил хмельного ягодника целую братину, а между тем мама побежала на поварню, слуги бросились к полкам, к окнам, к столам, и в несколько мгновений трапеза была стащена со всех сторон, на столе стояло блюдо с рыбой, горшок каши и пирог, который мама уже резала на части. Иерей благословил яство, а Боярыня влекла Иву Олельковича к столу, усадила дорогого гостя и снова, налив в кубок хмельного меду, поднесла ему, Ива выпил и взял поданный ему на деревянном блюде кусок пирога.

Мама угощала Лазаря в сторонке.

Потому ли, что в кубок меду, которым Ива утолил жажду, нечистая сила подсыпала какого-нибудь зелья; или потому, что могучий мед бывает иногда сильнее могучего богатыря: сбивает с ног, выбрасывает из седла и бьет в голову так, что голова перекатывается с плеча на плечо, только у Ивы Олельковича закатились очи как солнце, а голова повисла на плеча как туча.

Но воображение его не опьянело вместе с ним: оно продолжает потчевать его, подает ему то печеные сгибни, то пересыпные караваи, то перепечи крупчатки в три лопатки недомерок, то четь хлеба, да курник подсыпной с яйцами; то щук паровых, то росольники пироги; оно подносит ему в золотых кубках олую (пива), да меду красного, да сливовицу на Угорском вине; то опять лакомит его, подает ему: оладьи с сытой, да греночик, да горошек-зобанец, да киселек клюквенный с медом, да тертую кашку с сочком с маковым, да мазулю...

Пироги сами режутся, сами кладутся прямо в рот, горошек-зобанец прыгает с блюда и прямо в рот, мазуля сама тянется из горшочка и капает прямо в рот; олуй сам пенится в кубок и льется прямо в рот.

Ива не успевает ни пережевывать, ни выпивать; хочет оттолкнуть руками, рук нет; хотел с досады стукнуть ногой, ног нет.

По горло полон Ива; нет сил, а пища так и лезет, а питье так и льется; тошно Иве.

Но вот идет к устам Ивы кубок, наполненный огнем, наклоняется, хочет уже литься, капает на язык; Ива отворачивает голову, катится со стула на пол, валится стол с

яствой и посудой, звенят блюды и братины серебряные, стучит железная богатырская броня.

И Боярин, и Боярыня, и иерей, и Лазарь, и мама, и все домовины крестятся, с ужасом отскакивают от Ивы, челядь бежит врозь; все уже рассказывают друг другу, творя молитвы, что нечистая сила и богатыря обратила в камень.

Лазарь, шатаясь, подошел к баричу, наклонился, выпучив очи, посмотрел ему в лицо, хотел что-то сказать: язык не говорит; хотел приподняться: спина не разгибается, а ноги подкашиваются; замутило доброго молодца — и он лежит без памяти подле барича.

На просторе храпит Ива Олелькович богатырским сном; подле него лежит на спине Лазарь; во сне ловит он по широкому полю отвязавшегося коня.

Проходит день, проходит ночь, наступает утро; просыпается Лазарь, протирает глаза, осматривается; пробуждается Ива Олелькович, протирает глаза, осматривается: никого нет, кроме Лазаря; в ногах опрокинутый стол, лежат куски и крохи хлеба, рыбы и мяса, рассыпана соль, опрокинуты братины, разлиты пиво и мед.

Приподнимается Ива. Поправляет шлем, смотрит на бок: тут ли меч? берет копье. «Коня!» — говорит он Лазарю, а у Лазаря полон рот пирога.

Вот герои идут вон из покоев, сходят с высокого крыльца; кони стоят привязаны.

Увидев витязей, домовины опять разбегаются по широкому двору и из-за углов смотрят — что будет.

Ива сел на коня; Лазарь на другого... Пустились долой с чужого двора.

VI

Если бы спросили меня читатели, по какому направлению пустился Ива Олелькович? вперед или назад? своротил в сторону или поехал прямо?.. Можно только сказать, что во время выезда его со двора Боярского светлое солнце сыпало лучи свои прямо в глаза ему; после того стало печь ему правый бок; потом, когда он проехал гору, левый; когда спустился с горы, опять правый; когда проехал лес, опять левый, и потом спину... Таким образом скачет мой богатырь на север, на юг, на запад, на восток; а его конюх

Лазарь за ним хоботом; скачет через горы, бологи, холмы, леса, дебри, дубравы, боры, луга, бо́лони, бугры, поляны, реки, ручьи, потоки, города, городища, пригородки, посады, застенья, вежи, торги, станы, селы, селища, деревни, становища, скачет так же, как и в первый день, без отдыха, без устали.

Везде народ преследует его очами, как явление необыкновенное, как огненную змею, пролетающую ночью по небу. «То, верно, Гюрга»,— говорят Бояры, купцы, торговцы, люди житые, селяне, огнищане, челядь, смерда и вся простая чадь. «То, верно, Гюрга на белом коне со своим оружником».

Вот почти прошел день, кони замучились, едва переступают, напрасно Ива Олелькович бьет правой своею ногой утомленного коня: нейдет, воротит с дороги в мураву.

Сердито соскочил Ива с седла, бросился на зеленый луг.

Его верный конюх и приспешник Лазарь пустил коней пастись, а сам задумался: как помочь горю? без пищи не умирать!

Видит он вблизи, в долине, погост. Пойду, думает, клич кликать... и пошел; но воротился, взял своего коня, поехал.

Вот — въезжает он в село, остановился посреди села и закричал, как Татарский бирюч:

— Эй, люди мирские! Старцы сельские и вси добрии мужи, ходите!

Как будто около какого-нибудь чуда, собрался народ вокруг Лазаря, и вот возгласил он:

— Едет храбрый витязь и могучий, сильный богатырь Ива Олелькович; иди к нему весь крещеный люд с честью на поклон; овый с хлебом, с солью, овый с медом, овый с ковригами, овый с караваями, и со всем, оже дал бог на угодье, на снедь и на веселье; молитеся ему: помиловать вашу волость от силы ли нечистой, от зверя ли алчного, от змея ли огненного и от иных приворотов, оже вередих живот ваш!

Земно кланяется весь сельский крещеный люд Лазарю и собирается на поклон к богатырю, защитнику; сроду не видали они богатырей, а только слыхали про них, торопятся.

И вот вслед за Лазарем идут старцы сельские и селяне с хлебом и с солью.

Вот приходят к богатырю Иве Олельковичу, кланяются ему в землю, кладут перед ним живого связанного ягненка, хлеб и соль, деревянные блюда с пирогами и ставят кувшины с квасом и с пивом; а Ива и с места не поворотится, и головы не преклонит.

Заботливый Лазарь, зная обычай своего барича, что он сам ни до чего руки не протянет, расстилает перед ним постланец шитый, разламывает каравай надвое, наливает в чашу пива ячного и ставит подле него.

Ива совершает трапезу. Лазарь, стоя позади его, также отведывает крупеника, а весь сельский крещеный люд стоит перед богатырем да дивится силе его, кованой одежде, железной *торченой*[1] шапке, мечу-кладенцу, длинной сулице, серому коню, а всего более огромной деревянной ступе, которая очень похожа на ступу, в которой бабы лен толкут.

Один молодец, из пришедших на поклон, подкрадывается к Лазарю, спрашивает его на ухо: «Что это за диво-с?»

— То ступа, что Баба-Яга ездит да пестом погоняет, сильный и могучий богатырь отнял у нее!

Перекрестился молодец и передал шепотом всем прочим весть про чудо.

Дивуется толпа селян на ступу. Она уже в глазах их не простая ступа: а стены толще, чем у обыкновенной ступы, да и дерево, из которого ступа сделана, бог весть, дерево ли аль не дерево.

Не одна *простая чадь*, но и мы, просвещенный, крещеный люд, не своими глазами смотрим на какие-нибудь кресла, в которых сидел великий человек, или на старую его изношенную одежду; часто и мы думаем, что у него и кресла должны быть по крайней мере втрое шире и чуднее обыкновенных, и одежда совсем особого покроя.

Между тем Ива Олелькович кончил свой обед, поднял с земли тяжелый свой шлем и возложил его на голову; это было Лазарю зна́ком: готовить коней в поход.

Седлая их и взнуздывая, Лазарь, чтоб угодить своему витязю и не сбиться с дороги, спросил у толпы селян: «Куда лежит путь за тридевять земель в тридесятое царство?»

Селяне посмотрели друг на друга, как будто спрашивая, кто знает туда дорогу; но все молчали; только один

[1] Высокой *А Б*

старик, опираясь на костыль, вышел вперед и важно сказал:

— Може, то Заморское царство требно государю богатырю?

— Вестимо Заморское! — вскричал Лазарь.

— Заморское! — повторили все прочие селяне.

— Коли Заморское, то лежит оно за синим морем,— отвечал важно старик, взявшись обеими руками за костыль и склоня его перед собою.— А путь к нему на село Верхотурье, где был торг в княжение Государя Князя Станислава Романовича, а потом путь лежит великим озером к Лукоморью.

— Много ли езды будет? — спросил Лазарь.

— Как поедешь. До Верхотурья три поприща, да за Верхотурьем, може, толико-жде.

Ива сел на коня; весь крещеный люд ему поклонился до земли, пожелал здравия и благополучного пути; и вот герой наш понесся лисьим скоком в гору, а Лазарь за ним хоботом.

Проводив сильного и могучего богатыря Иву Олельковича глазами в гору, весь сельский крещеный люд начал уже изъявлять удивление свое на словах, восклицая и рассказывая друг другу все, что каждый видел, ибо каждый видел все по-своему: и речи и замечания одного было новостью для другого. Наговорившись вдоволь, они принялись собирать остатки трапезы, чаши и кувшины, но сколь был велик ужас всех, когда увидели они в траве ступу Бабы-Яги. Второпях Лазарь забыл ее.

Долго ходили они около нее, не зная, что делать и как сбыть, проклятую, с своего поля, наконец решили идти в приходский погост, просить совета или молитвы.

Идут в погост; никто не остается сторожем около ступы.

Рассказывают иерею про все случившееся, зовут его в поле, собирается иерей с крестом и причетом; идет, преследуемый крестьянами села и погоста. Приближаются со страхом к тому месту, где обедал Ива. Поле чисто.

Баба ли Яга, догонявшая Иву Олельковича на помеле, отыскав на дороге свою ступу, отправилась в ней или какой-нибудь проезжий, полагая, что это простая ступа, толчея, взял ее как находку, только ступа исчезла с того места, где забыл ее беспамятный Лазарь.

— А! сгинула, нечистая, как *повидела знамение!* —

вскричали селяне с радостью, что место их свято; только иерей досадовал, что ступа исчезла не при нем и ему не удалось даже взглянуть на нее.

Подивились, поахали, разошлись; а Ива скачет да скачет вперед.

VII

Едет Ива, скачет Ива Олелькович; опять дивятся на него встречные и поперечные, прохожие и проезжие, кланяются ему почтительно, как надлежит храброму и могучему богатырю Русской Сказки.

Вот едет он уже много дней без всяких приключений.

Придет время обеденное, Лазарь оставляет богатыря своего в чистом поле под развесистым дубом, торопится в ближнее село клич кликать, чтоб шел народ поклониться сильному могучему богатырю с хлебом и солью. Приходит вечер, Лазарь опять клич кличет. Таким образом Ива Олелькович и сыт, и пьян, и всем бы доволен, да недостает ему чести и славы, да Мирианы Боиборзовны... Подобные недостатки хоть кого поторопят; и вот, полагая, что он уже проехал по крайней мере десять царств, спрашивает Ива Олелькович у прохожих:

— Се кое царство?

— Русское, батюшка государь богатырь,— отвечают ему.

— Русское? — вскрикивает с гневом Ива Олелькович и едет далее.

- Се кое царство? — спрашивает он опять.

— Русское,— опять отвечают ему.

Ива Олелькович выходит из себя; он не верит, останавливает всех и каждого и допрашивает: «Кое царство?» — «Русское»,— отвечают ему, и Ива Олелькович с досады мстит коню, гонит его и в хвост и в голову, чтоб поскорее выбраться из Русского царства; скачет, скачет, проходят дни, а Русскому царству нет конца.

– Кое царство? спрашивает опять Ива Олелькович у проезжего.

Русское,— отвечает он.

Блюдися лжи, окаянный! порублю наполы! вскри кивает исступленный от нетерпения витязь и выхватывает меч

— Не ведаю, не ведаю, государь богатырь! — кричит прохожий, припав к земле.— Не ведаю, може, и Рязанское!

— А! — говорит Ива и едет вперед. Новый прохожий разочаровывает его опять; опять Ива торопится выбраться из царства Русского; да и кого не лишит подобная вещь ангельского терпения? Вот уж другая луна народилась в небе; а Иве Олельковичу остается еще проехать двадцать восемь царств, чтоб попасть в царство тридесятое, куда, по обыкновению, нечистая сила уносит Царевен, Княжен и красавиц; где Ива надеется найти и свою Мириану Боиборзовну.

Вот спускается однажды Ива Олелькович с крутой горы по извилистой дорожке. В долине видит он большое село, разбросанное по широкому лугу над рекою. Среди села хитрая церковь о пяти верхах, с высокою звонницею; за синим отдалением видит он белокаменный город.

Ива Олелькович верить не хочет, чтоб село было не Верхотурье, а город не тридесятое царство. Недалеко уже было до села, как вдруг поднялся в селе жестокий трезвон.

— То не благовест, Боярин,— говорит Лазарь Иве Олельковичу.— Повидь, то набат! народ в смуте; бабы и девки крик подняли, бегут к погосту. Боярин, то вражья сила идет!

Ива оправился на седле. Подтянул узду, попробовал рукою, тут ли меч, взглянул на конец копья и потом окинул взорами село и окрестности. Где вражья сила? с которой стороны?

Но вражьей силы видом не видать; только в селе час от часу более гудят колокола, а народ стекается к церкви. На паперти стояло несколько седых старцев, опиравшихся на батоги; женщины отделились, и окруженные мужики стали в ряд, как пред судилищем; слышны были вопли их; видно было, как снимали они с себя одежду, обнажались и потупленные взоры их стыдились и людей, и божьего света.

Вдруг раздался между ними ужасный визг и поднялся общий шум и крик.

Одну из женщин, обнаженную, все прочие повлекли за волосы, поставили в плуг, привязали косами к оглоблям и с исступленными восклицаниями, ударяя ее лозами и поясами, погнали вон из селения. Несчастная была моло-

да и прекрасна; пораженная ужасом, но полная жизни и силы, казалось, что без всякого напряжения повезла она плуг в обход селения. Скоро, однако же, силы ее истощились, и удары посыпались на нее; но, изнеможенная, она влекла еще плуг. Прорезываемая полоса земли валилась на сторону и орошалась кровью, которая струилась по белому телу бедной женщины.

Покуда женщины совершали ужасный обход, старцы и все мужики собрались на берегу реки и ожидали приближения их.

Между тем Ива Олелькович спустился уже с горы и подскакал к толпе селян; неожиданное появление витязя на белом коне поразило их, все поклонились ему в ноги, коснувшись челом до земли.

Удатный витязь, не сделав еще вопроса, ожидал уже ответа и, по обыкновению, серчал за молчание.

Догадливый Лазарь не допустил барича своего выйти из себя и спросил громким молодецким голосом: для чего они женами, а не волами и конями землю пашут?

— Родной-ста отец богатырь! — отвечал, приподнявшись, один из старцев, Тиун селения, лет за сто от роду.— То не баба и не девица, то бесова ведьма с хоботом, жена Посадского Яна, спозналась она с нечистою силою-ста да и пьет кровь хрестиянскую, морит православных без милосердия. Мы межу-собу и умыслили: чему на миру народ мрет наповал, валится тый, аки сухой лист с дерева? И смекнули межу-собу: демонский-де дух в селе; и собрали всех жен и девиц на погост; вот-ста, повидим, у поганой Яновны хобот в две пяди; и указала нам, честной богатырь, осударь, вещая Симовна: запречи Яновну в плуг, да прорезать землю вкруг села, да камык-ста ю к горлу, да и в воду; тем-де, бает, и спасение от повальной смерти.

Получив подобный отчет от сельского Тиуна и видя всю законность дела, Ива Олелькович готов уже был отправиться далее; но новый вопрос, сделанный Лазарем, остановил его:

— Иде же путь лежит за тридевять земель в тридесятое царство?

— Не ведаем, отец родной, господин приспешник богатырский; по совести не могим-ста указать; знает про то вещунья Симовна; все ведает: про коня ль пропадет, про обилье ли жита: «Внимай, бает, время пришло!» — «Зелен,

баушка».— «Зелен, да хитер, проведет да с колоса опадет: не довезешь до тока».— «Смотрим — право слово, так!»

— Давай Симовну! — вскричал Ива Олелькович.

— Обгоди, честной богатырь, сотвори милость! дай утопить ведьму окаянную,— сказал Тиун, низко кланяясь.

— Обгодим, боярин! — сказал и Лазарь, которому хотелось взглянуть в глаза окаянной ведьме.

Ива Олелькович согласился. Очень равнодушно смотрел он, как изнеможенную жену Яна притащили к реке и как навязывали ей на шею огромный камень.

— Словно баба простая прикинулась! — рассуждал вслух Лазарь, смотря на несчастную жертву предрассудка.

— Какая-ста простая! неспроста уродилась, всем красам краса, око не дозрит иной такой: не́видаль! Стыдно молвить, а весь хрестьянский мир смутила: зрак — звезда денница, лоно словно пуховое изголовье, бела словно *кипень,* румяная словно багр червленица! Снарядится узорочьем, повяжет *увясло*[1], аль серьги жемчужные вздене т, аль слово молвит устна...

Слова Тиуна прервались внезапным криком.

В толпе селян был молодец со связанными руками; несколько человек держали его как полумертвого. Очнувшись от беспамятства, он обвел кругом помутившиеся взоры, остановил их на толпе женщин, подошедших уже с своею жертвою к реке, вдруг рванулся с воплем, бросился на землю пред Тиуном и жилыми сельскими людьми и возопил:

— Пустите, родные мои!.. Отдайте мою Яновну аль повелите и мне сгинуть под волною водною!

— То Посадский Ян! — сказал Тиун Иве Олельковичу.— Свелся с ведьмой, да и стоит за нее; молвят, не праздна от него окаянная!

Никто не внимал молитвам несчастного Яна, никто и не думал пощадить жену его. С отчаянием обратил он опять взоры свои к реке...

В это время раздалось резкое восклицание, сопровождаемое общим криком женщин. В реке вода плеснулась, струи запенились, как будто в образовавшемся водовороте...

Ян заскрежетал зубами...

[1] Повязка на голове.

Рванулся... веревки лопнули, все державшие его разлетелись в стороны...

Ян быстро бросился к реке и с высоты берега рухнулся в волны...

Исчез под водою...

Образовался новый круг на реке. Восклицание общего ужаса отозвалось в диком лесу, за рекою.

Все обомлели.

Вдали, по течению быстрой реки, выплыл Ян — и не один: в объятиях своих держал он, казалось, Русалку с распущенными волосами.

Несколько мгновений кружится она на волнах, борется с быстриной... погружается снова...

Пенистые пузыри показываются на поверхности воды, лопаются с брызгом...

Река струится спокойно...

VIII

— Веди к Симовне! — восклицает вдруг Ива Олелькович.

— Свелся с ведьмою, сгинул и сам! Ах ты сила небесная! как волокла она его на дно! А он бился, бился, мотался, мотался! хотел урваться да выплыть...

— И вестимо! — произнесли со вздохом несколько голосов в подтверждение слов Тиуна.

— Иде же Симовна? — вскричал снова Ива Олелькович.

— Ну, хрестьяне, давай сюда Симовну! — подхватил богатырский конюх.

— Видать, господин богатырь, Симовна с печи не встает; коли изволишь, ступай сам к ней, в истьбу.

— Указывай путь! — сказал Лазарь.

Тиун пошел вперед вожатым, за ним ехал Ива Олелькович, за Ивой Олельковичем ехал конюх Лазарь, за конюхом Лазарем шла толпа хрестьян сельских; а за хрестьянами сельскими толпа обнаженных женщин с песнями.

Только что вступили они в село, Тиун зашатался, ноги его подкосились, он грохнулся на землю, глаза загорелись, но взор стал неподвижен.

Ива Олелькович и Лазарь, остановясь, дивились, что сделалось с Тиуном.

Толпа селян подбежала к нему.

— Злая бо́лесть, злая бо́лесть! — вскричали все и понесли Тиуна в его избу. На пути, подобно ему, упали еще два человека.

— Злая бо́лесть! — повторили все с ужасом и побежали во все стороны.

Ива Олелькович и Лазарь остановились одни посреди селения.

Подле ближайшей избы сидел на пристьбе старик, опершись обеими руками на костыль, он свесил голову, очи его были закрыты.

— Эй, дедушка! — вскричал Лазарь.— Покажи, где сидит колдунья Симовна.

Старик очнулся.

— Симовна? — сказал он голосом, который был трогательнее горьких слез.— Проклятая! Кому еще в ней треба? Извела своим разумом мое детище!.. ведьма сама!.. Не одарь — злая болесть перевела весь хрещеный люд!..

— Ну, дедушка, идь, указывай избу Симовны.

— Нету-ста, не иду!.. истьба ее на краю села: черный ворон укажет вам путь.

Лазарь поскакал вперед; Ива Олелькович за ним. На краю села, слева, стояла черная изба, отдельно от ряду, в ней были только два волоковые окна, как два глаза у Мурина; на крыше сидел и каркал ворон.

— Вот она, Боярин,— сказал Лазарь.— Изволь стучать в ворота, и в избу, коли изволишь, а я подержу коней.

Ива Олелькович слез с коня, отдал его и копье свое Лазарю, приблизился к избе Симовны и стал стучать в ворота мечом.

— Кто-с? — раздался хриплый голос из полуоткрытого окна.

— Яз! — вскричал Ива.

— Не время! — раздался голос ребенка.— Бабушка спит.

— Пускай! — вскричал Ива грозно.— Порублю мечом избу наполы!

Головка девочки высунулась в волоковое окно, взглянула на богатыря и опять спряталась, захлопнув волок.

— Пускай! — вскричал опять Ива.— Проломлю стену!.. усеку главу, проклятая!

Ворон прокаркал на кровле; ворота заскрыпели, скатились на вереях, как будто под гору, и ударились об стену.

Ива Олелькович вошел на тесный двор; потом влево, сквозь низкие двери едва пролез в темные сени; с трудом отыскал двери в избу, отворил, переступил порог.

— Кого божик послал? — раздался хриплый голос с печи.

— Яз! — отвечал Ива Олелькович.

— Поклонись, добрый молодец, мое дитятко, сватому божику, пресветлому образу!.. поклонись трижды до земли; табе здесь не час часовать, не год годовать, не век вековать; а принес тя божик спрошать про красную девицу да про молодую молодицу. Вестимо ли?

— Ни! — отвечал Ива Олелькович.— Поведай мне где теперь моя Мириана Боиборзовна?

— Ты гори, гори, красно солнышко, не скоро закатывайся, по залесью останавливайся! — проговорила старуха, закашлялась и потом продолжала: — Ты свети, свети, красно солнышко, доброму молодцу вдоль пути, светлый месяц поперек пути!..

Ехать тебе, дитятко, чрез море сытицы; у того моря берега крутые пшеничные; вокруг него растет травушка шелковая; а по тому морю вместо кораблика плавает чарочка серебряная; а море то ни переехать, ни переплыть; а можно чарочкою вычерпать да воздравие выкушать. А за тем морем, дитятко, держать тебе путь через гору песчаную; а на ту гору ни взойти, ни въехать, ни конному, ни пешему, ни коня ввести на поводе; а на той горе стоит бел шатер полотнян; в том шатре спит, почивает сам богатырь; а вкруг того шатра ходит, горюнит да сеет крупный жемчуг-слезки красная девица. Взойди ты на полугорье зарею утренней, на гору красным солнышком, к красной девице подкрадься добрым молодцом...

Дари ты красную девицу светлым каменьем и жемчугом, да шугайкой самоцветною, да увяслом аксаментным на золоте, зарукавьицем да перстнем с золотым венцом...

— Ну, ладно! — сказал Ива, очень довольный словами старухи.— Куда ж с двора? направо ли, налево ли?

— Налево, дитятко, добрый молодец!.. Ты гори, гори, красно солнышко, не скоро закатывайся, по залесью останавливайся, ты свети, свети, красно солнышко, доброму молодцу вдоль пути, а ясный месяц поперек пути!.. Носить тебе, добрый молодец, кунью шубу до земли, соболью шапку доверху, будь над тобой милость божья до веку!

Покуда старуха кончила речь свою, Ива Олелькович хлопнул уже дверью, вышел вон из избы, вышел на улицу, поднял ногою заснувшего на лугу Лазаря, сел на коня и поскакал налево, по дорожке, которая тянулась широким полем.

Лазарь за ним хоботом.

IX

Скоро ли, долго ли, но Ива Олелькович доскакал до городских каменных стен, каких иному и на роду не писано видеть.

Вот богатырь приударил коня и пустился вихрем по улицам *застенья*[1]. Горожане, увидев его, со страхом разметались в стороны, скрылись в дворы; ворота заскрыпели, заперлись; стогны опустели; общий ужас быстро перелился по городу; только в конце улицы, упиравшейся в каменную ограду, еще видны были толпы сбежавшегося народа около железных запертых ворот. С криком ломился народ в них; но ворота не отпирались.

Ива Олелькович подскакал к воротам; вся толпа с ужасом рассыпалась от него в стороны. На *прясле*[2] городской стены показались воины, вооруженные стрелами.

Они наметили на Иву Олельковича и конюха Лазаря.

Лазарь видит смерть неминучую, хочет вскрикнуть, и только слово «Господи!» срывается с окаменевшего языка его, а рука невольно кладет на него крест.

— Стой! то хрестьяне! — раздается голос на стене.

Лазарь повторяет крестное знамение.

— Повежь ны: кто еси? — говорит один из воинов, просунув голову сквозь *персь*[3].

— Кланяем-ти ся, муж мой! сей есть государь и барич сильный и могучий богатырь, Ива Олелькович, а яз верный его конюх Лазарь! Ходим воююче на силу нечистую!

— Оле братие! во граде у нас печаль и вопль; идут

---

[1] Посад, пригород.

[2] Часть городской стены между двумя башнями.— *А. Б.*

[3] Зубцы, гребень стены крепостной. *(Прим. Вельтмана.)*

Основное значение слова — грудь. *Персь* как часть крепостной стены встречается только в Псковской I летописи, откуда, видимо, и взято Вельтманом.— *А. Б.*

Агаряне-губители; будьте нам гости и пособницы на силу Агарянскую! Повежду Княгине! Пождите мало!

Вскоре ворота отворились. Иву Олельковича встретили Княжеские люди и старейшие мужи с честью и повели через город. Улицы и стогны покрыты были народом; все кланялись богатырю и кричали: «Бог шлет нам, печальным, щит и меч на поганых Бессерменов».

У двора Княженецкого вышли навстречу Иве Олельковичу толпа девушек под белыми покрывалами, в кумачных, шитых золотом сарафанах и запели:

Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Светлый божий день,
В высоту небесную!
Ты взойди, взойди, красный молодец,
Государь богатырь,
Во терем во Княжеский!..

Подле крыльца Княжеского терема Княжеские конюхи приняли коней от Ивы Олельковича и от Лазаря.

На крыльце встретила богатыря Княженецкая Боярыня вином на золотом подносе; Ива Олелькович выпил вино и пошел далее; в сенях, у дверей гридницы, встретила богатыря сама Княгиня Яснельда, в багрянице сверх белой, шитой серебром ризы, и повела под руку в *стольный покой;* села на стул Княжеский, посадила Иву Олельковича подле себя и стала ему говорить нежным голосом:

— Государь ты мой, Ива Олелькович, велий богатырь и заступник наш! не утай от меня: ведаю я, ты идешь к Московскому Князю Димитрию службу служить и воевать с поганым Мамаем. У Московского Князя силы много, а враг от него еще далеко; а у нас уж на плечах сидит; приближается к моему отнему граду многое множество Татары поганой, а за ними идут Мурины...

Не успела еще Княгиня кончить речи своей, вдруг вбежал в гридницу бывший на стороже по пути Воронежскому воин.

— Идут, идут! — закричал он, в гриднице все возмутилось, загремели оружия.

Слова воина коснулись до слуха Яснельды; она вскочила с стула Княжеского и в страхе стала на колени пред Ивою Олельковичем, восклицая:

— Оборони, оборони нас, велий витязь и могучий богатырь!

— Любо погублю некрестную силу, любо головою повалю за Княгиню и за Белгород! — произнес громогласно Ива Олелькович и пошел вон из палат Княжеских.

Между тем как он шел к крыльцу, сопровождаемый Княжескими людьми, а Лазарь подводил уже ему коня, два старейшие мужа вынесли на огромном золотом блюде дары от Княгини: златой шлем с красным переным еловцем и огромный меч.

— Княгиня кланяется победным мечом и непроницаемым шлемом государю богатырю, Иве Олельковичу, и просит воеводствовати полком Белогородским, вести на пагубу злых Измаильтян.

— Сам, един иду! — отвечал Ива Олелькович; снял свой шлем, надел подаренный Княгиней; принял меч и поехал тихими шагами по улицам, покрытым народом. Все кланялись и благословляли его на подвиг.

Никто и не думал дивиться и считать невозможным, чтоб богатырь не мог восстать против целого войска: Витязи Князя Владимира были еще в памяти; притом же и пословицу: *«и в мнозе бог, и в мале бог»* можно было приложить к подобному случаю.

Вот выехал Ива Олелькович из *Крома*[1] Белогородского, проехал *застенье* и пустился полем по дороге, откуда ожидали нападения поганых Бохмитов.

Народ высыпал на *прясла* и смотрел сквозь *перси* на благодетельного нашего богатыря. Провожая его взорами, все единосердечно молились небу, чтоб оно ниспослало в нем спасителя городу и погубителя злых сыроядцев, безбожных Агарян.

Княгиня Яснельда, вдова средних лет, полная, как месяц, румяная, как заря, белая, как *кипень*, также взирая на нашего героя с выходца на высоком своем златоверхом тереме, вздыхала печально и, *шибе руце свои к персем*, говорила:

— Господи боже великий, призри на мя, смиренную, сподоби мя видети славного в человецех богатыря Иву Олельковича препоясанна победою и славою!.. Возврати его поздорову; то и земля моя поздорову будет!.. Похизи алч-

[1] Кремль, крепость. Название Псковского Кремля, может быть, происходит от слова *Укромный*, ибо в *Кромахе* были всегда *погреба* и *тайники* для укрытия жен и имущества во время нападений неприятельских.

ного врага ветром с юга и с запада!.. прорази его зноем кромешным!

Льются слезы из очей Яснельды, как речные быстрины.

Ива Олелькович не слышит восклицаний ее, не ведает, что деется в сердце Княгини; гордо близится он к табору вражьему, *спереди ему солнце сияет и добре греет, а по нем кроткий ветрец веет.*

Вот уже слышит Ива: органы тепут, и трубы гласят, и стязи глаголют; и видит Ива за редкой дубравой полки незнаемыи.

— О! — восклицает он, поправляя и придерживая то шлем, который ему велик не по голове, то меч, который колотится об ноги коня и мешает коню идти.

«О! — думает Ива.— Уклоню силу поганую, аки лес, постелю по земли, аки траву под косою!» — и продолжает ехать вперед.

Кто бы не сказал, взирая на нашего сильного богатыря: «Твердая броня на могучих плечах, под бронею храбрость, под шлемом быстрая мудрость, в очах горит ярость».

Вот раскаляет он свое сердце молодецкое, богатырское, разжигает коня ретивого. Запел бы он и любимую песню великана Усмы Хрусовича, когда гнался великан за исполином Урютом, укравшим его Гремиславу, запел бы он:

Конь ты, мой конь, мои быстрые крылья!
Ты неси чрез поля, догоняй мне врага!
Как догонишь врага, расцелую тебя!
Подкую я тебя ярким золотом,
Вплету в гриву тебе камни светлые,
Я покрою тебя тканью шелковой,
Тканью шелковой с золотой бахромой;
Я поставлю тебя во светлицу свою,
Я подсыплю тебе бисер сеяный,
Накормлю я тебя светлой манною,
Напою я тебя и сытой и вином;
Конь ты, мой конь, мои быстрые крылья!
Ты несись чрез поля, догоняй мне врага!
Не догонишь врага, изведу я тебя!
Подкошу я тебе все четыре ноги,
Копьем выколю-те очи ясные!

Запел бы Ива Олелькович, да проклятый шлем сéрдитъ его, меч-кладенец отбил бедро.

— Оувы тебе, окаянный!.. пожди, мало буявый!..— кричит Ива Олелькович; но не узнаешь, на шлем ли свой кричит он или на рать Мугульскую, которая открылась за дуб-

равой, расположенная на высоком холме, близ дороги.

У Лазаря также что-то не ладится; он часто слезает с коня и, то подтягивая подпругу, то поправляя узду, посматривает зорко на вражью силу и не торопится за богатырем.

Сам ли Ива Олелькович приударил коня своего, или неуклюжий меч-кладенец стукнул коня невзначай по ребрам, только конь взвился, дал прыжок вперед... заржавевший *запон* у шлема отскочил, забрало скатилось на богатырское лицо, и вот вся голова Ивы Олельковича скрылась от света божьего в глубину железного шишака.

Конь несет; Ива Олелькович сдерживает его; но, не видя перед собою ничего, кроме темной ночи, правит его в сторону мчится дубравою и исчезает из глаз верного своего конюха и приспешника.

Оставим же нашего витязя скакать по предопределению рока, обратимся к окаянным Агарянам, Измаильтянам, Бесерменам, Таурменам, Мугулам и, наконец, Татарам, посмотрим, что они делают.

Когда Царь Мамай принял с любовью *дары многоценные и книги писаны* от Князя Литовского и от Олега Рязанского, ему и в голову не приходило думать, чтоб собралась туча на том небе, которое казалось так ясно под попечительною рукою Золотой Орды. Близ берегов красного Дона заложил он *облаву* и во ожидании *любимой травли* истреблял зверей, но передовые и сторожевые отряды его пускались уже в глубь России, особенно в Княжества, покорные власти Бохмитов.

Таким образом, один из любимцев Агарянского Царя, *Табунан*[1] его войска *Улан-Джаба,* управляющий *отрядным конным знаменем шестой Луны,* зашел от Дона до границы Княжества Рязанского, разграбил несколько селений союзника Мамаева и расположился при Отоке, близ Белгорода, на отдых.

Призвав к себе одного из *Джасаков*[2], *Табунан* приказал ему с отрядом отправиться в близлежащий город и трубить, чтоб шли к Царскому Мамаеву Табунану, Улан-Джабе, на поклон с дарами и привели бы ему 20 бугаев[3], 50 коней и 100 овец.

[1] У Монголов звание, принадлежащее зятьям владетельных князей.
[2] У Монголов звание: управляющий знаменем.
[3] Буйволов.— *А. Б.*

Джасак собирался уже исполнить волю начальника, а Табунану, расположившемуся на ковре в своем *Гыр*[1], подали уже *Джамбэ*[2] с чаем, вдруг увидел он, что из-за леса сторожевой отряд под командою Тайтзи-Чуана скачет во весь опор.

— Они, кажется, упились *таусином* и меряют бег *тарпанов?*[3] — сказал Табунан.

— Вот наш *Тайтзи!* — вскричал один из подскакавших к Табунану Татар и сбросил с седла труп Тайтзи.

— Толпа собак-*мосхов* напала на нас из-за лесу и повалила урядника; мы ускакали. Несметная сила бежит следом, тысячи стрел летят за нами, но мы опередили их!

Татары зашумели вокруг Табунана. Все торопились седлать коней. Но Табунан, выслушав спокойно речь Татарина, допил *джамбэ* и вместо сборов приказал делать жертвоприношение убитому Тайтзи, назначив для сего трех быков, двадцать баранов и двадцать туслуков *курунгуну-араки*[4] и *хара-араки*[5].

С обычной молитвой походного Ламы тело возложили на костер, облили вином, обсыпали землею, убили быков и баранов, зажгли костер и кругом сего *пала* изжарили мясо.

Между тем как Тайтзи догорал, Табунан с своим отрядом совершал память о убитом: ел мясо, пил вино.

Когда костер истлел, на пепел тела Тайтзи положили его одежду и оружие и в несколько мгновений нанесли огромную груду камней, потом земли; на насыпи врыли столб и привязали к нему любимого коня Тайтзи — Чуана. Конь должен был издохнуть на могиле своего господина!

Совершив таким образом весь обряд жертвоприношения, Табунан сел на коня, и отряд его понесся вслед за ним, как метелица.

В сие-то мгновение богатырь Ива Олелькович, удержав стремление коня ударом головы своей, заключенной в железный шлем, о крепкий сук дерева и освободясь от несносного шлема, который разлетелся от удара вдребезги, мчался уже из дубравы вихрем на утекавшего врага.

---

[1] Палатка (по-монгольски).
[2] Кружка, из коей пьют чай Монголы.
[3] Дикая лошадь.
[4] Кумыс, квашеное молоко, напиток монгольский.
[5] Вино молочное.

— Оувы тебе!.. пожди мало! — кричал Ива, преследуя Татар.

Но Татары не ждут: взвивают пыль по дороге, колеблют землю.

— Оувы тебе! пожди, окаянный! — повторяет Ива Олелькович.

И вот один отставший раненый Татарин, бывший в отряде Тайтзи, как будто вновь пораженный богатырским голосом Ивы, падает с коня и остается на дороге, не замеченный товарищами.

— Ага! — восклицает наскакавший на него Ива и приставляет тупой конец сулицы к груди.

Татарин вытулил очи, смотрит на богатыря и молчит.

Обида богатырю: побежденный не просит пощады!

— А! — восклицает снова Ива и ударяет Татарина тупым концом сулицы в грудь.

Татарин зашевелил руками и ногами, ловит сулицу; но молчит.

— А! — восклицает опять Ива и поворачивает сулицу острым концом.

Между тем как Ива Олелькович меряет силы свои с бездушным Татарином и поражает его острым и тупым концом копья в грудь, народ Белогородский, высыпавший на стены, видел все военные хитрости Ивы Олельковича; видел, как своротил он в лес и, пробравшись дубравою, вдруг хлынул на врага, обдал Татар страхом и трепетом и погнался за ними через поля и горы.

Всякий своими собственными глазами видел подвиг Ивы Олельковича и его победу, какой ни одна старина не запомнит.

Радостные крики огласили город. Сердце княгини Яснельды вздрогнуло, опало от полноты радостных чувств.

Народ высыпал из стен встречать героя. А Лазарь с слезами на глазах стоит уже подле него и уверяет, что Татарин по причине смерти своей не может уже просить о пощаде.

С громогласными кликами толпы Белогородцев окружают Иву Олельковича, берут под уздцы коня его и ведут в город.

Громкие бубны и гулкие трубы провожают.

В воротах города встречают Иву старейшины.

От мала до велика народ весь на *стогнах* дивится.

— *Оле диво, чюдо, братие!* — восклицают со всех сторон.

Вот опять при дворе Княжеском встречает богатыря хоровод дев; на крыльце Бояре подносят ему заздравную чару зелена вина, принимают его под руки, ведут в *мовню,* из мовни в Княжеские светлые сени; в сенях встречает его с приветом Княгиня Яснельда и ведет за столы белодубовые, за скатерти браные. Сажает Иву на первое место, наливает своими руками *Турий рог* питья медвяного, разламывает сладкую *перепечь* надвое; одну полу ему, другую себе.

Ива Олелькович, не обращая внимания на Яснельду, без обычного: «Спасибо-ста, Боярыня, Княгиня!» — берет и кушает.

Подносят ему *с челобитьем:* на серебряном блюде лебедя жареного, да щи богатые, да уху живой рыбы, да спину белой рыбицы, да куря под взваром, да перепечь крупичатый в меру, да блюдо пирогов кислых с яицы, да пирог росольный, да каравай яцкий, да маковник, да папошник с медом, да взвар со пшеном и с ягоды, да коврижку с узорьями пряную, да смоквы.

Подносят ему с челобитьем кубок меду, да ковш серебряный, лаженный жемчюгом, пива ячного, да кружку злаченую в 12 гривен весом с олуем, да разные *кубцы* и *роги* злащены с медом и с вином Фряжским и Гречким.

Ест Ива досыта, пьет допьяна и молчит.

Велит Княгиня Яснельда петь своим красным девушкам-певицам песнь унывную.

Поют девушки песнь унывную:

Загрустила зоря, зоря-зоренька;
Зоря ясная опечалилася:
Ой вы, звездушки, вы, голубушки,
Вы подруженьки мои милые!
Не горите, светы мои, радостно!
Улетел мой сокол, ясно солнышко
Ходит по небу, небу синему,
Сыплет пó миру... лучи светлые;
Позабыло меня мое солнышко
И покинуло меня красное!
Скоро ль, солнышко, ты воротишься?
С зорей-зоренькой ты обóймешься?
Не воротишься, обольюсь слезой,
Не воротишься, то потухну я,
Кинусь с горя-тоски в море синее!

Между тем как красные девушки поют, а Княгиня Яснельда обращается с приветами к Иве Олельковичу, он спокойно продолжает кушать и водить взоры кругом себя.

В Княжеской светлице много невидали.

Светлица с круглым выходцем на реку.

В светлице оконцы с писаными цветными стеклами *Варяжскими.*

Вокруг потолка выложено *черепом муравленым*[1].

Середа из белого камня.

Резной узорчатый потолок из черного дуба, да из белого дуба.

По́лица с подзорами[2].

Лавки кругом устланы *полавочниками*[3] шелковыми, бахромчатыми.

У стены *поставец*[4] с кованою утварью.

На нем стоят *мисы* златые, блюда великие златые, кубки златые, лаженные жемчюгом и драгим камением, ковши серебряные червчатые, кружки, курганы, чары, чарки, лохани, турьи рога... Все золотое, серебряное, с узорочьями, с жемчюгом, бисером и самоцветными камнями.

Ива Олелькович в первый раз видит такое богатство, но он не дивится, не *чюдится* ничему.

С правой стороны светлицы видит он чрез отворенные двери *стольную палату,* лаженную червленицею, на *выти*[5] стоит *стол*[6], резанный из кости, выложенный золотом с хитрыми узорами да с многоцветною птицею, сеянною *сардионом, аспидом, измругдом, томпазом* и всякими иными честными *камыками*; да с багряничным *навесом.*

Но в какой восторг пришел Ива Олелькович, когда с левой стороны светлицы, чрез открытую дверь увидел *оружницу.* На стене червчатый кованый щит, и кольчатые доспехи, и меч *обоюду острый* с чешуйчатым влагалищем, и лук с *налучнею,* с рогами красного золота, и тул, полный стрел, перенных орлиными перьями, и высокий шелом с драконом-змеею.

---

[1] Керамической плиткой.— *А. Б.*

[2] Резная деревянная бахрома у лавок, у полок, у окон.

[3] Покрывало для лавки.— *А. Б.*

[4] Стол.— *А. Б.*

[5] Здесь: возвышение.— *А. Б.*

[6] Престол, торжественное кресло, трон.— *А. Б.*

Не замечает Ива Олелькович, как Княгиня Яснельда выпивает за здравие богатыря, спасителя Белогородского, турий рог меду сладкого.

— Во здравие! — говорит Княгиня.

Ива не слышит. Продолжает рассматривать, любоваться длинною сулицей, которая стоит в углу, и палицей, которая лежит на подставах.

— Что не промолвишь, государь Ива Олелькович, красного словечка? — говорит опять ему Княгиня.

— Ась? — отвечает он, устремив взоры на *стяг*[1] *паволочитый* и хоругви, тут же расставленные около стены. Ива понять не может: что это за оружия? В Сказках об них не было ни слова. «Это,— думает он,— *еловцы* с богатырских шлемов».

Между тем Княгиня с досадою выходит из-за стола; встают Княжеские Бояре, *Думцы* и Княжеские Боярыни; молятся богу, кланяются в пояс Княгине.

Ива также не отстал от прочих; но во время чтения благодарственной молитвы за трапезу он уже был в оружнице и распоряжался там.

Грустная вошла Яснельда в свой терем, приказав ублажать, покоить богатыря-спасителя и дорогого гостя в богатой одрине.

Ива Олелькович был ей по сердцу. Все странности его были для нее обидны; но нравились ей. «Это свойство великих душ»,— думала она.

Женщины любят чудаков и храбрых.

Хотя Княгиня Яснельда не более года как произнесла над смертным одром Белогородского Князя, мужа своего: «О свете, мой светлый! како зайде от очию моею и како помрачился еси? Почто аз преже тебе не умрох!» Но время похитило у нее драгоценную скорбь о прошлом и заменило скорбью о настоящем.

Трудно представить себе влюбленную красавицу 14 столетия. В старину не то что теперь. Усладив сердце слезами, она припевала про себя:

---

[1] Знамя. В Молдавском языке сохранилось слово сие. *(Прим. Вельтмана.)*

Стяги часто упоминаются в «Повести временных лет» и других летописях; о «чрьленом (красном.— *А. Б.*) стяге» говорится в «Слове о полку Игореве».— *А. Б.*

Не воркуй во бору, голубица сизая,
Не кличь на струях, лебедь белая,
Ты умолкни, свирель голосистая,
И без вас тоска погубила меня!
Я напрасно кладу богу жалобы!
Что́ без милого мне сердцу близкого?
Скину я с головы венец Княжеский,
Сброшу с плеч багряницу золотную!
Мне родная земля как чужая страна:
Горем черным она вся усеяна,
Да слезами она вся поливана!

Боярыни, мамушки, нянюшки и дворовые Княженецкие девушки подслушивали ее, шептались и, смотря друг на друга, качали головами.

Но вот доложили Княгине, что богатырь Ива Олелькович, взяв в оружнице шлем богатыря Якуна, деда Княжеского, и стяг войска Белогородского, собирается ехать.

Княгиня не рассердилась на самовольство Ивы Олельковича. «Просите его остаться на праздник заутрия, просите!» — сказала она и разослала по очереди всех своих Боярынь просить Иву Олельковича остаться у нее гостить.

Хитрые придворные узнали, что конюший Лазарь был ключом к воле своего барича, и потому, не успев уговорить Иву лично, они угостили Лазаря; а Лазарь, доказав, что ни накануне великого праздника, ни в праздник ехать в путь не должно, убедил Иву Олельковича остаться в гостях у Княгини.

Между тем Княгиня Яснельда имела совещание с своими Княжескими Боярынями, а потом с великими и вящшими мужами и думцами Белогородскими. Между прочим, наутрие, велела она приготовить в саду своем полдник и празднество на весь мир. *Ключникам* и *ларечникам* приказала она выставить на свет все богатство Княжеское; *стольничим* изготовить многоценные яствы; *чашникам* выкатить бочки меду и пива и разных иных напитков.

Исправнику веселья собрать хороводы, скоморохов в харях, медведей, что пляшут, да в клетке птицу многоцветную, да птицу Индейскую с птенцы, да соколов с челичами, да зверя, иже есть ублюдок с хвостом... и многих разных иных дивных вещей.

Все готовилось по ее приказу.

X

Ива Олелькович после великого подвига спал еще крепко. Высоко взошло уже солнце, на звонницах Белгородских колокола загудели благовест.

Иве Олельковичу видится во сне Кощей:

Старик не старик, а сед как *лунь* и весь в морщинах; человек не человек, а с руками и ногами; зверь не зверь, а с когтями и с хвостом длинным, как вдаль извивающаяся дорога; птица не птица, а с красным клювом да с мохнатыми крыльями, как у нетопыря; конь не конь, а из ноздрей дым столбом, из ушей полымя.

Чудовище несет на себе Мириану Боиборзовну; вокруг него день не день и неуденье; ночь не ночь и не полуночь, а так что-то светлее полудня, темнее полуночи; а Мириана Боиборзовна, бледная, как утренний месяц, так и рвется, так и мечется, а слезы из очей как перекатный жемчуг.

Взбурился Ива Олелькович. Хвать за шлем — шлем к столу прирос; хвать за меч — меч к бедру прирос; хвать за сулицу — гнется в три дуги.

— У у у! — заревел Ива, бросился на Кощея, вцепился в него.

— О о о! — раздалось над его ухом.

Ива очнулся.

В руках его борода посланца Княгини Яснельды, Боярина, который пришел звать его к ней в гости, в Княжой сад, где она уже ожидает его с Боярами, думцами, гриднями, мечниками, купцами и со всею дворнею Княженецкой и со всеми жилыми и вящшими людьми Белогородскими.

Ива Олелькович, видя, что у него в руках не Кощеева борода, бросил клок волос в лицо Боярину и стал осматривать кругом себя: тут ли меч, тут ли шлем, тут ли все прочие его доспехи, все прочее его вооружение, и особенно чёлка из длинных конских крашеных хвостов.

Все было налицо; богатырь успокоился. Между тем Боярин, оправив бороду, поклонился ему земно и произнес речь призвания богатыря на пир Княжеский.

Ива Олелькович готов уже был произнести: «Нетути!» — но Лазарь предупредил это грозное слово вопросом: доспехи воинские наденет он или оксамитный кожух, сеянный каменем и жемчюгом, присланный ему Княгинею?

Ива Олелькович и смотреть не хотел на одежду, не свойственную человеку ратному.

Едва только облачился он во всеоружие, явились от Княгини еще несколько посланцев, Бояр, с приглашениями. Они взяли его под руки и повели в сад, где Княгиня, возвратясь от литургии, ожидала уже его с нетерпением, сидя на резном пристольце, под заветною душистой липой; подле нее был другой, на котором она посадила богатыря Иву Олельковича.

— Как изволил спать-ночевать, государь Ива Олелькович? — произнесла Княгиня.

— Ась? — отвечал он.

Княгиня не знала, что говорить далее; так сильно было уважение ее к великому мужу, храброму и могучему витязю.

Начались гощения, начались песни и игрища.

Хоровод пошел по поляне сада; заплясали и два медведя; заходили ходунами и скоморохи в птичьих и звериных харях, в разноцветных перьях и в кожухах, вывороченных наизнанку.

Иве Олельковичу поднесли чару меду сладкого, но он не обращал на нее внимания, махнул рукой, чтоб не мешали ему смотреть на пляску и борьбу медведей.

— Эхэхэ! — кричал *Чинган,* водящий медведей.— Не весть то, чи видмедь молодый, чи куропатва стара?..

Медведи заревели!

— Эгэгэ!.. а як-то, побачим, старая баба молодую брагу пила, да ее витром с ног сбило?.. як-то, побачим?

Медведю дали в чаше пива; он взял чашу лапами, выпил, стал переваливаться с ноги на ногу, зашатался и грохнулся об землю.

Чинган продолжал таким образом допрашивать медведей про дела людские, про грехи мирские, а между тем к Иве Олельковичу подошли думцы Княжеские, сопровождаемые всеми вящшими мужами Белогородскими.

Они сняли шапки, поклонились Княгине и потом богатырю и повели речь:

— Велик есть в людях славный и лепый витязь Ива Олелькович! Спас он нас от врага всепагубного! Молят тебя, благородный осударь Ива Олелькович, град наш и веси вси, и народ наш, и церковь, и вдовствующая Княгыня: сесть на стол Княжеский Белогородский, и сидеть и кня-

жить и хранить ны от силы Мамаевой, иже на Русь грядет. И приять в жену себе Княгыню Яснельду, с веном великим; она же тебе статность друга, благородие Княжеское и красоту свою дарствует!

Княгиня Яснельда, склонив взоры, зарделась как вечерняя заря. Бояре ожидали ответа. Ива Олелькович молчал; его внимание было устремлено на толпящихся вдали скоморохов.

— Государь Ива Олелькович! — продолжали Бояре, поклонившись опять до земли.— Одари нас твоим соглашением!

— Ась? — вскричал богатырь и сердито махнул рукою, чтоб все отошли прочь и не мешали ему смотреть на борьбу силачей.

Яснельда покатилась без памяти на руки Боярынь своих; ее понесли в палаты. Но обиженная гордость скоро возвратила ей память. «Вкиньте его в темный погреб!.. Вкиньте за обиду Белогородскую!» — произнесла она окружающим, и все бросились исполнять волю Княгини.

Но кто же осмелится взять богатыря Иву Олельковича?

Душа его вооружена мужеством, а тело силою.

По долгом совещании исполнители воли Княжеской всыпают сонного зелья в турий рог меду сладкого, идут к Иве Олельковичу.

Они застают его в толпе скоморохов, песельников и народа, подле двух медведей, повторявших пляску, полюбившуюся богатырю. Лазарь, красный, как раскаленный уголь, стоял подле своего барича. Он хохотал, заливался, как будто не перед добром.

— Государь Ива Олелькович! Княгиня кланяется тебе стопою меду сладкого,— сказали Бояре, поднося на серебряном подносе мед.

Ива не отказался, выпил.

Рожок залился, песельники гаркнули веселую песню, медведи заплясали.

Княжеские конюхи повели Лазаря на угощенье.

Бояре сторожат богатыря.

Вот отрывистый хохот его тихнет; глаза его слипаются.

— Княгиня просит Иву Олельковича в упокои! — говорят ему Бояре, почтительно кланяясь, и берут его под руки.

Ива Олелькович не противится. Латы на нем тяжелеют, шлем свихнулся на сторону, голова на другую.

Вот ведут его с честью в палаты Княжеские; проходят широкие сени, проходят дубовые двери, проходят подвал. В подвале темно. Является провожатый с фонарем, отворяют еще двери дубовые, кованные железом, вступают в низменный покой.

Ива покорен, как младенец; он уже едва переступает, храпит. Снимают с головы его шлем, отвязывают меч и тихо, молча, будто боясь, чтоб не разбудить уснувшего богатыря, кладут его на настланные снопы.

Молча, на цыпочках все выходят; двери притворяются; запор скрыпнул; медленно поворачивается ключ, и удар щеколды глухо раздается по подвалу.

XI

Слухом земля полнится, и потому возможно ли, чтоб стоустая молва и велеречивая слава умолчали о подвиге богатыря Ивы Олельковича?

Мамай, *сердитуя, как лев, пыхая, как неутолимая эхидна,* кочевал уже при устье реки Воронежа. Тут ожидал он своих пособников, Ягайла Литовского и Князя Олега Рязанского; но они, узнав, что Князь Димитрий Московский не *утулил*[1] лица своего и с Двором Княжеским не бежит в Новгород или в пустыни Двинские, не торопились соединиться с Мамаем.

Особенно Олег, хитрый и увертливый, как птица, следовал правилу: *кто силен, тот и прав, кто в золоте, тот и друг;* и потому, до времени, он избрал мудрую средину между Мамаем и Димитрием и дружески протянул одному правую, а другому левую руку.

Медленно стягивалась рать его к Оке; Белогородская отчина, принадлежавшая вдовствующей сестре его, Яснельде, также поставляла часть войска.

Пришедшие из Белгорода воины рассказывали про чудесное спасение города богатырем Ивою Олельковичем от нечистой Измаильтянской силы.

«Велик и могуч,— говорили они,— богатырь Ива; рос-

[1] Не спрятал.

том он выше Княжеских палат, а плечо от плеча далеко, как утро от вечера; с ног до головы окован в железную броню; мечом рубит горы наполы; лук у него величиною с дугу-радугу; тул с черную тучу, полную громовых стрел; а палице и меры нет».

Наслушавшись досыта рассказов про Иву Олельковича, как одним махом побил он целый лес силы нечистой, доверчивые Рязанцы, перенося рост и силу Ивы Олельковича из уст в уста, взлелеяли его и взрастили выше небес, сильнее древнего богатыря Силы Рязаныча, которого едва земля на себе носила.

Слухи дошли до Князя. Олег возрадовался чудной новости — она предупредила его намерение клич кликать по всей отчине своей и вызывать сильных и могучих богатырей. Он слышал, что у Димитрия в войске есть витязи Пересвет и Ослябя, которые хвалятся одни идти на всю силу Мамаеву, как же не поверить самовидцам о дивном богатыре Иве?

Покуда Олег снаряжает послов к сестре своей, просить отпустить к нему великого и могучего нашего витязя, мы возвратимся в те четыре стены, между коими заключен Ива Олелькович.

Читатели могли полагать, что, заключив героя романа в темницу, нам нечего будет сказать про него до самой минуты освобождения; но это неосновательно. Человек живет двоякою жизнью: положительною, т. е. деятельною, видимо стремящеюся к своему концу, и жизнью отрицательною, стремящеюся к своему началу.

Посади в темницу какого-нибудь витязя настоящего времени — он будет проклинать или судьбу, или людей, или обстоятельства, или жизнь, или день своего рождения, или все вообще, чему не страшны проклятия; он будет даже лить слезы, чтоб показать или злость, или слабость свою; он будет вымышлять все средства, чтоб избавиться от неволи и отмстить и другу и недругу за насилие; но Ива Олелькович, как человек великий, как герой великодушный, стены, окружающие его, почитает призраком, наваждением Кощеевым и, не вооружаясь даже терпением, чтоб удобнее сносить гонения судьбы и людей, спокойно ждет видимой или невидимой руки, которая отопрет запоры и возвратит ему волю и коня, чтоб преследовать похитителя Мирианы Боиборзовны.

Исключая меч, стрелы и копье, Ива заключен был во всеоружии; кованые доспехи тяготеют на плечах его; но расстегнуть железные запоны брони и снять ее некому; и потому, во всем воинском облачении, он склоняется на постланные на полу ржаные снопы и предается вполне деятельности жизни отрицательной.

Всякий день сквозь отверстие в потолке спускается к нему плетеница[1] с хлебом, с солью и с водой, и чья-то рука зажигает перед иконой елей, и чей-то голос произносит:

— Государь Ива Олелькович, изволь сесть на стол Княжеский Белогородский, прими Княгиню в жены себе, и будет тебе честь и почесть.

— Ась? — говорит обыкновенно Ива Олелькович. Голос повторяет слова свои. «Нету-ть!» — отвечает Ива Олелькович, вполне уверенный, что Белгород, Княгиня Яснельда и весь Двор ее суть не что иное, как наваждение нечистой силы, и что с появлением дня, когда крикнут сторожевые петухи, все должно рассыпаться; но день не показывается, и петуха как будто на свете нет.

Опорожнив плетеницу, Ива Олелькович, по обыкновению, укладывается на снопах и мыслит о великих делах, о подвигах сильных и могучих богатырей, о Чуриле, о Добрыне, о Горыне, о Дубыне, о Усыне, семи отцов сыне, о Королевиче Разыграе, о Жар-птице, о Царь-девице и Мамазунах[2]. С ними Ива носится из царства в царство, из земли в землю, из края в край, из града в град; с ними просыпается, встает, умывает белое лицо ключевой водою, молится богу, облачается в доспехи, кланяется на все четыре стороны, садится на коня, выезжает в поле чистое, ломает копья, *тручит* по шлемам мечом. То помогает он Дубыне вырывать из земли столетние дубы; то радуется на Горыню, когда он мечет под облака скалы и давит ими поганые Ханские полки; то едет Ива с Разыграй Королевичем за воровкою Жар-птицей; то перескакивает на коне через ограды каменные и рвет золотые струны, протянутые от бойницы до бойницы; то вылетает из подземного царства на сером журавле и кормит его на полете белым своим телом; то несется вслед за коромыслом с двумя кувшинчиками, которые летят в Индейскую землю за живой и мерт-

---

[1] Корзина.

[2] Амазуни — на греческом языке значит: без груди.

вой водою; то входит в шатер Царь-девицы и спасает ее сонную от злобного Юды...

Таким образом мечтая, Ива Олелькович погружается в глубокий сон, и ему кажется, что он тонет в море и является у подводных хрустальных чертогов водяного дедушки Омута.

Вот все подводное царство дивится невиданному диву, с земного царства пришельцу или мимошельцу Иве Олельковичу: морские богатыри, покрытые с головы до хвоста чешуйчатыми латами, ходят около него, хлопают жабрами, белая рыбица в жемчужной ферязи ластится; вьюн крутится, бьет хвостом о железные доспехи витязя; надутый лещ остановился и поднял гребень от удивления; строи морских раков, латников, вооруженных клещнями огромными, отступают назад и, вытулив очи, хлопают шейками.

Неслыханное плесканье рыб доходит до слуха Омута. Высылает он седого своего думца Кита узнать, что́ на дне морском деется. Выходит Кит из хрустальных чертогов, дивится на Иву Олельковича и молча возвращается к Царю морскому, доносит ему о появлении в его Царстве зашельца земного, богатыря в чешуе железной.

Взмутился Омут, заклокотал, закипел, запенился. «Призвать, говорит, его ко мне!» Бегут золотоперые придворные звать Иву Олельковича. Морской конь подплывает под него и несет на себе в чертоги Царские; при входе стоят на часах Пила и Меч. Вот Ива видит: на жемчужном престоле сидит водяная глыба; глаза — пузыри; нос — синий смерч; рот — пучина; волосы — водобои; борода — водопад.

— Ну! — говорит Царь Омут.— Незваный гость, земной богатырь-зашелец! Слыхал я, на земле славятся силой и воинской хитростью,— посмотрю я вашего молодечества; дам я тебе под начало море воды, да конной рати, называемой сельдь, две тмы, да пехоты, тяжелых латников-раков, одну тму с полтмою, да иных разных ратных рыб, одну тму с потемками; поведешь ты мою рать на поганого Кощея, который завладел горячим песчаным морем на юге. Возьми ты в полон Кощея, наводни горячее море да насели его рыбою. Сослужишь службу верой и правдою, дам я тебе два *вóрота* сухой воды, что у вас зовут светлым камнем алмазом, да женю тебя на моей возлюбленной дочери Струе; а не сослужишь мне добром, заточу я тебя в мразное море!

Умолк Царь Омут и велел позвать к себе возлюбленную дочь свою.

Течет в светлицу ясная, прозрачная Струя; в жилках искрится радуга семицветная; вместо покрывала облечена она в пену жемчужную; переливаясь по золотому дну подводных чертогов грозного своего родителя, шепчет она сладкие речи на непонятном Иве Олельковичу языке. Катятся вслед за нею волны мамушки и нянюшки и красные сенные девушки; они плещутся, брыжжутся, ударяют в хрустальные стены.

— Возлюбленная дочь моя, Струя! — говорит Царь Омут.— Вот твой суженый: обними его ласково и приветливо!

Струя повинуется, течет прямо к Иве Олельковичу.

Ива Олелькович отступает; но нет спасения: Струя хлынула в его объятия, обдала его... «Ух!» — восклицает Ива и вскакивает; холодный пот катится с лица его. Он осматривает все кругом себя... Нет ни хрустальных палат, ни Омута, ни холодной Струи. Опять темные стены, опять ночник перед иконой, ложе из ржаных снопов и плетеница с хлебом и с солью.

Еще полный дремоты, чувствует он голод; придвигает он к себе плетеницу с пищей; берет круглый опреснок, ложится, кусает, и — новое чудо: хлеб светит как месяц. Ива всматривается... В руках его ущерб лунный; смотрит на небо... оно темнехонько, некому его осветить. Жаль Иве неба; поставлю, думает он, светлый месяц на место.

Вот шарит Ива рукою по небу. Гладко как стекло, не на что повесить месяца.

Опять шарит, ищет, вскакивает с досадой и — стукнулся об небо теменем... Хрустнуло небо, разлетелось вдребезги; звезды посыпались как искры, обожгли его. Ива вскрикивает, приходит в себя и — опять он в темнице, опять ночник теплится перед иконой, опять лежит он поперек одра с опресноком в руках. Не верит Ива Олелькович глазам своим; взял опреснок в обе руки, рассматривает и боится, чтоб опять не укусить светлого месяца.

Как хороша, как сладостна, как радостна мечта! Между жизнью и мечтой есть большое родство, и потому уметь жить и уметь мечтать — две вещи, необходимые для житейского счастья.

Посмотрим на мечты Ивы Олельковича. Его мечтания не в будущем, а в настоящем; это доказывает ум и великую самостоятельную душу, которая не нуждается ни в чем, кроме прошедшего, чтоб создавать настоящее по произволу.

Вот Ива Олелькович любуется мысленно красотою Мирианы Боиборзовны; рассматривает ее с головы до ног; вот вставляет в девственный облик ее голубые очи; примеривает, не лучше ли она будет с черными; расплетает ей русую косу, хлопочет раскладывать по белой груди и по плечам черные струи волосов; то переодевает ее из сарафана в ферязь с длинными до пят рукавами, то, сбрасывая ферязь, накидывает на нее шубку на лисьем меху; то ласкает ее, то дразнит медовиком, то угощает, сыплет ей в полу орешенья и вишенья; то напевает ей песню, то, увлекая ее в хоровод, вскакивает с своего ложа и хочет идти вприсядку... да броня мешает, не гнется; да два луча от ночника кажутся ему руками Кощеевыми, обвивающимися около Мирианы Боиборзовны. Ива бросается на злодея... черепок с горящим елеем перед иконой летит с полицы, разбивается вдребезги... потухающая светильня тлеет на полу и светится, как очи Кощея из-за тридевяти земель... Ива бежит за ними, ударяется лбом в стену своей темницы и, осыпанный молниями, опрокидывается без памяти назад, на землю.

Поганый Кощей!

Но и несчастье сладко, когда человек чувствует собственное презрение к несчастью. Силачу необходимо противосилие, как пища; он счастлив, когда встречает его.

Так и Иве Олельковичу необходима борьба с Кощеем.

Вот Ива Олелькович очувствовался, приходит в себя; все темно, все потухло в очах его; летит черная туча по небу; не видно ни зари, ни дня; упала мгла от неба до земли.

Ива припоминает полученный от Кощея удар в голову, и ему слышится вдали жалобный напев Мирианы Боиборзовны:

Ты пусти меня, пусти, *окаянный!*
Наберу я былья по долине,
Залечу я другу его рану!..

Как сладко подобное участие!

Скажут, что это мечта... Отчего же у Ивы Олельковича

так сладко билось сердце? Отчего память его так искусно мутилась, что в состоянии была обмануть зоркие чувства? Но точно ли это мечта?.. не наваждение Кощеевой нечистой силы? Впрочем, может быть, мечта есть внутренняя наша жизнь? Кому не случалось от мечты быть веселым, от мечты быть печальным, сытым, пьяным, робким, храбрым, влюбленным, быть огнем, льдом, женщиной и мужчиной, всем и ничем!

Таким образом и Ива Олелькович, смотревший не из себя, а в себя, окруженный чудными существами и дивными обстоятельствами, не видел в ежеминутных богатырских трудах и заботах, как прошло много времени, между тем как конюх его Лазарь изныл, истомился, похудел, тоскуя по своем бариче.

Лазарю дана была полная свобода нести богу жалобы: ибо в старину люди жаловались только на собственные свои грехи.

Лазарь был одарен от природы чутьем. В день заключения Ивы Олельковича, спеленанный медвяным хмелем, он очнулся не прежде другого дня; но судьба барича не утаилась от него. В первые минуты отчаяния он залился горькими слезами; потóм, не зная, чем помочь горю, он хотел идти молиться Княгине, хотел просить за барича Белогородское Вече, хотел седлать и ехать домой *пожалиться* Мине Ольговне и поднять мятеж и *встань*[1] во всем селении Облазне; но пришел час полуденья, гостеприимные Княжеские конюхи позвали Лазаря на *губницу* и, утешая, поднесли ему хмельной браги. Действие хмеля было благодетельно: он унял порывы отчаяния, отер слезы кулаком, угомонил сердце и вот, к вечеру, на сеннике, в кругу конюших и приспешников Княженецких, Лазарь досказывал уже письменную Сказку, быль про Кощея, слышанную им от звонаря сельского, читавшего оную в книге иерея Симона, глаголемой *Гронограф*.

— Вот, — говорил Лазарь, — Кощей думает: как извести сына рыбаря с *Баричева холма,* который по заклятию должен был наследовать его богатство. Придумал, идет под вечер к рыбарю. «Здорово, рыбарь!» — «Здорово, свет Боярин!» — «Много ли рыбы в Исаде? каков лов?» — «Нет лову,

[1] Восстание, мятеж.

Боярин, на рыбу сон, вьюна живого нет!» — «Ой?» — «Право слово, Боярин, кормиться нечем, а бог дает детище!» — «Сын или дочь?» — «Сын, Боярин». — «Дал бы тебе пригоршню пенязей, оже бы ты достал мне на ужин рыбы, поди-ко, авось в садке есть что-нибудь». — «А може, и есть, пойду, пожди мало, Боярин». Рыбарь со двора, а Кощей к хозяйке: «Принеси-ко, молодица, кваску с ледника». Молодая родительница, еще слабая, положила бывшего на руках ее ребенка на постелю, вышла с жбаном на ледник, а Кощей за младенца, да и вон из избы. Выбежал в поле, берегом Днепра, остановился близ устья Почайны, остановился под густым деревом, разрыл снег, бросил в него ребенка, засыпал его... А кто-то скачет по ближней дороге, Кощей от него, а страх за Кощеем. В недре огонь, в членах трепет, в устах жар, прибежал домой. «Дай мне холодного меду!» — говорит он жене. Подает она ему холодного меду. «Тепел! дай льду!» И лед, как раскаленный камень, жжет язык. Гонит прочь от себя и жену и домовинов. Уходит и жена и домовины, но Кощей все не один, вкруг него кто-то все ходит, на потолке стук, под полом возня, по углам шепчут, в трубу гудят... Стоят у Кощея волосы дыбом, обводит он кровавыми очами избу, прислушивается... Вдали плач младенца, над ухом угрозы... Бросается он в пуховую постелю, закутывается одеялом... Что-то холодное ползает по телу, вьется, шипит... Сбрасывает с себя Кощей покров, вскакивает на ноги... ноги ломятся, в очах туман... Грохнулся без памяти о пол.

Проходит ночь. Настало утро. Опамятовался Кощей. «Посмотри, что с ним деется!» — кто-то опять ему шепчет. Встает, боязливо окидывает все взорами... крадется из дому, по улицам, спешит к болонью, к тому месту, где зарыл в снег младенца. Смотрит — на том месте видна только проталинка: поросла густой шелковой травою... трава помята... младенца нет.

Заскрежетал Кощей, рвет на себе волосы; а подле него, за бугром, слышны голоса... прилег к земле, прислушивается.

— Что сказала Лыбедь?

— Нельзя-де теперь: муж дома.

— Окаянный Кощей!

— Велела прийти повечери да стукнуть в боковое оконце.

— Ладно.

— А слышал ли ты диво? Болоньем ехали сегодня, раным-рано, купцы; едут, а подле дороги сидит младенец, как заря румян; кругóм снег, а под ним на проталинке зеленая травка, а теплынь, словно в печурке; подивились купцы, да и взяли младенца; привезли в город, а Лыбедь, жена Кощеева, и взяла его вместо родного сына: мне-де бог не дал детища, в чужом шлет утеху старости и наследника...

— Диво!

— Да, диво!

Умолкли прохожие, скрылись.

— Настал мой конечный час! — промолвил Кощей, и повело его *тугой,* очи закатились, зубы стиснулись, окостенели члены, лежит, как камень могильный. Но вот снова обдало его огнем; опять под сердцем как будто нож врезался. Очнулся и видит: лежит он в черной избе; нет никого, а за стенкой слышно речь ведут:

— Слава Пану богу! дал мир нашей земле, а безвременье поганому Кощею!.. Недаром бежал, а Князь разослал везде поиск: кто приведет живого или мертвого, сто гривен тому серебра в *одар* и милость Княжеская! Не уйти ему!..

«Погиб!» — думает Кощей... приподнимается с одра, накидывает на плеча покров, крадется к дверям, отворяет; двери скрыпят... выбегает в сени, во двор, в задние ворота, в градину; перескакивает через плетень, бежит полем, глубоким снегом в лесу, в чащу, бросается под пространные ветви ели, занесенные снегом, и не смеет перевести дыхания. Но погони не слышно; только стая черных воронов слетелась над ним, скрыла от него свет божий и каркает что-то недоброе; а голод и жажда душу томят, в недре словно печь топится, уста запеклися, а мороз режет тело; а ветер сквозит и обсыпает Кощея порошей. Но вот заходящее солнце осветило высокие башни *Самвата;* взглянул Кощей, закипела в нем кровь. «Убью, говорит, жену-изменницу!.. убью заклятое детище!.. не играть им моим золотом!..»

Вскакивает с места, бежит, а вóроны вслед за ним, как за трупом, который уходит от стаи. Уж смерклось. Кощей пробирается берегом Днепра к своему дому, крадется градиной к оконцу терема, стучит в него хворостом. «Кто там?» — раздается печальный голос. «Я!» — отвечает Кощей. Оконце отворяется, и кто-то, протянув руку, произносит: «Прими, добрый человек, милостыню!.. помолись за погибшую душу моего мужа!..»

Малый хлебец упал на руки Кощея.

— Лыбедь! — вскричал он, но уже поздно: оконце захлопнулось.

Бежит к воротам. Подле ворот стража.

— Кто тут? — раздается звонкий оклик.

Кощей останавливается, не смеет отвечать.

— Говори, проклятый! убью!

«Проклятый!» — отзывается в ушах Кощея.

«Узнали меня!..» — думает он и скрывается в темноте... а мрак так и ложится на землю... а он... идет все... идет... идет да идет... вот... идет!.. ну... пррр!.. окаянный!.. ушел!.. ааа!.. стой!..

Таким образом рассказ Лазаря слился с его дремотой, а уходящий Кощей с ушедшим конем; и вот Лазарь делает два дела: в *мире вещественном* храпит на сеннике, а в мире отвлеченном ловит богатырского коня.

Все его слушатели также уже во сне ловят *буркал.* Таким образом, первый день заключения Ивы Олельковича потух.

XII

Много прошло еще новых дней, в которые горевал Лазарь по своем бариче и рассказывал на сеннике разные были и небылицы. Он начинал привыкать к новому образу жизни, принимал уже участие в Княжеских конюшнях, водил Княжеских коней на водопой, задавал сено, засыпал овес, чистил и чинил сбрую, возил со двора навоз... вдруг в один благодейный час возмутилась тишина в Белогороде Приехали послы от Князя Рязанского.

И были те послы: Княж Иван сын Гюргович, да Бояре Поликарп и Углеб, да Иван Войтишич, да Олег, да Мнислав и иные.

Они представились Княгине Яснельде и после поклонов от Князя, старшего брата, Рязанского, прочли, по обыкновению, грамоту:

«Милостию божию и пречистыя его Богоматери, на сем на всем, молодшая сестра Княгиня Яснельда Белогородская, Ивановна, целуй во всем крест к своему брату старейшему, Князю Олегу Ивановичу Рязанскому, держати ти мене собе братом старейшим, честно в любви и во чти, и хотети ти

мне, брату старейшему, добра везде и во всем и до живота, а не доканчивати-ти, ни ссылатися ни с кем без моего веденья, а с кем будешь ты в целовании, и тебе, к тому целованию сложити, а мне, по душевной грамоте отца, тебе жаловати и печаловатимися тобою и твоею отчиною...»

Кончив длинное чтение грамоты, послы объяснили Княгине причину послания. Дело касалось до Ивы Олельковича. Олег требовал его к себе воевать на врагов.

— Завтра пущу к вам моего богатыря,— отвечала Яснельда послам, и они отправились ожидать завтрашнего дня.

Настал завтрашний день; Совет Княжеский задумался: каким образом выпустить богатыря из *погреба?*

Два дня судили, на третий решили: прибегнуть к Лазарю.

Взыграло сердце Лазаря красным солнцем, когда дали ему в руки ключи от подвала, где был заключен его барич, и сказали, чтобы он молил Витязя Иву Олельковича идти щитом за Князя Олега Ивановича, что Князь пожалует-де его своею любовию, и серебром, и златом, и паволоками, и конем, и бронею.

Торопится Лазарь темным подвалом, толпа людей Княжеских не успевает за ним.

Вот стукнулся он уже лбом о дубовые двери, пошатнулся, зачесал голову...

Вот стучит, зовет барича по имени... слова вторятся под сводами, щеколда щелкает... за дверью молчание...

Вот заскрыпели вереи, дверь отворилась, Лазарь хлынул в темницу...

— Господине мой Ива Олелькович!.. Государь Ива Олелькович!..

Вторится имя Ивы Олельковича под сводами... Не отвечает.

За Лазарем не внесли светоча; все стояли в дверях в страшном ожидании появления богатыря.

Лазарь шарит в темноте.

— Государь Ива Олелькович!

Нет ответа.

— О о о! — заревел Лазарь.— Государь ты мой Ива Олелькович!

Придверник темничный и Княжеские люди приблизились к двери с светочем.

Лазарь стоит посреди темницы, как окаменелый. Перед ним на полу несколько снопов ржаной соломы, вокруг него пустые стены.

У всех отнялся язык, сердце замерло.

Где Ива Олелькович?

XIII

Время волшебства и чародейства, время золотое! ты живешь уже только в Сказках!

Время, когда юная волшебница после короткого сна на летучем, пуховом облаке пробуждается от поцелуя любимицы своей, румяной зари, спускается с высоты на душистый луг и погружается в благовонном море цветов!.. Воздушные девы накидывают на обнаженную красоту ее легкий туман, сбирают для нее перловую росу, нижут ожерелье, плетут венец, вяжут из цветов ткань для одежды, навешивают серьги, осыпанные искрами дивного света, стягивают стан радужной тесьмою, набрасывают на белизну чела ее легкую тень вместо покрова, прикасаются устами к ее снежной руке, ловят ласковый прощальный взор ее, дивятся чуду создания, чистоте ее души, нетленной нежности ее состава...

Волшебница летит поклониться *неведомым силам...*

Где же вы, духи неведомые? Злые и добрые, светлые и темные? Кто истребил ваше царство и изгнал вас из мира вещественного в мир воображения?

Кто похитил таинственные слова заклятий, призывающих вас на помощь человеку?

Кто совершенно приковал человека к земле и отнял у него волшебные средства сбрасывать с себя на время тело и носиться невидимо, подобно вам, в пространствах вселенной?..

Нет того, что было! Нет вас!

Однажды Ива Олелькович, распростертый на своем скудном ложе, на снопах, догнав во сне похитителя Кощея, изрубил уже его наполы, очнулся довольный собою и, окидывая взорами свою темницу, искал Мириану Боиборзовну...

Вдруг слышит он, раздается над ним тихий голос:

— Ива Олелькович?

— Ась! — отвечает Ива.

— Ива Олелькович?

— Иде же ты? — отвечает Ива, обводя глазами все четыре стены.

— Ива Олелькович! — продолжает тихий голос.— Не лиши любви твоей... горькие слезы выплакала!.. не могу быть без тебя!.. пришла к тебе сама молить: не сгуби души моей!

— Ой?.. сама? — вскричал Ива радостно.— Ах ты голубица моя сизая, лебедь белая!.. иде же ты?

— Здеся, зде, Ива Олелькович!

Ночник перед иконой почти потух, но Ива Олелькович увидел, как с потолка спустилась лестница, а две белые руки протянулись к нему.

— Иди борзо... иди... бежим от власти крамольника и грабителя Коротопола!

— Кощей поганый!.. Не кресить уже ему! — вскричал Ива Олелькович, карабкаясь на лестницу.

— Тс! тише, тише! дорого́й мой, лад мой!

Ива выбрался из своего погреба в тьму кромешную; две нежные руки обвились около его шеи. На объятия он отвечал также объятиями.

Все чувства Ивы Олельковича были полны радости; душа его играла мыслью, что Мириана Боиборзовна ему возвращена, что его могущество и сила преодолели все очарования поганого Кощея.

Кто, осветив картину сию искрой своего воображения, не сказал бы, что он Диди-Ладо[1], а она Девана[2].

— Лад мой! — раздался опять тихий голос.— Нас ждут кони!

И вот ласковое привидение повлекло Иву Олельковича за руку темным переходом, крутою лестницею.

Ива Олелькович, испытав огненный поцелуй, забыл все... Несколько раз останавливал он путеводительницу свою, чтоб повторить награду за избавление ее от поганого Кощея.

Проходят сени, спускаются с широкого крыльца в сад... небо ясно, на небе звезды, но ночь темна...

---

[1] Дидис — по-литовски *Великий,* Диди-Ладо значит *Великий Лад,* бог войны. (См. в коммент.: Дида, Лад.— *А. Б.*)

[2] Богиня непорочности (в древнеиндийской мифологии.— *А. Б.).*

По тропинке, между густыми деревьями, приближаются к калитке... деревянный, огромный замóк щелкнул, калитка отворилась; подле стены, на Княжеском заветном лугу, всадник держит двух оседланных коней.

— Лазарь! — вскричал Ива Олелькович.

— Тс!.. Лазарь нас догонит,— говорит она ему тихо.

— Шлем и меч! — продолжает Ива Олелькович громким голосом.

— Тс!.. шлем и меч будут, будут, а теперь едем!

Сговорчивый богатырь соглашается.

Едут. Темная ночь, потворница тайн, стелется по горам, по лесам, по водам и долинам, кутает природу, обращает предметы в чудовищ, морочит глаза, обдает ужасом чувства... И вот... жмется к Иве сопутница его; то торопит его, просит ехать скорее, то удерживает, молит его ехать тише... Сбила бы она Иву Олельковича совсем с пути, если б не проводник.

Между тем как они исчезают в темноте и несутся за проводником, в Белгороде настает тот день, на который послы Олега должны были принять богатыря Иву Олельковича для отъезда с ним в Рязань.

Читатели видели, как Лазарь и Княжеские люди, не нашед в темнице Ивы Олельковича, стояли в ужасе и недоумении.

Когда наконец пришли они в себя и известили о дивном событии Совет Боярский, Бояре пошли доложить о сем Княгине; но Княжеские Боярыни сказали им, что Княгиня заперлась в своем златоверхом тереме и никому не велела входить к себе в продолжение трех дней.

Послы Олега Рязанского, не зная, каким образом предстать Князю, не исполнив его воли, решились везти с собою хотя богатырского конюха.

Тщетно уверял их Лазарь, что без своего боярича он никак не может разбить силы нечистой.

— Благоверные господа послы, честные Бояре, — говорил он им,— отпустите меня, верного раба, конюха и приспешника богатырского, отпустите искать его по белому свету, не дайте сгинуть тугою и печалью! Отпустите — найду его и приду вместе с ним служить службу Князю Олегу Ивановичу, а *един* не могу.

— Иде же ты найдешь его? — спросили Лазаря послы.

— Ведаю, куда пошел он,— отвечал Лазарь,— пошел он

за тридевять земель в тридесятое царство, к Кощею бессмертному, за своею женой Мирианой Боиборзовной.

Послы захохотали; они верили силе и богатырству, но про тридесятое царство и про Кощея слыхали только в Сказках.

— За коей Мирианой Боиборзовной? — спросили они Лазаря, помирая со смеха.

— За своей женою,— отвечал Лазарь.— Вот, изволите видеть, честные послы Княженецкие: когда государь Ива Олелькович в белый свет народился, то народился он под великою, светлою звездою-*планидой,* велик ростом и умом не детским и с зубами большими. И не возмогла воскормить его родная матушка молоком материнским; и водили к нему кормилок со всей волости; ни одну не принял, искусал всем сосцы, исцарапал, изорвал всем лица, губил всех без милости. Вот и послала родная его матушка, Мина Ольговна, клич кликать, звать кормилицу из дальной земли; и пришла кормилка из страны Узовской. «В три дни, говорит, воспою, воскормлю его; расти ему не по годам, а по часам, быть ему богатырем могучим, сильным, храбрым витязем; готовьте ему не пелены, не свивальники, не белую полотняную сорочку, не плетеные лапотки, не морховую шапочку с золотою ужицей, а готовьте вы ему шлем золотой с орлиным яловцем, броню железную, меч-кладенец, лук разрывчатый, палицу дубовую, саженную кременными зазубринами. Да ищите ему невесту красную, не полюбится, уйдет он от вас, искать девицу во лбу светлый месяц, на ланитах утренняя заря, уста — багрец, русая коса в три поприща...»

Всплеснула руками, восплакала родная матушка, стала готовить всеоружие, искать невесту, стряпать яствы и варить пиво и мед на свадьбу.

И стал Ива Олелькович сосать сосец бабы-кудесницы. На первый день пососал, полез по лавкам, по столам и на печь; на другой день пососал, полез вон из избы, на голубятню, на высокие деревья; на третий день пососал, полез в драку с дворовою челядью.

И вырос он в три дни, господи упаси, велик! А голос у него все младенческий: не говорит, не бает и есть не попросит путем: «Дай-де, мама, мне каши», все воет, да вопит, да ревом ревет.

Вот, на четвертый день от рождения, рассерчал он, что

каша была горяча и язык обожгла; схватился вопить, заголосил на весь божий мир; что ни подай в утеху, все ломит, да рвет, да швыряет. «Принесите ему,— говорит кормилка-кудесница,— железную броню; авось поутихнет». Принесли, и, вестимо, унялся, надел на себя кольчугу да шлем, привесил меч к бедру и пустился в широкое поле. Да без благословения родительского не далеко ушел: верно, не видал, что без пути, без дороги не ходят. Слушать послушать: где плачет младенец? Сбежались люди, глядят, а барич в болоте. Насилу вытащили, привезли домой, сводили в мовню, напоили, накормили досыта.

Порадовалась родная, что бог дивом возвратил ей сына. Невеста была на примете; давай сватать, и сосватали; сыграли свадьбу и спать в клеть положили.

Откуда ни возьмись, поганый Кощей. Не по-людски пробрался он тишком в клеть, под полог, да — хвать молодую! — а она в сорочке!.. Закутал в одеяло, связал концы, вскинул на плечо, да и тягу!

Тут-то возговорил Ива Олелькович! «Давай, говорит, броню, давай коня да конюшего Лазаря!» Сели, да и поехали вслед за Кощеем поганым.

Вот, скачем мы...

Продолжение погони Ивы Олельковича за Кощеем известно уже читателям по Сказке Лазаря. Слово в слово рассказывал он тоже послам Рязанским, что после рассказал Тиуну и простой чади села Облазны.

Не лучше сельского Тиуна и челяди послы дивились и ахали, верили и не верили.

Только Княж Иван подумал и сказал, что если Лазарь не годится в Витязи Княжеские, то годится в Княжеские сказочники. Взять его с собою!

А Лазарь в ноги. А на Лазаря и не смотрят. Сказки его слушали, а просьбы и слышать не хотят. Таков свет, в старину и ныне.

Послы собираются ехать в Рязань. Они уже идут просить прощения и отпуска у Княгини Яснельды, а Лазарь стоит у ворот, его взяло раздумье... не бежать ли?

Вдруг из-за угла молодец в синем кафтане, в шапке, нахлобученной на глаза.

— Лазарь! ступай за мной! — сказал он тихо, проходя мимо.

Подумал Лазарь; пошел за ним.

В переулке, за загородкой, стояли два оседланных коня.

– Садись!

– Куда?

- Узнаешь после, ступай за мной!

Молодец вскочил на коня, Лазарь также; понеслись в чистое поле.

У Лазаря так и бьется сердце; чует радость.

Скачут добрые молодцы полем, высокою травою, рассыпными песками... и след простыл.

XIV

Едут они, скоро ли, долго ли, близко ли, далеко ли; проскакали по тропинке, вьющейся через густую дубраву; поднялись на возвышение, по извилистой дорожке выбрались на холм... Под холмом струится речка с золотым дном; цветущая окрестность обнажается... Пространная равнина, усеянная цветами, холмистая даль, разбросанные рощи вкруг берега реки Смы, белокаменный город, темная полоса отдаленного леса, синева небосклона, а от нее небо светлее, светлее...

Вдруг под стопами Лазаря раздалось: «Ай!..»

Вздрогнул Лазарь... оглянулся и — второпях, в радости — осадил коня, прыг с него долой; валится в ноги своему баричу, сильному и могучему богатырю Иве Олельковичу, целует у него руку, еще раз целует, и смотрит ему в лицо, и не верит глазам своим.

Это был не сон.

Ива Олелькович наяву сидит на густой мураве; подле него женщина в богатой одежде, под покрывалом.

Лазарь не смеет спросить у барича: кто она и отколе? Он только осмотрел ее с ног до головы: не Мириана ли Боиборзовна? Кажется, нет... Мириана Боиборзовна не так дородна. Лазарь отвесил и ей низкий поклон; еще раз поклонился в ноги баричу и потом присоединился к вожатому; поблагодарив его за дружбу и службу, Лазарь стал было пытать у него: кто такая Боярыня? Да молодец, верно, сам того не знал.

Между тем Ива Олелькович, порадовавшись возвращению своего конюха, углубился снова в молчаливое недоуме-

ние. Казалось, что он пытал у самого себя: что делать, что начать богатырю? Мириана Боиборзовна отыскана, подвиг кончен, а с этим вместе кончается обыкновенно и сказка о всяком богатыре, сильном и могучем витязе.

Долго еще Ива Олелькович посматривал исподлобья на красавицу, покрытую покрывалом, и отвечал на ее нежное шептанье звуком: *мгм!* не требующим разевать рта, наконец кликнул он Лазаря и потребовал *коня.*

Подвели коней. Сели. Поехали. Куда? Бог весть.

Вожатый ехал вперед. Верно, знал дорогу.

Ива Олелькович ехал близ своей сопутницы, молча. Казалось, что ему было скучно, и он порадовался бы воскресению Кощея и новому похищению Мирианы Боиборзовны, чтоб пуститься снова лисьим скоком отыскивать жену и приключений.

Воображаемая Мириана Боиборзовна также была невесела и нерадостна.

День в пути, ночь, под приютным кровом неба и густого леса, на ночлеге.

Проходит несколько дней. Запас пищи, бывшей у вожатого в котомке, вышел весь; пришлось заехать в ближнее село. Заезжают.

В селе раздаются громкие песни, гулкие бубны, заливные рожки. Народ толпится около возвышения. Ходят кругом хороводы. На холме три высокие сосны обвешаны пологом; под пологом светится *куща пламени.* Близ холма ряды старцев в белых балахонах. Подле выкачены бочки. Там и сям ходят молодцы, обнявшись с молодицами и девицами.

Когда наши путники выказались из-за угла селения, вся толпа народа с испугом обратила на них внимание, взволновалась: «Эй, люди, люди! то хрестьяне! — раздалось между ними.— Пойдем на них!..»

Заметно было, что все вооружились батогами, плетень был обращен в оружие.

Лазарь не утерпел, выскакал вперед, прямо к толпе.

— Чему дивитеся, нехресть!.. Чему не поклоняетеся земно, лапотники!.. То идет великий и могучий богатырь!

— Ои? то богатырь? — вскричали старики из толпы и пошли навстречу Иве Олельковичу.

Увидев богатую кованую одежду его, они сняли шапки и повалились в ноги:

— Прошаем! — сказал *старшой*.— Прошаем в гостебницю, в Божницю нашу, на гощенье!

Напрасно спутница Ивы Олельковича шептала ему про свою боязнь быть между опьянелою смердою; он не ведал боязни и опасений и принял приглашение.

Его усадили подле холма на мягкие перины. Спутница поневоле села подле него.

Поставили перед ними пряные ковриги, перепечи, орехи, пиво и мед.

По обычаю, Ива Олелькович молча принялся за пищу, а старики, перешептавшись между собою, начали к нему такую речь вести и жалиться:

— Государь богатырище! Стужаем-ста тя, помочи нам супроти хрестьян; обиждают! нудят крыж человать, а не будем человать, дворы наши пожгут, поля потопчут, весь мир избьют. Идут к нам с чаровствы и ласкательными глаголы: молися якому-сь Господеви, иному, единому богу. Мы же речем: есть у нас боги не мало и не един, искони служили им, и добры суть, и милосливи к нам, и корм и питья дают, а зачем нам бог иный, не ведаем, аще ли добр есть и даст ли нам пищу...

Тут вся толпа повалилась в ноги перед Ивою Олельковичем.

Внимание Ивы Олельковича было обращено на сладкую ковригу и кружку с медом.

Старики продолжали:

— Помоги, государь богатырище, побей нечисть, спали гнездо их! Ходят битися с нами не стрелами, не мечами, а носят с собою яки-с *тюфяки*, да *пороки*[1], да смаговницы и иныи *великии* бесовские *дела*.

· Ой! — произнес Ива Олелькович.

Нечестивый Савватия, скверное его сердце, иже седьми злыдней жилище, поднимает всю землю на ны!..

Мних, мних, с вои! раздалось вдруг в толпе народа

Помоги, родной! вскричали еще раз старики и, не ожидая помощи, бросились вслед за толпой к деревне.

Холм опустел Лазарь, также пораженный страхом, опираясь о бочку, приподнялся на ноги и по природному влечению бросился бы вслед за бегущими, но Ива Олелькович потребовал коня

[1] Стенобитные машины *А Б*

Спутница Ивы всплеснула руками, когда из-за рощи кто-то в черном хитоне, в черном клобуке, с крестом в руках ехал верхом, а за ним следовал отряд конных ратников.

Ива Олелькович, предвидя бой, возрадовался, вскочил на коня, хвать за меч, а меча нет... Сердито обводил он взорами кругом себя и искал, нет ли тына, из которого можно было бы выхватить палицу...

Лазарь крестился.

Отряд ратников кинулся уже навстречу Иве Олельковичу, но мних остановил их словами: «То крещеные, ратные люди!.. Творят знамение креста!..»

Остановились, Лазарь соскочил с коня, подбежал к монаху и представил руки на благословение.

Монах перекрестил его и спросил:

— Кто сей есть?

— Сильный и могучий богатырь Ива Олелькович,— отвечал Лазарь.

Монах подъехал к Иве Олельковичу, который раскачивал уже березу, хотел вырвать ее с корнем и употребить вместо богатырской палицы.

— Аз грешный чернец Савватий, твой нищий и богомолец, господине честный и могучий Ива Олелькович,— произнес монах.

Ива Олелькович, видя покорность чернеца Савватия, оставил дерево в покое и стал внимательно слушать.

Чернец продолжал:

— Иду проповедовать слово о Христе злым идольникам, лядовым детям, секты Абуевой, иже есть стайнин дьявола, адов вепрь, сосуд злобе, главня Содомского огня, огню Геенскому пища, сатанин провенец!.. Вси люди совратил с пути истины и сотворил прелесть кумирскую! Никто же из ереси его к божественному пению не ходят; Среды и Пятка постов не чтят; молятся скверным своим мольбищам, древесом и камением; в Петров пост *ядят скором, жертву трут* и питья пьют; мертвых своих кладут по курганам, в лесех и по *коломищам*[1]; замужни жены и вдовы старии и молодии головы бреют и покров на главах и одежду на рамех носят, *подобно мертвячиим одеждам.* А которой жены дитя родится, и они к своим младенцам призывают

[1] Холмищам.

арбуев и над кануны арбуют скверным бесом; живут от жен со иными без венчанья, емлют к себе девки и вдовицы и живут с ними бесстыдно по полугоду, и будет им которая по любви, и они с тою венчают и молитвы емлют, а будет не по любви, отсылают от себя.

Аз же смиренный, худый и грешный...

Между тем как отец Савватий рассказывал Иве Олельковичу все беззакония ереси, толпа вершников, под начальством войскового Тысяцкого, преследовала уже бежавших во все стороны идольников; не видя спасения, они покорились, пали ниц и молили о пощаде.

Отец Савватий, кончив речь свою, предложил Иве Олельковичу быть свидетелем крещения идольников и присяги их в церкви.

Все приблизились к реке.

Вопли жен, плач младенцев, ропот общий огласили воздух, но... чрез несколько мгновений вся толпа идольников стояла уже в воде и над ними совершалась молитва.

По окончании обряда повели их в храм ближайшего погоста.

Ива Олелькович, спутница его и Лазарь следовали за ними.

Приехали и пришли в погост. Вошли в храм; вогнали в него идольников. Начался обряд.

Запели *Иже Херувими*... Вдруг в толпе любопытного народа, наполнявшего церковь, раздался визг и потом звуки, подобные лаю... Народ расступился, из толпы выбежала молодая, бледная женщина, с рассыпанными по плечам волосами, в черной длинной ризе, перепоясанной веревкою. Она бросилась на амвон, пред Царскими дверями.

— У-у, у-у, у-у...— раздалось под куполом и сводами церкви и заглушило совершение службы; но никто не прикасался к женщине, никто не считал ее воя за нарушение благочиния церкви. «Это здешняя кликуша, бывшая полюбовница нашего Боярина. Говорят, дали ей каково-с зелья, испортили; а Боярин женился на другой, а она и пошла лаять да лаять...»

Так говорил один старец Лазарю.

С любопытством приблизился Лазарь к кликуше.

Долго лежала она, распростертая на амвоне, и не переставала издавать страшные звуки... вдруг приподнялась, повела неподвижные взоры по всем присутствующим.

— Мириана Бойборзовна! — вскричал Лазарь.

— Ой? — вскричал Ива Олелькович, устремив очи свои на несчастную женщину...

Она также остановила свои взоры на Иве Олельковиче...

— Что было, тожде есть, еже будет, что было сотворенное, тожде имать сотворитися; и ничтоже ново под солнцем!..— произнес громогласно священник.

— Что было, того уже не будет, не будет!..— произнесла томным голосом кликуша, не сводя очей с Ивы Олельковича, который также смотрел на нее, как на что-то незапамятно знакомое.

— И се вся суета и произволение духа, и несть изобилие под солнцем...— продолжал священник.

— Несть, несть любви под солнцем!..— продолжала кликуша, не сводя очей с Ивы Олельковича.— Иди сюда, иди!.. Смотри! — сказала она, вскочив вдруг на ноги и схватив Иву Олельковича за руку.— Иди!

Она повлекла его вон из церкви. Ива Олелькович не сопротивлялся идти за кликушей, Лазарь не отставал от барича, спутница также — только народ стоял в нерешительности: ждать конца проповеди и присяги идольников или бежать также за кликушей.

Пробравшись сквозь толпу ратников и народа, окружавших церковь, кликуша скорыми шагами ведет Иву на пригорок, где стояли палаты господские.

На *выходце*[1] стоял в военной Литовской одежде молодой Боярин, подле него сидела молодая, прекрасная собою женщина.

Кликуша, завидев их, уставила обе руки и закричала:

— Вот он! вот!.. он не идет в храм божий!.. он боится меня!.. я призвала бы его там на суд божий!.. У-у, у-у, у-у!.. Вот она!.. моя разлучница!.. У-у! у-у!.. у-у!..

— Уйдем, уйдем, Юрий! — вскричала молодая женщина на выходце, вскочив с места.

— Не бойся, милая Ненила! Это безумная!..

— Смотри, смотри?.. Как тебя зовут, богатырь? забыла!.. Э, дурень! да ты не видишь, что он любит другую!..

— Пан Воймир! — вскричал Лазарь, рассмотрев удаляющегося с выходца внутрь покоев Боярина.

---

[1] Род балкона с навесом.

— Воймир? — вскричала вопросительным тоном кликуша.— Кто это сказал?.. пойдем, пойдем!.. и меня узнают!.. скажут еще, что я дочь Боярина Боиборза Радовановича, скажут еще, что я жена дурня Ивы Олельковича!.. А я просто нищенькая Мириана...

— Мириана Боиборзовна! — вскричал Ива Олелькович.

— Я познал ее, Боярин, со двора,— сказал Лазарь.

— Ой? — вскричал Ива Олелькович.— Моя жена?..

Спутница Ивы Олельковича грохнулась на землю без памяти.

— У-у, у-у! у-у! — завыла кликуша.— Отведи же меня, добрый человек, к моему мужу... нет! к моему родителю!

— Коня! — вскричал Ива Олелькович.

Послушный Лазарь в мгновение исполнил приказ барича.

Конь подан. Ива Олелькович сел; Лазарь посадил перед ним несчастную Мириану.

Ива Олелькович, обхватив ее левой рукой, понесся вон из селения; Лазарь за ним хоботом.

Над беспамятной спутницей Ивы Олельковича из Белгорода стоял в недоумении *вожатый* и весь народ, высыпавший из церкви.

Никто не постигал чудного события.

— Отвезите меня в Белгород,— произнесла она умоляющим голосом, очнувшись от беспамятства.— Отвезите! вот вам золото!..

Видя богатую ее одежду, с уважением отнесли ее на руках в дом Боярина.

Между тем, *скоком, летом по горам и по равнинам,* прискакал Ива Олелькович к реке.

— Какая река? — спросил Лазарь сидящего в лодке перевощика.

— Ипуть! — отвечал он.

— Перевези нас!

— Куда путь держите?

За Киев, на Днепр.

– Дорога водою прямее.

– Ой? вскричал Ива.— Давай лодку!

– На лодке, Боярин, не доедешь, идут барки вниз, Днепром, до моря, садись на них и с конями

Барка двигалась уже с места.

После коротких договоров герои мои вошли в барку

Пустились вниз по реке.

Мириана Боиборзовна то смотрит в глаза Иве Олельковичу и молчит, то оглядывается назад, о чем-то думает и молчит.

Ива Олелькович торопит гребцов и сам помогает им пенить веслами волны.

Спустились в *Сошу,* спустились в Днепр, проехали Киев, приблизились к порогам Днепровским...

— Эгэ! вот и Весь Новоселье! — вскричал Лазарь.— Эгэ! вот наше стадо на горе...

Мириана Боиборзовна вспыхнула.

В ней ожило чувство.

Причалили к берегу. Вышли.

И вот... Не угодно ли читателю обратиться к началу этой книги... а я между тем запою новую, звонкую, звонкую песню на старый лад.

Есть древнее Славянское присловье: «Добрая песня мила и богам!»

Светославич, вражий питомец

Диво времен Красного Солнца Владимира

Часть первая

I

Над Киевом черная туча. *Перун-Трещица*[1] носится из края в край, свищет вьюгою, хлещет молоньёй по коням. Взвиваются кони, бьют копытами в небо, пышут пылом, несутся с полночи к *Теплому морю*. Ломится небо, стонет земля, жалобно плачет заря-вечерница: попалась навстречу Перуну, со страха сосуд уронила с росою,— разбился сосуд, просыпался жемчуг небесный на землю.

Шумит Днепр, ломит берега, хочет быть морем. Крутится вихрь около *дупла-самогуда* у Княжеских палат, на холме; проснулись Киевские люди; ни ночи, ни дня на дворе; замер язык, онемела молитва. «Недоброе деется на белом свете!» — говорит душа, а сердце остыло от страха, не бьется.

Над княжеским теремом, на трубе, сел филин, прокричал вещуном; а возле трубы сипят два голоса, сыплются речи их, стучат, как крупный град о тесовую кровлю. Слышит их Княжеский глухонемой сторож и таит про себя, как могила.

— Чу! Чу! — раздается над теремом.

— Не чую? — отзывается другой голос.

— Чу! здесь слышнее, приникни... чу! быть добру! нашего поля прибудет!..

---

[1] Бог треска, гром; простонародное старое выражение помещено в словаре Треязычном.

— Не чую, как ни сунусь, везде крещеное место! Лучи, как иглы, как правда людская, глаза колют; а ладные звуки закладывают уши. Построили терем! спасибо! хорош! добро бы сквозь дымволок путь, да за печкой или в печурке место *простое* для нашего брата! так нет: все освятили крестами враги!..

— Не хмурься, *Нелегкий,* найдем место! без нас кому и житье? тс! чуешь?

— Ни слова!..

— Чу, чу!.. Ну, друг, припасай повитушку, готовь колыбелку, готовь кормилку!..

— Да вымолви, что деется в Княжеском тереме?

— Скоро наступит раздолье! выживем крест с родного холма! Князь с Княгинею спор ведут: как звать, величать будущего сына. Княгиня говорит Скиольдом, именем Свенским-крещеным — да не разорить ей *нас!* Князь хочет звать Туром... Чу, подняла плач и вопль, взбурилась!.. взбурился и Князь! — чу, клянет он ребенка! «Провались, утроба твоя!» — говорит... Ступай, ступай, *Нелегкий,* несись за баушкой-повитушкой!..

Крикнул снова филин в трубе Княжеского терема, застонал, обвел огненными очами по мраку, хлопнул крылом; завыл сторожевой пес, вздрогнул глухонемой привратник, молния перерезала небо, Перун-Трещица круто заворотил коней, прокатился с конца в конец; припали Киевские люди, творят молитву.

— Недоброе деется на белом свете! — проговорила душа, а сердце замерло.

Зашипело снова над Княжеским теремом, застукали темные речи, как град о тесовую кровлю.

— Здорово! совсем ли?

— Ступай принимать! все что в утробе, все наше!..

— Ну, добрая доля! как же проникнуть мне в Княжеский терем?

— Вот скважина возле трубы, да щель, да гнилой *сердцевиною* вдоль перекладины, прямо *накатом,* по стенке, да в угол...

— Да кто тут пролезет!.. словно уж в тереме нет ни окна, ни дверей...

— Много, да святы: крест на кресте!.. Ступай же, ступай, повитушка, покуда *певень* не повестил полночи... Эх

растолстела! скоро тебя и простыми глазами рассмотришь!..

— Ну, так и быть... э! завязла!..

— Свернись похитрее да вытянись в нитку, а я с конца закручу да словно в ушко и продену сквозь терем.

— Шею свернул, окаянный!..

Филин на трубе взмахнул крылом, крикнул недобрым вещуном; вспыхнуло, грянуло в небе; прокатился грохот между берегами Днепровскими, встрепетнулась земля, взвизгнули сторожевые псы, вздрогнули Киевские люди.

В ложнице Киевского Великого Князя темно; светоч тускло теплится перед капищем-складнем, только изредка свет молнии отсвечивается на оружии, развешанном по стенам: на серебряных луках Команских, на *спадах* и мечах Асских и Косожких, на сулицах Бошнякских и на 80 золотых ключах Болгарских. Вместо пухового ложа широкая дубовая лавка с крутым заголовком, на лавке разостлана оленья шкура; не мягко, но *добросанный, дерзый* Князь Светослав опочивает крепким сном.

Прошедшее и будущее сливаются в его сновидении: видит он Хазар, распространяющих власть свою от Русского моря до Оки; они вытеснили Болгар от реки Белой, завладели богатою столицею их *Вар-Хазаном.* А Вятичи, соседи их, как разбитая ветром туча, носятся, оглашают воздух словами: «Не хотим платить Жидам по *шлягу с рала!..* стань за нас, Светослав, силой своей!..» Идет Светослав с полками Киевлян, Кривичей и Древлян к Римову, приступает к Сары-Кале; раскидывает по камню *великую вежу;* гонит Хазар лозою; несутся Хазары, как черные враны в степи; а Светослав близится к дому, принимает дары от Тора, станицы Бошнякской; Хазарские Жиды близ Волги встречают его золотом, Аланды, соседи их, также; от Волги возвращается Светослав чрез земли Азов и Азак Таурменов, живущих по берегам Торажского озера, до устья Дона. На обратном пути принимает новые дары от кочующих Куман...

Стелется путь Светослава Игоревича славой и золотом, да ему этого мало: на полудни все небо оковано златом, осыпано светлым каменьем...

И вот легкие крылья сна переносят его за Дунай; быстро приближается он к высоким берегам, сливающимся с

небом; болонье покрыто шелковым ковром, солнце горячо, а волны и рощи дышат прохладой, светлые струи алмазного потока льются с гор, а жажда лобызает их, а утомленные члены тонут в волнах. Вдали ропщет свирель, эхо делит ее печаль... а Светославу все слышатся гулкие трубы — зовут его к бою. Вот, в глубине лесистого *Имо,* великий *Преслав*[1], стольный град Краля Болгарского, светит златыми кровлями, покоится в недрах гор.

На холме белеют и горят солнцем палаты Бориса... а Борис горд, сидит на златокованом столе, держит державу да клюку властную, не хочет знать Светослава.

Светослав торопится перед полками своими; грозит обнаженным мечом Борису, приближается... вдруг горы сомкнулись, Преслав исчез... В отдалении, на холме, вежи Тырновские, окруженные садами; а за ними темный лес, посвященный *Морану* и *Трясу,* тому Трясу, который является людям, окутанный в тени лесные... около него вьются, перелетая с дерева на дерево, тоскующие души несожженных покойников... А хитрые Греки стоят на горах да грозят издали Киевскому Князю. Взбурился Светослав на Греков, заступников Хазарских. Видит он, как Феофил тайно шлет своего *Спатаря* укреплять границы против Руси. Спатарь строит новую великую крепость и стену пограничную. Ковы строят Греки! мыслит Князь, и кипит мщением, несется на трехстах ладьях к Царьграду, полосует море... и вдруг... море не море — степь необозримая, вместо волн ковыль колышется, вместо ветров свистят со всех сторон стрелы, вместо тьмы ночной — тьмы Бошняков... Скрылся свет от взоров, кровавое солнце утонуло в туманах небосклона... тишина могильная... замерло сердце Светослава... дыхание стеснилось...

Вылетел из груди его глубокий вздох, тьма отдаления вспыхнула, зарумянилась, свет снова стелется по небу, высокий *Имо* тянется уступами в обитель миров. За *Имом* Фракия; уступами склоняются горы к Белому морю, рассыпаются по нем островами...

В отдалении, в лиловом тумане, видит он Игоря и Оле га и щит Русский на вратах Царьграда Затрепетало серд це его...

---

[1] Переяславль Болгарский Мегалополь (великий город), Марциано поль (град Марцианы, сестры Трояна)

— Свенельд! — восклицает вдруг Светослав, очнувшись от сна.

Свенельд, пробужденный внезапным, громким голосом Князя, вскакивает с ложа, вбегает в ложницу Светослава.

— Я иду за Дунай! — готовь сильную рать мою, Свенельд!.. Все, что платит Киеву дань, со мною!..— произносит Светослав и забывается снова.

— То бред сонный! — говорит про себя Свенельд, выходя из ложницы.

В одрине Княгини Инегильды горят светильники пред Божницею, золотые лаки пылают разноцветными огнями, огромные жемчужины отбрасывают от себя радужные цветы. Сквозь слюдовые окны видна на дороге грозная ночь. Стены в покое обиты рытым *изарбатом;* резной потолок украшен узорами из жемчужных раковин; стол покрыт паволочитым шитым покровом с золотой бахромою, лавки также; на поставце стоит золотая и серебряная утварь, и город Торнео, кованный из злата, родина Инегильды.

На резной кровати с витыми столбами и шелковою кровлею тонет в пуху Инегильда; багрецовое одеяло вздымается на груди ее, ночная повязка скатилась с чела, русые волосы рассыпались по изголовью, ланиты разгорелись, над закрытыми очами брови изогнулись, как темные ночные радуги. Тяжело дыханье Княгини, тяжки вздохи.

Вдруг вскрикнула она *благим матом,* очнулась, приподнялась, приложила руку к сердцу, водит взоры вокруг себя, вся дрожит.

— Девушки!.. кто тут!

Две спальные девушки спросонков бегут из другого покоя.

— Девушки!..— продолжает Княгиня.— Кто тут?.. Ох, страшно!.. кто тронул меня?..

— Нет никого, Государыня Княгиня! — отвечают девушки, трепеща от страха: сквозь хрустальное красное окно видно, как молния палит небо.

— Ох, что-то недоброе содеялось у меня под сердцем... хочет выскочить... сердце!.. взныли все кости!.. чу! что загудело в трубе?.. где плачет ребенок?..

— То ветер взвыл, Государыня!

— Ох, нет, не ветер!.. то воет пес, то стонет птица ночная!.. болит под сердцем!..

И вдруг Княгиня залилась слезами, зарыдала, и вдруг умолкла, упала без памяти в подушки.

Стоят над нею девушки, бледнеют от страха.

Пышет вдали молния, гремит Перун-Трещица; слышит глухонемой сторож Княжеского двора: опять стучат чьи-то темные речи, как град о тесовую кровлю.

— Эх, бабушка, мешкает! того и гляди, что певень зальется!..

— Нелегкой! — раздался вдруг голос повитушки из внутренних хором.

— Приняла, да не знаю, как выйти: ребенку пять лун, его не вытянешь в нитку, не проденешь в ушко. Слетай-ко за *словом.* Пришлось обратить в невидимку; да скоро! певень проснулся, крылья расправил!..

— За́раз!..

Утихло.

Филин хлопнул крылом, вспорхнул, полетел; певень полунощник хлопнул крылом, залился. Приняли его голос и все петухи, поют.

II

Когда природа была моложе, одежда ее блестящее, румянец свежее, дыхание благовоннее, когда воспевали ее певцы крылатые, летающие непорочные души первых населенцев мира, когда человек жадно, внимательно слушал ее плавные речи, — когда жизнь человека была не ношею, не оковами, не темницею духа, но чувством самозабвения, блаженной любовью, невинною, ненаглядною девой, на которую очи смотрели не насмотрелись, от которой сердце не опадало, не щемилось, не тосканилось, не обдавало души страхом, а билось так радостно, что мысли исчезали, душа, как голубь, вспархивала, носилась, вилась, парила и возвращалась в свою голубницу, чтоб ворковать о ясных днях, о светлых надеждах...

В это-то время ржа переела оковы *Нечистой силы,* заключенной при создании мира в недрах земли, и духи злобы, почувствовав волю мышц, встрепетнулись, прорвали *77 000* слоев земли, хлынули на *Белый свет* посреди цве-

тущей *Атлантиды,* понеслись селить вражду между стихиями и людьми.

Долго колебалась земля, долго волновался океан; а Атлантида, разраженная взрывом, рассыпалась по водам прахом, исчезла.

Нечистая сила селилась на земле; первоначально избрала она своей столицею землю Халдейскую близ Красного моря, где жило племя *Рыжих;* их научила она войне, хитрости и обману, научила *мóроку* и *порче,* научила страху и надежде, построила *ограду* и *Вежу великую,* заставила поклоняться *скрытому.* Но скоро *заповеди* изгнали ее оттуда с толпами народа *колдунов, волшебников* и *чародеев* в мрачные болота севера. «И отошла она,— как говорит предание,— *в великие леса и в водные и в потные дубровы и раменные места, на черные и мягкие земли».* Долго царила она там, но крест и там преследовал ее и заставил искать *недоброго места* в глубине лесов и в ширине степей Руси.

Обратилась *Она* в сорóк, поднялась черною стаей, скрыла от людей свет солнечный, тучею опустилась на берега Днепровские, против того места, где была в святых горах *kuffe Saka Herra.*

Покуда строился *стан* ее *Саббат*[1], новый *Кааба*[2], названный Константином Багрянородным *Самвáт,* стояла она долгое время на *Лысой горе* табором и считала свои доходы. Каждый *Нелегкий,* отпущенный на *соблазн,* должен был приносить в известное время положенный оброк, определенное число *черных душ.* Сборщик податей принимал их как кипы ассигнаций, считал их на левой ладони указательным пальцем правой руки, внимательно перевертывал, *осязал,* просматривал на свет: нет ли фальшивой, и принимал в половину цены против *ходячей монеты* на белом свете.

Вскоре *Нечистая сила* заняла лучший холм, bor-bairg, или Tor-berg: гору Торову, осененную дубовую рощею; по-

[1] Шабаш — суббота — недельный праздник древних.

[2] Древнейший храм Мекки в виде четвероугольной башни; там хранится до сего времени камень, на котором, по преданию, сиживал Авраам. Сей храм до Магомета заключал в себе триста ликов божьих. В сем храме произведения лучших поэтов Аравии, написанные золотыми буквами, висели в честь бога, внушавшего оные. Сии стихи называются *Муаллакаты.*— Слово сие значит *висящий.*

селилась над самым Днепром в трущобе леса, в ущелье берега, который впоследствии прозвался *чертово бережище.*

Близ погребища *господ* Скифских, засыпанного временем, было приволье *Нечистой силы;* завелся стольный град *нелегких, упырей, ведьм* и *русалок.*

Прибрав к рукам почти весь Днепр, они раскидывали окаянные сети свои во все стороны: на полночь до моря Мразного, на восток до гор, *«Им же высота аки до небеси, идеже суть заклепани Александром Македонским Царем, сквернии языци»,* на юг до *Теплого моря,* на запад до моря *Венедицкого* и далее. Ловили сетями людей и учили их *«безстудно всякое деяние деяти».*

Тут столько расплодилось *Нелегких,* что не было прохожего, которому бы враг ноги не подставил.

На этом-то холме люди в безумии своем поставили кумира: «Его обличие высоко, образ страшен, голова из чистого золота, руки, мышцы и перси из серебра, чрево и стегна медные, голени железные, ноги и подножие мраморные».

Этот кумир одними назывался *Бел-бог,* иными *Перун,* другими *Тор* или *Чор,* и стоял он в кумирне под *небом,* или *Ваал-даком.*

Таким образом, наставляя людей злу и неправде, *Нечистая сила* жила на *бережище* припеваючи и воображая, что «нет конца ее силе, аки миру». Но отторгся камень от горы, без рук, ударил в кумира, и стер скудель, железо, медь, злато и серебро в прах, а ветр развеял его.

Пришел учитель *Святого слова* поведать истину Русским людям. Русские люди не верили словам, хотели чудес.

— Изгони,— говорили,— Белобожича с его высокого холма!

— Изгоню,— отвечал он и с крестом в руках поднялся на высокий холм, водрузил на нем крест.

Зарычала *Нечистая сила,* угомонилась, и полк ее отступил с священного холма, выше по Днепру, на крутой берег, в рощу, лежащую близ Княжеского заветного луга и Княжеских лесов; а чтоб *Омуту* и ведьмам иметь свободу ходить по Днепру, то *Нечистая сила,* отклоняя реку от холма, прососала новое русло, которое люди и назвали *Черторыреею.*

На холме же Княгиня Ольга поставила свой златоверхий терем, который высился гордо и смотрел на Киев и окрест-

ности. Кровля терема была медная, золоченая, все окны до одного были красные, стены лаженные снаружи разноцветною черепицею. С левого круглого выходца виден был Днепр, скрывающийся в густом лесу; от реки *Почайны луговая оболонь;* близ самого Днепра, на речке на *Глубочице,* стоял храм, строенный Ольгою в честь Св. Ильи громовержца божия, которого язычники называли *Хрестьянским Перуном.* Прямо, за Днепром остров, составленный *Черторыею* и покрытый лесом; за *Черторыею озеро Золоча,* а за ним светились рассыпные пески *Лысой горы.*

С правого выходца видно было в отдалении, как Днепр прятался за *Витичев* холм, на котором стоял храм Св. Вита, построенный гостями веры *Папежской;* за холмом оконечность села Займища. Перед Витичевым холмом, немного левее оного, чернелась могила того *Дроттара-Скиольда,* который от Новгородского Князя был *Слом* у Греческого Царя Михаила и потом *рядил* на Киевском столе у Полян и Руссов.

Между Витичевым холмом и *Скиольдовой* могилой чернелся густой лес; а на скате крутого берега ущелье, а в ущелье трущоба, а в трущобе место темное, клятое, про которое страшно было и говорить.

Вправо, близ березовой рощи, над холмом Скиольдовым, было село Берестовец, а правее оного за окопом пространные Княжеские луга.

Перед заветными лугами, по скату лощинки, впадающей в ручей *Лыбедь,* видно было длинное село Щулявщина, Добрынино, с двором Боярским и теремом, где жила *Мúла;* правее, в расстоянии одного поприща, тянуло село Княжеское Перевесище; а за ним, в садах, Варяжская Божница *Германеч* и холм, прозванный *Дировым,* ибо на сем месте стоял некогда Тор в виде Дира или быка, покровителя стад; далее, за *Становищем* и *Дорожищем,* лежащими на левом берегу Лыбеди, чернелся лесистый правый ее берег.

С левого выходца, бросив снова взоры на *луговую оболонь* и на извивающуюся по ней речку *Глубочицу,* любопытство останавливалось на густой Яворовой роще, в недрах которой чернелось здание и воздымалась *Высокая;* тут, говорили люди, был последний приют *Волоса.* За рощею светилось озеро и струи реки Почайны. Левее озера выказывался холмистый крутой берег, оканчивающийся урочи-

щем Скавикой, на котором видна была белокаменная Олегова могила.

Далее взоры терялись в лесах, в извилинах Днепра, в синеве отдаления, как память в глубине прошедшего, как луч света во мраке, как звук в пустыне, как ум в соображениях.

Красен был Киев; а кто не был в Киеве, тому не поможет раскаяние, говорили праотцы. Киев преддверие рая, говорили они, там светел Днепр, таинственны, святы берега его, высоки, зелены холмы, чист воздух... Но что было там прежде!.. что было там!.. о! идите поклониться Киеву, потомки Скифов! нет древнее его святыни, нет святее его древности! нетленна тайна, но тленен покров ее. Идите, потомки Скифов, поклонитесь Киеву, там найдете вы современников Дария, Митридата и Аттилы!

Тосковала *Нечистая сила* о приютном холме, злоба взяла *Нечистую силу.* Чего ни придумала она, чтоб выжить с *места* крест и овладеть своим древним *станом.* Ничто не помогло. Не имея права принимать на себя человеческого образа, *Нечистая сила* стала в пень. Но один хитрый *думец тьмуглавого змия* придумал воспользоваться не только *проклятыми людьми,* но и проклятыми детьми в материнской утробе.

— Воспоим людское детище сами, кровью людской,— говорил он,— воскормим в своем законе; возрастет, будет неизменным пророком лжи и неправды, восстановителем старых уставов Белбоговых, поклонником тления... Его сделаем мы земным владыкою.

— *Кикимора!*[1] — вскричала вся *Нечистая сила* радостно.— *Кикимора!* — повторилось в ущельях гор и в трущобе лесов; взвились пески на *Лысой горе,* вздулся Днепр, заклокотали ведьмы, перекувырнулись *упыри.*

И положено было в Сейме на *Лысой горе* сделать первый опыт воспитания людского детища на иждивении *силы Нечистой...* И в лето 6375 первая попытка была над сыном Суждальского Князя Рюрика Африкановича, который был,

---

[1] Есть то же, что Cochemar; но, по поверью Русскому, младенец, проклятый в утробе,— утроба проваливается, младенец исчезает и воспитывается Нечистою силой на зло людям.

как говорит летопись, от рода Августа Кесаря Римского. Но и у *Нечистой силы* первый блин стал комом.

Второй выбор пал, как мы уже видели в первой главе, на Светославово детище, проклятое отцом в материнской утробе.

III

Дело шло на лад; *Нечистая сила* пировала на счет будущих благ. Ведьмы на Лысой горе хороводы водили, звонко распевали: у-у! у-у! Киевские люди со страхом прислушивались, а Светослав, возвратившийся почти поневоле из Булгарии в Киев, по вызову Ольги, да *непраздной* своей Княгини Инегильды, да Бояр и старейших мужей для защиты Великого Княжеского города от нахлынувших *Бошняков,* скоро соскучился в Днепровской столице, особенно после ссоры с своею Княгинею за имя будущего сына. Его стало все сердить на Руси. Инегильда заболела; призвали повитушку; старуха взглянула на Княгиню, приложила руку под сердце...

— Кое уже время, Государыня, ты *непраздна?*

— За половину,— отвечала Княгиня.

— Словно нет ничего! — прошептала старуха.— Ох, недобро! провалилось чрево твое! убило злое слово младенца!..

Нахмурился Князь, когда дошла до него эта весть, проклятие детища легло у него на душе.

— Не любо мне в Киеве! не пригрею места себе! — сказал он своей матери Княгине.— Хочу за Дунай! там стол Великокняжеский, благая среда земли моей. Посажу Ярополка в Киеве, Олега в Деревскую землю, и пойду туда!..

Больная Ольга умолила сына своего пробыть в Киеве хоть до ее смерти; но скоро настал конец Ольги, и ничто не могло уже остановить желания Светославова. Похоронив мать свою, назначив уделы сыновьям, он сел в красную ладью; Великокняжеское паволочитое ветрило распахнулось, крутой рог загремел, вёсельщики грянули в лад, вспенили волны, запели ратную песню, ладья отвалила, а Светослав, стоя на корме, прощался поклонами с женой и детьми, с Боярами и народом. Все вопило, рыдало над Днепром, как будто над могилой Светослава.

Кто не знает из вас, читатели, Нестора, того маститого старца, что стоит в храме Русской Истории на гранитном подножии, как древний кумир, которого глаголам веруют народы, пред которым историки, как жрецы, ходят с кадилом, а романисты черпают из 300-ведерной жертвенной чаши события прошедших веков и разводят каждое слово водяными вымыслами?

Из слов этого-то Нестора известно каждому, что когда Новгородцы пришли просить у Светослава Князя себе, то *Добрыня,* дядя Владимира, сказал им: «Просите Володимера, Володимер взором красен, незлобив нравом, крива ненавидит, любит правду, клюки ж в нем нет». И Новгородцы рекли Светославу: «Дай нам Володимера!» И Светослав, стоя на корме, прощался поклонами и с женой и рынею и *Слами* Новгородскими в Новгород.

Здесь, кстати, поведаю я стародавнюю вещь, правду истинную:

На восток от Танаиса, в Азии, был Азаланд, или Азахейм; столица сей земли называлась Асгард, т. е. *град Азов,* богов; правитель сей земли был Один, муж великий и мудрый. Это было в первом столетии до Р. Х. Предвидя приближение грозы от Рима и падение своей власти на берегах Черного моря, он удалился с большею частью народа своего к северу.

Пройдя Гардарикию, или Ризенландию и Сакаландию, он пришел в Фионию, принадлежавшую Свейскому Конунгу.

Не желая заводить раздора на новоселье, Один послал послов в Гильфу, Свейскому Королю, просить, по древнему обычаю, *земли и воды.* Гильф, зная уже по слухам победоносного Одина, дал ему часть болотистых пустынь Фионии. Один обвел часть сию плугом и назвал *Плогс-Ландией,* т. е. пахотной землей. Сверх сего Гильф дал для поселения Азских людей весь *Бримир* до гор Уральских, т. е. граничных гор. Таким образом, пришедшие с Одином Азы и Торки населили Бримир, или Биармию, а Ваны, или Финны, заняли Плогс-Ландию. Ваны построили на реке, соединяющей два больших озера, *Вóлхов,* т. е. двор божий, где и был главный их храм; озеро прозвали они *maose,* т. е. вода, болото.

Между тем давние зашельцы на север, родовитые Русины,— коих Готты, соседи Поморские, величали Ругянами,—

стесненные на берегах Урманского моря новыми пришельцами, были терпеливы, покуда языческая вера их была сходна с древней религией соседей; но когда Готты, приняв в третьем столетии на юге Христианскую религию, перенесли ее и на север, в четвертом столетии стали смеяться над коваными и рублеными богами, а в пятом гнать кованых и рубленых богов и поклонников их, тогда Славяне, Русины Поморские, озлобились, и все, что только могло носить оружие, поднялось по *слову*, двинулось на новоселье, под предводительством Княжа *Вавула*. По древнему обычаю, послали они послов к Финнам и требовали *земли* и *воды;* но Финны отказались от сего одолжения, надеясь на помощь Свеев; тогда Славяне нахлынули на их землю, покорили Плоксгоф и Валхов и населили земли от Двины до Волги. Станом своим избрали они озеро *Маозе*, прозвали его *Лиманом*, т. е. озером, возобновили город *Валхов*, прозвали Новоселье *Новым градом*, стали жить, поживать и славиться.

После сих событий прошло пять столетий, когда Владимир подъехал к Новугороду. Все люди Новогородские, из днешнего и окольного города, высыпали навстречу; а посадники, люди *жилые*, и старейшие, и *старосты конечные* встретили его у ворот городских-торжинских, поклонились до земли, пожелали вековечного здравия и поднесли на золотом блюде каравай и соль, а на серебряных блюдах обетных зверей и птиц, выпеченных из пряного теста.

На реке ожидала уже Владимира *Княжеская ладья* красная, золоченая, с *небом* паволочитым и стягом Новогородским, на котором с одной стороны был изображен Пард и две звезды, с другой — лик *Святого Витязя* с тремя стрелами в одной руке и с рогом в другой.

При громах *славы*, песни хвалебной Владимир спустился в ладью; сорок вёсельников в лад закинули веслы, пригнулись вперед, могучими руками вспенили Волхов, и ладья, как стрела, спущенная из лука, перенеслась с Торжинского *полу* на *он пол*. От пристани до *хороми бога света* путь был устлан красным сукном; народ кипел по обе стороны.

Слуги хоромные подвели Князю Белого божьего коня и повели под узды к храму, огражденному святым рощеньем и дубовым тыном. За храмом был *темный луг*, и ветер шу-

мел по вершинам столетних священных дубов; над преддверием возвышалась круглая башня, на вершине которой звонарь ударял в *било.*

У входа встретил Владимира *Вещий старый*[1] владыко и Божерок, в гловуке высоком, красном, повитом белою пеленою до земли, с жезлом змийным в руке, полы *сорочицы*, покладенной жемчугом, несли отроки юные; жрецы и слуги хоромные вышли со свещами и *темьяном.*

Спевальщики хоромные затянули громогласно:

Иди, Княже Светославич, в *домов* бога,
В домов бога великого, в хором бога света!

У того венец золотный, слава мира,
Слава мира, речи грозы, грозы-громоносцы!

Помолися, Светославич, божью лику,
Лику солнца, лику свету, всесветному оку!

Упестрит Княжую ризу полем звездным,
Полем звездным, узорочьем,— опояшет властью!

Ухитрит Княжую душу на ум-разум,
На ум-разум и на слово, слово мед изустный!

Он усилует советом, беспечальем,
Беспечальем, дружелюбьем, благой благодатью!

Раздерет покровы вражьи черным горем
И нашлет на них туман, туман и *омрак!*

Мир ти, боже, мир ти, Княже, мир ти, друже!
Слава вящшим, слава людем, людем Новгородским!

«А со мною любовь возьми вовеки!» — раздалось из внутренности храма, и все утихло.

«И красное и сладкое пребудет жизнию твоею, и будет слово мое цельба тебе!» — раздалось еще громогласнее.

После привета Князю и поклона Вещий владыко принял дары Владимировы и внес во храм. Мужи Княжеские передали *слугам* хоромным златую великую лохань, пещренную хитрым делом и каменьями, ларец с драгоценными *манатьями* и ризами, два блюда с златницами Греческими.

[1] Жрец, прорицатель Храмовый, дающий советы; отсюда идея *мудрый.*

Храм Волоса не представлял ничего роскошного снаружи: это было огромное четвероугольное здание, построенное из столетних дубов, почерневших от времени и обросших мохом; крутая крыша походила на темный луг; вокруг здания были двойные сени с навесами, верхние и нижние.

Под самой кровлей были волоковые продолговатые окны, сквозь которые, с верхних сеней, дозволялось женщинам смотреть на совершение обрядов во внутренности храма; ибо женщины не имели права входить в оный.

За храмом был пруд, осененный высокими липами, а за прудом палаты Владыки с горницами и выходцами и избы жрецов и слуг хоромных.

Не красуясь наружностью, храм Новгородский славился богатством от взносов и от доходов *волостных*.

Никто не помнил, когда его построили. Носилось поверье, что это тот же самый храм, который построен Финнами и про который *колдунья* Финская пророчила, что это «последний храм *болвана* и другого уже не будет — и сгинет вера в болванство, когда кровля Божницы обратится в тучное пастбище, а с восточной стороны выпадет бревно».

Долго не верили Новгородцы этой молве, но, когда уже пришел храм в ветхость и покрылся мохом, поверье более и более распространялось, страшило народ. Однажды, во время праздника *Веснянок*, вдруг задняя стена *крякнула*, и решили на Вече строить новый храм. Начали строить, поставили кровлю; но в одну ночь поднялась гроза, громовая стрела ударила в строение, спалила его. Пророчеству Финской колдуньи поверили вполне. Вещий владыко требовал от Веча начать снова работу, но *увечанья* не положили, по случаю начавшихся раздоров с Полоцким Конунгом Рогвольдом, принудивших Новгородцев просить себе Князя и помощи у Светослава.

Когда Владимир вступил в Божницу, глаза его были омрачены лучами светочей. Под сквозным литым медяным капищем, на высоком *стояле*, под *небом*, осыпанным светлыми камнями, обведенным золотой бахромчатой полой с тяжкими кистями, воздымался на златом столе древний боже Волос. Лик его из слоновой кости почернел с незапамятного времени; на голове его был золотой венец, вокруг головы звезды; в одной руке жезл, в другой стрелы; покров из цветной ткани лежал на плечах и, опадая вниз бесчисленными складками, расстилался по подножию. По правую

сторону капища стоял *стяг Владычен,* а перед хитрыми узорчатыми вратами капища стоял Обетный жертвенник; подле, на малом *стояле,* жертвенная чаша; влево был стол Княжеский с кровлею, вправо стол *Вещего владыки.* Подле стен, с обеих сторон, на высоких стоялах два небольших божича, оставшихся после Финнов в храме; один из них был золотой, и говорили, что это *золотая баба,* матерь стоявшего напротив божича *Чура,* которого люди называли Врагом. У задней стены стоял поставец с посудой жрической: боковые стены были увешаны дарами, золотыми и серебряными кольцами, ожерельями и изображениями различных членов тела, которые, по обещанию, жертвовались во время болезней: болит рука, приносят в жертву серебряное подобие руки; болит нога, подобие ноги.

Едва Владимир занял свое место, раздался звук *трещал* и колокола, потом шумный хор — однозвучное, мрачное, протяжное пение, Вещий подошел к жертвеннику, взял рог от подножия Волоса и влил часть вина в чашу. Между тем принесли на одном блюде жрический нож, на другом, под белым покрывалом, агнца; печальное блеяние его раздавалось по храму и сливалось с звуками мрачного пения; агнца положили на камень жертвенный; *Вещий* взял нож, произнес какие-то слова, и кровь из бедного агнца полилась в чашу, в чаше вскипело, поднялся густой пар.

«Благо, благо тебе!» — запел хор.

Владимир отвратил взоры от обета, обвел ими по высоте храма, и очи его, как прикованные, остановились на одном женском лице, которое выдалось в волоковое окно в вершине храма. Владимир забыл, где он, не обращал внимания на обряд; но стоявший подле него Добрыня благоговейно смотрел, как Жрец поверял каждую часть внутренности агнца и клал на жаровню жертвенника окровавленными руками.

Когда все части разложены были на решетку жертвенника, Вещий взял снова рог, полил жертву, и она обдалась вспыхнувшим синим пламенем.

«Благо, благо тебе! суд и правда наша!» — загремел хор; затрещали трещотки, на Вече ударил колокол, вокруг храма загрохотал голос народа, храм потрясся до основания... вдруг с восточной стороны храма раздался треск, подобный разрыву векового дерева от громового удара.

Все смолкло; онемели возглашающие уста, обмерли чле-

ны, издающие звуки, только протяжный гул вечевого колокола дрожал еще в воздухе.

— Горе, увы нам! — произнес беловласый Божерок и трепетно принял трости волхования, раскинул их по ковру, смотрел на них и произносил: — Обновится светило, светом пожрет древо, растопит злато, расточит прахом камение...— Княже, клянися *Светом* хранить закон его, быть оградою, щитом, мечом и помочьем его, пагубой другой веры! — произнес он, почерпнув златым ковшом из чаши жертвенной и поднося Владимиру.

— Не я щит ему! Он мне щит! — отвечал Владимир.

— Вкуси от жертвы, испей от пития его и помятуй: «оже ел от брашны его и пил питие господина твоего».

Владимир прикоснулся устами к ковшу, Добрыня испил, вящшие мужи пили ковшами, а народ, взбросив руки на воздух, ловил капли, летевшие с кропила, и, обрызганный кровью, собирал ее устами.

Между тем юный Князь снова поднял очи на волоковое окно. Новогородские девы вообще славились красотою; но эта дева — в повязке, шитой жемчугом по золотой ткани, в *поднизи* низанной, под которою светлые очи как будто думали любовную думу,— эта дева была лучше всех земных радостей.

Владимир едва заметил, как подали ему Княжеский костыль и Княжескую Новгородскую шапку; с трудом отвел он взоры от лика девы, когда с громогласным хором подводили его под руки к лику *Света;* он поклонился в пояс и пошел со вздохом из храма на Вече к людям Новгородским.

Обходя храм, он искал чего-то в толпах женщин, которыми были покрыты верхние сени; но видел только старух и отживших весну свою. Их лица были похожи на *машкару,* на болванов, обложенных золотою парчою, жемчугом, бисером и дорогими разноцветными каменьями; это были вороны-вещуньи, сороки-трещотки, ворожеи да свахи; они заслонили тучными телесами своими и распашными *кофтами* жертв своего гаданья и сватанья, у которых на устах были соты, на щеках заря, в очах светилы небесные — *источники любви.*

— О, то Княже! — говорили старые вещуньи.

— Доброликой, добросанный, смерен сердцем...

— О, то вуй иого Добрыня чреватый, ус словно кота серого, заморского, чуп длинный... ээ! о́ть... сюда уставился молодой Княж... кланяйтесь, бабы!

— Милостивая! не опора тебе далась! молода еще в передку быти! проживи с маткино!

— Ой, Лугошна, красен Княж!.. то бы ему невесту!.. а у стараго Посадника Зубця Семьюновиця дщерь девка-отроковиця вельми добра; изволил бы взять Княгынею: любочестива, румяна, радостива, боголюбица!

Звук вечевого колокола заглушил речи людские; Князь приблизился к Вечу.

Вече было за храмом Волосовым, на том самом холме, где некогда был *Немд,* учрежденный Одином, Посредине огромный камень, на котором восседал *Конг,* кругом камни меньшии, которые занимались Диарами, Дроттарами и *Блотадами.* Сюда сбирались и Новгородцы *сдумать* и *увечать;* средний камень прозвали они *столом посадничим.* Подле холма, осененного высокими деревами, была вечевая звонница, на которой висел огромный колокол.

Для Князя посадничий стол устилали ковром, клалась на него красная подушка с золотыми кистями; а над сиденьем стояло *небо.*

Когда Владимир, поклонясь на все четыре стороны, занял место, а кругом его сели Добрыня и старые Посадники Новгородские,— мужи Владимировы принесли *подносы* с дарами; Добрыня встал и раздал Новгородским людям от имени Князя злато, *дары иные многие* и милость его.

«Кланяем ти ся, Княже!» — закричал народ; «Кланяем ти ся, Княже, землею и водою Новгородскою! и меч приимь на защиту нашу!» — произнесли Выборные Старосты Новгородские, поднося Владимиру на латках серебряных землю, и воду, и *меч Княжеский Великий.*

«Изволением властного Бога-Света, Владыко, и Посадники Новгородскыи, и Тысящники, и все Старейшии, и Думцы Веча Господину Князю Володимиру от всего Новагорода. На сем, Княже, целуй печать властного бога, на сем целовали и прежнии, а Новгород держати по старине, како то пошло от дед и отец наших; а мы ти ся, Господине Княже, кланяем».

Владимир встал с места, поклонился на все стороны, поцеловал поднесенную к нему на блюде печать златую на цепи, надел ее на себя, принял меч, опоясал его.

Голос народа загремел.

Подвели Владимиру могучего коня, покрытого золотым ковром; седло, как пристолец Княжеский, горело светлыми камнями; другого коня подвели дяде его Добрыне.

Стяг Новогородский двинулся; за ним шел Князь с вящшими своими мужами, потом Дума Новогородская, Посадники, Тысяцкие, Воеводы, Конечные Старосты, Головы полковые, Гридни и Полчаны Княжие, Рынды, Сотня гостиная, купцы и люди жилые Новгородские...

Народ потянулся вслед за поездом в двор Княжеский.

Гул вечевого колокола расстилался как туман по озеру и окрестностям.

— О! той хитрый, *близо́к!* — говорил народ на другой день, сидя за браными столами на дворе Княжеском. Добрыня потчевал его от имени Князя и хлебом, и хмелем, и золотом.

— Ой, щедрый, лихо из чужой бочки вино точить... купайся! а в своем меду, чай, окунуться не даст!

— Уж бы звали, так, а то кто его звал!

— То так! Дай улита рожка, а она оба два! да Новугороду не две головы.

— Эх, молодцы! великой звезде не без хобота.

— Звезда с хоботом недоброе знаменье! нам подавай солнце красное!

— Что ж, братцы, Володимер Солнце Красное! смотри, смотри — вот он.

— И то! кликнем: Государь Князь Володимер Красное Солнышко!

— Величай!

И все повторили:

— Здравствуй, Государь Князь Володимер Красное Солнышко!

IV

Между тем как в Новгороде шли дела людские добром, на берегах Днепровских творились чудеса.

На берегу Днепровском, близ Киева, по соседству с *Чертовым бережищем,* жил дядя Мокош.

Есть же на белом свете люди, которые ни сами ни во

что не мешаются, ни судьба не мешается в их дела. Ни добрые, ни злые духи не трогают их, как существ ненужных ни раю, ни аду. Эти люди никому не опасны, никого не сердят, никого не веселят, никого не боятся, ни на кого не жалуются; им везде хорошо; есть они, нет их — все равно.

Из таких-то людей был Мокош, сторож заветных Княжеских лугов и лесничий.

С молодых лет жил он в хижине близ *Чертова бережища,* не заботясь о соседстве *Нечистой силы.* Зато весь народ Киевский думал, что сам он водится с нею. Когда, раз в год, приходил Мокош в Княжескую житницу за мукою на хлебы, его допрашивали: «Что деется на *Чертовой усадьбе?»* — «Не ведаю»,— отвечал он. «Что деет *Нечистая сила?»* — «Живет себе смирно».

Ни слова более нельзя было добиться от Мокоша.

Про него можно было сказать: лесом шел, а дров не видал.

Жил Мокош уединенно с своим задушевным псом *Мурым.* Вместе с ним, каждый день, рано поутру, обходил он луга и лес. От нечего делать на лугах полол крапиву, в лесу собирал валежник. И должно было отдать ему справедливость, что луга были как бархатные, а лес чистехонек; только в одном месте, на скате холма, во впадине горы, под навесистыми липами, с давнего времени заметил он, что кто-то мешается не в свое дело и содержит это место в отличном порядке и чистоте.

Долго подозревал он, что *кто-нибудь* без спросу поселился в этом месте; приходил он тайком, но никого не заставал; а на травке ни листика завялого, ни сучочка, а на дереве ни червячка, ни паутинки. Иногда только казалось ему, что по лугу как будто вихрь ходит, да подметает пыль, и по́лет сухую траву, и обрывает завялые листья. Мокош, уверенный, что точно никого нет, забыл свои подозрения; и если б народ своими допросами про *Нечистую силу,* которая живет на холме, не напоминал ему об этом, он не знал бы никогда, что́ такое и *Нечистая сила.* У него все было чисто: и луга, и лес, и источник, из которого пил воду, и мука, из которой пек хлебы, и мысли его, и руки, и душа.

Уединение Мокоша нарушалось только несколько раз в году, во время Княжеской охоты, когда на заветном лугу выпускали соколов с челигами на ловлю птиц.

Однажды Мокош встал, по обыкновению, с солнцем, умылся ключевой водою, поклонился земно на восток, съел кусок хлеба с молоком и отправился в обход лугов и леса. Кончив свое дело, он пробрался скатом Днепровского берега к заветному холму, сел во впадине на мягкую мураву и стал глазеть на темный правый берег реки. Необозримая даль покрыта была густым лесом; инде только желтели песчаные холмы и курилось далекое селение. Влево, на высоте, расстилался Киев-град, с белокаменными палатами, вышками, теремами и бойницами.

Мокош на все смотрел; но для него все равно было, смотреть или нет: не в первый раз он видел издали и Киев, и Днепр, и темный правый берег его. Он ни о чем не думал, не рассуждал; и о чем бы стал он думать?.. Единообразие жизни есть бесплодное поле, на котором не родится мысль.

Итак, Мокош был в этом состоянии, непонятном для мира, исполненного жизни, борьбы добра и зла. Вдруг слышит он плач младенца, вскакивает, идет на голос, приближается ко впадине, осененной навесом лип, и видит, на одной из ветвей дерева висит колыбелка, а в ней лежит спеленатое дитя. Колыбелка качается, дитя плачет, шевелит устами, просит груди. Вдали эхо вторит чью-то колыбельную песню; но подле бедного дитяти нет мамы, нет няни, нет кормилицы.

Жалко стало Мокошу; подходит он ближе... вдруг колыбелка перестала качаться, эхо колыбельной песни утихло, свивальник развертывается, пеленки вскрываются, никого не видно, а кто-то вынимает ребенка; он утих, он лежит на воздухе, во что-то вцепился ручонками и к чему-то тянется, что-то рвет устами, кажется, сосет, слышно, как он глотает...

Дивится Мокош, разинул рот.

Невидимые руки пестуют дитя; оно повеселело, улыбается, бросает на все любопытные взоры; увидело Мокоша, тянется к нему.

Мокош не вытерпел, приближается, протягивает к ребенку руки, хочет взять его... а длинная ветвь орешника хлысть его по рукам.

— Погори ты пожаром! не уродись на тебе шишки еловой! — вскричал Мокош... а ребенок хохочет, опять тянется к Мокошу. Опять Мокош протягивает руки, а ветвь орешника опять хлысть его по рукам, а другая хлоп по лицу.

— О-о-о! бесова клюка! — кричит Мокош, протирая глаза, из которых искры сыплются... а ребенок смеется, тянется к нему снова.

— Провались ты, вражий сын! — произнес Мокош и побрел домой, повалился на лавку, спит.

А под крутыми берегами извивается Днепр, шипят его волны. Давно вытек Днепр из темных лесов Смоленских, из соседства Двины и Волги, пробился сквозь каменные ограды земли Половецкой, скатился по десяти гранитным ступеням и ринулся в море.

Извивается Днепр, шипят его волны около берегов Киевских. Днепровский *Омут* выгнал на работу все царство отводить реку от священного холма, рыть новое русло. Извивается Днепр, шипят его волны, а солнце играет в нем, а Киевские златые терема опрокинулись в него и мерцают в волнах.

Просыпается Мокош. Вчерашний день всегда был для него сном; но чудный ребенок на холме нейдет у него из головы.

«Дивен сон!» — думает Мокош и, кончив свой завтрак, отправляется в обход лугов и леса, идет опять мимо холма, садится отдохнуть. Глядь... а мальчик лет пяти, в красной сорочке, обшитой золотой тесьмою, в сафьянных сапожках, шитых узорами и выложенных бисером, бегает один-одинехонек и ловит мотыльков; много их вьется над ним, но он ловит изумрудного, осыпанного искрами золотыми, у которого крылья как будто обложены полосами радуги. Увидев Мокоша, мальчик бежит к нему навстречу, берет его за руку.

— А!.. кто ты таков? — говорит ему.

— Да дедушко Мокош,— отвечает ему Мокош, выпучив на него глаза.

— А моего дедушку зовут *Он!* — вскричал мальчик.— Ну, и ты будь моим дедушкой!.. А можно уловить мотылька?

— Лови, голубчик! — отвечает Мокош.

— *Она* не велит... говорит, что это красная девушка; говорит, что я сотру с ее лика румянчик.

— Твоя бабушка обмолвилась. А где твоя бабушка?

— Где бабушка? Постой, я приведу ее к тебе.

Мальчик побежал под навес липы, в кустарник. «Ау! ау!» — закричал он. «Ау!» — отозвалось в лесу.

— Чу! *Она* ушла в лес. Пойдем, поищем ее!

Он взял Мокоша за руку и повел в лес.

«Ау!» — снова закричал мальчик. «Ау!» — повторилось в лесу.

— Чу! пойдем, пойдем; вот здесь *Она*... Ох, нет, вот там!..

Мокош устал ходить за торопливым мальчиком.

«Ау!» — отзывалось то с одной, то с другой стороны. «Ау!» — закричал мальчик опять. «Ау!» — раздалось позади них.

— Эх! *Она* воротилась домой.

Пошли назад. Пришли на лужайку, под липы.

— Нет и дома,— произнес мальчик печально.

— Да где твой дом? веди домой.

— Вот здесь, дедушка, под липкой.

«Сирота,— подумал Мокош.— А в хмару да в ливень?»

— Под липкой, дедушка.

«А в зиму да в метелицу?»

— Под липкой...

— Сирота!..— повторил Мокош.— У тебя, чай, рученьки да ноженьки отморожены.

— Тепло, дедушка, под липкой; на эту лужайку я не выхожу; как пойдет черная хмара по небу да нанесет холоду, я сижу дома; боюсь выйти из-под липки: так и колет лицо, так и жжет.

— Откуда ты, голубчик, взял такую шапочку с обложкой горностаевой, словно Княжеская, да сорочку, шитую золотом, да сафьянные сапожки?

— Все мне приносит *Он;* ты видел моего дедушку?

— Какого дедушку?

— А вот что говорит: без меня бы ни песен, ни радости людям. А видал ли ты, как пляшут да водят хороводы? Вьются, вьются, заплетаются, девушки бледные, бледные!.. Запоют так: у-у-у-у!.. а мне так и холодно, как от белой зимы, что бывает за нашей лужайкой.

— Да каков дедушка твой собой?

— Каков? не таков, как ты; все исподлобья смотрит, на людях покойных ездит верхом. Все его боятся, а дедушка никого,— только боится кочета, что залетел из Киева; а я спросил его: «Чего ты боишься кочетка? Видишь, я не боюсь...» А *Он* сказал: «Гони, гони его, покуда не закричал!» Я и прогнал!..

Мокош внимательно слушал рассказ ребенка, присел на лужайку и стал полдничать, вынув из кошеля кусок житного хлеба.

— Что это, дедушка? - вскричал мальчик. Дай-ка мне!

Мокош отломил кусок: с жадностью мальчик схватил и съел.

— Ты голоден, голубчик, тебе поесть не дадут!.. вот тебе еще ломоток хлебца.

— Хлебца? — вскрикнул мальчик.— *Она* не дает мне хлебца.

Чем же ты питаешься, голубчик?

— *Она* меня кормит...

Вихрь свистнул между мальчиком и Мокошем и унес слова мальчика.

— Ась? — спросил Мокош, не расслышав, чем кормят мальчика.

— А поит...— продолжал мальчик.

Вихрь опять свистнул над ухом Мокоша; он не слыхал чем поят мальчика.

— Ась? — повторил он.

— Да, дедушка,— продолжал мальчик,— а мне тошно, тошно, как я съем...— Снова свистнул вихрь...— Все хочется этого хлебца да водицы испить, что течет под горой... У тебя много хлебца?

— Есть мало,— отвечал Мокош.

— Пойду я, дедушка, к тебе; ты такой добрый, ты меня пустишь гулять в город!

— Пойдем, пойдем... я поведу тебя в Киев,— отвечал Мокош, вставая.

Мальчик хочет идти — и вдруг остановился.

— А!.. вот *Она!..* Пусти меня к этому дедушке!.. пусти!

Мокош смотрел вокруг себя: с кем говорит мальчик?.. но никого нет... только вихрь свистал снова между Мокошем и мальчиком. Мокош хотел подойти к нему а ветвь натянулась и хлестнула его по лицу.

— Ооо! сгинь ты грозницею!! — вскричал Мокош, закрыв лицо руками.— Поточи тебя тля поганая! — продолжал он, удаляясь и проклиная *Нечистую силу.*

V

Наутро, по обычаю, *Мокош* снова спустился в обход лесов и заветных Княжеских лугов. Любопытство завлекло его к лужайке. Вот подошел, ступил на свежую мураву, и вдруг стукнулся обо что-то лбом.

«Вражий тын!» — вскричал он. Смотрит... и тычинки нет; хочет идти, ногу вперед — стукнулся снова, нет прохода. Сердится Мокош, шепчет бранные речи, шарит рукой, точно как будто каменная стена перед ним, а нет ничего. Продолжает вести рукой по стене, идет кругом, и стена тянется вокруг лужайки... За стеной чей-то голос.

Прислушивается Мокош, кто-то неведомые речи выговаривает.

Ы-ей-гей-ег-дой-ай-да-*егда,* вар-ой-зы-воз-рой-ой-ро-*возро,* дой-ей-ди-*возроди,* тай-си-ей-тси-*возродитси,* дой-рей-ей-*дре*-вар-нен-ей-ни-*древни,* ай-дой-ай-да-*ада*-мен-ой-мо-*адамо,* чоры-ей-*че*-лей-ой-*ло*-*чело*-вар-ей-ве-*челове*-цюй-юн-цю-*человецю,* кыр-нен-ой-*кно*-вар-ой-во-*книво*-жой-ей-*жи*-зной-нен-ей-*зне-жизне...*

— Ей, голубчик! кто тут?

— Принес хлебца? — отозвался голос.— Не то не хочу учиться книгам.

— Да где ты тут?.. Ох ты, окаянная огородина!

— А, это ты, добрый дедушка? здорово! забыл ты меня!

Как будто сквозь туман увидел Мокош отрока лет десяти, в красном шелковом кафтанчике, перепоясанном золотым тесемчатым кушаком, с откидными рукавчиками, нóги перетянуты ниже колена также золотыми тесьмами, на ногах сапожки шитые сафьянные, на голове скуфейка, из-под скуфейки рассыпаются по плечам витые русые кудри; в руках отрока длинная книга и жезлик.

— Что ж нейдешь? — спросил отрок.

— Да словно стена стоит?.. аль мерещится?..— отвечал Мокош, тщетно подаваясь вперед.

— Какая стена! плюнь на нее, дедушка.

Мокош плюнул; вдруг как будто что-то треснуло, рассыпалось вдребезги. Мокош, спотыкаясь, как по груде камней, приблизился к отроку и, взглянув на него, остановился, выпучив глаза.

— Да ты словно тот же, что вчера видел я... а пяди на три вырос!..

— Вчерась? — сказал отрок. — Да ты у меня и невесть с какой поры не был, дедушка.

— Ох, да ты не простой, словно колдун аль чаровник отец твой али баба, не ведаю кто?

— Иди же, дедушка, я рад тебе! — сказал отрок, взяв Мокоша за руку. — Ведь ты обещал мне хлебца, дай же, дедушка, хлебца, а я тебе дам золота, вот того, что люди, говорит *Он*, все за него покупают, кроме светлого неба.

Подбежав к скату горы, отрок откопал песок и показал Мокошу целую кадь золота.

Мокош выпучил глаза.

— Бери, дедушка; *Он* сказал мне, что золото лучше всего для людей; за золото они продают свою душу и светлому *Дню*, и темной *Ночи*.

— То все мордки Грецкие! чего мне в них! нес бы ты их к Князю нашему аль к какому боярину, мужу великому; то, вишь, клад, а клад — Княжеское добро; а наш брат возьми клад да принеси домой, а за кладом и *Нечистая* сила в дом...

— Какая Нечистая сила? — спросил отрок.

— А вот что ты ее кличешь; она, чай, тебя и книгам учит?

— Учит, — отвечал отрок.

— Что ж тут писано?

— А тут писано так, дедушка: в начале лежали на пучине двое... Один светлый, светлый!.. другой темный, темный!.. лежали долго, спали крепким сном, да все росли, росли...

— Чай, словно ты?.. — спросил Мокош.

— Я не расту, дедушка, сам ты давно меня видел.

— Морочишь, голубчик, растешь, словно под дождем боровик; ну разбирай, разбирай книгу.

Отрок продолжал.

— Росли, росли и выросли большие, великие, глазом не окинешь, и стало им тесно лежать в пучине; стало им тесно, они и очнулись; один очнулся, другой очнулся, встал один, другой встал, закипела пучина ветром. «Кто ты?» — молвил светлый. «Кто ты?» — молвил темный. «Чему здесь?» — молвил светлый. «Чему здесь?» — молвил темный, а речи словно гром прокатились по пучине... «Недобрый!» «Благой!» — крикнули оба два и схватились могучими мышцами и закрутились по пучине, ломят друг

друга; от светлого сыплются искры, от темного холодный зной градом...

— Ну!..

— Дальше, дедушка, не умею; не учил.

Едва отрок произнес эти слова, вдруг вихрь закрутился, вдали затрещал лес.

— *Она, Она* идет! — вскричал юноша.— Ступай, дедушка, прочь, не то завьет тебя, закрутит, удушит... приходи наутро.

— Ладно,— произнес Мокош, осматриваясь кругом со страхом и удаляясь бегом от отрока; пес его остановился, лаял на кого-то во всю мочь.

«Экой омрак, экая нечистая сила!.. Ой, пойду в Киев да поведаю Княжим людям! то диво!.. да красной какой, добросердой!.. а, чай, от ведьмы бы уродился не такой? Уж не Княжее ли детище?.. Молвят же люди, не годами растет, а часами... Ой, пойду в Киев...»

И вот Мокош своротил на тропочку, которая тянулась покатостию горы частым кустарником и вела в Киев.

Только что своротил... а вихрь свистнул, закрутил, сорвал шапку с головы Мокоша; покатилась шапка в гору, поляной, заветным лугом — Мокош за ней, а пес за ним да за ним, а шапка, словно *перекати-поле,* катится да катится; прикатилась к дубраве, где была изба Мокоша, остановилась у порога. Устал, выбился из сил Мокош, плюнул на шапку, поднял ее, ударил о землю, повалился на прилавок, шепчет про себя: «Окаянная! словно юница прибежала с поля домой!..» И забыл о чудном юноше, забыл о Киеве, захрапел. И пес, почесав бок заднею лапой, по обычаю, свернулся в обруч, заснул.

VI

Едва только показался новый день над Киевом, Мокош очнулся, сел на *пристбе,* протер глаза и дивится, что его овчинная шапка валяется на земле; слова «окаянная, словно юница ведает закуту свою!» пробудились также, и Мокош в первый раз стал припоминать вчерашний день.

«Ой ли? от то!.. аль морок? — говорил он сам себе.— Оли клад мается да прикидывается ликом?.. ой диво, чудо!.. пойду ко двору, поведаю Княжеским людям!.. аль пойду

проведаю, не морок ли?.. може, впрямь вражья сила нечистая, что народ бает».

Мокош поднял с земли шапку, отряхнул, обдул ее, взял котомку с хлебом, костыль, кликнул пса, отправился; дорогой забрел на полугорье к кринице, прилег на землю, полакал алмазной воды, обтер бороду, отправился далее.

Едва он вышел из-за косогора, по тропинке, извивавшейся к тому месту, где, по предположению Мокоша, был клад, который, наскучив лежать в земле, принимал на себя человеческий образ, чтоб соблазнить кого-нибудь собою,— вдруг из-под липки бросился к нему навстречу юноша, точно старший брат отрока, которого Мокош видел в прошлый день.

Мокош приостановился от удивления; а юноша висел уже у него на шее.

— Дружок дедушка! давно ты не был у меня.

— У тебя? — спросил Мокош.— А може, и у тебя... по вечери был; чудо! на голову поднялся!

— Ох, нет, много раз темная ночь тушила день светлый! — произнес юноша, вздыхая.— Грустно! а все кругом словно в землю растет... Помятуешь ты, эта липка была великая, великая! что на небо, что на нее смотреть, все одно было; а теперь маковка не выше меня... А светлый день все темнее да темнее в очах, а вот здесь жжет, мутит, нудит на слезы!.. Спрашивал, *Она* говорит: «Нет ничего»... неправду говорит *Она:* слышу — колотит, стучит, избило недро молотом!.. больно, дедушка, дружок, нет мочи! брошусь с утеса!..

— Дитятко, голубчик, Свет над тобою! то, верно, у тебя молодецкое сердце расходилось.

— Сердце? а что сердце? — произнес горестно юноша, приложив руку к груди.

— Сердце мотыль, говорят,— отвечал Мокош.— Да ты не пугайся, голубчик, небось просит оно, вишь, воли.

— Ну, я дам ему волю.

— Не вынешь, друг, из недра.

— Выну!

— Вынешь сердце, голубь, душа вылетит, умрешь.

— Умру? а тогда не будет колотить, томить...

— Вестимо, сударь, в гробу мир.

— Ну, умру! — отвечал обрадованный юноша.— Да как же умирают, дедушка?

— Ой ни! полно, дитятко! уродился ты пригож, поживи, полюбись красным девицам.

— Девицам? что прилетают сюда хороводы вить?.. что ластятся? что мотают нитки у бабушки?.. нет, не хочу их неговать, не хочу целовать в синии уста и в тусклые очи!.. не тронь их, чешут на голове зеленую осоку и крутят хоботом, словно сороки.

— Бог свят над тобою! — произнес Мокош.— С хоботом ведьмы Днепровские, а не красные девицы. У красной девицы уста — румяное яблочко, русая коса — волна речная, очи — светлый день...

— Не ведаю таких, такие ваши людские, а *Она* говорит: людская девица *недобро,* да кабы *Он* не сеял им раздора, да зависти, да не берег их соблазном, то быть бы им...

Вихрь свистнул над ухом Мокоша.

— Вот что...— продолжал юноша.— Так говорит *Она:* люди, что родным отцом называют да родной матушкой, меня прокляли, а *Она* взяла меня да взлелеяла.

— Бог свет над тобою, голубчик, бабушка твоя обмолвилась, урекания творит...

— Не ведаю; а не велит *Она* любить людей, а я тебя полюбил, дедушка; а как ты про своих красных девиц речь ведешь, так и тихнет на сердце. Покажи мне свою красную девицу, может, ты правду молвил.

— Изволь,— отвечал Мокош,— покажу, да еще Княженецкую; приехала из Царьграда девица, младшая, живет в красном дворе, в зверинце. Князь наш Светославич Ярополк берет ее женою.

— Ну, идем, идем! — вскричал юноша.— Скоро, скоро, покуда нет ее, *Она* не пустит.

— Идем! — сказал Мокош.

Юноша побежал под липку, снял с ветки кушачок красный, узорчатый, опоясался; надел на голову шапочку, шитую с собольей обложкой, откинул кудри от очей, расправил их по плечам, голубые очи засветились радостью, ланиты разгорелись полымем.

«Словно Князь Володимер!.. тый мало старее»,— думал вслух Мокош.

Вот идут Займищем.

Торопится юноша; пыхтит Мокош, подпираясь костылем.

— Сударик! — говорит он.

— Что изволишь? — спросил юноша.

— Слыхал ты про Киевскую ведьму? — Уж не ведьма ли *Она*, что вскормила, сударь, тебя?

— Ох нет, не ведьма; не ведьмой кличут.

— Не ведьмой?.. Ой?

— Просто *Она*.

— Дивись! чай, страшенная! чреватая, полноокая, кобница хитрая?

— Не ведаю,— отвечал юноша, торопясь идти.

— Уж то, сударь Боярич, то ведьма!.. уж ведьма, коли людям не кажется!.. Ходит, чай, метелицей, вьюгой вьет; по лесам да по лугу злое былье собирает; строит ведьство, пóтвори, чародеяние, зелейничество... аль нападет, ровно зубоежа... аль скоблит, ровно грыжа, аль умычку творит красных дщерей со дворов Боярских...

— А где та ведьма? — спросил юноша.

— А вот то-то того и пытают, сударь Боярич, чуешь, молвит слово-скать живет ведьма у Днепра, в недобром месте под осиною. Пагуба, дивись! а сотворила чудо над Владычьним старым родом; ведаешь, было: Вещий Владыко пошел на воду мыть малого Божича, госпожу златую... то еще было при Ольге Княгыне, а Княгыня была у Царьграда, а то был день праздный *Купала;* а жрецы шли на Днепр, несли мыло да ширинку узорочную, да лохань златую великую, да на лошках златых великих златую, сыпанную жемчугом одежду, да гребень, да елей на умащенье. А людьем, на берегу, ставили столы браные, и корм, и сологу, и рыбу, и мед, и пиво на пир великий; а пришли людье на Днепр, а *Вещий* принял золотую госпожу, моет мыльнею... глядит... на волнах чюдо какое! лежит девица, всплыла из пучины, лепая, красная, распрекрасная!.. спит!.. Владыко завидел ее, да и уставил очи, уставил очи, да и ронил Божича в реку; Божич канул, да и пошел на дно. А Владыко не ведает, что творит, да и покрыл полою белой ризы; а девица русая, белая, словно из мовни, спит себе, любуется устами; а ланиты — день румяной, а лоно — две волны перекатные, а вся пышная, снежная, пух лебяжий. Вещего обдало пожаром... сором, да и только! Берет он девицу на руки тихо. «Подайте — говорит... а сам трусится,— подайте покров поволочитый!» — говорит да кутает девицу в ризу, не зрели бы люди. Подали покров поволочитый; окутал девицу в одеяло, несет, обливается градом, чуть дух перево-

дит; а жрецы за ним следом, да поют, величают Божича. А величают они так.

Тут Мокош затянул сиповатым голосом:

Грядите во славу-д-мыльницы божьи,
Черпайте-д-златом волны морские.
Свету свет, велий боже наш!

А листом румяным-д-господыню хольте,
Олеем душистым-ма-главу ей мастите.
Свету свет, велий боже наш!

Усыпайте-д-волны, волны-д-морские,
Лазоревым цветом-ма-д-маком багряным.
Свету свет, велий боже наш!

Поливайте-д-волны-д-сытою и млеком,
Кудри златые ладьте частым гребнем.
Свету, свет велий боже наш!

Заплетайте косы-д-хитрой плетеницей,
Умывайте тело-д-кипучею пеной.
Свету свет, велий боже наш!

— Так спевали жрецы, а Владыко Вещий идет во храм Господский весь не свой... а *зной* градом с чела выступает; а велит никому идти в хором, кроме причета, на то воля Госпожи, говорит. А причет ставит на место над стоялом *небо,* а Владыко Вещий закидывает завесу да велит всем прочь идти, а девицу кладет на золотую подушку, а распахнул Вещий ризу...

Тут Мокош остановился, приставил костыль к левому плечу, снял шапку и, улыбаясь, почесал голову...

Юноша также остановился, рассказ Мокоша о деве привлек его внимание.

— Ну, дедушка, что ж, как распахнул Вещий ризу?

— Хэ! — произнес Мокош, улыбаясь, и потом, приложась к уху юноши, молвил шепотом: — Ровно голь гола!

Юноша нисколько не удивился.

Мокош продолжал вслух:

— И проснулась, очи ровно два светила небесных лучи бросают. «Где-сь я?» — говорит; а Владыко молчит, онемел да вперил очи на девичьи красы; а ей студно стало, набрасывает долгие русые косы на белые перси, а вся такая ласная!.. а Вещий — так его и бьет грозница — рас-

пылился, накинулся, словно *канюк*[1] на голубицу; а она хвать его за седые власы, словно коня за гриву, да и вскочила на выю; вези, говорит, на широкий Днепр! да и начала гонять по хороми, бьет долгой косою по хребтам. Ровно как на дыбах, носится Владыко, кружит коло стояла святого, а бежать вон не смеет: студно народа; а люди, весь Киев стоит у дверей хоромных, ждет, покуда откинет дверь Владыко, человать бы Божичу; а двери не отчинаются, а с Днепре летит тьмущая стая сорок... То, видишь, все русалки, дщери великой ведьмы, что хобот в три пяди, украли сестру молодшую. Осели всю хоромь, трескочут, бьются в окончины, тьма-тьмущая, туча черная! «Ох, недобро!» — молвят люди; гремлют, ломются в храмину — нет ответа. А в ту пору в хороми был хоромный отрок, звонарь; а той был на звоннице, вверху; а слышит в храме громоть, стук, сошел книзу, озирает из притвора, а в хороми красная дивная девица ездит на Владыке, ровно на коне, косой погоняет, а власы ровно риза шелковая расстилаются, а с чела Владычнего зной градом сыплет. «Ох,— мыслит отрок хоромный,— размыкает Владыко красную девицу!..» а как поравнялся Владыко с ним... а хоромный отрок видит у девицы хвост словно у сороки колышется; он за хвост, а хвост, до пера, весь в руке остался. Вскрикнула девица, опали у девицы руки, рассыпалась коса до земли, запутался Владыко в косе, грохнулся без памяти оземь, и девица ровно пуховая покатилась — лежит, ровно уснула. А народ ломится в двери, гремит грозою... «Ох, горе великое!» — думает отрок хоромный, да и ухватил девицу поперек...

— Дедушка, дедушка! — прервал вдруг юноша рассказ Мокоша.— Не то ли терем?

— То, сударь,— отвечал Мокош и продолжал: — Так вот...

— Здесь живет красная Княжна-девица? — спросил опять юноша, дергая за полу Мокоша и устремив очи на высокий терем, которого светлые верьхи выказались из-за рощи.

— Здесь, сударь, здесь... Вот и ухватил, мечется во все углы хоромьнии, а ворота трещат, народ ломится, а сороки

---

[1] Ястреб. *(Прим. Вельтмана.)*
Так называли филина или полевого коршуна с неприятным криком (отсюда — канючить).— *А. Б.*

трескочут, бьют крылом в окны, туча грозная! хором словно среди ночи стоит...

— Стой, стой, дедушка, пойдем скорее! — вскричал юноша, схватив Мокоша за руку и потащив за собою.

Нить рассказа Мокоша оборвалась, он умолк, запыхаясь, переваливается за юношей, не сводившим очей с терема,— шепчет сердитые речи...

VII

«Мы же на преднее возвратимся, на горькую и бедную память тоя весны»,— говорит летопись; поведаем о Киеве и о Князе Киевском Великом Киевском Ярополке.

Не дал бы Светослав, уезжая в Болгарию, стола Киевского Ярополку за его безнравие и слабосердие, если б не умолила его о том Ольга; не послушал бы Светослав и родной матери, если б знал он, чему учит она Ярополка в тайне.

Ярополк был слаб душою, добр, послушен каждому, не только мудрой *бабе* своей; и потому Ольга ошиблась, полагая, что ее светлые слова падут, как тучное семя на тучную душу его, и он торжественно восстановит крест над Русью.

Ольга умерла с улыбкою святой надежды. Светослав погиб последним героем язычества, Инегильда не пережила горя, и Ярополк принял костыль Княжеский, подтвердив уделы, назначенные отцом, за братьями.

По завещанию Ольги Ярополк должен был жениться на Гречанке, которую Ольга привезла с собою из Царьграда и воспитала в тайне, для внука. Говорили, что это дочь Патриция Константина, сестра Патриция Романа, бывшего впоследствии полководцем во время войны Цимисхия с Светославом; но достоверно этого никто не знал.

Она была собою прекрасна, как божья милость; полюбилась бы владыке Олимпа, увез бы он ее, как Европу, причислил бы к сонму *Азов;* но не соблазнил бы, как Леду, лебединой своей песнью.

Ольга приучила Марию и Ярополка друг к другу, старалась оковать их любовью; но сердце не живет чужими законами; оно любит тайну, любит затруднения, любит искать свое счастье среди горя. Ярополк видел часто Марию, Мария Ярополка; но их приветливые взоры были холодны,

только Ярополку предоставлялось право видеть Марию; Олег и Владимир были лишены этого права.

Но в день смерти Ольги, когда уже все выплакали слезы свои, Владимир, любивший бабку свою искренне, более всех, стоял на коленях перед нею в продолжение всей ночи; тут же перед одром Ольги стояла и Мария. Так провели они ночь, как два ангела, обнявшие могильный памятник.

Занялась заря, оба они очнулись, взглянули друг на друга, опустили очи, и этого было довольно для любви.

Владимир не мог иметь времени узнать, кто такая Мария; ибо на третий день с Добрыней и послами Новгородскими отправился он в Новгород, а Мария знала, кто́ Владимир, и ничего не хотела более знать,— самое имя Ярополка стало ей ненавистно.

Ярополк, к счастию, и не заботился о красоте Марии; она жила, как очарованная, уединенно в красном дворце зверинца Княжеского, ожидая с ужасом исполнения завещания Ольгина; но Ярополк, занятый сперва поминками бабки, потом поминками отца, не мыслил о женитьбе. Между тем возвратился старый *Свенельд*, дядька и любимец Светослава, сохранивший чудным образом жизнь свою после пагубной битвы под Доростолом, где он остался на поле сражения между мертвыми телами.

Свенельд, честолюбивый Фэроец, привез Ярополку мнимую волю Светослава, чтоб он женился на его дочери Ауде, представив все неприличие избрать сильному и Великому Киевскому Князю в жены девицу неизвестной породы. Ненавидя Греков, он напугал Ярополка союзом с Гречанкой. «Греки ищут власти над Русью и над тобою!.. прими их веру, совокупись с кровью Еллинской, и будешь платить дань Царьграду, и пойдешь со всеми мужами твоими и повинниками на службу царю!»

Ярополк, *спроста рещи, не мудроведий,* послушал Свенельда, который убедил его, что святой завет и воля идут от отца, а не от бабки, жены, обаянной попами Еллинскими; и Ярополк женился на его дочери. У Свенельда была еще другая хитрая причина. У Свенельда был Свенельдич; а Ольга, умирая, завещала Марии большое *вено.*

Но бог Еллинов опутал Свенельда в собственных его замыслах. Дочь его Ауда, Княгиня Ярополка, умерла в муках, а дерзкий юноша Свенельдич Лиаутер, гоняя зверей в лесах

Деревских и встретив Олега, бывшего также на ловле, завел ссору, налаял Князю и погиб как собака.

Последствие сего обстоятельства и коварное мщение Свенельда известны каждому: несчастный Князь Олег был жертвой братского малодушия, Ярополк лил слезы над его могилой, но Свенельд успокоил совесть Князя и, опасаясь мести Владимировой, хотел оградить себя новым раздором братьев... Упрек, полученный от Владимира, и требование разделить удел Олегов на две равные части послужил ему поводом.

— Сын *подложницы* не брат тебе и не равный,— говорил он Ярополку.— Не два Великих Князя на Руси; а Новгород величает Владимира Великим Князем; исполни волю его, и Великий Князь Новгородский захочет поклона, дани и даров от Киева, установит прежнее первенство стола Новгородского.

— Чему же быть? — спросил Ярополк, устрашенный словами своего коварного Думца.

— Шли послов в Полтеск, к сильному Князю Рогвальду, проси дщери его и пойми себе женою. А к рабыничу шли за покорностью старейшему Киевскому Великому Князю; а не исполнит воли твоей, покарай спесь Новгородскую силою своею и союзом с Князем Полтеским.

И Ярополк дал веру словам коварного Думца.

VIII

После смерти Олега в число Думцев Ярополковых: старого Свенельда и порывистого Икмара, прибавился еще Думец, близо́к Олега, *Блотад* и *Гуде* Вручева, *Грим;* он правил жертвоприношениями и прорицал; это был хитрый, рыжий Финн.

Окруженный Ферейнгами, Свеями и вообще поклонниками *Тора,* Ярополк забыл уроки Ольги и обратился к жертвам идольским. Христианская церковь Илии, построенная Ольгою, закрылась; только в красном тереме загородном, где жила прежде Ольга, а по смерти ее Мария, посвятившая себя горю и молитве, имели еще иереи Греческие прибежище.

Блотад и Гуде Грим принял первосвященство и в Киеве. Народ прозвал его *Блудом Кудесником;* он учил народ си-

лою вере своей, гнал жрецов божевых, и *были в Киеве, на улицах скорбь друг с другом, дома тоска.*

В промежутках важных событий, которыми располагала судьба, Свенельд и Блотад, внушившие в Ярополка не мудрую деятельность, но одно только малодушное беспокойство, он, тучный, не двигаясь с места, лагодил, прохлаждался в своем Великокняжеском тереме, на бархате золотном, ласкал дев и перебирал четки, которые остались единственным признаком прежней его веры.

Не терпел он войны,— печальный конец подвигов отца напугал малодушного сына.

От войны откупался он дарами...

Не терпел он *ловы деять,* потому что на ловах туры, олени и лоси рогами бодают, медведи кости ломают, вепри живота не щадят.

Думой Княжеской правили Думцы; у него была другая забота: населял он свой терем красавицами заморскими, окружал себя трубами и скоморохами, гуслями и русальчами и *разные позоры деял.*

Как собирают красные цветы на леченье, так собирал он красавиц всех земель и сушил их в своем тереме. С востока, с юга, с запада, с севера везли ему дивных красотою дев, и бедные, сорванные с родного стебля, увядали в тереме Княжеском.

Торжественно совершался обряд *Показа* Князю вновь привезенной Хазарки, Аланки, Ясыни, Грекини, Болгарыни, Урменки. Покуда вели ее в *мовню* и одевали в Княжеские ризы, Ярополк в нетерпении пил хмельной мед кружка за кружкой и обдумывал: из какой земли недостает у него красной девицы?

Когда вводили деву в Княжеский сенник, Ярополк любовался, заставлял говорить на своем языке, петь родные песни, и дева исполняла волю его сквозь слезы, тешила его чудными, странными звуками своего наречия. Расспрашивал он чрез толмачей, есть ли в земле ее среди белого дня солнце, во время ночи луна и звезды? Растет ли хлеб, водятся ли быки, кони и овцы? Не протекают ли на родной земле ее в кисельных берегах молочные реки? Живут ли в лесах лешие, а в реках ведьмы?

У Ярополка были полуобнаженные *Альмэ, Торские* плясавицы с тамбуринами; Египетские *Гази,* которых черные ресницы как тучи набегали на яркие звезды; пламенные

Унгарки в *дальме* из Дамасской ткани, *карситы* усеяны четными рядами перловых схватцов; *Баладины, игрицы* Румынские и *Хорицы,* плясавицы Греческие.

У Ярополка были даже Муринские девицы, копоть солнца, завешанные корою, с огромными золотыми кольцами в ушах и на конце носа, с раздвоенными, оттянутыми, просверленными губами, с телом, исписанным разными знаками каленым железом.

Таким образом тешился Великий Князь Киевский, и в это-то время сбывалось под липкой чудо, которому дивился только один Мокош, сторож Великокняжеских заветных лугов и дубрав.

Обратимся же к Мокошу.

Вот ковыляет он вслед за торопливым юношей; прошли они заветный луг; юноша перепрыгнул, а старик перелез через ров и вал Займища; вступили в глубину дубравы, окружавшей красный двор Княжеский; приближались уже к высокой деревянной ограде с кровлею.

— Что то светит, дедушка, за деревьями? — спросил юноша.

— То золотые вышки терема,— отвечал Мокош.

— А где же красная девица?

— В тереме, сударик, в тереме.

— Где же путь к ней, за ограду?..

— Тс! сударик, не шибко!.. сторожа на бойницах, прогонят нас... Полезай на сию дубовину великую, да и сиди смирно, ровно птица по ночи, доколе не выйдет румяная заря-девица гулять в сад. То-то надивишься! ровно солнце в небе.

— Что ж, дедушка, дивиться, пойдем в терем! — произнес юноша, и, схватив старика за полу, потащил за собою.

— Ой нет, сударь, завещано от Князя пагубой! — отвечал Мокош, ухватясь за дерево.

Юноша печально посмотрел на Мокоша, потом на высокую стену, потом на старый высокий дуб, который рос подле самой ограды и одним суком, как будто усталый, опирался о крутую кровлю стены. Посмотрел и вмиг, как векша, прыгнул, вцепился за сук, вскарабкался на вершину дерева, устремил сокольи очи свои в сад.

— Каков терем, сударик? — спросил Мокош снизу.

— Терем? ничего, видал лучше,— отвечал юноша.

— Ой? да где ж ты видал, голубчик, лучше? из-под липки никуда не выходил.

— Видал ладнее, под липкой, когда *Он* сложил на лодонке терем из светлых камышков, в дар Днепровскому царю Омуту.

— Диво! нет веры тому! — отвечал Мокош, садясь под дерево и качая головою.

— А вот того не видывал,— продолжал юноша, указывая на высокую яблоню, которой ветви, унизанные румяными плодами, как кисти виноградные, висели над стеной.

— Ох, то кислички, сударь, кислички Козарскии; сроду не вкушал! а вот то дули, солодкии...

— Подожди мало, добуду тебе! — сказал юноша и хотел лезть на ограду за яблоками.

— Ох, не губи души моей! — вскричал Мокош.— Ровно воробца, устрелит стража!

Вдруг в саду раздались голоса. Мокош испугался, замолк, прилег за куст, а юноша уставил очи на теремное крыльцо.

На дубовых ступенях лестницы показалась девушка в черной одежде; на голове ее была черная же остроконечная повязка, легкий покров был откинут. Ничьи очи, кроме зорких ясных очей юноши, не могли бы рассмотреть издали лица ее; но сладостно вздрогнуло бы сердце, помутилась бы память любовью у каждого, кто взглянул бы хоть на далекий призрак Марии.

За ней шли две подруги с прялками и старая мамушка с костылем.

— Дедушка! — вскричал юноша, не сводя устремленных на Марию взоров.— Дедушка, неладно видно!.. пойдем в сад!..

— Тс! распобедная головушка! не про нас туда путь!

— Хорошая, хорошая! — продолжал юноша.— Да под пеленой, молвить, солнышко под тучкой!.. дедушка, голубчик, у ней текут слезки по белому лику!..

— Ох, что ты творишь, сударик! — шепотом произносит Мокош, карабкаясь на сук, чтоб ухватить юношу за ногу и стащить вниз.

Юноша не внимал его, он уже звал девушку: «Поди сюда!.. девушка!.. радостная моя!.. Не отзывается... она плачет!.. печальная!..» И с этим словом, с ветви на ветвь, с сучка на сучок, прыг! и очутился на стене; со стены скок на

яблоню, с ветви на ветвь, с сучка на сучок, прыг на землю — и очутился в саду.

– О, погубил мою головушку! — повторял Мокош, катаясь по земле.

А юноша зеленым лугом бежит прямо к девице. Подбежав, хочет обнять ее, прикоснулся уже к стану руками; но сила очарования, которая изливалась из очей Марии, остановила его.

Мария вскрикнула, бросилась к подружкам своим.

— Сила святая с тобою! — произнесла мамушка, дуя на побледневшие ланиты Марии.

— Не пугайся, светик девушка, не бойся, красная, хорошая! Я ничего тебе не сделаю!..— произнес юноша, подходя также к ней и несмело прикасаясь к ее руке.

— Бука, Бука! — вскричала Мария и бросилась бежать в терем.

Юноша преследует ее, вбегает также на крыльцо; она в светлицу, он за ней, она по витой лесенке в терем, он за ней.

— Что содеялось с Марией?.. говорит, вишь, Бука?..— перешептываются спальные девушки, сбегая со всех сторон в светлицу.

— Померещилось, верно, ей что; да уже померещилось ли? все мы тут были. Уж не родимчик ли?.. Чу, вопит! идите, девушки! — шепелявила старая мамушка, поднимаясь по крутой лестнице, постукивая клюкой и черевиками на высоких каблуках по ступеням.

Девушки с ужасом идут вслед за ней; взобрались в терем, откинули резные дверцы...

А на небе, откуда ни возьмись, тучка. Чернее, чернее; взвилась вихрем, закрутилась; громовый удар рассыпался над теремом, клубок огня взлетел в открытое окно, катается по земле, мечется во все стороны, палит кругом, бьет об золотые маковки кровати и с треском вылетает струею в другое открытое окно.

Все это видели мамушки и девушки и долго лежали без памяти в дверях. Лежит без чувств на подушках и Мария; ее грудь волнуется, ее длинные частые косы рассыпались по плечам, ее лицо разгорелось, как будто опаленное молниею.

IX

Посреди чистого, ясного неба, над Киевом, вилось черное облако: то разделялось оно надвое, то сливалось; то растягивалось змеем, то свертывалось в клубок; с земли казалось, что в вышине бьются две черные птицы; одна ловит, другая, отбиваясь, взвивается к небу, бросается вниз, мечется в стороны; но не может отбиться от хищной и, обессиленная, бьется в когтях ее.

Закатясь на край неба, черное облачко вдруг ринулось, как падучая звезда или как орел, который, сложив крылья, падает стремглав с высоты свистящим камнем, и вдруг, над самой землею, распахнется, преобразится из черного шара в собственный образ, и плавно опускается на вершину скалы. Так черное облако, упав с неба клубом, над черным ущельем Днепровским, обратилось в купу пламени, которая, обдавая собой юношу, поставила его на землю и потухла.

— Прочь, злой!.. не хочу я знать тебя! — вскричал юноша.

В воздухе раздалось шипенье, мутные звуки, речи, похожие на усилия немого произнести слово; отзываются они в ущелье, как шорох или шепот, обращающийся в глухой свист, как шум клубящейся воды в пучине.

— Нет, нет!.. то не пища, что ты мне давал, то не красны девушки, что *Она* нагоняла на меня и заставляла целовать!.. Не хочу ничего!.. пусти меня!.. пойду туда; там лёгко, хорошо мне; пусти к ней, в красный терем, а не то я слезами залью тебя... как люди; ты сам говорил, боишься слез людских, да покаяния,— я покаюсь!.. Слышишь!.. пусти меня!..

Словно что-то зашумело, как будто медленно, неровно обращающееся колесо ветряной мельницы. Долго продолжался шум; юноша слушал внимательно.

— Нет, не хочу! — вскричал он наконец.— Не надо мне царства земного, приведи ее сюда!.. не борони мне обнять ее, я поцелую светлый лик ее, она такая радостная! Ты не ведаешь того!.. ты ее не видывал!.. я бы взял ее, обнял бы ее, если бы не ты...

Юноша умолк, закрыл лице руками; но вдруг как будто повеяло на него радостью.

— Я могу ее взять?..— вскричал он.— Скажи же ско-

рее... она будет моя?.. вымолви же, что мне делать!.. все тебе сделаю, что хочешь, лишь отдай мне ее!.. ждать?.. не хочу! не могу! у меня болит, вот здесь, без нее... разлюблю дни свои!

Он умолк снова, призадумался.

— Ну, хорошо! — произнес.— Исполню волю твою.

Сел под липку и снова призадумался... Шипенье утихло. Теплоту воздуха прорезал холодный ветерок быстрою стрелкой. Струйка его понеслась, посвистывая, вдоль берегов Днепра, врезалась в вечерний туман; туман гуще, гуще, сумрачнее, темнее, чернее; стрелка несется далее, далее, путь ее обращается в мрак, в кромешную тьму, в синеватое зарево, в бледный, холодный свет; необозримое пространство наполнено мелькающими безобразными тенями; на черной скале сидит бесцветный, страшный лик, как прозрачный, пустой, огромный сосуд; около него, как около бездны, сидят бледные лики, его подобия, дряхлые, искаженные вечностью страданий, как люди, которые изгоревались, измаялись.

Сюда-то прилетел резкий ветерок стрелкой и упал пред черною скалою, на которой восседала *Нечистая сила;* прилетел и разостлался прахом на земле.

Раздался хор, звуки рыдали, звуки носили один смысл на всех земных языках; и были то: песнь, вопль, слышимые на земле только в бурю, когда ветры воют о прежнем своем раздолье, о пустынях, заселенных людьми.

Уста Нечистой силы раскрылись пучиной, пыхнула туча на прилетевшего, перекатились громом темные речи: «Не будет нашего царства на Днепре, доколе глава Светослава не покроется черепом!»

Прах взвился вихрем, загудело в воздухе, посыпалось слово: *Всем!* как град из тучи...

В столбе вихря понесся Нелегкий назад. Летит, вьется, взвивается сквозь бездну тьмы, чрез леса, чрез горы, чрез моря; ломит, крутит деревья, прах и воды, идет чрез Киев, метет улицы, срывает кровлю с Княжеской ризницы, взвивает золотые одежды на воздух и несет тучею в горы.

Между тем юноша сидит под липкой задумавшись. «Она такая радостная! — повторяет он про себя.— Светла, как этот круглый день, что носится по небу, которого не любит *Он.* А *Она* принуждала меня целовать девушек, похожих на бледный лик ночи; мне холодно было, когда они ласкали

меня да вопили страшные песни, совсем не так, как пели красные девушки в тереме: не отходил бы от них! все они такие веселые, радостные! не то что здешние, заунывные... А она... лучше всех! ланиты — румяные облачка, волосы не осока. Покрыта она темною пеленой; не то что здесь, в наготе, как на реке синие волны... Обнял бы я ее, положил бы ее голову на недро свое, да и баюкал бы, глядел бы в очи и целовал бы ее крепко, крепко! да и уснул бы». Юноша задумчиво продолжал мечтать, мысли веяли сладким сном на его очи...

Вдруг столб вихря показался от Киева, вершина его горела, как золото от заходящего солнца. Несся, несся и вдруг рассыпался вокруг юноши Княжескими светлыми одеждами.

— Ну, ну! — говорит юноша.— Что делать прикажешь?

Вдали эхо повторило какой-то отголосок.

— Выбирать одежду? — сказал юноша, рассматривая золотые багряницы, шапки собольи, лаженные золотом, и разную одежду, которая лежала вокруг него на земле.

— Одеваться? — продолжал он.— Зачем же?.. Я! Княжеский сын? у меня отец? где же?.. у Днепровского Омута?.. Что ж у него просить?.. красную девушку?.. Он скажет, чтó делать мне? Ну, хорошо!.. пойдем!.. я оденусь!..

И юноша, сбросив свой кафтанчик, надел другой, весь облитый золотом, подпоясался кованым поясом, надел остроконечную шапочку, усыпанную светлыми камнями.

Едва произнес он: «Ну, готов!» — вдруг обдало его тьмою, потом подняло его, потом казалось ему, что он бухнулся в воду и несся между прохладными волнами. Тьма вокруг него исчезала, исчезала, и он увидел себя в самом деле на золотом дне воды; что-то текло впереди, волны раздвигались перед ним, пучились, дулись. Вдруг видит он в воде точно как терем светлый, прозрачный; своды и стены его пенились, пузырились, кипели; радужные цветы света переливались на них, блистали, вспыхивали, потухали и опять загорались.

Юноша вошел под свод терема. Во впадине, унизанной камнями, обращающимися то в алмаз, то в жемчуг, то в янтарь, то в кораллы, пыхтела седая глыба воды. Это был Днепровский Омут.

Едва только увидел он пришельца, вдруг заклокотал:

— А, это ты?

— Я,— отвечал юноша.

— Ведаю, ведаю; а как тебя прозывают?

— Как прозывают? — сказал юноша.— Не ведаю того.

— Не ведаешь! — заклокотал Омут.— Вот примером... меня прозывают... о, да мне много имен: сродни я *Пучине*, *Бездна своя* мне; да Днепр под началом моим; а с Днепром нелегко управляться: враз из берегов вон!.. Много у меня в подводном царстве пены, а пузырей еще больше! Забурчу — взбурлит и весь Днепр, повалит вал за валом, в меру, словно конь главу вздымает да белою гривой потряхивает; пойду по власти, а за мной волна греватая да струя светлая, по-вашему дочь; а Днепр-река вздуется, поднимется на дыбы; а зовут меня Омут-Царь. Ведаешь теперь?

— Ведаю, Государь Омут.

— Ну, а тебя как прозывают?

— Не ведаю, Государь Омут; у меня ни своих, ни родных, и под началом никого нет,— отвечал юноша.

— Как! — вскипел Омут.— Меня обманул Нелегкий? ты не Светославич? у тебя нет отца?

— Нет у меня отца; он, вишь, молвят, у тебя, Государь Омут,— отвечал юноша.

— То дело,— прошумел Омут, закрутив седые усы.— Призвать ко мне Светослава!

Послушно хлынули ключи, окружавшие престол, потекли исполнять волю своего Царя.

От крутого берега реки отступила волна, сторожившая впадину, заваленную огромным камнем; накатилась снова и порывом своим отвалила камень; со мшистого ложа, во впадине, поднялся великан воин; сверх железной, заржавленной брони лежала на плечах его широкая красная мантия, обложенная горностаем; главу его покрывала железная шапка с золотым лучистым гребнем. Лицо воина было бледно и покрыто струями запекшейся крови. Он подошел к *Глыбе*.

— Светослав! — произнес громогласно клокочущий Омут.

На воине потряслась тяжелая броня, хлынула кровь изпод шлема, заструилась по течению реки змейкой.

— Это ли сын твой, на котором лежит твое проклятие?

На воине потряслась, застукала тяжелая броня.

— Вот отец твой! — продолжал клокотать Омут, обращаясь к юноше.— Проклятым словом отдал он тебя *нам* во

власть и сам угодил за то во *вражьи* руки. Послужи *нам*, славь наше имя на земле, откупись службой и молитвою сам, откупи и череп отца своего: Бошняки[1] пьют из него мед; а без черепа нет пути отцу твоему в божьи сени. Светослав, покажи сыну своему главу свою; не унесла она седого чупа в обитель умиренных.

На воине застукала броня; приподнял он шлем... На голове нет черепа. Содрогнулся юноша, холод пробежал по его членам...

На воине снова затрепетала броня, уста и мутные очи отверзлись.

— Слышишь ты, Светославич, волю и молитву отца? — пробурчал Омут.

— Слышу! — едва произнес юноша.

— Памятуй! — продолжал Омут.— Добудь же от Бошняков череп его, сотвори лик тьмуглавый... и молись... чуешь? гремлит...

Вдали над Днепром грянуло... свет подводного царства стал угасать... все потухло, обратилось в ночь, заволновалось, закипело...

— Памятуй, Светославич! — раздался снова глухой голос.— Добудешь череп... исхитишь власть у Владимира, погубишь Ярополка, сядешь на столе Княжеском... Порушь храмы святые, возлей на жертвенники кровь... А добудешь череп... брось его... в черную полночь... в грозную тучу... в Днепр... и будет тебе награда, и дева красная по сердцу, и желаемое все...

Слова раздавались, как перекаты грома; вдруг удар разразился над юношей; содрогнулся он... видит себя на берегу крутого Днепра, под черною, громовою тучею; молния льется струями по небу, далекий Киев как в огне. Трепещут Киевские люди, выбежали из домов, стоят, воздев руки к небу, смотрят, как гроза бьет в терем Ольги; но терем стоит невредим, молния скатывается по золотой кровле и рассыпается искрами.

А юноша сидит под черною тучею на холме Днепровском; он еще не совсем очнулся от страшного видения; он повторяет его в мыслях. По частым кудрям стекает дождь; он ничего не чувствует, думает о воле отца, думает о деве красного терема...

---

[1] Печенеги.

Сидит сиротой и не плачет — ему еще тайна житейское горе.

X

А Владимир принял власть стола Княжеского, сидит в Новегороде, суд судит, ряд рядит, творит требы и праздники, на весельях тешится, у всех людей *ласковым солнцем* величается; да не сбудет кручины, залегла на сердце, мутит душу.

Призывает он Добрыню поведать ему горе свое.

«Не век мне, говорит, холостым ходить, без жены гулять; кто знает красную девицу станом статную, умом свершенную, лицом белую ровно белый снег, а румяную ровно маков цвет, брови черные ровно соболи, очи ясные как у сокола?»

Думает думу великую Добрыня, досвечивается у людей: нет ли в Новегороде красной девицы, годна бы была ласковому Солнцу Князю Владимиру.

Думают думу великую и старейшие Новгородские люди. «У нас красные девицы все равны,— говорят они,— которая Князю полюбится, приглянется, та и будет его княгынею».

— Все равны, хороши у нас красные девицы,— промолвил Жилец Буслай,— а видел я красную девицу лучше всех, какой и свет не родил; а была она в хороме Волосовой при мольбе в Князево пришествие, была с моей кумой Становищенской.

Вот пошли узнать у Буслаевой кумы про девицу, какой свет не родил.

— Была, была со мной девица в хороми, да не родная, не знакомая, и не ведаю, откуда она, какого рода-племени, заезжая ли, мимоезжая; молвят люди басню, то, дескать, Царь-девица, дочь Гетманская, с Золотой Орды; ходит она по свету, ратует, витяжничает, и нет равной ей ни красотою, ни силою.

Идет Добрыня к Князю Владимиру поведать речи людские, Новгородские; да не сказал про Царь-девицу Ордынскую; не Великому Князю чета девица-скитальница, по свету ходит, ворон пугает!

— Выбирай,— говорит он,— Князь, себе девицу Новго-

родскую: а не выберешь, шли Послов к Рогвольду Князю Полтескому; есть у него дочь единородная, на диво миру мирскому.

Послушался Владимир Добрыни, стал ездить гостем-женихом на пиры почетные Боярские; был у всех, где только дочь, девица младая, красотой и добротою славилась; откушивал хлеба, соли и калачей крупичатых, пил мед и вино заморское:

Обед чинил про Князя Володимера,
Про всех гостей, про всех людей,

И садился Володимер Князь
За столы браные, белодубовые.

Втапоры повара были догадливы:
Носили яства сахарные, питья медвяные.

И будет день в половину дни,
Будет стол в половину стола,

Говорил он, ласковый Володимер Князь:
«Исполать тебе, честная Боярыня, благоразумная!

Употчевала меня со всеми гостьми, со всеми людьми;
Видел я дом ваш, видел злато и серебро,
Не видал я только вашего алмаза многоценного!»

И эти слова были зна́ком к выводу на показ дочери хозяйской.

И она подносила Князю чару зеленого вина; да не медлил Князь, испивая и быстро смотря на девицу, горевшую от стыда; он торопился дарить ее ласковым словом, серьгами и увяслами, а не сердцем...

Не находил он того, что желал. Нигде не встречал красной девицы, которую видел в храме Волосовом.

Потеряв надежду, послал *Сло́в* к Полтескому Князю Рогвольду просить у него дщерь младую, лепую, в жены себе. Грустно рассчитал он, что этот союз прекратит постоянные раздоры Новгородцев с Плесковцами за рыбную ловлю на озерах, находящихся в вершине *Лопати.*

Между тем Добрыня отправился покорять Чудь белоглазую.

Послы Владимира прибыли в Плесков, приняты были с честию, читали грамоты от Князя и Великого Новгорода.

Дело шло на лад; но в то же время приехали послы и от Великого Князя Киевского. Братья как будто сговорились. Рокгильда была предметом того и другого посольства. Честолюбивый *Свей*[1] рассчитал по пальцам выгоды свои и предпочел Великого Князя. Ярополковы послы отправились обратно, Владимировым медлили давать ответ; но Новгородцы поняли, в чем дело. Торжественно и всенародно назвали они Конунга обманщиком, плюнули в глаза его *Диарам* и ускакали.

Гордость потомка *Гефионы* взбурилась. В надежде на помощь Великого Князя Киевского, он послал *стрелу*[2] по всей власти своей собрать громовую тучу на Новгород. Между тем послы Киевские возвратились с *книгами писаными* и дарами Ярополку от Рогвольда; прибыли вслед за ними и послы Рогвольдовы просить рати против задорного Новгорода.

Думцы Ярополка, а потому и сам Ярополк, были рады случаю; в Киеве уже собиралась рать, готовая идти с ответом на требование Владимира разделить *Деревский* удел или заменить его соседними землями Новгороду.

Гонцы поскакали во все стороны. От востока, от полудня и от вечера потянулись рати на Новгород.

Собралось Новгородское Вече; кричат Новгородцы: «Да будет клят от бога и умрет своим оружием, кто не станет грозою на врагов наших и врагов Владимировых!.. Изоденемся оружием, братья, понесем на тулах, в налушнях и во влагалищах острую, смертную дань Киеву и Плескову!»

Но тяжки дела Новгородцев. Добрыня еще не возвратился из Чуди, где были главные силы Новгорода, не предвидевшего раздора с Киевом, не боявшегося Плесковского Князя Рогвольда; а Рогвольд уже шел на Новгород, а слухи о сборах Ярополковых уже были страшны. Владимир почуял грозу, отправил гонца к Добрыне, послал новобраную рать против Плесковцев; а сам простился с Новгородцами, завещал им мужество неослабное для защиты воли Новгородской, и сел на червленый *Сокол корабль* — бока словно ребры у зверя великого. Сорок вёсел вспенили Волхов; тонкие, полотняные паруса вздулись. Плывет корабль в Варя-

---

[1] Швед; Рогволд происходил из Скандинавии.— *А. Б.*

[2] Знак войны у индоевропейских народов.— *А. Б.*

ги; скоро поклонился он от быстрого Волхова Неве *чреватой,* проезжал уже *Ботну*... Вдруг, откуда ни возьмись, вражьи ладьи Свейские... Тщетно вспели тетивы у тугих луков, напрасно взвыли, посыпались частым дождем каленые стрелы: нападение было неожиданно, внезапно, и *Сокол* Владимиров был пленен.

Возгоревала душа Владимира, восплакала, а очи сухи у Князя.

— Слушайте,— говорит он Свейским людям,— есть у меня много серебра и золота, черных соболей и бурых бобров; богатый выкуп дам вам, отпустите только; не отпустите, везите меня к своему Королю Свейскому: только ему скажу я свое имя.

Повезли Владимира в Упсалу к Конунгу Свейскому; быстрый шнек рассекает волны, Свейские гребцы поют песнь победную.

XI

Весеннее солнце золотит воды великого полунощного моря, дружно перекатываются волны по струям умиренной пучины, голубой, как небо; выказываются они из глыбы, как лики седых старцев; появляются в виде древних нимф с клубящимися рассыпными кудрями; гордо раскидывают радужный павлиновый хвост; налетают на быстро несущиеся по течению льдины и рассыпаются по ним как жемчуг.

Вдали возвышаются, над поверхностью холодного моря, берега Фэрейские[1], древнее *Тулé*[2].

Более двадцати островов, которых холмы покрыты лесами, кажутся разбросанными по равнине священными дубравами, осеняющими валы высоких зубчатых стен и бойницы древних зданий.

Но чем ближе к берегу, тем более делится дружная толпа островов, тем живее кажутся предметы, как будто освещаясь от приближения взоров человеческих. Уже отделяется черный лес от зеленого холма, уже стелются по долинам пестрые ковры, задумчиво стоят скалы, увенчанные зе-

[1] Фарререкие острова.— *А. Б.*
[2] Исландия.— *А. Б.*

ленью; иные склонили отяжелевшие главы свои, над которыми пашутся две-три вековые сосны, как еловцы богатырского шлема; уже над утесами образуются гордые замки; невидимая рука обводит резкими чертами стены, сторожевые башни, зубцы, амбразуры, шпили, узорчатые прорезы, навесы, выходы, крутые кровли, мосты подъемные,— быстро оттеняет все предметы, набрасывает на них свет и краски, и вы не сводите взоров с чудного здания, принадлежащего владетелю *Фэрея,* могущему Зигмунду Брестерзону.

С женою своей прекрасной Торальдой и с приехавшим из Свеи другом Оккэ сидит он подле камина в великолепной зале Норманнской архитектуры. Свод залы разделяется на четыре купола; и кажется, что они, желая найти себе опору внутри здания, столкнулись, срослись и повисли над срединою залы, поддерживая общими силами медный *кандалабр* над круглым дубовым столом, стоящим посредине. Наружная стена из узорчатых окон; боковые стены до половины покрыты резным черным дубом; на возвышении одной ступени сделаны ряды *бесед,* покрытых рытым *трипом;* в средине правой стены огромный камин; труба с широким навесом, украшенным *Туреллами,* выдалась вперед; огонь в камине потухает только на три летних месяца.

— Пей, Оккэ! — произнес Зигмунд, взяв со стола серебряный бокал, который наполнила пенистым вином Торальда. А бокал, налитый рукой прекрасной женщины, был большою честью гостю: вино более пенилось, становилось пьянее. А Торальда, эта простодушная любовь Норманца, прекрасна была, в повязке, похожей на шлем рыцаря, лежащей на русых косах, с блистающим венком вместо орла, львиной головы или перьев; стройна была подшитым золотом корсетом, перепоясанным широкой золотой тесьмою, из-под которой, как водопад, струились складки голубого бархата; две поручни оковывали каждый рукав, пушистый и белый, как пенистая волна.

— Пей, Оккэ,— повторил Зигмунд.— Пей! черной думой не потушишь горя! Слезами только можно унять слезы! а виноград есть слезы *Фреи.* Каждый год плачет она о погибели Одина.— Пей, Оккэ!

— Да! — отвечал Оккэ, вздыхая.— Сладки, утешительны слезы, которые льет рука, а не очи дружбы и любви; а слезы Мальфриды, горькие слезы! их пьет злодей отец ее!.. Но этот бокал посвящаю я мщению!..

Оккэ ударил бокалом о стол, вино вспенилось, зашипело, искры запрыгали.

— Найду я в сердце друзей участие или нет?.. обнажат они мечи свои за меня или нет... все равно! Оккэ не перенесет обиды, как раб!.. Зигмунд! руку!

— Вот тебе рука моя! — отвечал Зигмунд.

— Чокнемся!.. О, ты дивный человек! ты без опыта понимаешь муку безнадежной страсти! Я изгнанник из моей родины, лишен моих *ленных* владений: на то была воля Эрика, отца Мальфриды; но изгонит ли он меня из сердца дочери своей? Торальда, ты должна сказать мне про то, ты женщина — ты знаешь женщин!

— Я не знаю Мальфриды, но если она тебя любит...— отвечала Торальда, облокотясь на плечо Зигмунда и преклонив свою голову к его голове.

— Доканчивай!.. но я опишу тебе Мальфриду! — вскричал Оккэ.— Она дочь Конунга...

— Дочь Конунга! — прервала Торальда с удивлением.— Ах, это великая особа!

— Да! дочь Конунга! — продолжал Оккэ.— Она сказала вассалу отца своего: «Я буду Блотадой, Оккэ, или женой твоей! отец может избрать первое, я избираю второе!» О, эти слова как руны неизгладимы и сбудутся, как предвещания Скульды!.. Но покуда я жив, Мальфрида не облечется в белую одежду, не наденет на себя непроницаемого покрова!..

— Это ужасная участь! Как должна теперь страдать Мальфрида! — произнесла сквозь слезы Торальда.— Я не знала подобного несчастья, и ты, Зигмунд, не страдал от любви ко мне. Помнишь, когда ты и брат твой жили у отца моего? Отец мой Ульф так любил тебя и матушка Рагнхильда также любила; она никогда и не думала бы отказать такому храброму мужу, как ты. Помнишь, когда ты в горах убил медведя, батюшка Ульф сказал так: «Это есть одно героическое деяние!» и прибавил еще: «Зигмунд много великих дел произведет!» И он правду сказал. Когда ты вырос и приобрел силу и мужество, то сказал отцу моему: «Теперь уже, любезный Ульф, опекун мой, время мне и брату и других людей знать, править конем и ратовать; пойдем мы к Олофу Тригвазону, который вызывает к себе на службу многих рыцарей». Ульф сказал на то: «Так должно случиться, как вы сами желаете!» И тогда одел он тебя в

воинскую одежду; о, как мы тогда плакали! Потом пошел отец мой провожать вас до *Доврефьельда,* откуда виден уже и Оркедаль; тут сел он отдохнуть, и вы сели; и рассказал он вам, как вы ему достались от Бонда Торальда, который вывез вас младенцами из Упландии; а ты ему сказал: «Чудное дело это, любезный опекун; а я тебе хочу сказать, что я не добром заплатил за твою опеку, потому что твоя дочь сказала мне, что она *непраздна* и что этому виноват один только я...» — «Знаю,— возразил тогда отец мой,— я замечал вашу любовь, да не хотел запрещать ее...» Ты тогда сказал: «Потому-то, любезный опекун, я и хочу просить тебя, чтоб ты Торальду ни за кого другого не выдавал замуж, кроме меня; ибо я хочу иметь ее женою, и другую не желаю иметь...» Батюшка Ульф согласился; а ты обещал возвратиться; и чрез три года исполнил свое обещание, и возвратился знатным уже и богатым мужем, получив от Норвежского Короля в лено Фэрей и много золота и одежды. Тогда и мне привез различные дары и красного бархату на платье...

Еще не успела кончить простодушная Торальда рассказа, вдруг раздался на вестовой башне звук рога.

— Друзья или неприятели плывут к острову?.. Тем и другим готовь прием! — сказал Зигмунд, стукнув кружкой по столу.

Вскоре вошел усатый воин.

— Купец Рафн приехал! — сказал он, остановясь подле дверей.

— Рады! — отвечал Зигмунд.— Зови его в гости ко мне!

Воин вышел.

— Это мой вестовщик; привозит со всех сторон товары и новости,— сказал Зигмунд.

Вошел человек в круглой, серой, с огромными полями, шляпе; узкая, черная одежда, с малиновыми буфами на рукавах, под поясом и на коленях, обрисовывала живой стан его; на широком ремне с бляхами, опоясывавшем его, висела короткая спада; по плечам расстилался белый воротник; на ногах были башмаки. Окинув всех быстрыми очами, он снял шляпу и произнес к Зигмунду:

— Да разольется благополучие на твоем доме и на потомстве твоем, высокородный Зигмунд! И тебя, Торальда, прекраснейшая из всех, тем же приветствую!

— Какие новости, Рафн? возьми этот бокал, пей и рассказывай.

— Время идет не к лучшему, товары вздорожали, торг упал; но много ценных мехов привез я тебе, высокородный Зигмунд, из Рейсландии.

— Что там делается?

— Доброго мало! Союзник ваш Вальдимир в плену у Свейского Конунга.

— Как? — вскричали в один голос Зигмунд и Оккэ.

— Вот как случилось это,— продолжал Рафн.— Между братьями Вальдимиром и Яриплугом возгорелась вражда за наследство после третьего брата Олофа; с Яриплугом соединился Рогвольд Плокспандский. Вальдимир ехал звать тебя и Олофа Тригвазона на помощь; но чрез Зунд нет проезда; Стирбиерн, племянник Эрика, обманул дядю, сказав ему, что он будет преследовать только Викингов; вместо того он грабит и пленит всех проезжих. Кажется, что Эрик сам на себя дал ему в руки меч.

— Конунг Валдимар в плену у Эрика!.. Его должно выручить или выкупить! — вскричал Зигмунд.— Яриплуг, соединившись с Рогвольдом, может соединиться и с Эриком... тогда ему будет легко покорить море и нашу независимость!

— Но ты один ничего не сделаешь Эрику,— сказал Рафн.

— Здесь кроме недруга есть враг Эрика! — произнес гордо Оккэ.

— Кланяюсь высокородному Оккэ! — сказал Рафн.

— Ты, Рафн, почему знаешь меня? — спросил Оккэ.

— Молвою земля полнится. Я только что из Упсалы; там узнал я две новости: одну ту, которую никто, кроме меня, не ведает, что Конунг Вальдимир привезен пленный; другую ту, что Оккэ изгнан Эриком из Свитиода за свою пламенную, истинно рыцарскую любовь к Мальфриде. Говорят также, что для посвящения Мальфриды в Блотады готовится великое торжество.

— Зигмунд, не медли для дружбы! — вскричал Оккэ.

— Но, высокородный рыцарь, тут силою ничего не успеешь; на Эрике крепки латы, а у городов его крепки стены. Мой совет таков: где сила не берет, так берет хитрость.

— Постыдное средство! — вскричал Зигмунд.

— Точно такое же, как твои могучие плечи и твой меч

Зигмунд,— сказал Рафн.— У кого нет рогов и клыков, тому дана уловка. Надо же как-нибудь сохранить равновесие между силой и бессилием.— Должно поспешнее уведомить Олофа Тригвазона; ему Гардарикия как отчизна мила, а Владимир друг. Эта новость огорчит его, он верный помощник наш. Оккэ, в Упсале теперь две жертвы: Мальфрида и Владимир; их должно выручить.

— Рафн говорит правду, Зигмунд,— сказал Оккэ.— На море ты второй Грим; но на твердой земле Эрику ничего не сделаем. Ни силой, ни добрым словом не взять нам Владимира и Мальфриды.

— Употребляйте вы какое хотите средство, я только вам помощник, где извлекается меч по звуку рога,— отвечал Зигмунд и призванному Ярлу отдал приказ вооружить сто пять десятивёсельных шнеков.

— Зигмунд, ты опять оставляешь меня! — произнесла печально Торальда.

Зигмунд обнял жену свою.

Между тем Оккэ и Рафн переговорили между собою.

— Зигмунд! — сказал Оккэ.— Вели передовым твоим судам идти под флагом купеческим в Упсалу вслед за судном Рафна; а ты с остальными следуй за нами двумя днями позже. Проходи Зунд под мирным флагом, известив Свеев, что идешь на службу в Гардарикию, в наймы к воюющим Конунгам Русским.

— Делайте что хотите, а я помощник вам там, где нужен меч! — повторил Зигмунд и приказал наполнить опорожненные куфы и подать другие бокалы.

— Зигмунд, ты опять оставляешь меня! — повторила сквозь слезы Торальда.

Не отвечая ни слова, Зигмунд поцеловал слезу Торальды.

XII

Когда сказали Эрику, что взяты в плен три корабля, принадлежащие Русским Викингам, и между пленными есть муж высокой породы, который не хочет сказать своего имени никому, кроме Конунга,— в то время Эрик был огорчен слезами и просьбою дочери своей посвятить ее в Блотады. Ничто не занимало его, и он приказал заключить пленника в северную башню своего за́мка.

Прошло несколько уже дней, во время которых Владимир, под мрачным сводом башни, один с глубокою своей думой, сидел подле разжелезенного окна и внимательно смотрел на пучину вод. Отдаление казалось так спокойно, так близко к небу; а под стопами башни волны кипели, рвались, разбивались о граниты. В отдалении солнце, луна и звезды отражались, как на неподвижном стекле; а под стопами лики их мерцали беспокойно, лучи дробились, рассыпались по поверхности вод. В отдалении корабль плыл так гордо, раскинув как лебедь крылья свои; казалось, что ветры ласковы к нему, а волны обняли его дружескими объятиями; но под стопами бьются уже о гранит остатки снастей и крепких ребр гордого корабля.

Когда согласие на просьбу дочери утишило горесть Эрика, он велел призвать к себе Владимира.

Величественная наружность его удивила Эрика.

— Спросите его, на каком языке может отвечать он на вопросы мои? — сказал Эрик, обратясь к окружающим.

— На твоем, Конунг,— отвечал Владимир на Свейском языке.

— Кто ты, муж благородный? — спросил Эрик.

— Если б я был гость твой, тебе бы нужно было знать мое имя; но знать имя пленника нет пользы; спроси лучше, какой выкуп дам я за себя.

— Ты кладешь сам на себя дорогую цену.

— Потому что ты продаешь чужой товар и не знаешь ему цены.

— За дар свободы я хочу знать — кто ты?

— Если б ты купил мою свободу на поле битвы, ты знал бы ей цену и, может быть, не был бы так щедр; но я неправого полону не признаю; тебе нечем меня дарить; возьми, если хочешь, выкуп, а до имени моего тебе нет нужды.

— Но если я узнаю имя твое? — произнес Эрик, улыбаясь.

Владимир взглянул на него с удивлением.

— Не знаю, кто бы тебе сказал его.

Эрик приказал всем удалиться и продолжал:

— Садись, я знаю, кто ты; гордость твоя не допускает соединить имя Зигмунда Фэрейского с словом *пленник;* но ты теперь гость мой, садись!

— Гость нежданный, и не Зигмунд, а Владимир Князь Великого Новгорода.

— Владимир! — вскричал Эрик.— Вот странный случай! но для чего Владимиру разъезжать по морям, подобно Викингам?

— Я тебе расскажу причину, Эрик; я не с товарами ехал и не наниматься в службу,— отвечал Владимир.

Эрик велел подать золотые бокалы и вина. Из тронной залы перешел он с гостем в рыцарскую *Биор-залу,* названную в честь *Биор-залы* Бримера; сели подле круглого стола, налили кубки, и Владимир рассказал причину поездки своей к Олофу Тригвазону.

— Если б я знал твой нрав, Эрик, я бы не минул сам твоих *тихих заводей,*— прибавил он.

Эрик предложил ему дружбу, братство, корабль для поездки в Нориге и обещал хранить в тайне имя его; но просил пробыть у него в Упсале юбилей в честь Инге-Фрея.

Владимир согласился.

Это празднество совершалось чрез каждые семь лет в воспоминание Инге-Фрея, внука Одинова, построившего в Упсале, в 220 году, храм по образцу Азгардского храма, коего описание сохранил Платон.

Сей храм стоял на возвышенном холме и обведен был Ормуром, чешуйчатой стеною, уподоблявшеюся священному Дракону, который, свернувшись, обнял собою вершину холма. Огромная пасть Змея служила входом в пространный двор, посреди коего возвышалось крестообразное здание с бесчисленными верхами и иглами. Каменные поседевшие стены изрезаны были рунами и изображениями. Пред входом был подъемный мост на гранитных цепях; каждое звено было в две пальмы длины и в полторы ширины, и предание говорило, что каждая цепь вырублена из цельного камня. Преддверие составляли два отдельных столба. Круглый свод уподоблялся радуге, по которой неслась четырехконная колесница Тора, увенчанного лучами солнечными. Вправо от преддверия возвышалась необъятной толщины сосна, насаженная самим Инге-Фреем, как символ постоянного блага; из-под корней ее истекал чистый источник. Это семисотлетнее дерево обнесено было оградой, и перед ним теплилось пламя на жаровне жертвенника.

Под сводом *алтарэ*, испещренным резьбою, золотом и разноцветными камнями, и под драгоценным навесом, на

возвышении, устланном шелковой раззолоченною тканью, стоял тройственный престол. На верхней беседе восседал Один в венце с тремя золотолиственными ветвями. Образ Одина осенен был густыми ниспадающими волосами и бородой; левая рука его лежала на плече Тора, сидящего на второй беседе, одною ступенью ниже. Над главою Тора был блестящий лик солнца, усыпанный светлыми камнями. На третьей беседе, ниже Тора, восседала Фрея, божество любви. На главах Тора и Фреи также короны, одежда испещрена сокровищами, руки воздеты к небу, десница указывает на Одина.

В нишах *Альга,* по сторонам, стояли на подножиях истуканы 12 Диаров Одиновых, верховных судей Хеймдалла.

Когда Владимир и Эрик вступили в храм, сопровождаемые двором и народом,— которого толпы в тишине стекались со всех сторон к святому холму,— на хорах раздались звуки цимбалов и Ваалхорнов.

Главный жрец, в позлащенной широкой ризе, с главуком раздвоенным, с накинутою белою пеленою на левое плечо, приступил к Блут-болле пред жертвенником и стал совершать жертвоприношение от семи начатков животных, птиц, плодов и растений. 12 жрецов, обступив его с обеих сторон, держали над ним, на золотых жезлах, изображения 12 созвездий; каждое заключалось в трех обручах, усеянных золотыми звездами.

Между тем громогласный хор *Гальдраров* пел волхования Одиновы:

Знаю я песнь, звуки ее, как щит от стрелы, от копья и меча;
Колеблется твердь, в небеса заплескала пучина.
Шипит Ормургандур, цепями звуча;
Но в мир тишиной пронеслась песнь Одина!

Знаю я песнь, звуки ее, как семя, падут на поля;
Ложатся на нивы росой благотворного неба;
И тучную пажить приносит земля;
Волнуются морем колосья насущного хлеба!

Знаю я песнь, звуки ее внятны — для слуха Мидгардских жильцов,
И в недрах земли, и в глыби морей, в колыбели и в гробе,—
И глухорожденным, и праху отцов,—
Младенцам в святой материнской утробе.

Когда жертвоприношение совершилось и пламень обнял непорочные жертвы, Блотад оросил чашу Лаут-боллу кровью,

почерпнул освященного вина, испил сам во здравие богов и поднес Эрику, Владимиру и знатнейшим спутникам Конунга. После сего вошел он на *кафедру* и читал поучения Одина. Потом, опустив руку в урну, стоявшую подле него на треножнике, вынул строфу пророчеств Сифы, начертанную Фимбультиром на медных досках, и прочел:

Солнце чернело, тонула земля,
Падали светлые звезды;

Боролись стихии друг с другом,
Вздымалися волны до неба.

Но чудище воет в пучине огня;
Видит, что все возвращается снова в пределы:

Земля показалась из вод, раскинулась зелень по Иде,
Буря прошла, орел воспарил,
На горах раздались добровестные звуки!

Обряд кончился; вышли из храма. Эрик повел Владимира в свои чертоги, угощал его под именем посла Конунга Гардарикии и полюбил его как сына.

На пирах видел Владимир меньшую дочь Эрика, Мальфриду; красота ее поразила его, хотя память о неизвестной деве Новгорода в нем еще не потухла.

Беседуя однажды, Эрик заметил, что дочь его нравится Владимиру; он сам предложил ему Мальфриду и как будущего зятя повел его в залу предков.

— Поклонись со мною,— сказал он,— царям древнего царства.

И они вошли под своды пространной мраморной храмины. В простенках узорчатых окон, украшенных разноцветными стеклами с изображениями подвигов Свейских Конунгов, висели образы их в золотых рамах, обставленных оружием и трофеями побед их. Под каждым стояла гробница под пурпуровым балдахином; на каждой гробнице лежала корона и меч.

Но в глубине храмины, на возвышении, в нише, украшенной резным золотом, стояла гробница из черного мрамора; шелковый покров ее, на котором видны были следы Рунических знаков, истлел.

— Поклонись, Владимир! — произнес Эрик, подходя к гробнице, сложив на грудь руки и преклоняя голову свою.— Здесь лежат письмена законодателя нашего Одина, извед-

шего нашу землю из глубины морей и вложившего в недра ее золото. Никто не постиг сих письмен, принесенных с Востока: буквы и смысл их таинственны; только Один понимал их. Древнее предание говорит, что это — писание о начале, продолжении и конце мира, погребенное от потопа в граде солнца, первом и древнем Азгарде, который был в стране *Азаланд,* погрузившейся в море, после царения богов на земле.

Эрик снова поклонился гробнице, заключающей в себе книгу судеб; потóм повел Владимира в оружницу и остановился пред огромными доспехами, лежавшими на мраморном подножии, под балдахином.

— Вот,— сказал он,— доспехи нашего праотца Геоа Хельг-Атта. Не было в мире силы, которая преодолела бы его, но праща хитрого Давыда поразила его; он пал, пало с ним и могущество наших предков на Востоке. Бог Израиля все покорил и покорит,— продолжал Эрик, воздыхая. Злые Папы сеют уже раздор и нечестие по земле Свейской.

Эрик прервал слова свои; но, вошед в небольшой покой, которого стены были увешаны драгоценными доспехами и оружием, продолжал:

— Ты, Владимир, можешь быть мне помощником, я рад твоему приезду; против брата твоего я дам тебе помощь, Гардарикия будет твоею; достоин ты царствовать по всей Русской земле; но, в замену, ты заодно со мною должен восстать на Папеж. Не слабою женой уродилась моя Мальфрида; не лестию хвалю ее, а правдой. Красота ее славится; кроме златой одежды носит она железную; умеет она управлять копьем на играх *Торнера*[1]; *спадарь* ее не легок, он принадлежал предку ее Инге-Фрею и в руках его испил крови на берегах Греческого моря. В туле ее только 12 стрел; но ни одна из них не отставала от орла под небом и от серны в скалах горных; как верные соколы, возвращались ее стрелы к ногам охотницы с добычею. Вот ее золотая *бринна,* до которой не касались еще ни меч, ни копье противника, как до сердца Мальфриды любовь мужей, искавших ее руки. Ты будешь первым, Владимир, пред которым снимет она с себя вооружение и явится в образе слабой женщины.

---

[1] Турнир, военные игрища на праздниках Тора. *(Прим. Вельтмана.)* В действительности происходит от франц. tournoi — состязание в ловкости и силе.— *А. Б.*

— Конунг,— отвечал Владимир,— ты еще не спросился сердца твоей дочери, по душе ли я ей; а над чужой душою нет земной власти.

— О, она пойдет по тому пути, который я покажу ей. До сих пор мое желание было посвятить Мальфриду в невесты храма; святая Фрея избрала бы ее в голубицы свои; священна обязанность *Блотгидии*[1], но я предпочитаю счастье иметь такого сына, как ты, и самая польза двух сильных царств требует этого союза. Тебе грозит Киевское Княжение; Руссам грозят Половцы и Греки, а мне Римские власти. Завтра представлю я тебя как жениха моей дочери.

И Владимир ждал с нетерпением нового дня. В этот вечер, беседуя с Эриком, он не мог допить бокала, поднесенного ему будущим тестем. Песни *Торвальда Гиалдазона* о любви храбрых рыцарей наводили на него глубокие думы; ранее обыкновенного он пошел в свои покои и сел подле окна. Море плескалось в стены замка, даль темнела... Вдруг послышались ему другие звуки, другой голос, голос женщины в ближайшем флигеле замка.



Бельт темноводный, Бельт суровый,
Дракон Ниорда, что утих?
К тебе поток клубится новый,
Поток горючих слез моих.
Дракон Ниорда! для защиты
Тебя лишь дева изберет,
Ужель ее, как челн разбитый,
Ты выбросишь из недра вод?

Когда голос утих, Владимир долго еще прислушивался к звукам, припоминал слова, твердил их наизусть. «Кто может так петь, кроме Мальфриды,— думал он,— какая печаль, кроме любви, привьется к сердцу красавицы?.. Мальфрида любит... Мальфрида грустна, печальна...»

В сердце Владимира родились сомнения.

Вошел паж, доложил ему о приходе купца, который приехал с Новгородского торга и предлагает купить по дешевой цене драгоценные меха и товары.

— Из Новгорода! призови его! — произнес Владимир, вспыхнув и устремив нетерпеливые взгляды на двери.

Купец вошел, поклонился, сняв свою шляпу с огром-

[1] Блотгидия или Блотада. В древней религии Скандинавов жрец назывался Blotgude; жрица — Blotgudià; Blot значит *богопочитание, жертва;* впоследствии приняло общий смысл *кровь;* gode или guage — священник.

ными полями, погладил свою бороду, лежавшую на белом нагруднике, окинул быстрыми черными очами Владимира и пажа, находившегося при нем, и произнес:

— Купец Рафн желает многого здоровья знаменитому мужу! Что благоугодно купить ему?.. Есть у меня новые товары и новые вести; есть драгоценные камни, перлы, индейские ткани, бальзам Ерусалимский, розовое масло Измира, меха Русские, новости Новгородские... Что угодно купить знаменитому мужу?..

— Давно ли ты из Новгорода?..— спросил Владимир, прервав его речь.

— В нарождение нового месяца... Торг был для меня выгоден; меха могу продавать в половинную цену против прежней; Новгородцы сбывали товары свои нипочем: сто марок выменял на тысячи; готовятся воевать с Полоцким Князем да с Киевским. В народе смута. Князя Владимира нет, куда-то уехал, а Добрыню изгнали, говорят: «Ты нам не Князь, мы тебя не призывали». Чудный народ! своим судом судится.

Владимир с трудом скрывает свое смятение.

— Еще что? — спросил он.

— Есть у меня еще разные товары и новости; да если б, знаменитый муж, приказал ты этому молодцу подать мне бокал вина, я бы скорее припомнил все, что есть за душою.

Владимир приказал пажу принести кубок вина.

Едва паж вышел, купец Рафн, проводив его глазами, снова поклонился.

— Теперь купец Рафн желает здравия Конунгу Владимиру...

— Почему ты меня знаешь? — вскричал Владимир.

— Знаю я тебя по Новугороду; но не об том дело, узнаешь все после; мне поручено от Зигмунда Фэрейского отдать тебе поклон и сказать, что его корабли ждут тебя под флагом близ Упсалы, а Новгород ждет тебя под своими стенами. Мы думали, что тебя труднее будет извлечь из неволи, но я вижу, что ты, по крайней мере по наружности, кажешься не пленником, а гостем; тем легче тебе будет воспользоваться предложением Зигмунда.

— Молви ему, не потребна мне помощь его; я открыл Эрику мое имя, и я принят им как гость, не лишен воли.

— Все знаю я; знаю и больше... Ты хочешь быть зятем Эрика; но эта честь не понравится Новгородцам. Свеи всег-

да были им не по сердцу, враги они и твоим друзьям Зигмунду и Олофу; новой дружбой потеряешь ты старую; а старый друг...

— Кто открыл тебе мои намерения? — вскричал Владимир.— Кроме Эрика, никто не знает их, и только Эрик может ставить мне сети, испытывая слово Владимира!

— Не сердись на Эрика. Эрик сказал дочери своей, а дочь мне, поверенному благородного мужа Оккэ.

— Говори, проклятый, твои замыслы, или я убью тебя! — вскричал Владимир, схватив Рафна за грудь и приподняв его на воздух.

Наружные двери заскрыпели; Владимир опомнился, опустил руку, отошел к окну.

Рафн, как будто сделав прыжок, стал снова на ноги. Паж вошел с вином.

— А теперь убедительнее заговорю,— произнес Рафн, приподняв кубок с подноса,— за здоровье знаменитого мужа! — продолжал он.— Желаю купить у меня все за чистые деньги!.. ни в словах, ни в товарах моих нет подвоха; желаю также знаменитому мужу в жены Царь-девицу, красавицу, какой свет не производил!..

— Принеси еще вина! — сказал Владимир пажу.

— Это дело хорошее! если б и знаменитый муж опорожнил бокал, было бы лучше, вино — мирный судья, *поход* на весах.

Паж вышел.

Рафн продолжал:

— Слушай, Конунг Владимир, Мальфрида любит Хертога Оккэ, он сватался к ней, Эрик не согласился отдать. Но, узнав про тайную связь дочери с вассалом своим, он исправил зло злом: отнял у Оккэ *лено* и изгнал его из Свеи. Мальфрида принадлежит, по всему, Оккэ, и ты, верно, не захочешь называться отцом чужого ребенка.

— И это правда? — вскричал Владимир.

— Правда, которую я не имею нужды подтверждать клятвой; ее подтвердит тебе утро, если ты не поверишь мне; но уже будет поздно: до завтра спасти Мальфриду нет средств, над нею строгий надзор, Зигмунд и Оккэ еще в море; а завтра от бесчестья она избавится смертью.

— Чего же ты волишь?.. отреченья моего?..

— И это поздно; дал слово, не бери назад; про то, что́ ты узнал от меня, верно, не скажешь отцу, а отречением без

причины себя погубишь. Эрик мстителен, он острамит имя твое и голову на плахе...

— Все равно,— произнес равнодушно, но гордо Владимир,— правду сказал ты мне?

Рафн приложил руку к сердцу.

— Я отрекусь от дочери Эрика,— продолжал Владимир,— завтра он узнает мое намерение. Ступай, кланяйся Зигмунду и другу его Оккэ! скажи, что Мальфриду могут они похитить, а Владимир не побежит тайно из Упсалы!..

Рафн сложил руки и молча смотрел на Владимира, как на лик Одина, которому поклонялся.

— Владимир, ты муж великий, но не отринь молитву мою к тебе! — сказал он наконец.

— Чего еще ты хочешь от меня?

— Не отрекайся от Мальфриды. Объяви Эрику обычай своей земли, что свадьба должна совершаться в доме жениха; поезжай в Новгород, отрази врагов от стен его; Зигмунд идет на помощь к тебе, с ним сто лодий морских; Олоф Тригвазон не замедлит явиться; Эрик также даст будущему зятю войско; Новгород ждет тебя, а об Мальфриде, которую как невесту отправят вслед за тобой, ты не заботься, тайна между мной и тобой...

Щеколда дубовых дверей стукнула, Рафн умолк, в душе Владимира крылась торопливая дума. Вошел паж с подносом.

— Заключен ли торг, благородный муж? — произнес Рафн.

Владимир молчал.

— Проникни тебя святая истина Одина! он говорит: не разрывай первого союза с другом твоим; тоска, как ржавчина, источит сердце того, у кого нет иного советника, кроме самого себя.

Владимир молчал.

— Молчание есть предвестник согласия! — продолжал Рафн.— Вот драгоценное кольцо и ящик с перлами, за которые я не возьму денег до тех пор, покуда не уверится благородный муж, что перлы точно так же неподложны, как слова мои!

Рафн, вынув из-за пазухи и положив на стол драгоценные вещи, выпил бокал вина, поклонился и вышел.

Часть вторая

I

Бегут ряды черных *шнеков* по Бельту Свейскому морю; торопятся по поверхности вод, как морские чудовища; приподнялись их головы над хребтом, пасть разинулась, из пасти железные клыки торчат; веслы, как ряды ног, дружно перекидываются; струя следа пушистым хвостом тянется, перилы палубные унизаны щитами, за щитами гребцы сидят; на палубе кишат воины, а кормчий стоит на корме сто́рожко, правит ходом.

За передовым *виндо-шнеком*[1] идет стовесельный *Ормур*[2], светит медной чешуей, над кормою красный значок развевается, на носу крылатый змей с стальным жалом в челюстях.

Пробежали ряды шнеков Свейское море; закатились берега Свионии за хребет Бельта; пробежали шнеки и заводь Финингскую. При устье Нево, между островами, задний ряд шнеков начал отставать, свернул влево, зашел за остров, покрытый черным лесом, и притаился в заводи — не

---

[1] Шнеками назывались легкие суда. Виндо шнеками Вендские или Венетские (Финикийские) суда, на которых помещались и лошади Сии суда употреблялись при наездах во внутренность земель. *(Прим. Вельтмана)*

Винда шнек, парусное мореходное судно со сплошной палубой (в отличие от боевого драккара), винда от германского слова ветер, шнек судно. *А Б*

[2] Мифологический Дракон, змея

шелохнется; сторожевая ладья, высланная на путь, прилегла к темному берегу, смотрит в даль морскую.

Стоит отряд день, другой; на третий, около вечера, сторожевая ладья стрелой примчалась к красному трехмачтовому шнеку, на котором, облокотясь о корму, стоял кто-то в вороной броне, на нагруднике две красные полосы.

— Nu kominn! едут? — вскричал он на Норманнском языке, подошед скорыми шагами к перилам.

— Fioldi skip fyrer nevo! ok enu miki skip! — Много кораблей идут к Нево!

— Один огромный корабль! — отвечали из ладьи.

В далекой глади морской несутся на всех парусах несколько кораблей, орут море; за передовым плывет весь золоченый, хитрой резьбы, на золотых парчовых ветрилах играет солнце. Приблизясь к островам, корабли опустили паруса, пошли на веслах, остановились, бросили якори, зажгли фонари.

Около полуночи шнеки, скрывавшиеся за островами, потянулись змеею около берегов под навесами вековых сосен и елей; подкрались к кораблям, обошли их, быстро набежали на них, с криком вцепились баграми в борт... «Wikingar! Wikingar!»[1] — закричала вахта. Но воины вскочили уже на палубы, овладели кораблями, прежде нежели кто-нибудь из находившихся на оных успел поднять меч для защиты.

Черный рыцарь вскочил на корабль золоченый. Кто противился, тот лег на палубе; пленные окованы. Торопится он в каюту. «Мальфрида!» — вскрикивает, бросая свой меч и принимая в объятия бежавшую к нему навстречу женщину.

— Оккэ! — едва произносит она, преклонив на грудь его голову.

Рыцарь прижал уста свои к челу прекрасной женщины.

— Погоди! здесь еще есть защитник ее чести! — раздался голос позади рыцаря... И долгая *спада* вонзилась ему в бок, между стяжек стальной брони. Он рухнулся, перекатился со стоном по помосту каюты...

Болезненные восклицания женщины заглушились возобновившимся стуком оружия на палубе. Неизвестный, в богатой одежде, обложенной буфами, с шитым золотом

[1] Северные островитяне, морские разбойники

долманом на плечах, с золотою кованою цепью на груди,— отвлек ее от трупа.

Между тем стовесельный Ормур, с главным отрядом шнеков, продолжает путь на веслах. Юго-восточный ветр переменился на попутный западный, паруса раскинулись как крылья. Быстро летят вереницею шнеки вдоль по широкой Нево, проносятся чрез Ладогу-озеро, и на третье утро входят в устье Волхова; как стая лебедей, окружают они остров, на котором возвышаются светлые терема Ладоги.

Передовая ладья известила уже Ладожан, кто́ едет к ним в гости под дружным флагом. Народ сбежался на пристань, ждет *светлого солнца.* Вот золоточешуйчатый шнек причалил к берегу; народ взывает радостными кликами к Князю Владимиру, толпы идут навстречу ему в воду, сбрасывают подмостки, схватывают его на руки, несут в высокий терем Княжеский.

Веселится душа Владимира любовью Русскою; да горькая весть, как черный покров, ложится на светлые одежды его: Новгород во власти Ярополка, Посадники Киевские правят Вечем, Добрыня в плену.

Старейшие мужи и все купцы и гости Ладожские зовут Владимира на пир почетный.

— Нет! — говорит он.— Не время пиру! не на чем присесть мне; брат Ярополк лишил меня *стола* моего; добуду стол и поведу пир на всех людей моих, а теперь собирайте рать, острите мечи, стрелы и копья, помогите мне!

— *Дивья за Буяном кони паствити, а за добрым Князем воевати!* Повалим головы свои за тебя! — кричит народ, бьет челом, и с шумом растекаются огнищане, гридьба и купцы по домам от двора Княжеского; идут брать оружие.

Владимир с нетерпением ждет известия об отряде Свейского Короля; черная дума на челе его; с вышки смотрит он часто на даль, где Волхов сливается с Ладогой.

На четвертый день забелели издали паруса, как стадо пеликанов. Прибежала передовая ладья с вестью к Владимиру о приезде Свейского Посла Греффэ[1] Ингиельда Киннагольма.

Владимир и Зигмунд посмотрели друг на друга в недоумении.

---

[1] Граф, значит старый, старейшина.

Несколько кораблей приблизились к Ладоге.

— Я вижу только золоченый корабль Конунга Эрика, за ним тянутся пять Свейских кораблей и мои два шнека с опущенными флагами!.. что это значит! — вскричал Зигмунд.— Оккэ, Оккэ! неужели ты погиб! а Мальфрида!.. где же Мальфрида?.. Приехал Киннагольм, а об ней ни слова!

Отроки Княжеские донесли Владимиру о прибытии Посла; Владимир приказал звать его. Герольд посольский, сопровождаемый посольскою свитою, вошел и возгласил:

«Благородный Кароль Ингиельд Киннагольм, Греффе и честь великого двора Свионии, Великий Маршалк Верховного Конунга Свионии и Готландии, Дроттара и Блотада Эрика Сегегсела, Ярл Торгеборский, *Герзе*[1] Тиуста и Болмсе, рыщарь двора и меченосец ордена Оденс-Гвардиан!..»

Вслед за сим объявлением, сквозь ряды свиты и гридней, приблизился к Владимиру Киннагольм. После обычного приветствия от Конунга он просил Владимира выслушать его без свидетелей.

Владимир приказал всем удалиться, кроме Зигмунда.

— Конунг Владимир,— говорил Киннагольм,— дочь Конунга Эрика Сегегсела, твоя названая, ожидает твоих повелений. Она на корабле. Преступившая честь и убитая горем поносной страсти, она не смеет явиться пред тобою. Так, при всех она не постыдилась лобзать холодный труп изгнанника Оккэ!

— Оккэ! — вскричал изумленный Зигмунд, едва удерживая порыв любопытства.

— Да! того Оккэ, который осмелился требовать руки Мальфриды; изгнанный из *Свеа-рикэ,* лишенный лена и чести, осмелился он еще более быть преступным: с Викингами напал он внезапно на отряд кораблей, вверенных мне; но наказан этим мечом. Если б открыто напал он на нас, чтоб купить своею кровью желаемое, я бы не поносил его дел; но он успел тайно условиться с Мальфридой... по ее воле мы остановились подле засады, в устье Нево; как разбойник окружил нас Оккэ во время ночи, овладел кораблями; но, к счастью, подошли в это время следовавшие позади боевые корабли мои, они выручили нас, а между

[1] Также почетное звание, значившее в старину *Придворный* и, кажется, произошедшее от *Герцог.*

тем Оккэ уже плавал в крови своей. Но *аскеманы*[1] не дались легко в руки, битва была сомнительна. Дорого стал Оккэ первый поцелуй любви! дорого стоит и мне победа: злодеи зажгли свои шнеки, успели бросить огонь и в мои корабли; от пожара спаслись только: корабль Конунга, два шнека неприятельских и Свейских пять. Я хотел возвратиться назад с Мальфридой, вести ее к отцу, но она умолила меня продолжать путь в *Гардарикэ;* ей страшно проклятие отца... Я исполнил ее волю, и теперь, что́ прикажешь с ней делать и какой будет от тебя ответ в *Упсалу?*

— Мальфрида останется здесь, под моим покровом!.. Ответ Конунгу дам я в Новгороде,— произнес Владимир отрывисто.

Темные мысли лежали на челе его. Он приказал удалиться Киннагольму.

— Оккэ поступил нечестно! — сказал Зигмунд Брестерзон, когда вышел Посол.— Я не жалею об нем; он должен был встретить корабли в открытом море; но судьба Мальфриды ужасна!.. Ее жизнь померкла!.. и ей дорого стоил первый поцелуй любви!

Владимир не отвечал на слова Зигмунда. Думы его мрачны, не к добру идет время! надежда на помощь Эрика исчезла, у Владимира мало рати.

Но вооруженные люди сбираются из волости в Ладогу; готовы идти с Князем все, от мала до велика, юный и старый. По обычаю земли, посылает Вече вопросить у вещунов Холмоградских: будет ли Владимиру добрая *часть*[2] в брани.

«Добро будет и часть, оже спадет Звезда на помочье ему!» — дают ответ вещуны Холмоградские.

Приносят ответ Владимиру; он сидит за браным столом с Зигмундом, с Боярами и с старейшими мужами своими: они заботятся согнать черную думу с лица его, призвали к столу мимошельца Гусляра; умеет он звонкие песни петь, хвалить, славить, тешить Князей и Бояр, сказки рассказывать и гадать.

И был уже стол в половину стола, вдруг вносят что-то покрытое на блюде золотом. Два посланца, возвратившиеся из Холмограда, кланяются в пояс Владимиру.

---

[1] Корабельщики, мореплаватели.

[2] Часть — в старину значило участь, счастье: «часть тебе добрая».

— Святой каравай прислал вещун хоромный Холмоградский, чествует тебя, Княже Володимер, и сказал: «Добро будет и часть, оже спадет Звезда на помочье тебе!»

Не понимает Владимир ответа вещунов и не хочет понимать. Каравай, обрызганный кровью, разрезывают на части, подносят Князю и всем его людям.

— Кто же из вас, мудрые мужи, смысленные, даст толк словам божьим? — спрашивает Владимир.

Никто не постигает, откуда может ниспасть помощь Князю Владимиру. «То, верно, говорят, от Варяжского Конунга Олофа».

— Не то говорите вы, мудрые, смышленые мужи Княжеские! — перерывает речи мимошелец Гусляр.— Скажу лишь я правду истинную *светлому солнцу,* да не теперь, а чрез три дня, когда полки ратные Владимировы изопьют воды из малого Волхова. Звезда спадет на помочь Владимиру,— говорят жрецы Холмоградские,— уж не Звезда ли Царевна, Царь-девица, спадет ему на помочь. Расскажу я вам про нее быль, правду великую; да вели, Красное Солнце Владимир, подать мне стопу хлебного меда, было бы чем дивные речи прихлебывать.

По приказанию Владимира подали Гусляру стопу красного меда, и он начал рассказ.

II

Царь-девица

Ох, не горюй, не кручинься ты, Князь Государь, наш милостивец! Много звезд на небе, больше того будет у тебя радостей нá сердце. Послушай сказки моей. Сказка былью была, да состарилась. Как зазвенит серебряная память, запоет душа, придумает, пригадает все, что есть на уме и на разуме, а добрые люди слушают, добрые люди ахают.

Пошли, Свет, красное слово! красное слово — пищу духовную!

Вот как было-то в некотором царстве в Придонском Государстве, в Золотой Орде, у Ордынского Гетмана была дочь единая; да не рядилась она в саяны и в бархаты, не носила она ни серег, ни жемчугов, не сиживала она в высоком терему под косящетым красным окошечком, не певала она сроду: «Ах ты, лен, мой лен, пряжа тонкая, ты не рвися, лен, не крутись в узлы».

Так было ей на роду писано.

Шесть лет не было у Пана Гетмана детей, на седьмой год зародилось детище. Учинил Пан Гетман пир великий, разгулялся на радости. «Ну, говорит, светлые гости мои, будем пить здоровье будущего моего сына!» — «Что бог даст: молодца или красную девицу!» — отвечали гости. «У! семь лет ждал — недаром промолвился, назвал сыном недаром!» — вскричал Гетман, ударив стопою в стол.

— Призвать ко мне *вещунью!* — Призвали *вещунью.*— Говори правду истинную: усы до колена или коса до пят? Доброму жданому молодцу народиться или нежданной девице?

— Дозволь, Пан Государь, завидеть Господыню твою,— отвечала вещунья.

Повели ее в красный терем, в узорчатую горницу. Насмотрелась вещунья на муки материнские. Идет к Пану Гетману.

— Ох, Государь Пане,— говорит,— не жалей казны, куй броню золотную, гвозди алмазные, шли богатыря могучего, что по рубленому лесу ходит, рукой коряки полет, шли его за мечом-кладенцем, что в Полуночном Царстве лежит, в горе, среди моря *мимоточного!*

— Пейте, гости дорогие! здравьте будущего моего сына! — вскричал Гетман.— Смотри же ты, ведьма старая! истинные речи твои — озолочу с ног до головы; не сбудутся — два коня разнесут тебя наполы, размыкают по чистому полю! а жену с дочерью заточу в бочку, пущу гулять по широкому морю! Ведите ее за железные притворы, за кованые ставни! Кормите до время пряным печеньем, пойте сытицей!

Настал час мук материнских; готовится Гетман принимать на руки сына; подвели к крыльцу вороного коня, принесли на золотом блюде меч и пояс; привели вещунью; стоит она над родильницей, дрожит, очи выкатились, синие уста темные речи нашептывают. Стоит и Гетман в головах родильницы. Застонала родильница, вскинулась, вскрикнула, раздался звонкий голос младенца... Схватила его на руки вещунья и обмерла от ужаса, застукали зубы.

— Сын? — вскричал Гетман.

— Сын, пане, сын! — произнесла трепещущим голосом вещунья, окутывая младенца в пелену.

— Сын! — вскричал снова Гетман, схватил с блюда меч и перепоясал ребенка; а у него на лбу горит словно звездочка. Понесли его на браной подушке к белодубовому крыльцу,— вороной конь озирается, рвет копытами землю,— положили на седло, повели коня под уздцы по широкому двору.

— Дал бог Свет нашему Атаману Царя-Царевича с золотой звездой во лбу! — кричал бирюч, трубил в трубу.

— Здравствуй Царь и с Царем-Царевичем! — кричали люди Гетманские и народ.

— Сгибла душа моя душенька! — вопит вещунья над кроватью родильницы,— народилась у тебя, матушка, Царь-девица, с золотой звездой во лбу!.. с золотой звездой во лбу! не подменишь добрым молодцем. Меня размыкают по полю; тебя, Государыня, в бочке пустят пó морю!

Заплакала Царица-родильница.

— Помоги,— говорит,— голубушка бабушка!

— Изволь, помогу, была я у тебя бабушкой-повитушкой, буду и нянюшкой. Не поведает Пан Гетман, что у него дочь народилась. Взлелеем мы ее Царем-Царевичем, окуем ее в броню доспешную, будет она у нас добрым молодцем! Дам я ему дядьку, прислужника верного, свое правое око!

Стал Пан Гетман клич кликать: где живет такой богатырь, что по рубленому лесу ходит, рукой коряки пóлет. Прошла молва, что есть-де в Придонском Царстве богатырь *Колечище,* живет у взморья, у Придонского Лимана.

Отправил Царь гонцов к сильному и могучему Колечищу просить в Гетманский стан, в гости. Скачут гонцы, находят богатыря; сидит у моря, белую рыбицу удит, удочка словно коромысло колодезное.

Сняли шапки Послы, поклонились ему низменно, зовут в Царский стан, к Гетману в гости.

Посмотрел на них богатырь с искоса, снял шлык, почесал в голове, тряхнул головой, откинул густые космы от очей, промолвил: *«Ладно!»* — встал и пошел. Лают на него по селам собаки, проходу нет; вырвал он дубок в обхват толщины, отбивается от собак, идет; скачут за ним следом гонцы Царские чрез поля и горы, взмылили коней. Идет богатырь как туча тучная; стонет земля, взмолились Ордынские люди со страха. Готовит Гетман полудник для гостя, высылает хороводы навстречу.

Пришел. Ухнул с дороги, встряхнул пыль с шлыка и с одёжи, грохнул дубину о землю, сел посреди двора.

— Исполать тебе, добрый молодец, сильный и могучий богатырь Колечище! — возговорил к нему Гетман.— Сослужи мне службу верную, сходи, пожалуй, на Полуночь; на высокой горе на море *Проточном* есть меч *Кладенец!*[1]

— Ладно! — отвечает ему Колечище.— Сложу голову за тебя!

Ведут могучего богатыря в мовню; дарит ему Гетман новый кожух; пошло на кожух сорок сороков соболей; ведут могучего богатыря под белые руки за белодубовый стол; Пан угощает его, панские люди величают и в путь-дороженьку снаряжают.

Вот, выпив котелок зеленого вина, поднялся богатырь на ноги, пустился в синюю даль. Скоро идет, не останавливается, так ветры от него и пашутся.

Пришел он к берегам моря Полночного, в землю рыжих Кудесников. Стекается народ, взбирается на холмы, дивится на Колечище издали. Он к нему. Разметалось все от него в стороны; да видят, смирен и тих словно *заводь.* «Где тут, говорит, море *Проточное?»* Мотают головой; выбрали человека, который бы ведал язык *Ризенов:* так величали они Придонскую землю. Пришел один, снял шапку, голова ровно каленая. «Ну, где море Проточное?» — «Не знаю, господин великан, говорит, знала, может, про то Хульда, по-вашему — колдунья, да давно умерла; по ночам ходила кровь пить людскую, а люди взяли да и положили ее ничком и вбили кол в спину; теперь уж она не ходит; а все знала да ведала, говорят...» — «Ладно! — отвечал Колечище.— А на каком погосте лежит?» Красный весь сжался от страха, указывая за темным лесом на далекие горы, на высокую вершину с зеленой макушкой.

Пошел добрый молодец; смотрят вслед ему рыжие люди, дивятся.

Вот подходит к горам. Вдруг закрутились вихри, взвились рассыпные пески, пошла непогода, вьюга вьюжная, гроза громоносная; вздулись ветры, взревели, гонят черные тучи бичом огненным долгохвостником; пыхтит буря, фыр-

[1] Кому не известны Восточные, Мавританские и Русские Сказки о волшебных мечах, скрытых чародеями под *горами,* в пещерах и хранимые драконами и чудовищами. Сии-то мечи-клады назывались *мечами-кладенцами. (Прим. Вельтмана.)*

кает пеной; всклубилось небо, стонет земля, скрыпят темные леса, загудел вихрь, затянули ветры обычную песню про старую волю, хлынул *ливень,* перекинул золотой мост через хляби небесные.

Идет богатырь, режет собой *омрак* наполы, взобрался на высокую вершину с зеленой макушкой. Хлоп палицей гору по боку; разлетелась гора прахом, встрепетнулась земля, закачался лес, грянули вдали громы. Видит богатырь, лежит навзничь старая ведьма, осиновым колом к земле прибита, храпит что есть мочи.

Толкнул ее ногой богатырь Колечище, возговорил к ней:

— Ей! баушка, время вставать!

— Ух, время, голубчик, день-деньской на дворе!.. вынько колок.

— Молви-ко мне, баушка, где лежит клад-кладенец, меч победный?

— Изволь, все скажу; вынь-ко, голубчик, колок из спины.

— Нет, баушка, обманешь, сперва скажи.

— Сказать скажу, да без меня, голубчик, не добудешь.

— Добуду.

— Не добудешь! кому тебе показать, клубочка нет со мною, сгубила.

— Ну, делай как знаешь, добуду меч, выну колок из спины.

— Ох, добрый молодец, несговорчивая твоя головушка! да что с тобой делать, так и быть; ну, смотри... вот тебе струйка, куда потечет, ты за ней да за ней, и приведет она тебя к доброму месту, да не запамятуй слова: добудешь меч, приходи назад, сказать мне спасибо.

— Ладно,— отвечал Колечище, и видит: течет из-под старухи шипучий ручей... заклубился вдоль по тропинке.

Пошел да пошел за ним; а ручей течет да течет; все больше да больше, все шире да шире, все глубже да глубже; вздулся рекой, журчит по полям, по долам, между гор, извивается, ровно змея.

Устал идти за ним богатырь. Видит: строят корабельщики корабль. «Эх,— промолвил он,— кабы да мне сесть на этот корабль!»

Верно, прослышала река речи его, вскинула волны, расступилась из берегов, да и давай подмывать. Разбежались корабельщики. Смыла корабль, поставила себе на хребет.

«Ладно!» — промолвил богатырь и сел на него, плывет, гребет весельцом. Плыл, плыл, и видит вдали высокую гору недоступную, с зеленою маковкой.

Расступается река, дуется озером, растет да растет, подкатилась под скалы, выше да выше, словно на дыбы поднимается; и корабль с богатырем идет в гору. Вот и вершина, вот и маковка, словно шлем перёный тремя елями. Поравнялась вода с берегами, прибила корабль в тихую *заводь*. Выходит богатырь на берег, смотрит... стоит белый Бухарский конь, как из серебра литой; под конем камень, подле столб с золотым кольцом, на столбе уздечка. Догадлив был Колечище, снял уздечку, поцеловал белого коня в светлую звезду во лбу, наложил уздечку; встрепетнулся конь, заржал — отдалось в темных лесах за морем. Отвел богатырь коня, привязал к столбу; откинул камень, под камнем *меч-кладенец*. Его-то ему и было надобно. Налюбовался им богатырь, поцеловал булатную полосу, повесил при *боку*, закинул на коня уздечку, хлопнул по широкому хребту, вскинулся на него, сдвинул ему ребры... пошатнулся конь, видно, тяжел седок, да оправился, фыркнул, пыхнул густым туманом, вскинул хвост трубой, взвился, ударил задними копытами в землю, перелетел одним скачком чрез глубокое Проточное море, понесся стрелою чрез поля и горы, — гонится с ветрами взапуски.

Между тем мнимый Царь-Царевич растет не по дням, а по часам; еще в колыбели родная его матушка и хитрая вещунья нянюшка снарядили его в шитый шишачок перёный, выложенный бисером; в тканые да вязаные доспехи с нашивной чешуей; перепоясали его мечом в локоток. Встает дитетко, заиграют над ним в трубы-литавры, деревянного конька везут, в ручки лук со стрелой. Ходит за ним в прислужниках Алмаз, правое око вещуньи. Растет Царь-Царевич не по дням, а по часам. Минул ему седьмой годок; остригли ему, по обычаю, волоса, дали имя. Шлет Гетман в Индейское царство за светлыми камнями, в землю Эфиопскую сзывает кузнецов, для сына золотую броню ковать, алмазами усаживать. Принимает он сына от матери с рук на руки, сам учит его молодечествовать, охотничать и наездничать, править конем и оружием, спать на сырой земле, перелетать чрез горы, переплывать чрез моря, сносить орлов с поднебесья, срывать с бегу рыжих лис и серых волков, дикому вепрю ноги подкашивать.

Напиталась душа Царь-Царевича мужеством, упоилась отвагою; сама Царица дивуется, не верит своей памяти, что не сын у ней народился, а *Звезда Царевна.*

Вот настало Царю-Царевичу пятнадцать лет; стал он молодец, красота ненаглядная, нет ему равного во всем Придонском Казачестве. Уж впору ему броня золотая, Эфиопскими кузнецами кованная, Индейскими камнями саженная. А меча-кладенца нет как нет, богатыря Колечища ждут пождут... не едет... сгинул да пропал!

Дарит Гетман сыну свой меч булатный, своего коня вороного, созывает гостей со всех земель, сильных и могучих богатырей и витязей, попить, поесть да потешиться, с Гетманским сыном оружьем померяться, силами изведаться. Собираются гости, пируют, дивятся красотой Царь-Царевича: «То не Царь-Царевич, говорят, а Царь-девица; где ж ему с нами, заморскими богатырями, силы ведать, оружье мерять! молод словно молодой месяц, красен словно светлый утренник!»

— Ой, пано, пано! Царю-Царевичу на бой рано! — говорят, макая длинные усы в чаши медовые.

— Повидим! — отвечает Гетман, утирает усы, чуп приглаживает.

Вот напились гости, напитались, выходят на красное крыльцо; стремянные подвели им коней, сели они, смотрят... Царь-Царевич в золотой броне, на злом коне, сбоку меч вороной, летит каленой стрелой, мчится в заветное поле, в Гетманское раздолье; посреди поля врезался как вкопанной, ждет *супротивника.*

Едет Гетман с гостями вслед за ним, важно золотой булавой помахивает, откидные рукава за плеча; светится шитьем, золотом. За ним витязи, гремят чешуей и кольцами, сбруею бахромчатой потряхивают, светлым оружием постукивают, ходит ветер по перёным шлемам, бьют, роют кони землю.

Гудят гулкие трубы, зычат шумные бубны, звонкий рожок заливается, запевальщик ратную песню затягивает, а Гетманские певцы-молодцы выговаривают.

Вот поставили Гетману на холме, посреди поля заветного, стул с подушкою рытного бархата; вокруг поприща стал стеной народ.

Прозвучал рог, выехал из круга младший из Витязей, подъехал к Царю-Царевичу, хлопнул копьем в звонкий щит.

Вот разъехались добрые молодцы, закрутили, замахали на всем скаку копьями; свистнули копья, увернулся Царь-Царевич, а его копье тупым концом прямо в щит молодого Витязя; разлетелся щит вдребезги, покатился Витязь на землю.

Загремели гулкие трубы, заголосил народ, стыдно Витязю. Вот выехал Витязь другой, засверкал булатным мечом, грянул широкой полосой в щит. «Не ущитишься ты, молочные уста!» — думает, мчится на Царя-Царевича. Столкнулись щиты, отпрянули, глядь... а у Витязя в одной руке рукоятка щитная, а в другой рукоятка мечная.

Тешится народ, заливается, славит Царя-Царевича; а Гетман важно усы поглаживает.

Выезжает на Царя-Царевича Витязь старый, бывалый; на побоищах голову рубит, на лету на копье сажает. И ему та же участь: обрубил Царь-Царевич на кованой броне все гвозди, раздел его мечом чуть-чуть не донага. У гостей-богатырей раскалились от стыда кольчатые забрала. Царь-Царевич по поприщу коня крутит, противника выжидает. Нейдет никто на бой.

Целует Гетман Царя-Царевича в белое чело.

Вдруг видят, кто-то вдали по дороге оленьим скоком скачет, ногами пыль загребает. Прискакал, смотрят — высочайший, худой, худой, словно вяленой!.. на белом коне. Расступился народ — он прямо на поприще, к кургану Гетманскому; соскочил с коня, отряхнул с себя тучу пыли, обсыпал всех с ног до головы; встряхнулся и конь — кости да кожа! а зной градом.

— Кто ты, пугало огородное! — возговорил Гетман.— Аль принес под Гетманский меч свою голову?

— Как изволишь,— отвечал богатырь-чудище,— я твой слуга Колечище.

— Морочишь, окаянный!

— Как изволишь, я служил тебе службу; вот тебе меч-кладенец, а то конь пуще сокола.

— Морочишь, окаянный! такой ли меч-кладенец — весь в зазубринах, сокол конь — кляча навозная!

— Меч отточишь, клячу откормишь; и меня прикажи ладно покормить да напоить; колдунья проклятая уморила!.. сгубила бы душу, да кладенцом отбился, а добрый конь вынес из беды.

Велел Пан Гетман меч отточить, коня в стойло поставить, а богатыря Колечище накормить и напоить досыта.

Повели богатыря в баню; вымыли, выпарили, усталые кости выправили, повели за белодубовый стол.

— Ладно! — молвил Колечище, поевши, попивши и за здравие Гетмана котелок зеленого вина выкушавши. И выговорил так — хмелем ошибло.— Ну, вишь, Пан Гетманище! меч да коня добыл... ладно!.. подобру-поздорову!.. да не ладно — пустил ведьму по белому свету — тово... ой-лих не в *одарь* люди колом к земле ведьму прибили!.. а я и то... бес подтолкнул под руку!.. ну, вишь... и пошла вихрем крутить, под стопы пышет жупел... «Подай-ста коня и меч!» — «Ладно!» Думу гадаю да еду себе. Темь темнеющая!.. под ногами ровно пучина кипит... глядь!.. под конь катится что-то с горы!.. ой-лих с ног собьет! «Подай-ста коня!» — стучит. «Ладно!» Ну, да и хвать мечом... Ой-на! голышь... камень!.. меч зазубрил!.. Ехал, ехал, крутил, крутил, степь не степь, лес не лес, и не тово... добро бы вода, испил бы, коня напоил, да и корму ни... животы ведет! Ну, ин... выскочи твоя душка словно из дудки!.. Глядь, мерещится... во! гадаю, день, ни! огонек блескает! я к огоньку... стоит изба с топора, под окошечком сидит красная девица. Ей!.. «Красная девица! напой-накорми!» — «Изволь, дядюшка, ступай на двор»; я на двор... ну, и тово...

— Ну, или спишь, Колечище, охмелел? — вскричал Гетман.

— Ой-лих-ни! умру — не отдам! — пробормотал Колечище, встрепетнулся и продолжал словно сонной, на языке гиря повисла: — Ну, во, туды-сюды, ах ты!.. ну, ну!.. не везет!.. а за оградой мяучит: «Отдашь меч и коня?» — «Прысь ты, окаянная!.. умру — не отдам!..»

— Охмелел, ведите его под руки, уложите спать,— сказал Пан Гетман.

Повели богатыря Колечище под руки, а он несет свое, рассказывает чудеса: как ведьма его с конем в погреб заключила, как их из жалости многие лета погребная плесень поила и кормила; и как ехали тем местом добрые люди да послышали — под землей конь заржал. Клад, думают, да и давай землю рыть; отрыли, да со страху кто куда ноги унес; а Колечище из погреба вышел, и коня на белый свет вывел, и подобру-поздорову в Придонское Царство прибыл.

Вот настало законное время. «Ну, пора,— гадает думу Гетман,— пора оженить сына! пусть себе ищет невесту».

Призвал его, говорит ему:

— Царь-Царевич, сын мой любезный! храбр ты, гораздо смышлен и умен, нет в тебе обычая душе моей супротивного: к отцу и матери ты любезлив, к старости честной приветлив, с вольницей не водишься, около красных девушек не увиваешься. Придумал я тебя, сына моего, женить. Собирайся ты в путь-дороженьку, поезжай ты к соседу нашему Царю Азскому Ахубзону Рувиму, у него есть две дочери: Сарра-Царевна и Лея-Царевна; поклонись ему от меня, сослужи ему службу и проси себе в жены любую.

— Государь родитель,— отвечал Царь-Царевич, вздохнув,— не жены гадает сердце мое, а храброго витязя-сопротивника; хотел я изведать силы с могучей доблестью да со славой. Все твои Витязи деревенщина да зательщина; на щите моем нет еще ни язвы, ни царапины, хотел я походить по белому свету да притупить сперва острый меч свой, а потом исполнить родительскую волю твою; да уж быть по твоему велению, еду, куда изволишь.

Поцеловал Пан Гетман Царя-Царевича за послушание в светлое чело, проложил ему золотой мост в Царство Азское, усадил на коня...

Поехал Царь-Царевич, повез родительское благословение в далекие страны, в чуждые земли.

Вот приехал Царевич в *Дор,* станицу Азского Кагана Рувима, поклонился ему от Гетмана и вручил грамоту.

— Есть у меня две дочери красные,— сказал ему Царь Рувим, обняв его,— родились они в единый час, равны лицом, красотою и возрастом; ни мать, ни я не ведаем, которая из них старейшая; а по закону нашему старейшая должна идти первая и в замужество; преступить закона и обидеть ни той, ни другой не могу; но бог покажет нам путь, принесу ему жертву, соберу Ратманов, и что присудят, то сделаю.

Вот и собрал Рувим Ратманов и присудили: «В сердце коей Царевны бог положит первую любовь к Царю-Царевичу, та и старейшая, и вдастся ему в жены за службу Царскую».

И разодели Царевен в богатую одежду, повели напоказ к Царю-Царевичу. Одна в одну, как два ясные ока; красавицы неописанные; да у Царя-Царевича не девичья красота на уме, он мыслит: лучше бы привели сюда двух братьев, храбрых, могучих Витязей, узнал бы я, кто из них старейший!

— Ну, Царь-Царевич, которая по сердцу тебе? — возговорил Царь Рувим.

— Не ведаю, какую сам судишь.

— Ну, любезные мои дочери, Сарра и Лея,— продолжает Царь,— которая из вас полюбила Царя-Царевича?

Вот Царевны Сарра и Лея посмотрели друг на друга и зарумянились обе.

— Ну, промолвите ответ, которая полюбила Царевича?

— Что промолвишь ты, сестрица? — спросили они одна у другой, шепотом, в одно слово.

— Да то же, что и ты, сестрица,— отвечали они друг другу, также в одно слово.

— Я полюбила его.

— Я полюбила его,

произнесли они тихонько Царице-матери на ухо, одна с одной стороны, другая — с другой.

— Ну, Царь-Царевич, не судьба тебе! а обеих не отдам.

Взыграла радость на душе у Царя-Царевича; велит он своему верному Алмазу седлать белого сокола; прощается с Царем Рувимом, выезжает в поле чистое, по дорожке в Царство Русское; там, слыхал он, водятся богатыри и храбрые Витязи, на диво белому свету.

Вздохнул Царь Рувим с Царицею-супружницей, жаль им, что не судил бог им Царя-Царевича в зятья.

Вздохнули и Царевны Сарра и Лея. Проходит день, другой, третий, проходит *седьмица*[1], другая, третья... далеко Царь-Царевич. Царевна Лея весела и радостна по-прежнему, а Сарра, ее сестрица, что-то грустит да алмазные слезки роняет, падают слезки на алый румянчик, тушат слезки *полымя* жизни; обдало красную Царевну Сарру словно светом лунным.

— Что с тобой сделалось, сестрица? — говорит к ней Лея.— Не сглазил ли тебя недобрый глаз, Царь-Царевич?

— А тебя? — спросила со вздохом Сарра-Царевна.

— Меня?.. нет, не сглазил, я не смотрела ему в очи... а ты, верно, смотрела?.. что не отвечаешь, сестрица?.. бедная!.. недобрый человек!.. не люблю его!..

— Зачем же, сестрица, сказала ты прежде, что любишь? — спросила Сарра, заливаясь слезами.

— Я сказала так, сестрица, как ты сказала,— ответила Лея, обнимая Сарру.

Больна, да, больна Сарра-Царевна; созвал Царь Рувим кудесников, лечить дочь свою.

[1] Неделя.— *А. Б.*

«Наступила, Царь, дочь твоя на нечистое место»,— говорят кудесники; да и начали нашептывать воду да зелье варить; а толку нет: чахнет Царевна.

Между тем едет Царь-Царевич по широкому пути в Русское Царство; на далекую дорожку посматривает, на боковые стежки поглядывает: не едет ли какой храбрый, могучий Витязь, с ним бы силы изведать, оружье измерить. Что-то грустно Царю-Царевичу. «Эх,— думает,— нет могучего, найти бы равного, дружного! Много люди говорят про Владимира Князя, сына Светослава... поеду искать Владимира».

Приезжает в Киев-град; а там люди гуляют да празднуют, в варганы играют, а красные девушки без зазору по торгу ходят, хороводы по улицам водят да играют в *пустошь*.

— Здесь ли,— спрашивает Царь-Царевич,— Владимир Князь, с своими могучими богатырями?..

— Нет здесь Владимира Князя,— говорят ему хмельные люди,— едь к нему в Новгород али садись вкруговую, добрый молодец! у нас здесь не ратуют, а песни поют полюбовные!.. выбирай по сердцу девицу! Ох, какие у нашего Князя девицы; то со всего белого света пригожие красавицы! оне в золото да в шелки разряжены, светлыми каменьями разукрашены!..

— Нет, добрые, хмельные люди,— говорит Царь-Царевич,— вы мне не рука, поеду подивиться на Князя Владимира да на Новгород...

— Ох ладно приплел ты, Гусляр, к сказке своей наше Красное Солнышко Князя Владимира и честной Новгород; ну, ну, что дальше! — перервали речь Гусляра думцы и гости Владимировы.

— По былому речь веду,— отвечал Гусляр.

— Ну, ну, продолжай! — сказал Владимир.— Сказка былью была да состарилась, а в Новгороде и до меня был Владимир.

Гусляр продолжал:

— «Нет, добрые люди,— думает Царь-Царевич,— вы мне не рука; поеду я к Князю Новгородскому, верно, он всех славных Витязей с собой увез».

Вот едет Царь-Царевич сквозь леса глубокие, скоро приезжает под Новгород; видит на дороге *Становище*[1].

— А что, бабушка,— говорит,— что у вас деется в Новегороде, там ли Владимир Князь?

[1] Постоялый двор.

— На Городище, батюшка, на Городище; а народ уж, чай, собрался на молбище. В полудень сажать будут на стол Новгородский, народ рекой хлынет. Да ты, ясной молодец, не Боярин ли его?

— Нет, бабушка, из чужой земли, из Ордынской.

— Э, родимой, уже правду ли ты молвил? да тебя народ камнем побьет; а ты такой молодой, пригожей... да ты волею или неволею заехал сюда?

— Волею, бабушка, хочу подивиться на Князя Владимира.

— Не показывайся, голубчик, теперь и Посла не примут люди Новгородские, не то что мимоезжего; вот Князь будет главой, ступай, пожалуй, к нему во двор.

— Послушаю твоего доброго совета; а хочется мне посмотреть на позорище.

— Разве-ста нарядимшись в саян да в повязку девичью; ты ж такой пригожей! а бабам у нас везде путь.

Царь-Царевич подумал, подумал да и говорит:

— Достань, бабушка, мне девичью одежду; вот тебе *золотница*[1].

Старуха посмотрела на золото, подивилась.

— Эх, набрался ты добра-ума, молодец! неволя тебе идти на позорище? да еще что у тебя на сердце?

— Не бойся, бабушка,— отвечал Царь-Царевич,— наслышан я много про народ ваш и про нового Князя; хочу, неведомый, поклониться Новугороду.

— Нешто. Ну, есть у меня снаряды девичьи... была внучка-красавушка, да сгинула!.. иди, иди, да скажи своему оружнику ставить коней на задний двор, люди бы не видели.

Вот Царь-Царевич соскочил с коня, вошел в *Изобку*. Пошла старуха в кладовую, зазвенела ключами, вынимает из кованого ларя одежду праздничную девичью. Уговаривает Алмаз Царя-Царевича не ездить в Новгород. Не слушает его Царь-Царевич, разоблачается из золотой брони, гонит от себя прочь приспешника.

Несет ему старуха сперва: голубые чулочки со стрелками, да черевички сафьянные, шитые золотом, с высокими каблучками, с белою оторочкою; потом: шитую шемаханскими шелками рубашечку, с рукавами из тонкой ткани; потом:

[1] Мелкая золотая монета. *А Б*

повязку жемчужную, душегрейку парчовую с золотым газом да юбочку штофную.

— Ну,— говорит,— добрый молодец, есть у нас красные девицы в Новегороде, а был бы ты красная девица... ох, да что за стан гибкой!.. давай перлы накину на шейку... сама на шелку низала... в орех жемчужины! Эх, да уж не морочишь ли ты?.. аль в вашей стороне и у мужей лебединая грудь вздымается?.. Ну, вздень душегрейку... ладная какая! только разок внучка-голубушка и надела!.. как пойдет, бывало, хоровод водить, алые туфельки так и пощелкивают, каблучки так и постукивают!..

Старуха вздохнула, широким рукавом слезку утерла.

— Ох, девка, серги-то и забыла!.. изумруда да *алика*[1] румяного! аль *грушку*[2] привесить жемчуга перекатного? стой, стой, подвяжу!.. ээ! сударыня, да у тебя и *мочки* есть в ушках? обморочила ж ты меня! давно бы сказать правду истинную!.. чему стыдно стало?.. сама я в девках гуляла! сама бы я тебе и рубашечку приладила, а то, вишь, негладко!..

Разгорелся Царь-Царевич, слушает, не понимает речей старушьих. Прибирает старуха ему голову. «Головушка ты моя, говорит, и косоньку-то обрезала!.. верно, ладного молодчика полюбила, ходишь за ним по белому свету!.. Ну, как изволишь, *венчик* ли наденешь или *рафет*[3] да *коронку?*[4]

— Что хочешь надевай,— отвечает Царь-Царевич.

Не верит старуха глазам своим. Готов Царь-Царевич, накинул на себя покрывало. Сели в повозку, едут в Новгород...

— Ух, умаялся,— сказал, остановясь, Гусляр,— прикажи, Князь Владимир, Светлое Солнышко, поднести ставец медку, а конец расскажу на другое время.

---

[1] Драгоценный камень розового цвета; от слова алый — румяный, цветной. *(Прим. Вельтмана.)*

Вероятно, домысленное Вельтманом слово: *алик, алак* — старое сибирское название оленьей и собачьей упряжи.— *А. Б.*

[2] Старое Новгородское название серег, сделанных из жемчуга в виде груши.

[3] Повязка на золотом *гасе* в три пальца шириною, вышитая жемчугом. От Норманнского слова Rif или Reifa — покрывало, покров и также *повязка... (Прим. Вельтмана.)*

В XIX в. в значении праздничного головного убора слово употреблялось в Орловской губернии, Новгородской (рефетка), Нижегородской (рефиль); его происхождение неизвестно.— *А. Б.*

[4] В старину Новгородские девицы носили на головах *короны* — повязки, шитые в пяльцах белью, унизанные жемчугом и наклеенные на толстую бумагу или бересту.

— Поднесите ему,— говорит Владимир,— хмельного меду за добрую сказку! — Он припомнил красную девицу, которую видел в храме во время посада на стол Новгородский. Любопытство одолело им.— Доскажи, Гусляр, сказку свою! — возговорил он к нему.

— Нет, Государь, доскажу тебе, да не здесь, доскажу в Новеграде, за пиром похмельным, буде пожелаешь.

— Доскажи, Гусляр,— повторяет Владимир,— наделю тебя золотом, дам тебе кров и приют по жизнь!

— Не могу, Государь, сказка перед былью не ходит; а что будет, то еще впереди! — отвечал Гусляр; поклонился и вышел.

III

Идут полки ратные по берегу Волхова, по пути к Нову-городу. Отзывается в лесах топот конский, светят панцири, играет день на копьях. Впереди едет Князь Владимир на вороном коне, за ним идет стяг Княжеский.

Рядом по Волхову плывут корабли Варяжские, 100 кораблей, ведет их Варяжский Ярл Зигмунд Брестерзон.

Дошли вести и до Новгорода, что идет к ним из Варяг с силою великою Володимир Красное Солнце. Возрадовался Новгород и слободы Новгородские; да горька их радость! сила Ярополкова, Киевская, да сила Полоцкая не дают дохнуть волей Новгороду. «Измените нам, говорят, камня на камне не оставим, *полупим* хороми и домы ваши, не медом упьемся — кровию жен и детей ваших!..»

Но Новгородцы не боятся угроз, тайно шлют они гонца с грамотою навстречу к Владимиру; они пишут к нему:

«Господарь Княже Володимир Светославич, благословение от владыки, и от всех старейших, и от всех меньших, и от всего Ноугорода, Господарю Князю Володимиру Светославичу. Господарь Княже Володимир Светославич, ждем мы тебя, Господаря Князя, и управы твоей. Погубили нас Посадники и вои Киевские, и Добрыню оковали и *поточили*[1] к Киеву. Ярополк же велел на Ноугородчах сребро имать и по волости куны брать, а по купцам виру дикую, и поводы водить, и все зло. И шли на дворы твои Княжеские грабежьем, и Добрынин двор зажгли, а житие их поимали и челядь их

[1] Заточили.— *А. Б.*

распродали, а сокровища изыскали и поймали без числа, а избыток разделили по зубу и на щит; да не будет им часть в Русской земле; а на нас, Господарь Княже, не положи указ, и с нами любовь возьми, и пойди в свою отчину».

В добрый час прибыл гонец от Новгорода в стан Владимиров; войско его совершало на привале у устья Волхова *Обет*[1], на восходнице стоял жрец, разнимая на части жертву; подле складенный огромный костер из пуков хвороста, принесенного каждым воином, пылал уже.

Владыко, держа в руках *булаву*, на коей было изображение тельца, окруженного тремя золотыми обручами, окроплял народ кровью из жертвенной чаши и возглашал:

«Недоведимый силою, тресолнечный свет и всея твари беcприкладный хитрец!

Приидите к нему, доброобразно ходящии по свету и орудия днёвныи творящии! Се есть образ его и сличие! И благословение его Господарю Князю Володимеру со всеми мужи его и повинники!»

Ударили в гулкие бубны, понесли *корм* богам, запылал Обет до неба, вьется столб дыму, покорствует богу вся рать, звучит доспехами, ударяет в звонкий щит мечами, богу славу гласит, обходит трижды вокруг Обета.

По окончании Обета Владимир принял гонца Новгородского с честью в своем Княжеском шатре с золотым шаром.

Посланец Новгородский отдал Владимиру книгу, писанную на Вече, и объявил о расположении главной силы Ярополковой, близ Урменской хоромины Хутыни, а Полоцкие люди стоят на *горке* слободе.

Расспросив обо всем, что нужно было, Владимир послал гонца назад и велел Новгородцам сказать, чтоб они ждали его в заутрие.

Гонец отправился; а Владимир, изготовив рать к бою, двинулся во время ночи к Новгороду. Едва только взвиделось серое утро и седые туманы потянулись вдоль по Волхову, вправо, на высоте берега, открылся Новгород; влево, за лесом, *высокая* вежа[2] Хутынская. Передовой отряд панцирни-

[1] Жертвенное приношение. *(Прим. Вельтмана.)*

Это старославянское слово, составленное из ob и větъ — изречение, завет; по-древнерусски *вет* — договор, совет, отсюда «обещать». Значение «жертва» (чешско-словацкое) — позднейшее.— *А. Б.*

[2] Башня. *(Прим. Вельтмана.)*

В приведенной форме в древнерусском языке слово читалось во множественном числе и означало небеса, возвышенность, гору.— *А. Б.*

ков, Варяжских всадников, просветил дорогу, накинулся на Хутынскую слободу.

Взмелась сила Ярополкова, понеслись гонцы во все стороны, затрубили на стражницах в гулкие рога, стекаются рати, холмятся у Немецкого озера; бегут от *Хутыни* передовые полки, преследуют их панцирщики Варяжские, Владимир с Ладожанами вьется следом. Обтекают остров корабли Зигмундовы, бросают Варяги весла, хватаются за щиты и мечи, выскакивают из лодий, скопились, идут на помощь к Владимиру.

И урядилась рать великая на три полка.

И тут-то настала сеча великая, брань крепкая, *лом копейный, щитов скипание,* стрелы омрачали свет, нахмурилось небо, взволновался Волхов, льется кровь дождевой тучею, питает землю. Гибнет ратник за ратником, разлетаются души, как птицы, несутся в святые дубравы.

Тонет сила Владимирова в великой силе Ярополковой; идут со всех сторон полки вражьи, заходят в тыл, и начали одолевать Варягов... напал на них ужас, *умолкли* их плеча и руки, изнемогли силы, сабли притупились. Последняя надежда, последний полк Владимиров идет в сечу.

— Не хочем измирать на конях! — кричат Ладожане.— Будем биться пеши!

И соскочили они с коней, сбросили одежду и обувь, кинулись на врагов, соступились с полками Киевскими... и катятся головы их с плеч долой, стелются хладные трупы по *полчищу.*

Вдруг от Волотова поля летит кто-то по дороге, словно падучая звезда по небу; Бухарский конь, как из серебра литой; на Витязе блестит золотая кольчуга, рассыпается по ней утреннее солнце, от копыт конских искры ключом бьют, гудит поле; врезался он во вражьи Киевские силы,— *куда махнет — там улица, куда отмахнет — с переулками.*

Развернулись снова знамена Владимировы, одушевилась рать его, радостный крик вьется под небо.

Полки Киевские *дали плечи*[1], бросили оружье, бегут во все концы, а Владимир с своими вслед за беглецами... сечет мечом, сыплет в тыл им стрелы... Молят пощады.

Утихла брань, зазвенела победа в щит, кличет слава.

Идут вящшие мужи Новгородские навстречу Владимиру, выносят ему хлеб и соль.

[1] Выражение русских летописей XVI—XVII вв.— *А. Б.*

«Много победы, братья! — говорят они друг другу.— Око не дозрит, ум не домыслит!»

Молит Владимир могучего юного Витязя, своего спасителя, идти к нему на пир в двор Княжеский.

— Кто ты,— говорит ему,— божья десница, неведомый друже?.. Брат мой родной затерял свою правду, ударил на свободу разбоем, а ты, местник мой! будь мне братом названым!

И Владимир взял за руку молодого Витязя, прижал его крепко к груди.

— Будь мне любовным приятелем! — вскрикнул он снова. Витязь приподнял решетку шлема, и Владимир облобызал его.

Пылко разгорелись молодые ланиты Витязя, русые кудри рассыпались по золотым кольцам панциря.

Взглянул на него Владимир, и остановились на нем удивленные его взоры.

— Дивлюсь красоте твоей, молодости и силе! Скажи мне твое имя, Витязь? скажи свою дедину и отчину? Где твоя родина, отец и мать и все кровные? Не в моей ли земле уродился ты?

— Нет, далеко отсюда,— отвечал Витязь,— имя свое по зароку не поведаю никому.

— Брат мой названый! — говорит Владимир.— Будь же у меня гостем хоть на один день.

Ведет он гостя в белокаменные грановитые палаты, в горницы хитро разукрашенные.

Вступает рать Владимира в Новгород, ведет за собою *повязанных*[1] Киевлян и Полочан, меняет на золото и на серебро.

Поднялся пир горой в целом Новгороде; возглашают милое слово Божичу, несут богатый покорм *богам Дубравным*[2].

В гриднице сидят за браным столом люди старейшие и люди Княжеские; мед пенится, пена снопом рассыпается; испивают гости мед, славят Князя, дружину его и храброго Витязя; а Витязь сидит за особым столом с Князем Владимиром, беседует с ним о подвигах великих и могучих богатырей. Пьет Князь хмельный мед за здравье его, наливает сам, подносит сам ему. Долго Витязь пить отказывался, да Влади-

[1] Пленный, окованный.

[2] Здесь: древнерусские языческие боги (Перун, Даждьбог, Стрибог, Хорс и др.).— *А. Б.*

мир неуступчивый, его упрашивает. Пьет за здравие отца его и матери, подносит ему; пьет за все богатырство и ратных людей, подносит ему.

Заиграл хмельный мед на буйных плечах Витязя; скатился шлем с головы, огонь в ланитах переливается.

Вспыхнул Князь Владимир, увидев в очи Витязя.

— Ну,— говорит Витязь измолкшим голосом,— Князь Владимир! упоил ты Царя-Царевича, упоил... и спать уложи!

Ведет Князь Владимир гостя своего в сенник Княжеский.

А в Гриднице пир горой; разгулялся и приспешник Витязя, сбрасывает железную шапку, кудри разглаживает.

— Ну,— говорит,— добрые люди, подайте мне гусли звонкие; взыграю я вам песню знакомую. Помните ли вы, как пел вам Гусляр в стане Княжеском?

Все узнают в приспешнике того Гусляра-сказочника, что рассказывал сказку по Царь-девицу.

IV

Ходит ясный месяц по синему небу, расстилается серебряный свет по Приволховью, задремал Ильмень, задумались концы Новгородские, мирится душа со *спокоем,* спят люди. Только стража у городских ворот и на бойницах Детинца еще перекликается.

Тихо и в Княжеском дворе. Опочивает уже Князь, возлегает и гость его Царь-Царевич на мягких постелях под собольими одеялами; но в сеннике светильник теплится, бросает тусклые лучи на золоченые резные стены, и лавки, крытые махровыми коврами Шемаханскими, и на золотые доспехи с гвоздями алмазными, и на кровать с багрецовой занавескою...

Тихо; но кажется, кто-то словно мед испивает устами... словно умирает, утоляя горячую жажду... и душа шумит уже крыльями...

Ясный месяц идет по небу над Волховом, заглянул в окно и спрятался в тучку, зарделся и снова из тучки поглядывает с завистью на терем высокий.

И хлынули чьи-то горькие слезы, всхлипнули чьи-то тихие жалобы...

Поднялось *прозорье*[1], красное солнце выкатилось из-за Волотова поля, сыплет лучи в красное теремное окно. Лежит на кровати девица... спит, красная, зарей разрумянилась, грудь волною колышется.

Дал бы бог кому в жизни все радости, наделил бы кого золотыми горами, умом и разумом, честью и славою,— все бы отдал он за красную девицу; а кто видел ее, тот смотри в глаза солнцу, не бойся, нет ничего на небе, только черное пятно катится от востока к западу.

А кто слышал ее сладкие речи, тот запоем пил пьяный мед, голова кружится, а земля под ним ходуном идет.

Встала утренняя заря, пробудилась и красная девица, вздохнула и задумалась.

А Князь Владимир ждет в стольной палате гостя своего.

Выходит гость, весь в доспехи окован, решетка шлемная опущена; велит он приспешнику седлать коня своего.

— Прощай,— говорит,— прощай Князь Владимир, угостил ты меня! долго не забуду твоего хмельного вина! упоил ты меня горьким стыдом да раскаяньем!

— Останься! — молит его Владимир.— Смилят ли тебя мои речи и просьбы, Царь-Царевич!

Царь-Царевич не внимает Владимиру.

Целует своего любовного, белого коня в ясные очи, вскочил на него и помчался перегонять ветры в чистом поле. Скачет приспешник за ним.

В чистом поле приподнял Царь-Царевич решетку шлемную, глубоко вздохнул; а слезы, как быстрина речная, текут из его очей.

Искра запала в кудель, а горе на душу.

Задует ли искру, потушит ли горе слезами!

V

Едет Царь-Царевич от Новгорода в Восточные земли. Тихо едет.

Едет и Светославич от Киева на восход солнца.

---

[1] Рассвет.

Быстро скачет.

Грустно Светославичу расставаться с родной лужайкой, а грустнее того с соседом красным теремом, в котором живет ненаглядная девица.

Глубоко вздохнул Светославич, когда очутился перед ним, захрапел, заржал конь вороной, на седле парчовая подушка пуховая, сбруя гремучая, бахромчатая.

Вскочил Светославич на коня.

— Ну! — говорит.— Куда путь держать?

Откуда ни возьмись, завился перед ним черный пес мохнатый, заластился, хвостом замотал, путь ему кажет.

Бежит пес правым берегом Днепра, едет за ним Светославич; *всперенный* конь чуть до земли дотрагивается.

Не останавливается он ни в селах, ни в городах, ни на *становищах*, ни на *виталищах*[1]; не дивится он ничему, что *дивее дива* для *простой чади*,— у него одно в голове: красная дева да череп отцовский. Не дивится он и тому, что все люди городские и сельские, прохожие, проезжие и встречные, кланяются ему как знакомому.

На перевозе в пояс кланяются ему перевощики.

— Куда изволишь путь держать, милостивец наш? Одинодинехонек, только с любовным псом своим; одному за Днепр не дорога бы, леса полны разбоя; аль жизнь тебе принаскучила?

— Ага! — отвечает юноша, не внимая речам перевощиков; и едет далее.

— То так! — говорят про себя перевощики.— Одурел, ни слова не молвит... Уж не жена ли прогнала на торг в Белую вежу?.. ох гостница неусытная, купница бесовская!

Выбирается Светославич на *Муравский шлях*[2], несется левым берегом Днепра, частым бором. Не останавливают его *песнивые* птицы, различными голосами возглашающие песни красные, ни косы, ни иволги, ни сковранцы, ни щуры, ни жланы, ни сои радужные, ни соловьи многогласные.

[1] Гостиница. *(Прим. Вельтмана.)*

В памятниках XI—XVI вв. «витательница, витальня» — обиталище, обитель: постоялый двор только в Алфавите XVII в. назван «витательница».- *А. Б.*

[2] Степной путь от Перекопа к г. Туле, один из главных путей ордынских набегов на Русь.— *А. Б.*

Только люди скучают ему.

— Хэ, кум! кудысе-тко?.. Стой! аль в Торг?

— Эгэ! — отвечает юноша.

— Милуй тебя боже! путь добрый!

Светославич проедет.

«Провались ты, не кум — пес неласковый! — шепчет про себя встречный.— Купил кожух новый, зазнался!»

Подъедет Светославич к селу, скачет мимо хоровода, мимо кружала с брагой и лавок, уставленных коробками с кисличками, орехами, репой и пряным печеньем. Вся деревня уставит на него глаза, хороводы остановятся, песни замолкнут, старцы привстанут с залавок, малые дети утрут нос кулаком, и все поклонятся ему в пояс; а красные девицы перешептываются:

— Боярич наш в путь собрался!

— Сам-один, а лишь с мурым псом!

— То, верно, ловы деять?

— А какой на нем кунтуш узорчатый, шелковой, зо́лот пояс стан перепоясал, червонные сапоги тороченые, у бедра сабля стучит!.. а какой доброликой, румяной, кудри словно кудель крученая!

— Здравствуй, Господин Боярин! — восклицает вся деревня.

А между тем Тиун сельский и старосты заставили уже ему собою путь, кланяются, умоляют, упрашивают на Валявицу посмотреть, хороводы зобачить, песен послушать, прикушать браги и меду.

Не слушает их Светославич, воротит коня в сторону, объезжает толпу.

— Что немилостив к нам, Государь, не изволишь нашего хлеба-соли откушать? — продолжает Тиун.— Аль прогневался на нас, родной отец?

— Ого! — отвечает юноша и, стиснув коня, проносится сквозь толпу, давит людей, скачет далее.

— Ох, люди, не добро! быть беде! — говорят селяне, и праздник умолкает, все расходятся по домам, ждут немилости Боярской.

Едет Светославич далее, частым лесом; едут навстречу ему люди конные, вооруженные, красные плащи развеваются, скуфья набекрень.

— Что, Якун, едут?

— Ага! — отвечает им Светославич.

— А ты куда? или что сгубил?

— Эгэ! — отвечает Светославич.

— Ну, ворочайся спешно, а мы засядем в дубраве.

Таким образом Светославич ехал и встречал везде знакомых. То принимали его за слугу хоромного, едущего сбирать по волости скот и *почеревые*[1] деньги в пользу Божницы; то за мужа *взбранного*[2] Княжеского, и просили защитить *десное*[3]; то за балия, вещуна, чаровника или волхва, и молили его отговорить *влающихся*[4].

Сердится Светославич на людей; досадны, несносны ему люди.

Вот проехал он уже речку *Большой Тор*, что течет из *гор Святых* да впадает в Дон-реку. Вот на речке на Тернавке проезжает мимо *каменного болвана*, которому все прохожие и проезжие кладут *доездные памяти*[5].

— Стой! — говорит ему вещун молебницы придорожной.— Клади поклон, клади память Божичу Туру-путеводителю. Без того не будет тебе пути.

— Нет у меня ничего! — отвечает юноша.

— Нет ничего! вынь из главы твоей волос и спали в жертву Божичу.

— Нет тебе ни волоса! — говорит Светославич и едет далее.

— Ну, не будет тебе пути! — кричит ему вслед вещун.

Вот подъехал юноша к реке *Самаре*; перед перевозом, по обе стороны пути, стоят великие каменные *болваны*, курятся перед ними Обеты.

— Стой! — говорят ему *вещуны* у перевоза.— Положи память *Госпоже да Фрее*!

— Нет у меня памяти,— отвечает им сердито Светославич.

— Морочишь!.. есть на тебе кожух золотой, скинь ко-

---

[1] Плата с чрева за зазорного младенца.

[2] Военный. *(Прим. Вельтмана.)*

Домыслено Вельтманом; прямой смысл в древнерусском языке — запрещенный.— *А. Б.*

[3] Правое.— *А. Б.*

[4] Здесь: ссорящихся.— *А. Б.*

[5] В XVII в.— разновидность государственных документов; здесь Вельтман использует слово в значении подношения божеству — «болвану».— *А. Б.*

жух!.. плащ, лаженный золотом и серебром... клади!.. Госпожа даст тебе путь и честь, а Фрея любовь к тебе положит на сердце дев красных.

— Сам ты Фрея! — произносит сердито Светославич, вырвавшись из толпы жрецов и перевощиков, окруживших его.

Мохнатый пес плывет чрез реку Самару. Светославич вслед за ним.

Клянут его жрецы, приподнимаясь с земли.

Быстро несется он чрез мирные поля. Поет оратай веселую песню; не рогатыми волами, не конем орет он землю: орет он парой Литвинов, подгоняет Литвинов длинной хворостиной.

Пронесся Светославич чрез широкие степи, скачет глубокою долиной под навесом частых дерев; вдруг слышит... навстречу ему конский скок... в глубине долины, по извилистой дороге пыль взвивается... нет-нет и вдруг вопль женщины... Приостановился Светославич, а из-за поворота дороги прямо на него мчится всадник, налетел, конь встал как вкопанный, загородил ему путь Светославич.

Вопль женщины повторился; она лежала поперек седла, перед всадником, обхваченная левою его рукою и окутанная в красную полость, перекинутую через плечо.

Внезапно остановленный, едва усидел он на седле, грозно окинул глазами Светославича, под которым черный конь фыркал, взрывал копытом землю, вскидывал голову, звучал цепями узды.

— Дорогу, Витязь! — вскричал встречный всадник.

— Спаси! спаси меня! — раздался голос женщины.

— Дорогу! — повторил всадник.— Или меряй силы!

— Эгэ! — произнес равнодушно юноша, кивнув головой и не двигаясь с места.

— Ха! подорожный вор! — пробормотал сквозь зубы встречный.— Кто бы ты ни был, могучий или слабый, честная кровь течет в тебе или ядовитый черный сок: все равно для меня! не говори твоего имени, не растворяй уста, чтоб не слышать лай собаки!.. дорогу!..

Выхватив меч из ножен, всадник наскочил на Светославича. Светославич, выхватив также меч свой, отразил удар и не двигался с места.

— Дорогу! — повторил всадник.

— Спаси меня, Витязь добрый! спаси! — вопила женщина, протягивая к Светославичу руки.

— Пусти ее! — произнес Светославич.— И ступай куда хочешь!

— А! девошник! по речам видно, что у тебя зубов еще нет!.. верно, не лобызал ты еще никого, кроме сосца материнского!.. недаром полюбил на-голос мою рабыню и хочешь ратовать ее!.. Честному встречному нет дела ни до слез, ни до женского смеха!.. Годи, годи!.. ну, кому достанется!..

И неизвестный соскочил с своего коня, сложил деву с рук своих на траву, подле дороги. Риза из багряной камки струилась от ее чешуйчатого пояса; лица нельзя было рассмотреть: оно было завешено широким покрывалом, которое ниспадало до земли, как полы опущенного шатра, от золотой маковки, светившейся на высокой остроконечной ее шапочке.

Дева припала на колени, сложила руки, как будто молясь Светославичу; а незнакомец, сбросив с себя красную манту, обнажил под железным нагрудником черное полукафтанье, обшитое чешуей медной и перетянутое кожаным поясом, на котором висела длинная спада; сапоги также перетянуты были подвязками выше колена и также обшиты чешуею; из-под остроконечного шишака его струились по плечам рыжие кудри.

— Ну! — произнес он.— Слезай с коня, если ты могучий богатырь!.. на конях дерутся только трусы! слезай! узнаю я, что́ привык ты носить, оковы или меч!.. Молись своему богу, а я своему,— молитва точит и тупит меч, наносит и отводит удары.

Он вонзил свою спаду в землю, накрыл ее плащом, надел шишак свой на рукоять, сложил на землю лук, рассыпал из тула стрелы и продолжал:

— Вот мой бог, дай мне призвать сильные его удары и остроту на помощь...

— Точи словами меч свой,— ответил юноша, нетерпеливо откинув решетку своего шлема.

Неизвестный, припав к земле за плащом, наложил стрелу на тетиву, приподнялся, быстро нацелил в бок стоявшему нетерпеливо Светославичу... и вдруг лук и стрела выпали из рук его.

— Жупан мой! Кирк мой Марко! — едва проговорил он трепетным голосом, упав на колена.

— Отец мой! — вскричала дева, бросаясь к Светославичу.— Отец мой! спаси меня от похитителя, от насильника Зувведя!

— Не верь ей, Жупан Марко! — вскричал неизвестный, подползая на коленях к Светославичу, который смотрел то на деву, то на незнакомца и не постигал речей их.

— Не верь ей! — продолжал незнакомец.— Она женщина!.. я расскажу тебе все, как было. Раим Зуввель, старый слуга твой, так же верен, как верен тебе меч, который носишь ты при бедре.

— Не верь ему, отец мой, не верь!.. клеветою полны уста его! — восклицала дева.

— Верно слово мое, как правое око Тира, когда удостоивает он метить громоносною стрелою в противных ему великанов. Третья луна народилась с тех пор, как ты, великий Жупан, пошел с людьми своими отнимать у врагов родные свои земли Дунайские. Без тебя правил я верно и праведно слугами твоих высоких горниц и белого двора твоего. Скажут тебе подтве́рждение покорных речей моих *Сардарь*[1] твой и *Редялы*. В Вертах твоих не коснулась ни одна стопа до разостланных ковров Маем, только дочь твоя Вояна водила хороводы с Панскими дворовыми девами и пела песни; ты ведаешь, великий Каган, презренного раба твоего Гусляра Словако Радо?..

Восклицание девы перервало слова Зуввеля; она закрыла лицо свое.

— Не ведаю как,— продолжал Зуввель,— только Радо бывал в хороводах в женской одежде, а узнал я про то...

— Ой, бога-ми! не веруй ему, отец мой, не веруй! — возопила дева, и вдруг очи ее заблистали, она с отчаянием кинулась на Зуввеля, выхватила нож из-за пояса его; как молния из тучи, блеснуло железо в руках ее...

Зуввель опрокинулся лицом ниц, кровь хлынула ключом... Отлетела душа его, как испуганный ворон от трупа.

Дева без чувств покатилась на землю. Мохнатый пес завыл.

Долго стоял юноша, пораженный чудным зрелищем.

---

[1] Глава войска, то же, что Сераскир. *Сер* по-Персидски глава и *аскир* — войско (по-Араб⟨ски⟩).

«Вот чем поили меня!..» — произнес он наконец и, с отвращением отбросив взоры свои от потока крови, слез с коня, поднял беспамятную девушку с собою на седло и поехал далее.

Конь его шел плавным, скорым шагом; пес бежал впереди, свесив язык в сторону, изогнув хвост улиткой. Дорога разделилась на два пути, один пошел прямо к Русскому морю, другой потянулся подле высокого земляного вала Вправо от Хилеи, т. е. Святой земли, синелись воды *Зиавара.*

Светославич смотрел в очи красавице, которая лежала у него на руках. Казалось, что черные длинные ресницы загорятся от пламени ланит: из уст ее вылетел тяжкий вздох, юноша засмотрелся... Ему казалось, что грудь ее слишком сжата, как будто кованным из жемчуга нагрудником; он распустил застежки, она вздохнула легче, грудь ее заволновалась свободнее, уста что-то шептали, как у младенца, который просит поцелуя или груди материнской. У юноши выпала из рук узда, обеими руками прижал он деву к сердцу, прикоснулся устами к устам.

Дева очнулась от поцелуя.

— Отец мой! — вскричала она, и обвила юношу, и горячо поцеловала.— Отец мой! ты не поверил Зуввелю?.. не веруй ему, он злодей, клевета его пала на всех нас... клянусь белошелковыми волосами твоими, что у Радо чиста душа, как звуки его песен. Ты сам любишь его песни...

Светославич вздохнул.

— А ты любишь его песни? — спросил он.

— Я?..— произнесла дева, смутясь.— Злодей Зуввель наговорил тебе на меня... хотел оторвать от твоего сердца, разлучить хотел...

— С Радо?

Девица зарделась.

— С тобою,— произнесла она и обвила снова Светославича.

Но он равнодушно принял ее ласки, какая-то память вдруг обдала его холодом; схватив узду и сдавив коня коленами, он быстро помчался за бегущим псом.

Едва только выбрался Светославич из леса... за широкой долиною, на покатости, разделенной тремя истоками, вытекающими из горы, покрытой садами и лесом, открылось село, огражденное деревянной стеною с отлогами; на расстоя-

нии полупоприща возвышались каменные бойницы; между разбросанными по холмам домами, похожими на сброшенные на землю крыши, стояли несколько мольбищ с вежами высокими.

— Отец мой! — вскричала дева.— Вот и станица твоя, *Босна*! О, как радостна душа моя! Вон горница моя... светит за зеленым садом!

Пес бежал прямо к городу. Встречные люди останавливались, всматривались в Светославича и вдруг с удивлением снимали мохнатые шапки, кланялись в пояс.

Вот подъехал Светославич к воротам; стража с изумлением выровняла свои секиры.

— Жупан Марко! — раздалось во всех устах, и молва перегнала приезжего. Весь народ поднялся на ноги, стекается отовсюду на встречу.

— Пан ты наш, Государь! — кричат со всех сторон.

— Да где же глас рогов и бубнов?.. не взметается пыль по пути? — шепчут все, смотря на извивающийся путь в гору, с которого приехал Светославич.

— Не видно!.. или сгинули отцы, мужья и дети наши от меча и жажды в недозираемой дали?

Но, несмотря на все сомнения, народ стекается, кричит:

— Здравствуй, Пан ты наш, Государь, Краль Марко! и с своею Кралицею Вояною!

Снимают Светославича и Вояну с коня, ведут под руки в высокие палаты; обступил народ палаты, сошлись скоморохи, зычат в бубны, побрякивают кольцами, дудят в глиняные дудки, пищат в сопелки, рады все, что приехал Краль Марко.

И Светославич доволен, что приехал в Уряд Бошнякской Жупании. Он не дивится, что у него борода как лес, а полы багряницы, словно шатер, вокруг него раскинулись, а сорочка бисером *покидана, цетавая* гривна на шее висит, на руках золотые обручи, стан перетянут поясом *велеремитом* и меч золотой при бедре, а вокруг него стоят Бояры и *Редялы* в златых гривнах, и поясах, и обручах. Никто не спрашивает его, какими крылами взлетел, каким путем пришел.

Ведут его в светлые палаты. Стены цветными камнями разукрашены, посреди мраморный водобой. Против солнца у стола пристолец золотой, кругом — лавки дорогими шелковыми коврами устланы.

Садится он на пристолец, берет костыль, сажает подле себя Кралицу.

— Приведите ко мне,— говорит он,— Гусляра Радо.

Вспыхнула, вздрогнула Кралица Вояна.

Привели Гусляра Радо; бледен, как лунный свет, упал в ноги Светославичу.

— Ну, Гусляр Радо, заиграй, запой ту песню, что любит Кралица Вояна; ладно споешь, дам тебе все желанное.

Ходит страх по членам Радо. «Ну,— думает он,— заиграю я себе конечную песню!» Строит гусли, ударил в звонкие струны, вскинул очи к небу, вздохнул и запел:

Встала тьма от синего моря,
Взвилась тьма по раннему небу!
А в зеленом садике сударик сидит,
Сударик сидит, душа плачется!
Вьется вран над его головою,
Тощий вран накликает братью:
«Ей, слетайтесь, братики, недолго пождать,
Горюн молодец истоскуется».

Кончил Радо песню, поклонился Пану Жупану и Кралице.

— Ладно ты спел,— сказал Светославич, откидывая висячие усы на сторону.— Отдал бы я тебе за сладкую песню и Кралицу Вояну, да станется ли ей то по сердцу!

Не верят Радо и Вояна слуху своему, не верят речам Пана Жупана; припала Кралица к руке его, покатился Радо в ноги, зарыдали от радости,— верно, много было слез на сердце.

Дивятся знаменитые мужи Жупанства, Редялы и все люди дворовые и сельные: Краль отдает Кралицу за Гусляра Радо!.. будет нам *часть* под панские гусли плясать!

— Ну,— говорит Светославич Редялам,— подайте мне череп Русского Князя Светослава, хочу им сладкий мед черпать и за здравье Вояны и Рады выкушать.

Заметались Редялы во все стороны, бегут в панские кладовые, перерыли в ларях сокровища... Черепа нет!

— Государь, Краль, Жупан Марко,— говорят они,— почерпни сладкого меду иным златым ковшом, а череп Князя Светослава ты изволил с собою взять, верно, сгубил.

Вскипело у Светославича сердце злой досадою, затряслась борода.

— Коня! — крикнул он. Идет на крыльцо.

Не ведает никто, чего угодно их Жупану Марку.

Радо, Вояна и дворовые люди идут за ним на крыльцо.

Готов конь, землю роет, сбруей потряхивает.

Садится на коня Светославич; лает пес, хвостом мотает, выбегает вперед на путь.

— Оставляешь ты нас, Государь родитель! — заплакали Вояна и Радо.

— Опять оставляешь ты нас сиротами, Государь родной отец! Кто ж без тебя будет рядить Царство? — заголосил народ.

— Вот вам Царь Государь и с Царицею! — отвечает Светославич, указывая на Радо и Вояну.

Закинул узду, вскочил на коня, несется городом, мчится в широкое поле, только пыль вьется вихрем.

Смотрит народ вслед за ним, недобром поговаривает, на Радо искоса поглядывает.

Не быть тут добру.

Скачет опять один-одинехонек за мурым псом; опять ни жажды, ни голода, ни усталости.

Вот уж переехал Светославич реку Святую Перунову, широкий *Дана-Пирун,* да реку Святого Пана Буга, да Данастр, святую реку Торову, распахнулось влево море, раскинулись вправо высокие горы Волошские.

Вьется Дунай, извивается, впился в море семью устьями.

Видит Светославич, сошлись две силы великие, готовятся к бою; одна стоит по одну сторону долины, другая по другую. Одна сила Угорская, Семиградская, Капитан ее племени *Альмов*[1]; другая сила Бошнякская, Воеводою у ней сам седовласый Жупан.

Всполошились обе силы, завидели издали Светославича... а за ним тянется черное облако взвитого праха. «Ох, думают, к кому-то из нас помощь идет!»

Высылает Бошнякский Жупан послов навстречу Светославичу, спросить: кого ему надобно? кого ищет он, друга или недруга? к кому ведет рать, очами необъятную?

— Ищу,— отвечает Светославич,— Бошнякского Краля Марку.

Обрадовался Жупан Марко нежданной помощи, идет сам навстречу к Светославичу.

---

[1] Название одного из древних племен, кочевавших в Паннонии; здесь: гуннов, венгров.— *А. Б.*

— Как тебя звать-величать, добрый, младый Витязь? не ты ли Царь-Царевич Ордынский ведешь ко мне в помощь рать великую? О, спаси тебя промысел! теперь возвращу я родную Паннонию!.. предки наши жили в ней под кровом *Истины*, не знали иных господ и судей, кроме жрецов; никто не покорял нас, кроме Александра и Трояна... Пришли с Аттилой Гунны в пятом веке, покорили землю нашу... Вызвались к нам на помощь Саки Азы, Хангары да Хазары... изгнали Гуннов, а сами с своим Воеводою *Арпадом* поселились на земле нашей, завладели кровами и женами нашими... С тех пор мы не знаем приюта под небом, с тех пор бьемся мы за Дунайские берега, за родную Паннонию...

Светославич нетерпеливо слушал рассказ Жупана.

— Стой, Жупан Марко! прикажи сперва подать мне сладкого меду, утолить жажду; да прикажи подать мне любимую свою чашу, добытую мечом; не люблю я ни золота, ни дерева...

— Рад я гостю желанному! — говорит Марко.— Так рад, что напоил бы его из любимой своей чаши — из черепа Русского Князя Светослава; обделал я его в золото, выложил жемчугом и светлыми камнями — да отослал в дар Царю Византийскому...

Встрепенулась на Светославиче кованая броня, вспыхнула досада на лице.

— Прощай же,— говорит,— прощай Жупан Марко, не из чего у тебя гостей поить, верно, и пить нечего!

— Не сердись, Царь-Царевич, будь добр и милостив!

Светославич не внимает ему, садится на коня.

— Царь-Царевич! — продолжает Жупан.— Не хочешь ты сослужить мне службу, оставь хоть рать свою! а я бы угодил душе твоей, отдал бы за тебя единым единую дочь свою красную Вояну, наследовал бы ты Царство мое...

Не слушает Светославич, вставляет в стремя ногу.

— Царь-Царевич! — продолжает Жупан.— Оставь мне хоть рать свою!..

— Рать перед тобою! — отвечает Светославич и не оглядываясь мчится Дунайской долиной.

— Ну,— говорит Жупан Марко,— скачите гонцы к стану вражьему, трубите в гулкие трубы, вызывайте на бой!.. теперь у меня много силы! Завяжем дело, а к жаркой сече подоспеет рать Ордынская, хэ!.. смотрите, тьма темная идет с горы!

Скачут гонцы к Симиградскому стану, вызывают на бой. Велит Марко петь ратные песни, возглашать хвалу богам. Высыпают его воины из цветных шатров, наступают на силу вражью Семиградскую... сыплют стрелы, мечут сулицы, принимаются за крутые сабли, ждут помощи, а в помощь им только туча седого праха тянется с горы и стелется вдоль по равнине.

Не быть тут добру.

А Светославич уже на пути в Византию. Переплывает он широкий Дунай, конь его взвивается по скалам, по тропинкам. Светославич уже на хребте *Балкана*, взором окинул Фракийские скаты. Светло! так светло, что очи подернулись мраком и темные пятна кругом заходили.

Закрыл юноша очи, не может смотреть на день белый... и конь его встрепетнулся, нейдет, приподнимается на дыбы, опрокинулся назад. Светославич грохнулся на землю; пес взмотнул головой, лапами очи скребет, закатался по траве.

— Кто тут? — раздалось позади юноши.

Оглянулся Светославич, очи прозрели... видит седого старика, в долгой одежде, вервою опоясан, клюкою подпирается.

— Куда путь держишь, храбрый могучий Витязь? — спросил старик.

— Еду в Византию, дедушка...

— На службу Царю?.. добрый путь!

— Не добрый; огнем палит, проезду нет.

— Померещилось тебе; перевалишь Балкан, перекрестись и ступай с богом, служи верой и правдой Царю Грецкому; сам господь тебе путь укажет.

— Где ж он, дедушка?

— Господь на небеси, сударик; око недозрит Его, ум недомыслит: сотвори знамение крестное, Он придет к тебе на помощь.

— А как творить знамение, дедушка?

— Ох, дитятко, да ты не крещеный! Ну, смотри, вот, сложи персты так... клади на чело.

Светославич сложил уже персты, вдруг в очах его потемнело, голова закружилась.

— Постой, дедушка, сон клонит, мочи нет, дай отдохнуть...

— Зайди в пещерку мою, я напою и накормлю тебя духовною пищею.

У Светославича сомкнулись уже очи, ноги подкашивались; старец ввел его в пещерку; и он, обессиленный, припал на дерновую лавку, устланную свежими листьями.

— Спи, бог с тобою! — произнес старец, перекрестив его.

«Не принимай, не принимай креста!» — говорил чей-то голос на ухо Светославичу.

— Что? — произносит он во сне.

— Спи, бог с тобою! — повторяет старец, поправляя перед распятием светильню и подбавляя елею в череп человеческий, заменявший лампаду.

«Не принимай, не принимай креста!» — слышит опять Светославич, и кажется ему, что голос вьется из красного терема... терем плывет по воздуху... Видит он, в окошечке сидит девица, повторяет: «Не клади креста!.. морочит, разлучит нас с тобою!»

Светославич с умилением смотрит на образ девы. «Постой, радость моя!» — хочет он произнести... но терем исчез уже в отдалении, только слышится еще голос: «Добудь скорее череп отца!..»

И Светославичу кажется, что он уже мчится под гору, по пути к Византии. Вот светлый день заволокло туманом... Стоит посреди темного леса ветхий город, стены как копоть, черны, люди как тени, в широких одеждах, в черных покровах, ходят, поклоны кладут да молчат. «Где Византийский Царь?» — вопрошает Светославич. Ведут его в мраморные палаты... Сидит на пристольце старик с костылем, четки перебирает.

— Что, друг,— говорит,— не послом ли к нам?

— Послом! — отвечает Светославич.

— От кого?

— От Царя Днепровского Омута.

— Что, каково поживает?

— Сидит себе мирно в пучине да бурколов ловит.

— Доброе дело. Подайте же гостю сладкого меда испить из чаши, что Марко в гостинец на поклон прислал.

Вот два старичка, борода, словно белая пелена, до колен расстилается, несут на подносе куфу великую с медом да чудную чашу: белее рыбьего зуба, вышиной в три ладони, обделана в жемчуг да в яхонт румяный. Наливают в нее шипучий мед, подносят гостю незваному, Послу нежданному. Взял Светославич чашу в руки... так кровь в нем и закипела от радости. «Ее-то мне было и надобно!» — думает он, да как

хлестнет вином по лицу старичков-виночерпиев Царских, да тягу... с крыльца, на коня, через город, давит людей, крик и вопль, гонит за ним погоня, а он от погони стрелой да стрелой, все в гору да в гору... утёк!.. устал, утомился, зной градом с чела, взобрался на высь Балкана...

— Зайди в пещерку мою! — говорит ему знакомый старец.

Рад он приюту, соскочил с коня, входит в пещеру и бух на прилавок...

Очнулся... Смотрит кругом: в камне темная келейка, стены от времени черны как копоть, в уголку на камне крест, перед крестом в черепе теплится *светло*[1]. Подле, на лавке, лежит старичок, руки крест-накрест, не дышит; а на полу валяется псиная шкурка.

Привстал Светославич, ищет около себя чаши... нет ее! Окинул снова взорами пещерку, увидел череп... в черепе теплится свет!.. чело в три ладони, только края как пила, и нет вокруг них ни жемчугу, ни светлых камней! — обгрыз с него обод жемчужный!.. «Старен, седой!» — произнес Светославич с досадой; схватил череп, выплеснул из него елей.

И вот любуется он черепом, доволен, что наконец добыл его. Припоминает, с каким трудом он ему достался; особенно поездка в Византию показалась ему тяжела. Припоминает погоню за собой, и холод пробегает в первый раз по членам его; боится он, чтоб у него не отняли злые люди черепа. Не поклонясь за ночлег отжившему своему хозяину, Светославич выбегает из пещерки; конь его пасется на лугу, он на коня, хвать вожатого пса — нет его!

Нечего делать, едет без пути, без дороги, долой с высоких гор в широкие долы. «Назад найду путь»,— думает.

Вот проезжает Дунай. Лежит на берегу Дуная сила побитая. Долина устлана людьми ратными, а Жупан Гетманище Марко, выпучив глаза, мотается на высоком дубу, посреди холма; вокруг него висят вящшие мужи и воеводы. Носится по полю, в густом тумане, *Морана* с хищными птицами, считает, сколько легло.

Подъехал Светославич к высокому холму, узнал Жупана Марку в лицо, говорит к нему:

— Эй, Жупан Марко! Где путь к широкому Днепру?

Спугнул его звонкий голос стаю черных воронов, а Жу-

---

[1] Лампада.— *А. В.*

пан Марко молчит, вытулил очи, высунул язык, словно дразнит Светославича, закачался, отвернулся от него.

Слез Светославич с коня, толкает ногой лежащих на земле ратников.

— Эй, добрые люди!.. поведайте, где путь к широкому Днепру?

Лежат, не отвечают, только стаи грачей каркают, да сороки трескочут, перелетая с трупа на труп, да псы с кровавым рылом издали лают.

— Правду молвил *Он*, что нет добра в людях! — прошептал с досадой Светославич; вскочил на коня и понесся лётом на полночь.

Видит, вдали сидит кто-то, при дорожке под ельничком, бренчит ладно на звонких гуслях.

Подъезжает к нему.

— Эй, добрый человек, куда путь лежит к широкому Днепру?

— Беспутный! — произносит сердито Гусляр, продолжая побрякивать молоточками по звонким струнам, напевает:

Вьется вран над его головою,
Тощий вран накликает братью:
«Ей, слетайтесь, братики, недолго пождать,
Горюн молодец истоскуется».

— Радо, Радо! откуда ты взялся! — вскричал Светославич.

Гусляр вздрогнул, гусли выпали из рук у него.

— Нет Радо,— произнес он,— да, был Радо да сгинул!.. недавно *младовал* Радо, змея уязвила его!.. Скинь машкару, садись, споем ему конечную песню.

— Нет время, Радо; укажи мне путь на полночь.

— Иди к Вояне, она и тебе путь укажет, и тебе скажет: беспутный!..

— Ну, веди к ней.

— К ней?.. Вояна молвила грозно: «Иди от меня в темную полночь!» Иди к ней, она и тебя изгонит, а люди вслед за тобою пойдут, проводят тебя за город лозою, с честью, с бубнами да с дудками... прощай, скажут, великий Пан Жупан, ладно на гуслях играл!..

— Вояна изгнала тебя? — произнес Светославич задумавшись.— За что ж изгнала она тебя? — продолжал он.

— А вот как было. Жупан Марко дал мне Вояну, дочь свою, и Царство свое дал. Вот и взял я за себя Вояну, и

Царство хотел взять же. Говорю ей: «Ты моя, и Царство мое же...» А она говорит: «Нет, ты мой, и Царство мое же. Я, говорит, буду править Царством, а ты играй на гуслях, и пой, и тешь меня». И стала править Царством. Играл бы я себе, жил бы припеваючи, да нет! раднее камень долотить, железо варить, измирать смертями, да не жить бы под властью жены! жена — мирской мятеж! Вояна взялась рядить по закону, а по закону Царю дается Царица, да семь жен, да триста положниц; и Вояна захотела, кроме меня, Царя, еще семь мужей, да триста положников. Заголосила тоска в душе! «Не могу!» — сказал я ей. «Беспутный,— промолвила она,— иди от меня! не пойдешь, велю проводить!» И проводили меня. «Играй, говорят, по селам, в гусли!» Я заплакал да и пошел. Ой, горе, мое горе, не звучит радость на сердце, все струнки полопались!

Радо приподнял гусли, заплакал.

Вздохнул Светославич, жалко ему стало.

«Что,— думает он,— и меня изгонит от себя красная девица?.. Нет!.. не изгонит... я не умею играть на гуслях!» — отвечает он сам себе.

— Пойдем со мною к Киеву, Радо, там много красных девиц.

— Нет, нейду, брошусь в воду,— отвечает Радо.

— Здесь поле, нет воды; а там Днепр широкий, а в Днепре живет Омут. Сослужи ему службу, он тебе даст Вояну.

— Вояну! — вскричал Радо.— Нет, не хочу! у Вояны семь мужей, триста положников! не хочу, не хочу! Здесь, под ельником, иссохну, буду звучать да звучать, покуда стихнет душка с измолкшей песней.

— Ну, умри, Радо,— сказал Светославич,— людской дедушка Мокош сказал: в гробу мир. Прощай.

— Прощай, не ведаю, как тебя величают.

Помчался Светославич, а Радо заиграл на разладных гусельцах горькую песенку; плакали звуки.

VI

Едет Царь-Царевич от Новгорода в Восточные земли. Тихо едет.

Горюет о чем-то Владимир.

Больно горюет.

Никто не ведает, откуда пришла печаль его, на каких крылах прилетела.

Горюет он, да не забывает дела.

Новобраные рати холмятся около Новгорода. Весь Новгород надел шапку железную, мечом опоясался.

Развевается стяг Господский на Вече, строятся около него челки полковые, тянутся за вал наряды и возы. Ходят по улицам стрельцы, на ремне через плечо кистень шестоперый да тул полон стрел, перённых орлиными перьями, обвитых около ушей золотыми нитями; пытают они, гнутся ли *рога* из белого рыбьего зуба, звенят ли *полосы*[1] каленые, поет ли тетивочка шелковая, верен ли глаз, метка ли рука. Не пролетай, черный ворон, через Новгород, снимут тебя с поднебесья; вейся, ластовица, кружись, сизый голубь,— не бойся, не тронут.

Выезжают конюхи-доспешники борзых коней, гладят их, чистят, охорашивают, в очи целуют.

Наряден стоит Княжеский полк Новгородский подле стяга Господского у палат; доспехи горят серебром и золотом, кольчуги искрами рассыпаются, *червленые чревья*[2] по колено, на плечах *багряные мантии*. В руках сила, в очах смелость.

Дивуются им люди жилые, гости и все люди Новгородские.

«Берегите,— говорят им,— нашего Князя, *вы город его*».

Варяжская дружина также красна и радостна; она скопилась на Торговище, у Варяжского Подворья. Там сидит Зигмунд, пьет пьяный мед, Княжего Указа ожидает.

Дивятся люди на их длинные *спады*, на их кованые железные доспехи, на их нагрудники с *печатями*, на их щиты великие с ликом солнца, на их секиры тяжкие.

Вот посылает Владимир Зигмунда Брестерзона с дружиной Варяжской воевать Князя Полоцкого, мстить ему за насилие Новуграду, требовать от него покорности и дани. Сам же собирается под Киев, шлет гонца к Ярополку с книгами писаными.

Пишет:

---

[1] Здесь: клинки для рубки, не заостренные с конца, как у древних ариев (см. комментарии к «Райне»).— *А. Б.*

[2] Сапоги. *(Прим. Вельтмана.)*

Чьревье в древнерусских памятниках — то же, что *черевье* (ср. черевики — общеславянское название обуви).— *А. Б.*

«Целовал ты, брате, светлое обличие, ходить тебе со мною по одной душе, а ты ныне, брате, вражды искал, переступил, затерял еси правду, изгубил Олега, ударил на свободу разбоем, обидел меня и обрядил волость мою — чим благословил отец мой, Князь Великий Светослав,— на поток и разграбление; порушил уставы отца и иду на Господский суд с тобою не лукавно и мечом решим правду по закону».

Повез гонец в Киев весть недобрую, каленую стрелу да острый меч.

А Зигмунд обложил уже Полтеск[1], велит сдаваться Рогвольду на милость. Рогвольд кидает назад ему стрелу с грамоткой, свищет ответ тучею стрел; надеется он на крепкие забрала свои и на гребни стен, унизанных ратью, словно светлыми камнями.

Подвозит Зигмунд, муж хитрый, ко оградам *Дела* ратные[2] и *Пороки* великие[3] и стал бить стены; и бросает каленые камни в город, рушит, поджигает домы; ставит к пробоям лестницы, взбирается на вал, сыплет стрелы и пращи... Рубит мечом, режется ножами.

Возопили Плесковцы[4], дали плечи, да некуда бежать. Рогвольд засел в Замке своем. Ожесточились Варяги, раскидали высокий тын по бревну, проломили ворота.

Бьется сам Рогвольд; с обеих сторон у него по щиту: по сыну родному. Отразил он Варягов, гонит назад; а Зигмунд навстречу ему.

Прилег Рогвольд к сырой земле кровавым телом, изрублены в мелкие куски железные щиты его — два родных сына.

Не было бы пощады и Рокгильде, горделивой деве, красной дочери Рогвольда, от злобных Варягов; распустили бы ее длинные косы, свеял бы *полуночный дух* ясную зорю с раннего неба, истекла бы ее душа горькими слезами, да приехал сам Владимир в Полоцк. Успела Рокгильда упасть к нему в ноги, молиться о смерти, пощадить от стыда.

---

[1] Полоцк.

[2] Tormentum — камнебросец; впоследствии делом называлась пушка.

[3] Стенобойные орудия. *(Прим. Вельтмана.)*

Это *тараны;* древнее слово «порок», встречающееся уже в Лаврентьевской, Ипатьевской и Новгородской I летописях, происходит от древнеславянского «перу» — бить (ср. Перун — бог грома и молнии).— *А. Б.*

[4] Псковичи; от старого написания «Плесков».

— Не жалуйся на меня,— сказал он ей,— не хотел я гибели отцу твоему, недобром поискал он меня, недобром взыскало и его время. Новгород выместил обиду; а я заменю тебе отца и братьев.

— Молила я тебя о жизни отца и братьев... о своей жизни не молю! Не свой кров, дай мне общий кров с ними — могилу! — гордо произнесла Рокгильда, приподнимаясь от земли и накинув пелену на голову.

Но Владимир так ласково, с таким участием говорил ей об отце ее. Владимир спас своим появлением и ее, и весь Полоцк от насилия Варягов...

Владимир сказал ей:

— Рокгильда, я просил тебя у отца твоего... твоя красота славится в Новгороде... я хотел быть сыном его, а не врагом; не отвергни же ты добрую волю и кров мой.

Смилилось сердце Рокгильды; по вспыхнувшим ланитам покатились слезы, да не утупили румянца.

— Возлюбила я тебя, Владимир,— сказала она,— как брата возлюбила, а женою не буду; мой обруч у Князя Киевского; ему обещана отцом; да не хочу быть и ему женою, приму обет Брудгуды.

Владимир ничего не отвечал на слова ее; но когда дела в Полтеске были уже устроены и собирался он ехать к дружине своей, идущей под Киев...

— Едешь со мною, Рокгильда? — спросил он таким голосом, на который зарумянившаяся Рокгильда ничего не могла отвечать, кроме:

— Еду, Владимир.

VII

Затуманилась даль, закрутились от севера тучи, повисли над Днепром грозою; взвился вихрь, метет, срывает тесовые кровли с горниц, повалуш и теремов, бьет молонья, палит Киев, а дождя ни капли.

— Недобро Киеву! — говорят люди.

Возмутилась душа у Ярополка. Гонит он от себя наложниц и псов, боится поверья: «враг в них живет». Призывает Блотада, слуг хоромных, велит читать мольбу и сам читает. Бледен, дрожит, такой грозы не бывало над Киевом; дрожит и весь терем, дрожит и земля, удар разит за ударом, струят-

ся *пламы*[1] по воздуху, день покрылся ночью, ночь обдалась пожаром.

Бежит на коне по чистому полю, по пути от Новгорода в Киев, всадник; широкий красный плащ вздувается на нем. За ним следом еще два всадника, один с значком на копье, другой с золотым кривым рогом через плечо.

Бьет их ветер в очи, осыпает прахом, блещет молонья на доспехах, вьется около красной манты.

Скачет всадник от Новгорода к Киеву, везет грамоту от Владимира Господаря Новгородского к Князю Ярополку Киевскому.

— Не добро везет Киеву! — говорят люди, провожая его в двор Княжеский.

Еще не успокоенный после страха, Ярополк читает книги Владимира.

Смута томит душу его, совесть будит раскаяние, слезы брызжут из очей, он хочет слать Владимиру дары навстречу, просить умириться с ним, забыть обиду, делиться с ним Волостью; но Свенельд задорит самолюбие Ярополка.

— Проси себе мира у Великого Князя Новгородского, шли поклон, дани и дары со всех областей своих Новгороду, установи покорностью своею старое первенство стола Новгородского.

Отправляет Ярополк посла Владимирова назад, без ответа.

Затрубила по Киеву и Властям Великокняжеская ратная труба, зашумели ветры на знаменах, забренчали кольчатые брони, застукали мечи о бедро, взвился прах по всем путям, стекаются рати.

Волнуется народ в Киеве, как море в бурю ходит валом. Не добро говорит про рать между братьями.

«Не к добру опалила гроза Киев, вихрь сорвал кровли с горниц!»

Смутен Киев, смутен и Ярополк; только у горестной Марии отлегла душа. Много печали готовили ей злые люди, да не подул попутный ветр злым умыслам.

В красном тереме Займища, как в тихой обители, жила она мирно, свято; помнила Ольгу, помнила и Владимира; молилась богу даровать Царство небесное Ольге, а Царство земное Владимиру.

Но скоро мир души ее нарушился. Однажды в *рощенье*[2]

[1] Всполохи.— *А. Б.*

[2] Здесь: в галерее.— *А. Б.*

терема чья-то огненная рука прикоснулась к ее руке; испуганная, без памяти она бежала в терем, без чувств упала на ложе; а мамка и сенные девушки видели, как нечистый дух влетел в окно и вылетел; да Святой крест спас Марию от похитителя, крылатого Змея Горыныча.

— Не к добру! — говорили мамки и сенные девушки.

С тех пор Мария призадумалась, стала ждать беды и дождалась.

Однажды приходит к ней Княжеский Думец Свенельд.

«Не к добру!» — помыслила она, и из очей ее выкатились два алмаза.

— Мария,— сказал лукавый Свенельд,— Ярополк поведал мне изволенье свое. Порадуйся, красная девица, не изнывать же тебе в одиночестве...

Побледнела Мария.

— Хочет он взять тебя в свой терем Киевский; готовься прилечь на Княжеское ложе...

— Не прилягу! — вскричала Мария.— Не прилягу, не водимая; не прилягу, не венчанная!..— и слезы градом брызнули из очей ее.

— Воли Князя не изведешь, Мария,— продолжал Свенельд,— в заутрие принесут тебе дары и одежды Княжия!..

— Не буду положницею Князя! не буду! — повторила Мария, заливаясь слезами.

— А жаль мне тебя!..— продолжал Свенельд.— Добролика ты и кротостию и благонравием преисполнена; не под стать бы тебе вкупе жить с потешницами Князя, с Ефиопскими девками.

— Сжалься надо мною!.. умру, а не буду в тереме Княжеском!..

— Рад бы помочь... да воля Княжая непреложна; умолил бы Князя...

— Умоли его,— перервала Мария, припав на колена,— умоли!..

— Умолил бы,— продолжал Свенельд,— чтоб отдал он тебя мне в жены, да лета прошли...

Мария, пораженная новым предложением, приподнялась с земли и не знала, что́ ей говорить лукавому старику.

— Нет! — произнесла она наконец.— По душе своей не опорочу себя; а по закону моему не буду женой идольника!.. не повью головы своей Русальной пеленою! Оставьте меня под кровом божиим, умру Белицею...

— Не право ты говоришь, Мария; красота твоя не келейная, жить тебе в снарядном дворе, в муравленом тереме, а я не идольник, кланяюсь Свету небесному... а воля твоя, избирай любое... Проведает Князь противность твою, изгонит он остальных Эллинских попов из Красного двора, спалит лики богов Эллинских, что дала тебе в наследие Ольга... Прощай...

— Постой, постой! — вскричала Мария, обливаясь слезами.

— Что прикажешь?..

— О, дай помыслить, дай избыть прежде слезы.

— Ну, вот тебе три дня на думу, избирай любое!..

Свенельд оставил Марию.

Почти без памяти от слез Мария; ходят около нее мамки и девушки; любопытство томит душу старухи. «Что-то ей наговорил Думец Княжеский, Варяг?» — шепчет она; хочется ей выпытать у Марии.

— Привести бы тебе, сударыня, ворожею; поворожила бы она, что за туга у тебя на сердце...

— К чему ворожить, мамушка, ворожбой от горя не отворожишься!.. — едва произносит в ответ Мария.

— Да что ж это за горе!.. Да не плачь, государыня, не плачь, не мути сердца; о чем тебе слезы проливать? Сядь к оконцу да подивись на божий день; послушай, под оконцем красно щебечет сизая ластовка; а *Сопец* на лугу песню пискает: *не горюй, душа красная девица...*

— Оставь меня, мамушка, оставь меня! — умоляет Мария неотвящивую старуху.

— Эх, дитятко! да что у тебя на сердце за дождевая туча? ливнем льет!.. Да сядь же под оконце! Утри ширинкою жемчужные слезки!.. То-то послушала бы я соловьиной твоей песенки!.. А за каким делом, сударыня, приходил к тебе Думец Варяг?.. Уж не он ли, вражий сын, намутил душу?.. Да не будет ли сам Князь?..

Мария молчала.

— Да скажи ж, девица! пугаться нечего... Припасти бы ему гощенья, послать бы ему браные паволоки... Принарядилась бы ты, сударыня...

Мария ни слова не отвечает, смачивает белую пелену слезами.

Старуха прогневалась, зашептала неласковые речи; ушла с досады, готовиться к приему Князя.

— Уж так,— говорит,— будет он сам!.. недаром прислал Думца наперед, недаром перепугалась девица.

А Мария изнывает в слезах; на сердце дождевая туча ливнем льет. Стонет душа ее, как горлица.

Много на белом свете радостей, да не всем в удел.

Тяжко, как наляжет ночь на душу; темная ночь, не горит на небе ни одной надежды звездочки.

Жизнь неласковая мачеха, слезы пьет, горем людским питается.

VIII

Между тем передняя Новгородская дружина приближалась уже к Киеву.

Овруч сдался без бою; и в Овруче вся рать должна была ожидать прибытия Владимира. По приказанию его она расположилась вокруг могилы Олеговой.

Недолго Владимир заставил ждать себя.

Приближаясь к городу, он прослезился, увидев зеленый холм, возвышавшийся посреди дружины его.

Встреченный радостным криком воинов, он велел петь *тризну* по брате и готовить *страву*[1].

Своими руками набрал Владимир полный шлем земли и сложил на могиле; воины последовали его примеру, и могила стала горой.

Девять дней совершал Владимир печальный обряд воспоминания и звал тень брата на суд с Ярополком; потом, развернув стяг Владычний, двинулся с соединенной дружиной своей под Киев.

На гордом коне в яблоках, под красным ковром, едет Владимир за стягом, окруженным Княжескими щитниками. Сверх зеленого бехтерца с золотыми разводами на нем златой панцирь; на плечах багряница Княжая *вся в золотых источниках.* На голове остроконечная шапка, лаженная многоцветными камнями; в правой руке булава.

Находившаяся в Искоростене передовая рать Киевская отступила к Радомыслу, от Радомысла к стольному граду.

Не встречая сопротивлений, Владимир расположился между селом *Дорожичем*, при вершине Лыбеди, и селом *Ка-*

[1] Страва, тризна — погребальные обряды древних славян.— *А. Б.*

пичем, при речке Желане. Левое крыло его примыкало к берегу Днепра, который был унизан Варяжскими ладьями, пришедшими с Зигмундом Брестерзоном от города Белого.

Княжеский намет раскинулся на холме близ *Капича*.

Солнце уже тлело на Западе за темными лесами правого берега Днепра; легкие вечерние облака, как пепел, покрывали его.

На высотах Киевских потухали златоверхие *горницы* и *высокии*[1], затмилась даль, стихнул шум в стане.

Устроив рать и нарядив сторожей, утомленный Владимир, после пути и горькой думы о раздоре с братом, забывался уже на мохнатом златорунном ковре, разостланном среди шатра.

Но по обычаю ратному, во время ночи воин не разоблачался. Поверье говорило: «на войне не ленитеся, не лагодите, не сложите с души бодрость, с тела оружие: не остражив себя, внезапу человек погибает».

И Князь лежал в бехтерце, в кольчатой броне, окутавшись в мантию, подбитую горностаем; только вместо тяжкого шлема на голове его была Княжеская шапка с пушистой собольей обложкой. Оседланный конь подле намета зобал сыченое пшено; сонный конюх держит его за уздечку. Близ откидной полы, опираясь на секиры, стояли стражи, молча считали ясные звезды на небе.

По долине протянулись туманы, со стороны полуночи играла зарница, вдали на реке заливался рожок; темная ночь лежала от земли до неба.

И вдруг повеял резкий ветерок, зашелестел полами и золотыми кистями Княжеского намета, Днепр зашумел, повалила волна на волну.

В это мгновение Владимир заснул; думы его как тучи понеслись в мир отражения прошедшего на бесцветной бездне будущего; видения роились, росли в отдалении... радужные полосы потекли Днепром между зелеными, крутыми берегами... из ярких пятен образовался Киев, блистающий золотыми верхами теремов и башен... тени, окутанные в прозрачные облака, превратились в несметную рать...

И видит Владимир... Взволновался весь Киев, взбурился Ярополк, идет на него... перебегает свет по шлемам и доспехам, посыпались стрелы, зашипели... быстро налетели Киевляне на Новгородцев, смяли их...

[1] Здесь: верхние этажи древнерусских дворцов.— *А. Б.*

Кровью облилось сердце Владимира, зароптала душа жалобы. «Звезда, звезда моя! где ты!» — произносит он, шарит рукою около себя, ищет меча... а враги окружают уже ставку его... Но кто-то в золотой броне быстро мчится к нему... и крикнула в это время стража подле ставки Владимира: «Слушай!» — а вдали прокатился гром, и резкий ветр захлопал полами шатра.

Вскочил Владимир, обданный ужасом.

— Это ты, помощь моя! — говорит он, выбежав из ставки и вырвав уздечку из рук дремавшего конюха; стражи встрепетнулись, видят, что Князь вскочил на коня, быстро помчался по пути, идущему через вершину Лыбеди. Пробудившиеся Гридни и Рынды не знают, следовать ли за ним? он не приказал.

Мчится Владимир чрез цепь сторожевую, конь его режет ночь наполы, свищет...

— О, мочный ветр дует! быть ненастью! — бормочет про себя воин, мимо которого он проносится. Во тьме кажется, что не один он скачет, с кем-то говорит, как будто держит спутника за руку и рядом, дружно, не отстает, не опережает его. Заиграет в тучах зарница, озарит предметы... нет никого с Владимиром, едет один-одинехонек, а ведет с кем-то речь.

«Возлюбил я тебя больше души своей! — говорит он. — К чему ж заковала ты себя в доспехи, увешала оружием, повила голову тяжким шлемом, обнесла свое сердце железной оградою?.. или не в память тебе, кто́ устами спалил тебя?.. или не в память тебе, как над Волховом плыл ясный месяц, загляделся в теремное оконце?.. Тогда не валы воздымались речные, воздымались девичьи перси; не ветрец взвевал мои кудри, а дух твой; не пищу уста принимали — лобзанье!.. Промолви хоть слово, куда мы бежим?.. Рать моя гибнет! ты не подашь мне руки на защиту, ты стала слабой женою!.. Куда ж мы бежим?.. Не ведешь ли меня к колыбели?.. Сын или дочь? скажи мне, промолви, Царевна!..»

Нет ответа на слова Владимира.

«Молчанье — недо́брая дума! — продолжает Владимир. — Говори! и ни шагу вперед! Безмолвна, Царь-девица, отвечай, Царь-Царевич! Куда мы бежим?.. Стой! не еду! не еду от рати своей! она погибает, и мне погибать с нею вместе!.. Жена!.. кованый перстень тебе бы надеть, а не броню! Что руку мне жмешь? что слова не молвишь?.. Прочь от меня, соблазн окаянный!»

И Владимир осадил на всем скаку коня, отдернул от кого-то свою правую руку. Вдалеке певень залился.

«Куда ж ты, куда! стой, Царевна! я еду с тобой! — вскричал Владимир, стиснул коня и помчался снова частым бором.— Еду с тобой! еду!.. где ж ты?.. где?..»

И смолк голос Владимира стоном; захрустели сухие сучья в трущобе, в глуши вспыхнул призрак, рассыпался в искры, потух.

Мрак ходит по лесу, каркают враны, гнездясь на сосновых вершинах, ветер гудит по ущельям, стонет птица ночная, горлица плачет, хохочет враг-полунощник — заливается зло́.

В глубине леса, под кровом убогим, сидит чернец над книгой, разбирает дивные письмена; душа его переливается в тишину золотых начертаний. Невнятны ему бури земные; видел он жизнь с обеих сторон; тешился он, любовался он румяным цветом — надеждой: и это цвет польный! — Видел он двух голубей, *зло* и *добро*, не живут друг без друга! Слышал он тайные мысли любви: «Питай меня,— говорит он,— питай! а не будешь питать, я огонь, я потухну или прильну к другому горючему сердцу!» Знал он и славу, слава — крылатые толки людские,— что в них?

Горит перед старцем светоч, как перед иконой; на черном гловуке его нашито белое крестное знамение, на обличии смирение и мудрость.

Внезапно, отклонив очи от книги, старец приложил ухо к окну, ему послышался на дворе мгновенный шум и стон.

Чрез несколько времени снова шорох, захрустели сучья, конь фыркнул.

— С нами бог! — произнес шепотом старец. Сотворив знамение, он взял светло и вышел из хижины.

Видит, близ плетня стоит конь оседланный. Заржал конь, как будто обрадовался старцу.

«Тут должен быть и седок»,— думает старец, приближаясь к плетню.

Подле плетня лежит человек в ратной одежде; но без шлема, без покрова, и без памяти распростерт он на земле.

— Жив ли он? — произнес старец, расстегивая броню и приложив руку к его сердцу.

А конь ржет тихо, радостно, преклоняет голову к беспамятному Господину своему, обнюхивает его.

— Хвала вечному, жив! Обличие его добросанно, на ус-

тах кротость, на челе мир, на одежде злато,— то светлый муж!

И старец с трудом приподнял неизвестного, понес в свою хижину.

Конь идет за ним, провожает его; только низкие двери остановили коня у порога.

IX

Между тем как Радо допевал свою конечную песню, а Владимир скакал за привидением; между тем как Императоры Василий II и Константин VIII теснились на престоле Цареградском, как близнецы в чреве матери, и не ведали того, что Отто II, Император Альмании, с своими Форстами, Графами и Бишофами, взят в Италии соединенною ратью Греков и Сарацин в плен и выкуплен из плена voor weynigh geld Русским Купцом Рафном, который старого щедрого покупщика мехов своих узнал в толпе окованных... между тем как сей же Отто называет Царем Рима новорожденного сына своего Отто III,— Светославич добрался до реки Днепра; но не прямым путем. Не имея у себя проводника и не полагаясь на слова верных людей, он ехал назад по своим следам. Берегом Русского моря добрался он до Уряда Бошнякской Жупании, хотел было заехать в гости к Вояне, но ему сказали люди, что Вояна занята Господским делом: выбирает себе семь мужей да триста положников новых, а всех старых мужей и положников сажает на кол.

Светославич поворотил от Уряда влево, по пути к Киеву, поскакал быстро. Пробравшись в царство Русское, видит он, что все люди в пояс ему кланяются, Князем Владимиром величают.

«А! — думает он.— Так вот истинное имя мое».

Вечер настиг Светославича невдалеке уже от золотых верхов Киева.

«Близко, близко Днепр! — думает он.— Близко мое яркое злато, красное солнце девица!.. Нет, не изгонит она меня от себя... я не Радо, я не Гусляр; а Царь Омут сказал: Днепровское царство будет мое, и она моя же... моя же будет!.. я все сделал, что хотел Царь Омут, и Царь Омут сделает все, что я хочу... а я хочу целовать румянчики на светлом лике девицы... да ласкать ее, а больше ничего не хочу... не хочу и Царством править... пусть правят люди...»

Сладкие думы налегли на душу Светославича, а железный шлем давил чело, холодный ветр обдавал силы холодом, тряская рысь коня разбивала мысли; а Светославичу хотелось, чтобы никто не нарушал его сладких дум.

Слез он с коня, пустил его на траву, приблизился к мшистому корню густой липы; а под липой лежит шитая золотом, обложенная соболем покойная шапка, лежит и манта багрецовая, подбитая горностаем. Сбросив с себя шлем, надел Светославич пушистую шапку, накинул на плеча горностаевую багряницу, прилег на муравчитое ложе, положил под себя череп, погрузился в сладкие думы... Откуда ни возьмись, сон, припал на ясные очи, притрепал их крыльями...

Прошла ночь черной тучей от востока к западу, заиграла румяная заря над синею далью...

Спит Светославич.

А из-за дерев голос: «Конь! Княжеский конь!» Потом несколько голосов: «Княжеский, Княжеский, Владимиров!»

И вот толпа всадников окружила Светославича. «Князь, Князь! — закричали все они и продолжали шепотом уже: — Опочивает!»

Шум разбудил Светославича; очнулся он, видит вокруг себя ратных людей... Низко ему кланяются, величают Князем Володимиром, просят прощенья, чтоб не гневался на них, чтоб шел обратно с ними в стан.

«Ярополк, брат твой, прислал Посла, молит о мире,— говорят они ему,— не гневися на нас, Господин наш, иди с нами, положи волю твою на дружину и на Киев! оставил ты нас, уныло сердце наше, боялись, не враги ли исхитили и извели тебя!»

«Не обманул меня Царь Омут»,— думает Светославич, садясь на коня и отдавая одному из воинов везти череп.

Чинно провожают Светославича воины. «Ну! — пошептывают друг другу, рассматривая череп.— Был, верно, Князь на поединке с *Башкой* Половецким! ну! добыл чашу заздравную!»

Вот подъезжает Светославич к стану, вся рать с радостным криком встречает его, *Княжие отроки* ведут под уздцы коня, *Княжие мужи* под руки ссаживают с седла, Воеводы и Тысяцкие земно кланяются, провожают в шатер...

— Княже Государь,— говорят ему,— ждет тебя Посол Ярополков, прикажешь ли идти к тебе?

Нравится Светославичу честь Княжая.

— Ведите его ко мне! — отвечает он.

Вводят Блотада Грима, Думца Ярополкова. Поклонился он Князю до земли и просил о дозволении слово молвить.

— Говори! — сказал Светославич.

— Государь Князь Великий Новгородский дозволяет тебе вести к нему речь от Князя Киевского Ярополка! — повторил важно, по обычаю, Думный Воевода Княжеский.

— Дозволь, Государь Княже, слово Ярополково молвить тебе без *послухов*[1].

Думные Воеводы и Тысяцкие надулись уже на дерзкого Посла и ожидали гнева Владимирова; но Светославич приказал всем выйти.

Дивились Думные Воеводы, Тысяцкие и Гридни обычаю Княжескому и воле, выходя из шатра.

— Государь Князь Великий,— начал Блотад,— брат твой Ярополк прислал меня склонить тебя на мир и любовь. Зовет он тебя, брата любовного, в гости к себе, в Киев, на пир почестный; там, говорит, будем мы рядить о волостях и наследии и дружно, как любовные братья, поделим землю...

— Молви ему, буду,— отвечал Светославич.

— Государь Князь Володимир Светославич,— продолжал Блотад,— вижу, ты добр и милостив, дозволь мне говорить истину, без хитрости.

— Ну!

— В брате твоем злоба... и клюка в душе его...

— Ну! — повторил Светославич.

— Не веруй ему... хочет он избыть тебя... зовет на пир кровавый, хочет исхитить власть твою насильем... клялся исхитить у тебя и красную Княжну, невесту свою...

Трепещущим голосом произносил Блотад наветы. Внутренно раскаивался уже в неосторожности своей; ибо очи Светославича загорелись яростью.

— Злобный! — вскричал Светославич.— Власть мою и красную Княжну исхитить хочет!..

Ожил Блотад.

— Княже, Господине мой,— продолжал он,— слышали люди Киевские про славу твою и ласковую душу; а Ярополка невозлюбили за неправду; ты, Государь, по сердцу им. Возьми Киев, владей; а Ярополка накажи немилостию за

[1] Свидетелей; термин древнерусских судебных актов.— *А. Б.*

умысел на жизнь твою. Призови его к себе, и пусть падет он в яму, тебе изготованную.

— Будь по-твоему! — вскричал Светославич.

Блотад торопился воспользоваться сим словом, низко поклонясь, он удалился.

Воевода Княжой вошел в шатер, за ним следовал отрок.

— Государь Князь Володимир,— сказал Воевода,— Княжна Рокгильда Полоцкая прислала к тебе, Государь, отрока здравствовать тебя и звать на *Капиче* в терем.

— Коня, коня! — вскричал Светославич, вспыхнув от радости, и скорыми шагами вышел из шатра.

Конь готов, пляшет под Светославичем; он едет вслед за отроком, за ним мчатся Гридни и Щитники Княжие. Только глубокая лощина разделяла село *Капиче* от холма, на котором был расположен стан Владимира.

Обогнув лощину, отрок помчался чрез село; на возвышении стоял красный двор Боярский, обнесенный дубовым тыном.

«Она живет не в том уже красном тереме, где видел я ее?» — думал Светославич, въезжая на широкий двор и соскакивая с коня между столбами подъезда.

Почетные Княженецкие жены и девушки встретили Светославича на ступенях крыльца. Ни на кого не обращал он внимания, не отвечал ни на чьи поклоны, почти бежал по крытым сеням и чрез светлицу между рядами встречающих его. Княжна Рокгильда встретила его в дверях своей горницы; черный покров упадал с чела ее до помоста, и сквозь него видно было только, как блеснул огонь очей ее; но при входе Светославича очи ее поникли.

— Радостная моя! — вскричал Светославич порывисто, схватив ее руку и готовый упасть в объятия.

Рокгильда остановила порыв его.

— Сядь, Князь,— произнесла она тихим голосом,— будь дорогим гостем у меня... скажи мне, где был ты? я боялась, не сгубили ли тебя враги твои...

— О, далеко был я, далеко!.. для тебя!..— отвечал Светославич, садясь близ самой Княжны на крытую махровой паволокой лавку.

— Для меня?..— произнесла Рокгильда смущенным голосом.

В это время почетные Княженецкие жены внесли на под-

носах малиновый мед и на блюдах сладкие варенья, перепечи и пряженье.

— Испей, Князь, и вкуси за здравие богов, дали бы тебе долголетие и возвеличили бы славой,— произнесла Рокгильда, приподнимаясь с места.

Почетные жены низко поклонились, напенили в чашу меду, поднесли Светославичу.

— Твое здравие пью! — сказал Светославич, поднимая чашу с подноса и выпивая до дна.— Твое, светлая моя Княжна!.. а пищи не приму, доколе не будешь ты моею!

Рокгильда молчала, смятенье ее не скрылось ни от кого. Почетные догадливые жены взглянули друг на друга, вышли, перешептывались в дверях: «Быть ладу!» Они мигнули девушкам, посиделкам Княженецким, и девушки также незаметно удалились из горницы.

— Сбрось покров свой! сбрось, Княжна! — произнес Светославич, схватив руку Рокгильды.

— Полно, Князь! — отвечала она, отступив от него.— Ты господин мой, но покрова не сниму перед тобою.

— Сбрось, сбрось покров! напои добрыми речами душу мою! не возлюбил я дни мои без тебя, ты убелила их!.. Сбрось покров! я хочу целовать светлый лик твой!..

— Светлы твои ризы, Князь, а душа обветшала! вижу, очами плакал ты горю моему, а сердцем смеялся! — произнесла гордо Рокгильда.— Да не исполню я бедной воли твоей, не изменю воле отца, не буду твоей женою, доколе жив Ярополк,— у него обруч мой!

— Доколе жив Ярополк? — вскричал Светославич, пораженный словами Рокгильды.— Доколе жив Ярополк! — повторил он.— Я убью его! отниму у него обруч твой!

— Девушки! — вскричала Княжна с ужасом, окинув горницу взорами и видя, что никого нет.

— Прощай, неласковая! — продолжал Светославич, выходя от Рокгильды.— Я исполню волю твою, добуду твой обруч!..

Голова его кружится, очи горят.

«Что бы это значило? — думают почетные жены Рокгильды, застав ее почти в бесчувствии! — Князь говорил про *обручие,* а вышел гроза грозой, и Княжна словно не своя!..»

X

Гроза грозой сошел Светославич с крыльца; голова его кружится, очи горят. Вскочил на коня, помчался; у стана встретили его Воеводы и Тысяцкие.

— К бою! — вскричал он, проскакав мимо толпящейся дружины.

— К бою! — повторилось в рядах; труба ратная загремела по стану.

Нетерпеливо ждал Светославич, покуда скоплялись около него полки конные.

Быстро повел он их к Киеву; *Пешцы* потянулись следом, развернув полковые знамена; ладьи Варяжские потянулись вниз по реке, вспенили волны.

Взвился прах до неба, солнце заиграло на светлом оружии. Видит Киев беду неминучую... не ждет воли Княжеской, высыпает навстречу Светославичу; старейшие мужи несут золотые ключи от *броневых врат,* несут дары, хлеб и соль; *биричи*[1] градские трубят в трубу, бьют в серебряныеварганы.

— Будь нам милостивец, Государь Князь Владимир! — говорят старейшины Киевские, припав к земле и ставя на землю перед Светославичем дары, хлеб и соль.— Давно молили мы звезду твою посветить на худый Киев!.. Рады мы тебе, и будет нам честен и празден приход твой, Княже, Господине! Не хотим мы Ярополка, сокрушил он веру и души наши. Тиуны и Рядовичи его Немцы; а попы Варяжские не богомольцы наши; не лазили мы в Божницы их; а теперь порушили мы хоромы Варяжские, а кудесников из града изгнали; пусть идут с Ярополком в Ровню и там кланяются Черту!..

— Где Ярополк? — торопливо спросил Светославич.

— В Ровне, на Роси, бежал с своими ближними.

— В Ровню! — вскричал Светославич, обратясь к полкам своим.— В Ровню! — повторил он.— Перебегите путь Ярополку!

— Государь Князь, поди к нам, ряди нами по воле твоей! — продолжают Киевляне.

Не внимает Светославич речам их, ему все слышатся слова: «Не буду твоею, покуда жив Ярополк!» Боязнь, что Ярополк скроется от него, волнует душу.

Он повторяет приказ идти в Ровно, готов сам вести туда

[1] Глашатаи.— *А. В.*

рать; но старейший Воевода молит его остаться в Киеве, люди Киевские молят его идти к ним в город.

— Ярополк сам придет к тебе с повинной головою! — говорят они.

— Не пойдет, приведем его к тебе! — говорит Воевода.

Светославич соглашается. Велит дружине идти в Ровню, добыть ему Ярополка, а сам едет в Киев, сопровождаемый Щитниками, Гриднями и старейшинами Киевскими.

«Власть моя,— думает он,— отдам Днепру череп отца, и Княжна будет моя!.. так сказал Царь Омут».

Весь народ высыпал на забрало, встречает его радостно. Идут навстречу жрецы и слуги божевы Перуновы в светлых, праздничных одеждах; несут лики златые и воздухи и свечи великие. Гремит крутой *Овний* рог.

Послышала радостную весть *Мария*, и она спешит из красного терема Займища в Киев, в толпы народа, на забрало. Стоит завешенная черным покровом, едва дышит. Видит она, идет Князь, окруженный народом. Хочет она всмотреться в очи Владимира, да ее очи полны слез; играют перед ней алмазы радужными колкими лучами, а дыхание стеснилось.

XI

— Изменил ты слову своему, Владимир! — говорит Светославичу Зигмунд Брестерзон.— На столе Великокняжеском ты не тот уже Владимир, щедрый и милостивый! Люди мои не идут к Ровне, много мы служили, говорят они, Киев взят, дай нам прежде, по закону, *окуп*, по две гривны с человека.

— В Ровно возьмут они *окуп*,— отвечал Светославич,— иди туда, возьми город, приведи мне Ярополка или принеси голову его, и дам тебе грады, золото, коней и одежду!

— Сольстил ты, Владимир! — продолжал Зигмунд.— Слугой был я у любовного своего приятеля, а не у Князя! Даров твоих мне не надо, милости свои храни для наемщиков, а меня отпусти к Царю-граду.

— Иди! — отвечал Светославич.

— Оставайся с рабами! — сказал Зигмунд, кланяясь Светославичу, и вышел.

Думцы Княжеские и старейшины Киевские, окружавшие Светославича, дивились его мудрости, славили ее.

— Слава величию твоему! — говорили они, кланяясь.— Не вдал бедный град наш на разграбление Варягам.

Вскоре ладьи Варяжские спустились вниз по Днепру, прошли мимо Киева, подплыв к возвышенности *Торберга,* или Чертова бережища, они остановились. На чешуйчатом *Ормуре* возжглась жертва; дым вился столбом к небу; Варяги, ударяя в щиты, пели:

«Берег святой! пристанище молниеносного, древнего Тора!

Берег святой! в недрах твоих лежит Одина небесного племя!

Берег святой! хранящий останки властительных *Херров*[1], потомков *Арея* и *Атта*!

Берег святой! персть твоя, прах недоступный ни веку, ни тленью!

Берег святой! зеленей, процветай до скончания светлых миров!»

Быстро помчались ладьи Варяжские вниз по Днепру, перегоняя друг друга; долго слышна была еще их ратная песнь и удары щита в щит.

Но не все Варяги удалились из Киева; осталось еще много наемщиков, прослышавших, что Князь обещает грады и золото за голову Ярополка.

Пошли они искать счастья и удачи в Ровне.

Скопилась и рать Новгородская около Ровни, облегла стены шатрами.

Войсковой Воевода шлет послов к Ярополку объявить ему волю нового Киевского Князя:

— Отопри, Князь Ярополк, Ровню! — говорят Послы.— Иди с миром к Владимиру; не пойдешь, разнесем по камню твои крепкие забрала, полоним тебя, вязаного повезем в Киев!

Возговорила гордость в сердце Ярополка на дерзкую речь Новгородцев.

— Идите! — вскричал он.— Идите назад, несите рабыничу своему проклятие Ярополка! Не отопру ему ни града, ни сердца!

---

[1] Господ (древнеисл.) Здесь название домысленного Вельтманом племени *А Б*

Послы удалились.

Ярополк зарыдал громко, не устыдился слез, растерзалась душа его ржавой памятью.

«Карает меня Свет светов за кровь Олега; да не брату меньшему нести бы лозу на брата старейшего!»

У Ярополка два Думца, два злых соперника. Один Блотад Грим, другой Свенельд.

Блотад говорит:

— Иди к брату твоему, иди примириться, нет уже иной надежды. Ты обидел его, не дал ему части из наследства, воевал на него, насилил Новгород. Мстит он тебе, он силен, иди к нему!..

Свенельд говорит:

— Не клони главы своей пред рабыничем! Не бойся его, идет к нам на помощь Гетман Ордынский с силою великою.

И Ярополк надеется на силу Ордынскую, не внимает хитрым речам Блотада.

Исполняются надежды его. Идет от Дона сила Ордынская на помощь Князю Киевскому. Стонут степи под нею, пар от коней тянется густым туманом, свивается в тучи, поросит окрестные земли.

Узнал про то и Киев, почуял беду новую. Светославич, по совету Думцев, шлет по волостям гонцов со стрелою, собрались бы люди поголовно ратовать нового Князя.

Смута идет в волостях; ездят гонцы от двух Князей, повсюду размирье. «Какой ты веры?» — спрашивают люди друг у друга и ведут брань и ссоры.

В это-то время медленно едет чрез волости Великокняжения Киевского Царь-Царевич. Едет он по шляху Муравскому в станицу отца своего, хочет упасть пред ним на колени, сложить у ног его ратных доспехи, хочет сказать ему: «Не Царь я Царевич, а Царь-девица!» — и выплакать женские слезы; да долго едет; взросла луна и похудела. Раздумье убивает волю. «Нет! — думает,— сокрою позор от отца и людей, поищу смерти среди чистого поля!»

Плачется сердце Царя-Царевича, тоска душу сдавила. И раскинул он шатер с золотой маковкой, пустил коня на зеленую траву, а сам горюет да горюет, не принимает пищи. И приспешник его Алмаз тоже горюет, понял причину: и ему не хочется на Дон: «Поведает Гетман тайну, беда Царице, беда матери моей, беда и мне, конюху-приспешнику!»

Едет по Муравскому шляху воин, трубит в крутой рог, вызывает могучих и сильных, на конце длинного копья привязана на крест перёная стрела. Подъезжает он к ставке Царя-Царевича.

— Гой еси, сильный и могучий Витязь, исполать тебе! Князь Владимир Новгородский и Киевский поклон шлет, просит повоевать за него. Взял он Киев, да идет на помощь Ярополку сила неведомая; а Варяги пошли в Царьград, гроза над головой Владимира, в беде он!..

— В беде Владимир! еду воевать за него! — восклицает Царь-Царевич.— Сложу за него жизнь свою!..

И быстро пустился Царь-Царевич по дороге к Киеву; отстал от него воин, отстал и приспешник Алмаз; скрылся из глаз, только облако пыли расстилается по следу.

«Не закалишь, верно, женского сердца — не железное!» — думает про себя Алмаз, гонит коня, бьет чумбуром в хвост и в голову.

Лежат серые туманы над Днепром, не волнует их ветр, не гонит к морю. Чуть слышно, как перекликается стража вокруг *Ровни*, эхо не ловит звуков, не играет ими, не заносит в даль.

На восходе ночь борется с рассветом. В стане рати Новгородской все еще мирно.

Пробудился Воевода, лежит еще на медвежьей попаломе, замышляет гибель Ровне. Вдруг послышался ему протяжный гул под землей... Приложил он ухо к земле, прислушался... стонет земля.

— Стерегись!.. к бою! — вскричал вдруг Воевода, вскочив с земли и выбегая из шатра.— К бою! — повторил он сторожевым и трубачам, стоявшим возле шатра.

Загремел кривой рог; да глухи звуки.

Медленно собирается в строй дружина.

И вот раздались звуки рогов и крики с поля. Скачут со всех сторон сторожевые воины. Поднялась суматоха.

«Враги, враги! — раздается по стану.— Чу! стонет земля под конскими копытами!»

А туман расстилается, зги не видать.

И вот зашипела туча стрел; гикнули тысячи голосов в долине. Валит рать, как черная волна, разливается морем, топит Новгородскую силу. Звенят тысячи щитов в один удар, новая туча стрел уныло пропела между всполошенными рядами.

Опала душа Новгородская, умолкли руки, поникло оружие...

Но шлет бог защиту... Мчится Царь-Царевич, золотая броня путевым прахом покрыта.

Врезывается он в толпы Ордынские, топчет конем тысячи, гонит душу от тела.

— Стой! — раздается к нему из толпы грозный голос. — Не руби моей рати, не топчи конем! выходи, золотая броня, на вороную!

Разъярился Царь-Царевич на дерзкого, заносит меч, махнул, отсек край щита.

— О, молод, удал! ну, держись на седле, изведай меч Пана Гетмана Ордынского.

А новый удар Царь-Царевича упал уже на шлем противника; разлетелся шлем надвое, обнажилась бритая голова с седым чупом.

Туман раздался.

Вскрикнул Царь-Царевич; поник меч в его руках, не отразил удара противника; посыпались кольцы золотого панциря... и скатился Царь-Царевич с седла на землю, и заклубилась кровь ручьем.

— Забочьте рану, смертельна ли! — произнес гордо Ордынский Гетман к людям своим, возглашавшим уже победу.

Бросились люди Гетманские к Царю-Царевичу; одни снимают шлем с головы, другие расстегивают броню, распахнули бехтерец...

— Царь-Царевич! — вскричали одни.

— Жена! — вскричали другие.

И все смолкли от ужаса и удивления.

Выпал из рук Гетмана окровавленный меч, соскочил Гетман с коня, взглянул в закатившиеся очи, как ворон голодный... и грянулся на обнаженные перси своей дочери, скрыл их собою от позора людского.

XII

«Не к добру ты слетел с золотого гнезда, белый орлович наш Гетман!

Упоил нас не славой — слезами! в добычу дал черное горе!

Утолил не чужой кровью жажду и слег на конечное ложе!»

Уныло пели Ордынцы, везли Гетмана своего и Царь-девицу между двумя конями, везли к Дону.

Пала последняя твердыня Ярополкова; сбирается он с поникшей головою в Киев.

Доходят до Рокгильды тайные слухи, что в Киеве не будет пощады Ярополку; с ужасом припоминает она слова мнимого Владимира: «Я убью его! добуду твой обруч! исполню волю твою!»

— Мою волю! — повторяет она и шлет к Князю просить дозволения прийти к нему.

С нетерпением ожидает ее Светославич.

Она входит. И он... ни слова не может произнести от радости, торопится к ней навстречу...

А Рокгильда медленными, слабыми шагами приближается к нему, падает пред ним на колена, преклоняется к полам одежды.

— Буду твоею... но не убивай своего брата!..— едва произносит она.

— Моя! — повторяет Светославич, приподняв ее с земли и сжимая в своих объятиях.— Ты моя, и Царство мое же!.. Ты не изгонишь меня, не скажешь, как Вояна: «Ты мой, и Царство мое же?»

Непонятны для Рокгильды эти слова.

— Правда... ты не мой... а я твоя... я рабыня твоя! — говорит она голосом обиженной гордости.

— Сбрось же, сбрось черный покров свой!..

И Светославич сорвал с Рокгильды покров; жаждущие уста готовы были коснуться к ее ланитам...

Но вдруг очи его остановились неподвижно на Рокгильде, голова тихо отдалялась от лица ее, руки от стана.

— Это не она! — вскричал Светославич исступленным голосом.

На звуки его голоса вошли два Гридня.

— Не она! — повторял Светославич.— Ведите прочь от меня!

«Не она!» — отдавалось в душе Рокгильды; в очах ее темнело, дыхание становилось реже и реже, стесняло грудь, голова падала на плечо.

Гридни поддержали ее, понесли под руки.

Но гордость Рокгильды не допустила ее до бесчувствия;

скоро очнулась она и с презрением оттолкнула от себя Гридней.

— Я спасу Ярополка, я отмщу за смерть отца и братьев! — повторяет она без голоса дрожащими устами. Отбрасывает двери в Гридницу, и первый предмет, поразивший ее взоры... струя крови на белодубовом полу.

Рокгильда закрывает лицо руками, бежит вон.

«Убийцы, убийцы живут здесь!..» — говорит ей все.

В сенях толпа людей остановила ее.

— Милости просим, милости просим! — слышит она.— Князь ваш Ярополк остался гостить у Князя в палате, а вас ласковый наш Князь указал честить и кормить в палате Боярской!

Рокгильда содрогнулась от ужаса, она поняла слова злодеев.

— Идите, идите на зов их, несите свои головы злодеям!.. Не видать уже вам Ярополка, не величать и не славить живого! — вскричала она, упадая без чувств на руки своих Боярынь, которые ожидали ее в сенях.

Толпа Бояр остановилась в недоумении.

— Милости просим, милости просим! — повторяют люди Княжеские гостям.— То полуумная Княжна Полоцкая.

— О, не добро чует мое сердце! — вскричал молодой Варяг, питомец Ярополка, находившийся в числе Щитников и Бояр его.— Братья! — продолжает он, указывая на Блотада, вышедшего навстречу из боковых дверей.— Братья! ведут нас на пир кровавый! Смотрите, злодей Блуд кровью обрызган, он продал Ярополка!

Толпа Бояр остановилась в дверях; но стража, стоявшая в другом покое наготове, окружила уже их, не смотрит на ропот, вяжет им руки. Нет с ними оружия! оружие сложено ими при входе в палаты Княжеские.

Только молодой Варяг, выхватив из рук Гридня бердыш, поразил в голову Блотада и по частям отдает свое тело насильникам.

Исполнилась воля Светославича, а он не знает, не ведает того.

— Не она! — повторяет он.— Обманули меня, люди обманули! правду сказал *Он*, люди живут обманом!.. а Омут не обманет, я исполнил его волю...

И очи Светославича остановились на черепе, который между золотой посудою на полке поставца поставлен был

догадливыми чашниками, как добыча Князя, из *ней же* на пирах будет испивать он малиновый мед.

— В темную полуночь, молвил *Он*, когда пойдешь по Днепру... и будет мне все желанное... а у меня только она желанная!..

И Светославич взял череп, идет чрез Гридницу на выходец теремной, ни на кого не обращает внимания.

— Мрачен Князь, как ночь,— шепчут друг другу княжеские люди,— верно, братская кровь облила сердце.

С вышки открылся весь Днепр Светославичу; он узнал знакомый крутой берег; он видит рощу Займища и зверинец, ищет в отдалении красного терема, да не видать его за *Германс-Клов*. Только народ кишит на холме *Дмитревском*, вздымает Перуну обет *кощунный*[1].

Единогласное ура-аа-ра! раздается и вторится в отдалении.

Ночь ложится уже на землю; народ зажигает вокруг кумира смоляные бочки, увешивает *стояло*[2] венками и фонарями; весь город также освещен, люди ходят по улицам, ликуют, празднуют *Канун*.

Урядники ходят по домам, стучат в окны жезлами, повещают наутро требу *богам старым*, «шли бы люди на холм Дмитревский, красных мужеских жен рядили бы по обеде Русалить на дворе Княжеском, а красных дщерей хороводы водить».

Вещуны же между тем строят уряды в жертву Божичу людей и скота; а старцы и Бояре сидят на Думе, мечут жеребьи на отроков и девиц, кого зарезать на требу *старому богу*; они поговаривают и о Христианах, Иереях Еллинских, живущих в тереме, на Займище.

Не ведает Мария, что́ готовят Киевские люди чернецам, обитающим под ее кровлею по завещанию Ольги. Но она печальна, тоска нудит ее на слезы, плачет она за душу Владимира, «и Владимир поклоняется кумирам, и он готовит кровавые жертвы!».

И до Мокоша, сторожа заветных Княжеских лугов и лесов, дошли слухи о торжестве Киевском, и он сбирался посмотреть на людской пир; но, по привычке к единообразию, обошед во время дня Займище, он забыл про сборы, лег от-

[1] Здесь: жертвенный.— *А. Б.*

[2] Подножие.

дохнуть, уснул; проспал бы, если б от огней Киевских не загорелось полуночное небо.

Вскочил Мокош, кликнул пса, идет торопливо, клюкой подпирается.

«Эх,— думает,— запоздал! а людям Князь Володимир корм и сологу дает!»

Спустясь в лощинку, за Урманским садом, где разделялись дороги, идущие из Киева, он встретил двух чернецов с костылями в руках.

— Добрый человек! — сказал один из них.— Укажи, пожалуй, путь к красному терему Займища.

— Ох! чернецы вы Еллинские! — отвечал Мокош, положив обе руки на свой костыль.— Не здесь бы идти вам! идет тут тропа в мою изобку да в *рощенье* Княжеское; большим бы путем на Лыбедь идти, да влево.

— Проведи нас, добрый человек, к красному терему, заплатим мы тебе словом и делом.

— Эх, не час мне: в Киев поспешаю; ну, пойдем, пойдем, уж добро!.. А чай, там Князь Володимир корм и мед людям сыплет. Милостивый, говорят, про людей да и строгий, ох строгий! родному брату, Господину нашему Ярополку, снес голову!..

— Правду ли ты молвил, добрый человек? — сказал один из чернецов.— А я слышал, что Князя Владимира и в Киеве нет; уж не иной ли какой Князь в Киеве? не обмолвились ли люди? не Ярополк ли снес голову Владимиру?

— Видишь, не так люди молвят...— отвечал Мокош...— Ну, да сам не видал, не ведаю, правда ли, нет ли.

Выбравшись из густых кустарников, по которым вилась дорожка в поле, и поднявшись на холм, Мокош ухнул, остановился и подперся костылем.

— Ну, смотри, словно жаром горит вышка Чертова холма!.. а уж какие страсти!.. Дивились, дивились люди, порассказал я им про *вражьего питомца*! а веры нет! сонной морок, говорят... сонной морок! своими очами зрел! Ох ты, сила великая, небесная, чудо какое! *голжажни* соли не съел, а он, дивись, дитя малое, молодец молодцом взрос! стал ровно вот литой Князь Володимир!..

— Когда ж это было, дедушко?.. Да видал ли ты Князя Володимира?

— Видал ли!..— отвечал Мокош, продолжая путь.— Сестра моя была мамкою у него; по ней и мне честь была, дали

избу в Займище да Княжеские хлебы, стерег бы лес да луга...

— Узнаешь ты меня, добрый человек? — сказал чернец, заводивший речь с Мокошем, обратясь к свету, ударявшему на холм от Киева, и откинул с чела покров.

Мокош взглянул в лицо ему и остолбенел.

— Ох, да откуда, голубчик, ты взялся? — наконец произнес он.

— Узнал ли ты меня? — повторил чернец.

— Как не узнать... да это не дедушко ли твой... что учил тебя Еллинской премудрости?

— Да ты почему ведаешь то?

— Ведаю, ведаю, голубчик, сам ты говорил... ну, прощай!..

— Куда ж ты, куда, добрый человек?

— Нет, голубчик, нет!.. нейду!..— отвечал Мокош, вырываясь из рук чернеца, который хотел его удержать.

— Да доведи нас до терема и ступай себе с богом.

— Нейду! — решительно отвечал Мокош.— Нейду!.. Ты такой отважный, в беду введешь!

И Мокош поворотил назад, скорыми шагами удаляясь от чернецов, нашептывая:

— Эллинский питомец!.. Уж то *они* ведьство творят!.. блазнят людей в свою веру!.. *Ионовым* зельем поят, *влаялись* бы... благо что не шел с ними!

— Чудны дела твои, боже! — произнес чернец, смотря вослед Мокошу.— За кого признал меня этот человек?.. Сон или истину поведал он?

— От бога не скрыты тайная! — произнес, молчавший до сего времени, другой чернец.— Брат по богу, Владимир, оставь думы, вижу, омрачает душу твою любочестие; забудь прошлое, откинь мир, исполнись богом!

— Отец святый! не называй меня Владимиром, не ведаю сам, кто я... избыл я веру в память свою, в очи и в слух!..

— Наложи на себя знамение крестное, брат по богу; дьявол искушает веру твою, дьявол искушал и Господа... Пойдем, не далеко уж мы от *Краснаго дворца,* слабыми очами вижу, светится его златая кровля; чу, и благовест всенощной!..

Углубленный в думу сомнений, последовал чернец за спутником своим.

Красный дворец открылся из-за рощи; чернецы подошли к воротам, постучали в калитку ворот.

— Кто там? — раздался голос с вершины стены в небольшое оконце.

— Брат по Христу, Иларий,— отвечал один из чернецов.

— Во благо пришествие твое! — произнес голос привратника, и вскоре засов заскрипел, дубовая, кованная железом калитка отворилась.

— Благослови, святый отец! — произнес привратник, кланяясь земно.

— Бог да благословит тебя! — отвечал чернец, сотворив над ним знамение.

— Веди нас к благоверной Марии!

— Благоволи следовать за мной, святой отец. Мария только что вышла от всенощной.

И два чернеца последовали за привратником. Он провел их по длинным сеням в светлицу; просил помедлить, покуда скажут Марии о приходе их.

Чернецы сотворили знамение, поклонились образу и молча присели на лавку.

Вскоре вышла Мария, облаченная в черную одежду, под покровом, сопровождаемая старухой мамушкой и несколькими девушками.

— Святый отец Иларий! — произнесла она, подходя к старейшему из чернецов.— Волею или неволею принес тебя бог ко мне, учитель мой?.. Давно не поил ты души моей потоком святых речей!.. Благослови меня!

— Благословение божие на тебе, Мария! — отвечал чернец.

— Ольги, матери моей, уж нет!..— произнесла Мария, и голова ее приклонилась на руки; она заплакала.

— Дом тленный сменила Ольга на дом нерушимый, земные скорби на вечное благо.

Утолив горькое воспоминание слезами, Мария пригласила гостей в теремную свою горницу, просила их садиться.

— Кто благочестивый спутник твой? — спросила она, обращая взор на другого чернеца.

— Язычник, обращенный на путь истины,— отвечал Иларий,— да не крещен еще, будь воспреемницей ему, Мария.

— Будь воспреемницею моею, Мария! — произнес чернец, откинув с лица покров.

— Владимир! — вскричала Мария.

— Ты не забыла внука Ольгина, Мария!

— Князь Владимир!..— повторила Мария, едва приходя в себя от неожиданности.— Бог послал тебе раскаяние... кровь Ярополка налегла на душу твою...

— Кровь Ярополка!..— вскричал чернец.— Ярополк убит? старец правду сказал мне?.. Кто ж в Киеве?.. Кто убийца его?..— продолжал он исступленным голосом, схватясь за голову руками.

Клобук скатился с чела его, русые кудри рассыпались по плечам, лицо побледнело, очи стали неподвижны, две выкатившиеся слезы окаменели на веках, обратились в алмазы.

— Чьи дела оклеветали душу Владимира? — продолжал он, не обращая ни на что внимания.— О, узнаю я!.. повлеку его со стола Княжеского на Торжище, стану с ним рядом!.. пусть скажут люди, ктó из нас Владимир!..

И чернец, признанный Владимир, в исступлении бежит к дверям...

— Владимир, Владимир! — вскрикивает Мария и невольно подбегает, удерживает его.

— Сын мой! выслушай слово мое! — говорит Иларий.

— Мария! — говорит чернец, остановясь в дверях.— Владимир убил Ярополка, а я не убивал его... кто ж я?

— Воля божья покажет, ктó ты,— произнес Иларий.— Ночь дана богом на покой, утро на разум, а день на дело... Теперь ночь, куда пойдешь ты?.. возьми смирение, помолись Творцу, пошлет Он свет в напутствие тебе... Мария, мы утомились, дай нам покой.

Мария не сводила очей с Владимира, очи ее были полны слез; а он стоял погруженный в темную думу, искал в ней мыслей и не находил.

— Пойдем, отец святый, пойдем, Владимир,— сказала Мария,— я сама проведу вас в ложницу.

И она проводила их в покой Князя Светослава, в котором опочивал он некогда во время посещений бабки своей Ольги в Красном ее дворце.

Заметно содрогнулся чернец, когда вошел в ложницу Светослава. Несколько лет в ней покоилось уже запустение, измер живой воздух, резные дубовые стены почернели, на все вещи прилег мрак, золото и серебро потускнело, штоф и парча выцвели; только стекольчатые окны отразились радужными цветами, когда внесли свет в комнату, да на израз-

цовой пространной печи, с лежанкою, ожили причудливые изображения. У левой стены, на поставце, стояла посуда и чаши золотые; подле, на дубовом столе с витыми толстыми ножками, лежали еще: Княжеский костыль, Княжеская шапка и багряница; широкая лавка, во всю длину передней стены и перегородки, разделявшей покой надвое, покрыта была махровыми шелковыми полостями; и по ней лежали подушки с золотой бахромой и кистями; за перегородкой, по стенам, развешано было оружие, охотничьи доспехи и шкуры красных зверей, убитых рукою Светослава.

— Здесь нет Святого Лика,— сказал старец Иларий,— но бог повсюду: и в творении, и вне творения.

Сняв каптырь, он стал на колени пред окном и молился.

Мрачный спутник его прислонился к столу, обводил все предметы очами, как будто читая на всем горькую память прошедшего.

— Пора делить ночь,— сказал старец; серебряные седины его расстилались по плечам.— Молись и ты, Владимир, да будет мир в тебе и окрест тебя.

— Благодарствую, Отец Святый! — отвечал чернец.

Старец прилег на лавку и скоро заснул.

Молодой спутник его и не думал о спокойствии; весь переселился он в глубину души; но вдруг быстро взглянул на лежавшую на столе багряницу, выложенную горностаем; кинул взор на двери, припертые железным крюком, которые видны были против отворенных дверей перегородки в другой покой; потом посмотрел на спящего крепким сном старца; сбросил с себя камилавку с покровом, сбросил черную манатью, накинул на плеча багряницу, надел Светославову Княжескую шапку с золотым венцом над собольей опушкой, взял в руки костыль Княжеский, снял меч со стены, опоясал его, тихими шагами приблизился к внутренним дверям, снял крюк, отворил скрыпучую дверь... За дверью темный переход... Шарит по стене... Другие двери также приперты крюком; за дверями наружные сени с навесом; небо усеяно еще звездами... мрак на дворе теремном...

Между тем старый Ян-привратник, бывший привратником в Красном дворце Ольги с самого построения оного, помнивший все возрасты Светослава и детей его, проводив Илария и спутника его в терем, помолился снова богу и

прилег на одр свой в келейке подле ворот; сон сомкнул уже очи его.

В видениях своих он исполнял ту же обязанность, как и наяву; ибо мечты его о самом себе никогда не выходили из состояния, в котором он был. И во сне слышались ему только стук в калитку да слова: «Ян, отчини!» — но во сне, по привычке, он продолжал еще отпирать ворота Ольге и Светославу и по смерти их.

На другой день Ян с радостию рассказывал всегда свой сон.

«Недаром сон видится,— говорил он,— прилетела душа старого Князя навещать Красный терем свой. Ян,— молвит,— отчини! я и отчиню да поклонюсь земно; да словно вот в очи зрю!.. веры нет, уж сон ли то?»

Мария и все окружавшие ее также часто повторяли во сне жизнь прошедшую, и они верили, по рассказам Яна, что души Ольги и Светослава навещают иногда тихую обитель Красного терема.

Мария, возвратясь в свою горницу, не могла спать; она спрашивала себя, точно ли Владимира видела она? он ли под одной с ней кровлею? Все видимое казалось ей невероятным, невозможным... Зачем Владимиру прийти в терем в одежде чернеца? откуда отец Иларий?.. Это сонная греза!.. «О, я больна, больна! — произнесла она вдруг.— Голова моя кружится!..»

— Мамушка, мамушка!

— Что прикажешь, сударыня? — отвечает матушка из другого покоя.— Какая ты неспокойная!.. не вставать ли вздумала?.. рассвет не брежжит, сударыня!.. светлые гости только что започивали!..

— Гости?..— говорит Мария, задумавшись.

И вдруг послышалось ей, кто-то стучит в двери, слышит громкие речи.

С испугом вскочила она с лавки.

— Мамушка, мамушка!.. стучат! кто там?

— Отчините, Государыня, отчините! — раздалось из-за двери.

— Ох, что еще! — произнесла старая мама, накинув на себя балахончик и отпирая двери.

Это был Ян с дворовыми людьми; на всех лицах было изумление.

— Бог свят, видел своими очами!..— повторял Ян, входя

в покои.— Сплю, а кто-то постукивает в дверь. «Отчини, Ян!» — говорит. «Кому с двора в заранье?» — думаю, да и иду с ключами... глядь, Князь Светослав в багрянице, с клюкою Княжескою, на коне! «Отчини, Ян!» — говорит. Не возмог ослушаться, отчинил... Бог свят, отчинил!

— Померещилось тебе, Ян! — произнесла Мария.

— Не померещилось, Государыня, и коня вороного в конюшне нет! — примолвил конюх.— А конюшня отворена!..

— На вороном же, на вороном! — прибавил Ян.

Ян поднял суматоху во всем Красном дворце. «Какой сон, не сон! — повторял он.— Очима зрел Князя Светослава!»

А над Киевом туча, как черная полость, завесила ясное ночное небо; вдали прокатился Перун-Трещица из края в край, засвистал вьюгою, захлестал молоньёй.

Шумит Днепр, ломит берега, хочет быть морем. Крутится вихрь около дупла-самогуда у Княжеских палат, на холме. Потухли *Пиры*, бегут Киевские люди по домам.

Над Княжеским теремом, на трубе, сел филин, застонал, обвел огненными очами по мраку, хлопнул крылом; а возле трубы сипят два голоса, сыплются речи их, стучат, как крупный град о тесовую кровлю.

Слышит их Княжеский глухонемой сторож и таит про себя, как могила:

— Чу, чу!

— Идет! чу, чу!..

Молния перерезала небо.

Скрыпнула калитка у задних ворот Княжеского терема, кто-то вышел, блеснули очи на бледном лике, блеснула светлая одежда.

Это Светославич, он идет по сходу к Днепру.

Потухла молния, исчез Светославич во мраке; прокатился грохот между берегами Днепровскими.

Вытулил филин очи, крикнул недобрым вещуном, а темные речи застукали, как град о тесовую кровлю.

— Чу, чу!.. Омут идет навстречу к нему, клокочет!.. у-у! у-у! скоро нам будет раздолье!..

Молния перерезала небо.

Всадник примчался к калитке, озарился светом лик его, блеснуло золото на багрянице.

«Калитка отперта!» — произнес он, соскочив с коня. Оставил коня на произвол, входит во двор теремной, поднимается на крыльцо, освещенное фонарями; стоящая стража из Гридней и Щитников повсюду выправляется; все пропускают его без слов.

Проходит он наружные сени, боковым ходом чрез ряды покоев приближается к ложнице Княжеской, вступает в полуотворенные двери, и первый предмет, который бросается ему в глаза — женщина под черным покрывалом; она стоит над ложем Княжеским, осветила ложе ночником, откинула покрывало другой рукою, в руке блестит нож...

Но на ложе нет никого; с ужасом отступила она от ложа, вскрикнула, заметив перед собою человека; ночник и кинжал выпали из рук ее, без памяти грохнулась она на землю.

— Рокгильда! — раздался голос в темноте.

Молния опалила небо и землю, удар грома разразился над Днепром, близ самого терема; затрясся терем до основания.

Филин припал к кровле, стиснул огненные очи...

— Сгинул, сгинул!..— раздалось в ушах глухонемого сторожа.

Прошло время темное над Русью, настало время золотое...

И стекся народ Русский несметным числом; и Эпискуп Греческий разделил народ на многие полки и дал каждому полку имя крещеное, и погнали первый полк в воду в Днепр, и читал Эпискуп молитву, возглашая: «Крещаются рабы божии Иваны!» Потом пошел другой полк в Днепр, реку святую, и возгласил Эпискуп: «Крещаются рабы божии Васильи!» — и так крестил все полки и не велел никому нарицаться поганым именем некрещеным.

Светит Владимир Красное Солнышко над крещеною Русью; пирует Владимир, беседует с вуем Добрынею, с вящшими мужами и богатырями своими, ставит народу браные столы, дает корм солодкий и питье медвяное; обсыпает Владимир ломти хлеба вместо соли золотом, подает милостыню людям убогим...

Веселы люди, довольны; искрются у всех радостные взоры, ходят вокруг столов шуты, сопцы, скоморохи и потеш-

ники; на улицах позоры, дивовища и игрища; кипит Киев богатством и славою.

«Подай ему, боже,— возглашают люди,— подай нашему Солнцу Князю Владимиру благословение! самому ему и подружию его, чадам и подружиям чад его!.. Подай ему, боже, глубокий мир!.. Красен наш Князь взором, кроток, незлобив нравом, уветлив со всеми, суженого не пересуживает, ряженого не переряживает!»

Райна, королевна Болгарская

Глава первая

Перенесемся за тысячу верст, за тысячу лет.

Вы слыхали о *великом Преславе*, стольном граде Дунайской Болгарии, где знаменовались подвиги нашего удалого богатыря, добросанного князя Святослава? Где ж этот белый град великого царства? Какие холмы венчались его твердынями? Никто не знает, кроме султана, который в фирмане своем именует владыку шумлинского преславским.

Славный и страшный для Греческой империи двадцатый болгарский король Симеон[1], не возлюбив первой жены своей, женился на названой сестре одного греческого деспота, из Армян, по имени Георгия Сурсувула. По общей наклонности каждого Грека к филархии[2], Георгий нашел случай очаровать Симеона красотой сестры, и таким образом, по праву зятя королевского и по обычаю времени, воссел у самого подножия престола, в звании великого комиса, или, по-нашему, великого конюшего, и вместе с этим дядьки и кормильца наследников царства. Хоть краль Симеон имел уже

---

[1] Симеон (864—927), князь, а с 919 г. царь Болгарии. С его правлением был связан период наибольшего могущества и культурного расцвета Первого Болгарского царства. Под предводительством Симеона бол гары вели победоносные войны с Византией, которая вынуждена была уступить часть Фракии, Македонии, территорию Албании и платила Бол гарскому царству дань.— *А. Б.*

[2] Здесь: честолюбие, властолюбие. *А. Б.*

наследника Вояна; но мачеха не родная мать; пасынок должен был уступить свое место у сердца отца кровным ее детям. Вояна воспитывали в монастыре, и по наклонности его к чтению церковных и мирских книг, по страсти к наукам, искусствам и художествам и ко всему не свойственному чести королевского детища, решили посвятить его келейной жизни и постричь в монахи. Но Воян бежал; все пришли в ужас, потому что он унес с собою какую-то заклятую черную книгу. Книга эта с незапамятных времен заперта была в одной из башен, и никто не смел до нее коснуться. По этому или по другому случаю, только в народе пронеслись слухи, что Воян продал душу бесу, и не быть добру. В самом деле, вскоре королю Симеону приключилась смерть чудным образом.

Однажды Роман Лекапен, василевс Восточного Римского Царства[1], возвратившись с облавы на азиатской стороне Босфора, покоился от трудов во дворце Феофилии, построенном по образцу дворца халифов багдадских, где стены горели золотом, где разливались прохлады от цветущих платанов и водометов. Вдруг великий логофет[2] донес ему, что на Таврической площади совершилось великое чудо: статуя, представляющая Беллерофона на коне[3], превратилась в образ болгарского короля Симеона.

Роман содрогнулся. В это время Греция опасалась Болгар и воинственного духа Симеона. За четыре года перед тем он едва не взял Царьграда. А так как на мраморном подножии статуи была высечена таинственная надпись, заключавшая в себе, по словам толкователей, судьбу Царьграда и завоевание его *некоим* великим героем, то очень естественно, что это событие возмутило весь Царьград, как предвещание

---

[1] Роман I Локапин — византийский император (920—944) из македонской династии (происходящей от армянских крестьян). Вел тяжелые войны с болгарским царем Симеоном, после смерти которого распространил свое влияние на Болгарию. Укрепил армию, сражался с русским князем Игорем (941 г.) и заключил в 944 г. мирный договор с Русью.— *А. Б.*

[2] Высший придворный чин в Молдавском государстве XIV—XIX вв., глава государственной канцелярии и хранитель большой государственной печати. В Византии логофетами назывались главы центральных ведомств.— *А. Б.*

[3] Беллерофон — герой греческой мифологии, совершавший свои подвиги на крылатом коне Пегасе, победивший злобное чудовище — Химеру.— *А. Б.*

падения Греческой империи,— тем более что известие о новом восстании Симеона на Грецию было причиной падения духа не только в народе, но и в войске. Император желал лично увериться в истине события. Возложив на себя багряницу и диадему, сделанную по образцу тахта царей персидских и подобную горе Эльборджу[1], блистающею алмазами и лаллами, с двумя истоками перлов, падающих на плеча, Роман воссел с помощью протостратора на коня и, сопровождаемый деспотами, севастократорами, панхиперсевастами, доместиками[2] и телохранителями, выехал на Таврическую площадь, где теснился народ в страхе и унынии около статуи Беллерофона, превратившейся в короля Симеона.

— Кто избавит меня от этого проклятого Симеона? — вскричал Роман, взглянув на статую.

— Я! — отвечал, выступая из безмолвной толпы, безобразный человек в странной одежде.

— Кто ты? — спросил Роман.

— А вот кто: видите это изображение под стопами коня? Это я.

В самом деле, неизвестный был совершенное подобие химеры в человеческом виде, изображенной под стопами Беллерофона.

— Читайте надпись,— продолжал неизвестный,— в ней сказано: «Всадник придет покорить Царьград; но до этого не допустит человек, изображенный под стопами всадника». Дайте мне меч, я снесу голову Симеона с чужих плеч.

— Ты безумный,— сказал один из вельмож Романа,— мраморной шеи не перерубишь!

— Если не снесу эту мраморную голову и она не сгорит на огне, раскладывайте костер, сожгите меня,— отвечал неизвестный.

— Исполните его желание! — сказал Роман и, поворотив коня, медленно поехал ко дворцу.

— Вот тебе острый меч,— сказал один из телохранителей царских.

— Не сдержишь сло́ва, сожжем! — крикнула толпа.

— Раскладывай огонь! — сказал неизвестный и, взяв меч из рук воина, вскочил сперва на мраморное подножие статуи, потом на круп коня, схватился за шишак[3] всадника,

[1] Эльбрусу.— *А. Б.*

[2] Перечислены чины византийского двора.— *А. Б.*

[3] Шлем.— *А. Б.*

взмахнул мечом, и голова Симеона отделилась от туловища Беллерофона.

— Видели? — вскричал неизвестный, показывая голову изумленному народу.

Соскочив с коня и с подножия, он бросил голову на пылавший костер. Ее обхватило пламенем, огонь затрещал, искры посыпались водометом.

Испуганный народ разметался во все стороны.

— Видели? — раздалось снова в толпе, обданной густым дымом.

Дым пронесло ветром.

— Где же он? — спрашивали с ужасом все друг у друга, смотря то на истлевший костер, то на обезглавленного Беллерофона, то озираясь кругом и не видя нигде чудного человека.

Это событие, исторически верное, излечило народ от панического страху при одном имени Симеона; и если бы Симеон перешагнул уже городские стены, то все спокойно были бы уверены, что Царьград непобедим. Но страннее всего было то, что Симеон умер в тот день и час, в который превратившемуся в его образ Беллерофону снесли голову.

По смерти Симеона вступил на болгарский престол сын его Петр. При нем Болгарию стали одолевать беды. Турки, Хорваты и Сербы, узнав о смерти грозного Симеона, поднялись на нее войною; тучи саранчи с еврейскими таинственными *писаньями* на крыльях носились над полями и опустошали нивы. Брат Петра, Иоанн, по тайным внушениям, стал питать зависть и строить ковы; Петр постриг его в монахи, заключив в темницу; но он бежал. В монашествующем Михаиле, третьем сыне Симеона, загорелась также жажда к власти, и он, сбросив рясу, явился в голове недовольных.

Во всех этих бедах комис Георгий, с старшим своим сыном Самуилом, так искусно умели проявить себя в глазах Петра и народа хранителями царства, что без них, судя по громкой молве, погибнуть бы Болгарии. Страшные неурожаи вынудили Петра обратиться к помощи Греции и искать дружественных отношений. Отправленный послом клеврет комиса Георгия Сурсувула, уроженец Херсониса, Георгий калокир, из собственной филархии, вопреки выгодам друга своего, подал благой совет василевсу Роману запустить, как говорит-

ся, лапу в Болгарию посредством родства с Петром. Роман для такого благого дела не пожалел внуки своей Марии, дочери кесаря Христофора. Калокир возвратился в Преслав с патрицием Никитой, торжественно объявил об успехе своего посольства и тайно возмутил душу Петру неописанной красотою кесаревны, сообщив ему образ ее как живой, писанный на *дске* и облеченный в наряд царственный, шитый золотом и осыпанный драгоценными камнями. Очарованный Петр принял предложение василевса приехать в Царьград, тогда как комис Георгий готовил для него невест на выбор. От комиса скрыто было намерение короля, и потому он не противился поездке его в Царьград. Сочетание Петра и Марии совершено было в присутствии всего сигклита в церкви «Святой Богородицы при кладязе», и Роман повелел устроить славное и пребогатое угощение. Комис был поражен как громом, узнав об этом событии. Влияние его на Петра кончилось с прибытием Марии в Преслав.

От Марии Петр имел двух сыновей: Бориса и Романа — и дочь Райну, мирским именем Бериславу. Марией держался мир Болгарии с Грецией. Сыновья ее воспитывались в Царьграде при дворце отца, и все отношения были дружественны и выгоды обоюдны. Но едва умерла Мария, влияние хитрого комиса на ум Петра возникло с новою силою. Комис приобретал всеми средствами общую любовь; это был коварный народоласкатель; потворствуя страстям, он уловил всех вельмож и бояр, которые имели голос и вес. Все доброе шло от него, все злое от Петра; вся гроза от короля, вся милость от комиса. По образцу эллинской и римской премудрости, его окружали «люди шопотники, на языке службу носящии». Старшему и любимому своему сыну Самуилу передал он власть военачальника; прочие его сыновья: Давыд, Моисей и Аарон — творили волю отца в областях.

Боясь присутствия при короле взросших уже и образованных сыновей его Бориса и Романа, комис умел устроить так, что при вступлении на престол константинопольский Никифора они остались заложниками условий возобновленного мира. Едва мир был утвержден, как он уже изыскивал средства нарушить его. По условию, Болгары обязаны были не пропускать Торков, или Угров паннонийских, через Дунай и свои земли, делать набеги на греческие области; но

Угры свободно проходили на разбой. Никифор напоминал об условиях; наконец стал грозить:

— Вот, краль Петр,— сказал комис,— до чего мы дожили! нам велят стоять на страже по границам греческим; да беречь их!

— Кто велит? — спросил горделиво Петр, которого самолюбие легко затрогивалось.

— Кир Никифор велит; что ж делать, придется выгнать весь народ на Дунай, на сторо́жу, чтоб не пробралась где шайка Угров да не прошла в Грецию и не ограбила какую-нибудь деревню: за всякую собаку, которая перебежит через нашу землю и укусит Грека, мы обязаны отвечать киру Никифору...

— Я? Буду ему отвечать? — вскричал Петр.

— Будешь, если обязался.

— Старик Георгий, на голову твою выпал снег и, верно, кровь остыла в жилах!

— Нет, не остыла; если б моя воля, давно бы очистил я Загорье от Греков, не стал бы с ними ни родниться, ни браться; знаю я их: дождь по капле падает, да хуже моря топит.

— В первый раз говоришь ты мне такие речи,— сказал Петр.

— Нрав твой склонен к миру, и воля твоя клонилась к миру; а воле твоей королевской противиться я не мог.

— Союз с Греками служил нам в пользу.

— Да, угладили они нам путь к гибели. По воле своей ты сроднился с кесарями; по воле покойной королевы дети твои в Царьграде...

— Так что ж? — перервал сердито Петр.

— Ничего еще, они жили у родных; при Романе им было хорошо; а при правителе стратиоте[1] Никифоре и наследникам Романовым стало плохо. Да не о том дело: стратиот Никифор теперь муж Феофании, вдовствующей василиссы,

[1] Стратиотами в Византии назывались крестьяне, за владение неотчуждаемым земельным наделом обязанные военной службой. В X в. из них формировалась тяжелая, закованная в латы кавалерия катафрактов. Зажиточные крестьяне, свободные от всех государственных налогов, кроме поземельного, дали империи немало видных государственных деятелей.— *А. Б.*

правит царством[1] и требует от нас покорности воле своей...

— Этого никогда не будет! — вскричал Петр.

— Вижу теперь сына Симеонова: на угрозы отвечает грозою! — сказал хитрый комис и, пользуясь необдуманным гневом Петра, немедленно отправил посла греческого с отказом наотрез: «Болгария не область греческая, стережет свои границы, а чужих стеречь не будет».

— Эти варвары глупы, не знают собственных выгод, с ними дружбы не сведешь,— сказал Никифор известному уже нам калокиру, который по соглашению с комисом служил при дворе цареградском, употреблялся при сношениях с Болгарией и двоил душу как слуга императора и друг комиса.

— О, деспотос,— сказал он Никифору,— вместе с ответом Петра на твои требования пришли и ко мне вести из Болгарии: недобрые вести. Благо мое в твоих руках, и я не изменю пользам твоим.

— Говори мне эти вести,— сказал Никифор.

— Я истинно знаю,— продолжал калокир,— что король Петр заключил дружбу с Аварами Паннонийскими[2] и с Сербами, чтоб внезапно напасть на Грецию. Думаю, что это делается по чьему-нибудь внушению...

— Ты смутил душу мою,— сказал Никифор, задумавшись.— Подозрения твои справедливы, у меня есть враги... Ну, пусть перейдет Петр горы, я выйду к нему навстречу; а вместо знамен сариссофоры[3] понесут перед моими полками на копьях Бориса и Романа! Пусть посмотрит он, как хламиды их будут развеваться в воздухе!

— О, деспотос! — сказал калокир, усмехаясь.— Этого-то

---

[1] Никифор II Фока — византийский император (963—969), из знатного малоазиатского рода, проводил политику, отражающую интересы стратиотов. Военная реформа Фоки признала катафрактов основной силой армии, с которой император вел победоносные войны с арабами. В 966 г. Никифор начал войну с Болгарией, которую, судя по византийским хронистам, люто ненавидел. Убит в результате заговора Иоанна Цимисхия у себя во дворце.— *А. Б.*

[2] Аварийский каганат с центром в Паннонии был окончательно разгромлен в VIII в., а сами авары (древнерусские обры) растворились в массе других племен; отсюда пословица «Повести временных лет»: «погибоша, аки обри». Здесь Вельтман имеет в виду угров — венгров.— *А. Б.*

[3] Копьеносцы, тяжеловооруженные пехотинцы, составлявшие фалангу (от «сариссы» — длинного копья).— *А. Б.*

и добивается дядя короля Петра и мой друг. Кому же наследовать престол, как не ему или не его сыну, когда королевский род прекратится.

— Для меня все демоны равны; а во всяком случае надо покуда оградить границы от Болгар не хартиями, а оружием. Теперь все силы мои в Азии, нанять некого, Фаранги[1] служат у пап да в войске императора Западного.

— А Руссы? с Руссами предстоит тебе союз славный. Дозволь мне ехать в Русь, отвезти дары к великому жупану Киовии и вызвать его воевать Булгарию.

— Сан патриция, если исполнишь это удачно и мне по́ сердцу; земли в Херсонисе Таврическом во владение.

Калокир поцеловал полу порфиры[2] Никифора и вскоре отправился в Русь.

А между тем в Преславе комис строил новые ковы. Старший сын его, Самуил, страстно был влюблен в королевну Райну. Он как будто угадал желание отца своего, который давно обдумывал этот союз, как надежное звено для своих замыслов.

После смерти королевы Марии по его избранию приставлена была к Райне в мамы старая Тулла́. Посредством ее думал он действовать на душу королевны и поджечь юное сердце, в котором не загоралась еще заря любви.

Когда комис назначил приступить решительнее к делу, Тулла́, как морская черепаха, поднялась на задние лапы, вытулила из костей сухощавую голову, вытаращила глаза и, вооружась костылем, стала ухаживать за Райной, обаять ее всеми таинственными наговорами любви и распалять воображение девушки, чтоб заманить ее голубиную душу в сети и сдать с рук на руки Самуилу. Она ворожила и гадала ей про суженого, описывала Самуила с головы до ног.

— Черновлас, велеок, полнома очима, чернома зеницама, взнесенома бровма, луконос, смагл, надрумян, телом на четверти, коротоший, посмедающь усом, доброрек, борз и храбр... Вот каков твой суженой, королевна.

— Какой нелепой, точно как Самуил,— отвечала со смехом Райна.

— Дитя, дитя! что выходит на долю твою, то сбудется; смотри, если не сбудется, от предреченья не уйдешь. Теперь

[1] Здесь: франки, служившие наемниками.— *А. Б.*

[2] Багряница, пурпурная царская одежда.— *А. Б.*

кажется тебе, что не нравится, а как само сердце загадает, душа запросит любви, и будет тебе сниться все он да он.

— Кто он?

— Суженой, что вышел на долю твою.

— Луконосый Армянин? — произнесла Райна с презрением.

Старуха видела, что без чар не обойдешься. Велось некогда доброе поверье: «будет у тебя голубиное сердце, будешь любим всеми». Заветный смысл этого поверья исчез посереди невежества и обмана; потому что легче было вынуть сердце из голубя и велеть носить его за пазухой, нежели научить, что, уподобляясь нежностью и добротою души белому голубю, можно приобрести взаимную любовь. И вот умному поверью дали толк безумный, на зло истине и на гибель белым голубям.

Туллá добыла голубя и голубку, вынула из них сердца, нашептала что-то над ними, высушила в печи, зашила в ладонку и велела Самуилу надеть на себя.

Доверчиво исполнил он наставления старухи; для него было все равно, чем бы ни приобрести согласие Райны отвечать на его любовь: взаимным ли сочувствием любви или соблазном и чарами старух.

Глава вторая

Посереди общего расстройства дел дух короля Петра также был расстроен.

По смерти королевы Марии он сложил все заботы на комиса, который издавна приучил его тяготиться ими и любить только блеск и свои преимущества. Торжественность празднований, охота, травля и ловля были главными его занятиями, а все остальное время — негой отдохновения. Ничто не доходило до слуха его иначе как через уста комиса. Однажды что-то разбудило его; он очнулся и видит перед собой старца, совершенное подобие отца своего.

— Петр, Петр,— произнесло видение,— вверился ты в комиса, погубит он и тебя, и детей твоих, и царство твое; пришел я предупредить тебя...

Петр вскрикнул от ужасу.

Видение скрылось. Наяву было это или во сне; но он не мог уже сомкнуть глаз до утра и встал мрачен и задумчив.

Воспитанный в суеверии дядькой и кормильцем своим, он верил в предвещания: явление и слова отца совершенно возмутили его душу; комис вдруг стал ему страшен, и он думал, как бы удалить его от себя.

Петр никогда не любил комиса; но уважение к воспитателю своему и убеждение в его верности и преданности, привычка зависеть от его советов сделали комиса правой рукой Петра, которую страшно было отнять от плеча.

Когда комис вошел, Петр содрогнулся.

— Ты что-то не в добром духе, король,— сказал он ему.

— Да, задумался о детях... они живут при Никифоре как заложники мира, а мы нарушаем мир.

— Не бойся, король, мы их выручим из рук Никифора,— отвечал комис,— он не смеет ничего сделать королевским твоим детям, или мы снесем весь Царьград в море!

— Послушай, Георгий...— произнес Петр нерешительно.

— Что повелишь, государь?

— Проси у меня милости... я готов для тебя все сделать... вознаградить твою верную службу.

— Государь, отец твой и ты осыпали меня своими милостями,— отвечал комис,— какой же милости остается мне желать?.. Я возвеличен уже до родства с царской кровью, ношу имя твоего дяди, хотя покойная королева, мать твоя, и не была родной мне сестрою, но если воля твоя...

— Проси, проси! — сказал Петр.

— Как к родному лежало мое сердце к тебе... и если оно чувствовало, что предстоит мне высокая почесть...

— Какая же? — спросил Петр, скрывая гнев и догадку свою.— Говори, я воздам тебе почесть...

— Дозволь мне умолчать теперь, король,— сказал комис, целуя руку Петра,— милости твои неизглаголанны, и если ты изречешь и эту милость, то старость моя не перенесет счастья...

— Догадываюсь я,— сказал Петр с притворным спокойствием,— да знаешь ли ты, Георгий, сердце моей дочери?

— О, если дозволишь сказать тебе истину: знаю,— отвечал комис, радостно целуя руку Петра,— с малолетства отличила она сына моего Самуила милостями своими.

— И я знаю сердце своей дочери и говорю за нее, что за моего раба она не пойдет замуж,— произнес горделиво Петр.

Комис побледнел.

— Скажи же свату,— продолжал Петр грозно, указывая

на дверь,— чтоб он съезжал со двора!.. Когда я возвращусь, чтоб его ноги здесь не было!..

Глаза комиса запылали зверским мщением; он вышел; а взволнованный Петр, казалось, сам испугался гнева своего и последствий и немедленно поехал в Малый Преслав, где был красный дворец королевский и зверинец.

Прошел день, другой, король Петр не возвращается. Райну, привыкшую видеть отца ежедневно, начинает беспокоить его отсутствие. Вдруг на третий день рано утром раздался соборный звон.

— Неда, Неда! — вскричала Райна к подруге своей.— Слышишь? Что это значит? Звон набатный!

— Ах, не сбор ли на войну против Греков! — отвечала Неда.

— Что ты это говоришь, Неда! братья в Цареграде.

— Так слышала я, королевна, давича побоялась я спросить при Тулле́, зачем это вооружается дружина королевская и строится на дворе.

— Это недаром,— проговорила печально Райна,— а отца нет!.. Не дядя ли Ио́кица сделал опять набег?

— Королевна, Ио́кица, говорят, давно умер.

— Умер! все говорят, что умер; а комис Георгий говорит, что не умер, что его и мертвого надо бояться.

— Против шайки *тати* и *гусаров* будут ли собор собирать?

— Что ж это такое, Неда? — спросила опять Райна.

— Ой, война, война, кровавая постеля! — проговорила печально Неда.

— Ой, Неда, Неда,

Не хладный камень —
Сердце опало! —

проговорила Райна со вздохом слова одной песни.

— Чу, по всем монастырям звонят... точно как плачевный звон по покойной королеве.

— Ой, Неда, Неда,

Не из-под камня
Бьет ключ горючий! —

продолжала Райна; и на очах ее копились слезы.

— Ни отца, ни братьев со мной! и головы приклонить не

к кому!.. Майя моя! были мне радости, покуда ты была жива, а умерла, горький мне плач и огненные слезы!

— Чу, бубны и трубы! Шум какой! — вскричала Неда.

— Пойдем на вышку, призови Туллу́! да узнай, не приехал ли король!

Неда выбежала; а Райна боязливо смотрела в окно, из которого видны были сквозь деревья только скалы над монастырем и виноградники маторские.

Красота юной Райны уже славилась в народе. «Добросанна, добра и благородна королевна наша,— говорили все, кто видел ее,— красен и чуден ее образ, ясны очи, черны зеницы, румяный лик приосенен долгою владью; нет ей двойнички на белом свете!»

— Да, верно, недобрая весть пришла! — кричала Тулла́, входя в горницу королевны.

— Какая же весть? скажи, Тулла́! О боже, пронеси мимо нас печали!.. Что ж ты молчишь, Тулла́?

— Не знаю, не знаю сама, что такое! — отвечала старуха.— Да чему ж худому быть? Ведь над нами бог.

— Отчего ж измерла душа моя!.. Пойдемте на вышку.

И Райна, схватив старуху за руку, повлекла ее за собой. Они прошли сени и переходы, вышли на стену и потом взобрались на башню летнего дворца королевского, возвышавшегося на одном из холмов посереди саду.

С вышки открылся весь Преслав. Он лежал в ущелье хребта, отделявшегося от Гема; с юга и севера его ограждали скалистые крутизны, а со стороны восточной каменная стена, за которою взор блуждал по цветущей, роскошной природе, по горам, одетым лесом, по скатам, устланным бархатными цветными коврами лугов, по мрачным ущельям, по холмам и скалам.

Вышеград, или главный королевский двор, венчал зубчатой оградой холм, над ручьем, извивающимся от «святаго кладезя» в горах, с западной стороны города. На луговой стороне были палаты митрополичьи, при соборном храме Святого Георгия; вокруг стен гостиный двор с лавками Греков и Армян. Домы жителей были разбросаны по скатам между виноградниками и по холмам посереди фруктовых садов.

Соборный храм Святого Георгия был одинакового зодчества со всеми храмами, которые мы привыкли называть храмами греческой архитектуры, но которые свойственнее

называть зодчеством восточной Церкви; оно существовало в Галии еще при Меровингах[1]. Это было четвероугольное здание с мрачными сводами на четырех столпах, с главой и кровлей, крытой медными и вызолоченными листами. Внутренние стены покрыты были священной живописью, мозаикой, позолотой и резьбой; перед алтарем иконостас. Вокруг храма крытая паперть, украшенная также рядами изображений святых Старого и Нового завета, ликами патриархов, пророков и великомучеников. С восточной стороны паперти была крытая площадка, выдающаяся на площадь; здесь у стен было место королевское, и отсюда повещали народу решения собора.

Весна только что водворилась посереди очаровательной природы, которая, как щедрая, богатая мать, устилала детскую колыбель шелковыми узорчатыми тканями и дышала так благотворно, убирая вязями цветов майское дерево к наступающему семейному празднику. На яблонях, черешнях и абрикосах распустились опалы; капли росы то искрились, как алмаз, то, подернувшись инеем, осыпáли листья мелким перловым бисером. Тут все богатство было живое, вся роскошь одушевленная, весь блеск неискусственный; тут была не безобразная пустыня, куда изгнанник и отшельник от бытия райского сносили камни и металлы с кладбищ природы и посереди труда, уныния души и вечного недостатка в жизни становились живыми мертвецами.

— Неда, Неда,— вскричала Райна с смущенным чувством, когда перед ней открылся весь Преслав,— посмотри, народ стекается со всех сторон, звон по всем монастырям!.. Дружина выступает со двора на площадь!..

— Да, да,— сказала Туллá, всматриваясь,— это комитопул[2] Самуил ведет ее.

— Ах, Неда, Неда, мне что-то страшно! — проговорила Райна.

— Чего же нам страшиться! — сказала Туллá очень спокойно.— Под защитой сына комиса Георгия нам нечего страшиться, королевна: дерзый, храбрый юнак, сам стрелец!.. Посмотри-ка, дýшица моя, кажется, это под ним выступает гордо конь?.. Да под кем же и гордиться коню, как не под ним... Посмотри-ка, ведь это он солнцем блестит: шитая зла-

[1] Первая королевская династия во Франкском королевстве (457—751).— *А. Б.*

[2] Сын комиса.— *А. Б.*

том *гунь*[1] сверх брони, шлем, кованный из злата, челенка[2] серебряная, меч в руке... Что, он?

— Ах, не говори мне об нем, Туллá! — сердито отвечала Райна.

— Не говори! я не тебе и говорю... я сама себе говорю, что краше и храбрее его нет во всем царстве... Я старуха, да любуюсь, глядя на него... а девице не диво и заглядеться.

— Туллá!..— вскричала невольно Райна.

— Господица ты, да еще не госпожа моя, что так изволишь окликать! — произнесла старуха, озлобясь.— Не в послушницы к тебе я приставлена!

— Оставь меня! — сказала Райна, отходя от старухи.

— Не знаю, кого слушать, тебя ли, кралицу незрелую, или короля, родителя твоего; он приказал мне тебя, его и слушаю; родной матери нет, так какая есть!..

— Раба! Король, отец мой, не дал тебе материнской власти надо мною!

— Напрасно величаешь меня Болгарыней, я не Болгарыня, не подвластная! я все-таки не ослушаюсь приказа королевского. Да, впрочем, бог его знает, где теперь король; комису поручил он власть и двор свой,— пойду к нему, скажу, что ты изволишь изгонять меня!.. Не ждать же суда королевского... дождешься его или нет!

— Горькая Армянка! — вскричала Райна, взглянув с ужасом на озлобленную старуху.

Глава третья

Кому неизвестен русский великий князь Святослав, отец того Владимира, которому Волжские Болгары Бохмичи предлагали семьдесят гурий на том свете, с тем чтоб на этом свете «свинины не ясти, вина не пити», и который отвечал им: «Руси есть веселие пити, не может без того быти!»*[3]

Святослав был последний представитель быта владетельного рода Руссов — поколения древних земных богов*.

Воспитанный в обычаях и древнем веровании деда и отца, Святослав шел по стопам великих предков-воителей,

---

[1] Телогрея, кожух. *А. Б.*

[2] Чельник головной наряд; челка боевой значок, хоругвь. *А. Б.*

[3] Объяснение выражений, помеченных *, см. в комментариях.

жил на коне, спал на седле, не под шатром, а по́д богом, острая сабля по́д боком; «тако ж и прочии вои его бяху вси»*.

Ус его был злат, как у Перуна, борода бритая — для воина, которому вечно должно быть молоду, борода бы изменила. Так велось исстари и в царстве индейском, где также раджи не носили бороды и свято исполняли закон, которым воспрещено было каждому *раджану*, воину, употреблять против неприятеля бесчестное оружие, как, например, палку, заключающую в себе остроконечный клинок, зубчатые стрелы, стрелы, напитанные ядом, и стрелы огнеметные. Раджаны не нападали ни на спящего, ни на безоружного, ни на удрученного скорбью, ни на раненого, ни на труса, ни на беглеца.

Таков был и Святослав, «тако ж и прочии вои его бяху вси». Терпеть не могли немецкого оружия, клинков, а любили полосы*. Сызмала Святослав рос богатырем, сызмала не любил просто ходить, а любил ездить, хоть на палочке, да верхом скакал он по палатам и за малейшую несправедливость объявлял войну и сражался то с мамой, то с няней, то с кормильцем своим Свенальдом.

Будучи еще *детском*, лет десяти, он подал знак к сражению, как говорит летопись, и *«суну копьем на Деревляны»*. Хоть копье недалеко улетело: «лете сквозь уши коневи и удари в ногу коневи; бе бо детск». Но князь почал, а дружина кончила дело победой*. В 964 году Ольга передала державу сыну своему. Это был год его возмужания. По обычаю, бояре, старшины всех областей и народ собрались на вече. Дружина Святославова, во всеоружии, окружила посад. Старый жрец совершил богам молитву и возгласил, что следовало по обряду. Как водится, море народа, безмолвно внимавшее словам вещуна, вдруг заколебалось, загрохотало во здравие великому князю. Четыре могучих воина выступили вперед из рядов, взяли большой щит княжеский. Святослав воссел на щит, воины подняли его на плеча и понесли вокруг посада, сопровождаемые вельможами двора, при шумных кликах народа и ударов дружины мечами в кованые щиты. Совершив три раза круг, Святослава взнесли на посад, препоясали мечом, облекли в багряницу и в весь «чин великокняжеский». Потом он извлек меч из ножен, а все боярство и дружина его сложили щиты, обнаженные мечи, обручи и все оружие на землю. Потом изрек он со всем боярством своим и дружиною верную клятву, клялся оружием и

Перуном ходить по вере и закону, хранить любовь правую ко всем «иже суть под рукою его, светлого князя, необлазно и непреложно, покуда солнце сияет и весь мир стоит, и быть щитом и оградою русским людям, и, да сохраним, *аз и иже со мною и подо мною, да имеем клятву от бога, и в него же веруем, да будем золоти яко золото, и своим оружием да изсечени будем»**.

По окончании обета поднесли Святославу заздравную чашу *браги*, певцы загремели здравие, он поклонился на все четыре стороны, выпил и, хваля и славя бога, сел «на столе дедни и отни».

Только что наступила весна, Святослав начал собирать рать. Полки Словен, Чуди, Кривичей, Мери, Древлян, Радимичей, Полян, Север, Хорват, Дулебов и Тиверцев, под общим именем Руси, сошлись на берегах Днепра*. С ними решил Святослав положить конец хазарскому владычеству. Прежде всего покорил он Вятичей, подвластных Хазарам. Их старейшины — *тиуны* и жрецы — *веданы* встречали по берегам Оки и Волги победителя с хлебом и солью. Святослав принимал от них дары и клятвы в кирметах, а Хазарам, правителям и обладателям их, говорил: «Вы до́сыта пили и яли, а ныне идите уже прочь!» — и велел им идти к своему кагану, чтоб выставлял на всех градах хазарских знамя войны — «*бо хощю на вы ити*». На другое лето Святослав сдержал свое слово. По летописям восточным, в 358 году Эгиры, то есть в 968 году, пришел он по Волге на пятистах судах, покорил города Болгар, Хазеран, Итиль и Семендер, изгнал отвсюду и Хазар — правителей и их ученых — Халдеев, и с этого времени об Хазарах ни слуху ни духу*.

Святослав, как «войник», не мог пробыть без ратного дела, особенно в то время года, когда благие духи, а за ними вслед священная египетская птица аист, и птицы певчие тысячегласные, и ласточки благовестные, и сковранцы прилетают из райских стран погостить в скифские земли, одушевить собою красное лето посереди пустынь, оживить человека и научить его петь песни.

Возвращаясь из походов к началу руйной осени и сотворив требу богам с людьми своими и пир на весь мир, Святослав, как легкий пард, *тружаяся ловы деять**, и таким образом время его проходило на зною и на зиме, на войне и на ловле, ночь и день, не ведая покоя, не блюдя живота, не щадя головы.

Рано женила Ольга прекрасного и воинственного сына своего, желая смирить в нем «дерзый» нрав. От своей княгини имел он двух сыновей, Ярополка и Олега, но когда порасцвело сердце Святослава, он полюбил хорошенькую Милянку, ключницу и ларечницу Ольги. Она была дочь боярина Малоша, из Любеча, что на Днепре, близ Чернигова. Брат ее Добрень, или Добрыня Малкович, рос вместе с Святославом и был им любим за силу и удальство. От Ольги не скрылось, что сын ее преступает заповеди, в гневе своем сослала она Миляну в село Будотино на покаянье.

Святослав не любил своей княгини, Святослав полюбил Миляну так, из дружбы к ее брату; Святослав не знал страсти, он знал еще только любовь к удальству, и его душа порывалась на бой. Испеченная на углях *конина* или *верина* посереди ратного поля нравились ему более лакомого обеда, который готовил Торчин, старейшина поваров княжеских. Ему люб был только отдых на поле побед, когда, *стоя на костях неприятельских под черным знаменем*, по совершении тризны по убитым, прилегал он на седло и смотрел, как воины его радостно делили богатую добычу, коней и оружие неприятельское.

После рушения хазарской власти Святослав собрал снова великую рать, чтоб идти за Волгу, но послы от заволжских племен явились с покорностию, и Святослав не знал, где искать ему врагов: со всех сторон приходили к нему с дарами и предложениями дружбы и мира. С запада от германского императора, с юга от греческого василевса; с севером он был в родстве и в ладу.

Что было делать воинственной душе Святослава посереди всеобщего мира? Святослав не любил пировать и столовать, как впоследствии пировал сын его, по обычаям заморским. Его столы были не браные, яства не сахарные, питья не медвяные. Не любил он и сидеть на золотом стуле, на рытом бархате, на червчатой камке, суды рассуживать, ряды разряживать, грозно костылем махать. Не было у него ни себе, ни людям неги и роскоши, жило все по старине и обычаю. Ни сам он, ни бояре теремов высоких не строили, красных девиц не неволили. Идет князь — большой за меньшего не прячется; на суде — умный дураком не ограждается, виноватый на правого вины не складывает*.

Вокруг него нет невольников, все охотники; нет жен зазорных ни в Предславине, ни в Вышгороде, ни в Белгороде,

ни в Берестовом*. Не метали при нем старцы и бояре жеребья на отроков и девиц, чтобы резать их в жертву богам, не осквернялась еще *кровми земля русская и холм той**, где стоял двор теремный, да не стоял еще идол. Все эти заморские обычаи выведены были сыном его из заморья.

Что было делать Святославу: в мире мир наступил; а разбоем идти на чужие земли он не хотел, по обычаю моряков северных, и охота ему надоела. Он уже думал распустить собранную рать.

В это-то время, на счастье или на беду его, прибыл в Киев посол от греческого кира Никифора, известный уже нам Георгий калокир*.

Подъезжая к городу и увидя шатры великой рати по берегам Днепра и людей на Днепре, посол спросил, что это значит, кого воевать сбирается русский князь? «А идем воевать Греков, брать с них золото да менять старые полотняные паруса на паволочитые!» — отвечали ему.

Калокир, поверив, торопился предстать перед великого князя, умилостивить и уластить его дарами. Когда доложили Святославу о прибытии греческого посла, он велел, по обычаю, созвать старцев градских, бояр и *нарочитых людей*[1]. Калокир явился посереди сонма со всем запасом даров, низко поклонился трижды князю, положил перед ним *злато и паволоки* и приветствовал от имени Никифора как от данника, приславшего оклады на грады русские, на Киев, Чернигов, Переяславль, Полтеск, Ростов, Любеч и на все прочие грады, где сидят великие князи, подвластные Святославу*. Объявил, что царь Никифор здравия желает брату своему, великому князю русскому, и что для дружной Руси все врата Греции отперты, и, ежели приедет Русь с куплею, да покупает сколько душе угодно паволок, и не запретит царь словом своим всем приходящим из Руси, и дает брашно, и якори, и ужи, и парусы сколько потребно; а гости получат месячину на полгода, и хлебы, и вины, и мясо, и рыбу и различные овощи*.

Потом поднес он Святославу драгоценный меч и просил да обнажит его на непокорных и насилующих Грецию Болгар, да покорит их королевство, и держит его во власти своей, и, храня дружбу с царем, да поделит с ним дани.

Лицо Святослава просияло, милостиво велел он идти по-

---

[1] Знатных людей.— *А. Б.*

слу в посольскую избу, ждать решения, и сказал старцам и боярам своим:

— Царь греческий шлет ко мне посла своего и дары многие. Не любы мне паволоки, золотники, и серебряники, и каменье драгое, и хламиды багряные, и вины, и овощи многоразличные, а люб мне этот меч.

— Добро и честь великая тебе, княже,— отвечали старцы и бояре,— повелишь угостить послов и гостей всяким брашном и медом — угостим; повелишь отдарить скорою, воском и челядью — отдарим. С Греками любо нам мир держать, от них нам дары, злато, серебро и паволоки.

— Болгары, данники Греков, крамолы ведут на Царьград,— продолжал Святослав,— насильникам035 Уграм путь кажут через горы. Царь греческий зовет нас воевать землю болгарскую и держать во власти своей*.

— О, богата земля болгарская, княже,— сказал сторожевой воевода дружины великокняжеской Претич.— В годину войны с Греками был я там с отцом твоим светлым князем Игорем. Там земля садом, цветом и дубравами украшена, горами опоясана. Велики в той земле горы под облаками, так велики, что солнце катится по вершинам. Хороши и города. В Загорье железняк, там родится железо, и куют там мечи и сабли с золотой насечкой и копья и стрелы калят. А скаты гор усеяны розовым цветом, из него же чинят благовонный елей. Багр и синету[1] красят там на диво. А свежая овощь, красная всякая ягода — вертоград земной!.. В дубнице кони верховые. В то время Греки дары вынесли нам, а Болгары дани не хотели давать, и послал меня отец твой, княже, с наемными Печенегами воевать землю*. Тут-то собрали мы добычу оружьем богатым, борзыми конями, шелковыми уздечками с бахромой да с золотыми бляхами. А Печенеги — волки в стаде! Придет в дом — напьется, насытит утробу, а потом требует с хозяина платы за то, что ломал зубы свои об его хлеб.

— И поделом ходящим в нечистотах! Та же Бохмитова вражья сила! — сказал великий жрец.

— Нет, отец, они кресту поклоняются, и народ добрый, храбрый, говорят людским языком, не то что наши наймицы Варяги. Увидишь сам, господине мой, княже, там тебе бы краситься и славиться.

[1] Багряные и синие ткани.— *А. Б.*

— Дело решенное! — сказал Святослав.— Отпустить посла с честью и дарами. Рать готова, корабли снаряжены, пусть скажет царю, что иду.

— Так богу угодно,— сказал жрец великий,— да возвеличится в тебе, княже, сила сильных и слава славных!

Калокир был отпущен по слову князя; а вскоре Святослав, оставив воеводу Претича охранять Киев*, прощался с матерью и с детьми, садился на свой великокняжеский корабль с шелковыми снастями, с парусами паволочитыми. У корабля великокняжеского, как у птицы, вместо очей были яхонты, вместо бровей черные соболи, вместо клюва два ножа булатные, крылья паволочитые, чертог муравленый, на чертоге беседа слоновий клык, подернута рытым бархатом.

Стали уже поднимать якори, как вдруг прискакали от печенежского князя Куря гонцы. На лихих конях примчались они к берегу, соскочили, сбросили епанчи и предстали перед князем в шелковых с закидными рукавами бешметах, перепоясанных кушаками, в желтых четвероугольных шапках с бобровыми околышами и с красными кистями; в сапогах с высокими каблуками; за плечами лук и колчаны; за поясом ножи. Без особых приветствий сказали они, что приехали от своего князя Куря; а узнав Куря, что белый царь поднимается на войну, и сам идет с своей ордой служить по найму у белого царя*.

— Скажите своему князю, что у меня много своего войска, наемного мне не нужно,— отвечал Святослав.

— Не ладно! — сказал один, тряхнув головой и взглянув на прочих.— Даром мы вымеряли поле!

— Найми, белый царь, эй, найми! — сказал другой.— Мы лишними не будем, а чужого добра и с тебя и с нас станет. Мы на десятую долю пойдем.

— Не нужно,— отвечали им.

— Воля ваша, а мы все-таки пойдем следом за вами, крохи подбирать, а случай будет, может, и понадобимся.

— Не велит светлый князь,— отвечали им.

— Что ж не велит, ведь мы не с вами будем делиться, а с черной птицей! уж запретите и ей летать за собой! — отвечали они сердито.

— Хоть в проводники возьмите сотню,— сказал один, мигнув своим товарищам и прибавив тихо по-сво́ему: — Пусть возьмут сотню, в сотне будет место и целой орде.

— Не нужно,— отвечали им.

— Не нужно так не нужно, мы не навязываемся, пожалеете после,— отвечали Печенеги, накидывая епанчи и садясь на коней.

За великокняжеским крытым кораблем выгребали из пристани насады попарно, при звуках рогов и песен.

Старая княгиня Ольга провожала сына со слезами. Ей было более осьмидесяти лет. Народ стоял толпами по берегу и по горам. «Дай вам, боже, путь-дорогу и доброе здравье!» — раздавалось повсюду.

Воины совершили молитву, поцеловали родную землю, обняли родных и милых и вступили в насады.

Как дружная стая лебедей, потянулись насады вниз по Днепру. Запасные ладьи в середине, с хлебом и солью, с живой птицей и с клетками вестовых голубей. Кони пошли берегом. Громко заливалась обычная песня:

То не ясен сокол вылетал из гнезда,
То не белый орел вон выпархивал:
Выезжал князь великий из Киева,
Светлый князь Святослав из престольного*.

Глава четвертая

На площади Преславской, между королевским двором и владычним, стекался народ толпами; кнези сельские с *кметами* и *момцами*[1] мчались к раду[2] преславскому, желая скорее узнать причину соборного звону. Игуменство из ближайших монастырей и старейшины из своих пригородков ехали также верхами к собору, сопровождаемые служками и приспешниками.

Посереди говора, шуму и побрякивания оружием раздавались взаимные вопросы и догадки о причине сбору. Но причина известна была только великому комису да одному старцу гусляру, который ходил между народом по площади и, водя смычком по гусле, напевал печально:

Ой, горе, горе, великая тужба!
Не стало орла, не стало Петра;
А Орловичи-Петровичи у грачей в полону!

---

[1] Здесь: сельские старосты с десятниками и подручными (Вельтман использовал современные ему значения слов; в X в. фраза означала бы князей с воинами и оруженосцами).— *А. Б.*

[2] К соборной площади.— *А. Б.*

Кто вслушается в слово гусляра, идет за ним. что он за песню такую напевает? Гусляр не останавливается, а толпа за ним, больше и больше.

— Что ты поешь, гусляр? — спрашивают его, а он, как глухой, продолжает песню, не обращая ни на кого внимания:

Ой, горе, горе, великая тужба!
Чем ту тужбу сбыть,
Куда схоронить!

В это время из королевского двора выехал великий комис, а за ним дружина королевская, под предводительством сына его, Самуила, во всем наряде, в золотом панцире на полукафтанье зеленом с золотыми источниками; сверх всего малиновый бархатный плащ, на голове шлем нарядный. Серый конь его в яблоках, согнул шею крутым кольцом и кланялся, побрякивая браной уздечкой с кистями и подвесками.

Ой, филин, филин, ночная птица!

Запел гусляр, идя вслед за поездом комиса.

Комис вступил в собор; Самуил с дружиной стал у крыльца, народ тесно обступил ограды собора, а темные слухи о смерти Петра переносились уже из уст в уста.

— Слышите, король умер!

— Как умер? Где умер?

А гусляр напевал:

Ой, подскочил к нему льстивый враг
Поразил в широкие перси тяжкий млат!
Зашемул, застонал жалобой темный лес:
«Ой, вышиб он ему душу-душеньку,
Вылетала она чрез гортань, вылетала
Из гортани, красными устами отходила!
Ой, хлынула волной его теплая кровь;
За подружкой-душкой струею течет!»
Ой, враны-гавраны поднялися с гнезд,
На белое тело сели, кричат:
«Ой, погубил орла хитрый, льстивый враг
Не хоронит никто орла-короля,
Похороним его в утробе своей!»

— Ой, убили короля Петра! — громко пронеслось по народу.

— Кто мутит? — вскричал комитопул, подскакав к толпе. Дружина двинулась за ним в толпу.

— Кто мутит? подавайте его! — крикнул снова Самуил грозным голосом, но бледный и смущенный.

Народ, отступая от коней, смолк, озирается кругом, ищет гусляра; а гусляра нет нигде.

Мгновенная тишина изумления была прервана выходом владыки, комиса, бояр и старейшин на крыльцо. Общее внимание обратилось на них; но в это самое время послышался звук трубы с сторожевой башни, и на вершине ее захлопал красный стяг. Воины, бояре и народ содрогнулись от неожиданной вести, и посереди всеобщего онемения гонец от русского князя Святослава явился перед собором с красным значком на копье.

— От русского великого и светлого князя Святослава! — сказал он, подъезжая к крыльцу.

— С какой вестию? — спросил дрожащим голосом комис.

— Русской князь велел сказать королю царства Болгарского, его боярам и всем людям его, что идет он полком на вас, стройтесь противу!

Ой, горе, горе, тужба великая,
Не стало орла, короля Петра,
Не стало людей в царстве его! —

раздалось в толпе.

— Что скажешь ты еще от своего русского князя? — спросил смущенный и бледный комис.

— Ничего,— отвечал гонец.

— Так скажи своему князю,— продолжал комис,— что за двадцать шесть лет храбрые Болгары лозою изгнали из своей земли насильников Русь и Печенегов: то же будет и теперь*:

— Гой, любо! — вскричал народ.— Лозой изгоним!

Лицо комиса просветлело.

— Одарите и угостите гонца, пусть едет сытый! — сказал он.

— Государским жалованьем всего у меня много, ничем не скуден, сыт и своим хлебом, чужого не нужно, а готовьтесь угощать гостей нашего князя с дружиной! — отвечал гонец горделиво. Конь его взнесся на дыбы, перекинулся, и народ отхлынул от лихого всадника, который, гарцуя по площади, наконец скрылся за городской стеной.

— Братья! — возгласил комис к народу.— Честный собор, преосвященный владыко и все духовные строители церковные, князи и властители царства Болгарского! В плачевные ризы облечься бы нам по блаженном светлом короле Петре, погибшем от руки брата своего Иована, изгнанного из царства за смуты... да злое время злую игру сыграло; не в плачевные ризы облечемся, а в ратные. След бы нам в Византию идти да звать на престол королевича Бориса, да он в залоге и в неволе у греческого царя; греческий царь не равного себе хочет на престоле болгарском, а слугу себе, данника безмолвного... Честный собор, король Петр заложил детей, да не заложил воли нашей!..

— Воли своей никому не дадим! — произнес один боярин.

— Не дадим, не дадим! — повторила толпа.

— Выбирайте же правителя себе и военачальника, покуда бог дела устроит,— произнес комис, поклонясь владыке и окинув смиренным взором всех.

— Избранного богом да изберем,— произнес владыко.

— Да здравствует король Георгий! — крикнули приверженцы комиса.

Владыко побледнел, его слова́ не поняли и воспользовались ими.

В войске и в народе повторилось имя комиса; но это был не громовой голос всего на́рода, вызванный любовью и желанием общим: это был голос подобострастия некоторых и привычка носить оковы комиса.

Посереди необдуманного возглашения раздавались и порывистые крики:

— Короля Бориса! пойдем за ним с огнем и мечом на Греков.

— Благодарю владыку, боляр и всех людей,— произнес комис, возвыся голос,— кланяюсь за честь великую, возданную мне за службу царю и царству, но этой чести не принимаю я...

Все умолкли, притворное великодушие комиса поразило всех.

— Не принимаю,— повторил он,— теперь ущитим Болгарию от врагов, свободим нашу Загорию от Греков!

Комис знал дух народа; несколькими словами он увлек его и вызвал общее довольствие и согласие громкими восклицаниями. Никто не почувствовал, как накинул он на всех свои

бразды и направил волю честного собора на путь своих желаний.

— Соединимся же миром и любовью, будем готовиться на брань с Русью и Греками. Идите, вооружайтесь, братья! станем за себя!

Народ громогласно повторил: «Станем за себя!» — и, повинуясь властному голосу, стал расходиться; но тихо, как будто шел в неволю.

Ой, дали Филину над собою волю,
Заведет вас филин в темну ночь!

пел явившийся снова гусляр. Приостановятся, прислушаются к песне: что поет гусляр? — а на душе грустно, что-то не так.

Глава пятая

Между тем сердце Райны предчувствовало ожидавшее горе. Оскудела в ней душа, взалкала крепости и не обретала; слезы катились потоком, тушили зарю. Нет ей утешения от любящих; гонит от нее старая Тулла́ подруг ее Неду и Ве́лику и сама утешает ее ласками холодными, словами бездушными.

Вдруг пожаловал в ее горницу нежданный гость, комис.

— О чем она плачет? ты сказала ей? — спросил он по-армянски Туллу́.

— Нет, нет, и не думала,— отвечала Тулла́.

Райна вздрогнула, увидя комиса: в первый раз посторонний осмелился войти к ней.

— Кто дозволил тебе вход в мои горницы, комис? — спросила она, вспыхнув.

— Отец твой, королевна,— отвечал комис тихо.

— Король, отец мой? где ж он сам? — проговорила беспокойно Райна.

— О чем плакала ты, королевна? — продолжал комис, не отвечая на вопрос Райны.— Недобрый сон видела или какие-нибудь предчувствия?

— О боже мой!.. Что ты на меня так смотришь? — вскричала Райна с каким-то невольным ужасом, взглянув на комиса, который устремил на нее черный глаз, возмущающий душу.

— Участие, королевна,— продолжал комис,— горе искупается слезами...

Взор Райны блуждал; она, казалось, искала выхода, чтоб бежать от этих страшных глаз и речей, не предвещающих добра.

— Я и сам плачу! — прибавил комис, отирая сухие глаза свои, и не продолжал более.

Как кровожадный ворон смотрел он Райне в глаза и каркал про беду. Все чувства ее онемели.

— Тулла́,— произнес он шепотом, удаляясь,— успокой королевну!

Старуха призвала на помощь себе Неду и Ве́лику и повторила им приказание комиса. Обе они сами плакали, стараясь привести Райну в чувство. Когда Райна вздохнула, они торопливо отерли слезы свои.

Райна стала приходить в себя, взглянула на них; сначала в этом взоре проявилась живость, на устах улыбка; но вдруг Райна схватилась за голову и, как будто припомнив что-то, содрогнулась и побледнела.

— Неда,— произнесла она,— приходил комис... говорил что-то... я ничего не помню... голова кружится... призовите его.

— Призову,— отвечала Тулла́, бросив строгий взор на Неду и Ве́лику.

Неда и Ве́лика стояли подле Райны молча и с трудом воздерживались от слез.

— Что вы такие скучные? — спросила Райна.— Неда, и у тебя как будто заплаканы глаза!

Неда припала к плечу королевны и, целуя его, чтоб скрыть выступившие на глаза слезы, отвечала:

— Ничего, королевна.

— Неда, мне никто еще не сказал, для чего был собор в отсутствии отца моего?.. Да где же он сам?..

— Говорят, что Русь идет на нас войною,— отвечала Неда.

— Да где ж король? — спросила она опять сквозь слезы.— Верно, какое-нибудь несчастье! От меня скрывают, да говори же, Неда!

— Что ж говорить, королевна,— отвечала Неда,— я не знаю...

— Комиса нет в городе, комис куда-то уехал,— сказала Тулла́, входя в горницу.

— Уехал! не навстречу ли королю? пойдемте на вышку, отец мой должен же возвратиться, я хочу встретить его... он еще будет далеко, а я буду уже радоваться его возвращению...

Сопровождаемая мамой и своими подругами, Райна взошла в башню, села на скамью и безмолвно смотрела вдаль. Едва что-нибудь покажется на дороге, обоз или верховые, она вскрикнет: «Неда, это, кажется, король!» — и с нетерпением ждет приближения. Но все мечты ожидания разрушаются.

— Нет, не он! — говорит она со вздохом и шлет узнать, не возвратился ли комис.

Несколько дней прошли для Райны в тоскливых и тщетных ожиданиях. Она истомилась, изнемогла; на третий день Тулла́ сказала, что идет комис.

Райна бросилась к дверям.

— Где король? — спросила она и с новым трепетом и отвращением отступила от комиса.

— Он приказал...— произнес комис медленно и остановился...— Сядем, королевна... Он приказал сказать тебе, чтоб ты порадовала его душу и исполнила волю его...

— Какую волю? Говори скорее!

— Святую волю короля и отца,— произнес комис протяжно, как будто наслаждаясь истязанием чувств Райны.

— Какую же волю?

— Конечную его волю!

Райна вскрикнула; Тулла́ подскочила к ней и поддержала ей голову, опавшую как цветок на сломленном стебле. Глаза без слез, уста без рыданий; но каждая жилка трепетала в Райне. А комис с притворным чувством горести томил ее рассказами о смерти его.

— Несчастное событие! — говорил он.— Король, возвращаясь из зверинца, заболел и не мог продолжать пути, прислал за мной; я нашел его при последнем издыхании... В это-то время напал на нас злодей Иован... Бог спас меня как будто для того, чтоб передать тебе конечную волю отца.

Безмолвная на все бездушные утешения старухи, Райна, казалось, наконец вслушалась в них; сбросила с головы драгоценную повязку, сорвала кованой золотой пояс, сдернула с плеч саян, тканный из пурпура и золота, бросила кольца и поручни и залилась горькими слезами.

— Где комис?.. Говори мне последнюю волю отца, я ее исполню и умру,— произнесла она.

— Успокойся сперва, королевна,— отвечал комис.

— Теперь, теперь же, говори! я хочу знать!

— Мой король поручил мне заменить тебе отца,— начал комис.

— Заменить отца? так же, как она заменяет мне мать,— сказала Райна, показывая на старуху.

— Отеческими попечениями о тебе я заслужу твою дочернюю любовь.

— Не трудись же: я принадлежу теперь одному богу, он мой отец; а обитель моя у гроба матери.

— Нет, королевна,— сказал комис,— последняя воля твоего родителя изрекла союз твой с сыном моим Самуилом.

— Этого не будет! — вскричала Райна дрожащим голосом.

— Передаю тебе слова отца, его волю.

— Веди меня на могилу отца, я умолю его: «Родитель мой, отец мой! не отдавай меня людям, отдай богу!» Он смилуется.

— Кто знает, где могила его! — сказал комис.

— Не возмути неповиновением души родительской,— сказала Тулла́,— будет она носиться над могилой и изнывать в жалобах на тебя, и изноет, и не свидеться тебе с отцом и матерью на том свете!

Райна зарыдала. Комис посмотрел на нее с улыбкою довольствия, потрепал старую Туллу́ по плечу и вышел.

— Ох, королевна, королевна,— начала Тулла́, когда истощились слезы Райны,— сердилась ты на меня; а не я ли правду тебе говорила: не избежать того, что сулила судьба! Видела я сама, что сердце твое не знает еще иной любви, кроме дочерней, да не навек родители. Бог указал любить после них суженого, а уж кто суженый, как не тот, кого указала воля родительская, а воля родительская идет от божьей воли.

— Я не противлюсь родительской воле,— отвечала Райна,— а исполню ли ее — бог ведает! душа моя не лежит к Самуилу. Божьей ли и родительской воле насиловать душу мою!.. Она не обвенчается с Самуилом, в храме вылетит из тела: пусть берет он за себя бездушный труп!

— Кто ж будет изневоливать тебя, королевна! А сказать правду, и меня отдали замуж не по́ сердцу... плакала я, плакала, а после самой слюбилось.

Тулла́ торопилась утешить, уластить Райну, в которой от избытка горя измирали все чувства; именем отца требовали, чтоб она, не отлагая времени, принесла себя на жертву.

— Дайте мне время хоть выплакать слезы мои на могиле

матери, помолиться за упокой души родителей! — отвечала она на все утешения и слова Туллы́. Ей дозволили выход к заутрене в храм монастырский, где погребена была королева Мария. Туда сопровождали ее Тулла́ и Неда. В плачевной одежде стояла она заутреню на коленях перед гробом матери. Здесь только обильно текли ее слезы и облегчали душу.

Никого из прихожан не было в первый день во время мольбы ее в церкви. Но на другое утро пробрался туда один блаженный — бледный, с длинными волосами, распадающимися на плечи, в черной кошулье[1], препоясанной веревкою тоболец[2] пастырский за плечами и с костылем в руках.

Уважение к этому роду людей было в старину так велико что им никто не осмеливался затворить двери храма.

Припав на колена и сотворив молитву, старец посмотрел на Райну и отер слезу; посмотрел на ее мамку Туллу́ и нахмурился. Потом подошел к Неде, встал за нею и начал молиться почти вслух:

— Господи, владыко, Царь небесный! Грешник молит тебя, не остави его посещением своим, да исхитить присущую агницу из челюстей волчьих!

Неда, стоявшая задумчиво и не заметившая появления блаженного, с испугом оглянулась.

— Молись, девушка, молись, не оглядывайся,— продолжал он.— Знаю я, о чем ты молишься: ты любишь королевну, и я ее люблю — бог нам в помощь!.. Господи, владыко, Царь небесный, да будут разум мой и рука моя орудиями благости твоей! Молись, девушка, молись, не оглядывайся!.. Есть в палатах царских слуги царские, печалующиеся о царе и роде его. Господи, помоги их печалованию! Есть между ними избранный, аки Петр, ключарь царствия небесного... Перемолви с ним, девушка, перемолви... Помолимся господу сил, да кто правосудства и премудрого промысла дело добре смысля мнит — будет, убо, будет восстание; правдив бог, и терпящим его мздодатец будет!..

Неда вслушивалась в слова блаженного, и он казался ей явлением свыше. Возвратясь с Райной во двор, она пересказала ей чудо и все, что слышала. Слова блаженного проливали в душу сирой Райны какое-то утешение и надежды; но она задумалась и сказала:

[1] Сермяге, нищенской одежде.— *А. Б.*
[2] Сума, мешок.— *А. Б.*

— Тебе это чудилось!

— Нет, не чудилось! — отвечала Неда.— Я как теперь слышу: между царскими слугами есть избранный, аки Петр, ключарь царствия небесного... Перемолви с ним. Эти слова намекают на Обреня; я еще больше уверилась, когда он встретился нам на крыльце.

— Обрень, добрый старик, любил родителя, да чем он поможет мне? — отвечала Райна.

— А бог ведает,— сказала Неда.— Покуда нет Туллы́, я выйду на крыльцо.

Неда выбежала в сени и увидела, что ключарь Обрень сидит под навесом крыльца на лавке, задумавшись. Боязливо вышла Неда на крыльцо и поклонилась ему.

— Здравствуй, Неда,— сказал он,— что́ скажешь доброго?

— Какие тучи ходят по небу,— проговорила Неда, не зная, что сказать.

— Тучи мимо идут, как и печали наши... Что́ королевна?.. ты, думаю, знаешь, что в палатах царских есть верные слуги царские, которые печалуются о царе и роде его?..

Боязнь Неды исчезла.

— Обрень, Обрень,— сказала она,— наша королевна теперь сирота! Она умрет! ее принуждают идти замуж за сына комиса!..

— Принуждают! — произнес старик гневно.

— Комис говорит, что это конечная воля короля; она не воспротивится воле отцовской и умрет!

— Злодеи! Ложь и обман! — проговорил Обрень.— Бог только слышал конечную волю короля; не убийцам, посланным от комиса, говорил он ее.

Неда содрогнулась.

— Да, Неда! но королевна после все узнает; а теперь одно ей спасение: бежать из этого царского двора, обратившегося в вертеп разбойников и предателей! Пусть королевна молится богу и положится на верных рабов божиих и царских. Ступай, покуда чье-нибудь коварное ухо не подслушало, чей-нибудь предательский глаз не проник в нашу думу.

Обрень отошел от Неды, Неда побежала в горницу королевны.

— О, верю, верю! Они, злодеи, они убийцы отца моего! — вскричала Райна, выслушав рассказ Неды.— Боже, боже, что ж я теперь буду делать?

— Одно спасение, сказал мне Обрень: бежать, королевна, бежим от злодеев!

— Нет, я не бегу! пусть убьют меня! — произнесла Райна решительно. В каком-то исступлении чувств лицо ее разгорелось, дыхание было тяжко, но светлый взор устремила она на кивот образов и пала перед ними на колени.

— Королевна! — проговорила Неда.

— Оставь, Неда,— сказала она,— я хочу молиться.

Неда смотрела на одушевившееся лицо Райны, и ей стало страшно.

В это время послышался стук клюки, Неда выбежала в другой покой, чтоб скрыть от старухи расстроенные свои чувства.

— Не отмолишься! — прошептала Тулла́, входя.

Райна встала.

— Опять поплакала?

— Нет, что-то веселее на душе,— отвечала Райна.

— Ну и слава богу,— проговорила старуха, посматривая с недоверчивостью,— не век плакать, что пользы изнурять себя слезами, на то ли дана нам молодость?

— Да,— отвечала Райна,— я на все решилась, что будет, то будет!

— Вот видишь, бог послал и решимость: на родительскую волю всегда достанет доброй воли.

Тулла́ не знала, как нарадоваться перемене, которая произошла в Райне. Она считала это успехом своих чарующих речей и убеждений и даже влиянием голубиного сердца.

«Простенькая! — подумала она.— И не тебя бы мы переделали по-своему!»

Пользуясь добрым духом Райны, она заговорила было о свидании с женихом, но Райна резко отвечала:

— Нет! в плачевной одежде он меня не увидит.

— На такой час и принарядиться в светлые одежды не грех,— лукаво заметила Тулла́.

— Нет! — отвечала Райна.— До вечера я черница.

Глава шестая

Днепр лелеет насады Святослава; плывут они рядами, как лебеди, стая за стаей, с крутыми шеями, с распахнутыми крыльями. Гребцы в лад, под звонкие песни, вспени-

вают воду. На каждом насаде по сорока пеших воинов; красные щиты стеной у борта. Кони идут берегом, под знаменами своих городов, щиты за левым плечом, копья у правого, колчаны и стрелы за спиной. Тут же идет и охота великокняжеская, ловчие с сворами гончих и борзых, сокольники с челегами[1] и соколами.

Там, где Днепр пробил каменные горы Половецкие, начинались кочевья ордынские. Мирно прошел Святослав между ними, выплыл на простор Русского моря. Мирно и Русское море лелеяло его корабли, близко уже был Дунай. Ветер попутный вздувал паруса, гребцы сложили весла, и насады, управляемые только кормчими, плавно шли в виду берегов. Сторожевая стая кораблей вступила уже в священное устье Дуная. Засмотревшись на отдаленные выси гор Болгарских и на холмы, покрытые яркою зеленью, никто не заметил, как завязалась на склоне ясного неба громовая туча невидимым узелком и вдруг накатилась клубом, разрослась в черную ночь, разразилась над кораблями Святослава, разметала их, часть прибила к берегу, посадила на мель, другую умчала в открытое море. Между тем сторожевой отряд кораблей прошел уже гирло, стал переправлять с левого берега Дуная на правый передовую конницу; под бурею кончил он свое дело и расположился на берегу Дуная, под горою, в ожидании главных сил. Не заботясь о предосторожностях, все думали только о том, чтоб надежнее укрыться от ливня и грозы.

Огнемир, воевода сторожевого отряда*, благодарил богов, что они послали середи белого дня мрак ночи, который способствовал ему без битвы переправить конницу через Дунай и стать твердой ногой на земле неприятельской.

Но Болгары были уже готовы к встрече Руси; они видели переправу сторожевого отряда и выжидали удобной минуты, чтобы напасть на него внезапно.

Во время самого развала бури накрыли они его всеми своими силами. Кто успел взяться за меч, кого не обхватила целая толпа, тот защищался и пал со славой. Все прочие и даже сам воевода были перевязаны и приведены перед главаря рати болгарской, Самуила-комитопула. Само счастье, казалось, служило ему; но он, узнав, что корабли русские разбиты бурей, не воспользовался бедой их; доволь-

[1] Ловчими птицами.— *А. Б.*

ный первым успехом, он возвратился в Преслав и был торжественно встречен как спаситель царства от нашествия Руссов.

— Гай! гай! поднимай на щит! — раздавалось в толпах народа, бегущего с возгласом радости за комитопулом, пленными и добычей.

— Гай, гай! — повторилось снова, и Самуила, как царя, возводимого на царство, подняли на щите и понесли к собору.

Лицо комиса рдело от радости.

Народу выкатили бочки вина и меду; народ блаженствовал и убил бы того, кто осмелился бы произнести посереди его радости: «Ой, горе, горе, великая тужба».

Празднество готовилось к другому дню; во всю ночь горели по улицам зажженные смоляные бочки.

Когда Райна узнала обо всем случившемся, душа ее обмерла, решительность и какое-то насильственное спокойствие, полное воли и замысла, вдруг исчезли; она сидела безмолвно, как будто углубясь в бездну ожидавших ее несчастий; по временам вздрагивала и бесчувственно обводила все окружающее ее потухшими взорами.

Тулла́ нахвалилась, наславилась геройством Самуила. Туллу́ стал уже клонить сон; несколько раз уже напоминала она Райне, что пора на покой; но Райна качала головой и тихо произносила: «Не хочу!»

Тулла́ долго крепилась в сердцах, но наконец задремала.

Неда сидела подле королевны, бледная; с беспокойством смотрела она на старуху, и, когда голова Туллы́ отяжелела и повисла, Неда тихо вышла вон. Еще тише возвратилась она, подошла к забывшейся от утомления Райне и взяла ее за руку. Райна вздрогнула.

— Ах, это ты, Неда? — произнесла она.— А мне показалось...

И Неда чувствовала трепет ее.

— Королевна,— прошептала Неда,— нас ждут, все готово... пойдем!

— Что́ готово? — спросила Райна.

— Пойдем, королевна! — повторила шепотом Неда.

— Куда? — спросила опять Райна.

— Бежим от злодеев, кони готовы, Обрень ждет...

Райна по первому движению, казалось, готова была

встать и идти за Недой, но вдруг задумалась и громко произнесла:

— Нет! пусть ведут меня в храм божий!

— Что́, что́ такое? — спросила, вдруг очнувшись, Тулла́.

— Ничего,— отвечала Неда дрожащим голосом.

Мутные глаза старухи снова закрылись, и голова повисла на плечо.

Неда стала на колена перед Райной, схватила ее руки и только взорами, полными слез, умоляла ее идти за собой.

— Нет! — повторила Райна решительно.

Неда закрыла лицо руками и, заглушив в себе рыдания, вышла из покоя Райны, воротилась снова, снова стала умолять ее; но Райна, не отвечая ни слова, качала головою; а между тем ночь озарилась пробрезгом светлого дня.

— Все пропало! — проговорила Неда, взглянув в окно.

Рано на другой день явился к изнуренной Райне комис, взял ее за руку и сказал бездушно-нежным, отеческим голосом, что в день торжества великой победы, когда все царство в радости, и она должна снять плачевную одежду и облечься в светлую, венчальную.

— Я готова,— отвечала Райна. Смертная бледность покрыла ее лицо, рука ее дрожала в руке комиса, но она твердым голосом произнесла: — Я исполню волю родителя!

Ясное утро заволокло облаками, день был пасмурный, на небе копились тучи, но дождь не падал на землю. Так и юное чело Райны затмилось горем, на очах копились слезы, но ни одна слезинка не упала на грудь.

День был начат торжественным обрядом и пиром народным. К вечеру весь город осветился, собор и палаты королевские горели огнями. Между собором и палатами на площади народ уже ликовал около выставленных бочек вина.

В это время Райна облачилась в златотканые новые одежды. Подруги расплели девичью косу ее и заплели снова в две косы, прицепили к ним струи золотой канители. На грудь ее возложили луницу гривенную[1], вокруг шеи жемчужное ожерелье, убрали всю драгоценными серьгами перстнями, обручами.

Райна ни слова. Неда держала уже червленицу, чтоб накинуть ее на плеча королевны, и качала головою с горест-

[1] Полукруглое драгоценное ожерелье, отличавшееся от гривны тем, что застегивалось на плечах, а не вокруг шеи.— *А. Б.*

ным чувством, но не смела плакать. Тулла́ стояла с покрывалом, заключающим наряд невесты, как *Морана*[1], готовая накинуть верву[2] на шею девы, которую идольники обрекали по жребью зарезать богам.

Комис отпустил сына в церковь в сопровождении братьев и вельмож, а сам отправился в освещенные королевские палаты, где должна была праздноваться свадьба королевны с его сыном.

Самуил уже в храме соборном, в блестящей одежде, в багряной мантии. Нетерпеливо ждет он невесты. Облик его некрасив, но черные глаза ярки. Владыко в облачении, собор полон боляр и вельмож. У входа королевская стража.

Вот посереди общего молчания загремел клирос. Самуил встречает невесту свою. Райна под покрывалом вступает в храм в сопровождении болярынь и подруг, приостанавливается с содроганием, колеблется, чувства ей изменяют, но взор ее обращается к небу, и она идет вперед. Хор умолк, общее молчание, глаза всех обращены на жениха и невесту. Владыко идет навстречу им. Самуил хочет взять руку Райны.

— Прочь, злодей! — вскрикивает она и, откинув покрывало, вбегает на амвон...— Боже! и вы, братья! дети отца моего! — произносит она прерывающимся голосом.— Избавьте меня и царство от его убийц!.. Нет здесь кровных моих, Бориса и Романа, которые бы отмстили хищнику власти за пролитую кровь короля, но есть здесь верные ему, и я, дочь его, сирота, перед богом и вами вызываю на суд тень отца моего и его убийц.

— Обезумела! помогите, помогите! — вскричал громогласно побледневший как смерть Самуил, бросаясь к Райне.

— Прочь, убийца! — вскричала Райна. Хотела говорить, но голос ее был беззвучен посереди восклицаний Самуила; она заколебалась и упала на руки подбежавших женщин.

Ее понесли из храма.

— Постойте, дайте я донесу ее! — раздался чей-то голос в темноте под сводом выхода на паперть, и кто-то выхватил Райну из рук Неды и болярынь, своротил в боковую дверь и исчез.

---

[1] По предположению Вельтмана, Морана — дух ужаса в древнеславянской мифологии.— *А. Б.*

[2] Веревку.— *А. Б.*

Подруги ее и Тулла́ торопятся протесниться сквозь толпу вслед за нею, но у входа в храм раздается народный крик:

— Идут, идут!

Толпа нахлынула к паперти навстречу выходящим, оглашая своды восклицаниями своего восторга. Едва показался в дверях Самуил, кидая мутные вокруг себя взоры...

— Гей, гей! — крикнула толпа, и его схватили на руки и понесли к палатам королевским.

Комис ожидал молодых в трапезной перед престольною палатою, где была великолепная сто́лица королевская под парчовым шатром. Тут должны были восседать молодые и принимать поздравления.

Окруженный сановниками королевскими, комис восседал, как преобладатель царства. На нем была пурпуровая царственная мантия, недоставало только, вместо драгоценной капы[1], венца королевского и, вместо властного костыля, державы; но посереди королевских оруженосцев и сановников он величался как король.

Нетерпеливо ожидая конца обряда, он был мрачен, но взор его просветлел, когда послышались клики народа.

— Идут! — сказал он, вставая.

Шум близко, в сенях встречные певцы запели славленье, идут рядами, становятся у дверей трапезной. Комис готовится принять молодых в объятия. И вот с безумным криком народ несет сына его на руках.

Самуил страшен, мечет исступленные взоры, хочет вырваться, но толпа проносит его прямо в престольную палату. Тут только раздается: «Стой, братья!» — и Самуила чинно становят перед отцом на землю, снимают шапки и здравствуют.

— Где ж владыко? Где молодая? — спрашивает комис сына; а он смотрит неподвижными глазами на шатер королевский, дрожит всем телом, схватил отца за руку.

— Король! король! — раздалось по всей палате.

Комис оглянулся — на престоле сидит король Петр и подле него Райна.

Как вкопанный смотрит комис на видение, а взор уже помутился, лицо помертвело, члены онемели, но казалось, силы духа превозмогли ужас; он бросился вслед за другими

[1] Шапки.— *А. Б.*

вон из палаты и грянулся в трапезной, как пласт о землю.

А на улицах огни, крик, шум, песни, пляски, народ гуляет, все нáвеселе. И между тем посереди говора носятся страшные слухи, что король Петр ожил и разогнал всю свадьбу. Но редко на кого действует уже страх: народ любит догулять.

— Пей, брате, допивай королевское вино!

Гей, ладо, ладо-ле!
Гей, лельо, лельо-ле!

Гудцы гудят плясовую, а плясуны припевают:

Гей, дивно игралище,
Гей, дивно певалище!

И, схватив друг друга сзади за пояса, крутят, выкидывают ногами, притопывают, порывисто и дружно выпадают вперед, дружно отскакивают.

Гей, лельо, лельо-ле!

Вдруг перед самым рассветом пронеслись по воздуху с восточной стороны огненные змейки и послышался за стенами города иной шум и гай.

Народ онемел от страху.

На стражнице вспыхнуло пламя, но уже поздно подало оно весть о предстоящей беде.

Ударил соборный колокол, но и он опоздал.

С воплями бегут жители от стен на площадь, а за ними конники на конях и сила многая Руси.

Глава седьмая

В двенадцати часах езды от Преславля, при стоке реки Малой Камы, и поныне видно еще городище *Котел* — развалины древнего болгарского города. На вершине горы, из подножия которой бьет кипучим ключом вода, есть *нырище,* вроде провала под землю. Спустившись на несколько сажень глубины, вы очутитесь под обширными сводами. В какие времена человеческая рука образовала в этом подземелье две палаты — неизвестно, но стены украшены резцом и непонятными чертами. С правой стороны от входа бьет из стены фонтан, алмазная струя его падает в бездон-

ный провал, находящийся под ним. Это подземный ключ Малой Камы.

В описываемое нами время подземелье, казалось, было обителью благочестивого отшельника. В калугерской одежде[1] сидел он на ковре у самого ырища, сквозь которое проникал дневной свет. Перед ним стоял низенький стол — треножник, на столе лежала развернутая книга, тут же листы белого как полотно пергамена, медная чернильница с напитанным чернилами шелком, перья, кисти и бруски красок. То призадумывался он и про себя шептал: «Ой, долго их нет!» То, перекрестясь, принимался тщательно писать или, накладывая листы на золото, выводить кистью узоры. В передней палате заметны были все жилые удобства, но вторая, освещенная лампадой перед образом, отличалась некоторою роскошью и более похожа была на рабочую мудреца и вместе художника-ваятеля, нежели на приют отшельника. Тут на по́лках было множество книг, несколько восковых бюстов и все принадлежности церопластики, или воскования. Стены были увешаны оружием и разной одеждой.

— Ага! Идут! — сказал отшельник, послышав звук ро́га, и, прибрав предметы своих занятий, принялся за хозяйство: разостлал на стол шерстяную полость, положил обернутый в полотенце хлеб, поставил на блюдах копченую рыбу и свежий сыр.

— Гей, брате, Радован! лестницу! — раздался голос из провала под фонтаном.

— Ой пора, пора! заждался я вас! думал, что и возврату вам не будет! — отвечал он, опуская доску с набивными ступенями в провал и утвердив ее в углублении, на каменный уступ.

— Не бойся, королевна, держись крепко за меня!

И с этими словами сильный, статный мужчина, по наружности средних лет, с черными, пылкими очами и с черными локонами, распавшимися по плечам из-под капы на саян[2] болярский, выбежал по лестнице из пропасти. На руках его была Райна в венчальной своей одежде.

За ним следом вышли из провала два человека в чер-

---

[1] Одеяние пилигрима, *калики перехожего.— А. Б.*

[2] Здесь: кафтан.— *А. Б.*

ных хитонах и скуфьях, но под хитонами видны были мечи и буздованы[1].

— Здесь, светлая наша королевна Райна, ты безопасна от преследований врагов твоих,— сказал неизвестный, опуская Райну на лавку, крытую мягким ковром.

С содроганием Райна окинула взором освещенную лампадой палату.

— Скажите мне, кто вы, добрые люди или злые? Где я?

— Успокойся, Райна, нечего тебе нас страшиться, мы враги только твоих врагов, мы не тати и не мирские люди, не царствует уже грех в мертвенном теле нашем, мы отшельники от мира. Брате Радован, угощай светлую королевну, гостью нашу, чем бог послал, а мы сбросим с себя чужие перья.

Неизвестный вышел в другую палату, а старец Радован поставил подле Райны, на лавке, маленький круглый столик, накрыл белой скатертью, принес соты, молока, разных плодов, хлеба и сыру и радушно просил вкусить что-нибудь.

Добрая наружность старца, а более лик Божьей Матери, перед которым горела лампада, успокоили Райну, но она отказалась от пищи. Ей представлялось все каким-то непостижимым сном. И невольно содрогнулась она, видя себя посереди неизвестных ей людей, бог ведает где.

— Ты меня не узнаешь теперь, Райна,— произнес знакомый уже ей голос, но вместо черноволосого, смуглого болярина явился перед ней старец в калугерской одежде.— Ты не узнаешь меня, Райна, а я тот же человек, который извлек тебя из волчьих челюстей и принес сюда на своих руках. Не удивляйся, королевна, все просто под небом, и нет чудес, кроме божиих. Неволя принудила меня быть не тем, что я есть. Все в жизни неволя, и нет воли, кроме божией.

— Ты принимаешь участие во мне, благочестивый старец, но скажи же мне, кто ты? где я?

— Ты воззвала к богу и людям, да избавят тебя и царство от злодеев и убийц. Меня послал бог в орудие избавления твоего, а кого пошлет на избавление от них царства — не знаю. Здесь, в обители моей, Всевышний положил прибежище твое, Райна, у меня, светлая моя Райна, дитя

[1] Палицы.— *А. Б.*

мое! и я не нарадуюсь, что мне бог помог спасти тебя, близкую сердцу моему!..

— Кто ты? — произнесла Райна, всматриваясь в черты старца, который стоял перед Райной, сложив руки и умиленно смотря на нее прослезившимися очами.

— Не всматривайся, не признать тебе меня, ты меня никогда не видала, а я тебя видел еще на руках матери твоей и любовался так же, как теперь любуюсь! Посмотри сюда, вот младенец Райна на лоне королевы Марии... Узнаешь ли ты себя?..

Старец откинул дверцы ставня, висящего на стене.

— Боже великий! Это мать моя! — вскрикнула Райна и упала перед выпуклым восковым изображением королевы, держащей на руках прекрасного младенца — дочь.

— Дитя мое, доброе дитя! — вскричал радостно старец.— Ты узнала мать свою!.. верно, похож образ ее!.. О, отрекся я от родных и кровных, хотел умереть заживо для всех и для всего, кроме молитвы и созерцания бога в природе и в душе моей, да не мог, не сладил с сердцем, Райна! Оно возмутило дух, вопило неумолкаемо: поди посмотри на сродников, счастливы ли они, не пригодится ли для них, кроме молитв о божией помощи, и твоя человеческая помощь. Добрая моя, прелестная Райна! Сердце вещун, а бог подал мне способ избавить тебя от общих наших злодеев!..

— Скажи же мне, кто ты, добрый старец! Голос твой внушает веру в слова твои, благодарить тебя за участие твое могу только слезами!

— Кто я? Райна, я дал обет утаить от людей и существование свое, и имя. Зачем им знать и видеть того, кто уродился лишним на свет... для которого нет заготовленного угла на земле и места в сердце... Но от тебя, Райна, не утаю, перед тобою огонь сердца пожег облачение мое!.. Сродница моя! Племеннйца моя! Обними Вояна, брата отца твоего!

— Вояна! — произнесла Райна с невольным содроганием.

— Вижу, испугалась ты этого имени,— сказал старец с горестным чувством,— и до тебя, верно, дошла недобрая молва, что Воян, сын Симеонов, извык в художестве волшебства, вызывает мертвых из гроба, обаяет живых волхованиями... Да! может быть, люди и правы, наука без веры родила суеверие: грешен я! Обида и во мне возрастала злом!..

И я питал месть!.. Не смею обнять тебя, чистую, непорочную сродницу мою!

И крупные слезы покатились из глаз Вояна, он не поднимал рук, чтоб принять в объятия Райну, которая бросилась к нему на шею.

— Да простит тебя бог в твоих прегрешениях, а я не судья брату отца моего,— сказала она.

— Племенни́ца моя! — произнес Воян, глубоко вздохнув.— Скажу тебе трудную повесть мою; да теперь не время: прими пищу, отдохни с миром. Покуда враги наши властвуют, покуда братья твои не воссядут на престоле отца, поживи в моем убежище, здесь ничто́ не нарушит ни скорби сердца твоего, ни молитвы к богу.

Воян вышел, задернув занавесом дверь. Говор в передней палате утих, и Райна, оставшись одна посереди тишины подземелья, погрузилась в тяжкую думу и не сводила очей с изображения матери.

— Это я! — повторяла она, заливаясь слезами и как будто завидуя счастию младенца, который, отвечая на нежный взор матери, радостно смотрел ей в глаза и, кажется, тянулся поцеловать ее.

И в памяти Райны оживало прошедшее, со всеми светлыми днями юности,— но все оживающее, все милые сердцу образы быстро проносились и как будто вызывали ее душу лететь за ними.

Она забылась, но тихий сон ее был прерван каким-то странным звуком, какими-то страшными голосами. Райна очнулась с содроганием. А перед ней стоит Неда и в полном чувстве радости целует ее руки.

— Теперь ты будешь спокойнее, Райна,— сказал Воян,— ты здесь не одна, посереди старцев отшельников: подруга твоя, Неда, с тобою.

— О, королевна, если б ты видела, что теперь делается в Преславе! Русь обложила город и, может быть, уже взяла,— сказала Неда.

— Боже, боже, умилосердись над нами! — произнесла Райна.

— Чему бог помог, то сделано, а чему быть впереди — бог поможет,— сказал Воян.— Покуда прощай, Райна, я еду в Преслав, там совершаются судьбы господни.

— Королевна, это тот блаженный, которого я видела в храме! — сказала Неда, когда вышел Воян.

— Неда, это мой дядя, Воян,— отвечала Райна.

И она рассказала удивленной Неде, как он спас ее.

— О, если б ты знала, королевна, в каком ужасе была я, когда прибежала домой: нет тебя нигде! Ах, думаю, унес волк-комитопул агницу мою, королевну!.. вдруг слышу голос его, я и спряталась в сенях. «Где ж она?» — кричал он. «Не знаю, не знаю!» — отвечала Тулла́. Тут только услышала я, как она застонала, а бешеный Самуил бросился вон. Слава богу, думала я, по крайней мере королевна не в руках у этого злодея, и побежала к Обреню, и ожила. Он обрадовал меня вестью о твоем спасении и тотчас же отправил меня к тебе, королевна. Мне одно счастье: быть с тобой.

Райна обняла Неду.

Глава восьмая

Святослав каким-то чудом явился нежданно под стенами столицы болгарской. Военные хитрости были известны и древним героям не менее, чем новым, а быстрота движений и внезапность составляли их отличительные свойства. Святослав же обозов с собой *не возяше, ни котла, ни мяс не варя.*

Комитопул Самуил, разбив сторожевой отряд Руси, отправился торжествовать победу в Преслав. Войско болгарское хотя и осталось на Дунае, но мало уже заботилось о неприятеле а между тем Святослав не медлил. Узнав наутро, что стража его погибла, он вспыхнул местью и приказал старейшему своему воеводе Свенальду, не ожидая севших на мель кораблей, идти в Дунай, конницу переправить на болгарский берег и пустить малыми отрядами *по неготовым дорогам,* через горы и леса, к Преславу. Сам же, посадив на сто больших кораблей по осьмидесяти человек воинов пеших и по четыре лошади, пустился на парусах вслед за ветрами, тесной стаей и в отдалении от берегов, по пути к Царьграду. Не доезжая до приморского города Варны, во время ночи пристали корабли русские к берегу, высадили войско, и прежде нежели узнали в Преславе о появлении неприятеля со стороны моря, Святослав, путеводимый греческими проводниками, пробрался тайно к стенам столицы царства болгарского. Он предвидел, что

главные силы болгарские на Дунае, остальное войско сторожит ущелья гор на границах греческих и Преслав без защиты. Только одно мщение за нападение на сторожевой отряд и желание выручить из плену любимца своего Огнемира побудили Святослава столь неожиданно напасть на Преслав*.

Калеными стрелами повестил он городу о прибытии своем. Никто не успел еще опомниться ни от упоений празднества, ни от ужасу, внушенного рассказами о событиях в храме и во дворе королевском; а Русь вступила уже в город без сопротивления и крови.

— Полагайте оружие, сносите его под знамена Святославли, и будете здравы и невредимы! — раздавался русский клич по городу.

Владыко с боярами и старейшинами городскими встретил Святослава хлебом и солью на площади и молил помиловать город. Королевская дружина сложила оружие, а за нею явились и пленные Руссы, приведенные Самуилом в столицу для торжества победы.

— А король ваш где? — спросил Святослав владыку и боляр.

— Почил волею божию король Петр, — отвечал владыко.

— А воевода ваш где?

— Не ведаем! — отвечали ему.

— И он почил? Тяжко тебе, телу, без головы! — сказал Святослав.

Сопровождаемый чином и вельможами болгарскими, он вступил на королевский двор; охранная княжеская дружина рядами шла вперед и занимала все входы.

В воротах встретил Святослава ключник королевского двора Обрень.

Святослав поднялся на крыльцо, вступил в сени, в трапезную.

— О, да я помешал пиру великому! — сказал он, смотря на горящие повсюду светильники и браные столы вокруг стен. — А этот один за всех упился! — продолжал он, показав на комиса, простертого на земле.

Боляре с ужасом обступили комиса, а Святослав, сопровождаемый своими оруженосцами, продолжал идти далее к кованым золотым дверям престольной палаты. Обрень откинул червчатый занавес.

— Это что такое? — спросил Святослав.— Мертвый или живой король сидит на престоле с своей королевой?

— Это изваяние короля Петра и его дочери,— отвечал Обрень.

— Дочери? — повторил Святослав, подходя к восковым изображениям Петра и Райны во всем великолепии облачения царского.

Долго смотрел он безмолвно на лик Райны и, казалось, выжидал, чтоб она подняла на него поникшие взоры, приосененные густыми ресницами.

— О, велик художник,— сказал он наконец,— сотворивший чудный лик, которому нет подобного в творении богов!.. Дал он красоту, да не вдохнул жизни!

— Не уподобится вовеки творение земного художника творению небесного, который облек нашу светлую королевну Райну нерукотворною, неизобразимою красотою! — сказал Обрень.

— Сердце твое и хитрый ваятель сольстили образу королевны, как греческий художник сольстил образу матери моей и старость ее претворил в юность.

— Не видал ты, князь великий, королевны Райны! — отвечал Обрень с улыбкою затронутого самолюбия.— Не ведаешь красоты женской, как я не ведал величия и красоты мужа, покуда очи мои не удостоились видеть светлого твоего лица.

— Где же королевна? — спросил Святослав.— Здесь она или в Царьграде с братьями?

— Была здесь,— отвечал, смутясь, Обрень,— но теперь не знаю.

— Если была здесь, то и должна быть здесь,— сказал Святослав,— таиться ей от меня не для чего.

И он велел Огнемиру идти к королевне, кланяться ей от русского князя и просил, чтобы дозволили ему быть гостем своим.

Огнемир возвратился и сказал, что королевны нет ни в палатах, ни в городе.

— Дочь короля Петра здесь, но утаилась от меня,— сказал Святослав болярам болгарским.— Из города выйти она не могла: вам должно быть известно ее убежище; скажите ей, что не тать и не кровавые мужи со мною, не с слабыми изведывать силы пришел я и не с женами сладости, не убогих привел исхитить ваше богатство, не голод-

ных кормить на вашей земле, не бесприютных жить под вашим кровом. Пришел я решить вашу распрю с Греками. Скажите королевне, чтоб она возвратилась к престолу отца своего.

— Бог свидетель правоты слов наших, да замкнет навеки уста наши, если изглаголем ложь! Не ведаем, где королевна,— отвечал владыко.

Боляре повторили слова его.

— Идите же и ищите свою королевну,— произнес грозно Святослав,— или дружина моя найдет ее и приведет как продажную пленницу.

Боляре вышли с поникшими головами, а Святослав, утомленный от трудов ратных, сложил с себя бранные доспехи. Добрыня как друг его был с ним неразлучен, ему поверял Святослав все свои помыслы, но теперь он желал никого не видеть, никого не слышать, не знать ничьих дум и свои таить от всех: ему хотелось быть самому с собою.

Добрыню он отправил с отрядом навстречу коннице, идущей к Преславу от Дуная.

Мрачно ходил Святослав по палатам, смотрел в окна на Преслав, на цветущую, веселую природу, его окружающую, и как будто завидовал, что не здесь провел он юность, терял время на безумном разгуле по степям, на бойне людской и, остря меч, тупил душу свою. Проникнутый какой-то скукой, смотрел он на все украшения дворца, входил и в престольную палату, смотрел в образ Райны и уходил мрачен, как будто пробуждаясь от сна, в котором чудились ему невоплощаемые призраки.

Примчался гонец с известием, что великая сила Болгар идет к Преславу.

— Пусть идут и сложат головы у стен столицы моей! — отвечал Святослав.

Поиски королевны были напрасны. Убежденный, что она скрывается в Преславе, Святослав, казалось, готов был на последнее средство — срыть город до основания, чтоб найти ее, но гнев превозмог в нем все прочие чувства.

— Хотят обаять меня! — вдруг вскричал он и, схватив меч, исступленно бросился в престольную палату. Перед ним живая Райна: очаровала, вызвала на мщение за равнодушие свое, а не поднимет очей, не вздрогнет от ужасу, не просит о пощаде. И король Петр, устремив неподвижные глаза на исступленного князя, безмолвно смотрит.

А Святослав стоит как изваянный убийца над трупом своей жертвы и, кажется, думает: это что за бездыханный враг передо мною? ни дух, ни существо, а воплотилась в чужой душе и живет в ней как живая!..

Окинув взорами вокруг себя, как будто боясь присутствия живого человека, Святослав вышел из престольной палаты, потребовал коня, велел Огнемиру стеречь Преслав, а сам пустился с дружиной в чистое поле искать боя; разбил комитопула Самуила, собравшего войско, прошел тучей по поморью Болгарии и по Дунаю, одождил калеными стрелами и камнями города*. Душа его снова удовлетворилась бы победой и славой: но победы его были так легки, что он чувствовал от них только утомление. Приказав Свенальду сосредоточить и устроить морские силы в Доростоле, он возвратился в Преслав, чтоб отсюда начать покорение нагорной части Болгарии.

— Где ж королевна ваша? — спросил он равнодушно у боляр.— Скажите же ей, что меч мой поест, а гроза спалит царство ее отца.

В тот же день донесли Святославу, что какой-то чернец-богомолец просит дозволения поклониться великому князю от неизреченно-светлого лица.

«От матери моей»,— подумал Святослав и велел допустить к себе старца.

В черном хитоне вошел седой старец и низко поклонился князю.

— Великий князь Святослав,— сказал он, окинув очами людей княжеских,— я не с злым умыслом пришел к тебе, а с добрым поклоном, с миром и любовью. И я и слово мое безопасны для тебя.

Святослав окинул взором добрую наружность старца и велел выйти людям своим.

— Князь Святослав,— продолжал старец,— я к тебе послом от нашей королевны Райны, дочери блаженной памяти короля Петра...

— Не от изваянного ли ее образа? — спросил Святослав с грозной улыбкой.

— Велела королевна кланяться тебе,— продолжал старец,— и спросить, что сделала тебе, русскому князю, Болгария? за что возложил ты на нее руку гнева своего, напряг лук свой и поставил ее знамением на стреляние? За что насытил горестию и напоил желчью? Не в меру ли было

ей борьбы с державой Римской за независимость свою? а ты, княже, во чье имя воюешь, за какие вины отверз уста и хочешь поглотить царство наше?

— Так говорит Райна, королевна болгарская? Умна ваша королевна, сказал Святослав с усмешкой,— а который ей год от роду?

— Во цвете она первой юности, а оскудели очи ее в слезах, смутилось сердце, изливается душа, да не на лоно матери! Нет у ней матери, светлого отца ее извел хищный зверь, воскормленный у престола, братьев ее Никифор держит в плену и хочет за выкуп взять нашу волю и вложить узду в челюсти наши!..

— Где ж королевна? — спросил Святослав, тронутый словами старца.

— Скрывается от врагов своих в пустынной обители,— отвечал он.

— Пусть возвратится в отчую обитель, я не враг женам.

— Не от тебя, князь великий, оставила она отеческую кровлю, не от тебя и таится, но от злодеев роду своего.

— Теперь безбоязненно может она вступить в дом родительский.

— Чужд он стал ей, она дева, и только под кров братий может возвратиться.

— Лукавое извергают уста твои! — сказал Святослав, вспыхнув снова гневом.

— Да хранит тебя бог на правом пути твоем, князь великий,— отвечал старец,— да изженет верою безверие твое! Воля твоя стать за правое дело или за лукавое: отдать наследие короля Петра сыну его старейшему или врагам нашим, Грекам; владей лучше сам.

— Не алчет душа моя чужого престола, а рука не отнимет,— отвечал Святослав.— Сын Петра сядет на отчем златом столе, а Болгария какую носила дань Грекам, такую и будет носить по старине, а мне дани вашей не нужно.

— Не было у нас, князь великий, такой невольной старины и постыдного обычая, не платила Болгария дани Грекам и даров не носила, а принимали дани и дары от них. Все Загорье до Железняка было наше. Греки искали родства с нами, дочь кесаря Христофора была за королем Петром, да, верно, наступило последнее наше время, изнурил нас голод, прузи посевы наши истощили, а Греки-грачи хотели исклевать наши тела, да еще не мертвы мы были.

Знали они, что мы изгоним за море хищную стаю их, и призвали тебя, князь великий, воевать нашу землю. Потемнело наше золото, изменилось серебро наше доброе, рассыпались камни святыни, достояние наше обратилось к чуждым, домы к иноплеменникам, отпала красота с ланит дев, как овны без пажити, идем мы перед лицом гонящих нас!

— Старец! — сказал умиленный Святослав.— Дай мне время на думу и на веру. Правде слов твоих воздам правдою дел. Когда сын Петра приедет в Преслав, тогда предстань перед лицо королевича с поклоном от сестры его.

— И помыслы, и дела твои благи, князь великий! — отвечал старец и, радостный, вышел от него. Смиренным чернецом пробрался он за город; в лесу, за стражницею, ожидал его спутник — калугер с заводным конем. Они пустились по дороге к городищу Котлу. К вечеру приехали они к вершине Стрый-реки, своротили в гору лесом, спустились в крутой овраг, пробрались сквозь чащу, под навес скалы, и скрылись во мраке пещеры, из которой катилась и журчала по каменистому лону алмазная струя источника.

Кони, верно, знали путь под сводами подземелья, бодро шли они, углубляясь в преисподний мрак. Наконец вдали показался слабый свет, и путники выехали в настоящий котел среди гор; стенами этого котла были обрывистые скалы, осененные лесом.

Путники пробрались сквозь одно из ущелий в скале и поднялись на лужайку. Тихо заржали кони. Им отозвались товарищи под глухим навесом вековых дерев. Путники привязали своих к прочим и возвратились в ущелье. Здесь также струйка пробиралась между камнями из пещеры. Они вошли в пещеру, и вскоре под землей послышался глухой звук рога.

Глава девятая

Теперь мы должны обратиться к Райне. Вы помните то время, когда Воян привез ее в подземелье и снова уехал в Преслав, проведать, что там делается. Подъезжая к городу, он заплакал плачем Иеремии о Сионе. От друга своего Обреня узнал он подробности о взятии города и о смерти комиса.

— О, недаром же изваял я лик Петра, чтоб убийца смотрел на него и казнился им! — сказал Воян.

Но когда Обрень рассказал ему, что князю русскому полюбился лик королевны Райны и что он велит искать ее повсюду, Воян содрогнулся за участь Райны. Он знал нравы и обычаи северных героев и разгульную их жизнь.

— Боже, боже,— вскричал он,— из одного корня возрастает добро и зло! Да нет, не достанется племеннúца моя в руки насильнику и женолюбцу. Брат Обрень, едем со мною, боюсь я, он не поверит, чтоб кто-нибудь из боляр дворовых не знал, где королевна, и будет пытать.

— Что ж, друг, кто пытает, тот и убивает: свою жизнь отдам я на муки и смерть, а ничьей чужой на поругание насильникам не выдам.

— Э, брате, за что упрекнул ты меня! — сказал Воян.— Усумнился ли я в тебе, я ли не верю, что твоей благочестивой душе лучше быть у бога, чем в теле, да, может быть, пригодится она еще добрым людям, а мне дорогá, без тебя оскудеют и мои силы!

Обрень убедился чувствами дружбы Вояна и решился ехать с ним. Но из города выезд был уже воспрещен.

— Есть выход! — сказал Обрень.— Не прочны, верно, убежища и ограды людей, что они кроме торжественных ворот заготовляют на случай собачью лазейку!

Когда настал вечер, он провел Вояна в одну из башен дворовых; они спустились по лестнице в испод башни. Один из диких камней основания был устроен на оси, при небольшом усилии Обрень повернул его и открыл подземный ход. Темно уже было, когда Воян и Обрень добрались до выхода в скалистом утесе горы вне города и выбрались на дорогу к Котлу.

Райна с чувством радостным встретила Обреня, верного друга и слугу отца своего. Старик прослезился, безмолвно целуя руку королевны, и Райна прослезилась. Уста немы, а душа высказывает свои печали. В продолжение двух недель Воян боялся выйти на белый свет и никого из братий не выпускал из подземелья. Время проходило однообразно.

— Здесь, светлая моя Райна, ты мне радостней света, покуда покажет бог надежный исход из беды, здесь изноет сердце мое, если ты углубишься в думы об этом свете. Здесь, в тихой обители, есть тихое прибежище и мыслям, питай их святой пищей, чтоб не разлетелись как птенцы от души-матери своей искать пропитания на воле и не измерли от голоду и жажды.

По совету Вояна Райна внимательно слушала Святое писание, которое читал вслух Обрень, и душа ее спокоилась. Сам Воян, также слушая чтение, занимался любимым своим занятием — священной живописью.

— Райна,— сказал он однажды,— теперь горе поутихло в тебе, выслушай трудную повесть мою.

Исповедь облегчает душу от горьких воспоминаний. Райна села подле него, и он начал:

— Первая жена краля Симеона была пленница, говорят, будто Мадьярка, дочь одного вельможи угорского,— наверное не знаю, а знаю только, что она была язычница и как ни любила короля, но креститься не хотела. Когда родился сын у краля Симеона — а этот сын я,— он умолял мать мою принять святое крещение; да она стояла на своем. «Знай же, что ты не венчаешься со мною на царство и сын язычницы не будет моим наследником»,— сказал Симеон в гневе своем и сдержал слово. Вскоре мать мою вместе со мною заключили в монастырь, а король женился на мнимой сестре одного греческого выходца — Георгия Сурсувула, из Армян. Когда от нее родился сын Петр, твой отец, Райна, король на радости пожаловал Георгия в сан комиса... Возмущается душа моя при воспоминании всех зол, которые причинил этот честолюбец всему роду царскому и всей Болгарии! Уловив в сети свои душу короля, хитро ловил он и души людей, окружавших его, и сеял семя раздора между отцом твоим и его братьями.

До семи лет рос я при матери, в монастыре; с молоком всасывал желчь злобы ее против Симеона, с колыбели слышал одну песню: «Расти, расти, материнские слезы на злодее вымести!» Когда наступил отроческий возраст мой, меня разлучили с матерью: король указал отдать меня в науку в другой монастырь. Тут только проникло в мою душу отчаяние матери, и из ее горьких слов понял я, кто ее злодей. Она не перенесла разлуки со мною и вскоре умерла, а я жил с иноком, моим учителем, и возлюбил науку, как мать свою. Учитель мой был художеством иконописец и ваятель. Скоро перенял я его художество и превзошел учителя. У другого изучался я музыке и пению. Тут подружился я с Обренем, племянником настоятеля. Святое писание смирило бы душу мою, и сердце мое предоставило бы богу вымещать Симеону обиду матери и отвержение меня от наследия, но, на гибель души моей, в кни-

гохранилище учителя моего была плевела посереди пшеницы, писания отреченные, книги мудрствований, отводящих от бога: *Чаровник, Коледник, Путник,* научающий ковам еретическим, и *Дванадесять звезд,* на пагубу безумным, верующим в волхования, призывающим бесов на помощь и ищущим дни рождения своего, санов получения, урока житию и различных напастей и смертей. Из этих книг почерпнул я много таинств природы, но наука, не управляемая верою в создавшего все во благое, есть демонское орудие, нож в руках злодея, сила в мышцах насильника.

Стали меня готовить к искусу на пострижение, но не монашество лежало у меня на сердце. Я бежал и стал обаять и мутить народ недобрыми предвещаниями. Разгневанный Симеон велел поймать меня и заключить в темницу; я принужден был оставить Болгарию и удалиться в Царьград, который давно хотелось мне видеть. Можно ли было найти в целом мире лучше этого поприща для игры необузданных страстей! Вот он, царь земных городов, думал я, пробираясь сквозь толпы народа, который, казалось мне, сошелся со всех пределов мира на годичное торжество. «Что за праздник сегодня, почему открыты все ворота и храмы и народ так безумно гуляет по стогнам?» — спросил я у одного проходящего. «Э, ты, верно, новый человек здесь,— отвечал он, посмотрев на меня,— сегодня большой праздник! пойдем, пойдем в мой приход!» И, взяв за руку, он повел меня на лестницу одного великолепного здания. С трудом пробрались мы сквозь толпу входящего и выходящего народа. В обширных покоях шумно пировали гости вокруг столов. «Малец! пищи и питья!» — вскричал он, усадив меня у стола. Нам тотчас подали вина и разных вкусных блюд. Покуда я смотрел с удивлением на все окружающее меня, товарищ мой ел и хвалил вино и брашна. «Какой же праздник сегодня?» — спросил я его наконец. «Как какой? Протасиев день».— «Так что ж такое?» — «Как что, помилуй! приходский праздник! Ведь мы в приходе всех святых! Ну, с праздником! — сказал он, допивая вино и вставая с места.— Так расплатись же, господин, с хозяином, здесь уж такой обычай, все вскладку: я даю праздник, а ты деньги».

И он оставил меня расплачиваться с содержателем гостиницы.

Этому опыту достаточно было для меня, чтоб понять

жизнь цареградскую, но молодость увлекла меня, я понял только, что есть условия жизни, кроме тех, к которым я привык на родине, что можно жить на счет других, что умный обман и умная подлость пользуются иногда всеми преимуществами жизни добродетельной.

Преданный страстно искусству, я не оставил его, видел все лучшие произведения искусств, скоро сам приобрел известность, но все это так слилось с развратом души, что не знаю, выкупил ли я чистоту ее сорокалетним покаянием.

Я свел знакомство с разгульной молодежью *эвномии* цареградской. Тут мог бы я видеть, как подают пример попирать законы те, которые должны освящать их своим поведением, но в пылу разгула я часто тешился вместе с ними в промышленную игру, каким образом, законным порядком, правого обвинять, виновного оправдать.

Надо тебе сказать, что года за четыре до моего прибытия в Царьград, дед твой Симеон, предав огню и мечу Македонию и Фракию, стал уже станом близ Влахерны*. Патриарх и вельможи вышли с дарами просить о мире и пощаде города. Но он требовал, чтоб сам император явился к нему как к победителю и сам просил его о мире. Роман должен был покориться необходимости. Можешь судить, до какого унижения дошел новый Рим под великолепием одежд своих. Весь двор и дружина императорская в торжественном облачении сопровождали Романа в стан Симеонов, и народ смотрел с оград цареградских, как поклонялись перед варваром знамена греческие и как легионы, ударяя в золотые, серебряные и медные щиты, возглашали его царем. Не было уже людей, которые бы чувствовали и понимали это унижение. В Царьграде были промышленники, облеченные в сан вельмож, промышленники, облеченные в блестящее оружие, но не было ни истинных вельмож, ни воинов. Торговцам ли было думать о чести и славе общей, а не о собственной выгоде? Им ли было вымерять пальмой и взвешивать на весах ум и душу человеческую?

Когда узнали, что Симеон снова поднимается войной на Царьград, злоумышленники возмутили народ, распустив слухи, что таинственные надписи на подножии мраморного всадника, стоящего на площади Таврической, предвещают последние времена греческого царства и что придет великан и в прах разорит Царьград.

Эта статуя, привезенная из Антиохии, просто было изо-

бражение Беллерофона, поражающего химеру, по подобию человека, в образе зверином, поборника древнего змия. Но невежественный народ верит скорее недобрым слухам. Толпы стекались на Таврическую площадь смотреть с ужасом на статую. Напрасно явились новые толкователи и уверяли всех, что хотя по словам, начертанным на подножии, и придет какой-то великан разорять греческое царство, но по другой надписи, находящейся на копыте коня, до этого не допустит лежащий под стопами коня человек в странной одежде.

Симеон в самом деле вступил уже в Загорье и разбил сторожевое войско союзников греческих, Сербов.

Народ впал в совершенное уныние.

Посереди этих смут пришел ко мне Домн Мартин, один из приятелей моих эвномитов.

«У тебя,— говорит,— есть образ болгарского короля Симеона: изваяй его в большом размере».

«Зачем?»

«Нужно, после скажу, возьми что хочешь».

Мне нужны были деньги, и я изваял в колоссальном размере лик отца моего...

«Смотри же,— сказал он, взяв от меня изваяние,— это тайна, никому ни слова, а то будет плохо».

Тут Воян остановился и вздохнул.

— Ты слышала, Райна,— продолжал он,— про событие, случившееся в Царьграде, перед смертью короля Симеона.

— Ах, слышала про это чудо! — отвечала Райна.

— Ну, слушай же дальше, как делаются такие чудеса. Когда до меня дошли слухи, что Беллерофон обратился в образ Симеона, я не понял, с какою целью это было сделано, но, прибежав на площадь и узнав, как неизвестный человек сотворил чудо, срубил мнимую мраморную голову и сжег ее на костре, я понял, в чем дело. Невольно содрогнулся я, вспомнив чары чернокнижия, каким образом извести врага своего, заочно отпев и истерзав на части изваянный из воску его лик.

Ввечеру Домн Мартин пришел ко мне, чтоб вместе идти в Ксенозохию.

«Знаешь теперь,— спросил он, улыбаясь,— какое употребление сделал я с головой Симеона?»

«Знаю,— отвечал я,— недурен отвод».

«Что ж делать: надо как-нибудь восстановлять спокой-

ствие и дух народа. Панический страх обаял весь город, надо было чем-нибудь помогать. Посмотри теперь, все ожили: откуда взялась в войске храбрость, заходили молодцами, каждый готов вызывать Симеона на рукопашный бой! Вот что значит, любезный друг, сердце человеческое!»

Безумно гуляли мы на счет сердца человеческого, когда дошла до меня весть, что Симеон умер именно в тот день и час, когда голова его, изваянная мною из воску, растаяла на костре посереди площади Таврической...* О, Райна, Райна! страшно подействовал на совесть мою этот случай. Почернело белое лицо мое, развились и побелели черные кудри мои, опали с меня листья юности моей! Я был союзником демонов, убивших отца моего!.. Совесть стала пытать душу, я бежал из Царьграда и искал уединенного приюта в темных ущельях гор моей родины. В народе носилось давнее поверье, что эта пещера челюсти смерти, и все со страхом обходили ее. Я решился войти и нашел верный приют отшельничества от света. Издавна тут жила уже братия благочестивых втайне от людей и принимала в сожительство только тех, которых и стены монашеские не могли скрыть от гонения и злобы людской. Я упрекал тень матери, что она напела мне месть родному отцу; волею или неволею я был орудием мести, и в сорок лет пустынной жизни не умолил еще бога, чтоб омыл меня от греха и убелил душу мою! Не слова, а дела выкупают душу: в молитве о себе я забыл всех ближних моих, не помыслил о том, что, может быть, совет мой нужен им во благо, а рука в защиту, что еще в силах был бы я стоять на страже у брата Петра, против сетей комиса, врага всему нашему роду. Злодейство свое сложил он на покойного брата Иована, да послал же меня бог принять истину из уст раскаявшегося грешника, исполнителя злой воли комиса.

Ввечеру, перед тем как печальный звон огласил Преславу смерть Петра, пришла мне мысль узнать, что делается там с ближними и кровными моими, и навестить Обреня. Хотелось мне и на тебя порадоваться, Райна. В царские праздники ты сама раздавала помощь бедным. Однажды я стоял на паперти храма в ряду нищих и болящих. Рука твоя, Райна, племенни́ца моя, подала и мне милостыню... Припомнишь ли ты старца... всех ты оделила по сребренику, а ему дала два?

— О, добрый сродник мой,— отвечала Райна,— теперь

понимаю я, отчего знакомы мне черты твои! Помню смирение твое, мне казалось, грешно сравнять тебя с теми, которые готовы были вместе с милостынею оторвать благотворящую руку.

Воян отер слезу и продолжал:

— Так вот, я оседлал коня, проехал Котел, вдруг слышу стон; смотрю, у самого входа в пещеру лежит человек, прислоня голову к камню; в одной руке закостенел меч, другая была отрублена, и кровь била из нее как из ключа.

«Что с тобой, брате?» — спросил я, соскочив с коня и подходя к нему.

«Кто это? человек?» — произнес он, приподняв на меня мутные свои очи.

«Человек»,— отвечал я и хотел перевязать ему руку.

«Постой! — вскрикнул он, судорожно отдернув отсеченную руку.— Люди обманули меня, сказали, что тут ход в преисподнюю... хотел я сам снести туда душу свою, да вышел опять на свет божий...»

И голос его иссяк, глаза закрылись снова.

«Кто ж тебе отсек руку, брате?» — спросил я.

«Кто?..— отвечал он с усилием.— Отсеки руку, соблазняющую тебя... говорят... а моя рука злое орудие... Я отсек ее!.. О, обманул меня проклятый оружник комиса! Не нанимался я проливать крови короля Петра...»

— О, какая страшная встреча! — произнесла Райна, и слезы брызнули из глаз ее.

— Да, Райна,— продолжал Воян,— не скрылись не только от бога, но и от людей злодеяния комиса. Я хотел спасти жизнь убийцы, чтоб уличить злодея, но он истек кровью. Я торопился в Преслав, думал объявить народу на соборе о злодеяниях комиса, но дьявол хитрее человека, по его слову народ побил бы меня камнями, и погибли бы втуне мои печали о тебе. Я молчал и сторожил только над твоею участью, предоставив все прочее на волю божию! О, если б ты видела, как я исстрадался в ту ночь, когда Неда сказала мне, что ты отказалась от бегства и решилась отдать себя в жертву комитопулу. Я стоял в храме как исступленный, и — знаешь ли что? — если б ты подала ему руку свою... Я бы убил его!.. но ты, как голубица, вырвалась из когтей ястреба, воззвала к народу, да тут не было народа: тут, кроме меня, были все рабы комиса... Голос твой отозвался только в моей груди!.. Бог помог мне воспользовать-

ся общей суматохой и спасти тебя... Обними же теперь меня, племенни́ца моя!

Райна бросилась в объятия Вояна.

— Сделай же мне еще милость,— сказала она,— я хочу посвятить себя на службу богу.

— Постой, Райна, не обрекай себя посту и молитве. Ты едва только вступила на путь жизни, а пути божии неисповедимы. У тебя еще есть братья, и не чужда судьба твоя всему царству. Кто знает, кроме бога, не соединена ли она с судьбой Болгарии: и ты не цвет польный и не просто крин благоуханный.

Райна молчала, склонив печально голову.

— Завтра я поеду в Преслав, Райна,— сказал Воян.

— О, что там делается! — проговорила она.

— Что делается? Совершаются судьбы божии,— отвечал Воян тихо.

Глава десятая

Поручив Райну заботам Обреня, Воян решился наконец ехать в Преслав. Тут он узнал, что рати, предводимые комитопулами, разбиты на́голову и что все города сдаются на щит грозному, но милостивому Святославу.

Воян хотел видеть Святослава лично. Молва о его великодушии пронеслась по всей Болгарии. Никто не смел противиться грозе меча его, но и никто не жаловался на насилия и грабежи.

Полагаясь на доблесть души князя, Воян решился предстать ему от имени королевны.

Нам известен уже разговор его с ним. Воян был очарован великодушием и красотою князя. Веря обещанию, что он не лишит наследников Петра их достояния, престола, Воян возвратился в подземелье и скрыл от Райны свидание свое с русским князем. Только Обреню доверил он радостные свои надежды и поручил отправиться в Преслав и ожидать приезда Бориса из Царьграда.

По обычаю, принялся он за работу, но не за кисть, а за ваяние.

В продолжение нескольких дней сряду, неутомимо и с какою-то любовию, трудился он над изображением прекрасного, мужественного лица.

Когда черты обозначились уже явственно, Райна обратила невольное внимание на его работу.

— Чей это лик, Воян? — спросила она его.

— Увидишь, Райна,— отвечал он.

Внимательнее стала всматриваться Райна в изображение и часто, оставляя книгу, задумчиво любовалась на прекрасное произведение художника.

— Скажи мне, Воян, это образ живого человека или ты создал его по мысли своей?

— О, это живой человек,— отвечал Воян,— по мысли не создашь подобного.

— Воян, зачем ты это делаешь? — спросила Райна тихим голосом.

Воян так углублен был в работу, что не слыхал вопроса Райны.

— Друг он или враг твой? — спросила она опять.

— Враг, Райна, враг! — отвечал Воян отрывисто и невнимательно.

Райна содрогнулась: ей пришла на мысль исповедь Вояна, цареградское событие и смерть короля Симеона.

И Райна с жалостию смотрела на образ неизвестного; Райне казалось, что Воян похищает чью-то живую душу.

Вот на плечах изображенного героя явилась багряница, под багряницей броня; кисть накинула на все черты цвет жизни, в голубых очах отразился свет, уста разрумянились.

— О боже, боже, кого он изобразил! На этом лике нет вражды и коварства, на челе величие, в очах светлая душа!

И сон Райны был тревожен: изваянный лик превратился в живого человека; она трепещет за жизнь его, хочет сказать ему, чтоб он опасался Вояна и острого его резца, но тут Воян: Райна не смеет произнести слова, старается объяснить витязю знаками, что его убьют, чтоб он шел за нею, что ей известен выход из подземелья, но витязь как будто повторяет собственные ее слова: «Нет, я не бегу, пусть убьют меня!» Вот Воян уже заносит резец — Райна вздрагивает и пробуждается.

Настал день, Воян принялся за окончательную работу. Он вглядывается пристально в образ витязя, поверяет сходство с памятью.

— Воян, для чего тебе это изображение? — спрашивает Райна боязливо.

— Погоди, погоди! — прошептал Воян вместо ответа,

окинув недовольным взором работу и бросив кисть, порывисто схватил резец.

— Воян! — вскричала Райна, удерживая невольным движением его руку.

— Что с тобой, Райна? — спросил удивленный Воян.

— Не убивай его! — проговорила Райна умоляющим голосом.

— Понятна мне боязнь твоя, Райна,— сказал Воян, горько улыбнувшись.— Суеверие быстро заражает людей! Знаешь ли, чей это лик, Райна? Это лик врага нашего.

— Все равно,— произнесла Райна.

— Не бойся, племенница моя! Хоть это лик врага нашего, однако ж не для того изобразил я это величие и красоту, чтоб в безумном суеверии сокрушить свой труд. Нет, я хотел только сохранить в память себе и людям лик добросанного князя Святослава.

— Святослава! — произнесла с удивлением Райна.

— Может быть, из врага преобразится он в союзника и братья твои поставят этот лик в престольной палате.

— Сбудется ли это? — сказала Райна, смотря задумчиво на изваяние.— Так ли отражается в глазах его великодушие, как ты изобразил? В самом ли деле так чуден образ его?

— Чуден образ его,— отвечал Воян,— в женах нет тебе подобной, а в мужах ему равного.

По ланитам Райны пробежал огонь, на взор опустились густые черные ресницы. Она молчала, едва переводя дыхание, смотрела на образ Святослава. Горячи ее думки, жарки мысли Райны.

А между тем Святослав мирится в душе с Болгарией.

Приехал к нему от греческого императора калокир поздравлять с победой, утвердить любовь между Греками и Русью, положить ряд о разделе Болгарии и писать речи на хартию...[1] Никифор назначил калокира правителем той части Болгарии, которая достанется по договору Грекам.

— Ступай к царю своему,— отвечал Святослав,— скажи ему, что чужого наследия не поделю с ним. Пусть шлет с честью в Преслав сына Петрова, Бориса, и будет он нам обоим не противник, а друг и союзник.

Никифор не мог противиться требованиям Святослава.

[1] На пергамен.— *А. Б.*

Он не имел ни сил, ни средств, ни желания ополчиться на внешнего врага: его внимание было устремлено на личного врага, которого он видел в военачальнике Цимисхии.

Победы Цимисхия в Азии над Сарацинами прославлялись народом, имя его гремело в песнях и стало страшно Никифору, который припоминал, что подобная же слава и победы над Сарацинами открыли и ему путь к престолу, видел охлаждение к себе народа и что-то недоброе в безмолвной покорности всех окружающих: счастие Никифора было на исходе.

В этом положение дел желание Святослава было исполнено беспрекословно: Борис с братом своим с честью был отпущен из Царьграда. Боляре и народ встретили его на крайнах царства, а дружина несла на щите к Преславу, где ожидали его русский князь и все священство.

Пораженный сходством Бориса с изображением сестры его, Райны, Святослав крепко обнял его как брата и как хозяина ввел в палаты королевские.

— Теперь я твой гость, Борис,— начал он, переступая порог престольной палаты, но слова его замерли на устах. Лик королевны Райны снова сидит на пристольце. Вот он ожил и с криком: «Брат мой!» — бежит навстречу Борису и бросается в его объятия.

— Князь великий, Святослав,— кто-то говорит Святославу,— ты сдержал слово свое, и королевна сдержала свое.— Но он ничего не слышит; в первый раз в жизни он счастлив и начинает чувствовать в себе полноту жизни.

— Брат, Борис,— сказал он наконец,— пусть и сестра твоя, королевна, меня не чужим называет.

— Райна, это благодетель наш! — сказал Борис, лобзая его лобзанием сердца.— Как меня, брата твоего, люби его больше всех.

Райна взглянула на Святослава, и вся сгорела. Красота ее как будто сбросила вдруг печальные одежды и явилась во всем блеске очарования.

Ни одна победа не празднуется так искренно и радостно, как подвиг великодушия.

Народ со всей Болгарии стекался в Преслав на великий праздник, на благодатную погоду после бури. Взоры всех слезились от радости, и на народе, как на облаке, отражалась радуга мира, знамение завета между Русью и Болгарией.

Когда в день коронования Бориса дружина русская села за браные столы, поставленные на оболонье[1] преславском, и грянула мечами в кованые щиты во славу короля Бориса и гостя его, великого князя русского, Святослав, одушевленный благостию мира, возгласил любимое слово своей матери: *Братья! Раскуем мечи на орала, а копья на серпы!* Не на кровавом мы поле, не на костях вражьих пируем, не тризну правим!

— Раскуем! — крикнула дружина, и все сложили с себя оружие, возгласили славу союзникам. Пир общий закипел веселием.

— Скину же и я духовное вооружение мое против радостей мира,— сказал Воян,— скину, покуда гощу у вас, и разделю с вами радости мира.

В цвете лет и мужества взор Святослава горел юношеским огнем посереди семьи королевской.

Рано хотела Ольга обуздать пылкий его нрав брачными узами, но для изневоленного сердца они казались тяжкими оковами; и сердце искало воли посереди удалых забав и мира посереди брани. Княгиня Святославова умерла, он был свободен, но душа его привыкла уже к подвигам, к кочевой военной жизни и к славе побед. Врагов Святослав любил более, нежели друзей, и боевой встрече с ними радовался более, нежели победе. Победа давала мир, а он боялся миру.

В Переславе только почувствовал он мир в самом себе и, как будто боясь, чтоб он не нарушился чем-нибудь, желал иметь верный залог этого мира.

Кто, кроме судьбы, мог бы противиться горячему его желанию?

Едва Святослав задумал о чем-то, посереди торжеств и пиров, вдруг явился к нему гонец из Руси с вестию, что великие силы Печенегов грозят Киеву и что великая княгиня Ольга больна, при смерти, и молит сына принять душу матери и похоронить тело. Вслед за гонцом явились и старейшины киевские.

— Княже,— сказали они,— вступились мы по тебе! Чужой земли ищешь ты, а от своей отчуждался!* Без щита твоего и матерь твою, и детей твоих пленили было Печенеги. Или не пойдешь оборонять нас, или не жаль тебе ни отчины своей, ни близких своих не жаль!

---

[1] Здесь: под стенами города.— *А. Б.*

Горьки были Святославу эти вести, горек упрек, горька и разлука с Преславом. Но он не медлил, не задумался — сел на коней с дружиною своею и скоком, летом примчался к Киеву, обнял престарелую мать и детей, собрал войско, загнал Печенегов в далекие степи.

— Сын мой возлюбленный,— сказала Ольга,— теперь ты со мною, и не отпущу я тебя от одра моего до конца дней моих. Довольно уже прославился ты путями ратными и победами; теперь взыщи мира и правды, помысли о уставе земском, устрой царство твое крепкое, державное и честное. Не полагайся ни на посадников, ни на бирючей, сотвори сам наряд в дому твоем. Раскуй мечи на орала, а копья на серпы: оружием не проложишь пути к небу. Будь людям твоим в сень от зною и в покров от хлада, утешь и упокой конечные дни мои!

— Мать моя возлюбленная,— отвечал Святослав,— вкусившему сладкое, горькое не по́ сердцу. Видел я красные земли дунайские, похвалю ли русские пустыни? Не мил мне Киев, хочу жить на Дунае. Там будет среда земли моей, где сходятся вся благая. Сына Ярополка посажу я в Киеве, Олега в Древлянах, а сам иду на Дунай!

Ольга знала причины, которые влекли Святослава на Дунай. Добрыня открыл ей тайну. От Добрыни, который до того уверен был, что после смерти Ольги сестра его Милица будет великой княгиней, не скрылись думы Святослава, нарушавшие его надежды. Со вздохом глубоким сказал он Ольге: «Благоверная госпожа моя, изгубили светлого сына твоего, нашего великого князя Святослава, злые ковы и замыслы болгарские: не взяли они его силой, взяли хитростью. Размирят с Греками и будут держать вместо щита против врагов своих. Шел он воевать Болгарию, а воротился поборником ее, там покинул он всю дружину свою в ограду чужого царства».

Ольга пришла в ужас, узнав, что сын ее готов нарушить мир с Греками. Она хотела узнать, что обольстило Святослава в Болгарии.

— Смею ли тебе открыть, княгиня, госпожа моя, тайну сына твоего! — говорил ей Добрыня.— Распутная сестра королевича болгарского увилась змеей около сердца Святославова, ослепила ум его и поборола силу, мастит ланиты румянцем, облекается в лепоту риз и в златые *обложения*[1],

[1] Здесь: украшения.— *А. Б.*

хитра, как плетения влас своих, злое оружие хитростей болгарских: беда нам настанет!

Ольга поверила Добрыне, а желание Святослава ехать на Дунай убедило ее в истине всего сказанного.

— Сын мой,— отвечала она на слова Святослава,— больно сердцу моему, что ты не возлюбил родины и чуждаешься дому и кровным. Скажи мне истину, какой бисер многоценный обрел ты на Дунае? Кто посеял там для тебя благо, что торопишься пожать его? К чему приковалось там сердце твое?

— В изволениях разума дам ответ,— сказал Святослав,— но в изволениях сердца неволен. Там мирен я духом.

— Нет, сын мой, есть у тебя иное на сердце, ты не смирился, но пал духом. Кто обаял тебя взором своим? Кто умастил тебя ласками своими и усвоил?

— Вышел я из детского возраста,— отвечал Святослав,— и старость не охолодила еще меня. Сам не неволю ничьей души, и моей никто не изневолит, ни силою, ни обольщением.

— Молод еще ты укорять старость холодом, время дает опыт, а ты испытал только строи да пути ратные! Послушай опыта и совета матери: прилепись к истинному богу, он отведет тебя от наваждений дьявольских.

— Прилепился я к богу отцов моих, и воля его отвергнуть меня от себя или беречь в путях моих*.

— Сын мой,— произнесла Ольга со слезами,— не сноси престола своего на Дунай! На Дунае ищут души твоей! Шел ты за Греков воевать Болгарию, враги Греков были враги твои, кто ж вражду твою претворил в дружбу, а приязнь в размирье?

— Обман и правда,— отвечал Святослав.

— Сын мой, сын! знаю я все! знаю, какими ветрами злодеи Болгары сбили корабль с пути! Знаю, каким золотом прельстили тебя! и за какую плату наняли в свои холопы! Зачем оставил ты рать свою в Болгарии?

— Не оправдаюсь я перед тобою, мать моя,— произнес, вспыхнув, Святослав, напутствуй меня благословением, я иду к полкам своим.

— О, Святослав,— произнесла Ольга,— нрав твой упорен! Бог с тобой, твори волю свою, но дай мне умереть прежде. Не оставляй меня на смертном одре, погреби меня и иди куда хочешь!

Святослав не мог противиться последнему желанию больной матери*. Но просил не говорить ему ни слова о Болгарии.

Мраком покрылось лицо его, и над взором, как над утренним солнцем, висели тучи, изнывала душа.

Прошла зима, настала весна; силы Ольги быстро таяли вместе с снегом, а душа ее с радостью готовилась к исходу, как дух весны из земных недр.

Только что проклюнулось яйцо нового птенца природы, и прозябшее семя выбежало на вешнее солнце, и воскресшая жизнь подала голос, в Киев прибыл посол из Царьграда и объявил, что василевс — опекун Никифор умер, державу принял Иоанн Цимисхий[1].

Первым условием возобновления мира Греции с Русью Цимисхий полагал вывод русских сил из Болгарии.

— По первому слову не умирюсь с царем вашим, — отвечал Святослав,— хочет он построить мир и положить ряд между Русью и Греками по старине, как было при отце моем, пусть шлет оклады на грады русские и хранит любовь ко мне и ко всем, кто под рукою моею*.

Посол Цимисхия отправился обратно с посланными от Святослава, которые обязаны были, в случае размирья с Греками, явиться к Свенальду, военачальнику русских полков в Болгарии, с указом сосредоточить силы в Преславе, нанять в помощь конницу угорскую и ожидать великого князя*.

Вскоре прибыл посол и от Бориса с поклоном и дарами. В Болгарии было все спокойно, но по горделивой осанке послов Цимисхия Святослав предвидел грозу, которую готовит он на Болгарию.

— Мать моя! — сказал он..— Честь зовет меня на путь!

— А любовь к матери не удержит! — сказала Ольга, вздыхая.— Вижу, как душа твоя рвется к Дунаю и тоскует; я помолюсь богу, чтоб он поторопил успение мое!.. Бог с тобой!..

Ольга забылась в молитве.

— Сын мой, сын,— сказала она наконец,— преклони чело свое к устам моим! Бог с тобой, да предохранит он тебя,

[1] Иоанн Цимисхий (т. е. коротышка, маленький) — византийский император (969—976) из знатного армянского рода Куркуасов. Пришел к власти в результате аристократического переворота. Вел активную внешнюю политику на Балканах, в Сирии, жестоко расправлялся с многочисленными восстаниями внутри империи.— *А. Б.*

не омовенного крещением, от пыла души твоей. Сын мой! зачем не послушал ты слов моих и не принял божий щит в ограду путей твоих!..

Тихо произнесла Ольга эти слова и закрыла глаза, смоченные слезами.

Предтекущая христианской земли, как денница перед солнцем, как заря перед светом, почила.

И плакались по ней сын ее, внуки и все люди великим плачем.

Первую христианку Руси погребли в Ольмовой церкви во имя Святого Николая, и Святослав не творил тризны или погребального пира на гробе ее.

Первые дни печали его нарушены были известием из Болгарии, что Греки взяли Преслав*.

Вскипело сердце Святослава. Посадив старшего сына, Ярополка, на великокняжение и назначив в удел сыну Олегу Древлянскую Землю, он торопился в Болгарию. Перед самым отъездом явились мужи новгородские и просили себе князя.

— Кого пошлю вам? — спросил Святослав.

— Дай нам Володимера,— отвечали Новгородцы по научению Добрыни.

— Вот он вам, юный и с вуем своим Добрынею. Добрыня будет кормильцем ему.

И отправился Володимер с Добрынею в Новгород, а Святослав к Преславу болгарскому.

Глава одиннадцатая

Святослав предчувствовал, как необходимо присутствие его в Болгарии, но ему нельзя было оторваться с холодным чувством ни от гроба матери, ни от забот о детях, ни от попечений об устройстве земском. По смерти Ольги на него возлегли все тяготы. С нитью жизни ее разорвалось ожерелье обычного порядку. А между тем над Болгарией собирались тучи, никто не предчувствовал грозы, кроме тоскующего сердца Райны.

Воян знал причину уныния племенни́цы, часто навещал он ее, беседовал с нею о том, что занимало ее душу, и, как благотворная роса, окроплял ее сердце, из которого возрастали роскошные цветы: светлый взор, радостная

улыбка и живой румянец. Райна ждала Святослава, как обреченная ему душой и сердцем, судом и рядом.

Тогда как Борис принял отчую державу с любовью народной и стал спокойно, обдуманно, без боязни крамол заботиться об устройстве земли своей, измершей от голоду и войны, на престоле цареградском, как на сердце прелестницы, возлегали попеременно искатели ее. Василиса Феофания, по смерти Романа, за малолетством наследников его, Василия и Константина, избирала на престол и ложе, в правители и опекуны людей по́ сердцу. Первый любимец ее, с которым сочеталась она браком и облекла его в пурпур, был Никифор Фока, грубый, безобразный, но могучий и смелый воин. Духовенство и народ возненавидели его, возненавидела вскоре и Феофания. Выбор ее пал на нового силача и временщика, Иоанна Цимисхия. Этот дебелый Армянин невелик был ростом, но как кованный из железа, наездник, боец и поединщик, прославившийся в боях с Сарацинами. Сблизившись с ним, Феофания обрекла Никифора смерти, и, тогда как он спал, по своему боевому обычаю, в крепких оградах дворца, на раскинутой на полу медвежьей шкуре, тридцать кинжалов приковали его к полу, а злодей Цимисхий хохотал над вылетавшей душою предместника своего и вскоре избран был правителем восточной империи и опекуном малолетних детей василевса Романа.

Но Феофания ошиблась в Цимисхии. Первым его делом было обвинить ее перед народом в убийстве отца, мужа и любимца Никифора, заключить в монастырь и казнить ее сообщников*.

К нему-то явился комитопул Самуил с братьями и сбродом разных людей; объявил себя воеводой сил Болгарии и просил от имени всего народа защиты против насилия Руси и поставленного ими короля Бориса*.

— В этом дворце вскормила Греция Бориса,— говорил Самуил,— а он, подкупив Святослава дарами и красотой сестры, заключил с ним союз против Греции.

Войнолюбивый Цимисхий радостно принял сторону комитопулов, во-первых, потому, что они были также Армяне родом, а во-вторых, величаясь титулом победителя Востока, он хотел приобрести и титло победителя Севера.

Отправив посла к Святославу с требованием вывести русские войска из Болгарии, он велел перевести победо-

носную свою рать из Азии в Европу и собрать новые силы в Македонии и Фракии.

Послы греческие, возвратясь из Руси с послами Святослава, нашли Цимисхия уже в Родосто, куда перевозились на кораблях азийские войска и где было назначено сборное место всем прочим.

Узнав от своих послов ответ Святослава, Цимисхий велел сказать послам его, что они отправятся вместе с ним в столицу Болгарии и там примут ответ царя греческого к русскому князю.

Назначив полководца Василия предводителем главных сил и поручив передовой отборный отряд, состоявший из наймичей, стратигу[1] Феодору, сам Цимисхий с десятью тысячами старых сослуживцев своих двинулся быстро в горы. Его передовую стражу составлял Самуил с несколькими стами сброда сообщников своих. Зная все тайные пути гор, они провели Цимисхия мимо застав болгарских, и он неожиданно явился из-за высот перед Преславом и напал на русский отряд, занимавшийся ратным ученьем на равнине перед городом*.

Русский полководец Свенальд был в это время в Доростоле, где стояли русские корабли; в Преславе была только стража королевская и осемь тысяч Руси.

Нечаянное появление неприятеля в то время, когда никто не предвидел войны, не готовился к ней и спокойно наслаждался миром, привело всех в ужас.

Не зная, кто неприятель и откуда взялся, но видя бой за городом, Русские в беспорядке бросились на помощь к своим. Завязалась битва, а между тем ворота городские заперли и завалили. Окруженные со всех сторон, Руссы дрались как львы в продолжение целого дня под самыми стенами: их невозможно было впустить в город без опасения, что с ними ворвется и неприятель. Десять тысяч, пришедших с Цимисхием, должны были отступить, но к вечеру в помощь Цимисхию прибыл стратиг Федор. Наступившая ночь прекратила битву, а к утру Преслав был уже обложен всеми силами греческого войска. Начался приступ. Тщетно Цимисхий требовал сдачи города. Русь и Болгары стояли на стенах и осыпали стрелами и калеными камнями Греков,

[1] Стратиг в Византии — наместник области (фемы), обладавший в ней всей полнотой военной и гражданской власти. Стратиг Феодор — лицо историческое.— *А. Б.*

которые под прикрытием щитов приставили лестницы и лезли на стены. Стало уже смеркаться. Усилия Греков ослабели. Цимисхий потерял надежду взять Преслав, но злодей комитопул предложил употребить хитрость.

— Воспользуемся темнотой,— сказал он ему,— вели отступить от стен; я со стороны лесу поскачу с отрядом своим мимо твоих войск. Ты преследуй меня как неприятеля. В городе подумают, что пришла помощь, примут за своих, отворят мне ворота, и, когда я буду в городе, начни снова приступ. В суматохе Руссы и Болгары бросятся защищать стены, а я нападу на них с тылу!

Злодейский умысел понравился Цимисхию и удался. Войско Цимисхия отступило от стен. Войска преславские сложили щиты и прилегли на отдых с оружием в руках. Уже смеркалось. На вершинах стражниц городских зажглись костры, весь город и все окрестности озарились заревом. Вдруг за стенами послышался крик, гай и стук оружия. «Наши, наши идут!» — крикнули Руссы, видя, что полки греческие преследуют несущийся во весь опор отряд конницы.

— Отпирай ворота, покуда не налегли на них Греки!

Ворота отперли, комитопул со всем своим отрядом проскакал в город, вслед за ним ряды войск греческих надвинулись на стены с лестницами, оглашая воздух криками и ударами в щиты.

Дружина преславская бросилась защищать стены, но слышат крики и тревогу позади себя, видят бой на прясле ограды. Сердца́ дрогнули, руки опустились.

Король Борис, окруженный семьей, священством и вельможами, едва только успокоился, отразив первый приступ Греков: он уверен был, что город выдержит осаду до прибытия Свенальда из Доростола и покуда стянут войска из пограничных крепостей Болгарии.

Когда донесли, что отряд Руссов, сражаясь с Греками, приближается к городу, все терялись в догадках, Свенальд ли это или сам Святослав. Сердце Райны билось в нетерпеливом ожидании.

Вдруг раздались снова военные клики, стук оружия, гул труб и котлов. И в эту минуту общего онемения на двор королевский прискакал отряд всадников.

— Спасайтесь! — кричали они в один голос к страже двора.— Греки ворвались в город! Спасайтесь, братья!

Несколько из них соскочили с коней, бросились на крыльцо, вбежали в палаты королевские.

Борис и все окружающие его, пораженные исступленным криком вбежавших юнаков, онемели от ужасу; только дети Бориса вскрикнули и прижались к матери.

— Спасайтесь! Греки в городе! Кони готовы у крыльца! Ведите короля, несите королеву!

И с этими словами один из вбежавших, в кольчуге и шлеме с опущенным забралом, схватил Райну на руки и бросился вон.

— Моя теперь! узнала ты меня? узнала Самуила? — повторял он, спускаясь с крыльца.

— Коня! Брат! на твоих руках король с семьей! — крикнул злодей и вскочил с ношей своей на седло, обхватив правой рукой беспамятную Райну, взялся за узду, сдавил коня и, сопровождаемый тремя всадниками, помчался во весь опор.

Только что он исчез между зданиями, как полк македонской пехоты, преследуя Болгар, вышел на площадь. Отступая к королевскому двору, они вбежали во двор, хотели затворить ворота; но всадники Самуила бросились на них и открыли путь Грекам.

— Борис, ты мой пленник! — сказал один из них королю, которого окружили уже враги его.

— Кто ты, изменник? — вскричал Борис.

— Кто я? Комитопул Аарон, если помнишь.

— Помню, черная душа! еще в детских играх наших ты был изменником! — отвечал Борис.

С королевою, с братом Романом и детьми повели его во всем королевском облачении в стан Цимисхия.

— Здравствуй, король, с королевою и с королевичами! — сказал Цимисхий, усмехаясь.— Не долго ты гостил на родине!

— Здравствуй, хищная птица на чужом гнезде! — отвечал Борис, который знал Цимисхия еще льстивым рабом у подножия Феофании.

— Поезжай же в Константинополь, там еще целы твои игрушки,— сказал Цимисхий, бросив гневный и презрительный взор на Бориса. И немедленно велел отправить Бориса с семьей и брата его Романа в Царьград*.

Преслав был занят уже Греками; но бой продолжался в одной части города от восхода зари утренней до *восхода*

звезд. Несколько тысяч Руссов, стесненные в одной из улиц, дрались отчаянно. Как косари двигались они вперед по жниву, устилая землю рядами врагов, смяли их, вытеснили на площадь, и здесь, окруженные со всех сторон, пробили они себе путь к двору королевскому, бросились в отворенные ворота, заперли их за собой, завалили и вырубили всех Греков, которые расположились уже во дворе.

Им легко было бы отстоять высокие ограды за́мка; но, на беду, около стен были деревянные королевские службы. Греки стали бросать огонь, подожгли, пожар разлился по всему двору, обнял палаты, и несколько тысяч храбрых, непобедимых Руссов погибли в этом адском пламени.

Глава двенадцатая

В тихой, отдаленной от Преслава подземной обители и в глубине души своей Воян радовался о наступившем благоденствии Болгарии. Племенни́ки и Райна умоляли его жить с ними, но он не мог расстаться навсегда с уединением. Он привык к тишине подземной. В свете копится богатство вещественное, а в уединении душевное. И то и другое не для одного себя: есть какая-то потребность делиться с любимыми и добрыми людьми. Каждую неделю являлся Воян в Преслав с богатыми дарами души своей. Борис ждал всегда от него мудрого совета, а Райна утешительной беседы. Несколько уже дней прошло, как он не был в Преславе, никакой недобрый слух не дошел до него. И через кого бы мог дойти? Разве вещун черный ворон сел бы над нырищом и прокричал: «Горе, горе!»

Спокойный, с благими надеждами, выехал Воян из пещеры, сопровождаемый одним из своих собратий. Выбравшись из ущелья гор на дорогу к Преславу, вдруг видит он, что навстречу им едет отряд конницы.

— Что́ за люди? — сказал товарищ Вояна.— По одежде не Болгары и не Руссы.

— Одежда, кажется, македонская.

— Куда, старцы? — крикнул начальник отряда по-гречески, подскакав к ним.

— В Преслав едем, храбрые воины,— отвечал Воян, удивленный встречею с греческими войсками.

— О, да какие у вас кони! слезайте-ка, поменяемся!

— Возьмите, пожалуй,— сказал Воян,— только чтоб после беды не было, кони с королевской конюшни.

— Неужели? тем лучше! Если ты из Эллинов, отец калугар, так поздравляй и молись богу! Преслав наш! Э нет, стареньки! съели зубы! — продолжал Грек, осматривая коней.

— Чей наш? — спросил Воян.

— Вот хорошо, чей! Здесь сам василевс Иоанн; король болгарский со всей семьей в плену.

— О, неисповедимы дела твои, господи! — проговорил Воян, и у него невольно выступили слезы на глазах.

— Что, заплакал от радости?

— Плачу,— отвечал Воян,— и не постигаю, что́ вы говорите.

— Да, отец калугар, случилось же так, что в Преславе не успела заняться заря, а мы уже взяли город! Орлами перелетели через горы и стены!

— А Руссы где? — спросил Воян.

— Что́ нам Русь — петухи, а Болгары мокрые куры; да они же сами просили василевса, чтоб избавил их от насилия Руси.

— Когда сами просили?

— А как же, тайно прислали комитопулов на переговоры.

— Комитопулов! — вскрикнул Воян.

— Чему тут удивляться? Верь мне, что так.

— Не удивляюсь; если комитопулы взялись за дело, так иначе и быть не может! — отвечал Воян.— Прощайте же, боюсь опоздать к вечерни.

— Ну, прощай! а славные кони! Жаль, что стареньки!

Грек поскакал с отрядом; а Воян, склонив уныло голову, продолжал путь в Преслав. То пустится быстрой рысью; то думы так отяготят его, что конь чувствует их и шагом везет свою ношу.

Когда из-за утеса открылся город, стан греческий и легионы войска, которые тянулись по дороге к Дунаю, Воян приостановился, вздохнул глубоко и отер слезу.

— Душан,— сказал он спутнику,— посмотри, столица это болгарского царства или могила?

— На какую беду ехать нам туда? — отвечал Душан.

— Что ты это говоришь, Душан! — произнес Воян с упреком и быстро пустил коня по дороге, извивающейся к городу, мимо греческого стана, расположенного на возвышении.

Смиренно просил он на заставах пропустить его в город, называя себя иноком метрополии преславской, из Греков.

— Ступай, ступай, да не в болгарский Преслав лежит этот путь, а в греческий город Иоаннополь, слышишь, старец? — повторяли ему тщеславные покорители столицы.

— Боже небесный! что́ сталось с Райной? — произнес Воян, подъезжая к королевскому двору, еще дымившемуся после пожару.

Дом ключаря Обреня был подле двора; но все дома на площади и поблизости заняты греческими войсками. Жители стеснились в отдаленных частях города. Туда поехал Воян и по расспросам отыскал Обреня. Старик сидел на завалине одной хижины.

— Все погибло, брат Воян! — сказал он, качая головою.— Сгорело гнездо наше! Злодеи комитопулы продали нас!

— Где король? — спросил Воян.

— В плену.

— Где Райна? — спросил Воян.

— Где? — повторил Обрень и закрыл лицо руками.

— Говори, брате! Умерла?

— О, верно, умерла в руках злодея Самуила!

Белые, волнистые волосы на голове Вояна распустились, повисли куделью, лицо помертвело, но ярко вспыхнули глаза.

— Самуил? — повторил он, слушая рассказ Обреня о событии, которого он был свидетелем.— В палате королевской Самуил? — повторил он еще грознее...— Пусть накажет меня бог вечными муками! Прощай, Обрень!

— Куда, брате?

— Куда! не оставить ли голубя в когтях ястребиных! Нет, найду я ущелья хищника!

— Ищи, брате, ищи! — повторял Обрень вслед Вояну, который вскочил на коня и помчался обратно к своему ырищу.

— Маврень! — сказал он одному из своих собратий.— Помоги горю! Коршун-комитопул похитил племенницу мою, унес в свое гнездо! Негде ему свить его, кроме трущобы шумской, там нанимал он свою шайку. Тебе известны все притоны: ступай, брате, разведай, за какими оградами, за сколькими замка́ми темница королевны!

— Знаю, знаю! — отвечал Маврень.— Где быть, как не в куле главаря урманской вольницы.

И Маврень вооружился с ног до головы, накинул на себя вместо черной ризы суконный красный пласт[1] и отправился в непроходимый лес, который покрывал горы на запад за Преславом.

— Дубравец! — сказал Воян другому старцу.— Ступай, брате, к Доростолу, туда пошел Цимисхий со всеми силами. Разведай, что́ там деется, чем решится бой Греков с Руссами. Узнай, не прибыл ли сам Святослав из Руси.

Дубравец отправился к Доростолу смиренным иноком, собирающим подаяния. Воян провел три дня, как изнеможенный дряхлый старик, лишившийся уже всех чувств жизни. Как пробужденный от сна, вздохнул он, когда возвратился Маврень.

— Так и есть, в куле у главаря! Я приехал прямо к старому своему побратиму Годомиру. «Откуда, браца?» — «Из сербского плену ушел!» На радости выпили коновку руйного вина. «Ну, как поживаете? где главарь, где момцы гусары? Что нового?» Он и развязал кошель, высыпал все, что за душой было: главарь со всей вольницей на службе у комитопула Самуила, которого царь греческий обещал сделать королем болгарским, и отдал в залог ему королевну. «А где королевна?» — «Здесь, в куле[2]».

С меня и довольно было этих вестей. «Прощай же, браца,— сказал я ему,— еду на войну, что́ мне здесь делать». И уехал.

— Ну, Маврень, спасибо! — сказал Воян, оживая.— Теперь на долю нам трудная работа; надо выкрасть королевну, покуда тать не возвратился в вертеп свой.

— Выкрасть? нет, Воян, из кулы не выкрадешь! Высоки стены, крепки замки́! Там взаперти живут жены главаря;

[1] Здесь: плащ.— *А. Б.*

[2] Башня; здесь: укрепленное гнездо разбойников.— *А. Б.*

ни входа, ни выходу, ни им, ни к ним. Сторожат их обрезанцы да старые ведьмы. А вокруг стен стража, день и ночь. Можно бы взять теперь кулу силой, да где силы взять.

— Где взять? — повторил Воян, задумавшись.— Едем, Маврень, найдем силу!.. Эх, из Доростола нет вестей! Да все равно, нечего медлить! в Святославе русском наша помощь, другой нет, едем к нему, хоть в Русь!

На пути встретил Воян Дубравца, посланного в Доростол.

— Что́ нового? Что́ нового?

— О, битва великая идет на Дунае, Святославу бог помогает!

— Там он? — вскричал радостно Воян и, не ожидая других вестей, помчался во весь опор, как лихой, смелый юнак, гонящийся за славой.

Между тем как быстро всходили и созревали горькие беды Болгарии от семян, насажденных коварством комиса и комитопулов, между тем как народ поливал слезами опавший цвет блага своего, а Райна, измирая в печалях и ужасе, молилась о смерти, стоя на коленях перед светом божиим, проникавшим через окно под потолком в келии ее заключения,— Святослав летел на крыльях к Дунаю и прибыл в Доростол, когда над любимцем его, Огнемиром, совершалась тризна и войско пало духом.

— У кого на душе горе и отчаяние, на лице печаль и боязнь, кому смерть страшна, вон из рядов и из стана русского! — вскричал он к воинам.

— Нет нам страху с тобою! — крикнули воины, и душа встрепетнулась у всех, взоры ожили.

— Братья и дружина,— возгласил он, устроив рать к бою.— Все воротим, кроме мертвых!

И дружина русская, ударяя радостно в щиты, двинулась за ним на горы, возвышающиеся над Доростолом, где был укрепленный стан Цимисхия, облегавший город.

Началась сеча. Десять тысяч Руссов шли на сто тысяч Греков.

— Братья и дружина! — возгласил снова Святослав к утомленным воинам,— собирайте последние силы! Не устыдим земли Русской! победим или сложим головы!

— Где твоя ляжет, там и свои сложим! — возгласили воины, прогремев мечами в щиты*.

Цимисхий почувствовал присутствие Святослава; имя русского князя разнеслось по рядам греческим, и, разбитые, разметанные, сто тысяч в беспорядке отступили с поля.

Укрепленный стан достался в добычу Руссам; ночь прекратила сражение. Святослав стал под черным знаменем на костях греческих, в шатре Цимисхиевом и послал сказать Грекам: «Потяну на вас, до града вашего, и стану на костях ваших посереди града!»

Могучий борец Цимисхий, надеясь на свою личную силу более, нежели на войско, предложил Святославу вызов на поединок: «Кто из нас победит, тот и владеет обоими народами».

— Во чье имя и место царствует Цимисхий в Греции? — спросил Святослав посланного.

— Во имя и место малолетнего сына Романова Василия и брата его Константина,— отвечал он.

— Так пусть же он на кон не ставит чужого добра и наследия; а если ему, военачальнику царскому, наскучила жизнь, так избирай он иной любой путь к смерти.

Цимисхий был тот же человек, который наездничал в Азии перед полками и вызывал арабских витязей на бой; но, сорвав могучей рукой пурпур с плеч Никифора, ему незачем уже было тянуться; осмелиться на решительную борьбу с Святославом значило бы насиловать свое счастье и подвергать опасности приобретенную славу героя. Бой с Святославом нисколько не походил на азиатские игры в войну*.

Цимисхий решился искусить Святослава золотом, а вместе с тем желал выведать, как велико число его дружины.

— Не сильны мы против тебя стоять, прими дары наши и скажи, сколько вас, и дадим по числу голов,— льстиво сказали Греки. *«Суть бо Греци льстивы и до сего дни»* — говорит летопись.

— Злато и паволоки отрокам моим,— сказал Святослав,— а драгоценное оружие принесли вы на голову свою, если военачальник ваш не освободит короля Бориса с семьей и не пойдет с миром в град свой!

Посланные возвратились к Цимисхию с ответом Святослава и сказали:

— Грозен и лют этот муж, презирает золото, а любит острое железо!*

— Так мы пойдем, вопреки его нраву, иными путями, будем договариваться о мире, покуда придут корабли мои на Дунай,— сказал Цимисхий.

И снова послы греческие явились в стане Святослава, но, к удивлению, их не допустили к нему. Сперва сказали им, что светлый князь велел обождать; потом, что велел спросить, зачем приехали, наконец, объявили им, что если они прибыли с миром и согласием на волю великого князя, то могут заключить договоры в совете бояр его; а если хотят торговаться, то с чем приехали, с тем бы ехали и назад.

Этот ответ довершил сомнение греческих посланных; они заметили смуту и колебание в словах сановников Святославовых. Объявив, что без воли царской не могут решиться на предлагаемое, они возвратились в свой стан.

— Не знаем причины, отчего смутило прибытие наше сановников русских,— сказали они Цимисхию.— Когда мы просили и несколько раз повторяли требование лично видеть князя, они всегда уходили, долго не возвращались и потом выдумывали какое-нибудь затруднение видеть его. Он, верно, болен он раны: недаром Анема критский похвалился, что в битве встретил он самого Святослава, дал ему сильный удар в голову, сбил с коня и, если б не подоспел княжеский оружничий, убил бы его или взял в плен.

— Нет, это только уклонение Руссов от мира,— сказал Цимисхий, довольный новостью, сообщенною послами.— Тем лучше! корабли мои прибыли.

И немедленно Цимисхий велел идти кораблям своим к Доростолу и, вступив в бой, осадить город со стороны Дуная. По данному знаку к сражению развернулось царское знамя, и Цимисхий двинулся со всеми силами на нагорный укрепленный стан Руссов. Началась жаркая битва. Бодро Руссы отражали наступающие полки врагов; но голос Святослава не раздавался перед рядами, не вызывал дружину свою на победу или на гибель. Не будь боя позади ее, на Дунае, она бы отстояла поле; необходимость принудила отступить в стены Доростола и обороняться за оградами.

Флот греческий стеснил русские корабли под самым городом, занял рукав Дуная, облегающий Доростол. Руссы были осаждены со всех сторон; уныла душа их; не слыхать живительного голосу.

— Братья мои и отроки! не умирать нам взаперти, умрем лучше в открытом поле!

Но где же Святослав?

С полком отчаянных всадников мчится он к куле главаря урманского.

Воян явился к нему в стан под Доростолом и с слезами на глазах сказал ему:

— Князь Святослав, спаси королевну, племянницу мою, покуда не пришло время конечной ее погибели!

— Воян! — сказал Святослав.— Я добуду ее из плену греческого! Борис воссядет на престол свой!

— О, если б она была с братьями своими в плену у Греков, я бы ждал спокойно твоей победы: кто против бога и тебя, Святослав.

— Где же она? — вскричал Святослав.

— Где? Пойдем, выручим ее! Возьми полк дружины с собою, и, бог даст, завтра в ночь рассыплем стены ее темницы, куда заключил ее хищник комитопул.

Не задумался Святослав, не выждал утра; велел вскочить на коней всадникам полка княжеского и, как туча на ветрах, понесся вслед за Вояном и Мавренем в трущобы шумские.

Не слезая с коней, мчались они ночь и день; к вечеру Маврень сказал:

— Стой! Близко. Кони измучились, надо дать им отдых да решать, что́ делать. Здесь одной силой не возьмешь: стены высоки; покуда взберемся на них по высоким елям вместо лестниц да заведем бой, стража урманская не ляжет мертва, не вырезав всех жен главаря; а вместе с ними и Райне будет та же участь. Был такой пример при Симеоне.

Поразила эта новость Святослава; у него и душа и руки жаждали кровавого боя.

— Что́ ж будем мы делать? — вскричал он.— Или подползем гадами под сонных злодеев?

— Э, нет, князь великий,— отвечал Маврень,— мы повестим о приходе своем гулкими бубнами, звонкою песнею! Я научу певцов твоей дружины петь такую песню,

что гусары встретят нас как родных. Пойте, братья, за мной:

Гой, гусаре, песню запевахме!
Иди, песня, из уст в уста ладно!
Встречай, Майя, единого сына,
А сестрица — родимого брата,
А девица — заручника-друга!

Ладно пойте, братья!

Гой, спытаем, все ли гласы вкупе,
Нет ли в битве со врагом измолкших?
Слышно ль Майе радостный глас сына?
А сестрице — ласковый глас брата,
А девице — сердечный глас друга?

Ладно! пойте, братья!

Чу, навстречу идут домачицы,
Копят слезы на печаль, на радость,
Отзовется ль радостный глас Майе,
А веселый — милице-сестрице,
А сердечный — душице-девице?

Ладно! Ну, я еду вперед повещать, что идем; спуститесь с горы, я буду уже у оград кулы. Послышите звук рога — запевайте; по второму знаку — рысью выберетесь из лесу на долину; тут ни дороги, ни тропинки нет; а доедете до речки, речкой по воде вправо; ступайте, куда извивается между крутью берегов, приведет под скалу; тут налево выбита по скале дорожка в гору, как раз к воротам кулы. Ну, с богом!

И Маврень помчался рысцой вперед; подъехав к воротам оград кулы, он затрубил с треском в медный рог, так что стражи над воротами и на боковых башнях вздрогнули и в один голос подали оклик.

— Спите вы, братья! По первому звуку голоса не подали! а главарь со всем гусарством под горой! — вскричал Маврень.— Да, ну! не слышите! откладывай ворота! — И Маврень загремел в рог снова.

Дружина Святославова с звонкой песнею вышла из лесу в долину, покрытую непроходимым терном. На противоположном берегу, на обрывистой скале, видны были стены и башни кулы. По камышкам речки, как между двумя гранитными стенами, пробирались они к куле.

Между тем всполошенная стража подала знак старшине и привратнику. И когда по второму звуку рога отвалили ворота, Святослав с дружиной своей скоком взлетел по вырубленной в скале от истока речки дороге, и прежде нежели стража кулы опомнилась, он уже был на дворе за́мка. Стража перевязана, все входы и выходы заняты Руссами.

Убитая горем, выплакавшая все слезы скорби и любви, Райна не привыкла еще засыпать под черными сводами своего заключения. Вокруг закоптелых стен широкие лавки устланы были дорогими коврами, обложены подушками, и это составляло все украшение покоя. Пространен, мрачен и пуст он был; слабый свет ночника в стене освещал Райну; Райна сидела, склонив голову на кисть руки, как бездыханная, а в углу спала старуха.

Дни Райны как будто кончились: нет для нее будущего, все чувства жизни погрузились в прошедшее, в страшный мир думы, населенный призраками живого и мертвого. Все тут перед ней: что́ сбылось, что́ виделось и чувствовалось, и близкие душе, и враги, и свет, и мрак, и все смута, которая не дает сердцу ни жить, ни умереть.

Вдруг послышался звук рога; Райна очнулась, затрепетала и упала на колени, обратив очи к разжелезненному окну под самым потолком.

Раздался второй звук рога, послышался шум, голоса все ближе и ближе.

— Боже небесный! вынь душу мою из тела! — вскричала Райна, с ужасом оглянувшись на дубовую дверь, обитую железом, когда раздался стук и загремел голос: «Отворите!»

Вздрогнула и старуха спросонок.

— Кто там? — крикнула она, подбежав к двери.

— Отворяй, Жика! — повторил голос.

— Староста! Зачем это он! — сказала старуха, вынимая запор. Дверь заскрыпела, кто-то откинул ее нетерпеливо.

— Райна! — раздались знакомые голоса.

Райна вскинула руки, хотела вскрикнуть, но голос измер на устах ее.

— Райна! Ду́шица моя! Смотри, вот он, спаситель твой! — повторял Воян, приподнимая ее и целуя в плечо.

— Воян! не место здесь радоваться! — сказал сурово Маврень.

— Правда, правда! — отвечал Воян.— Пойдем скорее! Благодарность твоя еще впереди.

Святослав помог Райне спуститься с каменных крутых лестниц. Они сошли на широкий двор, где перевязанная стража кулы окружена была русской дружиной.

— Вы будете свободны,— сказал Святослав,— в городе вашем все цело. Скажите главарю, что мы взяли только свое!

— Спасибо за милости! Да что́ нам в них! — отвечал старшина стражи.— Не вы изрубили нас, оплошных, так изрубит главарь. Были в руках ваших жены его или нет, да порог переступила чужая нога, их пометает главарь со скалы.

— Спаси несчастных, князь Святослав! — сказала Райна.

— Ступайте служить мне; а жен освободим.

— С женами что́ хочешь делай, они не виноваты и вольны; а мы со стражи не пойдем! — отвечал старшина.

— Не пойдем! — повторили все.

— Жаль мне вас, храбрых! — сказал Святослав.— Но делать нечего: правы и честны ваши слова!

По приказу князя отперли терема. Маврень объявил женам главаря, что они свободны и чтоб скорее выходили из своего заключения.

— Я здесь не в неволе,— отвечала каждая из них,— от мужа своего не пойду, а убить убейте, воля ваша.

— Уж это таков народ! — сказал Маврень.— Ну, бог с ними, поезжайте, покуда из соседней кулы урманской не пришли на помощь.

Райну посадили на коня. Подле нее с одной стороны ехал Святослав, с другой — Воян.

Дружина выбралась со двора и понеслась вслед за князем: часть ее осталась еще, чтоб прикрывать путь от преследований.

Доро́гой Райна узнала о судьбе братьев своих и Преслава.

— Куда же едем мы? — спросила она.

— Нет тебе теперь иного прибежища в Болгарии, кроме стана Святославова,— отвечал Воян.

Вот спустились уже с гор, едут по течению Зары, вдали открылась туманная даль: это берега Дуная. Стало смеркаться; на возвышении около селения загорелись огни.

— Это войско,— сказал Маврень.

— Должна быть стража, но Русь или Греки — неизвестно.

Посланные проведать донесли, что это Греки в окопе. Нахмурилось чело Святослава.

— Братья,— сказал он к дружине,— две первые сотни следуйте позади; вам на руки королевна болгарская; а прочие за мной, открывать путь к Доростолу!

И Святослав поскакал прямо на стражу греческую. Греки расположились около огней, ужинали беззаботно; откуда было им ждать неприятеля: Руссы в тесной осаде.

Внезапный *гай*[1] налетевшей русской дружины всполошил их; они схватились за оружие, бросились к коням; но поздно: Руссы смяли их, окружили со всех сторон, обезоружили.

— Отдать им коней: пусть скачут в стан свой и повестят, что следом за нами идет русский князь и дружина русская,— сказал Святослав.

Грекам отдали коней, и они, как вожатые дружины русской, мчались вперед и на плечах своих принесли ее на левое крыло стана греческого.

Святослав сдержал слово, открыл путь к Доростолу. Все левое крыло разметалось от мечей его, бежало на высоты, где была ставка царская. Суматоха распространилась по всему стану. Цимисхий содрогнулся, когда ему донесли, что сам Святослав явился с великими силами от вершин Дуная.

А между тем русский великий князь вступил во врата Доростола и встретил в них Райну.

Палаты королевские в Доростоле возвышались над самым Дунаем. За садами, на островах, стояли ряды насадов русских; а за плавнями, по гирлу, развевались на мачтах греческие флаги; далее взор терялся в равнине степи и туманах, скрывающих Карпатские горы.

«Боже, боже,— подумала Райна, смотря в окно,— на-

[1] Боевой клич.— *А. Б.*

селится ли когда-нибудь эта степь жизнью или заглохнет пустынею. Рассеятся ли эти туманы или скопятся в новые тучи над нами?»

— Не задумывайся, Райна,— сказал Воян,— божья защита тебе в Святославе.

— А в ком мое счастье? — произнесла печально Райна.

— В Святославе,— отвечал тихо Воян.

Пылкий румянец оживил лицо Райны.

— Не говори, чего не знаешь, Воян.

— Говорю то, что́ знаю, Райна.

— Нет, не знаешь,— сказала Райна,— мне кажется, горе застлало все небо моей жизни и ясные дни не мне!

— Райна, Райна! не возмущай черной думой будущего! Знаешь ли, добрая моя: ясный светлый взор человека разгоняет хмару жизни! Смотри радостнее и надежнее.

— Не могу,— отвечала Райна.

Положение Руссов в Доростоле было отчаянно. Припасы вышли; не дух иссяк в русской дружине, а телесные силы, от недостатка в пище, от беспрестанного труда и боя.

Святослав не предвидел никаких надежд к верной победе; но на его руках была судьба Болгарии и Райны.

— Заключи мир, князь, довольно уже пролитой крови на земле нашей,— говорил ему Воян.— Огради только державу Бориса от насилий твоим заступлением.

Святослав склонился на мир и отправил посла к Цимисхию сказать, что он оставит Болгарию, если Цимисхий возвратит престол болгарский королю Борису.

Цимисхий рад был предложению и желал иметь личное свидание с русским великим князем.

Тщеславные Греки думали поразить Руссов богатством, торжественностью и блеском своим, хотели строить на поле, между войск греческих и русских, для свидания монархов великолепный *феатрон*; но Святослав сказал, что он будет видеться с Цимисхием на берегу Дуная.

Святослав приехал на условленное место в ладье, в обыкновенной полевой одежде, без малейших признаков сана своего; сам греб веслом и причалил к берегу, когда приблизился к нему Цимисхий в окладе великолепия царско-

го, сопровождаемый ликом чинов двора своего и телохранителями в блестящем большом наряде*.

Цимисхий сошел с коня, Святослав сидел на скамье ладьи. Это было свидание благородного белого лебедя с напыщенным павлином. Но великолепие померкло перед величием; кичливость и гордыня преклонились перед достоинством; тщеславие поникло перед славой.

Греки дивились дебелому мужеству Святослава, стройному его стану и благообразию. Под густыми бровями взор голубых глаз был сурово-спокоен; нос не походил на клюв римский; на голове хохол, признак великого рода русского, и в ухе серьга, украшенная жемчужинами и рубином, как у благорожденных предков раджей*.

Мир был заключен.

— Королевна, избирай теперь по воле твоей,— сказал Святослав.— Хочешь ли остаться в Болгарии и положиться на покровительство царя греческого до возвращения брата твоего в Преслав или поручишь себя гостеприимству земли Русской, покуда исполнится миром родной край твой?

— Враги комитопулы еще живы, и коварство их не измерло еще,— сказал Воян.— Где ж верное ей прибежище в Болгарии? Волку ли Цимисхию поручить охранять агницу? Здесь один я сродник Райне, не оставлю ее; вместе с нею прошу твоего гостеприимства, князь великий.

— Просьбу дяди повторяю и я, сирота беспокровная,— сказала Райна.

— Не сирота ты, Берислава,— сказал Святослав.— В какой семье ты не будешь родною, в чьем сердце любимою?

Между тем как писцы писали на хартии совещания, дружина Святославова садилась на корабли. Когда приложились золотые печати и Святослав с Цимисхием разменялись грамотами, поднялся златотканый парус и на великокняжеском корабле.

Воян поручил Мавреню сказать собратьям, что, погостив на Руси, к ним приедет умирать.

Стая русских кораблей плыла по Дунаю ключами; громкие бубны и гулкие трубы вторили песни. Греки стояли на горе и смотрели на отъезд замиренных врагов своих.

Вот выплыли корабли Святослава в широкое море; тихо плескало оно перекатными волнами, крутило кудри, ласково осыпало ребра насадов крупным жемчугом, горделиво вздувалось.

И, утробу смиря,
Чем-то чванилося.

Сидит Святослав рядом с Райной, на чертоге мамонтовом, под навесом с золотой бахромой; говорит умильные речи.

А она, как заря,
Разрумянилася.

Не посмотрит печально на исчезающие берега родной Болгарии; склонила очи.

И от сладкого сна
Не пробудится.

Позабыла, что́ было, и не думает,

Не гадает она,
Что́ с ней сбудется!

Пробежали корабли Святославовы по Черному морю, вступили в Днепр. Здесь на родных водах вышли Руссы на остров в самом устье, под вековым навесистым дубом, обставив его стрелами, принесли они в жертву Перуну и богам-покровителям домашних птиц, поклонились в землю, облобызали ее, испили Днепра, потом, навязав на голубей алые ленты, пустили их на волю, и все молча смотрели, куда они полетят.

— Ты хочешь знать, Райна, для чего это мы делаем? — сказал Святослав. — Эти голуби вывезены из наших городов. Быстро полетят они к дому и принесут на родину радостную весть о нашем счастливом возврате.

Высоко вспорхнули освобожденные голуби; долго кружились по воздуху в какой-то нерешительности: куда лететь? вились, вились и вдруг дружно стали опускаться на мачты.

— Не к добру! — закричали воины. — Что́-то путь застлало! Не понесли доброй вести!

Невольно побледнела Райна; вздохнул Воян; Святослав посмотрел на Райну и задумался; невесело села дружина

на корабли. Поплыли вверх по Днепру. Тяжелы что́-то насады, дружная песня не ладится, не придает силы веслам.

Белобережье, русское место и за́мок при переправе через Днепр, по пути из Руси в Корсунь, разорены Печенегами. Прошли мимо; подъезжают к порогам, стражи приблизились к лесистому острову близ малого порога... Вдруг зашипели стрелы по воздуху, из лощин по берегам Днепра с криком и гамом нагрянули несметные силы Печенегов, заступили берега, сыплют стрелы.

— Возьмите окуп и идите прочь,— так велит им сказать Святослав.

— Возьмем и с головами вашими! — отвечают они.

Только за Райну трепещет Святослав. Велит отступать. Великокняжеский корабль, как и прочие насады, не крытый, чертог под золоченой кровлей и златоткаными завесами не ущитит от стрел. Воины оградили его своими щитами.

Святослав на корме, Воян уговаривает Райну не страшиться.

— Не за себя боюсь я! — отвечает она.

Под тучами стрел отчаливают ладьи. Печенеги следят берегом. Но кони их утомляются; насады быстро мчатся по течению Днепра.

В Белобережье решается Святослав выйти на берег и ждать помощи из Киева.

Но едва успели занять разоренный замок Белобережья, возвышавшийся на крутизне над Днепром, и завалить ворота, Печенеги обложили его со всех сторон.

— Здесь не страшны они нам,— говорит Святослав,— недалек отсюда Киев.

Отчаянных посылает он тайно пробраться мимо Печенегов и дать знать Ярополку, чтоб торопился со всей дружиной киевской к Белобережью.

Проходят дни, а помощи нет. Припасы выходят.

— Возьмите какой хотите окуп,— велит сказать Святослав Печенегам,— возьмите все сокровища мои и идите прочь.

— Ты наше сокровище! — отвечает Куря.— Отдавайся, возьмем тебя и пойдем.

Святослав в нетерпеливом ожидании помощи грозно произносит уже имя Ярополка, сына своего.

Проходит месяц; припасы на исходе; воины едят уже конину, изнемогают, но не ропщут: Святослав терпит одну с ними участь. Только гостей своих угощает он остатками хлеба и припасов.

Воян как будто не горюет; а Райна молчит и качает головою.

Вдруг является гонец из орды, облегающей город.

— Заключим мир, белый царь,— говорит он.

— Что́ требуете в окуп, все дам,— отвечает Святослав.

— Окуп невелик, пустой окуп, да на том стоим теперь. Золота не надо: за золото продали мы твою добычу.

— Добычу всю отдам.

— Спасибо за всю, а ты добыл в царстве болгарском красную девицу. За ней приехала погоня, наняла нас за дорогую цену выручить ее. Так ты и отдай ее нам и ступай себе с богом.

— Гоните его! — вскричал Святослав.

— Гоните, пожалуй,— говорил Печенег, уходя,— да я чем виноват, я не свое говорю. Ты, белый царь, увез любовницу у болгарского воеводы Самуила; а он с войском пришел выручать ее; да и нас нанял. Вольно тебе было прогонять нас, как шел в Болгарию: пригодились бы.

— Сын Ярополк! — грозно проговорил Святослав.— Чтоб ты погиб, как гибнет отец твой!

— Слышишь, Воян,— тихо сказала Райна,— Самуил и здесь меня преследует!

— Не страшны тебе здесь его преследования,— отвечал Воян.

— Если я погибну, никто ничего не потеряет; а если погибнет Святослав, погибнут братья мои и Болгария... Правда, Воян?

— О, сохрани его бог! — отвечал Воян.— Без его заступления или комитопулы, или Греки положат конец Болгарии!

— Я готова идти в окуп, другого нет спасения! — проговорила тихо Райна.

— Полно, Райна, печалиться! — сказал Воян.

Райна не отвечала ни слова.

Настала ночь осенняя, ясная ночь; серебряный лик луны, отражаясь в Днепре, дробился на волнах. Вокруг

стен раскинут город юрт, повсюду разложены огни, меткие стрелки печенежские дозирают под самыми стенами; только что чья голова покажется на ограде за́мка, тетива запоет, стрела зажужжит черным жуком, а Печенег кричит: «Бар!» — есть!

Около полуночи на кровле белой теремной башни, возвышавшейся над самым Днепром, показался кто-то облеченный тенью набежавшего облачка.

«Бар!» — крикнул Печенег. Облачко пронеслось, луна осветила башню: на вершине ее как будто легкий призрак под белым покрывалом склонился на перилы.

— Эге, Кардаш! — вскрикнул Печенег.— Да это белая голова!

— Да, белая, белая! Смотри, это девица под фатой сидит, пригорюнилась.

— Эй, смотрите, девица или дух какой-нибудь!

— Пугнем!

— Нет, постой, сказать ноину[1], убьем без спросу, так еще беда будет.

— Сказать так сказать!

— А как уйдет!

— Не уйдет! — сказал Печенег, стоявший дозором против башни.

— А ты что́ за порука?

— А мне что́, я сказал так, да и только.

Собрались толпы Печенегов, смотрят на диво; идут толки, шум, рассуждают, будить ли своего ноина.

— Вот тебе раз! будить для таких пустяков! что́ он, не видывал, что́ ли, девичьей головы?

— И то дело!

Столпившиеся Печенеги встревожили стражу русскую; она подала весть. Дружина изготовилась к защите стен, ожидала приступа.

Вот уже рассвело, настал день. Печенеги продолжают дивиться на вершину башни; неподвижно сидит дева, приклонясь к перилам; ветер играет ее длинным белым покрывалом.

А между тем в за́мке хватились Райны.

— Князь Святослав,— говорит Воян в отчаянии,— вчера не понял я слов ее! Она решилась пожертвовать собою, она,

---

[1] Нойону; здесь: ордынскому воеводе.— *А. Б.*

верно, нашла выход из города в стан печенежский и сама предалась в руки врага своего.

— Кони! Со мною! — вскричал Святослав, и со всеми остальными всадниками своими он ринулся из ворот в стан печенежский. Как громовая стрела летит посереди врагов, все крушит и ломит, пробивает к юртам Куря, но он уже один посереди тысяч, стряхивает с себя стрелы, отбрасывает сабельные удары вместе с руками. Но вдруг остановился он, как мета стрелам, ножам и саблям, смотрит на вершину башни, забыл о врагах и пал под ударами их.

Не стало Святослава*. Бросился было Свенальд с пешей дружиной на помощь ему; но в орде раздавались уже исступленные клики победы. Свенальд отступил в за́мок. Дружина высыпала на ограды, а Воян на вершине башни стоял уже на коленях перед Райной. Райна сидит на скамье, склонив голову на перила, покоится тихим сном. Ветер играет покрывалом, обвевает ее. Но сон ее вечен. Вонзившаяся стрела облита кровью ее сердца. И Воян уснул подле Райны, склонив голову на ее колена.

Свенальд дождался помощи из Киева и возвратился в Русь*; Белобережье заняли Печенеги и назвали *Кизикерменом*, или Крепостью Девы.

Исполнил ли Цимисхий договор с русским князем? Нет. Возвратившись в Царьград, он торжествовал победу над Руссами. Потом призвал к себе Бориса и с высоты величия своего объявил пленнику, что он подает ему в милостыню — царство Болгарское; но на условии быть покорным велениям его.

Гордо и презрительно усмехнулся Борис.

— Мое наследие возвращает мне князь русский,— отвечал он,— и ты для меня не более как исполнитель условий, заключенных с ним.

Разгневанный Цимисхий не продолжал разговора. Надеясь еще смирить гордость Бориса, он медлил воздать ему честь как королю Болгарии. Но, боясь новой войны с Святославом, он наконец решился смирить собственную гордыню.

Царедворцы явились к Борису с багряницей, золотым королевским венцом и прочей одеждой.

— Царь милостив,— сказали они,— испытал твое достоинство, возвращает твои королевские знамения и просит на свидание.

В это-то время возвратился в Царьград Самуил-комитопул и объявил о смерти Святослава.

Злобная радость заиграла в очах Цимисхия.

— Ведите же короля болгарского с честью на великую площадь, к храму Святой Софии,— сказал он,— там встречу я его и совершу торжество.

И совершилось неслыханное дотоле торжество. С почестями встретил Цимисхий Бориса, как короля болгарского в храме Святой Софии; а патриарх по вновь установленному обряду развенчал его. Сняли с Бориса златой венец, багряницу, *червленые сапоги,* приняли державу и все знамения царства болгарского принесли в дар богу*.

Самуил-комитопул с братьями назначены правителями областей Болгарии. Прошло пять лет; Цимисхий умерщвлен; Самуил отложился от Греции. Брат его Давид умер, Моисей погиб при осаде города Серры, брата Аарона велел сам убить и — облекся в королевские одежды.

Но это была последняя вспышка самобытного существования Болгарии посереди крамол и кровопролитных войн с Грециею.

С 1019 года Болгарией правили уже наместники василевсов греческих.



Александр Вельтман — писатель-историк

Романы Александра Вельтмана необычны по форме. Она ставит в тупик критиков, тщетно пытающихся охарактеризовать «Кощея» и «Светославича» с помощью понятий «условной историчности», «гротескной феерии», «пародийного рассказа» и тому подобных терминов «традиционной» литературы. Но форма никогда не была для писателя самоцелью. Необычность ее связана с чрезвычайно своеобразным содержанием прозы Вельтмана. На читателя романов обрушивается поток разнообразнейших исторических и фольклорных сведений, ассоциаций и аналогий, отступлений и намеков, образующих тонкую вязь повествования.

Мы невольно задаемся вопросом, чем же руководствовался автор, испестряя романы странно звучащими выражениями, рассыпая на страницах малоизвестные слова и имена. Нет ли тут желания блеснуть своей эрудицией? Не шутит ли автор над нами, бросая вызов «общественному вкусу»? Всегда чувствующаяся в произведениях Вельтмана усмешка автора, присущая ему ироничность — не говорят ли о пародийности его сочинений? И если так — над кем и над чем смеется Вельтман?

Решение этих проблем затрудняется тем установившимся взглядом на Вельтмана — историка и исторического романиста, который еще никто не пытался пересмотреть или хотя бы усомниться в его правомерности. Наиболее полно этот взгляд выражен, пожалуй, в статье-некрологе М. П. Погодина, напечатанной в журнале «Русская старина» за октябрь 1871 г. Известный историк писал: «С живым, пылким, часто необузданным воображением, которое не знало никаких преград, и с рав-

ной легкостью уносилось в облака, даже и за облака, или опускалось в глубь земли, переплывало моря и прыгало через горы, Вельтман страстно был предан историческим разысканиям, в самом темном периоде истории. Там романическое воображение его гуляло на просторе, с полным удовольствием...»

Гипотезы Вельтмана казались тем фантастичнее, что они основывались как на исторических источниках, так и на фактах мифологии, языка, традиционной поэзии многих народов Евразии, не всегда знакомых специалисту-историку, а тем более представителям литературной критики. Неизвестное легко принять за выдумку, оригинальную связь фактов — за игру воображения. Эрудиция Вельтмана действительно была богатой и разнообразной. Но важнее другое — что она основывалась на самостоятельном и глубоком исследовании древней истории, мифологии и сложнейших проблем этногенеза индоевропейских народов. И эти исследования Вельтмана-ученого находились в тесной связи с работой Вельтмана-писателя.

Здесь, «на стыке» истории и литературы, рождались открытия, представляющие интерес и для наших современников, во многом более подготовленных к их восприятию, чем читающая публика второй четверти XIX в. Рассмотрев внимательнее историческую, научную основу публикуемых памятников русской литературы, мы сможем убедиться и в глубине содержания произведений Вельтмана, и в истинном уважении, с которым относился он к своему вдумчивому читателю.

«Кощей бессмертный» — первый из публикуемых романов Вельтмана — недаром был назван автором «Былиной старого времени». Писатель впервые в новой русской литературе употребил это понятие, правильно истолковав выражение автора «Слова о полку Игореве»: «по *былинам* сего времени». «Былина — событие»,— писал Вельтман в комментарии к своему сочинению, это то, что действительно было, но было в народном сознании, народном восприятии русской истории.

Уже само обращение к истокам народного миросозерцания, к русскому фольклору, требовало от литератора немалой смелости. Довольно вспомнить, что не кто иной, как Г. Р. Державин, в 1815 г. охарактеризовал издание «древних стихотворений» в «Сборнике Кирши Данилова» как «нелепицу, варварство и грубое неуважение» к господствовавшей дворянской культуре. О былинах столь же безапелляционно высказывался известный в то время фольклорист князь Н. А. Цертелев: «...грубый вкус и невежество — характеристика сих повестей». Не только сама народная поэзия, но и сочинения, написанные по ее мотивам, вызывали протест официозной критики. Даже специалист по народной поэзии А. Г. Глаголев язвительно писал по поводу пушкинского «Руслана и Людмилы»: «Кто спорит, что отечественное хвалить похвально; но можно ли

согласиться, что все выдуманное Киршами Даниловыми хорошо и может быть достойно подражания?»

Беспощадная ирония Вельтмана явилась ответом на это барское высокомерие критики и части читающей публики. Но иронизировал Вельтман не над читателем, не над критиком, а над охранительно-дворянским взглядом на русскую историю в целом, начиная с источников официозных исторических сочинений и кончая выводами историографов, подобными заявлению Н. М. Карамзина, что «история народа принадлежит царю». Приглядимся внимательнее к тексту романа.

В самом начале «Былины» Вельтман рисует яркий образ двадцатилетнего барича с арапником, скачущего на шее крестьянского парня к одному ему ведомым «подвигам», мимо кланяющихся в землю крестьян. Усмехнувшись мимоходом над «исступленной модой писать романы», автор обещает показать потомству «время и подвиги, которые (на Руси.— *А. Б.*) отличают героев и гениев от людей обыкновенных». Это «подвиги храбрых витязей и могучих богатырей», но... в том их виде, в котором представление о подвигах было вложено в душу юному баричу лукавым рабом-тиуном, приучившим его верховой езде на крестьянах. Это те идеалы, которые находят в российской истории поколения крепостников-помещиков.

Что же это за подвиги, о которых рассказывает Вельтман, словно русский Лоренс Стерн повествуя об истории боярского рода Пута-Заревых? Родословную их (столь чтимый во времена Вельтмана документ) открывает Олег Пута, получивший свободу своей веселостью в плену, удивившей свободолюбивого новгородца, и вышедший в бояре с помощью волшебного зелья. Муж его дочери, Ивор Зарев, использует тот же емшан, но зажатый в сокрушительном кулаке, и становится воеводой новгородским. Он, между прочим, горит желанием совершить богатырские подвиги, но... «Иногда только встречал он на пути своем черные избушки на курьих ножках, но в них жила не Баба-Яга, а *отчинные* люди (крепостные.— *А. Б.*) Князей и Бояр».

Сын его, Ива Иворович, «почти от самой колыбели невозлюбил противоречий», а также... «любил кататься». И пропасть бы ему среди феодальных усобиц и смут, если бы не выявленное историками «внушение судьбы, заботящейся о продолжении рода Пута-Заревых». Выразилось оно в том, что дочь боярина Ростислава Глебовича Любы возлюбила (вместе с родителями) своего «дворового дурня, *рябую зегзицу*, безобразного Иву» и т. д., узнав что за ним князь дает «в отчину село Княжеское и златых гривен десять».

Обратим внимание, что до сих пор повествование по основной линии — о судьбе Пута-Заревых, перебиваемое многочисленными отступлениями, идет строго по «историческим» материалам: «летописям простым

и харатейным» (пергаменным), «древним сказаниям и ржавым Ядрам Истории» — и в соответствии традиционным родословным (которые, по справедливому замечанию Вельтмана, можно было вывести и от Александра Македонского).

Вслед за Вельтманом мы не упускаем случая насладиться высочайшей «достоверностью» этих источников официальной дворянской историографии — то есть истории государей и прочих «великих людей»:

«В лето 6728-е, говорит неизвестный летописец, Ива Иворович иде Славенскою землею во Иерусалим и негде у *торга Чернавца* пленен бысть гайдамаками Угорскими и обьщствован и вмале не убиен, и убежа, и вбежа в торг Роман, идеже, жалости ради, взят бысть Урменским купцом, и везен в Дичин (вер. Диногетия, Галац) и далее...

А далее в летописи ничего нет».

На Руси происходят важнейшие события, уже стала она добычей татар, и лишь «смелый Даниил Галицкий» продолжает борьбу с захватчиками, а русский боярин Савва Ивич ест пироги и «труждается, ловы дея» со сворой отборных псов. Не беда, что родился он без участия Ивы Пута-Зарева, ибо бережет судьба этот славный род:

«Хочет любви — его любят, хочет жены — завидная невеста готова; желает иметь дитя... И во всем, во всем он предупрежден и судьбой, и добрыми людьми.

Так был сохраняем судьбою Ива, так будет сохранен и сын его, и внук его, и правнук, и праправнук, и прапраправнук его».

И в самом деле, что тут чудесного? Правит же царством во времена Вельтмана император Николай Первый из династии Голштейн-Готторпской, в котором нет ни капли крови Романовых...

Вторая часть «Былины» вновь начинается с «побед» над крестьянами Ивы Олельковича — «богатыря» им ненужного и в жизни лишнего.

«*Этот-то* Ива Олелькович и *есть тот* барич, о котором мы ведем речь; *он-то тот* Русский витязь и сильный могучий богатырь, которого подвиги до сего времени гибли в безвестности»,— завершает Вельтман свое убийственно-ироническое «родословие» русского боярина. Далее следует «житие и подвизи» барича, который сначала гвоздит направо и налево кулаком, калечит встречного и поперечного, а затем, в то время, когда «вся Русь становилась под знамена Великого князя Димитрия Московского», совершает свои бессмысленные «богатырские подвиги».

«Былина» Вельтмана о русской жизни показала далекую от идеализации «бессмертную» фигуру барина. Автор при этом не мог не смеяться над источниками, использующимися исключительно для «барской» истории. Он стремился воссоздать реальную духовную жизнь, насколько это было в его силах. Он увидел, между прочим, и связь летописания с фольклором. В произведении упоминается весьма редкий случай включе-

ния в летописные сочинения (Новгородскую IV летопись, Троицкий сборник, Хронограф поздней редакции) сообщения о былинных богатырях — Александре Поповиче, слуге его Торопце и 70 других витязах, погибших в битве с монголами на Калке. Ирония Вельтмана не означала и пренебрежения летописными источниками — достаточно посмотреть, сколь часто он привлекает их для выяснения интересующих его исторических реалий.

На исторических источниках основаны сообщения об осаде Новгорода русскими князьями в 1170 г. и переговорах новгородцев с великим князем Всеволодом Георгиевичем в 1207 г., о Марфе Борецкой и Мстиславе Удатном, князе Данииле Галицком и хане Мэнгэ, о битве на Калке и походе татарских и русских войск «в горы черкесские», великом литовском князе Гедимине и великом московском князе Дмитрии Донском, хане Мамае с его союзниками князьями Ягайлом литовским и Олегом рязанским, наконец, о знаменитой битве у слияния Дона и Непрядвы — Мамаевом побоище. Даже выдуманные Вельтманом герои, действующие в окружении реальных исторических лиц, вполне соответствуют не только романтическому замыслу писателя, но и характеру эпохи.

Реальность, былинность повествования усиливается многочисленными цитатами из исторических источников: «Повести временных лет», Новгородских, Никоновской и других летописей, Хронографа, «Слова о полку Игореве» и т. п. Мы находим в тексте и удачную стилизацию этих источников, а также разрядных записей XVI—XVII вв., «Домостроя», написанного советником Ивана Грозного Сильвестром в XVI столетии, княжеских докончальных грамот и т. д.— все служит материалом для введения читателя в исторический мир, в реальную жизнь и быт вымышленных героев.

Особенно богато использованы в романе русские былины, сказки, песни древних славян, которые Вельтман не только хорошо знал, но и тщательно собирал. Плодом серьезных, хотя и незавершенных, изысканий автора были его представления о славянской мифологии. В ткань романа вплетены представления о древних богах и богинях, волхвах и русалках, основанные на исследованиях автора и его единомышленников, стоявших у истоков научного славяноведения.

Пытаясь в своей «Былине» воссоздать реалии русского народного сознания, Вельтман наполняет произведение деталями исторического быта, древними выражениями, названиями вещей, именами, понятиями. Достаточно прочесть его примечания, чтобы убедиться, сколь серьезный собирательский труд совершил автор, стремясь найти и понять органично включенные в текст слова и выражения. При этом примечания отражают далеко не всю работу автора, скрытую под легкостью течения его расска-

за. Например, старик с предгорьев Кавказа, плывущий с Лавром Саввичем Пута-Заревым и внучкой своей Стано к Азовскому морю, вспоминает о своих предках «рода гуннского», живших «на берегах Дуная, прославленных царем Аттилою».

Позже А. Ф. Вельтманом было написано несколько научных работ с целью решить вопросы этногенеза причерноморских и приазовских племен периода Великого переселения народов. Многие его выводы не выдержали проверку временем. Но безотносительно к этим выводам, непринужденный рассказ старика отражает солидное знание автором латинских, готских, византийских и других источников, а в старике угадывается фигура алана — предка современных осетин — воинственное племя которого было разгромлено в IV в. гуннами и частично увлечено ими в Паннонию (аланы пошли и далее — до Галлии и Северной Африки). Впоследствии, уже в середине VI в., ряд придунайских племен действительно участвовал в войне византийского полководца Велизария с последним вестготским королем Тотилой, в то время как основная часть алан крепко осела на Северном Кавказе.

Дальнейшее путешествие героев от устья Дона до Днестра — целая энциклопедия исторической географии Северного Причерноморья, изложенная в нескольких десятках строк! В примечании автор мимоходом делает замечательное для того времени предположение о происхождении названий рек Днестра и Днепра. Даже редкое имя одного из Пута-Заревых — Ивор — избрано не случайно: это наиболее популярное на Руси описываемого в произведении периода скандинавское имя, чаще других упоминаемое в летописях.

Именно обширные исторические познания Александра Вельтмана позволили ему ввести читателя в ту «сокровищницу величайших богатств народной поэзии, которая,— по словам В. Г. Белинского,— должна быть коротко знакома всякому русскому, если поэзия не чужда души его и если все родственное русскому духу сильнее заставляет биться его сердце».

В еще большей степени исследования Вельтмана определили содержание второго публикуемого в этой книге романа. Само драматическое противоречие, лежащее в основе «Светославича, вражьего питомца», до создания Вельтманом своего труда не было осознано даже многими крупными историографами, представлявшими любителям отечественной истории могучую фигуру Владимира Святославича — победоносного воителя, любимца свободолюбивых новгородцев, великого князя киевского, защитника и просветителя земли Русской.

«Чем могу воздать тебе за все, что воздал нам, грешным? — писал, обращаясь к Владимиру, великий Нестор-летописец.— Не знаем, какое воздаяние дать тебе за труды твои. Ибо велйк ты и чудны дела твои;

нет предела величию твоему. Род за родом восхвалят дела твои!»[1] И русский народ воздал Владимиру светлой памятью, объединив воспоминание о нем с воспоминанием о Владимире Мономахе в образе Владимира Красное Солнышко — героя былин и затейливых сказок.

А. Ф. Вельтман мог даже считать, что все сказанное в народном эпосе относится к Владимиру Святославичу, как думал и выдающийся историк Н. М. Карамзин[2]. Тем явственнее видел Вельтман уродливые черты реального князя, с которого начиналась и длинная цепь кровавых преступлений древнерусских князей.

Два образа Владимира реализованы Вельтманом в двух героях — человеке и кикиморе (младенце, проклятом отцом, Святославом, в утробе матери и выкормленном, воспитанном нечистой силой назло людям). Соответственно в «Светославиче» читатель видит два пласта повествования: реальные исторические события конца X в. совмещены с фантастическим миром поверий, сказок, языческих мифов, отделяющих в сознании народа идеальный образ князя от несовместных с ним злодеяний, должное — от «неправды» врагов рода человеческого.

Другой конфликт скрыт от взгляда читателя. Вельтман демонстративно не заботится о правдоподобности, *видимой* достоверности повествования, лишая нас ставшей важной уже в его время черты исторической романистики. Думаю, читателя удивит сообщение, что большая часть реалий «Светославича» имеет под собой твердую основу исторических источников. При этом речь идет и об исторических событиях, и о «сказочной», мифологической части рассказа. Обратимся сначала к первым.

Вот спит Святослав на жесткой постели[3] в своей ложнице, и «прошедшее и будущее сливаются в его сновидении: видит он Хазар, распространяющих свою власть от Русского моря до Оки...» и т. д.— читаем мы точные сведения об истории Хазарского каганата[4]. Рассказ о походе Святослава почти дословно соответствует тексту «Повести временных лет»: «И пошел на Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал им: «Кому дань даете?» Они же ответили: «Хазарам — по шелягу с рала даем». В год 6473 (965) пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар и город их Белую Вежу взял. И победил ясов и косогов».

---

[1] Здесь и далее летописные тексты цитируются по изданию: Повесть временных лет. М., 1950, ч. 1—2.

[2] См.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Спб., 1816, т. 1, с. 231—232.

[3] «Спал, подостлав потник, с седлом в головах» (Повесть временных лет, ч. 1, с. 244).

[4] Подробнее см.: Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962.

Белая Вежа — по Константину Багрянородному Саркел — действительно была окружена кирпичной стеной (вежей), которую надо было «раскидывать по камню», как сообщает продолжатель хроники Феофана[1]. Наконец, рассказ о походе из русской летописи дополнен в романе сообщением арабского средневекового ученого и путешественника Ибн-Хаукаля ан-Нисиби, на которого Вельтман ссылался в своих работах.

Рассматривая далее «сон» Святослава, мы увидим, что живущие в низовьях Дона бошняки — это печенеги, их соседи аланды — аланы Северного Кавказа и т. п. Не только оружие, развешанное на стенах княжеской опочивальни, но и «80 золотых ключей Болгарских» не выдуманы. «И одолел Святослав болгар, и взял городов их 80 по Дунаю»,— говорит летописец, а Прокопий Кесарийский (византийский историк VI в.) утверждает, что в этой местности стояло 80 крепостей. Дальнейшие походы и гибель Святослава подробно описаны в «Райне, королевне Болгарской». Нетрудно убедиться, что весь «сон» основан на исторических источниках.

О жене (правильнее говорить, наверное,— женах) Святослава, матери Ярополка и Олега, ничего не известно, но имя «княгини Инегильды» все же взято не «с потолка» — Ингигерда, дочь шведского короля Олафа, по сообщению Адама Бременского, была женой великого князя киевского Ярослава Мудрого[2]. Сведения же о Миляне (Малуше), матери Владимира, опираются на подробно переданный Вельтманом рассказ летописи о вокняжении Владимира в Новгороде. То, что само призвание Владимира в Новгород было вызвано «начавшимися раздорами с Полоцким конунгом Рогволдом», домыслено автором исходя из дальнейших событий. Полоцкий князь назван «конунгом» по указанию летописи, что «этот Рогволд пришел из-за моря».

По летописи описывает Вельтман центральное историческое событие романа: войну за власть между тремя Святославичами: Ярополком, Олегом и Владимиром. Давайте посмотрим, как преломляются в романе сухие строки источника. Ярополк, говорит автор, «был слаб душою, добр, послушен каждому». Этот вывод, очевидно, вытекает из рассказа «Повести временных лет» о влиянии, которое оказывали на князя разные советники. Первым из них был старый воевода Святослава Свенельд.

В романе Свенельд отговаривает Ярополка жениться на гречанке, желая выдать за него свою дочь Ауду, а гречанку отдать сыну своему

---

[1] См.: Бартольд В. История изучения Востока в Европе и России. Л., 1925, с. 167.

[2] См.: Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968, с. 419, 428.

Лизутеру; но Ауда умерла, а Свенельдич был убит на охоте князем Олегом... И дочь Свенельда, и его матримониальные планы были необходимы автору, чтобы сохранить, вопреки истине и в пользу морали, чистоту гречанки Марии — идеальной героини романа; в источниках о них не говорится.

Автор домысливает рассказ летописи, сохраняя все же основную мысль Нестора: «В год 6483 (975). Однажды Свенельдич, именем Лют, вышел из Киева на охоту и гнал зверя в лесу. И увидел его князь Олег, и спросил своих: «Кто это?» И ответили ему: «Свенельдич». И, напав, убил его Олег, так как и сам охотился там же. И поднялась оттого ненависть между Ярополком и Олегом. И постоянно подговаривал Свенельд Ярополка, стремясь отомстить за сына своего: «Пойди на своего брата и захвати волость его». Оттого началась война, в которой Олег погиб; найдя его труп, «Ярополк плакал над ним и сказал Свенельду: «Смотри, этого ты и хотел!»

«Когда Владимир в Новгороде услышал, что Ярополк убил Олега,— продолжает лотописец,— то испугался и бежал за море. А Ярополк посадил своих посадников в Новгороде и владел один Русскою землею». За сим в «Повести временных лет» следует двухлетний перерыв и об обстоятельствах заморского путешествия Владимира ничего не говорится; в романе же они составляют немало интересных страниц! И, как выясняется, не вполне фантастических.

Владимир отплыл за море к Олафу, сыну Трюггве (Трюггвасону, по Вельтману — Тригвазону), о котором известно по скандинавским сагам, приведенным в «Круге земном» Снорри Стурлусона[1]. Там рассказано, что, спасаясь от преследователей, мать с малолетним Олафом, потомком Харальда Прекрасноволосого, после многих приключений попала из Швеции в Гардарику (Русь), в Хольмгард (Новгород), где у конунга Вальдамара (Владимира) служил дядя Олафа Сигурд.

Между прочим, Сигурд и сам Олаф принимали участие в сборе дани Новгороду в Эстланде (Эстонии) и покорении князю «диких» окрестных племен, которые можно соотнести и с той «чудью», на которую ушла новгородская рать во главе с Добрыней. В дальнейшем Олаф отправляется в Англию, а в 995 г., то есть через семнадцать лет после описываемых Вельтманом событий, возвращается в Норвегию и становится королем вместо убитого рабом ярла Харальда Серая Шкура.

Означает ли это, что Владимир плыл в Англию? Возможно, что Вельтман не проводил хронологических вычислений и был уверен, что в 977 г. Олаф уже был королем. Но это предположение маловероятно: в романе шведским королем в Упсале является Эрик Сегерсел (приду-

[1] См.: Стурлусон С. Круг земной. М., 1980, с. 100—101 и др.

манный Стурлусоном персонаж, так же как и его племянник Стирбиерн[1]). Зато «дочь Эрика», Мальфрида,— реальное историческое лицо. Под 1000 г. в «Повести временных лет» сказано о женах Владимира: «Преставилась Малфрида. В то же лето преставилась и Рогнеда, мать Ярослава»; исследователи предполагают варяжское происхождение летописной Малфриды[2].

По пути к Олафу Владимир захвачен шведами; но на помощь ему приходят купец Рафн, Оккэ и «владетель Фэрея могучий Зигмунд Брестерзон», о котором сага упоминает, что он служил у короля Олафа Трюггвасона и ездил «для добычи» в Хольмгард[3]. В романе Зигмунд отправляется в Новгород с Владимиром, берет штурмом Полоцк, бесчинствует в городе и принимает на себя, таким образом, вину, которую «Повесть временных лет» возлагает на Добрыню (былинного Добрыню Никитича) и самого Владимира.

Этот сюжетный ход позволяет автору показать Владимира благодетелем, спасающим и Полоцк, и затем Киев от разграбления варягами. Но в описании действий варяжской дружины Владимира Вельтман лишь немного отступает от рассказа летописи. По Вельтману, варягов обманывает не Владимир, а его «нечистый» двойник, причем еще до убийства Ярополка.

Более бросаются в глаза неточности в описании владений Брестерзона: Фаррэрские острова у берегов Исландии («древнего Туле») не только заросли лесами, но и застроены «гордыми замками»! В действительности Зигмунд должен был принимать гостя не в «великолепной зале Норманнской архитектуры», а на своем хуторе, в полуподземном, обложенном дерном доме.

После «замка Брестерзона» легко усомниться в особенно красочном описании упсальского храма и празднования «юбилея в честь Инге-Фрея». Здесь, однако, Вельтман следовал за своими источниками, творчески их

---

[1] Говоря, что Зигмунд Брестерзон в молодости, т. е. до описываемых событий, служил у *короля* Олафа (Стурлусон С. Круг земной, с. 62), Вельтман убеждает нас в невозможности участия этого героя в войне с Рогволдом и Ярополком. Норвежский принц (ярл) Эрик, воевавший якобы с Олафом и Владимиром, со ссылкой на Стурлусона упоминается Карамзиным (Карамзин Н. М. История государства Российского, т. 1, с. 228, 473), на которого, видимо, опирался Вельтман.

[2] См.: Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси, с. 26; ср.: Карамзин Н. М. История государства Российского, т. 1, с. 227.

[3] См.: Вельтман А. Ф. О господине Новгороде Великом. М., 1833, с. 29—30.

перерабатывая. В «Саге об Инглингах» сказано, что в доисторической Швеции «Фрейр стал правителем после Ньерда. Его называли владыкой шведов, и он брал с них дань... Фрейр воздвиг в Упсале большое капище, и там была его столица. ...Фрейра звали также Ингви. Имя Ингви долго считалось почетным званием, и его родичи стали потом называться Инглингами»[1]. «Капище» около 1070 г. описал Адам Бременский[2]:

«В этом храме, который весь разукрашен золотом, народ поклоняется статуям трех богов. Самый могущественный из них, Тор, сидит на своем престоле посредине храма. Водан и Фрикко (Один и Фрейр.—*А. Б.*) сидят по ту и другую сторону от него. Отличительные черты каждого из них: Тор, как говорят, владычествует в воздухе и правит громом и молнией, ветром и дождем, хорошей погодой и урожаем. Другой, Водан, что значит «ярость», правит войнами и вселяет в людей храбрость перед лицом врагов. Третий, Фрикко, дарует смертным мир и сладострастие. Его идол снабжен поэтому громадным детородным членом...

Около Храма есть огромное дерево, широко простирающее свои ветви. Оно вечнозеленое, зимой и летом. Никто не знает, что это за дерево. Там есть также родник, где язычники имеют обыкновение совершать жертвоприношение, топя живого человека. Если он не выплывает, то считается, что желание народа сбудется.

Золотая цепь окружает храм, вися на крыше здания, так что идущие к храму издали видят ее блеск. Само же капище стоит на ровном месте, окруженное холмами наподобие театра».

Интересен в романе образ «русского купца» с датским именем Рафн (Rafn), торгующего с Брестерзоном, помогающего Владимиру и, наконец, выкупающего из плена императора «Священной Римской империи Германской нации» Оттона II. Рафн символизирует не только размах заморской торговли новгородцев, но и реальные связи, существовавшие у Руси с Германией: большое посольство великого князя Ярополка к Оттону II, например, отмечено в источниках в 973 г.; оно привезло «богатые дары»[3]

Образ влюбленного в Мальфриду Оккэ менее типичен и является, скорее, данью традициям романтической литературы. Анахронизмом выглядят и «песни Торвальда Гиалдзона (отсутствующего в списках скандинавских скальдов) о любви храбрых рыцарей»: любовная, и тем более куртуазная поэзия была несвойственна скальдам. Стихи о любовных приключениях (весьма своеобразных на берегах Балтики) могли встретиться

[1] Стурлусон С. Круг земной, с. 635.

[2] Magistri Adam Bremensis gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum. Hannover, 1917. S. 257—260.

[3] См.: Карамзин Н. М. История государства Российского, т. 1, с. 200; Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси, с. 121.

Вельтману в скандинавской балладе, возникшей в XII XIII в., прежде всего в Дании, как «народная песня» — в отличие от куртуазной поэзии миннезингеров и т. п.[1].

Итак, пережив немало приключений, Владимир возвращается «из-за моря» на Русь, на корабле Брестерзона под названием «Ормур» (от исландского Ormur — змей; по-древнеисландски слово писалось Ormr) Описание корабля мы находим в той же саге об Олафе, сыне Трюггве: «Впереди у него была драконья голова, за ней изгиб, который кончался как хвост, а обе стороны драконьей шеи и весь штевень были позолочены. Конунг назвал этот корабль Змей, так как, когда на нем были подняты паруса, он походил на крылатого дракона»[2] Как видим, Вельтман очень близко придерживается исторического источника.

Изгнав Ярополковых посадников из Новгорода, Владимир вступает в войну с полоцким князем Рогволдом. Согласно летописи война началась после неудачного сватовства Владимира к Рогнеде, ответившей князю: «Не хочу розути робичича, но Ярополка хочю»[3]. В древнейшем рассказе, содержащемся в Лаврентьевской летописи, это произошло до конфликта с Ярополком, когда Владимир был еще отроком. По Ипатьевской же летописи, разгром Полоцка отнесен к 980 г. и непосредственно предшествует убийству Ярополка. Вельтман использует обе версии: сватовство Владимира происходит до его бегства «за море», война с Полоцком ведется уже наемными варяжскими дружинами.

Вельтман выступает как историк: он осмысливает текст «Повести временных лет» и заменяет живописные сцены личного столкновения Владимира и Рогнеды описанием политического противоборства Новгорода и Полоцка. Одновременно он достигает и другой цели, исключив из повествования зверства Владимира по отношению к княжне и ее родным, «очистив» эту страницу биографии великого князя.

Для того чтобы понять кульминацию романа, когда развивавшиеся до сих пор параллельно линии Владимира и Светославича пересекаются, княжеская власть и нечистая сила соединяются в одно, необходимо увидеть, как описывает войну Владимира с Ярополком наш единственный источник о событиях тех лет.

«И пришел Владимир в Киев с большим войском,— говорит «Повесть временных лет»,— а Ярополк не смог выйти ему навстречу и затворился в Киеве со своими людьми и с Блудом. И стоял Владимир, окопавшися,

---

[1] См.: Скандинавская баллада. Л., 1978; ср.: Поэзия скальдов. Л., 1979.

[2] Стурлусон С. Круг земной, с. 147, 152.

[3] Отказываясь выйти за Владимира, Рогнеда употребляет образное выражение: разувание мужа было частью свадебного обряда; *робичичем* князь назван потому, что его мать была ключницей княгини Ольги.

на Дорогожиче — между Дорогожичем и Капичем, и существует ров тот и поныне. Владимир же послал к Блуду — воеводе Ярополка — с лживыми словами: «Будь мне другом! Если убью брата моего, то буду почитать тебя как отца и честь большую получишь от меня; не я ведь начал убивать братьев, но он. Я же, убоявшись этого, выступил против него». И сказал Блуд послам Владимировым: «Буду с тобой в любви и в дружбе»...

Так вот и Блуд предал князя своего, приняв от него многую честь; потому и виновен он в крови той. Засел Блуд в осаду вместе с Ярополком, а сам, обманывая его, часто посылал к Владимиру с призывами итти приступом на город, замышляя в это время убить Ярополка, так как, опасаясь горожан, просто его убить он не мог. Сам же Блуд не мог никак погубить его и придумал хитрость, подговаривая Ярополка не выходить из города на битву. Сказал Блуд Ярополку: «Киевляне посылают к Владимиру, говоря ему: «Приступай к городу, предадим-де тебе Ярополка. Беги же из города». И послушался его Ярополк, выбежал из Киева и затворился в городе Родне в устье реки Роси, а Владимир вошел в Киев и осадил Ярополка в Родне.

И был в Родне жестокий голод, так что ходит поговорка и до наших дней: «Беда как в Родне». И сказал Блуд Ярополку: «Видишь, сколько воинов у брата твоего. Нам их не победить. Заключай мир с братом своим». Так говорил он, обманывая его. И сказал Ярополк: «Пусть так!» И послал Блуд к Владимиру со словами: «Сбылась-де мысль твоя, приведу-де к тебе Ярополка: приготовься убить его». Владимир же, услышав это, вошел в отчий двор теремной... и сел там с воинами и с дружиной своею. И говорил Блуд Ярополку: «Пойди к брату своему и скажи ему: «Что ты мне ни дашь, то я и приму».

Ярополк пошел, а Варяжко говорит ему: «Не ходи, князь, убьют тебя; беги к печенегам и приведешь воинов». И не послушал его Ярополк. И пришел ко Владимиру; когда же входил в двери, два варяга подняли его мечами под пазуху. Блуд же затворил двери и не дал войти за ним своим. И так убит был Ярополк. Варяжко же, увидев, что Ярополк убит, бежал со двора к печенегам и часто воевал с ними впоследствии против Владимира».

Воевода Блуд превращен Вельтманом в киевского первосвященника Блотада и Гуде[1] Грима. Владимир подменен «вражьим питомцем» Светославичем. Но даже кикимору, лишенную нечистой силой дара сочувствия людям, не обвиняет Вельтман в замышлении Ярополкова убийства — эту мысль нашептывает Светославичу Грим и поддерживают в нем случайные обстоятельства, неосторожные слова Рогнеды. Все исполь-

[1] Т. е. Blotgude und Gudge — священник, жрец (тавтология).

зовано для того, чтобы отвести страшное обвинение в братоубийстве от Владимира — но в то же время основой рассказа остаются исторические факты. Вельтман не «создает» историко-художественную реальность, как поступали исторические романисты и до и после него, а решает сложнейшую задачу трансформации исторических реалий в духе романтизма.

Немалые трудности доставил Вельтману образ гречанки Марии, соответствующей исторической жене Ярополка, добытой Святославом из монастыря в Болгарии и подаренной старшему сыну, а после его смерти доставшейся Владимиру. Много проще было бы, по примеру Вальтера Скотта, просто создать женский романтический персонаж. Но Вельтман идет на чрезвычайные усилия, чтобы романтизировать *реальное* лицо. Из военной добычи он превращает Марию в воспитанницу Ольгину; сначала демонстрирует холодность Ярополка к гречанке, затем женит его на дочери Свенельда. Чтобы спасать и далее невинность Марии, живущей в княжьем тереме, Вельтману приходится развлечь Ярополка целым гаремом, в коем есть даже эфиопки! Наконец, автор заставляет и старого воеводу Свенельда желать брака с Марией — и отводить от нее взор князя. Если исторический Свенельд пострадал в романе невинно, то описание гарема соответствует рассказу летописи о наложницах Владимира, который был «побежден вожделением».

Легенда о Царь-девице, основанная на одноименном сказочном цикле, не только украшает повествование о Владимире, но и связывает его с рассказом об антагонисте — Светославиче, вражьем питомце,— целиком построенном на другой реальности — реальности народного сознания. И здесь замысловатая фантазия Вельтмана основывается на конкретных источниках, глубоком, вдумчивом изучении предмета.

Сказочные сюжеты «Светославича» не компиляция фольклорных материалов, а своеобразная реконструкция древней мифологии. «Нечистая сила» в романе справедливо рассматривается как пережиток в народном сознании дохристианских, языческих верований. Эта позиция ясно выражена уже в самом начале повествования. В образе «нечистых» языческие боги во главе с Перуном покорили все пространство от Теплого (Черного) до Мразного (Северного) моря, от «моря Венедицкого» (Балтийского, от славян — венедов) до Уральских гор. Дальнейшее повествование об «изгнании» нечистой силы с Киевского холма полностью основано на приведенной в «Повести временных лет» легенде о крещении Руси апостолом Андреем Первозванным, поднявшимся вверх по Днепру и далее до Новгорода, а затем обошедшего вокруг Европы до Рима и Синопа.

Замечательно наблюдение Вельтмана о сходстве, почти тождественности «громовых» богов разных народов: Перуна, Тора и Бел-бога, родившихся в железный век расселения воинственных племен, военной демократии, зарождения варварских государств, возвысившихся вместе с

княжескими боевыми дружинами. Это наблюдение основано не на догадке, а на результатах того изучения «мифологии славянских народов», о котором А. Ф. Вельтман неоднократно упоминал в сочинениях 1834 и 1835 гг.[1].

При ретроспективном взгляде на фоне таких титанов «мифологической школы», как Ф. И. Буслаев, И. И. Срезневский, А. С. Афанасьев, А. А. Потебня и другие, размышления и выводы Вельтмана теряются, тускнеют.

Но, вернувшись к 1834 г., году работы над «Светославичем», мы обнаружим, что «Немецкая мифология» признанного основоположника «мифологической школы» Якоба Гримма[2] еще только готовилась к печати! В этом году молодой Буслаев узнал на лекции М. П. Погодина, только что вернувшегося в Московский университет из заграничной поездки, что великий чешский славист П. И. Шафарик «готовит к печати свои Славянские древности[3], в которых он докажет всему миру, что не немцы, а славяне были старожилами и хозяевами всех тех областей, где потом очутились ⟨...⟩ немцы»[4].

«Не принадлежа ни к одному из главных господствовавших в московских просвещенных кружках направлений»[5], Вельтман ученый и писатель всегда шел своим путем и не сделался «отцом-основателем» какой-либо школы. Да его интересы и не могли уложиться в рамки одного направления. В самом деле: в 1833 г. вышел его перевод и комментированное издание «Слова о полку Игореве», сделанное для пушкинского «Современника»; в том же году — историческое эссе «О Господине Новгороде Великом»; через год — основательное сочинение о варягах[6]. Уже в «Кощее бессмертном» Вельтман дает героям (и поясняет в примечаниях) славянские имена — Зорана, Младень, Мильца и т. п.,— наиболее соответствовавшие исследованным им правилам образования имен

---

[1] См.: Вельтман А. Ф. О Господине Новгороде Великом, с. 31 (ср. комментарии к «Кощею»); Акутин Ю. Александр Вельтман и его роман «Странник».— В кн.: Вельтман А. Ф. Странник. М., 1978, с. 268.

[2] Согласно теории Гримма и его последователей, у арийских народов была общая мифология. Позднее, при их географическом расселении, ее основные черты получили свое особое развитие сначала в мифах каждого из этих народов, затем в его сказках и далее в эпических преданиях.

[3] Slavanske Slarožitnosti вышли в 1835 г. в Праге.

[4] Буслаев Ф. И. Мои досуги. М., 1866, ч. 2, с. 254.

[5] Кони А. Ф. Александр Фомич Вельтман.— В кн.: Sertum bibliologicum. ПГ., 1922, с. 136.

[6] См.: Вельтман А. Ф. Варяги.— Журнал министерства народного просвещения, 1834, № 12.

у индоевропейских народов[1], а в 1840 г. издает труд «Древние славянские собственные имена». Вельтман публикует фундаментальные работы по русской истории[2], изучая в то же время историю и культуру Древней Индии и Скандинавии, государство готов, походы гуннов и монголов[3]. Исследуя сложнейшие (и до сих пор не до конца решенные) проблемы этногенеза евразийских народов, он изучает античные, византийские, арабские, древнеиндийские, средневековые немецкие и скандинавские сочинения, издает собственный комментарий к Тациту, перевод из «Махабхараты», переводит Яджурведу и «Прорицание вёльвы» из Старшей Эдды.

Говоря о заслугах и месте Вельтмана в истории изучения «славянской мифологии» и славяноведении в целом, надо учитывать не только сделанные им наблюдения и выводы, не только то, что он одним из первых широко использовал исторический и сравнительный методы, но и влияние, оказанное его личностью и трудами на формирование исследовательского сознания, школы русских славяноведов, историков языка, общественной мысли, культуры.

Пример Вельтмана увлекает молодого И. И. Срезневского, который пишет своей матери: «Вельтман... пишет несравненно лучше, чем говорит, но говорит умно, весело и задумчиво вместе, добр, прост, окружен книгами, беспрерывно работает, чем и живет». «И прежде всего о Вельтмане... Я сознавал в нем великое дарование,— я нашел в нем — истинно доброго человека, душу, которая рада найти сочувствие с другою душею, душу художника и — Русского Человека... Я не в состоянии забыть его, не в состоянии не быть его поклонником». А позже Срезневский — уже крупнейший филолог — создаст свой знаменитый «Словарь Древне-русского языка».

Срезневскому вторит будущий крупный знаток русских сказок А. Н. Афанасьев. «Кроме искреннего моего уважения к Вашему таланту, и прежнего и нынешнего,— пишет он автору «Светославича»,— я в Вас просто влюблен; Ваш прием очаровал меня, Ваша беседа всегда услаж-

[1] Ср.: Вельтман А. Ф. Индо-германы или Сайване, с. 37—38.

[2] Вот некоторые из них: Достопамятности Московского Кремля. М., 1843; Московская Оружейная палата. М., 1844; и др.

[3] Исследования о свевах, гуннах и монголах. I. Индо-германы или Сайване. II. Аттила и Русь IV и V века. III. Маги и магийские каганы XIII века. М., 1856—1858; Первобытное верование и буддизм. М., 1864; Дон. I. Место ссылки Овидия Назона. II. Метрополия Великой и Малой Руси на Дону, с IV до IX века. М., 1866; Днепровские пороги по Константину Багрянородному. М., 1868, и многие другие.

дала душу мою...»[1] Вполне возможно, что увлекательные изыскания Вельтмана сыграли какую-то роль в том, что А. Н. Афанасьев обратился к изучению русской мифологии, подготовив и издав наиболее полный свод наших сказок.

Увлеченность Вельтмана поисками в малоисследованной области славянской мифологии, на каждом шагу приводившими к необычайно интересным сопоставлениям и размышлениям, оказывала сильнейшее влияние на его литературное творчество. «Светославич» является тому ярким примером. Щедро рассыпанные по его страницам мифологические реалии были тщательно продуманы автором и образуют вместе оригинальную гипотезу о происхождении североевропейского и славянского язычества. Переданная в романе художественными средствами, она получает объяснение в примечаниях, которые, видимо, были продуманы автором еще до создания основного текста.

Вельтман предполагал в 1835 г., что рождение славяно-германской мифологии было связано с пранародом Азаланда — описанной в «Диалогах» Платона Атлантидой. Потомками атлантов были филистимляне, вождь которых Голиаф (Геоа-Хельг-Атта) потерпел поражение от библейского царя Давида. Магами-финикянами сиро-палестинская (ханаанейская) мифология была перенесена в Северное Причерноморье. Затем жившие в низовьях Дона ваны («финны-пуны-финикяне»), объединившись с обосновавшимися в Приазовье азами, в I в. до н. э., во главе с Одином двинулись на север, принесли свои верования к народам Северной Европы и распространили их от Скандинавии до Уральских гор.

Таким образом, подмеченные Вельтманом признаки индоевропейского единства были объяснены тем, что азы — азиатский кочевой народ древнего происхождения — и ваны, продвигаясь с юго-востока на северо-запад Евразии, оставили всюду следы своей культуры. Поэтому следы почитания скандинавского (азского — по Вельтману) бога Тора оказываются в романе на Днепре (где на месте Киева стоял временный Азгард). От имени Тора произведено название Днестра — Данастора, так же как Днепра — от Перуна (Дана-Перун). В Дон впадает речка Большой Тор, на которой поклоняются «Божичу Туру». Знаменитые каменные бабы в южнорусских степях, на реке Самаре, по Вельтману, посвящены скандинавской богине вечной молодости Фрее(Фрейе). В древнем Новгороде, на месте еще более древнего города финнов — ванов, поклоняются «Богам Дубравным» и т. п.

Построения Вельтмана представляли собой интерпретацию первых глав «Саги об Инглингах» исландского писателя XIII в. Снорри Стурлусона, в которых рассказывалось о предках скандинавов, вышедших из

---

[1] Акутин Ю. Александр Вельтман..., с. 266—267.

Азии во главе со своим вождем Одином[1]. Не только Вельтман, но и большинство исследователей XIX в. относилось к «Саге» с глубоким доверием. Капитальное исследование, бесповоротно опровергающее достоверность первых восемнадцати глав «Саги об Инглингах», появилось много позже[2]. Для этого ученым было необходимо отказаться от метода «голых» звуковых сопоставлений и накопить более «вещественный» материал о жизни и передвижениях народов, в котором не оказалось никаких следов азов и ванов.

Хотя представление Вельтмана о происхождении индоевропейской мифологии оказалось не более верным, чем его фантастический источник, его работы, и особенно художественные, не только увлекательны, но и содержат много верных, интересных наблюдений. Например, «тьмуглавый змей» не напрасно сделан воеводой всей нечистой силы, а Волос — главным богом новгородцев-язычников. Последний соответствует, по изысканиям Вельтмана, индийскому Вишну — «тысячеименному» божеству[3]. «Руссы, гражданство Славянское, при обетах произносили: «Да имеем клятву от бога *(вышняго)* и в него же веруем в Перуна (карающего, громоносца) и в Волоса скотья бога *(гауспати)*».

Продолжая сопоставление, Вельтман отмечал, что *«Виджая,* витязь, Вишну в свойстве победы, витяжства, изображался в Индии на знаменах, едущим на птице *гаруда.* Он имел *тысячу* голов и вооруженных рук... Найденное в г. Ретре (городе прибалтийских руссов.— *А. Б.*) знамя имело именно это изображение...»[4] Отсюда, после победы христианства,— *«тьмуглавый змей»,* возглавляющий сонм противостоящих Христу *нечистых сил.* В новейшем исследовании мы читаем, что Святовит почитался в Арконе и у других балтийских славян в качестве могущественнейшего из богов. «Идол его был четырехглавым и находился в большом храме. Святовиту были посвящены *белый конь и оружие...* Определяя важное значение Святовита (первая часть имени которого действительно происходит от слов «свят», «святость».—*А. Б.*), Гельмгольд называет его «богом богов» (Deus deorum)... Для восточных славян таким «единым богом в небесах» был *Род*» (по Вельтману — Волос)[5].

---

[1] Стурлусон С. Круг земной, с. 10—16.

[2] Heusler As: 1) Die gelehrte Urgeshichte im isländischen Schriftum.— Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 1908. Abh. № 3. 2) Kleine Schriften. Berlin, 1969, V. 2, s. 80—161.

[3] См.: Вельтман А. Ф. Слово об ополчении Игоря Святославича. 2-е изд. М., 1866, с. 38—39, 42.

[4] Вельтман А. Ф. Индо-германы или Сайване, с. 32, 52, 64.

[5] См.: Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, с. 460—461 и др.

Но в русском эпосе и сказках многоголовый змей связан также с кочевниками, постоянно угрожавшими славянам-земледельцам. Это тоже отражено в «Светославиче», где рядом с драконом стоит *Кощей* — «это слово является со времени войны с половцами, когда и пленные из *поганых* обращались в прислугу. В песни о полку Игореве *кощей* означает именно челядинца Половецкаго... В Ипат⟨ьевской⟩ л⟨етописи⟩ под 1170 г. кощей Иславича Гаврилкова бежит от него и дает весть Половцам, что Русские Князья поднимаются на них войною. В Летописи Кончак называется *безбожным,* в Слове о полку Игореве *поганым кощеем»*[1]. И так далее.

Многочисленные примечания к «Кощею бессмертному» и «Светославичу, вражьему питомцу» играют в романах особую роль. Они были призваны не только разъяснить вплетенные в ткань произведений древнеславянские понятия, слова и выражения, но и закрепить авторские находки и гипотезы в сознании читателя. Примечания, многие из которых в настоящее время сами требуют пояснений, представляли, по замыслу автора, неотъемлемую часть текста. Романы основаны на глубоком знании русской истории, приобретенном Александром Вельтманом в результате самоотверженного исследования многоязычных источников. Проблемы исторической науки, увиденные как проблемы национальной истории и культуры, питали корни авторских замыслов и во многом определили, видимо, сам характер повествования. Романы должны были не только развлекать и воспитывать, но и стимулировать интерес общества к древней истории Отечества, и они выполняют свою задачу.

Без внимательного изучения исторических взглядов Вельтмана невозможно понять и глубокого смысла его литературных произведений. Это наглядно подтверждает третье публикуемое сочинение.

«Райна, королевна Болгарская», увидевшая свет в 1843 г., необычна для творчества А. Ф. Вельтмана. Ее сюжет, композиция и манера повествования максимально приближены к традиционной форме исторических романов и повестей. Причину этого следует искать в идейной направленности произведения, рассчитанного на самый широкий круг славянских читателей. Автор стремился показать исторические корни дружбы русского и болгарского народов — дружбы, ставшей особенно важной во время жестокой борьбы, которую болгары вели в XIX в. за свое освобождение от османского ига.

Успех книги был вызван не только, и даже не столько ее художественными достоинствами (хотя они несомненны), сколько новым взглядом автора на начальный период русско-болгарских отношений. Позиция Вельтмана сильно отличалась от тех оценок, которые давали болгарским

[1] Вельтман А. Ф.. Слово об ополчении Игоря Святославича. 2-е изд. М. 1866, с. 38—39, 42

походам князя Святослава историки. Еще А. Л. Шлецер сформулировал мнение, что Болгария боролась против русских за «свою независимость»[1]. Этот взгляд, основанный на сочинениях византийских историков, поддержал и Н. М. Карамзин, считавший Святослава «безрассудным» авантюристом, который «полностью завладел царством Болгарским»[2] Мнение, что Святославу противостояла единая, провизантийски настроенная Болгария, которую он стремился поработить, высказано было в книге, опубликованной одновременно с «Райной» Вельтмана. Ее автор, А. Чертков, первый поход Святослава называл «обыкновенным набегом выряжским для получения добычи», второй поход — завоеванием Болгарского царства; он утверждал, что против руссов началось повсеместное восстание болгар, воевавших на стороне византийцев[3] О «враждебности» болгар к руссам писали потом М. П. Погодин, С. М. Соловьев, А. Ф. Гильфердинг, Д. И. Иловайский, М. С. Грушевский, М. Е. Пресняков, М. В. Довнар-Запольский и другие известные русские историки. Подобные взгляды очень долго, вплоть до второй четверти XX в., держались и в болгарской исторической литературе.

А. Ф. Вельтман выступил не только последовательным сторонником идеи славянского единства, но основал «Райну» на более серьезном анализе исторических материалов, во многом предвосхитив выводы современных нам историков[4] Действие «Райны» начинается со смерти великого болгарского царя Симеона — неистового воителя, столь смело сражавшегося с византийцами, что о полном разгроме стали говорить: «сделать добычею Мисян» (т. е. болгар). После кончины Симеона положение изменилось. Мирный договор 927 г. был подкреплен браком болгарского царя Петра с внучкой императора Романа I Лакапина Марией, а империя обязалась по-прежнему платить Болгарии дань (на сей раз под видом выплат на содержание византийской принцессы).

Правительство царя Петра и его советника Сурсувула привязало Болгарию к византийской внешней политике, сделалось проводником импе-

---

[1] См.: Шлецер А. Л. Нестор. Спб., 1819, ч. 3, с. 482, 533 и др.

[2] Карамзин Н. М. История государства Российского, т. 1, с. 172—191. «Святослав...— пишет, например, Карамзин,— отправился в Болгарию, которую он считал уже своею областию, но где народ встретил его как неприятеля» (с. 178).

[3] Чертков А. Описание войны великого князя Святослава Игоревича против болгар и греков в 967—971 годах. М., 1843.

[4] Ср.: История Болгарии. М., 1954, т. 1; История Византии. М., 1967, т. 2; Лебедев И. Войны Святослава I.— Исторический журнал, 1938, № 5; Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956, Тихомиров М. Н. Походы Святослава в Болгарию.— В кн.: Исторические связи России со славянскими странами и Византией. М., 1969; Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. М., 1982; и др.

раторского влияния в Западном Причерноморье. Если при Симеоне болгары и русь не раз почти одновременно выступали против империи, то в 941 г. болгары предупредили Константинополь о походе князя Игоря и его силах; в 944 г. царский двор выдал императору сведения о составе русского войска, а Игорь в отместку «повелел печенегам воевать Болгарскую землю». Считают также, что болгары помогали Хазарскому каганату в борьбе со Святославом; таким образом Византии удалось окружить Русь врагами.

А. Ф. Вельтман, вопреки сложившемуся в его время (и довольно долго продержавшемуся) стереотипу, показывает в «Райне» что не вся Болгария занимала провизантийскую позицию. Внутреннее состояние страны было крайне неустойчивым. Политика Симеона оставила глубокие следы, и с политической авансцены Болгарии не сошли еще люди, ее осуществлявшие. Благодаря длительным войнам с Византией и давним экономическим и культурным связям Болгарии с Русью в стране очень сильны были прорусские настроения, особенно среди простого народа. Но и боярская знать активно противодействовала линии Петра — Сурсувула. В «Райне» это отражено в образе старого сподвижника Симеона — боярина Обреня. Против Петра выступили и его братья, один из которых — Воян Симеонович — стал важным действующим лицом «Райны»; в заговор против Петра вступили многие вельможи; восстание началось в Сербии...

Для правильного понимания взаимоотношений Руси, Болгарии и Византии необходимо учитывать и истинное отношение Константинополя к своему союзнику. Наращивая свою военную мощь, Византия старалась чужими руками ослабить, а затем и подчинить себе «богомерзкий народ» болгар,— как откровенно писал Константин Багрянородный в наставлении своему сыну. Греки сами тайно поддерживали выступления сыновей Симеона против их брата Петра — вполне лояльного империи; они же способствовали отделению Сербии от Болгарии. Когда после смерти царицы Марии Петр пытался возобновить мирный договор 927 г., он вынужден был отдать своих сыновей Бориса и Романа заложниками в Константинополь и обязаться не пропускать угров через свои земли к границам Византии, став фактически пограничным вассалом империи.

Но этого грекам было мало. Вот как византийский хронист Лев Дьякон рисует разрыв дипломатических отношений с Болгарией, которым открывается основное действие «Райны». «...Пришли от Мисян послы с известием, что Предводитель (царь Петр.— *А. Б.*) отправил их требовать с него положенной дани. Никифор, исполненный гнева, чего никогда с ним не бывало... воскликнул громким голосом: «Ужасное постигло бедствие Римлян, естьли они, победители всех неприятелей, должны теперь платить дань, как невольники, бедному и гнусному народу Скиф-

скому... Ужели я, самодержавный государь Римский, платя дань, буду подвластен бедному и презренному народу?» И так приказал бить послов по ланитам, говоря: «Подите и скажите вашему начальнику, одетому в кожух и грызущему сырые шкуры, что сильный и великий государь Римлян скоро сам придет в твою страну отдать полную дань для того, чтобы ты, рожденный рабом, научился называть повелителей Римских своими господами...»[1]

Как видим, византийский историк даже не называет Петра царем, но... он же далее пишет, что Никифор, по сути, испугался похода в Болгарию. Тогда-то и решено было послать патрикия Калокира к киевскому князю Светославу, чтобы сговорить его напасть на Болгарию[2]. В повести калокир находит русское войско на берегу Днепра готовое к походу — что соответствует современным научным изысканиям.

По Вельтману (и современным ему историкам), только хитрый грек уговорил Святослава двинуться на Балканы. Но если автор и не видел государственных замыслов киевского князя, его романтическая концепция постепенного примирения «души» Святослава с болгарами выглядит правомернее, нежели рассуждения о «греческом наемнике», ставшем «кровожадным и вероломным завоевателем». К тому же версия Вельтмана художественно оправданна: она раскрывает процесс рождения и укрепления русско-болгарской дружбы.

В центре повествования находится романтический образ Райны, объединяющий исторические и выдуманные Вельтманом события: деятельность Обреня, Вояна, отношения «королевны Болгарской» и русского князя. Но и сведения, почерпнутые автором из источников, достаточно свидетельствуют о верности основной направленности «Райны». Для Святослава было важно овладеть территорией нынешней Добруджи, Дунайскими гирлами с центром в городе Переяславце. Взяв Переяславец и другие восемьдесят укреплений в этом районе, он остановил военные действия, хотя болгарская армия была разбита, а правительство деморализовано.

В «Повести временных лет» Святослав говорит: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае,— там средина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли — золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы», тем самым показывая, что в Болгарии он уже достиг своей цели, заняв центр, стратегически важный для русской торговли. Он выступал лишь против провизантийски настроенного Петра,

---

[1] Попов Д. История Льва Диакона. Спб., 1820, с. 38.
[2] Там же, с. 38—39.

не вступая в конфликт с укрепившимся в Западной Болгарии правительством комитопулов.

Во время второго похода в Болгарию Святослав, вернувшийся из Киева, столкнулся с тем, что правительство нового болгарского царя — Бориса выбило русские гарнизоны из дунайских крепостей и взяло Переяславец. Уже В. Н. Татищев подчеркивал: «Уведал же Святослав от пленных болгар, что *греки* болгар на него возмутили»[1]. Но, разгромив Бориса и отвоевав Переяславец, Святослав не «покорил» Болгарию, а вынудил болгарское правительство заключить с ним мир, сохранив Болгарское царство (что вызвало большое раздражение греков). Болгария сохранила суверенитет, армию, даже казна не была разграблена.

С этого момента начинаются совместные действия русских и болгар по отражению наступления Византии, стремившейся не допустить укрепления союза Руси и Болгарии. Вместе с русскими и венграми болгары сражаются с войсками Варда Склира[2], во взятой штурмом столице Болгарии Преславе, в обороне которой участвовал русский гарнизон, греки берут в плен Бориса и его семью, причем на Борисе были царские знаки отличия![3] В сражениях под Доростолом византийцам с оружием в руках противостояли не только болгары, но и болгарки. Наконец, поражение Святослава означало и поражение захваченной греками Болгарии[4]. Но и после разгрома своего царства болгары продолжали бороться против Византии[5].

Психологические портреты в «Райне» необыкновенно точны: в них талант художника — поистине уникальный случай! — соединился с глубокими знаниями историка. Образ Святослава и его сторонников на заключительном этапе войны прямо предвосхищает вывод советского исследователя: «Болгары видели в русском князе своего вождя против ненавистной Византии, а Святослав чувствовал себя в некоторой степени преем-

[1] Татищев В. Н. История Российская... М.— Л., 1963, т. 2, с. 51.

[2] См.: Попов Д. История Льва Диакона, с. 67.

[3] См.: Там же, с. 84—85; в историографии отмечалось, что сообщения византийских хронистов об ожесточенной обороне болгарами Преслава следует рассматривать как свидетельство существования в это время русско-болгарского антивизантийского союза.

[4] Лев Дьякон прямо заявлял, что император «покорил мисян» (См.: Попов Д. История Льва Диакона, с. 98), «возвратил Римлянам Мисию». Это подтверждает и Яхья Антиохийский (См.: Розен В. Р. Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхьи Антиохийского. Спб., 1883, с. 181). Иоанн Цимисхий, писал древний армянский историк, «принудил булхарский народ покориться» (всеобщая история Степ'аноса Таронского Асох'ика по прозванию — писателя XI столетия. М., 1964, с. 127—128).

[5] Ср.: Попов Д. История Льва Диакона, с. 105, 108 и др.

ником политических заветов Симеона»[1] Верный анализ исторических фактов, воплощенный в художественном произведении, стал действенной силой современной Вельтману борьбы за освобождение славян, в которой он сам принял участие. В этом секрет успеха «Райны, королевны Болгарской», сохраняющей немалый интерес и для сегодняшнего читателя.

При жизни Вельтмана на русском языке вышла только журнальная публикация «Райны». Она не имела авторских комментариев, обычных для других исторических сочинений писателя. Учитывая значение, которое придавал пояснению своих мыслей Вельтман, мы дополнили текст примечаниями, раскрывающими смысл отдельных слов и имен, и комментариями (в конце книги), знакомящими читателя с историческими источниками повести.

В романах Вельтмана комментарии помещались в конце каждой книги, но не строго по алфавиту и с включением различных понятий в одну описательную статью. Очевидно, они создавались для сплошного чтения любознательным читателем как продолжение и дополнение к тексту. Мы сохраняем этот принцип, перенеся лишь часть кратких заметок в подстрочные примечания, объединив комментарии к частям романов и унифицировав их алфавитное расположение. Следует также учитывать, что комментарии Вельтмана печатаются с небольшими редакционными сокращениями. Дополнения и пояснения к тексту Вельтмана (они выделены курсивом) должны помочь читателю точнее представить его источники и приемы исследования, узнать о современной трактовке слов и понятий.

В настоящем издании сохранены некоторые орфографические и синтаксические отклонения от современных норм русского литературного языка, так как подобные архаизмы (колыбелка, скрып, колесы, постелю и т. п.) не просто отражают литературный стиль А. Ф. Вельтмана и его эпохи, но зачастую имеют смысловую нагрузку, связаны с имитацией древнерусских памятников, фонетическим воспроизведением народной речи или же с выделением всевозможных титулов и названий с помощью прописных букв (Степенный Посадник, Воевода Дружин Новгородских, Тысяцкий и т. п.).

Тексты печатаются по следующим изданиям: Вельтман А. Ф. Кощей бессмертный. Былина старого времени. Ч. 1—2. М., 1833; Вельтман А. Ф. Светославич, вражий питомец. Диво времен Красного Солнца Владимира. Ч. 1—2. М., 1835; Вельтман А. Ф. Райна, королевна Болгарская.— Библиотека для чтения. Спб., 1843, т. 59.

---

[1] Карышковский О. П. Русско-болгарские отношения во время Балканских войн Святослава.— Вопросы истории, 1951, № 8, с. 104—105.

Комментарии

«КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ. БЫЛИНА СТАРОГО ВРЕМЕНИ»

АЗ — на Готском языке значило *бог, первый, начало.*

По *Длугошу,* у древних Поляков слово *Аз* или *Яз* означало также бога, величайшего из богов, соответственного Юпитеру. В Славянском языке *аз* значит *я.*

Ян Длугош, и с ним другие польские хронисты XV—XVI вв., в духе кватроченто и чиквенченто расцветили этнографические материалы своего времени, сочинив целый славянский Олимп по образу и подобию любимой ими античности. Песенная Лада превратилась у них в Марса или, по Матвею Меховскому, в Леду, мать Кастора и Полидевка, а непонятное слово Iassa (из католических обличений начала XV в.), по Вельтману, Аз — в Юпитера. Интересно, что местоимение Аз — Я до сих пор остается привлекательным для различных спекуляций, хотя методика историко-филологических исследований в целом ушла с тех пор далеко вперед.

АЗАК-ДЕНГИС — озеро Узов.

Имеется в виду Азовское море. Узы, или гузы (в русских летописях),— торки, кочевое тюркское племя, выделившееся из племенного объединения огузов и к середине XI в. вытеснившее из южнорусских степей племена печенегов. В союзе с князем Владимиром они в 985 г. ходили в Болгарию; в 1060 г. неудачно воевали с русскими князьями, а через четыре года вторглись в Византию и дошли до Константинополя, но вынуждены были отступить. Поселившись затем на реке Роси близ Днепра, торки вместе с берендеями на стороне русских князей боролись с половцами.

АЙГЕР — по-Монгольски зн⟨ачит⟩ жеребец.

АЛТЫН, Алтан — по Монг⟨ольски⟩ золото.

На Руси — денежная единица и монета достоинством в шесть денег.

АМАЗОНКИ.— Воинственный народ, состоящий из одних женщин — это вымысел древних поэтов. Что жены некоторых из древних народов были мужественны и ходили на войну за мужей или с мужьями, это не вымысел.

Далин в своих изысканиях пишет, что местопребыванием Готфских Амазонок была *Кону-Горд*, т. е. земля жен, Куэнландия, Квенландия (в северо-западной части России).

Исторический Алхимик Мавроурбин, обращающий все народы в Славян, пишет, что Славянские, т. е. Готфские, Амазонки жили при р. Волге, между Меланхленов (Черноризцев: вер⟨нее⟩, Булгар) и Сербов.

В сих же местах жили и древние Хуннгары, и потому Кону-Горд есть не что иное, как Хуннгария.

В «Повести временных лет» — одном из основных источников знаний Вельтмана о Древней Руси — приводятся выписки из «Хроники Георгия Амартола» (византийского историка IX в.): «Другой закон у гилий: жены у них пашут, и созидают храмы, и мужские деяния совершают, но и любви предаются сколько хотят, не сдерживаемые своими мужьями и не стыдясь. Есть среди них и храбрые женщины и женщины умелые в охоте на зверей. Властвуют жены эти над мужьями своими и воинствуют, как и они... Амазонки же не имеют мужей, но как бессловесный скот однажды в году, близко к весенним дням, выходят из своей земли и сочетаются с окрестными мужчинами, считая то время как бы некиим торжеством и великим праздником. Когда же зачнут от них в чреве,— снова разбегаются из тех мест. Когда же придет время родить, и если родится мальчик, то убивают его, если же девочка, то прилежно вскормят ее и воспитают»[1].

В русских сказках о Царь-девице и Девичьем царстве рассказывается, что это царство находится далеко и его называют Подсолнечным, а главный город окружен стеной с отрубленными «головушками на тычинушках» (о которых рассказывает Геродот, говоря о Таврии, а через тысячу лет после него — Аммиан Марцеллин). Город охраняют, между прочим, Ягишны. Конная Баба-Яга, или Яга-кобылица, мать оборотней-кобылиц, согласно другим сказкам живет «за степной рекой», среди шелковых трав, у криничной воды возле моря — т. е. речь идет скорее всего об амазонках, живущих у Меотиды.

АРКУЧИ — приговаривая. Древн⟨е⟩ Слав⟨янское⟩ слово. «Ярославна рано плачет Путивлю городу на Забороле, аркучи: о Днепре Словутицю...» — Слово о Полку Игореве.

[1] Здесь и далее цитируется издание: Повесть временных лет. М., 1950. ч. 1—2. Цитаты приводятся в русском переводе или по-древнерусски (с упрощенной орфографией), если поясняются древние слова.— *А. Б.*

В древнерусских рукописях все слова писались слитно; здесь следует прочесть: «а ркучи», т. е. «а рекучи», «а говоря».

АТТИЛА — царь народа, который как метеор возжегся неизвестно где, пролетел над Европою, опалил ее, рассыпался и потух. Аттила был дивен и велик. Юпитер, усыновив Александра, не устыдился бы почесть Аттилу вторым своим сыном.

По летописям Китайским, говорит ученый наш о. Иакинф, народ Монгольский, до исторических времен, отделился от обитателей Туркестана и Бухары. Китайцы, до времен государя Яо, называли его *Хунвюй,* при династии Ся — *Сюнвюн*, при династии Инь — *Гуйфан,* при династии Цинь и Хань — *Хунну* и *Гунну*. Потом сей народ носил имена: *Сянби, Жужу, Тулга, Кидань, Татар* и *Монгол...*

При сем должно заметить, что Хунну и Гунну есть не название, но прозвание народа, ибо: «в 15 году по Р. X. Китайский Министр Ван-Ман предложил переменить название Хунну на Гунну», ибо Хунну или Хун-ну значит *злой раб,* а Гун-ну значит *почтительный раб...* (стр. 34. ч. 3 Запис⟨ок⟩ о Монголии).

Итак, те ли же Хунны, которые в начале 2-го столетия «погибоша аки Обри» в Азии, появились незаметно в 4-м столетии в Европе? На этот вопрос История не дает ответа.

Происходит ли Аттила от какого-нибудь Таман-Шаньюя, Цзюйдиху-Шаньюя или Сюйлюй-Цюаньцюй-Шаньюя? — Это тайна.

«Малый рост, широкие плеча, небольшие глаза, редкая борода с проседью, нос курносый, смуглое лицо и вся наружность довольно обличали происхождение его». Вот слова Иорнанда об Аттиле.

По этому очерку Аттила и все Гунны Дунайские обращены Историками в народ кочевой, в Монголов, тогда как *млат небесный* в столице своей, *на горячих водах, в Хуннгарии,* в пространном, роскошном дворце, принимает посольства от Императоров Греции и Рима, говорит им волю свою и угощает их точно так же, как некогда угощал послов Греческих *древний Владимир, Русское Солнце.*

На могиле Аттилы Гунны совершают *Страву*[1] (см. «Иорнанда»), т. е. Тризну, по обычаям, которые сохранились в Малороссии при погребении гетманов...

Но... пусть и народы, как солнце, являются на *Восток* и идут на *Запад.*

АШ-ТАРХАНЫ — древнее, настоящее название Астрахани. По Татарским преданиям, сей город построен владетелем *Аши. Тархан* значит

---

[1] Страва в Малороссии, в Польше, значит кушанье. «Печальные обряды заключались веселым торжеством, которое именовалось *Стравою* и было еще в VI веке причиною великого бедствия для Славян». Карамзин, ч. I, с. 102.

свободный (от уплаты налогов. Тарханная деревня Аштархан, упоминаемая в документах XIII в., находится на берегу Волги, в 12 км от современной Астрахани.— *А. Б.*).

По другим преданиям: при Хане Узбеке поселился в сем месте *Аджи* (путешествовавший в Мекку), из фамилии *Тарханов*, почему и назвался город по его имени *Аджи-Тарханом.*

Но слово *Тархан* было известно уже в 12 столетии в названии города Тама-Тархана (Тмутаракань; в греческих летописях — Таматарха).

Уже в IX в. слово тархан означало феодала у тюркских народов — в частности, у хазар.

БАБА-ЯГА.— Сказочное понятие о ней известно каждому, но Баба-Яга должна, кажется, относиться и к мифологии древних Руссов; между Южными Славянами не отзывается о ней ни одно предание, и потому должно искать ее между язычниками Скандинавии или Северной Скифии.— *Золотая Баба*, известная под именем *Юмалы*, у Лапов называлась *Акха*, т. е. *древняя* (матерь богов). Идол Акха был толстый деревянный пень, которому приносили жертвы.

Догадка Вельтмана справедлива — образ Бабы Яги восходит к древней мифологии, видимо, ко временам крушения матриархата, и под разными именами известен у многих народов. В русском народном творчестве известно две Яги: лесная, живущая в избушке на курьих ножках в дремучем лесу, и степная — родственница «Тьмуглаваго змея» — кочевника, исконного врага хлебопашцев.

БАЙДАН — название оружия (см. древнее сказание о победе в. к. Димитрия Иоанновича Донского над Мамаем). Слово сие есть испорченное Готфское branda — клинок.

Байдана, бадана, бодана (от араб. badana) — кольчуга с широкими коваными кольцами. Ошибка Вельтмана произошла, видимо, от неправильного толкования текста «Задонщины», в краткой редакции которой сказано: «Грянуша копия харалужныя, мечи булатныя, топори легкие, щиты московьскыя, шеломы немецкие, боданы (Здесь и ниже разрядка в цитатах моя.— А. Б.) бесерменьскыя». Ср. пространную редакцию: «Испытаем мечев своих литовъскых о шеломы татарскыя, сулиц (дротиков.— А. Б.) немецъких о боданы бесерменьскыя».

БРАТИНА — кружка.

Вернее, ее древнерусский прототип — сосуд в форме горшка, в котором подавались напитки; пить из братины можно было по кругу.

БУЯВЫЙ — хмельной (см. «Дивье...» в «Светославиче».— *А. Б.*).

ВАРИТА — древний музыкальный инструмент, у Чехов.

Во времена *Хайдна* был и во Франции инструмент, называвшийся Bariton, ибо во многих партитурах Хайдна писана музыка и для сего инструмента.

ВАРЯГИ — Шведы. В древности назывались Swerige. Слово Swerige Греки и Русские преобразовали в Варягов.

В греческий язык слово варяги перешло из русского, в русский же попало из древнесеверогерманского vaeringi — гражданин защищенный, самостоятельный.

ВЕДРО — погода (ясная). Происходит от Готфского слова Waeder — погода.

ВЕЖА — обзорная башня.

«А при ней (при церкви св. Софии) вежу сооружи и верх позлати».— Еф⟨ремовская⟩ Лет⟨опись⟩. Иногда значит крепость, укрепленный город.

«Того же лета,— читаем в Ипатьевской летописи,— ускочи Володимер Ярославич из Угор, из веже каменное, ту бо держашеть й король... поставлен бо бе ему шатер на вежи; он же изрезав шатер, и сви собе ужище, и свесися оттуду долов».

ВЕЧЕ — народное сборище в древних вольных Славяно-Русских городах.

«Новгородци бо изначала, и смоляне, и кыяне, и полочане, и вся власти яко же на думу на веча сходятся, на что же старейшие сдумают, на том же пригороди станут»,— говорит Лаврентьевская летопись, на которую, видимо, опирается Вельтман. Вообще вече означало совещание по особо важным вопросам, на которое могли собираться либо правители города, знать, в том числе князь, либо городские «меньшие» люди, городская беднота, либо все горожане; вече могло означать и совет воевод городского ополчения в походе; это наиболее древний институт народовластия.

ВЕЧИНА — верховная воля, определение, закон, решение, суд, приговор (вынесенный вечем.— *А. Б.*).

«И вечину *проволати* в народ», т. е. приговор Веча провозгласить народу. *(Суд Любуши.)* Отсюда увечали — присудили.

ВЕЩИЙ — премудрый, предвидящий, проницательный.

«И прозвали Олега Вещим», когда он вернулся в Киев после успешного похода «в греки»,— говорит «Повесть временных лет».

ВИЛА.— У Южных Славян Вила была существо подобное Русалке, Нимфа, живущая по великим горным лесам и по скалам близ озер и рек. Вила молода, прекрасна собою, облечена в тонкую, белую, длинную одежду; коса распущена по плечам и персям; она никому не делает зла, но если ее затронуть, она мстительна: ранит стрелою в ногу, в руку или в сердце.

«И веруют в Перуна, и в Хорса... и в Вилы... и мнят богинями, и тако покладывахут им требы и куры им режють»,— сказано в «Слове против язычества» XIV в.

ВИРА — в старину название подати.

Вероятно, слово Греческое.

Значение этого древнейшего слова — денежная пеня за убийство. Соответственно оно с большей достоверностью возводится к древнегерманскому vёr-geld (с тем же значением).

ВИТЯЗЬ — значит *Герой;* в Молдавском языке значение слова вітіаз сохранилось (см. «Витязь» в «Светославиче».— *А. Б.*).

ВОЛОТОВО ПОЛЕ — так называлось кладбище древнего Новгорода.

От слова в о л о т *— гигант, исполин. В письме «О Господине Новгороде Великом» Вельтман производит слово* в о л о т *от* В е л е с *(или* В о л о с*) — древнерусский бог богатства, скотоводства, может быть, плодовитости, упоминающийся в «Повести временных лет» при описании заключения договоров с греками: «...и кляшася оружьем своим, и Перуном богом своим, и Волосом скотием богом...» (под 907 г., ср. под 971 г.). Почитание Волоса было связано, видимо, и с культом мертвых: корень wel — мертвый — отразился в литовском welis —* покойник, *welci —* души *умерших, древнеанглийском wæl — труп и т. п. Изображался он как бородатый мужчина с турьим «рогом изобилия» в руке. Сейчас признано, что образ Велеса восходит к праславянской и даже протославянской эпохе.*

Поэтому особенно интересно предположение Вельтмана, что Волос, Бог Новгородцев, не есть какой-нибудь посадник Власий и что В о л о т о в о п о л е *значит* п о л е В а а л о в о, *или* г р а д В а а л а, *тот же Valhall. Не удивительно, что оно называется в предании* и с п о л и н с к и м: В а а л *или* Б е л *значит, между прочим, Великий, могущий; и самыя слова разных наречий,* в е л и к и й *и* б о л ь ш о й, *приняли смысл от Ваала и Бела». По мнению Вельтмана, под разными наименованиями «поклонение* В а а л у *было не только в Азии, но распространилось почти по всей древней Европе, и... Völu,* В о л о с, *Бел-Бог, Belenus не случайные звуки, сходные с именем Бела, но есть то древнее слово Халдеи (так автор условно называет прародину индоевропейцев.— А. Б.), преобразованное наречиями...».*

ГАЙДУК.— С древних времен буйные головы Славянского поколения, обитающие ныне в Сербии, Боснии и Ерцгерцеговине, избегая над собою мирной власти, удалялись в горы и жили промыслом вооруженной руки. Они назывались *Гайдуками.* Заключая между собой союз братства, не превосходивший 10—12 человек, они избирали старейшину, имели свой *притон* и складчину (оставу). Добычу их составляли чужеземцы проезжие и богатые купцы.

Истинный Гайдук имел своего рода *честь:* не убивать того, кто не сделал ему зла. На подобных условиях соотечественники, мирные граждане и правление не презирали их и не преследовали. Их считали за людей, созданных для постоянной войны, вечной опасности и безусловной, безотчетной воли. Если они и делали зло обществу, то не по нужде в средствах к пропитанию, не по порочным чувствам, но по страсти к буйной

жизни и независимости, и потому права их на подобную жизнь, как будто подтвержденные обществом, вошли в обычай. Прохожие и проезжие платили им беспрекословно дани.

По преданиям, в Боснии, на горе Романии, один Гайдук, устарев и будучи уже не в состоянии лично требовать дани, разостлал на дороге кабанью шкуру и воткнул близ оной в землю меч. Это было понятно для проезжих: всякий клал несколько денег на шкуру, как в сборную кружку. Храбрость и молодечество многих Гайдуков воспевались даже в народных песнях. В XVI и XVII столетии из прославившихся набегами на Турков были: Стоял Янкович, Сеньянин Иво, Иво Голоторб, Илья Смильянич, Байрактар Комнен.

У *Морлаков* (по Добровскому, Мавро-Влахов) начальник Гайдуков назывался Сердар Харамбаша (Данница 1826, *Вук. Карацич*).

В болгарском (хайдук), сербском (хаjдук) и других южнославянских языках слово гайдук — разбойник — заимствовано из османского. Отсюда можно заключить, что до вторжения турок в Европу (XV в.) на Балканах не было разбойничьих товариществ, как не было и соответствующего названия этого явления, вызванного необходимостью борьбы с завоевателями.

ГАНЖУР — священная книга учения Шягэ-Муни, содержащая в себе 108 томов и писанная на Тибетском языке.

ГНЕЗДО — племя, род. «Гнездо есмя Князя Владимира».

Ср. в «Задонщине»: «...гнездо есмя великаго князя Владимера Киевскаго». «Дремлет в поле Ольгово хороброе гнездо, далече залетело»,— говорится в «Слове о полку Игореве».

ГОДИНА — час.

Употребляется в этом значении уже в Апокалипсисе XII в.

ГОЗАП — одежда из звериных кож. Была у одного из Царей Дакии. То же, что кожух, от слова *кожа* или от *хъза.*

ГОЛК — шум, стук, сборище, стечение, по-Сербски *Гомиланье.*

«Бе же 2 пушки у чюваш; казацы же умолвиша голк их; они же бросиша их с горы в Ыртыш»,— говорит Сибирская летопись.

ГОРН, *горнец,* множ. *горнцы* — горшок, сосуд.

ГРИВНА — означение определенного счета или веса, условленное число монет. Напр⟨имер⟩, гривна золота, гривна серебра, гривна *кунь.* В Лексиконе Треязычном: гривна пенязей, mna, mi na. По-Сербски гривна значит: 1) железное кольцо, соединяющее косу с косищем, и 2) нарукавник из золота, серебра или латуни (Српски Рiечник).

Первоначальное значение слова — металлическое украшение, которое носилось на шее, и единица веса драгоценных металлов — отмечено в русских памятниках XII в. В последнем значении гривна соответствовала средне- и североевропейской марке и весила 68,22 г серебра. Монеты очень

долго оставались разновесными, поэтому обычным было: «купить латынскыи [монеты] гривну золъта, дать весити»; «а у гостя имать... пол гривне серебра, да гривенка перцю». Гривна как определенное число монет (новгородская — 14 денег, московская — 20 денег) встречается в текстах XVI в.

ДАЖДЬ-БОГ — божество некоторых из Южных Славян. В Киеве был идол Дажба-Бог. Упоминается только в Несторе и в Слове о Полку Игореве.

В «Повести временных лет» сказано: «И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Даждьбога, Стрибога, Симаргла и Мокоша. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы эти шли бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими» (980 г.). Там же под 1114 г. рассказывается, что Даждьбог — Сын Сварога, бог Солнца. Со Сварогом и его сыном связывают летописцы появление патримониальной семьи и обработки металлов: «Во время цесарьства его съпадеша клеще с небесе и нача ковати оружие». В «царство» Даждьбога появляются государственные институты, налоги.

Датировать развитие культа Даждьбога помогает филология. «Бог» — иранская форма (boh), проникшая к славянам в период наиболее сильного скифского влияния, в VI—IV вв. до н. э. В русском фольклоре сохранился целый пласт легенд о божественном кузнеце (или двух кузнецах) — основателе кузнечного дела и победителе зловредного Змея, требовавшего человеческих жертв. У праславян моногамная семья и кузнецы появились уже в IX—VIII вв. до н. э., и, возможно, к этому времени следует отнести зарождение культа Сварога. Образ же Змея, на котором божественный кузнец пропахал знаменитые оборонительные «Змиевы валы», расценивается исследователями-фольклористами как «гиперболизированное олицетворение реальной опасности», степняков-кочевников, жегших деревни и города («огнедышащий змей»).

Возникновение культов Сварога и Даждьбога совпало с зарождением героического эпоса древних славян; легенды о них отразились во многих циклах произведений народного творчества. Сварожичу — сыну Сварога — как богу огня поклонялись в отдельных районах России до начала XX в.; культ огня в многообразных формах являлся важным элементом народного сознания.

ДИДА — богиня любви и супружества. Венера Северных Славян. Испорченные ее названия — Дидилия, Дзидзилия, Зизилия, Циза. Это Скандинавская Диза (матерь богов, земля), богиня любви, брака и урожая. Она изображалась ни пешая, ни едущая на колеснице или верхом, ни одетая, ни нагая, но сидящая в половину на овне;

прикрытая только сетью, и с изображением новолуния над головою.

Мнение о существовании у славян такой богини основывалось, главным образом, на результатах начавшегося в XVIII в. собирания и изучения славянских народных песен, в которых не редки припевы типа: «Ай, дидо, ай, ладо!»; «Ой диди ладо» (исходная форма: «Ой-дид-ладо»). Но уже в конце XIX в. выяснилось, что слово «дид» может означать лишь качество другого божества (ср. «Великое Божество» — Dedis Dewie — в литовском языке). Упоминающееся же в двух средневековых сочинениях имя богини Дивии, или Дивы, прямо относится к античному пантеону: «Ов Дыю (Зевсу.— А. Б.) жрет, а другый — Дивии» (ср. «Ма-Дивия» в надписях Крито-Микенского храма). О «создании» в романтический период славяноведения новых богов см. также Лад.

ДЫМВОЛОК — окно за печью с деревянною трубою в сени или во двор.

Дымовое, «волоковое», т. е. закрывающееся вставленной в пазы заслонкой окошко еще в XVII в. встречалось не только в крестьянских избах, но и в царских дворцах.

ЗАВОЛОК — род шкафа с задвижными дверцами, у стен близ печи; в нем хранится посуда.

ЗАЙМИЩЕ — старое слово, то же, что *облава.*

В таком значении в древнерусских исторических и литературных памятниках не отмечено.

ЗАРАНЬЕ — рассвет.

«С зараниа до вечера, с вечера до света летят стрелы каленыя» («Слово о полку Игореве»).

ЗАРЕВ — месяц август.

В «Стихираре» XII в. читаем: «...месяц август, рекомый зарев, имат дний 31 день».

ЗАЦЕПЫ — охотничье слово, значит л а п ы.

ЗВОННИЦА — колокольня.

ЗНАКОМЦЫ — бедные, бездомные дворяне, жившие из милости у бояр.

ЗОРАНА — древнее Славянское женское имя, употребляемое ныне в Сербии и в Болгарии.

ИДЕЖЕ — где.

«И приде в словени, идеже ныне Новград», — читаем в «Повести временных лет».

ИДЕЛЬ, Эдель, Этель — по-Старотатарски значит река. От сего и название Волги: *Этель,* или *Атель,* а Дуная: *Атель-Кучюк,* то есть малая река.

ИЛВМЕНЬ — по-Татарски значит *озеро Лиман,* слово, проис⟨ходящее⟩ от Греч⟨еского⟩, и то же значит.

Это объяснение было поддержано многими специалистами по славянской этимологии. Но нужно заметить, что в древнерусских текстах новгородское озеро называется Илмерь и происходит скорее от финского Ilmajärvi.

ИЛЬМЕНЬ — Новгородское озеро, в старину называлось *Мойско.*

Так вообще называли небольшое озеро или залив, образовавшийся во время разлива воды.

ИЩЕЙНЫЙ ПЕС — гончий.

КАЛПАК — Татарская шапка из шелковой материи, обшитая мехом (от татарского kalpak.— *А. Б.).*

КОРДЫ ЛЯЦКИЕ — Корды, испорченное Готфское слово Sverda — меч, так же как, наприм⟨ер⟩: Valsca hialma — вольский, влахский шлем.

Корд, коръда — короткий меч, кортик. Название идет от индоевропейского корня (ср. персидский kārd, авестийский karəta, древнеиндийский kartari — охотничий нож). В средненижненемецкий язык слово попало, вероятнее всего, из русского.

КОСМЫ — кудри.

КОСТЯНИЦА — костяника, ягода.

КЫРЬ — по Татарски-Башк⟨ирски⟩ *поле.* От сего *Озу-Кыры* — Узовское поле, между Днепром и Азовским морем.

ЛАД — правильнее *Ладо.* По Длугошу, *Ляд* (по произношению Польскому) — бог войны, односвойственный Марсу. В жертву сему богу Славяне приносили и людей. Недаром ввелась брань, вероятно, со времени упадка язычества: *пошел к ляду!*

Лада в древнерусском языке — муж, супруг. «Уж на милых лад ни мыслию смыслити, ни думою сдумати»,— говорится в «Слове о полку Игореве». Лад — также помолвка, родительское благословение. Существование языческого божества с таким именем было опровергнуто во второй половине XIX в. В новейшей литературе есть мнение, что у древних славян существовало женское божество Лада — покровительница девушек и женщин, близкая древнегреческой Лето (Лато), которой посвящались обряды, связанные с замужеством, пахотой и севом.

ЛАРНИК — чин Веча, хранитель ларя вечевого с деньгами и грамотами.

Существовал в древнем Пскове; у веча, однако, не было «чинов» — ларник был представителем городской администрации.

ЛЕЧЕЦ — лекарь.

«И аште и лечец прилучится, ты даждь цену исцеления его деля» («Изборник Святослава» 1076 г.).

ЛИВАН — благоуханная Ливанская смола.

МОЙСКО — древнее название озера Ильменя.

В письме «О Господине Новгороде Великом» Вельтман писал, что это слово преобразовано из Maosz. В действительности оно ближе к слову мой, в диалектах — мойский, восходящему к индоевропейскому корню.

НЕЛЮБИЕ — ненависть, иногда досада (выражение летописи)

НАУТРИЕ — на другой день.

НАЧЕЛЬНИК — повязка девушек.

Она носилась на челе — на лбу.

НЕВЕГОЛОС — невежда.

Слово невеглас — темный, необразованный человек — нередко употребляется в литературе XVII в. («невегласы мужики» и т. п.). Из древних памятников Вельтман мог почерпнуть его только в «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку: в рассказе о мученичестве первых на Руси христиан отмечено, что «бяху бо тогда человеци невеголоси (т. е. темные, непросвещенные.— А. Б.) и погани (язычники.— А. Б.)».

НЕБОГИЙ — бедный.

НЕДРО — грудь.

Пазуха в современном значении (в древности пазуха — подмышки): «Приемляй мьзду в нядра бес правьды не направляеться на пути» (XI в.).

ОБИЛЬЕ — трава, сенокосные пастбищные луга, от слова *былие* · трава.

Witey leto liberzne,
Obilicko Zelene...

т. ė. здравствуй, любезное лето, зеленый лужок... (Богемс⟨кая⟩ песня).

Слово в древнерусском языке означало изобилие, богатство и хлеб на корню. «Побил мраз обилье по волости»; «поидоша дождеве и поимаша и обилие, и сена»,— читаем в Новгородской I летописи. Оно происходит от праславянского овѣ — изобилие, хлеб в зерне.

ОБРЫ.— «В сии же времена (в 7 столетии) быша *Обри*, иже воеваша на *Царя Ираклия и мало его не яша.* Сии ж Обри воеваша на Словены и примучиша Дулебы, сущия Словены» (Нестор. Кенигс⟨бергский⟩ сп⟨исок⟩, стр. 11). Ираклий вступил на престол в 610 году до Р. Х. *«В 624 году* война возобновилась с Абарами (Аварами)... *Приск*, предводительствовавший войсками Ираклия в Мизии, совершенно погибал уже от недостатка в продовольствии, в разоренном крае... Хан Абарский (Аварский), хотя язычник, оказывает свое великодушие и снабжает войско Приска продовольствием. Великодушие Хана служит причиною к заключению мира...» (История Рима). Слова Нестора, поверенные Историею Рима, кажется, ясно доказывают, что Нестор под именем Обров разумел Абаров, т. е. Аваров.

Позднейшие исследования полностью подтвердили вывод Вельтмана. Обре, о которых сказаны знаменитые слова во введении к «Повести временных лет» («Беша бо обре телом велицы и умом горди, и бог потреби я: помроша вси и не остася ни един обрин; есть притча в Руси и до сего дне: погибоша аки обре») — это авары, гунны.

ОБЯЗ — пояс с пряжкою, на чем висит меч (древнерусская обязь, перевязь.— *А. Б.*).

ОДИН — был Верховный жрец и Правитель Азов, пришедших с Митридатом из Азии и поселившихся при озере *Темеринде*, получившем от них свое название: Азак-Денгис или Озеро-Азов. ⟨...⟩ Один был Царь *Тирков*, следовательно, Азы были поколения *Тюрков*, т. е. Торков![1] Победителем на Севере Один появился около 70 года до Р. Х. и стал богом в понятиях Скандинавов и законодателем сего народа.

Повсюду пронеслись слухи, что он в одну минуту может облететь свет, что он владеет стихиями, оставляет свое тело и переселяется душою в зверей, рыб и птиц, воскрешает мертвых и сам ложится вместо них в гроб, предсказывает будущее, посредством очарования и зелья возрождает силы человека и уничтожает их, поет песни[2], от которых разверзается земля и трескаются горы.

Он и сыновья его обладали Скифией и Холмоградским царством. В его походах участвовали и народы Славянского поколения.

В мифологических и героических песнях Старшей Эдды и других произведениях древней германской литературы Один — верховное божество, предводитель богов-асов, покровитель военных дружин, отец валькирий и т. д. Его функции весьма обширны, многочисленные «деяния» упоминаются, обычно мимоходом, во многих произведениях.

В духе своего времени, «романтического» периода историографии и филологии, Вельтман свободно пользуется сопоставлениями слов по

---

[1] Азы, Узы, Ясы — один и тот же народ; настоящее их имя должно быть Торки. Как переселенцев из Азии в Европу, вероятно, соседственные народы называли их Азами, т. е. Азиятцами.

Прим. Азгард был первоначально столицею Одина (см. Далина). Птоломей говорит, что при Повороте Днепра, на левом берегу реки, выше *Амадока*, был гор⟨од⟩ *Азагориум*.

[2] Оден был вместе и стихотворец. Сохранилась его поэма в 120 строф, смысл некоторых следующий: «Не полагайся на ясность дня, на уснувшую змею, на ласки своей невесты, на изломанный меч, на засеянное поле, на сына могущества... Самая ужасная из болезней есть недовольствие своей судьбою. Посещай чаще своего друга, протаптывай дорогу к нему, чтоб путь дружбы не порос травою».

созвучию и историческими ассоциациями. Германские боги-асы связываются с Азовским морем (входившим в состав владений знаменитого царя Митридата, воевавшего с Римом) и с узами-торками (см. А з а к - Д е н г и с), несмотря на их географическую и хронологическую несовместимость; название одного из германских племен, в свою очередь, ассоциируется с тюрками, что равносильно, например, сопоставлению небольшого племени из Средней Азии со всеми народами индоевропейской языковой группы (см. также Азы и Аз-гард в комментарии к «Светославичу»).

Говоря о «песнях» Одина, Вельтман вольно пересказывает отрывки из «Речей Высокого» (Одина) в Старшей Эдде, в действительности насчитывающих 164 строфы.

ОЛЕЛЬ — древнее Славянское имя (упоминается в летописях и в былинах.—*А. Б.*).

ОЛУЙ — масло, елей.

ПАРОВАЯ ЛУЧИНА (употребляемая в деревнях для освещения) — знач⟨ит⟩ — годовая, сушенная в пару; связывают ее в снопушки (пачки).

ПЕНЯЗЬ — общее название денег у древних Руссов. *Оден* наложил на подвластную ему Скандинавию подать с *носа*, сия подать называлась пенязию (см. Далина).

Сходное мнение — о готском происхождении слова п е н я з ь — существует и в современной литературе.

ПЕРУН — идол древних Славян. Бог грома, молнии, снега и дождя. Сей идол принадлежал более многобожию Литовцев, по сие время гром называется у них *Перкуном...*

Возникновение культа Перуна-воителя относится к героической эпохе расселения индоевропейцев (конец III тысячелетия до н. э.), когда образуются военные дружины, складывается военная демократия; это бог-гроза конных воителей-пастухов, вооруженных секирами, надолго ставшими символом божества. Культ Перуна засвидетельствован у южных славян, у славян полабских; он тождествен литовско-латышскому Перкунису-Перконсу, возможно, индийскому Парджанье, кельтскому (P) erkunia и др. Перун упоминается в «Повести временных лет» (см. Д а ж д ь - Б о г). Видимо, с ним связаны были описанные там же человеческие жертвоприношения: «Ме́чем жребий на отрока и девицю: на него же падеть — того зарежем богом...»

В Киевской Руси Перун был уже богом — владыкой мира, первым из богов. Еще до крещения Руси началось постепенное замещение Перуна Ильей-пророком, ездящим по небу в огненной колеснице: летопись говорит, что при заключении договора Руси с греками в 945 г. русы-язычники клялись Перуном, а русы-христиане приносили присягу в церкви св. Ильи. До начала XX в. во многих районах России сохранялись кровавые

жертвоприношения Илье-Перуну; на начельниках изб и до сих пор вырезают иногда «громовый знак» колеса с шестью спицами для предохранения от молнии.

ПЕСТУН — то же, что дядька.

Значит — воспитатель; например, в Остромировом евангелии: «Страсти святааго Вита и Медоста, пестуна его».

ПИДОБЛЯНИН — житель селения Пидьбы, на реке Пидьбе.

Слово заимствовано Вельтманом из рассказа о крещении Новгорода в Новгородской IV и Ермолинской летописях (и истолковано совершенно верно): Перуна сбросили в Волхов, и он поплыл по течению; «и иде придьблянин рано на реку, хотя горонци вести в город; оли Перун приплы к берегу, и отрину й шестом: Ты,— рече,— Перушице, досыть сии ел и пил, и ныне поплови прочь; и плы с света окошнее». Использованная Вельтманом поговорка: Д о б р ы н я к р е с т и л (Новгород.— А. Б.) м е ч о м, а П у т я т а о г н е м» — впервые приведена историком XVIII в. В. Н. Татищевым.

ПОГОСТ — прежде слово сие значило приходское село, ныне значит кладбище. Разделение селений на погосты сделано Ольгою. Каждый погост имел при себе несколько окрестных зависимых деревень. Г⟨осподин⟩ Соч⟨инитель⟩ Ист⟨ории⟩ Княж⟨ества⟩ Псковского полагает, что слово сие происходит от Греческого... «крепость», с округою подведомственных волостей и сел. Вероятно, *погост* значило приходское село; обычай же Христиан хоронить покойников при церквях дал погосту название кладбища.

Слово происходит от г о с т ь, погостить. В Лаврентьевской и Ипатьевской летописях, на которые, видимо, опирался Вельтман, в рассказе о походе княгини Ольги на древлян в 947 г. слово «повост» (в других списках — «погост») означает жилое подворье князя и его дружины, где он собирал налоги с окрестных жителей: «Иде Вольга Новугороду и устави по Мьсте п о в о с т ы и дани» и т. п. Выдающийся русский филолог А. А. Шахматов утверждал, что северовосточнорусское слово «повост» пошло от юго-восточного «подо́ст», что подтверждает, видимо, соображение Вельтмана о греческом происхождении термина. В то же время слова «гость», «гощение» —индоевропейские, и родственные им слова есть во многих языках.

ПОГРЕБ.— В летописях темница называется погребом.

Вельтман мог иметь в виду фразы: «И реша: поидем, высадим дружину свою ис погреба» (Лаврентьевская летопись); «задохлися в погребе» (Ипатьевская летопись); «дружину его в погреб всадиша»; «повеле въметати в погреб что *есть новгородец, а иных в гридницю» (Новгородская I летопись); «А инии, в погребах запечатавшеся, подохша зноем» (Псковская I летопись) и т. п.*

ПОМИНКИ — в старину значило: подарки в знак памяти, особенно при свадьбах.

В том числе подарки между государями; в XVII в. царь шлет Крымскому хану «любительные поминки». Иногда означало дань.

ПОСВИСТ — бог ветра и безгодия. Его называли также Вихорь и неправильно: Позвизд, Похвист.

Это имя получил в русских сказках бог бури и вихрей Стрибог (в «Слове о полку Игореве» ветры названы «стрибожьими внуками»); другое его позднее имя — Погода. В сказках и народных песнях слово чаще звучит как Похвист. Интересно, что в Софийской I, Новгородской IV и Воскресенской летописях среди множества сыновей Владимира Святославича называется Позвизд, нареченный, очевидно, еще до крещения князя.

РЕЗЬ — процент (Русск⟨ая⟩ Правда).

Упоминается в Правде несколько раз: «Аще кто куны дает в резь, или настав на мед, или жито в просон, то послухы ему ставити»; «а месяцьный резь, оже за мало, то имати ему»; и др.

РЕНЬ — пристань или наносной низменный песчаный берег, вообще в тех местах, где река отступает, обваливая противный крутой берег. В подобных местах волны, разбегаясь, выбрасывают на берег все плывущее на воде. Перуня рень — место, где пристал брошенный в воду Перун.

Когда киевского Перуна спустили в Днепр, он «проиде сквозе пороги, и изверже й ветр на рень, яко и до сего дни словет Перуня рень»,— читаем в «Повести временных лет» по Радзивилловскому (Кенигсбергскому) списку, которым часто пользовался Вельтман.

РУНЫ — иссеченные на камне или вырезанные на дереве Готические надписи в память великих дел. Рунических букв, употребляемых для сего письма, было 16, 11 сходных с древними Ионическими, а 5 неизвестных.

Руническое письмо (от германского runa — тайна) у древних германцев известно уже по памятникам I—III вв. Старших рун (III—VIII вв.) двадцать четыре. Вельтман имеет в виду Младшие руны, применявшиеся в IX—XI вв. Руны сохранялись до XIV—XVI вв. Их звуковые обозначения ныне известны.

САДАК — *Сайдак* — тул. «И не токмо Боемляне были храбровоинственные и изрядные *Сайдачники*, но и жены и девицы оные страны были такожде природою храбровоинственны» (Мавроурбин, стр. 42).

СВЕТОВИД, СВЕТОВИЧ.— Сему идолу поклонялись Северные Славяне, жившие при Балтийском море, называвшиеся *Поморянами*, и особенно на острове Ругене[1]. По мнению Страленберга, земля Холморугия

[1] Литовцы также поклонялись Световиду под именем Swatostix (испорченное *Светович*) — Бог света. *Стриковский.*

(по Далину, Холмоградская) была между Ладогой и Пейпусом, но это ложно; древний остров Руген есть тот же, который и до сего времени не изменил своего названия: *«При Кануте IV, Короле Датском, Богуслав, князь Поморянский, вел войну с соседом Князем Ругенским Яромиром».*

Примеч. В надежде скоро выдать *Славянскую Мифологию*, не распространяюсь здесь в описании *старых богов*[1].

Средневековые сведения о почитании Световида у западных славян приводят католические авторы[2]. *Но многие из описанных ими «богов» (Морепа, Купала, Ярила и т. п.) на поверку оказываются лишь элементами народных обрядов. Сообщений о почитании Световида в Древней Руси мы не имеем. Можно предположить, что к нему относится герой цикла сказок «О трех царствах» Световик (Сьвiтовик, Светозар, Светланя), образ которого возводится современными исследованиями к мифологическому Колаксаю (Солнце-Царю) из рассказа Геродота о верованиях скифов. Однако «Солнцем» называли Даждьбога (возможно, это лишь эпитет), а богом солнечного диска был Хорс («круглый»; в «Слове о полку Игореве» он назван даже «Великим Хорсом»). Следовательно, если в славянской мифологии Световид занимал место в основном пантеоне, его можно отождествить с белым светом (как освещенным небом, Вселенной): в сознании древних славян солнце и свет существовали раздельно («Свет на всю Вселенную есть свет неосяжаем, неисповедим, никим же где ся водворяет... Никто же бо можеть указати образа свету, но токмо видим бывает»). В этом случае нужно согласиться с польским средневековым хронистом Матвеем Стрыйковским, на которого ссылается Вельтман.*

СМАГА — жар.

В «Слове о полку Игореве» сказано: «Поскочи по Русской земли, смагу мычучи в пламяне розе».

СОПЕЛКА, СИПОВКА — род маленькой дудочки с язычком.

«Возьмите сопели, бубны и гусли и ударяйте...— говорится в «Повести временных лет» — и ударили в сопели, в гусли и в бубны, начаша им играти».

СРЕДОВЕЧИЕ — возраст мужества, средние лета.

---

[1] Завершенной Славянской мифологии мы не имеем до сих пор, несмотря на наличие ряда фундаментальных исследований в этой области; из работ на русском языке можно рекомендовать: Фаминцын А. С. Божества древних славян. Спб., 1884; Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. Спб., 1913; Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1916; Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981.— *А. Б.*

[2] Полный обзор средневековых сведений см.: Niederle L. Slovansk.— Starožitnosti. Vira a náboženstvi. Praha, 1924, t. 2, s. 87—181.— *А. Б.*

«Иным бо человеком в начатце похваление бывает, иным же в средовечьи, другому же в старости» («Софийский Временник»).

СТРИБОГ — подземное божество древних Богемцев — вроде Плутона.

Так же как и Даждьбога Стрибога связывают со скифским (иранским) этапом истории праславян. Наиболее аргументированное объяснение имени Стрибога — «Бог отец», эпитет верховного божества как отца Вселеннной. Возможно, что Стрибог, Сварог («Небесный») и Род («Рождающий») означают одно патриархальное мужское божество, пришедшее на смену архаичным представлениям о Небесных Владычицах. Это позволяет объяснить, например, почему автор «Слова о полку Игореве» называет ветрá «стрибожьими внуками». Объяснение Вельтмана основано на фантастических параллелях польского хрониста Яна Длугоша. Античным аналогом Стрибогу следует скорее назвать Зевса, а из скифского пантеона (каким его рисует Геродот) — Папая.

СТРУЖИЕ — оружие.

Вероятно, копье. В «Слове о полку Игореве», откуда заимствовал это слово Вельтман, читаем: «...сребрено стружие храброму Святьславичю»; «И дотчеся стружием злата стола Киевского».

ТАЙТЗИ — у Монг⟨олов⟩ — чин.

ТАМА-ТАРХАН — настоящее название *Тмутаракани*, переиначенное Русскими. Город сей, согласно с исследованиями и названием, есть *Тамань,* на левом берегу *Таманского гирла;* по-Гречески *Таматарха.*

В VI в. на этом месте находился античный город Германасса. В VIII—IX вв. Таматарха входила в состав Хазарского каганата; после разгрома хазар Святославом в 945 г. Тмутаракань стала центром русского княжества. Под ударами половцев оно в XII в. потеряло связь с русскими землями, а в XIII—XIV вв. город Тамань под названием Матрика вошел в состав Золотой Орды.

ТЕПАТИ — по-Сербски значит заикаться. В выражении же: *варганы тепуть,* значит: *зычат.*

ТИАУКО — древний Ясский город на р. Герре, впадающей в Каспийское море. Означен на карте Ист⟨ории⟩ Сербской Раича.

В Воскресенском летописце (Карамз⟨ин⟩) сказано, что русские воевали вместе с Татарами против Яссов и Алан и были «за рекою *Терком* (Тереком) на реце на Савенце, под градом под *Тетяковым».* Г Карамзин полагает, что *Тетяков* есть нынешний *Дивен* или *Дебух* в Южном Дагестане. Но положение Тиауко на р. Саане (Севенце) более сходно с описанием Воскресенского летописца.

Ясы, яссы — название одного из аланских племен, оставшегося после Великого переселения народов на Северном Кавказе и упорно боровшегося за свою независимость сначала с Арабским халифатом, Хазарским каганатом и Византийской империей, а потом с монгольскими завоева-

телями. Ясами был создан знаменитый Нартский героический эпос; это предки современных осетин. Племенное название «алан» бытовало на Северном Кавказе вплоть до XIX в., но уже в значении «приятель», «сосед».

ТИУН, ТИВОУН — судья волостной или сельский.

Первоначально тиун — княжеский или боярский слуга, дворецкий, домоуправитель или назначенный князем из своих слуг управляющий городом, уездом, волостью. Вельтман пользуется поздним значением слова, появившимся вследствие того, что суд был одной из основных функций управляющего.

ТОЛА — река в Монголии, значит зеркальная.

УДАТНЫЙ — храбрый. Удатная дружина, Мечеслав Удатный.

Точнее — удачливый, счастливый; у д а ч а высоко почиталась воинами-дружинниками раннесредневековой Европы, отсюда прозвания «удатными» князей и дружин (так же как, например, Мстислав Храбрый, Мстислав Удалой, Буй Тур Всеволод и т. п.).

УРДА — в Монголии.

ФАТА — шелковое клетчатое покрывало, которое Татарки набрасывают на голову и на плеча. От Татар издавна перешло в употребление в России. И доныне фаты употребляются поверх кокошника. Богатые фаты делают с золотым и серебряным утоком; бывают различной величины: от $1\frac{1}{2}$ до 3 аршин.

Древнерусское слово ф о т а происходит от турецкого futa, fota, в свою очередь заимствованного из арабского языка (fūta), в котором означало п о л о с а т у ю индийскую ткань. Очевидно, оно пришло с Востока вместе с купцами, привозившими на Русь эти ткани.

ФЕРЕЗЬ — верхняя женская одежда. Происходит от Турецкого Фередже. Фередже у Турок надевают поверх всего платья, без оного женщина никуда не выходит.

До введения в 1670-х годах коротких «служилых» кафтанов царем Федором Алексеевичем, ферезь была распространенной парадной одеждой чиновников царского двора, а также их супруг и дочерей. Само слово действительно заимствовано из турецкого языка, но попало в него из греческого.

ШАУСИН — вино из сорочинского пшена, употребляемое в Монголии и в Китае.

ШВЕЦ — портной.

ЩИТ.— У древних Славян щиты были и кожаные. «Щит его был обтянут тремя буйволовыми кожами» (Краледв⟨орская⟩ рукоп⟨ись⟩). У древних Руссов были в обыкновении красные щиты. У Скандинавов простые щиты и шлемы бывали также из кожи.

Кожей, нередко в несколько слоев, обычно обтягивался деревянный

щит, укрепленный также металлическими полосами и большой бляхой в середине для отражения ударов. Древнерусские щиты почти не сохранились, но судя, по сообщениям византийских авторов, изображениям на миниатюрах и тем мечам, которыми владели дружинники, легкие плетеные и обтянутые кожей щиты были не в ходу. Летописи многократно упоминают червленые (красные) щиты. Скандинавы предпочитали сражаться пешими и носили большие щиты, закрывавшие почти все тело.

ЯРО — весна. «Бы везди Яро было, как бы зрало яблко в саде». (Краледв⟨орская⟩ рукоп⟨ись⟩).

Отсюда — яровые; ярь (яркость, блеск), яренье (пора — течка, ток — у животных и птиц) и т. п.

«СВЕТОСЛАВИЧ, ВРАЖИЙ ПИТОМЕЦ. ДИВО ВРЕМЕН КРАСНОГО СОЛНЦА ВЛАДИМИРА»

АЗ-ГАРД — т. е. град-А́зов. «На восток от Танаиса, в Азии, страна называлась Аза-ланд (земля Азов) или Аз-хейм (обитатель Азов). Столица сей страны называлась Аз-гард; а в столице был правитель, называвшийся Одинн *(Ynglinga Saga)*.

По сему описанию можно предположить, что Аз-гард есть Азов. Птолемей упоминает об Азагарде (Azagorium) на Днепре; но это другой Азгард: Готты называли Азгардом вообще Столицу, т. е. город Богов, или властителей, где был храм божества. Азгард Днепровский есть, кажется, древний Киев, где были храмы и Kiffe (tabernacle, Кивот, cave) — вечная обитель Херров или Азов, т. е. Господ Сакских, или Скифских (Herr на древнесеверогерманском языке — господин, хозяин.— *А. Б.)*.

Употребляемое в «Саге об Инглингах» слово Асгард действительно означает город Асов, но оно могло появиться лишь после того, как слово гардр в значении город, крепость, было заимствовано скандинавами из общения с русскими («Сага» написана в XIII в.), см. Гардарикия; тем более не могли называть Азгардом «вообще Столицу» готы. Метод производства названия города Киева от слова кивот уже во времена Вельтмана был неоригинален: над ним иронизирует Н. М. Карамзин в первом томе своей «Истории»: «Татищев думает, что имя Киева или Киви есть Сарматское и значит горы... Щербатов находит имена их Арабскими или Персидскими... Рейнегс утверждает, что «сей город основан Готфами, ибо имя его есть Финико-Арабское... Но мы не видим нужды опровергать сказание Нестора, который приписывает строение Киева Славянским Полянам... Имена древние не всегда могут быть изъяснены языком новейшим: из чего не следует, что они произошли от иного языка».

«Баер,— пишет далее историк,— желая утвердить истину Несторова сказания, искал нашего Кия (основателя Киева согласно «Повести временных лет».— А. Б.) в Готфском Короле К н и в е, воевавшем в Паннонии с Императором Децием... Баер излишно уважал сходство имен, не достойное замечания, если оно не утверждено другими историческими доводами». Наконец, Карамзин находит «многие примеры в Греческих и Северных повествователях, которые, желая питать народное любопытство, во времена невежества и легковерия, из географических названий составляли целые Истории и Биографии» (т. 1, с. 54—55, 299—300).

АЗЫ—АСЫ—ЯСЫ—УЗЫ—УЦЫ — названия одного и того же народа, обитавшего в первых столетиях на Дону, или Танаису. Сей народ есть коренная ветвь того древнейшего Арабского племени, о котором упоминает Абульфед, по сказанию Саида Эль-Ахмета, под именем *Ад*, или *Аз*, или *Азад*, и которое поклонялось *Атарду* (Атта, Аттароф — astaroth). От сего племени произошли, кажется: 1) *Торки* — разделившиеся на европейских, не принимавших религии Магометовой, поселившихся на Дунае и известных под именем Венгров; — и на Торков-Мусульман. 2) Народ, известный под именем *Татар*.

Ход размышлений Вельтмана таков. Мифическое арабское племя, о котором упоминает мусульманский средневековый ученый Абуль Фида, по названию созвучно с а с а м и — древним народом, произведенным исландским автором XIII в. Снорри Стурлусоном от имени древнегерманских богов. «По сказанию Катона,— пишет Вельтман в монографии «Индо-германы или Сайване» (с. 4—5),— еще до Троянской войны Италию населяли Omvri — то есть заключает исследователь, Обры. Движению из Нижней Азии И в е р о в (Avari, Abari, Obri, Ombri, Gumri, Gomer) соответствует предание Манетона о внезапном наводнении Египта пастырскими ордами А р а б о в (примеч.: их область в Египте называлась Avaris), бежавшими от преобладания Ассирийского в Африку. Это переселение Арабов или Аваров, Иберов или Иверов...» происходило в древнейшие времена, еще до финикийской колонизации Средиземноморья! Но в русских летописях упоминаются у з ы или г у з ы — кочевое тюркское племя т о р к о в, выделившееся из племенного объединения о г у з о в и к середине II в. вытеснившее печенегов из южнорусских степей. Поскольку прозвание их звучит сходно с именами народов, объединенных Вельтманом в о д н о п л е м я, он считает торков потомками асов.

Но как летописные торки попали в Венгрию? Очевидно, что Вельтман спутал у з о в с я с а м и, т. е. с а л а н а м и в русских летописях. Это ираноязычное племя сарматского происхождения, разгромленное гуннами в IV в. (что выпало из поля зрения исследователя) ушло в Галлию и Северную Африку, частично на Северный Кавказ, оставив на своем месте победителей — г у н н о в, они же а в а р ы, они же в русских лето-

писях о б р ы. *Но* г у н н ы *пришли из Внутренней Азии, откуда позже явились орды кочевников под общим названием* т а т а р ы. *Круг именных и географических ассоциаций замкнулся. Остается лишь сопоставить* т о р к о в *с* т ю р к а м и *и затем с* т у р к а м и, *воспринявшими в свое время мусульманство, и перед нами единый могучий, хотя и неизвестный науке, народ, населявший и Европу, и Азию!*

АТАМАН — слово древнейшее (индоевропейское.— *А. Б.*), с малым изменением сохранившееся во многих языках; происходит, кажется, от attaman — отец людей, голова (mann и Lid в древнем языке значит: люди военные). По-Малорос⟨сийски⟩ *Гетман* — начальник войска. По-Молдав⟨ски⟩ *Ватаман* (начальник села), *Хатман* (начальник войска). По Немец⟨ки⟩ Hauptmann — голова войска. По-Сербс⟨ки⟩ *Главарь;* то же, что *Капитан* — голова. По-Персидс⟨ки⟩ *Хатим* — судья.

К этим сопоставлениям необходимо добавить, что слово а т а м а н *(*а т - т о м а н*) производят и от татарского ата (отец) и томан (тьма, 10 тысяч войска), т. е. глава войскового соединения.*

БАЛДАХИН — значит кровля божья, состоит из слов Baal и dach или deck.

Вельтман делает характерную для его времени этимологическую ошибку, опираясь только на фонетическое созвучие. Слово это, означающее навес из материи, подпираемый, столбиками, пришло в русский язык из Европы (от Baldacco — Багдад, откуда привозилась золотая парча). Но сама идея сравнительно мифологии разных народов оказалась плодотворной. Современные исследователи, например, проводят многочисленные параллели между древнеславянским божеством Р о д о м *и ханаанейским (сиро-палестинским)* Г а д о м, *или* В а а л о м *(Балл-Хадд).*

БАЛИЙ — ваалствующий или волхвующий — жрец предсказывающий (ср. «Волотово поле» в «Кощее»).

*И это слово нельзя рассматривать как доказательство распространения у славян ханаанейской мифологии. О «балиях и волхвах» впервые говорится в Геннадиевской рукописной библии 1499 г.; еще в XVII в. «Книга, глаголемая гречески алфавит», рассматривает это слово как «иностранные речи, яже не переложены на русский язык»: «*Б а л и й, *нарицается басней сказатель. И паки* б а л и й *нарицается, иже... наговоры творит бесовския...»*

БЕРЕЖИЩЕ — по преданию, место, где стоял в Киеве идол Перуна, называлось *Чертово беремище*; но должно читать не беремище, а бережище; м. ошибочно заменило ж.— Само слово берег (старославянское *брег* — берег, холм, склон.— *А. Б.),* Готфское *berg* или *bairg* — гора. Гора, на которой стоял *Перун,* то же божество, что и Тор, называлась, без всякого сомнения, Torbairg, т. е. Торов (по-древнеисландски Tórr.— *А. Б.*), или *Чоров берег.*— Ибо Чор, Чур, обратилось в черта,

точно так же, как все названия языческих богов в названия духов тьмы: diy-вал или diy-бел — дьявол; vaal-zeus — вель-зевуль; и пр. и пр.

Из этого рассуждения не следует, что Вельтман возводит славянскую мифологию к скандинавской. Обращаясь в работе «Индо-германы или Сайване» к мифологическому комплексу, объединенному в древней индийской литературе именем Вишну, он пишет, что как божество войны — это Х а р э (ср. Арей, Яро, Геракл), тысячерукий Арджуна, в славянских языках Юрий (Јорги, Јоргиле). «К нему отнюсились и витязные песни (witezna picěn) с возгласом ура! по припеву: Д ж а й н а, д ж а й н а, д е в а Х а р э! — победа, победа, боже Х а р э!» При этом празднество в честь Х а р е А р д ж у н ы соответствовало Юрьеву дню осеннему, тогда как «весенний Юрий» (март) у Славян Marec, Marek,— откуда и Латинское М а р с вместо Арей, Юрий». Таким образом, речь идет о попытке реконструкции не германской только, а индоевропейской мифологии в целом.

БЛИЗОК — любимец, приближенный.

Это значение, по-видимому, придумано Вельтманом; в древнерусском языке слово означало родственника по браку, свойственника; в «Повести временных лет» говорится: «...да возвратит имение к малым б л и ж и к а м в Русь», т. е. родственникам, вероятнее всего — детям.

БОЖЕРОК — южное название жрецов — вещунов храмов Божевых.

БОЛВАН — значит лик Ваала, который изображался в виде *Быка* или *Вола*, как символ могущества.

В древнерусских памятниках, начиная со «Слова о полку Игореве», б о л в а н значит столб, изваяние, статуя, идол, кумир, чурбан, неуч. В книге Вельтмана «Московская Оружейная палата» (с. 6) приведен текст описи казны царя Михаила Романова: «Два б о л в а н а (в данном случае — узорчатые кружки.— А. Б.) серебряны золочены чеканные с кровлями и с рукоятьми, на пузех по личине с крылами». В настоящее время существуют две версии происхождения слова: 1) от персидского п е х л ä в ä н — герой, богатырь, через киргизский п а л у а н, б а л у а н (с развитием смысла от героя к изображению героя, статуе, идолу, чурбану, дураку); 2) от турецкого (заимствованного из китайского) слова balval — столб с надписью.

БУВЕНЬ — древний инструмент из воловьей кожи (bubula), натянутой на обруч, издающий зык, или звук, подобный мычанию; употреблялся первоначально на праздниках Вааловых в знак шествия Ваала.

В XI—XII вв. название этого хорошо известного инструмента писалось как «бубен»; приведенная Вельтманом форма в древнерусских памятниках не зафиксирована.

БУЛАВА — была в древности признаком господства.— Скипетр, или держава. *Булава* есть жезлик, на коем вместо набалдашника золотой шар, в древности украшавшийся драгоценными камнями. Слово сие едино-

значно с Ball oon, Ball on, Ballin — шар — идея власти божеской происшедшая от идеи Ваал-Бал, или Бел-Господь. В старину Гетман, Хатаман или Атаман при избирании получал булаву. Почти у всех народов сей признак власти сохранился по сие время в селах; Ватаманы или Старосты всегда вооружены *палкой*; удаляясь из села, они передают ее кому-нибудь, по произволу, и все покорно сему временному наместнику власти. В слове *палка* также скрывается идея и звук *Бала.*

У Донцев другой признак власти, который носился перед Атаманами, назывался *Бобылев хвот*; это тот же *Бунчук*, или *Пернач. Бобылем* называли совершенно *белого коня*[1]. По-Богемски белый конь также назывался Belon. *Бобылев хвост* есть также булава, только из-под золотого шара рассыпается белый конский хвост.

Современные исследователи склонны производить слово булава от лат. Bulla — водяной пузырь, впоследствии металлический шарик, в который вкладывалась печать, грамота с печатью; в конечном итоге слово восходит к индоевропейскому bol, bul.

ВАЛЯВИЦА — боевая игра Руссов-язычников.

Видимо, слово составлено Вельтманом.

ВАНЫ — Финны — Пунны — Финикяне.

Ваны — вторая группа древнегерманских богов (ср. асы). Превращая мифологических существ в древние народы, Снорри Стурлусон поселил ванов в низовьях Дона, а воевавших с ними асов — восточнее, в Азии. Ассоциация ваны — финны могла возникнуть на основе отдаленного созвучия и перенесения на легенду Стурлусона сведений о столкновениях скандинавских германских племен с финно-угорскими. Итак, заключил Вельтман, ваны стали потом называться финнами. Но, по Стурлусону и народным сказкам, финны — колдуны (маги, как считал исследователь), родина же магов, по Вельтману, Финикия. Финикяне — отважные мореплаватели — основали Карфаген (пунны) и «могли» основать колонию в устье Дона.

Позже общеисторические соображения заставили Вельтмана «переместить» асов, отождествленных им с готами, на Дунай. Но Стурлусон писал, что ваны жили восточнее — и исследователь находит ванов в вандалах, вендах, квадах — славянских племенах, по сообщению Тацита обитавших выше по течению великой реки, а по сведениям историка готов Иордана — воевавших с готами. Таким образом, ваны становятся коренным племенем (чехами), основателями Vanii Regnut (Индогерманы или Сайване», с. 16, 139—143).

---

[1] Домыслено. Слово означало селянина без земли, арендатора и происходило от древнесеверогерманского Land bo-böle сдаваемый в аренду хутор, крестьянин-арендатор. А Б.

Вельтман и многие другие ученые его времени не учитывали безграничности подобных ассоциаций. Например, обратившись от латинских авторов к русским путешественникам XVII в., мы обнаружим, что, по Николаю Спафарию, ван — наследственный титул у монгольских народов: «мунгальский тайша, который у богдыхана — ван, а ван именуется великий боярин, также братья его хановы и племянники ван называются».

ВЕНО — приданое. Но в древности значило цену, платимую за невесту, и сие слово однозначительно с латинским venum-vente — продажа.

Последнее значение — плата, видимо, первоначально: оно есть уже в грамоте князя Мстислава 1130 г.

ВОЛШЕБНИК — то же, что *Балий* и *Волхв*, то есть жрец прорицающий. Составлено из слов *Ваал* и *Шаббэ* — шаббас или саббат — суббота, день мольбы и провещаний.

В значении колдун, чародей отмечено в русских памятниках с XII в. и тесно связано с прорицаниями. Но как аргумент в пользу сиро-палестинской «родины» колдовства (магизма, по Вельтману) не вполне удачен. Это общеславянское слово более тесно связано со древнесеверным völva, образовавшимся, видимо, от völthva — пророчица, сивилла (ср. финское velho — колдун).

ВИТЯЗЬ — герой, победитель; в смысле преобразованном — *воин, рыцарь.* Некоторые производят сие слово от слова Wiking — морской разбойник; но это производство не имеет основания, ибо при сходстве звуков должно быть и сходство имен. Звук и идея слова *Витязь* далеки от *Викинга.*

Слово *Витязь* происходит от прозвания Сатурна или Бахуса: Vitisator — насаждающий виноград (от слова Vitis, гроздь виноградный). Прозвания многоимянного божества происходили от *свойств* божества; но идея, происходящая от Bios — жизнь и vis — сила, должна была иметь преимущество перед прочими. От различия *прозваний* явилось одно божество у различных народов под различными именами; у иных под названием Deus (Дион) — свет; у других под названием Перун; у третьих под названием Святой Витязь (Svantovit, Световит).

Так как все названия языческих божеств обратились впоследствии в собственные имена простых смертных, то и прозвание Vitus, по-Слав⟨янски⟩: Вит, обратилось в имя собственное, а идея божества сохранилась в слове *Витязь.*

Следует заметить, что в памятниках XII—XV вв. слово витязь означает еще княжеского дружинника, воина, а богатыря — только в Алфавите XVII в.

ГАРДАРИКИЯ по-Исландски Gardariki, по-Датски Gärarujkji, по-Ферейски Garderige. По сагам и по смыслу историческому есть назва

ние *Русской земли;* по смыслу же слова знач⟨ит⟩ Царство или *земля Гардов.* В саге Фереингов вместо Gardarike пишется просто Garda. «För Hrafn um sumarit austr i Garda» (9, с. 37). Это слово есть, кажется, не что иное, как *Орда.* Стан всех кочевых народов назывался издавна сим именем. ⟨...⟩ Почти вся Россия в древности была обителию кочевых народов, и потому не удивительно, что вся эта земля называлась garda-rike, или *Ордынское царство.*

Ранее и более народное скандинавское Gardar *и книжное Gardariki — Страна городов — происходит от русского слова город (в древнескандинавском слово gardr такого значения не имело). Город, в свою очередь, восходит к готскому языку, и, возможно, к индогерманскому ghordi. Если в германских языках слово приняло значение «дом, двор, жилье», то в славянских — «город, стена, укрепление». Эта разница в значениях отражает действительное развитие городов на Руси (и у южных славян), поражавшее менее урбанизированных германцев. Во времена же Вельтмана господствовало иное мнение — о «дикости» славянских племен по сравнению с «цивилизованными» скандинавами. Для всестороннего опровержения этого мнения, в том числе материалами археологических раскопок, понадобились еще многие десятилетия.*

ГОЛЖАЖНЯ — слово, употребленное в Правде Русской. «Соли 8 *Голжажн*». Так как Правда Русская есть узаконение Норманнское, то и значение слов должно искать в сем языке... (Gatge — вес).

Вельтман следует здесь весьма распространенной в его время теории норманнистов. В действительности Русская Правда — памятник, создававшийся в Киеве и Новгороде с начала XI по начало XIII в. и обобщавший отечественную юридическую практику. Использованное автором слово содержится в списках пространной редакции Правды и читается как «голважня», мера соли: «а соли 7 голважен». О продаже соли «по два голважне на куну» (в других списках — голважи) говорится и в Патерике Киево-Печерского монастыря XIII в. Не исключено, что «в» заменено автором на «ж» для вящего сходства со скандинавским «прототипом».

ГОТФЫ — Готы, Готты, часть племени *Саков* или *Скифов,* получившее, кажется, сие название по принятии Христианской религии в III столетии — от слова God — добро, бог, для отличия от Идольников.

Готы (лат.— Gothi, Gutones, *герм.—* gutans, gutôs*) — племена восточных германцев, по языку близкие к северным германцам. Историк готов Иордан (см. «О происхождении и деяниях готов». М., 1960) сообщает, что их родиной была Скандинавия. По сведениям античных писателей (Плиния, Тацита, Птолемея), в начале нашей эры готы жили на южном побережье Балтики. Теснимые северными племенами,*

они в III в. достигли Северного Причерноморья и смешались с племенами скифо-сарматскими; под руководством своих вождей — конунгов они захватили у Рима Дакию, ходили морским путем в Малую Азию. Затем готы разделились на вестготов, ушедших из Молдавии на запад, в Галлию и Испанию, и остготов (грейптунгов), создавших во второй половине IV в. могущественный племенной союз между Доном и Днепром, в который входили также скифы, сарматы и славяне. Государство остготов было разгромлено в 375 г. гуннами. Вместе с ними готы двинулись в Паннонию, а в V в., после смерти Аттилы, освободились от гуннского владычества, захватили Италию и образовали новое королевство, павшее под ударами Византии в середине VI в. Принятие готами христианства связывается с деятельностью епископа Ульфила в середине IV в.

Вельтман отождествлял готов с мифическими а́сами и считал, что к ним относятся все сведения античных авторов о гетах. К этому же народу он относил и массагетов. В результате готы Вельтмана вышли из Азии с Одином, расселились в Дакии, а затем отправились в Скандинавию, неся с собой религию магизма. Любопытно, что, выстраивая по созвучию названий разных народов схему этногенеза, противоречившую принятому уже тогда мнению (см. выше), Вельтман негодует и на собственного историка готов Иордана, у которого «нет ни слова о времени Траяна, о победах его в Дации и обращении оной в Римскую провинцию, о необходимости Готов оставить свой Годгейм, а главное — великий Оден как будто для него не существует!» («Индо-германы или Сайване», с. 10—19).

ГРИДНИ — почетные стражи — гвардия...

В русских летописях и Русской Правде гридь, гридьба, гридни, гридени — княжеская дружина, телохранители, воины; слово, видимо, индоевропейского происхождения.

ДИАРЫ — 12 мужей, составлявших верховный суд Севера. Название происходит от Di -Deus — светлый, святый; точно так же, как *Сенат,— от* sano, sanctus и, наконец, senecta — старшинство, старость; *Совет* (Сфат, по-Молд⟨авски⟩) от свет, свят.

Вельтман толкует древнесеверогерманское слово Diar *— боги (только во множественном числе) не вполне удачно, жертвуя прямым значением в пользу версии Стурлусона о мифическом «народе асов».*

«ДИВЬЯ ЗА БУЯНОМ ПАСТВИТИ».— Есть присказка: «на острове Буяне, на Сиверном Окияне, стоит бык точеный...» и т. д. Присказкой, кажется, проясняется древняя пословица, употребленная в послании Даниила Заточника к Георгию Долгорукому (XII столет⟨ие⟩).

Речь идет о фразе: «Дивья за буяном кони паствити, а за добрым князем воевати» (дивья здесь: хорошо, чу́дно). По мнению Вельтмана, этот «буян» есть остров где-то на Севере, где поклоняются Ваалу

в образе быка: это, в свою очередь, соотносится с его представлениями о магизме асов, пришедших «за Буян» с Одином. Загадочное на первый взгляд слово «буян» объясняется на самом деле весьма реалистично. От индоевропейской основы Bheua *— возрастать — произошли сходные слова с разными значениями. Во-первых, это древнерусское и старославянское буй — отважный, сильный, дикий, безумный (ср. буйство); во-вторых, болгарское буен — сильно растущий, бурный; чешское и польское* bujný *— обильный (о посеве); английское* burly *— толстый и т. п. В-третьих, латышское* buro *— большая куча; русское диалектное буй — холм («на бую и на юру»), открытое, высокое место, от которого пошел и высокий сказочный остров Буян, и поговорка Даниила Заточника о выпасе коней за холмом, причем в обоих случаях присутствует и второе отмеченное значение слова — «обильный» остров и богатое пастбище.*

ДОМОВ — дом—хором—храм.

Домыслено; в древнейших текстах слово дом и производные от него имеют вполне современные значения.

ДРОТТАР — Drott — drottin — drottar — господин, властитель.

Под Дроттар-Скиольдом в романе подразумевается летописный Аскольд — киевский князь, согласно «Повести временных лет» вместе с князем Диром ходивший в поход на Царьград (866 г.), а в 882 г. предательски убитый Олегом. Вельтман называет его слом (послом) Рюрика к царю Михаилу в соответствии с версией летописца, пытавшегося доказать, что право на княжение имеют только рюриковичи. Но соправительство двух князей было необычно для Руси, и Вельтман попытался объяснить, что Дир и Аскольд есть один Дроттар-Скиольд (от древнескандинавского Hoskuldr*). Действительно, Диров холм в Киеве за церковью св. Ирины легко истолковать как Холм Диаров, божий. Однако арабский писатель X в. Масуди говорит о славянском князе Дире, без Аскольда. Последний похоронен на Угорской (венгерской) горе в Киеве; вероятно, это и есть Хоскульд скандинавских саг. Противоречие можно разрешить, если признать, что Аскольд и Дир княжили в разное время, а соправителями были сделаны в народном предании, прикрепленном к их могилам в Киеве.*

ЖУПАН — господин, господь; jo-Pan или jao-Pan.

Употребление слова отмечено в древнейших текстах. У южных славян оно означало князя или старейшину (ср.: «Довлеет жюпаном часть княжа»); господина называли паном. Основой этого исконно славянского слова является индоевропейское ȝeupa *— пастырь, князь, владыка.*

ЗОЛОТАЯ ОРДА.— Собственно *золотой орды* не существовало; это название дано Руссами, приезжавшими в *Станицы*, блиставшие золотыми маковками шатров.

Вельтман имеет в виду, видимо, златоверхие терема в столице Батухана г. Итиле.

КОНГ — Конунг — Кинг — Кёниг — Король, König, выговаривая g как ж: Конеж, Княж, Князь.

Русское слово князь восходит к готскому Kunniggs *(а не к скандинавскому) и в конечном счете — к индоевропейскому корню* Kuni — *род. Позже сам Вельтман утверждал, что древнеиндийское ганнеса (из ганна — сила, войско, рать и нса — господин, начальник) преобразовалось сначала в славянское князь, княже (кънязь), а затем вошло в употребление у готов (с переходом, по 1-й полотолизаuии, g в ж). (См. «Индо-германы или Сайване», с. 28).*

КУДЕСНИК — гадатель. *Кудесами* называются святки в Новгородской, Вологодской и других губерниях. Сие слово происходит от Gude — название Жреца-гадателя у Готтов...

Кудесник — волшебник, колдун. Слово это связано с русским словом чудо, первоначально — кудо. Упоминания о кудесниках встречаются у нас в древнейших летописях — например, Лаврентьевской: «Приключися некоему новгородцю прити в Чюдь, и приде к кудеснику, хотя волхованья от него...»

ЛЕНО — земля или город, дарованные во владение или управление. При сих случаях даровалась и одежда, которая, кажется, называлась Len klaeder. — Len значит мягкий, нежный (отсюда Русское слово лён — сродное с Лат⟨инским⟩ Linum) и след⟨овательно⟩, по толкованию Jhre значит *мягкая одежда*; но, вероятно, значило и *одежду власти* — подобно как кафтан, даруемый Султаном. Одежда же сия, должно полагать, была *льняная.*

МАНАТЬЯ — мантия — манта — ментик, mentel, mantel, manteau.

Одежда сия у Готфов была признаком военного человека, как мундир; и по разноцветности мантии различались части войска, сходившиеся из разных областей и городов. Mantel значит счет людей, т. е. воинов; у Готфов man было название военного человека, tal, gabl — число, а по различию сих мантий велся счет полков и людей. В Памятнике Русской Словесности XII века употребляется слово *манатья* вместо ризы.

Вельтман ссылается, видимо, на Печерский патерик или Ипатьевскую летопись под 1147 г. Но и в этих памятниках, и во множестве других источников древнерусского языка слово манатья относится только к монашескому, а не военному облачению. О разделении войска по цветам мантий и т. п. нам ничего не известно, кроме того, что подобные «мундиры» относятся уже к Новому времени. Наконец, у нас нет оснований для готской этимологии слова, происходящего от греческого плащ (ср. лат. mantum).

МОРАНА — Морена — Моржана — Дух смерти у Южных Славян, и в особенности у Богемцев.

«Всеслав страшо по земи се коти,

И в зад и в бок встати не може се.

Морена ей сыпасе в ночь черну». (Крале⟨дворская⟩ Рукоп⟨ись⟩)

Граф Ив. Потоцкий в Fragm Hist. пишет, что в Польше, в деревнях после поста делают идола из соломы, наряжают его и, сопровождая печальными песнями, несут к пруду, там раздевают и бросают в воду, припевая: «Смерть носится по плоту, ищет черного горя...» Сей идол называется Моржана — mors...

Слово мор *(ср. умереть, мертвый) происходит от индоевропейского корня (ср. древнеиндийский* maras *— смерть, мор) и в славянских языках означает смерть, умирание, повальную болезнь. Современные исследования показывают, что* Морана *— не имя божества, а название куклы, подлежащей ритуальному уничтожению; украинско-польский синоним Мораны —* Купала*; у русских известны «похороны* Костромы*».*

МОРОК — наваждение бесчувствия. Отсюда *обмо́рок...*

Слово морок *— общеславянское. Оно значит: тот, кто подсказывает, вводя в заблуждение, морочит; мороковать — соображать, смыслить. Его происхождение неизвестно.*

НЕМД — Naemd — судилище. В русском слово сие преобразовалось в *снем* и сейм.

Термин снем *(сънемъ) очень часто употребляется в русских летописях для обозначения феодальных* съездов, сонмов *князей; на снемах в Киеве, Вышгороде и Берестове вырабатывалась и Русская Правда. Слово происходит от славянского* ять, иму *(получать, иметь);* нять *— брать (ср. понять — взять),* сонять *(сънять) — собрать; отсюда же русское* собор.

ПАРЧА — по-персидски парчэ — значит бумажная или полотняная одежда и также ткань.

В русских источниках означает драгоценную ткань: «парча золотная», «серебряная», «лазоревая».

ПОЛК. — В старину войско разделялось на части, по городам, из коих приходило, и называлось город такой-то. ⟨ ...⟩

На Руси «городовые» полки стали обычным явлением лишь во времена феодальной раздробленности.

ПОЛЧИЩЕ — место битвы. «Возвратившесь опять на полчище, не обретоша Князей своих...» Нестор (Кениг ⟨сбергский список⟩, 189).

В прочтении слов летописи есть ошибка, следует читать: «...и не обретоша княжее вои» — т. е. дружины.

РЕДЯЛЫ — правители — от Rada, Rath, ряд, уряд.

В русских летописях упоминаются рядцы или рядники: «Взем дары

многи, даде царю, и царице, и князем, и прочим р я д ц е м» (т. е. правителям.— А. Б.); «Приехаша под город татарове большие, и князи ордынские, и р я д н и ц ы». В древнерусских памятниках слово р я д (подряд, наряд) имело несколько значений: международный договор, договор князя с городом или между князьями (о разделении земель или добычи в зависимости оттого, «кто како страдал за Русскую землю»); порядок государственного, церковного или вотчинного управления и суда; командование войском.

РИЗЕНЛАНДИЯ — Reissland (Rusland). Так называлась и называется земля, населенная Руссами; в переводе значит земля великанов. Слово Рейсландия Греками преобразовано в Роксолания. Ризенландия в Северных сагах и квадах иначе называется Risenheim (обитель Ризенов) и jétteheim (обитель великанов). Слово jette, вероятно есть *Геты* Греческих историков. И, следовательно, *Геты* есть Руссы — те великаны или великорослые, о коих пишет Ибн Фослан (Ахмед Ибн Фадлан, арабский писатель и путешественник, в 922 г. побывавший послом в Волжской Булгарии.— *А. Б.*); и те Руссы, против которых (по поэме Низами *Искандер-наме*) вел войну Александр Великий.

*Древнегерманская Ризенландия — сказочная страна ётунов — нечистой силы (обычно силачей и великанов). К г е т а м (*Getae*), описанным Геродотом, Страбоном, Горацием, Птолемеем и Овидием — племенам северо-восточной Фракии (родственным дакам),— ётуны не имеют отношения. Отважное племя гетов, сражавшееся с Дарием I, Александром Македонским, а в I в. до н. э. под предводительством Берибисты освободившее Паннонию от римского господства, постоянно привлекало внимание Вельтмана. В 1856 г. он уже считал гетов г о т а м и и отождествлял с легендарными а с а м и во главе с Одином (см. «Индо-германы или Сайване», с. 10—19). Слово же Рейсланд было распространено автором на все индоевропейские племена (в отличие от готов), которые он признавал славянскими (см. т а м ж е, с. 7—8 и далее).*

РУСАЛКИ — женщины древних языческих Руссов — Радимичей, Вятичей, Северян, Кривичей — на праздниках Божевых. «И браци не бывают в них; но игрища меж сел. Схожахусь на игрища, на плясания и на вся бесовския песни, и ту умыкаху себе жены, с нею кто совещашесь; имеху же и по две и по три жены». *Нестор.*

Это *Баладины* с распущенными волосами праздников Вааловых, *Грации* праздников Бахусовых. Песни, хороводы, упоение хмелем и наслаждение было их обычаем. От сего Rus по-Готфски знач⟨ит⟩ *пьянство*, по-Белийски russelen — производить шум (Jhre). От сего же в простонародии родилась идея *ведьм* (предсказательниц) и *Русалок* с распущенными волосами. Древние храмы, почти без исключения, были при реках и на островах в глубине рощей и лесов. «Пребавляя ны от бога трубами и

скоморохи, гуслями и *Русальче*, видим бо игрища утолочени и людей много множество, яко унихати начнут друг друга позоры деюще». Здесь видно, что *скоморох* — наряженный плясун, *Русальчи* — наряженные в машкары женщины.

Действительно, русалки — участницы русалии, языческого праздника весны. Его название производится от латинского «праздника роз».

САКИ — главное, коренное племя Готтов, Скифы-Даки.

Основанием этого утверждения является частота употребления слова (саки, шаки) в клинописных надписях, у античных, китайских, индийских, тибетских и восточнотуркестанских авторов, обозначавших им разные племена и народы, в основном ираноязычных скотоводов. Современная научная литература локализует племена саков в северных и восточных районах Средней Азии и в Восточном Туркестане, в отличие от массагетов Приуралья и скифов Северного Причерноморья.

СВЯТЫЙ ВИТЯЗЬ — Святовит. На белом коне; Боже-Бахус (см. «Световит» в «Кощее»).

Внимание Вельтмана к мифическому Святовиту объясняется в работе «Индо-германы или Сайване», где он возводит его к древней индоевропейской мифологии и сопоставляет с Индрой: «Световид. Верховное божество в стихийном проявлении — Индра световодный, называется светавах или светавас — т. е. светоконный, белоконный». Это «победа, победный бог, светаваджин — световодный, белоконный, в котором нетрудно узнать и Арея Скифов, и Световида Славян» (с. 21, 57).

СПАДАРЬ — длинный прямой меч, палаш, шпага.

Видимо, слово произведено Вельтманом от эспада — шпага. В русских источниках (начиная со «Сказания о Мамаевом побоище») упоминается кончар, кончер — узкий прямой меч с длинным граненым клинком. Документы XVII в. отмечают палаши, кончеры, шпаги в Оружейной палате.

ТАБОР — товар, обоз.

Точнее — стоянка обоза, лагерь. Мнение Вельтмана близко к современной этимологии, производящей слово от названия передвижного лагеря гуситов (в честь ветхозаветной горы Фавор); другая современная этимология — от тюркского tabur — укрепление из повозок.

ТРЯС — дух ужаса у древних Богемцев. «Он празднует *Трусу*» (посл⟨овица⟩). «Зе стенов лесных вырази *тржас*» (Крал⟨едворская⟩ Рук⟨опись⟩) — «Из мрака лесного появляется *Тряс*».

Вельтман верно оценил глубокую древность этого слова. Но это не свидетельствует, что тряс рассматривался древними как дух и что так следует толковать текст Краледворской рукописи. Слово же трус произ-

водно от т р я с *и имеет два общеславянских значения — боящийся и землетрясение.*

ТУФЛИ — от нор⟨маннского⟩ Toffel — башмаки, черевики.

ХАЗАРЫ.— Одного племени с Венграми; часть их жила в Таврии, другая в Паннонии. Впоследствии Таврические Хазары были загнаны на Кавказ; и по сие время сохранили название *Хозры. Хазары* служили как наемные войска, в память им остались *Гусары*, одеты по образцу одежды Хазарской. Хазары, может быть, есть не что иное, как Aezer — Азы — Азаки — Ясы.

Мысль Вельтмана об одноплеменности хазар с венграми родилась в связи с тем, что тюркский народ х а з а р ы *появился в Европе в IV в., вскоре после гуннского нашествия. Ассоциация с* г у с а р а м и *— чисто фонетическая и не имеет никаких оснований. Кочевья, а позже земледельческие владения хазар довольно точно локализуются между р. Сулак в Северном Дагестане и Нижней Волгой. Ранние письменные сведения о хазарах мы имеем благодаря их участию в войнах между Ираном и Византией на Кавказе. Позже хазары входили в состав Тюркского каганата (с середины VI по середину VII в). Затем Хазарский каганат подчинил часть Великой Булгарии и государство гуннов-савиров в Дагестане. Каганат, долго и не вполне успешно воевавший с арабами-мусульманами за Кавказ, в конце VIII — начале IX в. принял в качестве государственной религии иудаизм. Хазары обложили данью и некоторые славянские племена, но потерпели поражение в войнах с Древнерусским государством в 913—914 и 943—944 гг., а в 964—965 гг. каганат был окончательно разгромлен князем Святославом Игоревичем.*

ШТОФ — штофная, праздничная одежда, издавна известна уже на Севере. По-Норманнски stoff знач⟨ит⟩: убор праздничный, stoffera — *украшение*, нарядная одежда. Отсюда étoff — материя шелковая. В старину носили душегрейки, эпанечки и юбки штофные, обшитые золотым *гасом.*

В России слово получило распространение в конце XVII — начале XVIII в. (от немецкого Stoff).

«РАЙНА, КОРОЛЕВНА БОЛГАРСКАЯ»

...Руси есть веселие пити, не может без того быти! — «Повесть временных лет» (под 986 г.) приписывает эти слова великому князю Владимиру Святославичу.

...рода Руссов — поколения древних земных богов. — В работе «Индогерманы или Сайване» Вельтман производил слово «Руссы» от древнеиндийского «Раджи».

Воспитанный в обычаях... «...вои его бяху вси».— В летописи о воспитании Святослава сказано: «Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых. И легко ходил в походах, как

пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел. Не имел он и шатра, но спал, подостлав потник, с седлом в головах. Тако же и прочии вои его вси бяху».

...любили полосы.— Слово *полоса* Вельтман производил от древнеиндийского *палас* (полоса меча); здесь показывается, что руссы хранили традиции своих индоевропейских предков. Возможно, автор учитывал и сообщения римских авторов о преобладании у древних германцев (сайван, которых он считал славянами) длинных рубящих мечей над колющим оружием.

...князь почал, а дружина кончила дело победой. — В походе на древлян 946 г., сообщает «Повесть временных лет», когда сошлись оба войска для схватки, «суну копьем Святослав на деревляны, и копье лете сквозе уши коневи, и удари в ногу коневи, бе бо детеск. И рече Свенелд и Асмолд: «Князь уже почал; потягнете, дружина, по князе». И победили древлян. Начало боя полководцем, бросающим в сторону противника копье или стрелу,— индоевропейский обычай, по древнейшим источникам известный на Руси, у литовцев, скандинавов и других народов.

...аз и иже со мною... да изсечени будем. — Вельтман перефразирует клятву русичей из договоров Руси с греками 912 и 945 гг., приведенных в «Повести временных лет». Помещенное выше описание вокняжения Святослава — художественная реконструкция: в источниках это событие не отразилось.

Славянские племена, вошедшие в состав Древнерусского государства, перечислены по «Повести временных лет».

В описании восточного похода Святослава Вельтман опирается на краткое сообщение «Повести временных лет» и «Книгу путей и государств» арабского автора второй половины X в. Ибн-Хаукаля (см. перевод: Калинина Т. М. Сведения Ибн-Хаукаля о походах Руси времен Святослава.— В кн.: Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1975. М., 1976).

...тружаяся ловы деять...— Цитата из «Поучения Владимира Мономаха». О Малуше и ее брате Добрыне рассказывается в «Повести временных лет».

Святослав не любил пировать и столовать... на правого вины не складывает.— Перефразируются былины из «Сборника Кирши Данилова» с описанием «стола» Владимира Красное Солнышко, прообразом которого Вельтман считал великого князя Владимира Святославича.

Вокруг него нет невольников... ни в Берестовом.— Намек на летописное сообщение о «блудодеяниях» сына Святослава — Владимира.

Не метали при нем старцы и бояре жеребья... не осквернялась еще кровми земля русская и холм той...—«Поставление кумиров на холме

за теремным двором» «Повесть временных лет» приписывает Владимиру Святославичу. При нем, по летописи, «осквернилась кровью земля Русская и холм тот»; отроков и девиц для жертвоприношений выбирали по жребию (см. рассказы под 980 и 983 гг.).

...прибыл в Киев посол от греческого кира Никифора, известный уже нам Георгий калокир.— В повести, как и в византийских источниках, калокиру уделено немалое место. Лев Дьякон рассказывает, что, отправившись было в Болгарию, император Никифор не решился начать войну и вернулся в Византию. «Почтив достоинством Патрикия отважного и пылкого Калокира, он послал его к Тавроскифам, называемым обыкновенно Россами, с тем, чтобы он, раздавши тысяча пятьсот фунтов врученного ему золота, привел их в землю Мисян (болгар.—*А. Б.*) для ее завоевания. Калокир поспешно отправился...» Далее Дьякон сообщает официальную версию Константинополя, появившуюся после того, как греки нарушили договор со Святославом: «Калокир, пришедши в Скифию, понравился начальнику Тавров, подкупил его дарами, очаровал лестными словами... и убедил итти против Мисян с великою ратию с тем условием, чтобы он, покоривши их, удержал их страну в собственной власти, а ему содействовал в завоевании Римского государства и получении престола». Тот же Лев Дьякон сообщает, что калокир пришел в Болгарию со Святославом, находился при дворе царя Бориса и в критические часы обороны болгарской столицы бежал к русскому князю (зная, видимо, что принесен в жертву вероломству императора). Его дальнейшая судьба неизвестна. А. Н. Сахаров считает, что тот же человек при новом императоре вернулся на дипломатическую службу (через 30 лет!) и возглавлял посольство Византии к германскому императору Оттону III. Но психологически кажется вероятнее, что именно этот калокир через несколько лет после описанных событий был посажен на кол за участие в мятеже Варда Фоки в Малой Азии, как о том сообщает Лев Дьякон.

...оклады на грады русские... подвластные Святославу. — Дань с Византии установил Олег. В год 907-й, сказано в летописи, русские пришли к Константинополю и разбили греков. «И приказал Олег дать воинам своим на 2000 кораблей по 12 гривен за уключину, а затем дать дань для русских городов: прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для Переяславля, для Полотска, для Ростова, для Любеча и для прочих городов: ибо по этим городам сидят великие князья, подвластные Олегу».

...ежели приедет Русь с куплею... и различные овощи. — Пересказ договора Руси с греками, помещенного в «Повести временных лет».

Болгары, данники греков... ⟨...⟩... и держать во власти своей.— Болгарское царство было «данником» греков лишь в мечтах византийских дипломатов. Проход угров к границам империи через Болгарию в качестве причины посылки калокира на Русь указывает византийский хронист

XI в. Скилица: Никифор Фока «направил болгарскому царю Петру письмо, чтобы тот не разрешал туркам (уграм, т. е. венграм.— *А. Б.*) переправляться через Истр (Дунай) и причинять вред ромеям. Поскольку Петр не обратил внимания на эту просьбу и всячески обманывал греков, Никифор...» — далее следует история миссии калокира.

...и послал меня отец твой, княже, с наемными Печенегами воевать землю.— Под 944 г. «Повесть временных лет» сообщает, что, разгневавшись на предупреждение болгарами византийцев о русском походе, Игорь «повелел печенегам воевать Болгарскую землю, а сам, взяв у греков золото и ткани на всех воинов, возвратился назад к Киеву».

...оставив воеводу Претича охранять Киев...— Претич упоминается в летописи под 968 г. Когда Святослав был в Болгарии, Киев осадило бесчисленное множество печенегов. Собрав войско, Претич рассчитывал переправиться через Днепр и спасти из города «княгиню и княжичей». Воодушевив дружину словами: «Если не сделаем этого, погубит нас Святослав», воевода смело двинулся через реку. «Печенегам же показалось, что пришел сам князь и побежали от города врассыпную».

...а узнав Куря, что белый царь поднимается на войну, и сам идет с своей ордой служить по найму у белого царя.—Печенегов, по сообщению летописи, нанимал князь Игорь; «Повесть временных лет» подчеркивает, что в 986 г., в отсутствие Святослава, они *впервые* пришли войной на Русь.

То не ясен сокол... из престольного.— Изменив имя Владимир на Святослав, Вельтман использует отрывок из былины.

...за двадцать шесть лет... Русь и Печенегов...— То есть в 941 г., когда согласно «Повести временных лет» набег Игоря на Константинополь был отбит греками. Но ни в «Повести», ни в Новгородской I летописи (использовавшей более древний, чем «Повесть», источник), ни в «Хронике Георгия Амартола», ни в «Краткой Палее», ни, наконец, в обширнейшем рассказе «Жития Василия Нового» нет известий об участии в походе печенегов и столкновениях русичей с болгарами. Вельтман домыслил этот эпизод, исходя из того, что первый мир Руси с печенегами был заключен уже в 915 г., а болгары могли преследовать проходящих мимо них воинов Игоревых.

Огнемир, воевода сторожевого отряда, и первое поражение руссов нужны были Вельтману из художественных, композиционных соображений, так же как и обвинение Сурсувула в убийстве болгарского царя Петра. У Льва Дьякона об этих событиях рассказывается так: «Святослав, собрав ополчение, состоящее из шестидесяти тысяч храбрых воинов, кроме обозных отрядов, отправился против Мисян с Патрикием Калокиром. ...Мисяне, услышав, что он проходит уже мимо Истра и готовится сделать высадку на берег, выступили против него с тридцатью тысячами

войска. Тавры быстро сошли с судов, простерли пред собою щиты, извлекли мечи и начали поражать их без всякой пощады. Они (болгары.— *А. Б.*) не выдержали первого сего нападения, обратились в бегство и к стыду своему заперлись в Дористоле (укрепленный город Мисян). Тогда, говорят, предводитель их Петр, человек благочестивый и почтенный, тронутый сим нечаянным бегством, получил параличный удар и вскоре преселился из сей жизни».

...побудили Святослава столь неожиданно напасть на Преслав.— Только взяв Преслав — столицу Болгарского царства, Святослав в повести мог познакомиться с изображениями царя Петра и дочери его Райны. Но в источниках о взятии Святославом Преслава ничего не говорится. В первом своем походе, о котором рассказывает здесь автор, князь удовольствовался занятием Дунайской Болгарии, и в том числе Переяславца — Малого Преслава на Дунае, по-видимому, без боя. Но во время отлучки Святослава в Киев провизантийская группировка при дворе нового царя Бориса одержала верх; Переяславец был осажден и затем захвачен болгарами. «Повесть временных лет» сообщает, что в 971 г., вернувшись из Киева, «пришел Святослав в Переяславец, и затворились болгары в городе. И вышли болгары на битву против Святослава, и была сеча велика, и стали одолевать болгары. И сказал Святослав своим воинам: «Здесь нам и умереть! Постоим же мужественно, братья и дружина!» И к вечеру одолел Святослав, и взял город приступом, и послал к грекам со словами: «Хочу итти на вас и взять столицу вашу, как и этот город». Последние слова летописца ясно показывают, что в столкновении с болгарами Русь винила греков. Именно на них, а не на царя Бориса в Преславе двинул Святослав своих воинов.

...разбил комитопула Самуила, собравшего войско, прошел тучей по поморью Болгарии и по Дунаю, одождил калеными стрелами и камнями города.— Речь вновь идет о завоевании Дунайских гирл, когда, согласно летописи, Святослав взял восемьдесят городов. Вскоре после этого Болгария разделилась — Западная Болгария, управлявшаяся комитопулами, заняла антивизантийскую позицию, и Святослав не предпринимал против нее никаких враждебных действий. Сражение с Самуилом появилось в повести в связи с тем, что Вельтман склонен был считать Святослава преемником царя Симеона, боровшегося за единство Болгарии.

...Симеон, предав огню и мечу Македонию и Фракию, стал уже станом близ Влахерны.— Вельтман использует сочинение продолжателя «Хроники Георгия Амартола». Далее в описании унижения Романа автор использует тот же источник (см.: Истрин В. М. Хроника Георгия Амартола. Пг., 1920, т. 1).

...Симеон умер именно в тот день и час, когда голова его, изваянная мною из воску, растаяла на костре посереди площади Таврической...—

В «Хронике Амартола» (на которую опирается в данном случае и «Повесть временных лет») смерть Симеона представлена более реалистично.

Чужой земли ищешь ты, а от своей отчуждался! — В «Повести временных лет» рассказывается, что, после того как воевода Претич снял в 968 г. осаду Киева, печенеги не покинули русскую землю и стояли на р. Лыбеди. «И послали киевляне к Святославу со словами: «Ты, князь, ищешь чужой земли, а свою покинул. А нас чуть было не взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут-таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих? Услышав эти слова, Святослав с дружиною скоро сел на коней и вернулся в Киев; приветствовал мать свою и детей и сокрушался о том, что случилось с ними от печенегов. И собрал воинов, прогнал печенегов в поле, и наступил мир».

Прилепился я к богу отцов моих... в путях моих. — В диалоге Ольги и Святослава Вельтман использует текст летописи, относящийся к юности князя.

Святослав не мог противиться последнему желанию больной матери. — Рассказ о жизни Святослава в Киеве также взят из «Повести временых лет»: «В год 6477 (969). Сказал Святослав матери своей и боярам своим: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае.— Там середина земли моей, туда стекаются все блага...» Отвечала ему Ольга: «Видишь — я больна; куда хочешь уйти от меня?» — Ибо она уже разболелась. И продолжала: «Когда похоронишь меня,— отправляйся куда захочешь». Через три дня Ольга умерла, и плакали по ней плачем великим сын ее и внуки ее, и все люди». На следующий, 970 год «Святослав посадил Ярополка в Киеве, а Олега у древлян». Тут как раз случились новгородские послы, прося себе князя. «И взяли себе новгородцы Владимира, и пошел Владимир с Добрынею, своим дядей, в Новгород, а Святослав в Переяславец (на Дунае)».

По первому слову не умирюсь с царем вашим... кто под рукою моею. — О посольстве греков рассказывает Лев Дьякон. «С Святославом, предводителем Российской рати, он (император Иоанн.— *А. Б.*) решил примириться. Итак, отправляет к нему послов с требованием, чтобы он, получив обещанную Никифором награду, по случаю похода против Мисян, возвратился в свои области, к Киммерийскому Боспору, и оставил Мисию, принадлежащую Римлянам, как древнюю часть Македонии». Здесь отчетливо видно коварство византийцев, дезавуировавших своего посла калокира и решивших не только лишить Святослава Дунайских гирл, но и присвоить себе суверенное Болгарское царство! Святослав поступил мудро, не вступая в пререкания о толковании договора и предоставляя грекам самим разорвать его. Он «дал послам Римским следующий гордый ответ: «Что он не оставит сей богатой области, если не дадут ему великой суммы

денег, если не выкупят завоеванных городов (во Фракии) и пленных. Ежели Римляне, говорил он, не захотят мне столько заплатить, то да переселятся они из Европы, им не принадлежащей, в Азию!» Второе посольство Цимисхия сообщило руссам: «...советуем вам, как друзьям, немедленно и без всяких отговорок выступить из земли, вам не принадлежащей; не послушав сего совета, вы разорвете союз наш, а не мы». Далее следовали оскорбления и угрозы. «Не вижу никакой необходимости, побуждающей Римского государя к нам итти,— ответил Святослав, —посему да не трудится путешествовать в нашу землю: мы сами скоро поставим шатры свои пред Византийскими воротами...» Император «по невежеству своему... считает Русских слабыми женщинами и хочет устрашить их своими угрозами, как пугают детей разными чучелами». Любопытно, что даже в передаче византийского автора Святослав высказывается красноречивее, чем Иоанн Цимисхий.

...нанять в помощь конницу угорскую и ожидать великого князя.— Венгры были давними союзниками Руси в войнах с Византией. В 30—40-х г. X в. их нападения на греков координировались с действиями русских князей; во время первого похода Святослава в Болгарию венгерская конница действовала на Днестре; когда в 968 г. отношения Святослава с Константинополем обострились, угры совершили набег на Фессалонику. Святославу первому из русских князей удалось создать настоящий антивизантийский союз: против появившихся во Фракии армий патрикия Петра и Варда Склира он сумел двинуть два отряда: в первом были русские воины, во главе с самим князем. В ожесточенном сражении, описанном летописью, они разгромили войска Петра. Другой отряд состоял из трех частей: первую составляли болгары и руссы, вторую венгры, третью — печенеги; о составе и действиях этого отряда сообщают византийские хронисты Лев Дьякон и Скилица, на которых и опирался Вельтман.

...Греки взяли Преслав.— Преслав пал уже после возвращения Святослава в Болгарию. Вельтман, очевидно, стремился снять бремя поражений с непобедимого дотоле князя: поэтому в повести, вопреки историческим фактам, Святослав прибывает в Болгарию к началу обороны Доростола,— и тут же вновь покидает поле битвы, бросившись спасать Райну.

Василиса Феофания, по смерти Романа, за малолетством наследников его... ⟨...⟩ ...заключить в монастырь и казнить ее сообщников.— «Феофана,— пишет Лев Дьякон,— будучи из незнатного рода, превосходила всех женщин красотою и свежестию своего тела; и потому император Роман сочетался с нею браком». После смерти Романа она с сыновьями Василием и Константином приняла «от Совета и патриарха Полиевкта власть самодержавную». Никифор Фока, захватив с помощью армии престол, решил лега-

лизировать захват власти: «Обручился с супругою императора Романа, прекрасною лакедемонянкою, и, после воздержанного образа жизни, получил склонность к мясоядению». «Чрезвычайно плененный ее красотою,— говорит о Никифоре хронист,— он имел к ней чрезмерную благосклонность». Нетрудно было предположить, что сего могучего воина хватит ненадолго: и действительно — вскоре мы видим Фоку предающимся по ночам молитвам и спящим на полу. Неутомимая Феофания вызывает в столицу соратника Никифора — Иоанна Цимисхия, прячет его у себя, впускает ночью в опочивальню императора, отдыхающего «на полу на барсовой коже и красном войлоке». Вырвав Никифору бороду, заговорщики изрубили его и провозгласили Иоанна императором. Но патриарх Полиевкт, «муж святой, престарелый, но пламенный духом», потребовал у Иоанна соблюсти видимость благополучия, казнив заговорщиков и сослав Феофанию. Предпочтя императорский венец пожилой императрице, Цимисхий так и поступил.

...и просил от имени всего народа защиты против насилия Руси и поставленного ими короля Бориса.— Посольство болгар, о котором сообщает тот же Лев Дьякон, было направлено не к Цимисхию, как пишет Вельтман, а к Фоке во время первого похода Святослава. Оно представляло провизантийскую группировку болгарской знати, следовательно, не могло быть послано комитопулами и скорее могло исходить от двора царя Бориса. Ошибаясь в деталях, Вельтман достигал правильной цели, показывая, что союз Святослава и Бориса был единственным и необходимым средством сорвать коварные замыслы Константинополя, желавшего столкнуть между собой и затем покорить обескровленные народы.

...он неожиданно явился из-за высот перед Преславом и напал на русский отряд, занимавшийся ратным ученьем на равнине перед городом.— Взятие столицы Болгарии было первоочередной задачей Цимисхия: если мы возьмем Преславу, говорил он, то «после того весьма легко преодолеем яростных Россиян». В описании штурма Вельтман опирался на записки Льва Дьякона, переосмысляя и дополняя их.

«Поезжай же в Константинополь...»— И немедленно велел отправить Бориса с семьей и брата его Романа в Царьград.— «Тогда, говорят, Борис, юный государь Мисян... взят был в плен с женою и с двумя малолетними детьми»,— пишет Дьякон в рассказе о взятии Преслава. «И приведен к императору, который принял его с честию, называл Государем Болгаров, говоря, что он пришел отомстить Скифам за претерпенныя Мисянами обиды». Но здесь же сообщается, что «в сей битве весьма много пало и Мисян, сражавшихся с Римлянами, как виновниками Скифского на них нападения». То есть болгары и русские уже ясно увидели своего общего неприятеля Византию, вызвавшую между ними временную вражду.

«Где твоя ляжет, там и свои сложим!»— возгласили воины, прогремев мечами в щиты.— Вельтман пересказывает «Повесть временных лет». Этот текст настолько замечателен, что его следует привести в оригинале. Когда русские вышли на битву и убоялись огромного войска неприятельского, «рече Святослав: «Уже нам не камо ся дети, волею и неволею стати противу; да не посрамим земле Руские, но ляжем костьми, мертвыи бо срама не имам. Аще ли побегнем, срам имам. Не имам убежати, но станем крепко, аз же пред вами поиду: аще моя голова ляжет, то промыслите собою». И реша вои: «Идеже глава твоя, ту и свои головы сложим!» И исполчишася русь, и бысть сеча велика, и одоле Святослав, и бежаша греци».

Бой с Святославом нисколько не походил на азиатские игры в войну.— Действительно, в Азии византийцы не сталкивались с серьезной пехотой и сами основным родом войск считали уже тяжеловооруженную конницу. Скоротечные столкновения кавалерии, в которой одна сторона поспешно спасалась бегством, засады и ловушки стали основой тактики, описанной не только в хрониках, но и в трактате Никифора Фоки «О сшибках с неприятелем». Показательно, что Лев Дьякон, посвятивший свое сочинение почти исключительно описанию войн, специально подчеркивает стойкость только у воинов Руси. «Как скоро Римские войска сошлись к городу Дористолу,— пишет он,—...то Тавроскифы, сомкнув щиты и копья, наподобие стены, ожидали их на месте сражения... Войска сошлись; и началась сильная битва, которая долго с обеих сторон была в равновесии. Россы, приобретшие славу победителей у соседственных народов, почитая ужасным бедствием лишиться оной и быть побежденными, сражались отчаянно». Византийцы «видят отважное стремление Россов»; признают, «что сей народ отважен до безумия, храбр, силен»; передают, «что побежденные Тавроскифы никогда живые не сдаются неприятелям». Знаменательны и слова, сказанные, согласно хронисту, Святославом под Доростолом, когда в крайнем положении кто-то предложил прорываться на Русь: «Погибнет слава, спутница Российского оружия... если мы теперь постыдно уступим Римлянам. Итак, с храбростию предков наших и с тою мыслию, что Русская сила была до сего времени непобедима, сразимся мужественно... У нас нет обычая бегством спасаться в отечество, но или жить победителями, или, совершивши знаменитые подвиги, умереть со славою!»

Грозен и лют этот муж, презирает золото, а любит острое железо! Рассказ о посольстве от Цимисхия приведен в «Повести временных лет»

Святослав приехал на условленное место в ладье...— Переговоры эти описаны Львом Дьяконом: император «в позлащенном вооружении, на коне приехал к берегу Истра, сопровождаемый великим

отрядом всадников, блестящих доспехами. Святослав переезжал через реку в некоторой скифской ладье и, сидя за веслом, греб наравне с прочими без всякого различия. Видом он был таков: среднего роста, не слишком высок, ни слишком мал, с густыми бровями, с голубыми глазами, с плоским носом, с бритою бородою и с густыми длинными висящими на верхней губе волосами. Голова у него была совсем голая, но только на одной ее стороне висел локон волос, означающий знатность рода; шея толстая, плечи широкие и весь стан довольно стройный. Он казался мрачным и диким. В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами с рубином, посреди их вставленным. Одежда на нем была белая, ничем, кроме чистоты, от других не отличная. Итак, поговорив немного с императором о мире, сидя в ладье на лавке, он переправился назад».

...на голове хохол, признак великого рода русского, и в ухе серьга, украшенная жемчужинами и рубином, как у благорожденных предков раджей.— Обычай русских князей носить длинный чуб и серьгу Вельтман считал одним из древнейших у индоевропейцев, находя ему аналогии в древней Индии.

Не стало Святослава.— «Повесть временных лет» так описывает гибель великого князя: «Заключив мир с греками, Святослав в ладьях отправился к порогам. И сказал ему воевода отца его Свенельд: «Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги». И не послушал его, и пошел в ладьях. А переяславцы послали к печенегам сказать: «Вот идет мимо вас на Русь Святослав с небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и пленных без числа». Услышав об этом, печенеги заступили пороги. И пришел Святослав к порогам, и нельзя было их пройти. И остался зимовать в Белобережье, и не стало у них (русских.— *А. Б.*) еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили за конскую голову. ...Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, и пили из него». В Тверской летописи есть запись XI—XII в., что «чаша сия и доныне хранима в казнах князей печенезких, пия же из нея князи со княгинею в чертозе, егда поимаются, глаголюще сице: «каков был сий человек, его же лоб есть, таков буди и родившее от нас».

Свенельд дождался помощи из Киева и возвратился в Русь...— В летописи сказано просто: «Свенельд же пришел в Киев к Ярополку».

И совершилось неслыханное дотоле торжество. ⟨...⟩... приняли державу и все знамения царства болгарского принесли в дар богу.— «Окончив торжественное шествие посреди города»,— пишет Лев Дьякон, император Иоанн Цимисхий «вступает в великий храм Премудрости божией, совер-

шает благодарственные моления и, посвятивши богу великолепный Мисийский венец, как первую корысть, приходит с Борисом, царем Мисии, во дворец и приказывает ему сложить с себя царские знаки. Они были следующие: шапка, обложенная пурпуром, вышитая золотом и осыпанная жемчугом, багряная одежда и красные сандалии». Так, заключает хронист, Византия покорила себе Болгарское царство. Но это была временная победа.



Содержание

Александр Фомич Вельтман

РОМАНЫ

Рецензенты
С. ЗАЛЫГИН, П. ПАЛИЕВСКИЙ

Редактор
Л. АСАНОВ

Художник
Б. ЛАВРОВ

Художественный редактор
Г. САЛЕНКОВ

Технический редактор
Н. ДЕЦКО

Корректоры
В. ЛЫКОВА, Т. ВОРОТНИКОВА

ИБ № 3204. Сдано в набор 11.10.84. Подписано к печати 18.07.85. А13189. Формат $84 \times 108/_{32}$. Гарнитура об. нов. Печать высокая. Бумага тип. № 2. кн.-журн. Усл. печ. л. 27,83. Усл. кр.-отт. 27,77 Уч-изд. л. 30,81. Тираж 100 000 экз. Заказ 25. Цена 2 р. 60 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Д-7, Хорошевское шоссе, 62.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46

Вельтман А. Ф.

В28 Романы/ Сост., вступ. статья В. И. Калугина; Послесл. и коммент. А. П. Богданова.— М.: Современник, 1985.—524 с., портр.— (Из наследия).

В пер.: 2 р. 60 к.

В сборник популярного писателя пушкинской поры Александра Фомича Вельтмана (1800—1870) вошли его исторические произведения, не переиздававшиеся ни в XIX, ни в XX веке.

«Талант Вельтмана,- писал В Г Белинский в 1836 году, самобытен и оригинален в высочайшей степени, он никому не подражает, и ему никто не может подражать. Он создал какой-то особый, ни для кого не доступный мир, его взгляд и его слог тоже принадлежат одному ему»

В $\frac{4702010100-285}{М106(03)-85}$ **Без объявл.**

ББК84Р1
Р1

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу:

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Издательство «Современник»